

А.С. МАКАРЕНКО

*Педагогические
сочинения*

Том
2

А.С. МАКАРЕНКО

Педагогические сочинения



АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР

А.С. МАКАРЕНКО

*Педагогические сочинения
в восьми томах*

Редакционная коллегия:
М. И. Кондаков (главный редактор),
В. М. Коротов, С. В. Михалков,
В. С. Хелемендик

А.С. МАКАРЕНКО

Педагогические сочинения

Том 2



Москва
«Педагогика»
1983

Печатается по решению Президиума
Академии педагогических наук СССР

Рецензенты:

действительный член АПН СССР, доктор
педагогических наук, профессор **Н. Д. Ярмаченко**,
доктор **Эдгар Гюнтер** (ГДР)

Составители:

М. Д. Виноградова, А. А. Фролов

Авторы комментариев:

М. Д. Виноградова, В. Е. Гмурман, А. А. Фролов

Макаренко А. С.

М15 Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т. 2 / Сост.
М. Д. Виноградова, А. А. Фролов. — М.: Педа-
гогика, 1983.—512 с.

Пер. 2 руб.

Во второй том настоящего издания вошли художественные произведения
А. С. Макаренко, написанные в 1930—1933 гг.: очерки «Марш 30 года», «ФД-1»,
пьеса «Мажор», а также повесть «Честь», созданная в 1938 г.

Для специалистов в области педагогики, работников народного образования.

М 4302000000-033 подписное
005(01)-83

ББК 74.03(2)
371

От составителей

Во второй том вошли художественные произведения А. С. Макаренко: очерки «Марш 30 года», «ФД-1», пьеса «Мажор» и повесть «Честь», в которых он проявил себя и как выдающийся педагог-новатор, и как писатель.

К художественной литературе А. С. Макаренко обратился, уже будучи опытным педагогом, прошедшим довольно сложный жизненный путь: «Я очень много работал над собой и, собственно говоря, всю жизнь готовился к писательской работе».

Очерки «Марш 30 года», «ФД-1», пьеса «Мажор» относятся к ранним произведениям писателя. Они отражают жизнь и опыт трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского с 1927 по 1935 г. и созданы в эти же годы.

Основной пафос этих произведений — воспитание нового человека-гражданина. Связав органически высокую идейность с правом и обязанностью каждого воспитанника повседневно принимать участие в общей, коллективной борьбе за построение коммунизма, с правом быть подлинным хозяином своего труда и всей жизни коллектива, А. С. Макаренко закономерно пришел к выводу, что истоки гражданского, политического воспитания подрастающего поколения заключены в организации трудового воспитательного коллектива, тесно связанного с жизнью Советской страны, коммунистическим созиданием. Именно таким воспитательным учреждением нового типа и явилась коммуна дзержинцев.

Изображая подлинные события и характеры героев, автор в художественной форме рассказывает о принципах и методах коммунистического воспитания, его безграничной силе и о высоких нравственных качествах советских людей. В этой идейной насыщенности и политической целеустремленности — особая ценность произведений педагога-марксиста.

Повесть «Честь», написанная в 1937—1938 гг., хронологически более позднее произведение А. С. Макаренко. В ней отражается жизнь небольшого уездного городка в годы первой мировой войны и в период Октябрьской революции. Повесть стоит особняком среди других произведений писателя. Здесь нет четко выраженной документальной основы, как в его более ранних работах, тематически «Честь» отличается от остальных книг писателя. Однако он и на необычном для себя материале рассмат-

ривает проблемы воспитания человека, раскрывает нравственное содержание понятия чести.

А. С. Макаренко считал, что проблема воспитания чувства долга и чести является важнейшей в советской педагогике. Задача советской школы состоит в том, подчеркивал А. С. Макаренко, чтобы развивать в каждом ребенке чувство чести коллектива, чувство чести советского человека, гражданина нашей великой Родины.

В конце тома помещены комментарии, даны фотоматериалы, иллюстрирующие жизнь трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. Авторские примечания выделены в тексте звездочками. Сверка текстов с прижизненными изданиями А. С. Макаренко и архивными источниками сделана С. С. Невской при участии И. В. Филина.

МАРШ 30 ГОДА

Очерк

Памятник Феликсу Дзержинскому

Вступление

Харьковская окраина. Опушка леса, красивый темно-серый дом, цветники, фруктовый сад, площадки для тенниса, волейбола и крокета, открытое поле, запахи чебреца, васильков, полыни...

Здесь расположена самая молодая детская коммуна на Украине — коммуна имени Феликса Дзержинского, открытая 29 декабря 1927 года. Сто пятьдесят коммунаров (сто двадцать мальчиков и тридцать девочек) живут в великолепном доме, выстроенном специально для них.

Многие товарищи упрекали коммунаров-дзержинцев в «дворцовой жизни» и даже в барстве. Подумайте, живут в таком роскошном доме! Дом с паркетными полами, с великолепной уборной, с холодными и горячими душами, с расписными потолками...

— Разве это воспитание? Привыкнут ребята к такому дому и душам, и паркетам, а потом выйдут в жизнь, где ничего этого нет, и будут страдать. Надо воспитывать применительно к жизненной обстановке.

Говорили еще и так:

— Рабочему человеку все это не нужно. Рабочему нужно, что поздоровее и попроще, а эти финтифлюшки ни к чему.

Коммунары, впрочем, не особенно прислушивались к этой болтовне. Они не сомневались в том, что душ — вещь хорошая, да и паркет — тоже неплохо.

В первые дни коммунары только восторгались всем этим, но вскоре оказалось, что паркет нужно беречь, что с душем нужно обращаться умеючи, что с расписных потолков нужно ежедневно стирать пыль. Сохранение этого дома — памятника Дзержинскому, содержание его в чистоте стало делом всех коммунаров.

Наш дом достаточно велик, несмотря на то что по фасаду он большим не кажется. Это двухэтажный темно-серый дом, без каких бы то ни было архитектурных вычуров. Только сетка вывески с золотыми буквами над фронтоном да два флагштока над нею украшают здание. В центре — парадная дверь. От главного корпуса протягиваются вглубь три крыла, так что все здание имеет форму буквы Ш. В первый год существования нашей коммуны других зданий у нас не было, если не считать нескольких стареньких дач, в которых кое-как расположился обслуживающий персонал. На втором году коммуна построила одноэтажный длинный флигель. Теперь здесь квартиры работников коммуны и мастерские.

Войдя в дом и пройдя небольшой вестибюль, вы остановитесь перед парадной лестницей. Она довольно широка, освещена верхним окном в крыше, стены и потолок расписаны.

Нижний этаж симметричен. Направо и налево тянется светлый коридор. С каждой стороны лестницы расположено по одной комнате управления, по одному классу и по одному залу. Левый зал у нас называется «громкий» клуб. Там — сцена и киноустановка. Правый зал — столовая. Рядом с ним кухня. И в классах и в залах большие окна. В «громком» клубе собрано все то великолепиие — гардины, портреты, расписные потолки и т. д., — тлетворным влиянием которого нас попрекали. В зале рояль и хорошие венские стулья, изготовленные в нашей мастерской. В столовой пятнадцать столов, накрытых клеенкой, у каждого стола по десять венских стульев. Портреты Ленина и Дзержинского. И больше ничего. Стена-окно отделяет столовую от кухни. В кухне — в белом колпаке Карпо Филиппович.

В классах нет парт — двухместные дубовые столики и двухместные дубовые легкие диванчики.

Подыдемся по парадной лестнице на второй этаж.

На первой площадке лестницы, под портретом Дзержинского, имеется две двери: одна из них ведет в «тихий» клуб, вторая — в спальню девочек.

У этой спальни есть своя длинная и бурная история.

Окна выходят на север, пол не паркетный, и главное — комната очень велика. Наши ребята против больших спален.

Первыми здесь поселились ребята одиннадцатого отряда, все — малыши и новенькие. Постоянное отставание этого отряда во всех решительно областях, неряшливый, некоммунарский вид Петьки Романова, Гришки Соколова, Мизяка, Котляра, Леньки и других пацанов, вечные разговоры на общих собраниях и в совете командиров о том, что одиннадцатый отряд надо подтянуть, различные мероприятия, вплоть до лишения малышей права выборов командира, — все это достаточно всем надоело. Летнее избирательное собрание 1929 года назначило в одиннадцатый отряд командира из старших, комсомольца, но он скоро, не справившись с заданием, категорически заявил на собрании, что лучше будет целый год чистить уборные, чем командовать «этой братвой». Начались бурные собрания, одно за другим, на которых заведующий крыл комсомольцев за то, что забросили пацанов, а коммунар Алексеенко требовал жестких законов для них. Пацаны тоже выступали на собрании и доказывали, что никто не виноват, если штаны быстро рвутся, если руки и шеи не отмываются, если постели неизвестно кем разбрасываются, если стрелы попадают не в дерево, а в окно, если полотенце почему-то оказывается не на своем месте. Но в конце концов было принято твердое решение: расформировать одиннадцатый отряд и разделить малышей между остальными десятью отрядами, состоявшими из более взрослых ребят. Совету командиров было поручено привести это решение в исполнение. Целый день продумали командиры, и, как ни вертели, все выходило, что придется девочкам покинуть свои прекрасные две спальни наверху и перебраться в одну, на место одиннадцатого отряда. В совете командиров было восемь командиров, из них только две девочки: командиры пятого и шестого отрядов. Девочки протестовали и ехидно указывали:

— Конечно, нас только двое, так вы можете что угодно постановить.

В конце концов предложили девочкам компенсацию, на которую они согласились. Купили девочкам гардины, поставили посреди спальни большой хороший дубовый стол и дюжину стульев, на пол положили пенную дорожку с зелеными кантами. Обещали еще дать им трюмо, да этого обещания не исполнили по финансовым соображениям. Правда, девочки и не настаивали.

Вот почему сейчас у девочек так хорошо обставлена спальня.

В «тихом» клубе альфрейные потолки и великолепная мебель: четыре восьмигранных дубовых стола, окруженных светлыми венскими стульями. Особенно заботливо обставлены уголки Дзержинского и Ленина. «Тихим» клуб называется потому, что в нем нельзя громко разговаривать. Здесь можно читать, играть в шахматы, шашки, домино и другие настольные игры.

За клубом — комната для книг. У дзержинцев до шести тысяч томов в библиотеке.

Верхний этаж занят спальнями. Их одиннадцать, и почти все они одинаковы: на двенадцать-шестнадцать человек каждая. В широком коридоре и во всех спальнях — паркетные полы. Все кровати — на сетках и покрашены под слоновую кость. Комнаты все очень высокие, много воздуха и солнца.

В том же здании внизу — мастерские, о которых еще много придется говорить, а на втором этаже — больничка-амбулатория и две-три кровати на всякий случай. Но коммунары редко болеют, и эти кровати стоят пустыми. Наш лекпом поэтому занимается больше врачебными разговорами и воспоминаниями о своей прежней медицинской деятельности, когда он был подручным у какого-то светила и затмевал это светило благодаря своему таланту и удачливости. Ребята лекпому не верят и смеются.

Как мы начали

Обычно детские дома, колонии, городки помещаются в старых монастырях или в бывших помещичьих гнездах. За время революции многие из этих ветхих построек обратились в развалины. Прежде чем размещать в них детей, приходилось восстанавливать разрушенное. Окрестные плотники и жестяники, производившие ремонт, ходили по имениям со своим нехитрым инструментом, украшая строения свежими сосновыми заплатами и доморощенными пузатыми печами. По уютным когда-то комнаткам размещались объекты социального воспитания. Для них расставлялись шаткие проволочные кровати, и на вбитых в стены четырехдюймовых гвоздях развешивались грязные полотенца. Те же плотники в честном порыве втиснули в расшатавшийся паркет новые сосновые ингредиенты, и под бдительным оком санкомов заходили по паркету половые тряпки, обильно смачиваемые грязной водой. Крылечки, предназначенные для нежных ножек тургеневских женщин, и перильца, на которые должны были опираться нежные ручки, не могли выдержать физкультурных упражнений неорганизованной молодежи, и зимою их обломки дослуживали последнюю службу человечеству: с аппетитом пожирал сухое дерево разложенный в печах огонь. Удобные для размещения ампирных диванчиков и раз-

личных пуфов небольшие комнатки не соответствовали новым требованиям. Многочисленные переборки и простенки были серьезным недостатком общежитий. Они были зачастую столь стары, что из них вываливались гвозди, и домашние штукатурки напрасно прибавляли к их толщине два-три вершка глины. Они стояли до поры до времени, эти бугристые изнемогавшие стены. «Клифтами»¹, штанами, рукавами и плечами вытирался мел, которым ребята белили стены. Обваливалась глина. Наступал момент, когда явственно обнажался древесный скелет. Последний часто использовался ребятами как топливо.

В монастырях — та же история и те же картины. Только стены в монастырях гораздо массивнее, только запахи в бывших кельях гораздо живучее: с большим трудом вытесняется приторный запах ладана. Но переборки и стены здесь разрушались скорее, крылечки в самом непродолжительном времени заменялись приставленной доской.

В монастыре детский дом прежде всего с великим увлечением приспособлял под клуб церковь. Десятисаженные высоты и храмовые просторы страшно увлекали наших педагогов, которым представлялось: вот в этих дворцах забурлит клубная работа, вот здесь разрешатся все проблемы нового воспитания. Перестройка этих церквей стоила очень дорого, а результаты получались, просто говоря, неудовлетворительные. Летом ребят не загонишь в полутемный гулкий и неуютный зал, а зимою ничем клубный воздух не отличается от свежего зимнего. Всё потому, что когда перестраивали храм, то, оказывается, не сообразили: никакими печами и никакими тоннами топлива помещение не обогреешь.

Полуподвальная трапезная со стенами и подоконниками шириною с полторы сажени, с нависшими сводами, обставленная древними столами длиною в четверть километра, конечно, обращалась в столовую. Она трижды в день наполнялась шумливой и нетерпеливой толпой, и поэтому никогда не находилось времени убрать столовую как следует. Пыльные окна скоро становились целыми государствами пауков, кое-как прикрытые мелом масляные спасители, богородицы и чудотворцы начинали одним глазом подсматривать за ребятами, а потом доходили до такой смелости, что и бороды их и благословляющие персты безбоязненно окружали ребячью толпу.

И в именьях и в монастырях очень много построек — домов, домиков, флигелей, складов. Как посмотрит, бывало, организатор на эти хоромы и на эти коридоры, так и себя не помнит. Но жадные на помещение педагоги просчитываются на этом обилии. Сотни детей через месяц уже сидят на всех подоконниках. Оказывается, что разместились не совсем удобно, что это нужно перестроить, а это построить заново, а это перенести. Целое лето энергичный организатор торгуется с плотниками и печниками. На осень разместятся по-иному. Но зимою в колонию приходит новый организатор, у которого новые вкусы. Начинаются стройки и перестройки. Действительно, все это богатство представляет просторное поле для деятельности. И так бесконечно перестраивается колония, но самого главного в ней всегда нехватка: теплых уборных нет, водопровода нет, электричества нет, и канализации нет, и нет никакого органического единства, и никакой гармонии. Игра вкусов на протяжении пяти — десяти лет настолько запутывает, что в последнем счете — все по-прежнему

неудобно и неуютно. В течение целого дня сотни ребят бродят из дома в дом, ибо в одном доме столовая, в другом — школа, в третьем — мастерские, в четвертом — клуб, в пятом — спальни, а в шестом — управление, и ни в одном из этих домов нет вешалки, а если и есть, то никто эту вешалку не охраняет. Никому не хочется остаться без пальто, без фуражки, и бродят ребята по колонии, не раздеваясь в течение всего дня... Надворные уборные в самый короткий срок делаются непригодными для прямого своего назначения, и зимой используют их все для того же отопления. В наскоро приспособленных умывальных всегда налито, напачкано — не лучше, чем в уборных. Так, несмотря на все ремонты и перестройки, отнимающие огромные средства, все это старье все-таки постепенно разрушается, осыпается и обваливается, пока, наконец, спасительный пожар не уничтожит последние остатки старого мира и пока, следовательно, детский дом не переводится в другое место.

Наш дом выстроили чекисты Украины за счет отчислений из своей заработной платы. Чекисты создали памятник великому Дзержинскому. Они обнаружили ясность и четкость в понимании задачи, последовательность и решительность в ее выполнении.

В конце декабря 1927 года наш дом был готов и оборудован. Были расставлены кровати, в клубах повешены гардины и закончены художниками уголки. В библиотеке на полках стояло до трех тысяч книг, в столовой и на кухне все было приготовлено, и сам Карпо Филиппович был на месте. Кладовые были наполнены всем необходимым. И только когда все это было готово, в коммуну приехали первые коммунары.

По этому поводу многие товарищи говорили: не по правилам сделано, ни на что не похоже, педагогической наукой и не пахнет.

Мы и раньше не раз слышали такие проповеди:

— Не нужно ребятам давать все в готовом виде. Не нужно им все до конца строить и оборудовать. Пусть детский коллектив собственными руками сделает себе мебель, украсит свой дом, вообще пусть он станет на путь самоорганизации, самообслуживания, самооборудования — только тогда у нас воспитается настоящий, инициативный человек-творец.

Как прекрасно звучат все эти слова!

Но ведь дело не только в словах.

Мы не против самоорганизации и самооборудования, пусть никто не обвинит нас в педагогическом оппортунизме.

Изготовить, скажем, мебель, столы, скамьи или даже стулья — это, конечно, очень хорошо. Но для этого нужно уметь это изготовить.

Если ты не умеешь сделать стол, то ты его и не сделаешь, а если сделаешь, то дрянной, и уйдет на это больше времени и больше средств, чем на покупку стола в магазине. И еще: не сделает этого стола не только ребенок, но и сам хитроумный организатор, который придумал именно такой порядок самооборудования. При таком мучительном способе самооборудования как раз никаких воспитательных достижений не получится. Наоборот, можно сказать с уверенностью, что самые талантливые ребята через месяц возненавидят вас за то, что их заставили спать на полу и обедать на подоконнике, что заставили их делать то, чего они не умеют делать.

Но доказать эти простые вещи не так уж легко. Многим педагогам

очень приятно показать посетителям рукой на все окружающее и сказать:

— Это дети сами сделали.

— В самом деле? Ах, какая прелесть! Действительно, как интересно!..

Как же вы этого добились?

И тогда изложить свои восхитительные приемы:

— Очень просто, знаете... Когда дети сюда прибыли, мы им ничего не дали, мы им сказали: сделайте себе все своими силами!

Мы хотели бы таким педагогам посоветовать:

— Почему бы вам самим на себе не испытать всю прелесть этого метода? Ведь если это вообще полезно, то полезно будет и для вас: может быть, и у вас прибавится инициативы и творческого опыта. Попробуйте вместе с вашими восторгающимися посетителями поселиться в пустых комнатах и самооборудуйтесь — сделайте себе столы и табуретки, сшейте одежду и т. п.

Дзержинцы вошли в готовый и оборудованный дом. Им предоставлено было все то, что нужно для мальчика и девочки: забота, чистота, красивые вещи, уют — все то, чего они давно были лишены и что должны по праву иметь все дети. Никто не захотел производить над ними неумных, жестоких и ожесточающих опытов.

Первые дзержинцы

Мы решили, что не стоит сразу впускать в дом толпу с улицы и потом смотреть, как будет разрушаться общежитие. Первые отряды дзержинцев были организованы из ребят, живших в колонии имени М. Горького. Это не значит, что мы выбрали из числа горьковцев самых лучших и организованных ребят и оставили колонию в руках новичков и социально запущенных. Отряды первых дзержинцев заключали в себе и сильных и слабых ребят, и даже ребят, довольно сомнительных в смысле пригодности их для роли организаторов нового дела. Но все они уже были связаны общей горьковской спайкой.

Из состава горьковской колонии было выбрано для колонизации Нового Харькова шестьдесят колонистов, в том числе пятнадцать девочек. Уже за три недели до переезда эти ребята были выделены советом командиров горьковской колонии и приняли участие в подготовке своего переезда. В мастерских горьковской колонии была изготовлена новая одежда, и 26 декабря все шестьдесят человек, нарядившись в новые костюмы и попрощавшись с колонистами, в снежный зимний день тронулись навстречу новой жизни.

Вошли они в новый дом все запущенные снегом, пухлые и толстенькие, какими не привыкли у нас видеть беспризорных. Бобриковые пальто еще больше толстили их.

Большинство первых дзержинцев были в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, но попадались между ними и старые горьковцы, представители первых полтавских поколений этого прекрасного племени.

Здесь были:

Виктор Крестовоздвиженский — мастер и работать, и командовать, и веселиться, человек, преданный самой идее детской коммуны, обладав-

ший исключительными способностями организатора: прекрасной памятью, способностью схватывать сразу множество вещей, привычкой к волевому напряжению. К тому же Виктор был очень искренним и благородным человеком. Единственным его недостатком, унаследованным от первых времен беспризорщины, было пренебрежение к школе. Он всегда презрительно относился к стремлению многих ребят попасть на рабфак и в глубине души считал рабфаковцев «панычами».

Митя Чевелий — «корешок» Виктора — многим отличался от него, но был его постоянным спутником на жизненном пути. Это был идеальный горьковец, подтянутый, стройный и немногословный. Дмитрий был крепко убежден в ценности и колонии и коммуны. Он видел очень много детских домов, принимал даже участие в реорганизации некоторых разваленных колоний. Он был очень хорош собою, но никогда не козырял этим и к девушкам относился чрезвычайно сдержанно.

И Виктору и Дмитрию было лет по семнадцати.

Третьим нужно назвать Кирилла Крупова, тоже «старика-полтавца». Кирилл всегда был очень способным и в настоящее время учится в одном из вузов Харькова. Неизменно активный, он был в комсомольской ячейке одним из самых видных членов. Правда, на него иногда нападало легкомысленное настроение. Он очень любил начать вдруг возню. Его желание встряхнуться после работы выражалось в диких прыжках и сумасшедшей беготне, причем ему далеко не всегда удавалось избежать столкновения с вещами и с людьми. Бывали у него минуты, когда на него «находило». Вдруг он становился забывчивым и недисциплинированным. После ему приходилось отдуваться на общих собраниях наравне с малышами. Но в общем это был хороший товарищ и прекрасный коммунар.

Павлуша Перцовский, любимец всех коммунаров, человек удивительно добрый, но с твердыми убеждениями. Такие люди, как он, сильны прежде всего тем, что умеют от чего угодно отказаться и с чем угодно примириться, если это касается материальных условий.

Вот Николай Веренин — это совсем другой человек. Пришел он к нам жадненьким и весьма нечистым на руку. Между словами «купить», «выменять», «отнять», «украсть» он не видел никакой качественной разницы и избирал всегда тот способ, который был наиболее удобным. Жизнь в горьковском коллективе, чрезвычайно настойчивом и не боявшемся никаких конфликтов, подействовала на Веренина только в том смысле, что заставила его быть гораздо осторожнее. Веренин был парень очень неглупый. Уже в колонии Горького он был в старшей группе и считался одним из самых образованных коммунаров. Он умел объединить нескольких невыдержанных товарищей, чтобы вместе с ними начать игру в карты, проникнуть в кладовку, организовать наблюдение за тем, что плохо лежит, и т. д. Новичков Веренин в первый же день брал на свое попечение и эксплуатировал их, как только было возможно. Использовал он и кое-кого из ребят постарше, тех, кто поглупее. В числе таких был Охотников, которого ребята называли «удивительная балда». Однако политика Веренина еще в колонии Горького начала срываться. Его выкинули из комсомола и стали смотреть на него как на последнего человека.

В самый день переезда новых дзержинцев из Куряжа в Новый Харь-

ков Веренин был назначен сопровождать воз с ботинками. И конечно, пара ботинок исчезла неизвестно куда. Веренин был не один — с ним был Соков, спокойный и стройный мальчик, самым своим видом внушавший к себе доверие. Веренин указывал на то, что с ними был конюх и им нужно было отлучаться от подводы по делам. В первый же день в коммуне Дзержинского пришлось разбирать такое грязное дело.

Свою жизнь в новом доме мы начали с организации самоуправления.

Как только коммунары разделись и наскоро ознакомились со зданием коммуны, Крестовоздвиженский взялся за сигнальную трубу, предусмотрительно купленную накануне. Впервые в нашем дворце зазвенели звуки старого сигнала, так всем хорошо знакомого, такого зовущего и такого непреклонного:

«Спеши, спеши, скорей!»

Оживленные, радостные ребята, восхищенные и домом и новизной своих костюмов, сбегались в зал «громкого» клуба². Витька, вытирая ладонью мундштук сигналки, засмеялся:

— Хорошо! Проиграл один раз — и все на месте.

Действительно, в колонии Горького, чтобы собрать общее собрание, да еще такое экстренное, пришлось бы с трубой в руках обходить все корпуса и закоулки.

В «громком» клубе на новых диванах киевской работы расселись шестьдесят новых коммунаров.

На собрании мы занялись подсчетом: для слесарной нужно две смены, для столярной две смены, для швейной две смены — вот уже шесть отрядов. Еще сапожная мастерская — тоже выходит два отряда, но относительно нее были сомнения.

— Тут такие мастерские и машины, что никто не захочет идти в сапожную, — говорили ребята.

Наметили и еще один отряд — хозяйственный. По горьковскому плану в этот отряд входили ключники, завхозы, кладовщики, секретарь совета командиров и вообще все должностные лица колонии или ребята, имеющие индивидуальную работу.

Решили на собрании, что каждый коммунары сейчас же напишет на клочке бумаги, в какой мастерской он желает работать, а совет командиров немедленно соберется и рассмотрит все эти записки. Совет командиров выбрали тут же на собрании и поручили ему распределить по отрядам командиров. Выбрали и секретаря совета — Митю Чевелия. Первыми нашими командирами были: Крестовоздвиженский, Нарский, Соков, Перцовский, Шура Сторчак и Нина Ледак.

Только тронулись все из «громкого» клуба, а Витька уже затрубил «сбор командиров».

Коммунары разошлись по коммуне, главным образом по мастерским, где их ожидали новенькие станки — токарные, сверлильные, шепинги³, фрезерные, долбежные.

А в комнате совета Митя Чевелий оглядел всех шестерых своими черными глазами и сказал ломающимся баском:

— Совет командиров трудовой коммуны имени Дзержинского считаю открытым.

Михайло Нарский, самым видом своим противоречащий всякому представлению о торжественности, сказал, весело шепелявя:

— Хиба ж это совет командиров? Шесть каких-то человек! От, понимаешь, даже смешно! Вот в колонии хиба ж так?

Но Митя сердито оборвал его:

— Если тебе смешно, так выйди в коридор и посмейся.

Нарский смущенно наклонил лохматую голову и сказал:

— Та я шо ж? Я ж ничего... Так только...

Долго пришлось просидеть за столом совету командиров, распределяя коммунаров по отрядам, учитывая все личные особенности и желания, считаясь и с требованиями заведующего производством. Особенно трудно было с сапожной мастерской: никто не хотел посвятить свою жизнь сапожному делу. Пришлось в скором времени мастерскую закрыть.

Занялись и Верениным. Недолго бузил Николай, повинился в грехе, и сказал ему Митька:

— Ото ж, щоб було в послідній раз, бо не знаю, що тобі зроблю!

И удивительно! — как священный завет принял Веренин слова Митьки: сегодняшний случай с Николаем действительно оказался последним.

Первый отряд

В коммуне теперь двенадцать отрядов.

Первым коллективом на производстве в коммуне всегда был отряд коммунаров, а не класс или спальня.

По нашей системе вся группа коммунаров, работающая в той или другой мастерской в одну из смен, составляет отряд.

Таким образом у нас получилось:

Первый отряд — токарно-слесарный цех первой смены.

Второй отряд — тот же цех второй смены.

Третий отряд — столяры первой смены.

Четвертый отряд — столяры второй смены.

Пятый отряд — швейная мастерская первой смены.

Шестой отряд — швейная мастерская второй смены.

Седьмой отряд — литейный цех первой смены.

Восьмой отряд — литейный цех второй смены.

Одиннадцатый отряд — никелировщики первой смены.

Двенадцатый отряд — никелировщики второй смены.

Только десятый отряд соединяет в себе «шишельников»⁴ обеих смен, так как разбивать их было нецелесообразно — слишком маленькие получились бы отряды.

Девятый отряд — запасной: он посылает помощь остальным отрядам, если кто-нибудь заболит или командировается на работу на сторону. Обычно в девятый отряд входят те коммунары, которые еще не определили своих симпатий в производственном отношении, или новенькие. Новеньким дают возможность присмотреться и попробовать себя на работе.

Некоторые из отрядов сложились уже в крепкие коллективы; другие, напротив, никак не подберут постоянного состава. Сейчас первые шесть отрядов состоят из ребят, давно живущих в коммуне.

По сменам коммунары распределились в зависимости от принадлежности к школьной группе. В коммуне в последнем учебном году было шесть групп семилетки: одна третья, две четвертых, две пятых и одна шестая.

Самый заслуженный и лучший отряд в коммуне — это первый. За восемь месяцев междуотрядного соцсоревнования три месяца победителем был этот отряд.

В первом отряде подобрались знающие ребята, лучшие наши металлисты, старые коммунары. Из четырнадцати человек в отряде семеро уже проходили командирский стаж; некоторые — по нескольку раз. Многие занимают теперь более ответственные посты — заместителя заведующего, членов санкомов (а в санком всегда выбирается самый подтянутый и чисто-плотный коммунары). Первый отряд носит почетное звание комсомольского, так как он составлен исключительно из комсомольцев.

Командует отрядом Фомичев. Он избирается на командирский пост уже не первый раз.

Фомичев — веселый и неглупый парень, бесспорный кандидат на рабфак, способный производственник. Только недавно он вместе с Волчком перешел на токарный станок — и вот теперь уже Фомичев и Волчок идут первыми по токарному отделению и перегнали даже самого заслуженного нашего токаря Воленка. И Волчок и Воленко — оба в первом отряде. У них несколько странные отношения. Они по ряду причин не любят друг друга, но стараются не показывать этого в коммуне. Воленко изрядно завидует успехам Волчка в токарном цехе, завидует его исключительному положению в коммуне.

Волчок — общий любимец и общепризнанный авторитет. Этот семнадцатилетний мальчик уже давно в комсомоле, всегда он расположен ко всем, всегда улыбается и в то же время подтянут и по-коммунарски подобран. Он — старый командир оркестра и умеет держать его в руках, несмотря на то что в оркестре подобрался народ, имеющий большой вес в коммуне. Коммунары в восторге от музыкальных талантов Волчка. Действительно, он — незаурядный музыкант. Он ведет партию первого корнета, освобожден педагогическим советом от занятий в нашей школе и ежедневно посещает Музыкальный институт, готовится к серьезной работе по классу духового оркестра. Коммунары давно привыкли к своему оркестру, тем не менее они всегда собираются послушать, как выводит Волчок свои замечательные трели. За такое мастерство коммунары могут простить много грехов. Волчок умеет руководить, не потрафляя никаким слабостям товарищей и не вызывая к себе неприязненного чувства. Вот почему, когда Волчок командовал отрядом, отряд так легко захватил коммунарыское знамя, удерживал его три месяца и сдал пятому отряду с боем.

Сейчас Волчок подчиняется Фомичеву как командиру отряда, но Фомичев играет на баритоне в оркестре и подчиняется Волчку как командиру оркестра. И если Волчок в отряде безупречен, то нельзя того же сказать о Фомичеве в оркестре. Опоздать на сыгровку, потерять мундштук, нотную тетрадь, иногда побузить во время игры — для Фомичева не редкость. Наш капельмейстер Тимофей Викторович раз даже просил его уйти из оркестра.

Волчку не раз приходилось призывать Фомичева к порядку, иногда даже представлять в рапорте вниманию высших органов коммуны.

Но у Фомичева мягкий характер. Он всегда добродушен, никогда не обижается на Волчка и вечно обещает ему, что «этого больше не будет». Трудно ему пересилить свою легкомысленную и немного дурашливую природу. Но он так же любит Волчка, как и все коммунары, и сколько Волчок ни отказывался, Фомичев все же настоял в совете командиров, чтобы Волчка назначили его помощником по отряду.

Недавно первый отряд должен был поливать клумбы перед зданием коммуны. Командир не сумел это дело организовать как следует: не распределил работу между коммунарами, не успел согласовать ее с другими работами отряда, не учел отпускных расчетов по отряду в день отдыха, не получил вовремя леек, не наладил брандспойты и вообще запутал дело так, что хоть зови следователя. Вышло все это не потому, что не хватало у него сообразительности, а просто по его халатности и забывчивости.

Получился полный беспорядок. Коммунары здорово обиделись на своего командира.

Волчок, с улыбкой наблюдая неразбериху в работе отряда, говорит Фомичеву:

— Чудак же ты! Как же ты назначаешь парня к брандспойту на шесть часов вечера, если он с пяти стоит на дневальстве в лагерях.

Командир сердится и кричит:

— Вы все только разговариваете, а я должен каждого просить! Боярчук на дневальстве? Хорошо. А почему Скребнев не мог взять кишку? Ты их защищаешь, а они радуются.

Волчок снова спокойно:

— Вот чудак! Ну как тебе не стыдно? Разве Скребнев справится с брандспойтом? Он его и не подымет. Ты сообрази.

Фомичев в таких случаях именно сообразить и не может. Он «парится» и кричит, хватая первого встречного, уже и без того злого:

— Боярчук, иди на клумбу!

Хитрый и смешливый рыжий Боярчук поворачивает к командиру свою веснушчатую физиономию и, дурашливо уставившись на него, говорит ехидно:

— На клумбу идти? А ты ж сказал, чтобы я бочки прикатил...

Все начинают смеяться.

Тогда в полной запарке Фомичев приказывает:

— Нечего долго разговаривать! Бери ты, Волчок, брандспойт.

Волчок заливается смехом:

— Вот чудак, все я да я: и вчера я и позавчера я! Чего ты все на меня?.. Ну хорошо, что с тобой делать?

И до поздней ночи возится Волчок с клумбой, наполняет бочки водой, расстилает для просушки мокрый брандспойт и убирает в вестибюле, через который приходится протягивать кишку от домового крана.

Рядом с ним напряженно работает сам командир, но работой командует уже не он. Три-четыре коммунара из отряда, приведенные в порядок веселым умным Волчком, деятельно носятся с поливалками.

Сложную и хитрую политику ведет Воленко. Это мальчик серьезный, немного обозленный, немного недоверчивый.

Он чрезвычайно активен и вполне заслуженно носит сейчас звание дежурного заместителя⁵. Но, занимая и этот пост, стоя наиболее близко к управлению в коммуне, он всегда склонен подозревать всякие несправедливости, всегда готов стать на защиту кажущегося угнетенным. А так как угнетенных в коммуне нет, то Воленко часто поддерживает отдельных бузотеров и неудачников. Поддерживает он и Фомичева. Часто это приводит к конфликтам с Волчком. В голубой повязке дежурного заместителя Воленко неуязвим, его решения не подлежат обсуждению, и он этим пользуется в своей молчаливой борьбе с авторитетом Волчка.

Один раз Волчок поставил вопрос о Фомичеве перед общим собранием.

Играл наш оркестр в городе в каком-то клубе. Началась торжественная часть, весь оркестр в яме, а Фомичев пропал. Послали его искать, нашли в буфете. Говорят:

— Иди.

А он:

— Что, мне уже и отдохнуть нельзя?

— Да от чего ты будешь отдыхать? Ведь еще и не играли.

— А дорога?

Пришлось самому Волчку идти ругаться с ним. Вернувшись в оркестр, Фомичев заявил, что никак не может найти мундштук. А мундштук был в кармане пальто. Так и играли торжественную часть только с одним баритоном, а в антракте даже вызывали дежурного члена клуба, искали мундштук. Коммунары возмутились ужасно.

Припомнили все прежние проступки Фомичева. Редько из четвертого отряда прямо предложил:

— Из-за него только позоримся всегда. Выкинуть его из оркестра, вот и все!

Фомичев хмуро стоял посреди зала⁶ и только огрызался:

— Ну что ж, и выкинь.

Волчок знал, что выкинуть нельзя, не скоро приготовишь нового баритониста, но и он пугал:

— Да и придется.

И вот тут Воленко, когда прения закончились, нанес свой удар:

— Замечание в приказе!

Волчок, чуть не плача:

— Да что ты, Воленко, замечание! Сколько уже замечаний было!

— А ты как считаешь? — спросил Воленко с подчеркнутой серьезностью.

— Как считаю?

Волчок, улыбаясь, оглянулся и снова сердито показал на своего командира:

— Вот, смотрите: стоит — как с гуся вода. Ему десяток нарядов закатить нужно, чтоб помнил.

В собрании сочувствующий гул. Но Воленко настаивал:

— Что же тут такого? Забыл, вот и все. Не нарочно он сделал.

Председатель собрания, наконец, прекратил этот поединок. Фомичеву объявили замечание в приказе. Однако легче ему не стало. Когда отряд пришел в спальню, все напали и на Фомичева и на Воленко. Последний снял уже голубую повязку, и, следовательно, с ним спорить было можно.

Да он и сам, наконец, понял, что поступил с Фомичевым слишком милостиво.

Если сравнивать Фомичева, каким он был два года назад, с Фомичевым теперешним — нельзя не поразиться такой переменной.

Он был в высшей степени ленив, неаккуратен, рассеян и груб. Несколько раз общее собрание приходило в отчаяние: выходило так, что хоть выгоной Фомичева из коммуны.

Этого Фомичева мы воспитали и сделали из него образцового коммунара. Теперь, если напомнить ему о прошлом, он улыбнется во весь рот и скажет: «А ведь и в самом деле!» Теперь, хоть и порядочно еще недостатков у Фомичева, все же недаром его на второй срок выбрали командиром лучшего отряда. Может он многое забыть и многое перепутать, но нет лучше его в цехе: умеет он и с мастером поговорить о разных неполадках, и всем коммунарам с ним весело и занятно. В комсомоле и разных комиссиях он, если захочет и не забудет, всякое дело делает добросовестно и даст вразумительный отчет. Нет такого вопроса в коммуне, на который бы он не отозвался.

И еще вот что хорошо: он не обидчив и каждому члену отряда он приятель.

Пацаны

На другом полюсе коммуны находится отряд пацанов.

В этом десятом отряде в настоящее время собраны не все пацаны. Года полтора тому назад они имели полную автономию и составляли довольно сильную общину, их было человек тридцать, занимали они отдельные спальни и выбирали себе своего командира. Я уже рассказывал, как они потеряли свою самостоятельность.

Собственно говоря, никаких преступлений и тогда пацаны не совершали. В то время их еще не пускали в производственные мастерские, а предоставляли им возможность работать в изокружке⁷, в котором много они перепортили материалов и инструментов. В изокружке дела было очень много: модели аэропланов, паровая машина, выпилка, разные игры, в том числе знаменитая «военная игра». Малыши, постоянно нуждаясь в «импорте» таких материалов, как бамбук, резина и пр., вели деятельные внешние сношения. Бамбук они получали у коммунарской спорторганизации и потому всегда с нетерпением ожидали очередной лыжной аварии, сопровождавшейся зачастую поломкой палок. С резиной, необходимой для изготовления аэроплановых моторов, дело обстояло гораздо сложнее. Для этого поддерживались сношения с расположенным недалеко от нас авиазаводом. Скучные партии резины, достававшиеся через знакомых рабочих и комсомольцев, слабо покрывали нужду в этом материале. Однажды пацаны отправили делегацию к самому начальнику завода и с тех пор были этим необходимым сырьем обеспечены на сто процентов. Благодаря этому изокружковское дело стало поглощать у них очень много энергии, и ее не хватало для исполнения нарядов по коммуне. А без работы в коммуне никогда

ни один коммунар не оставался. В особенности часто не справлялись они с обязанностью отстаивать посты в сторожевом отряде. Главный пост этого временного (недельного) сводного отряда — в вестибюле. Дневальный обязан смотреть, чтобы в коммуны не входили чужие, чтобы все вытирали ноги, чтобы пальто вешали на вешалки, а не бросали как попало на барьеры вестибюля. Главная же задача дневального — проверять ордера в спальню. Днем вход в спальню не разрешается без ордера дежурного по коммуне. В ордере пишется, на сколько минут разрешается коммунару войти в спальню и что можно из спальни вынести. Дневальный проверяет ордер и следит за тем, чтобы предписания дежурного по коммуне были выполнены. Другие коммунары, стоя на посту, умели все это делать как-то без хлопот и скандалов. У пацанов же всегда получалось не совсем ладно. То прозеваает дневальный какого-нибудь нарушителя, заглядевшись на интересное зрелище во дворе или в здании коммуны, то, напротив, проявит излишнюю энергию: покажется ему, что слишком долго кто-нибудь задержался в спальне, и он спешит туда вместе со своей винтовкой — возникает конфликт, а в это время уже дежурный по коммуне записывает в рапорт, что дневального на посту не было. В особенности много претерпевали пацаны оттого, что в сутках так мало помещается часов. Никогда нельзя успеть сделать всех дел, которые предусмотрены планом, не говоря уж о работе сверх плана. Не только ведь заниматься в изокружке — нужно и в школе хорошо учиться, и поиграть, и в лес пойти, и выкупаться, и зайти в совет командиров узнать новости, и свести счеты с каким-нибудь противником, и поговорить, и на дневальстве постоять, и умыться, и почиститься. Ребята не успевали всего сделать. Особенно страдали те процессы, которые не могли непосредственно заинтересовать пацанов, например умывание, чистка ботинок и пр. К тому же в своей деятельности пацаны развивали предельные темпы, причем большинство так называемых механических препятствий преодолевали простейшим способом: перелезали через изгороди, лазили в окна, топтали цветники. Это, конечно, сказывалось и на их одежде. Выглядели они иногда возмутительно с точки зрения и дежурного по коммуне, и дежурного члена санкома. В результате всего этого — неизбежный рапорт, и провинившегося выводили на середину на общем собрании. Коммунары в общем относились к ним ласково, однако это не мешало требовать порядка. Совет командиров всегда считал, что виноваты в беспорядках сами наши командиры. Несколько раз предлагали малышам хороших командиров, но отряд гордо держал знамя независимости: «Зачем нам ваши командиры? У нас и своих ребят хватит». Кандидатов избирательных комиссий они отводили в особенности ретиво, и поэтому на избирательных собраниях всегда им удавалось проводить своих кандидатов.

Все это было давно.

Сейчас десятый отряд уже участвует в производстве. Он обязан представить в день тысячу четырехста «шишек».

Шишка — это сделанная из песка и воды куколка, которая при формовке вкладывается в форму, чтобы заполнить проектированную пустоту полый вещи. При литье место, занятое шишкой, медью не заполняется. Для изготовления шишек есть специальные шаблоны и формы: для кроватных углов, для масленок, для трубочек и т. п. Отряд Мизяка делится на две

бригады. Каждая бригада должна приготовить в смену семьсот шишек. Приблизительной нормой на отдельного коммунара считается сто шишек за четырехчасовой рабочий день. Для шишек нужно готовить еще и проволоку, на концах которой они подвешиваются внутри формы при отливке. За каждую шишку коммунар получает копейку.

Многие из членов десятого отряда теперь уже делают по двести шишек, и благодаря такой успешности у нас скоро предвидится сокращение десятого отряда и перевод старших в более серьезные цехи. Мечтают они все о токарном цехе.

В десятом отряде много замечательных ребят. Пока что расскажем только о «старом» нашем коммунаре Петьке Романове.

У Петьки есть брат Алексей, старше его на полтора года и опытнее. Но Петька к старшему брату относится с некоторым высокомерием. Алексей моложе его по коммуне, и его имя чаще попадает в рапортах, потому что он человек излишне предприимчивый и с собственническими наклонностями.

Петьке только двенадцать лет. Родился он на Кубани. Давно уже судьба разбросала Петькину родню по свету. После небольшого беспризорного стажа попал Петька в коммуну. А через три месяца прислали из коллектора⁸ и Алексея. Петька и Алешка — низкорослые подростки, очень похожие друг на друга. Только Алешка веселее и не такой курносый. Петька же большею частью серьезен.

Как-то случилась с этими представителями фамилии Романовых с Кубани потешная история.

В тот самый день, когда привели Алешку из коллектора, пришли в коммуну два мальчика, оба черные от паровозной копоти и угля, оба «небритые и немытые», оба лет по тринадцати. Заявили они, что работали в Донбассе и теперь хотят устроиться в детском доме. Совет командиров, экстренно собранный, отнесся к ним благожелательно. Коммунары накормили и переодели их в кое-какое барахлишко, назвали их шахтарями, но в коммуну принять отказались: шахтари были неграмотны, а у нас первой группы никогда не было. Решили отвести их в коллектор и просить принять для отправки в какую-нибудь колонию.

Шахтари согласились. Им разрешили переночевать в клубе. Они ушли из совета командиров и заигрались где-то с ребятами.

На другой день я почему-то забыл о них. Только к вечеру вспомнил, что нужно привести в исполнение постановление совета командиров. Вызвал срочно Нарского, дал ему записку в коллектор и сказал:

— Отведешь этих шахтарей в коллектор. Вот тебе письмо совета командиров, а вот деньги на проезд.

Нарский, как всегда, с готовностью салютнул и, ответив «Есть!», бросился спешно исполнять поручение. Как всегда, через минуту возвратился:

— А какие это пацаны?

— Да вот те два, что вчера в совете командиров... Шахтари.

— А, знаю! — обрадовался Нарский. — Шахтари? Знаю... А где они?

— Там где-то, в саду. Разыщи и доставь в коллектор, да смотри, чтобы приняли. Без того и не возвращайся.

— Есть! — повторил Нарский и исчез.

Часа через два кто-то из командиров увидел, что Петька сидит на парадной лестнице и плачет.

— Что с тобой? Чего ты плачешь?

Петька отвернулся и перестал плакать, но разговаривать не хотел.

Коммунары почти никогда не плачут, и все кругом были уверены, что с Петькой случилось что-то серьезное.

— Расскажи, чего ты реवेशь?

Петька поднялся со ступеньки, зацепился рукой за поручни и, наконец, сказал серьезно и решительно:

— Отправьте меня из коммуны.

— Почему?

— Не хочу здесь жить.

— Почему?

— Отправьте меня к брату.

Все удивились. Как будто никакого такого брата, к которому можно было бы отправить Петьку, у него не было.

— К какому брату?

— К какому! К старшему...

— А где он живет?

— Я не знаю... Я не знаю, куда вы его отправили.

— Мы отправили?.. Что ты мелешь? Ты здоров?

— Я же видел... Нарский Мишка повел. Я ему говорю: «Куда ты его ведешь?» А он говорит: «Не твое дело!» И повел.

— Нарский повел в город твоего брата? Одного?

— Нет, еще какого-то пацана.

Немедленно я выяснил потрясающие подробности. Нарский захватил и отвел в город одного из шахтарей и нового Романова — Алешку. Второй шахтарь продолжал играть в саду и чувствовал себя прекрасно.

Пришлось срочно организовать вторую экспедицию, отправлять второго шахтаря и возвращать Романова.

Сильно обрадовался Петька этому обороту дела. Когда экспедиция возвратилась, он долго оглядывал своего найденного вторично брата, помог ему искупаться и переодеться, начал знакомить с коммуной. Он упросил совет командиров назначить Алешку в свой отряд.

С тех пор как Алешка и сам сделался матерым коммунаром, Петька лишил его своего покровительства. Он кроет брата на собраниях под улыбки всего зала и записывает в рапорт при всякой возможности.

Петька расхаживает по коммуне, всегда хлопотливый и занятой. Только одного он боится — экскурсий и делегаций. Боится с того времени, когда оскандалил коммуну и всю пионерскую организацию.

Приехал однажды в коммуну один из членов высокой партийной организации. Встретил в коридоре Петьку, задрал его остроносую⁹ морду вверх и спросил:

— Вот так коммунары! Ты грамотен?

— А как же! — сказал Петька.

— Может быть, ты и политграмоту знаешь?

— Ну да, знаю.

— А ты знаешь, кто такой Чемберлен?

— Знаю, — улыбнулся Петька.

— А ну, скажи!

— Председатель Харьковского исполкома.

Посетитель усмехнулся:

— Что ты говоришь? Ты, брат, ошибаешься.

Петька задумался и вдруг махнул рукой безнадежно, не видя возможности выйти из положения.

И убежал в сад.

С тех пор Петька, как только увидит экскурсию или делегацию, немедленно скрывается в лес.

Утро в коммуне

Ночь. Все в коммуне спят, только дневальный бодрствует. В вестибюле возле памятных мраморных досок стоит небольшой дубовый диванчик. Это место дневального.

В карауле бывают по очереди все, без исключения, коммунары. Каждый дневальный стоит на карауле два часа. Совет командиров назначает на две пятидневки разводящего, который освобождается от всех работ в коммуне и обязан следить за правильностью смен дневальных и за правильным исполнением ими своих обязанностей. Разводящий является начальником караула в коммуне и вечером сдает рапорт о состоянии сторожевого сводного отряда. Сторожевым отрядом считаются коммунары, дежурившие по караулу в течение дня.

Редко в этом рапорте отмечаются ошибки дневальных. Коммунары — народ дисциплинированный, и в коммуне, кажется, не было случая, чтобы дневальный не вовремя явился на пост или ушел с поста самовольно. Вот только с новенькими коммунарами бывают иногда скандалы. Заснет на дневальстве парень, а уж тогда ни один коммунар не откажется взять и унести винтовку.

Бедный страж просыпается и сразу сознает, что беда непоправима. Придется ему все утро провести в поисках винтовки, и хорошо, если удастся найти похитителя и уговорить его возвратить винтовку. В большинстве же случаев бывает, что винтовка находится уже после того, как весть о позорном поведении дневального облетит всю коммуну и со всех сторон на сонливого стража посыплются вопросы:

— А где же твоя винтовка?

— Что же это ты оскандалился?

Однажды проезжая педагогическая комиссия пришла в ужас:

— Что это у вас за казарма? Зачем эти часовые?

Кое-как нам удалось убедить педагогов, что без часовых нам жить никак невозможно: и беспорядок будет в спальнях, и грязь. Ведь в коммуну ходит много посторонних людей, которые считают, что если они принесут в коммуну каких-нибудь полкилограмма пыли и грязи, то это пустяк, о котором не стоит говорить.

Коммунары же хорошо знают, что принесенную на сапогах пыль завтра нужно убирать и щетками и тряпками, да и то, конечно, всю не уберешь — много ее попадет в легкие.

Эти соображения немного убедили педагогов. Но тогда возник вопрос:

— А зачем ему винтовка? Стрелять-то ведь он не будет.

На этот вопрос ответить было уже труднее. И в самом деле, дневальный не будет стрелять, да и патронов у него нет. Но коммунары очень дорожат этой винтовкой в руках дневального. Это символ его значения, это знак того, что ему доверено коллективом очень много — охрана коллектива. Коммунар знает также, что его винтовка в руках — это прообраз будущей винтовки, которую ему нужно будет взять в руки для защиты своей рабочей страны и своей революции. И если теперь ему придется за этой винтовкой ухаживать и за нее отвечать, то это облегчит ему усвоение будущих военных обязанностей.

К тому же винтовка в руках — это просто удобно и целесообразно. Каждому проходящему — и своему и постороннему — сразу ясно, что перед ним дневальный, которому нужно подчиняться без всяких споров.

Дневальный коммунар имеет право сидеть, он должен вставать только при появлении заведующего коммуной, дежурного по коммуне и командира сторожевого отряда. Мы таким образом превращаем дневальство в гимнастику внимания и зоркости, обостряем слух и глаз и приучаем коммунара к тому молчаливому сосредоточению, которое необходимо часовому.

Та же педагогическая комиссия возмущалась:

— Ведь это же безобразие! Стоит мальчик, молчит и ничего не делает. Хоть книжку ему дайте, все-таки с пользой проведет время. Ведь так стоять страшно неинтересно.

Присутствовавший тут же представитель ГПУ, человек военный и не отравленный педагогическими «теориями», даже побледнел от удивления:

— Как вы говорите? Часовому читать книжку?.. Да разве это возможно!

Одним словом, мы совершаем это педагогическое преступление и наш дневальный стоит с винтовкой.

Обыкновенно дневальные коммунары очень строги. В рапорте дневального отмечаются самые мельчайшие нарушения санитарной и общей дисциплины: «Баденко не закрыла за собою двери», «Котляр не вытер ноги», «У Орлова пальто без вешалки».

Сторожевой отряд имеет право всякое пальто без вешалки сдать в кладовую, и собственнику пальто после этого придется хлопотать у секретаря совета командиров — получать ордер на выдачу его пальто из кладовой.

Недавно дежуривший на дневальстве Петька Романов записал в рапорт самого заведующего производством — всеми уважаемого Соломона Борисовича Левенсона — за то, что на предложение вытереть ноги Соломон Борисович возразил: «Зачем же? У меня ноги чистые». Пришлось Соломону Борисовичу на общем собрании коммунаров извиняться и приводить объяснения: «Занят очень, много приходится бегать, иногда и забудешь».

Много дела днем нашему дневальному, но и ночью ему скучать не приходится. Ночью в здании коммуны не остается ни одного взрослого,

так как квартиры сотрудников все в других домах, а дежурства воспитателей в коммуне нет. Дневальный запирает двери, как только сотрудники разойдутся, запирает кабинет заведующего и проверяет, все ли окна в доме закрыл дежурный отряд. У вечернего дневального карточка, на которой он записывает, кого нужно будить раньше других. Эта карточка передается следующим дневальным.

Раньше всех нужно будить старшую хозяйку. Эта должность возлагается чаще на мальчиков, но название ее сохраняет по традиции женский род. Ключ от кухни хранится у старшей хозяйки, и с ее приходом начинается кухонная жизнь.

После старшей хозяйки поднимается дежурный по коммуне, или сокращенно ДК. Отличает его красная повязка. Всех дежурных по коммуне девять. Их коллегия избирается общим собранием вместе с советом командиров на три месяца, обычно из старших коммунаров. ДК организует весь рабочий день коммуны. ДК обходит коммуноу, подписывает у старшей хозяйки ордера в кладовую, проверяет все помещения коммуны и получает у дневального ключ от кабинета заведующего. Без четверти шесть дневальный будит дежурного сигналиста. Сигналистов тоже девять. Каждый ДК имеет у себя постоянного, прикрепленного к нему трубача, с которым он сработался. Трубачом в коммуне быть дело не простое. Сигналов очень много, все они более или менее сложны, поэтому почти все трубачи набираются из оркестра.

Ровно в шесть разливается по коммуне сигнал. Это веселый дробный мотив. К нему давно подобрали слова, как и к большинству сигналов:

Ночь прошла. Вставайте, братья!
Исчезают тень и лень.
Блещет день.
За мотор,
За станок и за топор!
Нам
Встать пора к трудам!

Притихшая в предутреннем сне коммуна вдруг наполняется шумом. Коммунары немедленно приступают к уборке. Уборочных отрядов у коммунаров нет, мы не имеем возможности отрывать от производства лишнюю рабочую силу. У нас снимаются с производства только ДК, командир сторожевого и старшая хозяйка. Уборка же производится всеми коммунарами авральным способом. Наладить эту уборку было делом далеко не легким. Только в совете командиров пятого созыва порядок уборки был выработан окончательно. Каждое утро нужно убрать всю коммуноу, то есть вымыть полы там, где нет паркета, подмести, вытереть пыль на стенах и на вещах, протереть окна, поручни лестниц, убрать в уборных, вычистить медные части, поправить гардины и занавеси. Это — огромная работа, и ее вполне хватит на сто пятьдесят человек коммунаров.

Самое распределение этой работы — распределение всей территории коммуны между уборщиками и в особенности распределение орудий уборки — оказалось в свое время сложнейшей задачей, требующей изобретательности и четкости. В настоящее время работа по уборке распреде-

ляется советом командиров на очередном заседании в девятый день каждой декады, на декаду вперед. Наряд дается на отряд. Работа по уборке в том или другом пункте определяется числом очков, например:

Убрать уборную	4 очка
Убрать пыль в классе	2 *
Подмести «громкий» клуб	4 *
Вытереть пыль в «тихом» клубе	4 *
Вытереть пыль с поручней лестниц	3 *
Вытереть пыль в кабинете	1 очко
Подмести кабинет	1 *

и т. д.

В общей сложности это составляет семьдесят пять очков, то есть на каждых двух коммунаров приходится одно очко. В согласии с этим каждому отряду полагается известное количество очков, например: для десятого отряда — четыре очка, потому что в отряде восемь коммунаров, а для первого отряда — семь очков, потому что здесь коммунаров четырнадцать. Секретарь совета командиров заранее заготавливает билетки. На одной стороне билетика написано название работы, а на другой обозначено только число очков. Все эти билетки раскладываются на столе номерами вверх, и каждый командир набирает себе столько очков, сколько полагается для отряда. Очередь отрядов по выниманию билетиков все время передвигается. Если в прошлую декаду начинали с первого отряда, то теперь начинают со второго, а в следующую будут начинать с третьего. Каждому отряду предоставляется право обменяться своим билетом с другим отрядом, если будет достигнуто соглашение. Когда все такие междуотрядные соглашения закончены, секретарь совета командиров записывает, что кому попало, и все это объявляется в приказе вечером от имени совета командиров. Копия приказа выдается санитарной комиссии. Каждый отряд получает на декаду орудия уборки. Работа по уборке считается произведенной, если она не сдана командиром или его помощником дежурному члену санитарной комиссии. Для этого ДЧСК¹⁰ обходит все помещения по приглашению отряда, внимательно проверяет, как подметен пол, как протерты стекла, как вытерта пыль. Когда все отряды уборку сдали, дежурный член санитарной комиссии подходит к ДК и рапортует ему:

— Уборка сдана.

Только после такого рапорта ДК может распорядиться о дальнейшем движении дня. Если же этого рапорта нет, день задерживается. Мы привыкли в таких случаях не «париться» и не волноваться.

Недавно третий отряд очень плохо убрал верхний коридор. Дежурный член санитарной комиссии отказался принять уборку. Третий отряд был того мнения, что уборка проведена хорошо, что пыль на батареях — дело несущественное и что ДЧСК просто придирается. Отряд сложил свои орудия производства и заявил, что уборку он повторять не будет.

ДК попробовал поговорить с отрядом по совести, но отряд заупрямился, и его командир, белокрысый парень Агеев Васька, сказал:

— Чепуха какая — пыль на батареях! Это дело генеральной уборки. Смотри ты: засунул руку черт его знает куда! Хорошо, что она у него как соломинка. А у нас и руки ни у кого такой нет.

Дежурный член санитарной, маленький юркий Скребнев, сверкает белыми зубами.

— Смотрите, у них руки для уборки не годятся! Скоро скажете — полы не будем мыть, нагнуться никак нельзя, видите, животы какие нажили.

Швед, помощник командира, мягкий и ладный, серьезно обращается к своему командиру:

— Скажи, пускай уберут ребята. Можно послать на батареи Кольку, он просунет руку.

Агеев — руки в карманы и кивает на Скребнева:

— Записывай в рапорт! А я запишу, что ты придираешься, как бюрократ.

Сидим на диване у парадного входа, нас любопытно рассматривает умытое глазастое утреннее солнце.

Подходит ДК — маленький, подвижный и совсем юный Сопин. Он — старый коммунар и комсомолец. Он сам состоит в третьем отряде и не раз даже командовал им. Сопин усаживается рядом со мной и подымает жмурящееся лицо к солнцу.

— Вы знаете, Антон Семенович, опаздываем уже на десять минут, а эти лодыри, третий отряд, до сих пор не сдали уборки.

Я, не выпуская изо рта папиросы, так же спокойно говорю:

— Что же ты будешь делать? Ведь это твои корешки?

— Да вот и не знаю, что делать. Понимаете, с командиром тоже ссориться не хочется.

Агеев Васька хохочет.

Налетает сердитый, взлохмаченный Фомичев и орет:

— Чего вы держите? Уже давно на поверку...

Сопин непривычно для него жестко заявляет:

— Сигнала не дам, пока не скажет ДЧСК. Мое дело маленькое.

Швед опять трогает за рукав Агеева:

— Пошли кого-нибудь, черт с ними! Я бы и сам пошел, да жду здесь Ваньку, он обещал сдать щетки.

Агеев отрицательно качает головой. Фомичев «парится на три атмосферы», как говорят ребята, и кричит:

— Через вас, смотри, уже четверть часа!

— Ну, хорошо, — говорит Агеев. — Уберем.

Через пять минут подходит к Сопину Скребнев и салютует:

— Уборка сдана.

Сопин кивает черной, как уголь, головой востроглазому Пащенко, и тот прикладывает сигналку ко рту. Звенят в сияющем утреннем воздухе раскатистые, бодрые призывы: «Собирайтесь все!»

Вечером в этот день ДК отмечает в рапорте: «По дежурству в коммуне все благополучно. Утром задержан завтрак на пятнадцать минут по вине третьего отряда».

Председатель собрания смотрит на командира третьего. Агеев пробует улыбаться и нехотя вылезает на середину.

— Ну, что ты скажешь? — спрашивает председатель.

— Да что я скажу? — вытягивается командир.

По тону его и по тому, как он держит в руках фуражку, чувствуется, что настроен он вяло, сказать ему нечего.

— Там эти батареи, так никак туда руку...

Он замолкает, потому что в зале смеются. Все очень хорошо знают, что тут не в руках дело. Сколько раз уже эти самые батареи проверялись санкомом!

— Больше никто по этому вопросу? — спрашивает председатель.

Все умолкают и ждут, что скажет дежурный заместитель.

ДЗ сегодня самый строгий. Это Сторчакова, секретарь комсомольской ячейки. Она всегда серьезна и неприветлива, и ничем ее разжалобить невозможно. Агеев, видно, утром забыл, кто сегодня ДЗ, иначе он был бы сговорчивее.

— Три часа ареста, — отчеканивает Сторчакова.

Агеев тянет руку к затылку.

— Садись, — говорит председатель.

После собрания Агеев подходит ко мне.

— Ну что, влопался? — спрашиваю его.

— Я завтра отсижу.

— Есть.

На другой день Агеев сидит у меня в кабинете. Читает книжку, заглядывает через окно во двор. Он арестован.

— Что, скучно? — спрашиваю я его.

— Ничего, — смеется он. — Еще час остался.

Такие случаи, впрочем, бывают чрезвычайно редко. Уборка обычно не вызывает осложнений в коллективе, настолько весь этот порядок въелся в наш быт. Вот разве только новенькие напутают. В прошлом году ДК так и не добился от новеньких уборки в вестибюле и с негодованием отметил в рапорте, что вестибюль не был убран. Оказалось потом, что ребята слово «вестибюль» поняли так, что им поручено «мести бюст», и действительно вылизали на славу бронзовый бюст Дзержинского в «громком» клубе.

Когда уборка кончена, трубач дает сигнал на поверку. По этому сигналу бегом собираются коммунары по спальням, потому что поверка не ждет и неизвестно, с какой спальни она начинается.

Поверка — это ДЗ, ДК и ДЧСК.

При входе поверки каждый командир командует:

— Отряд, смирно!

Коммунары вытягиваются каждый возле своей кровати, и дежурный по коммуне приветствует отряд:

— Здравствуйтесь, товарищи!

Ему отвечают салютом и приветствием, и начинается самая работа поверки. Каждый коммунары должен доказать, что он оделся как полагается, что он убрал постель, что у него чисто в ящике шкафа и что он не забыл почистить ботинки и помыть шею и уши. Разумеется, старших коммунаров только в шутку можно попросить:

— Повернись-ка, сынку!

Зато малышей и новеньких поверка действительно поворачивает во все стороны, заглядывает им в уши, поднимает одеяла и иногда даже просит показать, как надеты чулки и не грязны ли ноги.

Теперь в коммуне очень редко бывают в рапортах неожиданности по данным поверки. Только Котляра, одного из самых младших членов десятого отряда, приходится часто выводить на середину. Общее собрание уже привыкло к его страшной неаккуратности и почти потеряло надежду что-нибудь с ним сделать. Часто раздаются голоса:

— Да довольно с ним возиться! Пускай командир выходит на середину. Почему не смотрит за пацаном?

Мизяк не смотрит? Мизяк с этим Котляром возится больше любой матери. Но что тут поделаешь, если самая фигура нескладного, корявого Котляра просто не приспособлена для одежды.

До сих пор Котляр не умеет зашнуровать ботинок, а ведь живет в коммуне больше года. Штаны на нем всегда выпачканы и почему-то всегда изорваны, даром что меняют ему спецовку постоянно. Котляр на середине безучастно слушает негодующие речи и смотрит на председателя широкими рачьими глазами.

И председатель и ДЗ машут на него руками:

— Садись уже, довольно стоять.

Последней проверяют спальню девочек. Там всегда идеально прибрано. Только Сторчакова иногда скажет самой младшей:

— Покажи, как шею помыла.

Поверка окончена. Все спускаются вниз, и труба играет: «Все в столовую!»

Завтрак.

В машинном цехе

После завтрака, в половине восьмого, проиграли «на работу». Нечетные отряды идут в мастерские, четные — в школу.

В здании коммуны собираются воспитатели-учителя, к мастерским подходят рабочие и инструкторы. Через три минуты никого уже не видно в коридорах и во дворе. Только ДК в красной повязке что-то рассчитывает у дневального расписания, повешенного в коридоре внизу.

Шум затихает лишь на несколько минут. Скоро начинается новая симфония. Раньше всех закричит шипорез в машинном цехе деревообделочной мастерской. Он наполняет коммуну гулким ветровым шумом, перемежающимся с отчаянным визгом пожираемого машиной дерева. Каждый дубовый брусок начинает с громкого вскрика, потом вдруг орет благим матом и, наконец, испустив истошный последний вскрик, в стоне замирает. А вот на циркулярке дереву, видно, даже умирать приятно. Циркулярка в течение целого дня звенит веселым, торжествующим звоном, аккомпанируя острому дурашливому крику дерева. Фуговальный гудит кругло и по-стариковски ворчливо.

В машинном цехе утром работают восемь коммунаров из третьего отряда. Между ними ходит, поправляет и проверяет их высокий и худой инструктор Полищук, начавший с беспризорности, а кончивший приобретением большой квалификации и вступлением в партию. У него с коммунарами отношения приятельские.

Сейчас коммуна делает большое дело: оборудует мебелью новый

Электротехнический институт в Харькове. Институт открывается осенью этого года.

Много коммунаров собирается поступить на рабфак института.

Мы делаем сотни дубовых столов, стульев, табуреток, чертежных столов и пр., всего на пятьдесят тысяч рублей. Все это нужно закончить к 15 августа, и поэтому в деревообделочной мастерской «запарка». Машинный цех буквально завален деревом, обрезками, деталями и полуфабрикатом, назначенным для сдачи в сборный цех. Целыми штабелями лежат под стенами и у машин ножки, царги, проножки, планки и прочая столярная благодать. Коммунары покрыты дубовой пылью, у них страшные и смешные запыленные очки.

Самый маленький здесь Топчий, приемыш коммуны. Как-то осенью, в темную и мокрую ночь его папаша, селянин с Шишковки, в состоянии непозволительно веселом напоролся на часового у пороховых погребов. На первый окрик отмахнулся пьяной рукой, на второй — выразился пренебрежительно, и снял его часовой.

Черноволосый и круглоголовый Топчий — малый способный, напористый и рассудительный. Он с первых же дней, невзирая на свой рост и возраст, потребовал от совета командиров, чтобы ему дали настоящее дело. Командиры его осадили высокомерно:

— Молодой еще! Посмотрим, что из тебя выйдет.

Но уже через два месяца сказали командиры:

— Э, Топчий парень грубóй*.

Очень скоро назначили Топчия в третий отряд и дали ему долбежный станок. Теперь он, почти не отрываясь, разделявает на этом станке шиповые пазы и отверстия для креплений.

Самая тонкая работа в машинном цехе выпала на долю Шведа. Он — на ленточной. Швед — большой политик и оратор. Как только он прибыл в коммуну из коллектора, тотчас же обратился в совет командиров с письменным заявлением. Он писал, что хочет работать в коммунарском активе и просит дать ему такую именно работу. Это заявление возмутило и взволновало коммунаров:

— Как это, в активе? Что это, совет командиров будет актив назначать? Посмотрим, как он в мастерских поработает.

Вместе со Шведом пришел из коллектора его друг Кац.

Трудно объяснить, что могло связать Шведа и Каца. Швед умен, начитан, очень развит. Он, пожалуй, даже не в меру серьезен, только в его серьезности нет ничего напряженного и сухого. В его огромных черных глазах какая-то старая, недетская печаль. Он мягок и вдумчив. Коммунарский стиль чистоты и подтянутости он усвоил очень быстро.

Совсем другое дело — Кац. Только очень плохая семья могла воспитать и вытолкнуть в люди такого разболтанного, никчемного мальчика. Работать он не захотел. Он прямо заявил, что не собирается быть ни столяром, ни слесарем и вообще к деятельности этого рода он себя не готовит. Стыдно ему было оставаться в коммуне без работы, но в мастерских от него не было никакого толку. Зато он убивал много времени на поддержание каких-то невыясненных связей в городе: не было дня,

* Грубóй — «хороший».

чтобы его кто-то не вызывал по телефону или чтобы он не просился в отпуск по самым срочным делам. Из отпуска он приходил всегда с опозданием, и ДК с утра ругался, что нужно искать замену и кого-то передвигать с места на место. Благодаря всему этому Кацу часто приходилось выходить на середину на общих собраниях. К разным рапортам и жалобам на Каца скоро прибавились и его жалобы на коммунаров: тот толкнул, тот придирался, тот что-то сказал. На поверку выходило, что никто не виноват. Каца начали ненавидеть. Не было дня, чтобы в совете командиров или на собрании кто-нибудь не заявлял: «Нам такие не нужны». Коммунаров доводило до остервенения высокомерие Каца и его неаккуратность: «Ленивый, грязный...»

Швед очень мучительно переживал неудачи своего товарища, тем более что к этим неудачам присоединились и его собственные. После его заявления о желании вступить в актив над ним посмеивались, и хотя он держался крепко и никогда не попадал в рапорт, общая оценка Шведа была в коммуне невысокой. Дело кончилось неожиданным взрывом.

Тимофей Денисович, заведующий нашей школой, подал в совет командиров заявление, в котором просил назначить Шведа его помощником. У нас помощники Тимофея Денисовича зимой освобождаются от другой работы. На них лежит много обязанностей: вести учет школьной работы и посещаемости, заведовать учебниками, учебными пособиями, наглядными пособиями и музеем школы. Фактически Швед, как и его предшественники, должен был стать руководителем командиров школьных групп. Это очень почетная роль в коммуне, она требует знаний и умения деликатно обращаться с книгами, картами, банками, ретортами и т. д. В совете командиров неохотно пошли на назначение Шведа, предлагали других кандидатов. Но против старых квалифицированных и знающих коммунаров были возражения со стороны организаторов производства, которые отказывались снимать с работы настоящих мастеров. Ребятам помоложе было бы трудно вести сложную работу со школьными группами. Наконец, настаивал на своем Тимофей Денисович. Ему уступили, хоть и неохотно.

— Ничего в коммуне не сделал, походил по сводным отрядам две недели, и уже в активе. Так нельзя! Просто «латается», не хочется работать в мастерской, да и все тут.

Швед подал заявление. В нем он писал, что в коммуне есть антисемитизм, что ребята преследуют его и Каца потому только, что они — евреи. Я просил указать лица и факты, но Швед сказал, что он боится назвать фамилии. Я передал его заявление общему собранию.

Собрание было оглушено и возмущено. Действительно, заявление было явно неосновательным. В коммуне много евреев, много евреев и среди рабочих, есть и еврей-воспитатели. Никогда в коммуне не было национальной розни.

На собрании долго говорили о необоснованности заявления и выдвинули обвинение против Шведа и Каца в явно придирическом и нетоварищеском отношении к коммунарам. Указывали, конечно, на плохую работу и нечистоплотность Каца, на неосторожное стремление Шведа в актив. Такие «радикалы», как Редько, высказывались прямо:

— Довольно заниматься чепухой! Они не могут указать фактов, не-

чего тут и разбирать. Не нравится им в коммуне, потому что здесь работать нужно, — пусть уходят, никто их не держит.

Большинство требовало, чтобы Швед назвал лиц, которых он обвиняет в антисемитизме, возмущалось его страхом.

— Что, у нас бандиты, что ли? Пусть кто-нибудь попробует здесь заниматься этим делом — и вы увидите, чем это кончится! Вот в девятьсот двадцать восьмом году один такой нарвался из коллектора, так что, долго с ним церемонились? В два счета вылетел. А вы какое имеете право бояться? Значит, вы не настоящие коммунары, а какие-то гости.

Коммунары-евреи были также очень поражены. Юдин, Каплуновский и другие обрушились на Шведа, обвиняли его в том, что он вносит раздор в среду коммунаров, утверждали, что по отношению к себе и к другим евреям они встречали только товарищеское отношение. Высказывались на собрании по этому вопросу только старшие коммунары; малыши притихли и держались выжидательно. А между тем именно с их стороны раньше раздавались голоса против Каца.

Кончилось дело тем, что выбрали комиссию для более подробного расследования. Комиссия ничего из заявления Шведа не подтвердила, и это дало основание совету командиров на ближайшем же заседании вновь поднять вопрос о преждевременности включения Шведа в коммунарский актив.

Для меня было совершенно очевидно, что в своей жизни Швед много пережил обид на почве национальной розни и у него выработалось уже привычное ожидание новых обид и преследований. Поэтому, вероятно, он взял на себя и защиту Каца, который встречал неприязненное к себе отношение еще в коллекторе. К мальчику, подобному Кацу, в среде коммунаров всегда сложилось бы определенное отношение, независимо от того, к какой национальности он принадлежит.

Шведа сняли и назначили в столярную мастерскую. «Пусть поработает, тогда из него настоящий коммунар выйдет». Я не возражал, так как на самом деле это было полезно для Шведа.

Швед был крайне подавлен всей этой историей. Его удивляло и обескураживало, что он так нечаянно и неожиданно оказался в противоречии со всем коллективом. Но в то же время видно было, что он признал правоту коллектива.

В дальнейшем Швед дал доказательства и большой воли и здравого ума. Неожиданно для всей коммуны, будучи дневальным, он занес в рапорт по сторожевому отряду Каца и на собрании напал на него искренно и горячо:

— С такими коммунарами, конечно, трудно жить. Если ему говорят — покажи ордер, а он отвечает: «Ты уже заелся?» — так это не коммунары, а шпана!

Собрание довольно холодно выслушало оправдания Каца. Кацом перестали интересоваться и давно уже перестали продергивать его на собраниях. Так всегда бывает, когда в глазах коммунаров кто-нибудь становится безнадежным, когда его уже не считают членом коллектива.

Кац это тоже понял. В тот же вечер он пришел ко мне и просил отправить его к родным в Киевский округ. Совет командиров, которому я пред-

ставил заявление Каца, на экстренном заседании дал согласие на этот отъезд.

Швед все-таки провожал товарища до шоссе.

С тех пор на глазах стал расти Швед. Уже через месяц совет командиров согласился на просьбу Васьки Агеева назначить Шведа помощником командира третьего отряда. Почти в то же время Швед прошел в редколлегию стенгазеты и скоро стал ее председателем. Наконец, его выбрали кандидатом в ДК, и он теперь часто носит красную повязку, выполняя ответственнейшую и труднейшую работу в коммуне. В третьем отряде, одном из лучших отрядов коммунаров, Швед сделался общим любимцем. Товарищи гордятся его развитием, его умением говорить, всегда выдвигают его в разные делегации. Он теперь чувствует себя в коллективе свободно и уверенно.

1 июня третий отряд после долгой борьбы занял первое место, главным образом благодаря работе Шведа, на которого «старик» Агеев Васька (который, между прочим, по возрасту моложе Шведа) возложил почти все функции командования. Агеев не скрывал этого, и при торжественной передаче знамени отряду-победителю знамя принимал не сам Агеев, а Швед. Он в этот вечер был подчеркнуто ладно одет, такими же подтянутыми явились и его ассистенты. Их лица выражали сдержанное торжество и готовность серьезно бороться за свое первенство. Швед и сейчас работает в машинном цехе столярной мастерской. Это для него оказалось во всех отношениях полезным. Даже на способе выражаться это отразилось очень положительно. Швед оставил прежнюю манеру низать одна на другую книжные фразы и щеголять утомительными, бесконечными периодами: его язык приобрел живость и простоту.

В машинном цехе Швед нашел и товарищей и самого себя. Он деятельно готовится в вуз и прекрасно понимает, что его производственная работа занимает выдающееся место в этой подготовке.

Сборный

В сборном цехе не так шумно, как в машинном.

Здесь с трудом пробираешься между верстаками. Кругом навалены табуретки, стулья, части столов, козелки и разные детали. И немудрено: один маленький Брачихин вырабатывает за свои четыре часа двести рамок для сидений.

Здесь собрался народ квалифицированный. Почти все ребята уже второй-третий год работают в столярной. За это время коммунары выпустили много продукции: оборудовали Харьковскую городскую станцию Южных дорог дорогими, тысячерублевыми кассами-кабинками, представляющими собой целые квартиры для станционных кассиров, с барьерами, ящиками, полочками, окнами и стеклами; в новом прекрасном клубе союза строителей обставили дубовой мебелью зрительный зал, лекционный зал, вешалки, кабинеты; громадный новый Дворец культуры, выстроенный союзом химиков в Константиновке, полгода снабжали мебелью: в этом дворце две тысячи мест только в одном театральном зале; студентам-харьковцам отправили в общежитие сотни

тумбочек, табуреток и стульев. Работали и для Института патологии и гигиены труда, и для поликлиник, и для Харторга.

И разумеется, в первую очередь отделили новые клубы для своих шефов: клуб ГПУ УССР имени Ильича и клуб Фельдъегерского корпуса.

В первое время, пока не умели коммунары работать, было много наемных рабочих. Добраться в коммуны трудно, и квартир в коммуне всегда не хватало; попадались нам рабочие плохие — летуны, рвачи и лодыри, которые никак не могли удержаться на производстве. Но уже в прошлом году коммунары потеряли терпение и потребовали от заведующего производством уменьшить постоянный приток чуждых коммуне людей. Скоро начался спор о введении разделения труда, о работах по бригадам. Наши рабочие, главным образом кустари, привыкли кое-как, не спеша копаться у своего станка. В результате и работа тянулась мучительно долго, и заработок у них был плохой. Тогда они начинали «бузить» — расценки, мол, никуда не годятся. А когда им предложили ввести разделение труда, то помешали взаимное недоверие и подозрительность. Сколько ни крыли их коммунары на общих собраниях и на производственных совещаниях — ничто не помогало. Наконец коммунары приняли отчаянное решение. Сократили всех рабочих, за исключением тех, кто сжился с коммунарами, кто готов был идти по пути рационализации. Как раз в это время нужно было сдать заказ союзу строителей в Москве. Чтобы выполнить заказ к сроку, общее собрание ввело двойной рабочий день — по семь часов, перебросило в столярный цех всех более или менее свободных слесарей и всех пацанов. Им дали работу по полировке мебели. Вместе с ними работали и все воспитатели.

Только благодаря этой ударной работе заказ выполнили к сроку, и пятого июня мы сидели уже в вагонах московского поезда, получив накануне от строителей четыре тысячи рублей.

В настоящее время в сборном цехе очень мало взрослых рабочих, да и те — рабочие самой низкой квалификации. Они выполняют самую простую работу: ножки чистят. Основная работа в цехе ведется исключительно старыми коммунарскими кадрами третьего и четвертого разрядов. Большею частью это ребята пятнадцати-шестнадцати лет, есть и четырнадцатилетние.

У двух верстаков расположилась полубригада из трех коммунаров: Зорин, Водолазский и Ширявский.

Зорин совсем малыш, и ему поручили проверять шипы при помощи специального сусла. Он очень ловко перебрасывает в своем сусле и проверяет лучковой пилой до ста шипов в день; детали с проверенными шипами он передает Водолазскому, который покрывает шипы шоколадной жижицей клея и деревянным молотком сбивает рамку будущего стула.

Водолазский — высокий белокурый юноша. Ему шестнадцать лет, но выглядит он гораздо старше. Водолазский давно отбыл и командирский срок и побывал заместителем заведующего. Работает он с точностью машины. Он, почти не глядя, отбрасывает случайный брак, сквозь зубы поругивая машинный цех. В сборном цехе часто придираются к машинистам и станковым, обвиняя их в халатности.

— Смотрите, опять шипы зарезали с параллельным уклоном. Вечно у них там... замечается кто-нибудь и портит!

Ширявский с улыбкой в умных глазах принимает от Водолазского рамку и завинчивает ее в пресс, стоящий перед ним на козлах. Пресс сжимает рамку со всех сторон. Ширявский еще постучит по ней молотком, и через четверть минуты она уже лежит в штабеле таких же рамок.

У этой полубригады дело идет весело.

Рядом с ней работает Никитин — самый авторитетный человек в коммуне, носитель и продолжатель старых традиций горьковской колонии. Никитин сейчас — «контроль коммуны». Его участие во всех проверочных и следственных комиссиях обязательно. На нем же лежит неприятная обязанность приводить в исполнение все постановления общего собрания, касающиеся отдельных коммунаров: ограничение в отпуске, лишение кино, иногда наряд на дополнительную работу. Никитин поэтому всегда носит с собой блокнот.

Сейчас Никитин очень недоволен: что-то заело в машинном цехе, и для сборщика не хватает настоящей работы. Никитину дали чистить планки для спинок — это такая «буза», которую может делать простой чернорабочий, а не шестиразрядник — ветеран коммуны Никитин.

Сегодня вечером попадет от него на производственном совещании и Полищуку, и главному столярному мастеру Попову, и коммунарам-машинистам, и в особенности Соломону Борисовичу.

Первое: почему до сих пор не поставлена вторая циркулярка?

Второе: почему до сих пор не налажена маятниковая пила?

Третье: почему не исправлен штурвал у фрезера?

Четвертое: почему задерживается точка ленточных пил?

Главные удары на производственных совещаниях всегда приходится по машинному цеху. Это не потому, что там плохо работают, а потому, что силы сборщиков у нас превышают возможности машинного цеха. Вот почему и возникла необходимость ставить дополнительные станки и усиливать пропускную способность имеющихся.

На дворе устроился Сопин с двумя товарищами. Сопин вообще не выносит комнатного воздуха, раньше всех он выбирается спать в сад. Он убедил Попова перенести туда же верстаки.

У Сопина всегда занято и весело. Даже распиливая косою шип, он ухитряется о чем-нибудь болтать и над чем-нибудь посмеиваться.

— А чего это у токарей сегодня такие кислые рожи? Ты не знаешь, Старченко?

Старченко, прилизанный, аккуратный юноша, оглядывается на маленького Сопина и продолжает размеренно постукивать молотком по стамеске.

— А ты знаешь?

— Конечно, знаю! Они насобачились на углах, а сегодня им масленки понесли точить. Кравченко разогнался штук на шестьдесят в день, а у него не выходит.

Сопин знает все, что делается в коммуне. Это ему удается благодаря какой-то удивительной способности проникать всюду, отнюдь не пользуясь никакими шпионскими¹¹ способами, а исключительно благодаря

своей замечательной общительности и живости. На всякое событие в коммуне он должен отозваться.

Сопин прославился в коммуне зимой этого года, когда в пику вялой редколлегии «Дзержинца», еле-еле выпускающей два номера в месяц, он с небольшой компанией добровольцев вдруг бахнул по коммуне ежедневной «Шарошкой». «Шарошка» сначала вышла на небольшом картонном листе, но с каждым днем увеличивала и увеличивала размеры и, наконец, стала протягиваться длинной узкой полосой по всей стене коридора. Она была до отказа набита статьями, заметками, вырезками из газет, ехидными вопросами и смешными издевательскими телеграммами.

Коммуна зашевелилась, как разворошенный муравейник. Продернутые в «Шарошке» коммунары решительно запротестовали против самовольно организованного общественного мнения и требовали, чтобы «Шарошка» сняла подзаголовок: «Орган коммунаров-дзержинцев». Старая редколлегия «Дзержинца» указывала на отдельные промахи газеты и называла ее брехушкой. Но Сопин с компанией не отступали и с каждым днем увеличивали свою газету.

На общем собрании редколлегия «Дзержинца» обиженно заявила, что она прекращает издание «Дзержинца», так как у нее нет материала: все перехватывает Сопин. Бюро комсомола еле помирило две редакции. Полномочия Сопина были подтверждены общим собранием, и только в одном ему пришлось уступить: отказаться от названия «Шарошка»¹².

С тех пор «Дзержинец» выходит в формате «Шарошки», и хотя редколлегия отказалась от ежедневного выхода, но раз в пятидневку газета сменяется.

До половины двенадцатого кипит работа в мастерских, шумят станки, визжит пила и стонет дерево. Заказ нового Электротехнического института с каждым часом подвигается вперед.

Коммунары очень ценят этот заказ не только потому, что он приносит заработок и прибыль, а еще и потому, что мы связались с институтом. К нам часто приезжают в коммуну организаторы института, и многие коммунары уже считают себя будущими студентами. Осенью этого года тридцать три коммунара готовятся к поступлению на рабфак института.

Куда мы идем?

В наших цехах имеются производственные комиссии, часто собираются производственные совещания, есть штаб социалистического соревнования, но все решения этих институтов не могут иметь обязательной силы, если они не утверждены советом командиров. Получается как будто неладно: старшие, более опытные, да еще поддержанные участием взрослых — вся эта настоящая сила, сосредоточенная в производственных органах, как будто уступает силе двенадцати командиров, народу более молодому и менее опытному в производстве. Но у нас очень дорожат именно таким соотношением сил.

Совет командиров представляет всю коммуну, а не один какой-нибудь цех, и ему часто приходится выступать против цеховщины и даже це-

хового рвачества. И то обстоятельство, что командиры почти всегда «средняки» по возрасту, очень нравится большинству коммуны, потому что в коммуне восемьдесят процентов именно «средняков». Кроме того, на заседаниях совета командиров могут высказываться все коммунары, хотя в голосовании участвует только по одному человеку от отряда. Обычно бывает, что, если в совете командиров разбирается производственный вопрос, командир присылает в совет наиболее матерого специалиста по цеху, который и ведет свою линию в заседании от имени отряда, а командир в это время тихонько сидит в углу. Вообще говоря, в коммуне выработалась очень сложная и хитрая механика внутренних отношений. Механика и стиль наших отношений инстинктивно усваиваются каждым коммунаром. Благодаря этому нам удается избегать какого бы то ни было раскола коллектива, вражды, недовольства, зависти и сплетен. И вся мудрость этих отношений, в глазах коммунаров, концентрируется в переменности состава совета командиров, в котором уже побывала половина коммунаров и обязательно побывают остальные.

Производственные совещания и комиссии находятся под общим руководством комсомола. Производство, в котором работает сто пятьдесят ребят, средний возраст которых не превышает пятнадцати лет, представляет очень сложный организм. Мы не можем ограничиться одним каким-нибудь производством, так как в таком случае наверняка не сумеем удовлетворить разнообразных вкусов и склонностей попадающих к нам ребят. Если мальчику, жившему в семье, нужно идти на фабзавуч, он может выбрать тот, который ему больше по душе или к которому у него есть определенные способности. Наш воспитанник принужден выбирать себе уже в коммуне работу и специальность, может быть, на всю жизнь. Наша обязанность — предоставить ему возможно больший выбор. В то же время мы принуждены держать у себя различные возрастные группы ребят — в основном от тринадцати до семнадцати лет.

В деле организации наших мастерских мы все время были несколько стеснены. С самого начала коммуна имени Дзержинского не числилась на бюджете какого-нибудь учреждения. Она была выстроена и оборудована обществом чекистов, но содержать сто пятьдесят детей, то есть ежемесячно вносить в коммуну шесть-семь тысяч рублей, чекистам было чрезвычайно тяжело, да и коммунары бы этого не захотели. Передать же коммуну на бюджет государственный или местный — значило бы для чекистов отказаться от руководящей роли в коммуне и, будем говорить прямо, подвергнуть коммуну всем испытаниям, выпадающим на долю детских домов.

Все это привело к тому, что и в Правлении и в коммуне возникло стремление к самокупаемости. Нужно признаться, что в первый момент мы не вполне ясно представляли себе, в какие формы это может вылиться, и у нас было много сомнений в педагогической ценности самого института самокупаемости.

И все же наше производство, у которого не было ни оборотного капитала, ни квалифицированной рабочей силы, было организовано.

Первый год принес нам радости немного. Мы оборудовали несколько клубов, выпустили немало мебели, но не только не пришли к самокупаемости, а еще получили убытки. Все это произошло исключительно

благодаря нашей половинчатости. Мы боялись сразу оттолкнуться от соцвосовских берегов и не решались поставить воспитанника в те же условия, в которых находится рабочий, боялись вызвать и использовать личную заинтересованность коммунара, боялись строго стандартизированной механической работы, вообще прилипли к «сознанию» и к «сознательности» и боялись от них оторваться.

Но неудачи заставили нас отказаться от «педагогических» предрасудков и сжечь корабль.

В начале тридцатого года мы вложили в производство небольшой капитал и поставили несколько станков для стандартной работы.

Производство медной арматуры, в особенности кроватных углов, было механизировано до конца, было введено полное разделение труда, и коммунарам стала выплачиваться сдельная плата по тем же расценкам, как и взрослым рабочим. То же самое было сделано и в столярной мастерской. В первый же месяц мы увидели результаты, которых и сами не ожидали: в апреле мастерские дали тысячу рублей прибыли. В последующие месяцы прибыль эта стала расти в замечательной прогрессии: в мае — пять тысяч, в июне — одиннадцать тысяч, в июле — девятнадцать тысяч, в августе — двадцать две тысячи.

Если принять в расчет, что содержание коммунаров стоит в месяц только шесть тысяч, то очевидной делается головокружительность наших успехов. При этом нужно учесть еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Каждый коммунар вносит из своего месячного заработка на пополнение расходов по содержанию коммуны восемьдесят процентов (но не более тридцати пяти рублей). Всего внесено коммунарами в мае полторы тысячи, в июне — две тысячи четыреста и в июле — четыре тысячи. Таким образом, из прибылей производства приходилось брать лишь самую небольшую сумму, и мы имели даже возможность вкладывать большие суммы в расширение нашего производства, в постройку новых мастерских, мы смогли на эти деньги покупать новые машины.

Одним броском мы достигли полной самокупаемости. И когда в карманах у коммунаров зазвенели деньги, появились новые потребности. Нашему педагогическому совету стоило много напряжения все эти потребности заранее учесть, заранее принять меры к тому, чтобы отдельные новые явления в коллективе не стали бы в противоречие с интересами всего коллектива и интересами нашего воспитания.

Все обошлось благополучно.

Больше того. Как раз личная материальная заинтересованность сделала совершенно очевидной необходимость общих усилий для улучшения производства. Старая дисциплина и прекрасные отношения в коллективе пришлись как раз кстати и для нового дела, для организации работы в таком направлении, чтобы коммунар мог действительно работать, зарабатывать и был в этом заинтересован.

Уже на третьем месяце этот заработок как сумма полученных коммунаром рублей перестал быть новостью для них, и выросли новые формы коллективных устремлений: соцсоревнование и ударничество.

Вся система нашей коммуны и производства — производственные комиссии в каждом цехе, общекоммунарский штаб соцсоревнования, совет командиров, сами командиры — все это сумело органически слиться

в работе. Все фетиши соцвеса, после того как мы их отбросили, никакими призраками не тревожили нас. Мы о них забыли на другой же день.

Мы сделали настоящим заводом. Но мы и больше завода, ибо мы теперь действительно коммуна: из заработка коммунаров мы организуем потребление и быт в тех совершенных формах, которые мы уже выработали раньше.

Таким образом, наш решительный разрыв с псевдоучеными и потребительскими уклонами детских домов действительно оздоровил и нашу производственную работу, и наше воспитание.

Мы довольны всем этим. Но методисты из соцвеса именно теперь считают нас «мытарями», променявшими высокие идеи «новейшей педагогики» на презренные чертежные столы для советских вузов и кровати углы.

С другой стороны, слышны разговоры о том, что наши мастерские не дадут квалифицированных рабочих. Но это — буза¹³, как говорят наши коммунары. Разумеется, наши выученики не сумеют сделать ручную дубового великолепного, резного буфета, хитроумных часов с кукушкой или с танцующими фигурками. Но это ведь никому и не нужно сейчас. Нам сейчас нужны станковые, сборщики, литейщики, формовщики, никелировщики. Как раз их и готовит коммуна. При этом наши ребята получают образование и коллективное воспитание. Это есть то, что называется новыми кадрами.

Дальше. За три года пребывания в коммуне коммунары становятся квалифицированными рабочими в нескольких областях труда. Вот сейчас Ленка Алексюк работает на шпиках. Что и говорить, квалификация небольшая. В следующем году он перейдет на машинную формовку, а потом и на ручную. На третьем году он прекрасно изучит никелировочное дело — и пойдет в жизнь нужным советским трудовым человеком.

«Педагоги» нас критикуют. Но к нам приезжают рабочие с канатного завода и просят:

— Дайте нам ваших токарей. Нам вот такие токаря нужны до зарезу! Этой оценки нам достаточно для хорошего самочувствия.

Хозяева

Нигде не собрано так много настоящих коммунаров, прошедших всю нашу школу, бодрых, веселых, трудолюбивых и удачливых, как в слесарно-токарном цехе. Подавляющее большинство здесь — комсомольцы. Здесь у каждого станка живет молодая, уверенная в себе рабочая мысль.

И в столярной мастерской, и в других мастерских и цехах есть и дисциплина, и подъем, и умение работать, и бодрость. Но только наши металлисты сумели в своих цехах сделаться самостоятельными хозяевами производства, задающими тон даже квалифицированным рабочим.

В токарно-слесарном цехе работают мастер Левченко, его помощник и несколько квалифицированных рабочих — токарей и слесарей. Все это неплохие рабочие и хорошие люди. Коммунары в этот цех пришли

недавно, так как всего полгода тому назад поставили у нас токарные станки.

Но во всем, на каждом шагу, в каждом кубическом сантиметре воздуха чувствуется здесь, что крепкий, непоколебимо уверенный в себе коллектив мальчиков стал во главе цеха — без всяких постановлений, без протоколов и почти без речей, исключительно благодаря своей сознательности и спайке.

В смену работают здесь четырнадцать коммунаров. У токарных станков стоят мальчики и обтачивают медные углы для кроватей или медные масленки для каких-то станков. Перед каждым на станине лежит несколько станков еще не обточенных углов и несколько станков уже готовых.

Работа спорится не у всех одинаково. У Волчка и у Фомичева, у Воленко, у Кравченко, у Грунского горки готовых медных частей больше, чем у других, менее квалифицированных. Невелика горка у маленького Панова, который у своего станка стоит на подставке.

На станинах взрослых рабочих — частей гораздо больше, и станки здесь вращаются быстрее. Взрослых рабочих человек семь.

Вот один из них отошел от своего станка, и, не отрываясь от работы, все коммунары повернули головы к нему. Может быть, там ничего особенного и не случилось, может быть, и коммунары ничего особенного не подумали, но их совершенно инстинктивное внимание ко всему, что происходит в мастерской, заставляет всю мастерскую чутко реагировать на малейшее нарушение привычного ритма общей работы.

Где-то заест пас, где-то начнет болтаться конец трансмиссии, у кого-нибудь не хватит резцов, и тот поспешит за ними в кузницу, где-нибудь завяжется спор между механиком и рабочим — никто не остановит работы, никто из коммунаров не скажет ни слова, но это вовсе не значит, что случай «проехал». Ничего не проехало. Если всего этого не заметил командир и сегодня на общем собрании коммунаров будет благополучно в рапорте, то завтра на производственном совещании, или просто в кабинете завкоммунной, или даже в коридоре кто-нибудь обязательно постарается выяснить, в чем дело. И если один начнет говорить об этом, его немедленно поддержат тринадцать, а то еще придет помощь и из другой смены.

Недавно на производственном совещании один из рабочих обвинял механика в каких-то неправильных распоряжениях и между прочим сказал:

— Я, конечно, ему не подчинился. Я работаю токарем двадцать восемь лет, а он мне говорит: «Останови станки, я запрещаю вам работать». Как он мне может запрещать, если мне разрешил работать сам заведующий производством! И он все-таки чуть не стал на меня кричать, чтобы я вышел из мастерской.

Все сочувственно кивали головами, все соглашались с оратором.

Но встал коммунар и сказал:

— А мы вот этого не понимаем. Вам приказал механик остановить станки, а вы ему не подчинились, да еще и хвалитесь здесь, говорите, что вы двадцать восемь лет работали. Где вы работали двадцать восемь

лет? А мы считаем, что такого рабочего, как вы, нужно немедленно уволить.

Соломон Борисович, заведующий производством, человек старый, но юркий, замахал на коммунара руками и испуганно замигал глазами. Как это можно уволить такого квалифицированного рабочего? Соломон Борисович даже рассердился¹⁴.

— Как это вы говорите — уволить? Это старый рабочий, а вы еще молодой человек.

Коммунары загудели кругом. Дело происходило в саду, на площадке оркестра.

— Так что же, что молодые?

Кто-то поднялся:

— Молодые мы или нет, а если с Островским еще такое повторится, так его нужно уволить, пусть он хоть тридцать восемь лет работал.

Слово берет Редько и медлительно, немного заикаясь, начинает говорить:

— В цехе три начальника, а четвертый — сам Соломон Борисович. Распоряжения отдаются часто через голову механика, квалифицированные рабочие «гонят», портят материал и покрывают брак, трансмиссии установлены наскоро, в цехе много суетни и мало толку...

Собрание не принимает никакого постановления и расходится.

Обиженный Островский уходит в одну сторону, обиженный механик — в другую, обиженный Соломон Борисович — в третью.

Коммунары не обижаются: они знают свою силу и уверены, что будет так, как они захотят.

Через день совет командиров назначает своего браковщика, тот начинает отшвыривать неправильно обточенные, грубо обработанные детали, и уже никому не приходит в голову протестовать против его браковки.

В том же совете командиров недвусмысленно требуют от Соломона Борисовича, чтобы в ближайшие дни был поставлен на фундамент шлифовальный станок. Соломон Борисович обещает поставить его в течение трех дней. Вася, секретарь совета, записывает в протокол это обещание и говорит с улыбкой:

— Записано: через три дня.

А после совета в частной беседе грозят Соломону Борисовичу:

— Смотрите, Соломон Борисович, ваша квартира недалеко — устроим демонстрацию против ваших окон, оркестр у нас свой. Когда-нибудь сядете чай пить, а тут — что такое? Смотрите в окно, а кругом красные флаги и плакаты: «Долой расхлябанность! Да здравствует дисциплина!»

Соломон Борисович отшучивается:

— Ну, вы окна бить не будете? Окна ж ваши, коммунарские.

Васька закатывается за своим столом.

— Окна, конечно, нельзя, так мы стаканы побьем. Милиции близко нету, не забывайте.

Смеется Соломон Борисович.

— Честное слово, хорошие вы ребята, только напрасно волнуетесь, все будет хорошо.

— Посмотрим! — говорят коммунары.

И они смотрят. И под их взглядами ежится всякий шкурник, рвач,

растяпа. Соломону Борисовичу этот въедливый хозяйский взгляд помогает вскрыть все недостатки производства.

Все уверены, что первый и второй отряды наведут дисциплину в токарном цехе.

Недавно на общем собрании рыжий Боярчук, сдавая рапорт на командира первого отряда, сообщил:

— В цехе полчаса не было резцов.

Соломон Борисович при обсуждении рапорта заявил категорически:

— Это неправда. Резцы были. Просто поленились пойти к кладовщику получить.

Коммунары хорошо знают, что где угодно может быть неправда, только не в рапорте. Рапорт пишется пером, и ни один командир не напишет в рапорте неправды.

Коммунары засмеялись.

— А если правда, тогда что?

— Что хотите, — сказал Соломон Борисович.

Встал командир первого, Фомичев:

— Мне за неправильный рапорт было бы не меньше трех нарядов.

— Пускай мне будет три наряда, — выпалил сердито Соломон Борисович.

— Хорошо, — сказал Фомичев.

Тут же выбрали комиссию. На другой день она доложила:

— Резцов действительно не было.

На собрании поднялся смех:

— А где же Соломон Борисович?

Оглянулись, а Соломона Борисовича и след простыл.

На другой день пришел ко мне Соломон Борисович и сказал:

— Ну что ж, я им сделаю душ в саду. Это стоит трех нарядов.

Васька, секретарь совета командиров, подумал и сказал:

— Пожалуй, что и стоит.

Копейки и мальчики

В никелировочном цехе работают два отряда: одиннадцатый — до обеда и двенадцатый — после обеда. В каждом по десять человек. Командирами здесь старые коммунары — Крымский и Жмудский, но большинство членов этих отрядов — новички. Однако эти новички уже справляются со своим положением хозяев на производстве. Недавно они даже одержали крупную победу над Соломоном Борисовичем.

Никелировочная мастерская разделяется на два отделения: в одном стоят шлифовальные, полировочные станки и так называемые щетки. На всех этих приспособлениях медные части, вышедшие из токарного цеха, приготавливаются к никелировке: шлифуются и полируются. В другом отделении они опускаются в никелировочные ванны, но и перед ваннами проходят очень сложную процедуру промывок и очисток и бензином, и известью, и еще каким-то составом. Одним словом, в никелировочном цехе очень много отдельных процессов, и общий успех работы зависит от слаженности и согласованности.

Почему-то Соломон Борисович держал здесь двух мастеров: один заведовал шлифовальным отделением, второй — собственно никелировочным. Мастера эти отчаянно конкурировали друг с другом, подставляли один другому ножку, сплетничали и втягивали в эту глупую борьбу и рабочих, которых там человека четыре, и ребят.

Вообще никелировочный цех у нас один из самых неудачных: всегда в этом цехе что-нибудь ломается, останавливается. И Соломон Борисович, и мастер, и члены производственного совещания, и остальные коммунары на каждое заседание совета командиров приходят с взаимными претензиями. Начинается разговор в очень корректных выражениях, но кончается бурно. Раскраснеются физиономии, размахаются руки, голоса повысятся на пол-октавы. Голос секретаря совета командиров, называемого чаще ССК¹⁵, переходит в фальцет, но тщетны все попытки сколько-нибудь охладить Соломона Борисовича. Соломон Борисович горячится ужасно.

— Что вы мне рассказываете? Кому вы рассказываете? Я работаю на производстве девятнадцать лет, а мне такой, понимаете, малыш говорит, что здесь число оборотов неправильное. Так разве я могу так работать? Я требую, чтобы со стороны коммунаров было ко мне другое отношение.

Тут Соломон Борисович сам доходит до такого числа оборотов, что уже не замечает, как начинает рассказывать своему соседу, политруководителю коммуны товарищу Варварову, о каких-то еще более возмутительных проявлениях неуважения к его производственному опыту. Варваров, молодой и кучерявый, что-то у него спрашивает. Соломон Борисович ерзает на стуле и роется в глубочайших карманах своего пиджака-халата, очевидно, разыскивая документальное доказательство.

ССК пицтит:

— Соломон Борисович, а Соломон Борисович! Соломон Борисович, говорите всему совету. Чего вы шепчетесь?..

Соломон Борисович оглядывается на сердитого Ваську и расцветает в улыбку:

— Ну, вот видите?

Но, несмотря на все эти столкновения, Соломон Борисович любит ребят и часто приходит в неожиданный восторг от напористости коллектива.

Этот восторг он выражает на каждом шагу, но и на каждом шагу он с этим коллективом ссорится и устраивает конфликты. Коммунары платят ему таким же сложным букетом. С одной стороны, они видят его энергию и знания, но в то же время они не склонны слепо подчиняться его авторитету и прекрасно разбираются в отрицательных свойствах его как организатора: бывает, что Соломон Борисович погонится за дешевой, любит сделать что-нибудь, как-нибудь, только бы держалось, из-за копейки часто не только поспорит, а и разволнуется.

Коммунары умеют собрать самые подробные сведения о какой-нибудь детали у мастеров и неожиданно ошеломляют своей эрудицией Соломона Борисовича.

— Вот в Киеве на производствах везде платят по полкопейки за такую-то деталь; а я вам даю три четверти.

— Э, и хитрый же вы, Соломон Борисович! Так в Киеве платят же только за формовку, а есть еще и чернорабочие...

Соломон Борисович наливаясь кровью, размахивает руками и сердится:

— Откуда вы все это знаете? Я девятнадцать лет работаю на производстве, а он будет мне толковать о чернорабочем!

Когда был поднят вопрос о ненужности двух мастеров в никелировочном, Соломон Борисович сначала попробовал обидеться, потом стал взывать к милосердию и, наконец, сообразил, что предложение производственной комиссии оставить одного мастера на два отделения — предложение дельное. Принужден он был согласиться и с другим предложением производкомиссии: платить коммунарам за работу на ванне не одну с четвертью копейки от стана, а две копейки. Но на совете командиров Соломон Борисович вдруг стал на дыбы:

— Пойдите, как же так? — Соломон Борисович даже вспотел. — Вы говорите, прибавить три четверти копейки с первого июня, а сейчас пятнадцатое. Я же не могу уволить второго мастера с первого июня, а могу только с пятнадцатого, значит, и ваша прибавка, — он повернулся к членам производственной комиссии, — может быть только с пятнадцатого.

Председатель производственной комиссии — командир двенадцатого Жмудский, поддерживаемый внушительным урчанием половины всего своего отряда, расположившейся прямо на полу, вероятно, в знак того, что они не имеют права голоса на совете командиров, вытянул удивленную черномазую физиономию.

— Так причем же здесь мастер?

Маденький востроносый ССК Васька даже лег на стол, устремившись всем телом к расстроенному Соломону Борисовичу.

— Так поймите же, Соломон Борисович! Мастер-то относится к рационализации, а то совсем другое дело — расценки.

— Что вы мне, молодой человек, рассказываете? Кому вы это говорите?..

Полный, круглый, красный и клопочущий, завернутый в широчайший и длиннейший, покроя эпохи последних Романовых пиджак, карманы которого всегда звенят ключами, метрами, отвертками, шайбами и т. п., Соломон Борисович вскакивает со стула и вдруг набрасывается на меня, хотя я решительно ни в чем не виноват. Я мирно подсчитываю в это время, сколько метров сатина нужно купить на парадные трусики для коммунаров, принимая во внимание, что девчонкам трусиков не нужно, что в кладовой имеется сто одиннадцать метров и что...

— Вы, Антон Семенович, распустили ваших ребят. Они теперь уже думают, что это не я инженер, а они инженеры. Они будут мне читать лекции о рационализации... Я пойду в Правление, я решительно протестую!

Соломон Борисович брызжет слюной и отчаянно машет руками.

— Да ведь они же правы, Соломон Борисович.

— Как правы? Как правы? Как правы? Я должен где-то брать деньги на никелировку? И мастеру платить, и три четверти копейки...

— Да причем же здесь мастер? — спрашивает Жмудский.

— Как причем? Как причем? Вы слышите, что они спрашивают? Причем мастер? А мастеру платить нужно за две недели? По-вашему, так можно выполнять промфинплан?

— А какое нам дело, что вы держали мастера, который не нужен? Вы и еще бы держали, если бы мы не придумали, а теперь вы хотите, чтоб за наш счет...

Соломон Борисович начинает чувствовать, что Жмудский не так уж далек от истины, и перестает вертеть руками, растерянно всматривается в лицо Жмудского:

— Как вы говорите?

Жмудский смущен неожиданным замешательством противника. Он даже подымается со своего стула и заикается:

— Мастер же, это был убыток. Мы вам посоветовали...

— Нам премию нужно выдать! — перебивает Жмудского кто-то из командиров сзади Соломона Борисовича.

Соломон Борисович резким движением поворачивается на сто восемьдесят градусов и... улыбается. На него смотрят плутоватые глаза Скребнева, которому он очень симпатизирует. Соломон Борисович находит выход:

— Мастер, говорите, убыток? У Соломона Борисовича никогда не бывает убытка.

— Как это не бывает? А ведь был лишний мастер, — раздаётся со всех сторон.

— Эх, нет, товарищи!

Соломон Борисович вытаскивает из кармана платок, который кажется бесконечным, потому что до конца никогда не вытягивается, затем снова усаживается на своем стуле и забывает, что имел намерение вытереть трудовой пот на инженерском челе. Платок исчезает в кармане, и Соломон Борисович уже сияет и по-отечески, по-стариковски ласково и любовно говорит притихшим коммунарам:

— Двух мастеров нужно было иметь, пока вы учились работать. Вот теперь вы выучились, и двух мастеров не нужно, нужен только один. Если бы вы и не предложили, я его и сам бы снял. Пока вы учились, конечно, нужно было переплачивать на мастерах, поэтому и расценки были ниже. Вы работали не самостоятельно, а с мастером.

— Э-э-э, Соломон Борисович!.. Нет... Это что ж...

— Ишь, хитрый какой!

— Смотрите! Учились... А когда мы научились? Сегодня? Сегодня? Да?

На Соломона Борисовича один за другим сыплются вопросы, но чувствуется все же, что он нанес гениальный удар.

Когда шум немного стихает, серебряный дискант Скребнева вдруг звенит, как колокольчик председателя:

— Это вы сейчас придумали? Правда ж?

Весь совет заливается хохотом. Соломон Борисович снова наливается кровью и с достоинством подымается с места:

— Нет, товарищи, я так не могу работать...

Снова Соломон Борисович начинает кричать:

— Кончено! Довольно! Кто я здесь такой? Инженер? Или я буду у этих мальчишек учиться управлять производством?..

Коммунары в общем не обижаются даже за «мальчишек». Они улыбаются в уверенном ожидании моего ответа. И я улыбаюсь.

— Да ведь как же не согласиться? Тут ведь дело не в копейке, Соломон Борисович. Нельзя предъявлять коммунарам такую логику, нельзя так связывать эти два пункта.

Соломон Борисович опять выступает с достоинством, складывает бумаги в портфель и говорит:

— Хорошо. Значит, дело это переносится в Правление.

— В Правление? — ССК таращит глаза.

— Да, в Правление, — обиженно угрожает Соломон Борисович.

— Посмотрим, что Правление скажет, это интересно. Вот смотри ты, в Правление! — удивляется ССК.

Соломон Борисович вылетает из кабинета, и еще виден в дверях его пиджак, а Васька уже вещает:

— Следующий вопрос — заявление Звягина о приеме в коммуны.

Из книги о культурной революции

Пока шумят мастерские, в главном доме коммуны тихо. Только во время перемен из класса высыпают ребята и спешат кто в спальню, кто в кабинет, кто в кружок. Многие просто прогуливаются у парадного хода по выложенному песчаником тротуару.

Школьная смена своим костюмом резко отличается от рабочей. В то время, когда слесари, токари и в особенности кузнецы и формовщики с измазанными физиономиями щеголяют блестящими от масла пыльными спецовками, старыми картузами и взлохмаченными волосами, на ребятах из школьной смены хорошо пригнанные юнгштурмовки, портупей, новенькие гамаши и начищенные ботинки, головы приведены в идеальный порядок, и даже такая всесоюзная растрепанка, как Тетерятченко, по крайней мере до третьего урока ходит причесанным.

Кончив работу, первая рабочая смена должна переодеться и вымыться к обеду. Вторая надевает рабочие костюмы только после обеда. Вечером, после пяти часов, все должны быть в чистых костюмах.

Добиться этого удалось далеко не сразу. Многие коммунары считали, что внешность истинного пролетария должна быть возможно более непривлекательной. Совет командиров и санитарные комиссии долгое время безрезультатно боролись с этим взглядом.

— Двадцать раз в день переодеваться! — говорили коммунары. — Конечно, тогда ничего не сделаешь. Только и знаешь, что развязываешь да завязываешь ботинки!

Пришлось вводить строгие правила.

Удалось, наконец, добиться, чтобы, отправляясь в школу, ребята переодевались. Но уже к вечеру каждый ходил, как хотел.

Однако довольно скоро наступили перемены. Когда для клубов и столовых наша мастерская изготовила новую прекрасную мебель, заменившую тоненькие киевские диванчики, стало для всех очевидным, что эту

мебель мы сможем привести в негодный вид в самый короткий срок. Наша санкомиссия очень легко провела на одном из общих собраний запрещение входить в клубы и в столовую в рабочей одежде. Энергичные ДЧСК стали настойчиво приводить в исполнение постановление общего собрания.

— Фомичев, выйди из столовой!

— Чего я буду выходить?

— Ты в спецовке.

— Не выйду.

ДЧСК берется за блокнот. Фомичев знает, что кончится рапортом и выходом на середину на общем собрании, но ему хочется показать, что он не боится этого.

— Пиши в рапорт, — говорит он. — Я все равно не выйду.

Тут приходит на помощь более решительный дежурный по коммуне:

— Не раздавать первому отряду, пока Фомичев не переоденется.

Этот ход сразу вызывает более выгодную для санкома перестановку сил. Первый отряд отходит на тыловые позиции.

— Почему из-за одного Фомичева мы должны сидеть за пустым столом?

— Я не буду спорить с каждым коммунарком, — настаивает ДК. — Что вы, маленькие?

С ДК ничего не поделаешь, без его ордера обеда из кухни отряду не отпустят. И члены первого отряда нападают уже на Фомичева:

— Вечно из-за тебя возня!

Фомичев отправляется переодеваться.

К общему удивлению, число таких конфликтов среди коммунаров было очень незначительным. Зато пришлось немало повозиться с рабочими.

В дверях нашего «громкого» клуба — дежурный отряд. Один из дежурящих вежливо заявляет:

— Товарищ, нужно переодеться.

Рабочий принимает все защитные позы и окраски и даже рад случаю повеличаться:

— Как это переодеться? Что ж тут — для господ у вас или для рабочих?

Ответ на удивление выразительный:

— Идите переоденьтесь и тогда приходите на киносеанс, — говорит дежурный.

— А если мне не во что переодеться?

Распорядитель прекращает спор и вызывает командира.

Командир — человек бывалый, много видевший, у него неплохая память. Он заявляет бузотеру:

— У вас на чистый костюм денег нет? А на водку у вас есть?

— На какую водку?

— Не знаете, на какую? На ту, которую вчера выпили с Петром Ухиным.

Возле посетителя уже два-три добровольца из ближайших резервов, самым милым образом кто-то прикасается к его локтям, а перед его носом появляется винтовка молчаливо-официального дневального.

Впрочем, за последнее время таких столкновений почти не бывает. Мы забыли об этих спорах, никому не приходит теперь в голову вступать в пре-

реkania с коммунаром, украшенным какой-нибудь повязкой. Для всех стало законом, что нельзя в зале сидеть в шапке, и если кто-нибудь забудет ее снять, со всех сторон раздаются возгласы:

— Кто это там в шапке?

Разговоры у дневального обычно возникают лишь с посторонней публикой.

Недавно какой-то посетитель вошел в помещение с папиросой. В доме курить запрещено. Вошедшему предложили бросить папиросу. Он швырнул ее куда-то в угол вестибюля под вешалку. Дневальный потребовал:

— Поднимите.

Посетитель оскорблен ужасно. Он не хочет поднять окурочек.

— Нет, поднимите!

В голосе дневального появляются нотки тревоги: а вдруг так-таки повернется и уйдет, не подняв окурочка?

Чрезвычайно интересно, что такие тревожные нотки удивительно быстро улавливаются всей коммуной. Этот ребячий коллектив перевязан какими-то тончайшими нервами. Малейшее нарушение мельчайших интересов коллектива ощущается как требовательно-призывный пожарный сигнал.

Не успели оглянуться и посетитель и дневальный, как несколько человек окружили место скандала.

Малыши, если они одни, не оглядываются по сторонам — они уверены, что через несколько секунд придут солидные подкрепления. Поэтому атака пацанов стремительна:

— Как это не поднимете?

Нарушитель закона что-то возражает. В это время где-то в конце коридора уже гремит тяжелая артиллерия — Волченко, или Фомичев, или Долинный, или Водолазский:

— Что там такое?

Посетитель спешит поднять окурочек и растерянно ищет, куда бы его бросить.

— Правильно! А то никакого спасения от разных господ не будет.

— Какие ж тут господа?

— А вот такие! Вам говорят поднимите, значит, поднимите. Без лакеев нужно обходиться.

В отношении к пьяным коммунары непоколебимы. Для них не существует разницы между человеком пьяным и даже чуть подвыпившим, только пахнущим водкой. Насчет спирта нюх коммунарского контроля настолько обострен, что малейший запах скрыть от них невозможно. Если возникло такое подозрение, посетителя выставляют из коммуны, хотя бы даже он и вел себя очень разумно и умеренно. Тут уж ничего нельзя сделать.

Коммунары — очень строгий народ. Я сам, заведующий коммуной, иногда с удивлением ловлю себя на мысли: «Хорошо ли я вытер ноги? Не получу ли я сейчас замечания от дневального, вот этого самого Петьки, которого я пробираю почти каждую пятитдневку за то, что у него не починены штаны?»

В коммуне живет до полсотни служащих и рабочих, и никогда у нас не бывает пьянства, ссор, драк. Когда недавно из Киева к нам прибыла целая

группа рабочих, бывших кустарей, на третий же день к ним пришел отряд легкой кавалерии нашего комсомола и вежливо попросил:

— Отдайте нам карты. Вы играете на деньги.

Вы не застрахованы от того, что в вашу дверь вежливо постучит Роза Красная или Скребнев и спросит:

— Разрешите санкому коммунаров посмотреть, насколько у вас чисто в квартире.

Можно, конечно, и не разрешить, можно сказать — какое, дескать, вам дело, что у меня в комнате грязь!

— Если еще будет такая грязь, мы вас вызовем на общее собрание.

И если вам придет в голову, что вы сможете, не явившись на общее собрание, после этого на другой день продолжать жить в коммуне, вы скоро убедитесь, что это была непростительная ошибка.

Наши служащие невольно подчиняются этому крепкому, убежденному, уверенному в себе ребячьему коллективу. Для них не безразлично отношение к ним коммуны, а многим просто нравятся эти вежливые и настойчивые дети. Благодаря этому все в общем проходит благополучно. Не только никто не будет протестовать против вторжения санкома в квартиру, но все заранее позаботятся, чтобы всюду было чисто, чтобы не пришлось краснеть перед контролерами.

Моя мать — старая работница, проведшая всю жизнь в труде и в заботах, — радостно встречает молодых носителей новой культуры и, предупредительно показывая им свои чуланчики и уголки, наполненные старушечьим барахлишком, даже приглашает их:

— Нет, отчего же, посмотрите, посмотрите... Может, чего мои старые глаза не увидели, так ваши молодые найдут.

«Делегации»

Нередко у нас бывают экскурсии из города. Но больше всего бывает иностранных делегаций. Поэтому в коммуне всех посетителей называют «делегациями».

Зимой делегаций меньше, летом же почти не бывает дня, чтобы в коммуну кто-нибудь не приехал. Это объясняется не только известностью коммуны. Много значит и то, что коммуна — единственное детское учреждение, расположенное в черте города.

Посетители всегда предупреждают коммуну по телефону за день, за два. В первое время мы рассматривали каждое такое предупреждение как сигнал к специальным приготовлениям. Иногда было необходимо выстраивать коммуну с оркестром и знаменем. Это — в дни памятных для коммуны событий. К таким мы относим посещения коммуны членами Коминтерна и КИМа.

Но бывало и так, что торжественные встречи ложились на нас своего рода бременем. Пока автомобили с делегацией кружат по горам и лесам в поисках сносной дороги в коммуну (а дорогу в коммуну отыскать не так-то легко)¹⁷, коммунары должны томиться в ожидании. Мало того: перед этим нужно бросить работу в мастерских, переодеться, нужно собирать оркестр и

выносить знамя, а вынос знамени, по коммунарским традициям, является довольно сложной церемонией. Очень многие делегации настаивают на созыве общего собрания коммунаров.

Понятно, что такие торжественные собрания, если они созываются ежедневно, делаются для коммунаров тягостными. Поэтому уже давно мы встали на путь решительной борьбы с разными церемониями, и теперь, несмотря на самые настойчивые требования, мы решительно в них отказываем. Мы уже потому не можем позволять себе роскоши излишних парадов, что от этого страдает наше производство.

Теперь гостей при входе в коммуну встречает дежурный, приветливо приглашает их в кабинет, если их немного, или в «громкий» клуб, если гостей больше трех-четыре десятков. Дальнейшая судьба делегации зависит уже от того, из кого она состоит. Иностранцев обыкновенно провожает заведующий; на его обязанности лежит и прием больших рабочих экскурсий. Компании же поменьше выпадают на долю секретаря совета командиров или дежурного заместителя. С течением времени в коммуне образовалась небольшая группа специальных гидов, которые знают, что интересует гостей, что показывать, и держат в голове всю необходимую статистику. Коммунары в мастерских теперь не отрываются от станков, когда приходит делегация.

В столовой, если гости попадают к нам во время обеда, еще живет обыкновение при входе гостей всем вставать и салютовать. Но в этот обычай внесена небольшая поправка. Коммунары приветствуют гостей таким образом, если тот, кто водит гостей по коммуне, скажет, входя в столовую:

— Товарищи, у нас гости.

Большинство делегаций радуется нас, разнообразя нашу жизнь и в значительной мере помогая поддерживать связь с внешним миром. Особенно приветливо встречаем харьковских рабочих, которые посещают нас большими компаниями, человек по сто и больше. Были в коммуне и негритянские и китайские делегации. Горячо приняли коммунары делегата Германского союза фронтовиков. Его восторженно чествовали на торжественном собрании и выбрали даже почетным коммунаром с зачислением в восьмой отряд.

Иностранные делегации, состоящие из выхоленных и прекрасно одетых, богатых англичан или американцев, вызывают к себе тоже большой интерес, но это уже интерес особый.

Коммунары смеются:

— Хлопцы, живые буржуи в коммуне!

Вокруг «живых буржуев» всегда собирается толпа пацанов, которые, очевидно, никак не могут представить себе, что эти представители вымирающего подвиги людей еще имеют возможность свободно передвигаться по земной коре и никто их не ловит и не отправляет в заповедники. Малыши рассматривают этих туристов с таким видом, как будто и в самом деле рассчитывают увидеть оскаленные челюсти, хищные движения, испачканные кровью рабочих руки, раздувшиеся животы. И выражение лиц у некоторых пацанов такое, как будто вообще находиться рядом с такими гостями, даже и в нашей стране, не совсем безопасно.

Буржуи с пацанами разговаривают ласково и даже восхищаются некото-

рыми физиономиями. Нужно признать, что господа осматривают коммуны очень внимательно и на каждом шагу спрашивают:

— Так вот это и есть беспризорные?

Умытые, причесанные и очень интеллигентные коммунары, совершенно головокружительная вежливость их, умение коммунаров держаться с достоинством, чистота в здании, деловой тон в мастерских противоречат представлениям буржуазного мира не только о наших беспризорных, но и вообще о всей нашей жизни. Отсюда и то недоверие, с каким относятся буржуи к коммуне.

Мы, правда, не отказываем себе в удовольствии поразить их. Коммунары с винтовками в вестибюле нарочно задирают повыше головы. На вопрос: неужели все это беспризорные? — мы отвечаем через переводчика: нет, это не беспризорные, это хозяева здесь. Все это принадлежит им: и спальни, и мастерские, и материалы.

Переводчик, улыбаясь, что-то растолковывает буржуям. Те преувеличенно вежливо кивают головами, но все же не могут скрыть небольшого смущения, тем более что коммунары самым приветливым и самым ехидным образом посмеиваются.

Еще больше приходится смущаться буржуям, когда коммунары усаживают их в кружок в зале и начинают задавать очень недипломатические вопросы:

— Работают ли у вас дети на фабриках и заводах?

— Сколько часов в день?

— Сколько они получают?

— Помогает ли им государство?

— Есть ли у вас сироты и куда они деваются?

— Помогает ли государство этим сиротам попасть в вуз?

После этих вопросов буржуи делаются и гораздо вежливее и гораздо суше. Они вынуждены отвечать довольно нечленораздельно.

— Да, конечно, у нас есть приюты... Приюты, понимаете? Там тоже мастерские, только, конечно, там дети учатся ремеслу и «приучаются не воровать»...

Рабочие делегации Запада никогда не спрашивают: «Неужели все это беспризорные?», никогда не становится их тон сухим или чрезмерно вежливым. Они в восторге от нашей коммуны и от наших ребят, они в восторге и от того, что к ним так тепло относятся эти ребята, от того, что ребятам так хорошо живется в коммуне. Они искренно, часто волнуясь, рассказывают ребятам, как тяжело живется на Западе, как тяжок там детский труд, как тяжела детская сиротская доля. Коммунары слушают их, затаив дыхание.

Гости давно уже сидят в автомобилях, но еще продолжаются расспросы, рукопожатия и шутки. Шоферы нетерпеливо оглядываются, заведующий производством волнуется, что прервали работу, но всем легко и весело. Наконец, автомобили трогаются. У передового на подножке стройная фигура коммунара, который должен показать самую прямую дорогу через лес.

Экскурсии советских рабочих в коммуне ведут себя по-хозяйски. Женщины заглядывают под одеяла, щупают подушки, осматривают кухонную посуду. Мужчины в мастерских проверяют с циркулем в руках полуфабрикат

и спрашивают, почему плохо работает вентиляция. Коммунары в разговоре с ними употребляют самые специальные термины. Только и слышишь: шкив, суппорт, трансмиссия.

Придирчивость гостей никого не обижает. Мы признаем, что подушки действительно нужно бы поднабить, что с вентиляцией дело в никелировочной неладно, что шкив болтается. Эти наши гости самым приятельским образом отплясывают гопака в нашем саду под музыку улыбающихся оркестрантов. Отцы пляшут, отчего же не улыбаться! И уж действительно становится весело, когда на поддержку добродушной неповоротливой толстухе из Нарпита вылетает наш юркий и красивый Ленька Нигалев и начинает заворачивать вокруг нее такие хитрые и умопомрачительные антраша, что сидящий на скамейке в ряду других гостей худой усатый рабочий сбивает фуражку на затылок и кричит:

— Ах, ты ж, с-с-сукин сын! Это наш!..

Уходят рабочие из коммуны пешком, их провожают разговорившиеся, оживленные коммунары. Прощаются на меже у леса.

«Окружающее население»

На общие собрания коммунаров почти каждый раз приходят парни и девчата села Шишковки.

С Шишковкой коммуна начала устанавливать связь давно. Вначале из этого ничего хорошего не получалось. Первые наши культуртрегеры — комсомольцы Охотников, Веренин, Нарский — возвращались из деревни в ночную пору, не только ничего не сделав, но несколько навеселе, так как Шишковка славилась своим самогоном и любила угощать дорогих гостей. Кончились эти первые походы позорно: общее собрание запретило Охотникову посещать Шишковку.

Но скоро в коммуны стали приходить девчата из деревни. Наш политрук от удовольствия только руки потирал. Девчата посещали все комсомольские собрания, постепенно приобщаясь к жизни нашей организации. Большое неудобство, правда, заключалось в том, что девчат нужно было после собрания провожать домой.

Очень скоро обнаружилось, во-первых, что Крупов страшно влюбился в какую-то Катю и возымел даже желание на ней жениться, во-вторых, что в ту же Катю влюбился и Митька, в-третьих, что Катя не порвала со старым бытом, хотя и вступила в комсомол. Она по-прежнему торговала самогоном, так же как и ее мать. Ребята явно подпали под ее влияние. Комсомольцы оказались виновными и «во-первых», и «во-вторых», и «в-третьих». Все было выяснено нашими пацанами на страницах стенной газеты, и после двух-трех бурных заседаний с этим было покончено. Но после такой истории ребята почему-то очень охладели к Шишковке.

В это именно время коммуна совершила несколько культурных походов в более далекое село Шевченки, главным образом преследуя цели антирелигиозной пропаганды. Первое наше выступление было в пасхальную ночь. Несмотря на оркестр, мы собрали мало народу. Была исключительно молодежь, но и та, когда ударили к заутрене, предпочла не ссориться со

стариками и отправилась в церковь в предвкушении приятного обжорства на другой день. Однако в Шевченках был уже небольшой актив, и наши комсомольцы сумели с ним связаться и постепенно продвинуться вперед на антирелигиозном фронте. На другой год мы уже были знакомы с половиной села и смогли устроить в пасхальную ночь настоящее торжество с концертом, фейерверком, кинопостановкой. Теперь уже многие решили разговляться не после заутрени, а после нашего представления. Это было немалым шагом вперед.

Но Шевченки — Шевченками, а Шишковка все же не давала покоя нашим политическим организациям. Подошли к Шишковке с другой стороны, и очень хитро подошли.

Наш клубник Перский давно толковал о том, что нужно привлечь в наш драмкружок артистов из Шишковки. В совете командиров долго возражали против этого плана, указывая на то, что Шишковка никогда артистическими силами не славилась, что шишковцы принесут в коммуну водку и будут спаивать ребят. Больше всего командиры беспокоились, что новые артисты будут плевать в здании, бросать окурки и обтирать стены. При помощи комсомола Перский своего все-таки добился. По вечерам в коммуне стали появляться новые лица. Их было человек десять, артистическими талантами они, правда, обладали небольшими, но были замечательно усердны и послушны. В сравнении с нашими актерами, не имеющими никогда времени прочесть роль, шишковцы оказались прямо золотом. Перский организовал что-то вроде театральной школы — во всяком случае, каждый вечер шишковцы с десятком коммунаров упражнялись в главном зале в дикции, ритме, позе и прочих театральных премудростях.

Работа эта оказалась своевременной и в другом отношении. У коммунаров всегда была неприязнь к театральной работе, они считали, что подготовка к спектаклю отнимает очень много сил, а получается всегда довольно слабо, что во всех отношениях кино в тысячу раз лучше театра и, наконец, в нашем зале можно поместить кроме коммунаров и служащих не больше двадцати человек, так что играть не для кого.

Перский поставил несколько пьес, между прочим даже «Рельсы гудят» и «Республика на колесах».

Для коммунаров смотреть эти пьесы было истинным наслаждением. Действительно, шишковцы хоть и были на сцене довольно неповоротливы и комичны, но зато они прекрасно знали роли, и суфлер всегда отставал от артистов.

Главное было сделано: ребята близко и по-деловому познакомились с селянской молодежью. Скоро нашлись и другие общие дела у нас и у шишковцев: комсомол открыл в Шишковке школу ликвидации неграмотности и кружок молодежи, откуда черпал пополнения наш комсомол. Шишковцы не ограничились участием в драмкружке. Они близко подошли к жизни коммуны и сделались постоянными посетителями наших общих собраний. Правда, они не смогли освободиться от излишнего уважения не столько к нашим коммунарам, сколько к строгости и четкости нашей жизни, и коммунары всегда посматривали на них несколько свысока.

Взаимоотношения с селами укреплялись. После первых выпусков школы ликбеза возле коммуны сплотилась целая группа действительно новой молодежи. Наши комсомольцы снабдили село библиотекой. Большое значе-

ние имели наши лекции перед каждым сеансом кино — о внешней и внутренней политике, о партийных съездах, о пятилетке. О пятилетке мы прочли около двух десятков лекций, очень подробно останавливаясь на отдельных отраслях хозяйства.

У нас установилась тесная связь с рабочими организациями. Наиболее близко мы стали к клубу металлистов, в особенности к рабочим ВЭКа¹⁸. Металлисты несколько раз бывали в коммуне, мы всегда с особенной торжественностью и подъемом отправлялись к ним в клуб.

Наши экскурсии на завод были настоящим праздником для коммунаров. Скоро рабочие завода перезнакомились и подружились со всеми. Эта дружба особенно укрепилась после того, как шесть товарищей из коммуны поступили работать на ВЭК. С этих пор коммунары стали рассматривать ВЭК как «свой» завод. Если вэковцы что-нибудь организуют, они обязательно приглашают и коммуны. Если на заводе что-нибудь случится, об этом в коммуне не прекращаются разговоры.

Когда же засветился Тракторострой, когда нам было поручено изготовление дверей для Тракторостроя с обязательством выпускать ежедневно сто штук — нашим восторгам не было конца.

Кабинет

«Кабинет»¹⁹ в коммуне имени Дзержинского — место, о котором необходимо поговорить серьезно, потому что эта небольшая комната имеет в коммуне огромное значение.

В кабинете стоят два стола — заведующего, то есть мой, и секретаря совета командиров, три шкафа — мой, секретаря совета командиров и редакционной стенгазеты, несколько дубовых стульев и два диванчика. Есть пишущая машинка.

Кабинет никогда не бывает пустым — в нем всегда люди и всегда шумно. Пока наше производство еще не развернулось и было много свободных коммунаров, в кабинет назначался специальный дежурный. На его обязанности было держать кабинет в чистоте, исполнять обязанности курьера и, самое главное, время от времени освобождать кабинет от лишней публики. В настоящее время специальных дежурных для кабинета выделить невозможно и поэтому удалять из кабинета лишнюю публику некому.

Откуда набирается в кабинете лишняя публика? Дело в том, что в нашем коллективе существует старая традиция — все коммунарские дела разрешать не на квартире у заведующего, как это принято в соцвосовской практике, а только в кабинете, и ни одного дела, в чем бы оно ни заключалось, не делать секретно. В полном согласии с этой традицией каждый коммунар имеет право в любое время зайти в кабинет, усесться на свободном стуле и слушать все, что ему выпадет на долю. Коммунар, понятно, не упустит случая зайти в кабинет. Он всегда найдет какое-нибудь дело, часто самое пустяковое: попросить отпуск, доложить, что возвратился из отпуска, попросить бумаги или конверт, спросить, нет ли для него писем, что-то сверить у ССК, наконец, принести забытую кем-то в саду тубетейку или пояс. Под такими благовидными предложениями, а иногда и без всяких предлогов коммунар задерживается в кабинете. Но, разумеется, коммунару тихонько сидеть на

стуле даже и физически невозможно. Он вступает с кем-нибудь, таким же случайным гостем, в негромкую беседу в уголке. К ним присоединяется третий, и беседа разгорается.

Кроме того, в кабинет все время заходят и особы более дельные: ежеминутно забегает дежурный по коммуне с разными вопросами, ордерами, «запарками» и недоумениями, председатель столовой комиссии ругается по телефону с соседом-совхозом: утреннее молоко оказалось прокисшим, и председатель кричит что есть мочи:

— Что у нас кони — казенные? «Отвезите!»... Давайте теперь ваших коней.

Иногда у стола собирается целый консилиум: девочки хотят сшить себе юбки «модерн» и демонстрируют покрой. Я с сомнением смотрю на узкую выгнутую юбочку и говорю:

— Мне кажется, мало подходит для коммунарки.

Инструктор швейной мастерской, маленькая, худенькая добрая Александра Яковлевна, виновато поглядывает на девчат, а девчата уступать и не собираются.

— Почему не подходит? Это вам все мальчишки наговорили?

Присутствующие тут же мальчишки поднимают перчатку:

— Тогда и хлопцы начнут модничать. Вот нашьем себе дудочки...

— Разве мы модничаем? Какая ж тут особенная мода?

— Вы их балуете, Антон Семенович, — говорят мальчишки. — Сколько уже у них платьев?

— Сколько ж у нас платьев? Ну, считай...

— Ну вот, смотри, — начинает откладывать пальцы «мальчишка». — Парусовое — раз?

— О, парусовое! Так это же парадное... Смотри ты какой!

— Парадное не парадное, а — раз?

— Ну, раз.

— Дальше: синее суконное — два?

— Что ты! Смотри, так это ж парадное зимнее. Что ж, мы в нем ходим?

Надеваем два раза в год.

— Все равно, хоть и десять раз в год. Два?

— Ну, два.

— Дальше: серенькое вот, которое такое, знаешь...

— Ну, знаем... это же спецовка.

— Спецовка там или что, а — три?

— Ну, три.

— Потом с цветочками разными — четыре.

— А что ж мы будем в школу надевать спецовку, что ли?

— Все равно — четыре. Потом синее, рябое, полосатое, клетчатое и вот то, что юбка в складку, а кофточка...

— Что вы все выдумываете? Разве это у всех такие платья? У одной такое, у другой такое.

— Рассказывайте — такое да такое! Вот пусть об этом совет командиров поговорит, а то одна одежная комиссия, а там девчата — что хотят, то и делают.

Девочки побаиваются совета командиров — народ там всегда очень строгий. Но и у девочек есть чем допечь мальчишек.

— Смотри ты, какие франты! Сколько у них костюмов! Парусовый — раз.

— Да что ты, парусовый! Это ж летний парадный.

— Все равно — раз?

— Ну, раз.

— Суконный синий — два.

— Ну, еще будешь считать! Сколько же мы его раз надеваем в год? Разве что седьмого ноября.

— Все равно — два?

— Ну, два.

— Черный — три. Юнгштурм — четыре.

Мальчики начинают сердиться.

— Да ты что? А что ж нам в спецовках ходить в школу?..

Споры эти — настоящие детские споры. За ними всегда скрывается робкое чувство симпатии, боящееся больше всего на свете, чтобы его никто не обнаружил.

Попробуй та же девочка показаться в клубе в слишком истрепанном платье — со всех сторон подымается крик:

— Что это наши девочки ходят, как беспризорные. Что, им лень пошить себе новое платье?

Иногда у стола заведующего возникают дела посложнее. Виновато разводит руками инструктор литейного цеха:

— Вчера не было току, это верно.

— А сегодня?

— А сегодня этот лодырь Топчий не привез нефти из города.

— Какое нам дело до вашего Топчия! Вы отвечаете за то, что литье начинается в восемь часов, когда выходят на работу коммунары.

Инструктор бессилён снять с себя ответственность. Коммунары лежащего не бьют — только разве кто-нибудь вставит:

— Поменьше бы в карты играл у себя в общежитии.

Особый интерес возбуждают приезжие заказчики. Какой-нибудь технорук раскладывает на столе чертежи и торгуется с Соломоном Борисовичем, а из-за их плеч просовывают носы коммунары и нюхают, чем тут пахнет.

Вообще много интересного бывает в кабинете, и зайти в эту комнату всегда полезно.

В рабочие часы в кабинете почти никого нет, разве задержится больной или дежурный зайдет по делу.

Но как только затрубили на обед или «кончай работу», так то и дело приоткрывается дверь и чья-нибудь голова просовывается в кабинет, чтобы выяснить, есть смысл зайти или можно проходить мимо. Если я занят бумагами, ребята накапливаются в кабинете понемногу и начинают располагаться совсем по-домашнему. Вероятно, мой занятой вид импонирует им в высшей степени. Подымаю голову. Они не только расселись на всех стульях, но уже и в шахматы идет партия на столе ССК, а рядом — кто читает газеты, кто роется в каких-то обрезках стенных газет, кто оживленно беседует в углу. В кабинете становится шумно. Иногда я начинаю сердиться:

— Ну, чего вы здесь собрались? Что это вам — клуб? Я у вас не играю на станках в шахматы!

Коммунары быстро скрываются и бросают недоконченную партию, но на меня никогда не обижаются.

Их можно выдворить и гораздо более легким способом:

— А ну, товарищи, вычищайтесь!

— Вычищаемся, Антон Семенович!

Но ровно через пятнадцать минут я отрываюсь от работы и вижу: другие уже набились в кабинет, опять — шахматы, опять — чтение, опять — споры...

Бывают дни, когда я забываю о том, что они мне мешают. За десять лет моей работы я так привык к этому гаму²⁰, как привыкают люди, долго живущие у моря, к постоянному шуму волны. И поздно вечером, когда я остаюсь в кабинете один, в непривычно молчаливой обстановке работа у меня не спорится. Я нарочно иду в спальню или в лагери и отдыхаю в последних плесках ребячьего говора.

Но иногда от переутомления делаешься более нервным; тогда я дохожу даже до жалоб общему собранию:

— Это же ни на что не похоже! Как будто у меня в кабинете нет работы. Каждый заходит, когда ему вздумается, без всякого дела, разговаривает с товарищем, перебирает мои бумаги на столе, усаживается за машинку.

Все возмущены таким поведением коммунаров и наседают на ССК:

— А ты куда смотришь? Что, ты не знаешь, что нужно делать?

Два-три дня в кабинете непривычная тишина. Но уже на третий день появляется первая ласточка. Оглядываюсь — под самой моей рукой сидит маленький шустрый Скребнев и читает мой доклад Правлению о необходимости приобретения хорошего кабинета учебных пособий. Его локоть лежит на папке, которую мне нужно взять.

— Товарищ, потрудитесь поднять локоть, мне нужна эта папка, — говорю я с улыбкой.

Он виновато краснеет и быстро отдергивает локоть:

— Простите.

Я беру папку, а он усаживается в кресле уютнее, забрасывает ногу на ногу и отдается чтению важного доклада. В дверь просовывается чей-то нос. Его обладатель, конечно, сразу догадывается, что эпоха неприкосновенности кабинета пришла к концу. Он орет во всю глотку:

— Антон Семенович! Вы знаете, что сегодня случилось в совхозе?

Так как я занят, то он начинает рассказывать последние новости Скребневу и еще двум-трем коммунарам, уже проникшим в кабинет.

При всей бесцеремонности по отношению к моему кабинету коммунары прямо не могут перенести, если так же бесцеремонно в кабинет заходят новенькие. Тогда со всех сторон раздается крик:

— Чего ты здесь околачиваешься? Тебя просили сюда?

Новенький в панике скрывается, а коммунары говорят мне:

— Ох, этот же Тумаков и нахальный! Смотрите, он уже здесь, как дома.

Все поддерживают:

— Это верно. Сегодня ему говорю: «Чего ты стены подпираешь?» А он: «А тебе какое дело!»

— В столовой разлил суп, я говорю ему: «Это тебе не дома. Аккуратнее», — так он спрашивает: «А ты что — легавый?»

Ребята хохочут.

Но через месяц, когда все раскусят новенького до конца, приучат не подпирать стены, не разливать суп и окончательно, раз навсегда забыть о том, что есть на свете «легавые», его присутствие в кабинете никого не удивит.

Коммунары, очевидно, считают кабинет своим центром, считают, что каждый настоящий коммунар вправе в нем присутствовать, но что для этого все-таки нужно сделаться настоящим коммунаром.

Когда в нашу кабинетную толпу входит посторонний человек с явно деловыми намерениями, ему вежливо дают дорогу, еще вежливее предлагают стул, каким-то особым способом уменьшают толпу в кабинете на три четверти нормальной и тихонько слушают, если интересно. А неинтересно, все гуртом «зычищаются» в коридор.

Совет командиров

В кабинете собирается и совет командиров. Очередные заседания совета бывают в девятый день декады, в половине шестого, после первого ужина. Обыкновенно об этом совете объявляется в приказе, и коммунары заранее подают секретарю совета заявления: о переводе из отряда в отряд, о разрешении курить, о неправильных расценках, об отпуске, о выдаче разрешения на лечение зубов и пр.

Гораздо чаще совет командиров собирается в срочном порядке. Бывают такие вопросы в жизни коммуны, разрешение которых невозможно откладывать на десять дней.

Собрать совет командиров очень легко, нужно только сказать дежурному по коммуне:

— Будь добр, прикажи трубить сбор командиров.

Через четверть минуты раздается короткий сигнал. Я не помню случая, чтобы между сигналом и открытием заседания прошло больше трех минут.

Мы стараемся созывать совет командиров в нерабочее время, чтобы не раздражать Соломона Борисовича. Да и ребята не любят отрываться от работы.

По сигналу в кабинет набивается народу видимо-невидимо. Командиры приводят с собой влиятельных членов отряда, бывших командиров и старших комсомольцев, чтобы потом не пришлось «отдуваться» в отряде. Приходят и все любители коммунарской общественности, а таких в коммуне большинство.

У нас давно привыкли на командира смотреть как на уполномоченного отряда, и поэтому никто не придирается, если вместо командира явился какой-нибудь другой коммунар из отряда.

Заседание начинается быстрой перекличкой:

— Первый.

— Есть.

— Второй.

— Есть.

— Третий.

— Есть...

И так далее.

— Объявляю заседание совета коммунаров открытым, — заявляет

ССК. — У нас такое экстренное дело. Пришло приглашение окружного отдела МОПРа провести с ними экскурсию в чугуевский лагерь. Условия предлагают такие...

Начинается самое подробное рассмотрение всех условий, предложенных МОПРом. Коммунары — все члены МОПРа и все гордятся своими мопровскими книжками, но это не мешает им с хозяйской недоверчивостью обсуждать каждую деталь предложения.

Черномазый Похожай — добродушный и умный командир девятого отряда новеньких, уже комсомолец и общий любимец, хоть ему еще и пятнадцать не стукнуло, — сверкает глазами и басит:

— Знаем, чего это они к нам с приглашением. Наверное, у них оркестра нет. Вот они и просят: давайте ваших семьдесят коммунаров. А мое предложение такое: что нам делить коммуны? Если ехать, так всем ехать, а не ехать — так никому не ехать.

На полу под вешалкой сидит Ленька Алексюк из десятого отряда, политбеженец из Галиции, самый младший и смешливый коммунар. Его командир Мизяк долго соображает что-то по поводу предложения Похожая, а Ленька уже сообразил:

— Ишь, хитрые какие! Семьдесят человек... А если и мы хотим ехать?

Ленька — человек опытный и знает, что если дойдет дело до выбора, то ему скажут: «Успеешь еще, посиди в коммуне, заснешь там ночью...»

Командир третьего Васька Агеев о чем-то шепчется с неизменным своим спутником Шведом, и я слышу обрывки разговора:

— Ну, так что?

— В копейку влетит, если все...

Берет слово Волчок, помощник командира первого. Волчка Фомичев почти всегда посылает в совет в трудных случаях.

— Да что тут говорить? Конечно, всем ехать...

Васька, секретарь, обращается ко мне:

— А как у нас с деньгами?

— Слабо, — говорю я.

Васька оживает.

— Ну, так что ж тут говорить! Значит, предложение будет такое, как тут высказывались: едет сто пятьдесят коммунаров, проезд на «их» счет, и чтобы был обед в Чугуеве. Голосую...

В таких случаях решение бывает единогласным.

Но иногда разгораются страсти, в прениях принимают участие и гости и даже вся толпа не успевших занять стулья или присесть на полу. Тогда Васька «парится» и кричит:

— А ты чего голосуешь? Ты командир?

— Наш командир в городе, я — за него.

— Ты за него, а почему голосует Колька?

— А это он за компанию.

— Голосуют только командиры! — разрывается секретарь, и Ленька Алексюк опускает руку. Он всегда голосует, хотя его руку давно уже привыкли не замечать под вешалкой.

В особенности часто разделяются голоса в тех случаях, когда затрагиваются вкусы. Недавно решали, что покупать на лето — фуражки или тюбетейки. Народ поменьше стоял за тюбетейки, старшие настаивали на

фуражках; вышло поровну. В таком случае дает перевес голос председателя. И Васька начинает важничать: долго думает, морщит лоб и отмахивается от недовольных комсомольцев, которым тубетейка почему-то кажется не-симпатичной.

— Да ну же решай, чего там морщишься? Все равно никто носить не будет.

Васька сейчас же в «запарку», поддерживаемую большинством собрания:

— Как это не будешь? А если постановят? Ты мне такие разговоры не заводи, а то в бюро придется с тобой разговаривать!

Васька и сам комсомолец и член бюро, но ему только пятнадцать лет, поэтому ему мила тубетейка. Теперь же, после угрозы не подчиниться постановлению, он решительно переходит на сторону золотой шапочки и подымает руку.

— За тубетейку!

Бывает часто, что и мне приходится оставаться в меньшинстве. В таких случаях я обычно подчиняюсь совету командиров, и тогда ребята торжествуют и «задаются»:

— Ваша не пляшет!

Но бывает и так, что я не могу уступить большинству совета. У меня тогда остается один путь — апеллировать к общему собранию коммунаров. На общем собрании меня обычно поддерживают все старшие коммунары, бывшие командиры и почти всегда — комсомольцы, способные более тонко разбираться в вопросе.

Благодаря такой конъюнктуре командиры очень не любят, когда я угрожаю перенести вопрос на общее собрание, и недовольно бурчат:

— Ну да, конечно, на общем собрании за вас потянут. А вы здесь должны решать, а не на общем собрании. Им что, поднять руку!

В прошлом году стоял вопрос о летней экскурсии. Совет командиров настаивал на Крыме, я предлагал Москву. В совете о Москве и слышать не хотели:

— В Крыму и покататься и отдохнуть...

— У нас мало денег для Крыма, а в Москву дешевле, — возражал я.

— Мы и в Крыму проживем дешево.

— В Москве больше увидим, многому научимся, увидим столицу.

— А Харьков не столица разве?

Я все же не помирился с советом и перенес вопрос на общее собрание. Все командиры агитировали против меня, яркими красками рисовали прелести Крыма и отмахивались от моей поправки: «В этом году — в Москву, а в следующем — в Крым».

На общем собрании решение ехать в Москву было принято большинством трех голосов, и это дало основание в совете командиров поднять вопрос о пересмотре. При новом голосовании в совете я остался уже не в таком позорном одиночестве, а на новом общем собрании мне удалось собрать больше двух третей голосов благодаря единодушной поддержке комсомола. Только тогда оппозиция успокоилась.

Такие случаи объясняются тем, что в командирах ходят не обязательно самые авторитетные коммунары. Командир командует отрядом три месяца и на второй срок избирается очень редко. С одной стороны, это очень хорошо, так как почти все коммунары таким образом проходят через команд-

ные посты, а с другой стороны, получается, что командиры сильно ограничены влиянием старших коммунаров. Последние, в особенности комсомольцы, умеют подчиняться своим командирам в текущем деле, на работе, в строю, но зато независимо держатся в общественной жизни и в особенности на общем собрании. Здесь коммунары вообще не склонны разбирать, кто командир, а кто нет.

Исключительное значение имеет в коммуне ячейка комсомола, объединяющая больше шестидесяти коммунаров. Она никогда не вмешивается в прямую работу совета командиров, но очень сильно влияет на общественное мнение в коммуне и через свою фракцию всегда имеет возможность получить любое большинство в совете. Поэтому в вопросах, имеющих принципиальное значение, совету командиров часто приходится только оформлять то, что уже разобрано и намечено в разных комиссиях, секторах, бюро ячейки и, наконец, в общем собрании комсомола.

Но зато в повседневной работе коммуны, во всех многообразных и важных мелочах производства совет командиров всегда был на высоте положения, несмотря на свой переменный состав. Здесь большое значение имеют традиция и опыт старших поколений, уже ушедших из коммуны. Вот мы сейчас собираемся уезжать, и в совете командиров все хорошо знают, что нужно подумать и о котлах, и о ведрах, и о сорных ящиках, о правилах поведения в вагонах, о характере работы столовой комиссии, о санитарном оборудовании похода. Во всех этих делах ребята не менее опытные, чем я, и быстрее меня ориентируются. Только поэтому мы могли в пять часов вечера окончить работу в мастерских, а в шесть выступить в московский поход.

Из особенностей работы совета необходимо указать на одну, самую важную: несмотря на все разногласия в совете командиров, раз постановление вынесено и объявлено в приказе, никому не может прийти в голову его не исполнить, в том числе и мне. Может случиться, что я или старшие комсомольцы будем разными путями добиваться его отмены, но мы совершенно не представляем себе даже разговоров о том, что оно может быть не выполнено.

В начале этого лета одно из постановлений совета прошло незначительным большинством и при этом наперекор общему настроению. Дело касалось охраны лагерей. Зимой сторожевой отряд освобождался от работы в мастерских — иначе было нельзя: коммунары занимались в школе, а из школы мы никогда ребят не снимали. Но когда настали каникулы, совет командиров возбудил вопрос об охране лагерей в порядке дополнительной нагрузки. Большинство в совете набралось очень незначительное — один или два голоса. Вся коммуна была недовольна. Еще бы: нужно вставать ночью и становиться на дневальство на два часа, и это приходится делать раз в пятидневку. Но другого выхода не было.

Дня два мы не решались объявить постановление в приказе, я даже побаивался: а вдруг не выполнят?

Наконец, решились с Васькой: чего там смотреть! Объявили в приказе давно известное всем решение.

И ни одного голоса не раздалось против, ни один человек не опоздал на дневальство и не проспал. Вопрос был исчерпан. И мы этому не удивились. Васька, подписывая приказ, недаром говорил:

— Кончено! Подписали!

Наши шефы

Правление, в которое Соломон Борисович грозил перенести вопрос о копейке, имеет огромное значение в жизни коммуны. В Правлении — четыре товарища. По странному совпадению фамилии всех членов Правления начинаются на одну букву Н. Члены Правления — чекисты. Они отнюдь не перегружены педагогической эрудицией и, вероятно, никогда не слышали о «доминанте». Но они создали нашу коммуну и блестяще руководят ею.

Все члены Правления — люди очень занятые. Они могут нам уделять лишь немного времени по вечерам или в выходной день, да и то очень редко. Несмотря на это, ни одна деталь нашей жизни не проходит мимо них, они всегда полны инициативы.

Н. приезжает в коммуну без портфеля и в дверях весело здоровается с коммунарами. Коммунары, занятые своими делами, пробегают мимо него и наскоро салютуют. Они не чувствуют перед Н. ни страха, ни смущения. Н. направляется в кухню и в столовую. Старшая хозяйка расплывается в улыбке и спрашивает:

— Может, покушаете чего?

— Потом, потом...

Н. обходит спальни. Его сопровождает случайно прицепившийся коммунар, почему-либо свободный от работы. Из седьмой спальни Н. выносит кривой «дрючок» и с укоризненным видом опирается на него, пока Сопин, украшенный красной повязкой ДК, отдает рапорт:

— В коммуне все благополучно, коммунаров сто пятьдесят один.

— Все благополучно? А это зачем в спальне?

— Наверное, для чего-нибудь надо, — уклончиво отвечает Сопин.

— Надо!.. Для чего это может понадобиться? Собак гонять?

— Почему для собак? Наверное, для чего-нибудь нужно пацану, — может быть, какое-нибудь дерево особенное.

Сопин присматривается к «дрючку», стараясь найти в нем в самом деле что-нибудь особенное.

— Дерево... — говорит Н. — Вы это обсудите в санкоме, почему в спальнях разные палки.

— Конечно, если придирааться... А у вас в комнате ничего не бывает? Вот палку нашли...

— Да чудак ты! Зачем я в комнату принесу палку, такую кривую?

— Вам не нужна, а пацану, может, нужна для чего... Больше никаких замечаний нет?

Сопин оставляет Н. Через минуту врывается в кабинет с этой самой палкой в руках и гневно говорит Ваське ССК:

— И откуда, понимаешь, понатаскивают разной дряни! На поверке, понимаешь, ничего не было, а теперь палок разных...

Васька строго смотрит на палку.

— Что? Наверно, Н. приехал?

Но Н. уже входит в кабинет в сопровождении какого-то пацана, рука его лежит у пацана на затылке, и пацан что-то лепечет, задирая вверх голову.

Васька отставляет палку в угол и салютует.

— Вы опять его балуете? Ты чего без дела?

— У меня пас лопнул, зашивают, — шепчет пацан и немедленно удаляется.

Н. усаживается за стол ССК.

— Ну, как у вас дела?

— Дела скверные, — говорит Васька. — Дуба нет, в цехах тесно, холодно, станки старые, пасы рвутся, считай, каждую минуту: все старье.

— Постой, постой, это мы знаем...

— Ну, а так все хорошо.

— Вот, подожди немножко, поправимся, построим новые цехи, все будет. Ну, пойдем в цех.

К сигналу «кончай работу» они возвращаются в кабинет. С ними приходят другие коммунары и Соломон Борисович. Соломон Борисович недоволен:

— А деньги где? А фонды?

Мы не открываем заседания. Без председателя и протокола мы в течение получаса решаем вопрос о том, где достать леса, как отопить цех, какую спецовку выдать Ленке. Между делом Н. говорит:

— Завтра в клубе интересный концерт. Пришлите тридцать коммунаров.

Наконец подошли и к вопросу о копейке в никелировочном. О ней докладывают Васька и Соломон Борисович с диаметрально противоположными выводами. Н. хохочет и кивает Соломону Борисовичу:

— Придется платить.

— Вам хорошо говорить! — закипает покрасневший Соломон Борисович, но ему не дают кончить коммунары. Они тоже хохочут и теребят Соломона Борисовича за полы пиджака:

— Годи! Теперь уже годи!..²¹

Приблизительно раз в месяц коммуна бывает в клубе ГПУ. Коммунары рассыпаются по залам клуба, занимают первые ряды в зрительном, толпятся у стоек буфета, угощаются чаем. Беседуют со знакомыми, договариваются о каких-то делах — спортивных, литературных, комсомольских, смеются и шутят. Чекисты создали нашу коммуну, они знают в лицо многих коммунаров, для них коммуна Дзержинского — живое дело, созданное их коллективом и неуклонно развивающееся благодаря их заботе.

Сколько наговорено слов о связи детского дома с производством и с окружающим населением! Создана целая методика по этому вопросу. А оказывается, нужно просто сделать детский дом органической частью общества, создавшего его и за него ответственного. Только в таком случае создастся тот необходимый фон, без которого советское воспитание невозможно.

Наши шефы — люди, занятые чрезмерно, занятые круглые сутки. Но все-таки они находят время подумать о коммунарах, и они умеют все делать, не выставляя напоказ своей заслуги. Это естественно: наша коммуна — их коммуна, и забота о ней — забота о близком и дорогом деле, которое тем дороже, чем больше на него положено сил.

Коммунары-дзержинцы имеют все основания встречать свое началь-

ство просто и без напряжения, потому что это приезжают свои люди, близкие.

И так же просто и естественно выходит, что товарищ Н. ночью, после целого дня напряженной работы, выезжает на вокзал встречать возвращающуюся из Москвы коммуны и заботливо спрашивает:

— Никто не потерялся? Все здоровы?

Дела комсомольские

Комсомольцев в коммуне шестьдесят пять. Все они очень молоды, самому старшему семнадцать лет. Наши коммунары — плохие ораторы. Коммунарская жизнь упорядочена и логична. На общих коммунарских собраниях всегда все так ясно и все так единодушны, что разговаривавшегося оратора немедленно останавливают и председатель и все собрание: «Довольно, знаем!» Больше всего приходится говорить ребятам на производственных совещаниях, но там такой малый и в то же время четкий круг вопросов, что разговор принимает форму беглой беседы. Ораторским способностям коммунаров негде развернуться.

Нужно сказать и еще одну правду: коммунарам зачастую бывает в высшей степени мучительно выслушивать заезжих докладчиков, способных в течение часа излагать то, что всем давно известно. Невысоко ценится в коммуне и тот кустарный пафос, которым умеет щегольнуть кое-кто из приезжих «ораторов».

Но все же коммунары всегда болезненно переживали те неловкие минуты, когда в ответ на какое-нибудь цветистое и полное «измов» приветствие никто в коммуне не мог ответить. С приходом Шведа это болезненное место в нашем коллективе было как будто залечено. Комсомольцы прямо назначили Шведа присяжным ответчиком и приветчиком во всех подходящих случаях.

А таких случаев бывает много в коммуне: посещение торжественных собраний в разных клубах, проведение в самой коммуне различных кампаний и т. д. Швед умеет смело выйти на трибуну, заложить одну руку в карман и начать говорить, ни разу не сбиваясь. Коммунары с восхищением смотрят на самоуверенного трибуна Шведа, такого ласкового и мягкого в нашем коммунарском быту. Но иногда Швед уж слишком разойдется, и тогда его апломб вызывает возражения в коммуне:

— Что это такое: «Я надеюсь, что ГПУ исполнит свой долг»?

Неожиданно в коммуне обнаружился и второй оратор, четырнадцатилетний Васька Камардинов. По должности ССК ему часто приходится брать слово и произносить речи.

Васька никогда не употребляет книжных выражений, всегда умеет найти живые и непритязательные слова и подкрепить их смущенным жестом и смущенной улыбкой. Он никогда не мог бы произнести такие ответственные слова, на которые с легким сердцем решается Швед:

— Перевыборы нашего самоуправления, товарищи, происходят в весьма сложной обстановке: с одной стороны, буржуазия делает последние усилия, чтобы справиться с мировым кризисом и втянуть нас в войну, с другой стороны — Советский Союз строит свою пятилетку уже не в пять лет, а в четыре года.

Кроме этих двух присяжных ораторов есть, правда, в коммуне и другие, которые отваживаются даже при посторонних брать слово и пытаются что-нибудь высказать. Но наши доморощенные докладчики сначала весьма смущаются и лишь постепенно овладевают задачей более или менее удовлетворительно изложить на нашем русско-украинском языке (результат перехода из русской школы в украинскую и обратно) существо дела.

Но совсем другое дело на общих собраниях, в совете командиров, на производственных совещаниях, где коммунар не чувствует себя обязанным блеснуть ораторским искусством, всегда коммунары найдут там яркие и нужные экономные слова, достаточно при этом остроумные, горячие и убедительные. Застрельщиками в таких выступлениях всегда бывают комсомольцы.

Комсомольской ячейке коммунаров работы по горло. Руководство ходом соревнования и ударничества лежит на плечах нашего комсомола.

Наш взрослый состав, к сожалению, не всегда удовлетворителен во многих отношениях. Например, один из рабочих, только что поступивший на производство, ночью пьянствовал на Шишковке, а наутро оказалось, что у других рабочих пропали вещи, что в цехе не хватает двух новых рубанков. В обеденный перерыв легкая кавалерия бросилась на Шишковку и ликвидировала целый самогонный завод, а вечером бюро до двенадцати ночи договаривалось с месткомом об увольнении рабочего.

В таких случаях местком обязательно проводит линию милосердия и прощения, а комсомольцы кроют:

— Какой он там рабочий?.. Разве это рабочий?.. Уволить — и все!

— Нельзя же, товарищи, так строго, — говорит один из воспитателей-месткомовцев.

— Почему нельзя так строго? — удивляется Сторчакова.

— Ну, все-таки в первый раз.

— Как это — в первый раз? Что ж, по-вашему, каждый по разу может украсть и пропить?

На производственных совещаниях и в комиссиях — а их в коммуне шесть — для комсомольцев самая тяжелая повседневная работа. Здесь по целым вечерам приходится биться над тонкостями сортирования материалов для отдельных частей стола, неправильностью проводки к никелировочной ванне, новыми приспособлениями у токарных зажимов, капризами расмусного станка, расхождением отделов токарного цеха, недостатками вентиляции в литейной...

Мне их становится иногда жаль. На улице золотой радостный вечер, кто-то смеется и кто-то катается на велосипеде, а в «тихом» клубе наморщили лбы пять комсомольцев и выслушивают довольно путаные объяснения мастера, которому следовало бы в двух словах повиниться и признать, что вчера проспал и поэтому в цехе полчаса не было работы. В таких случаях я нажимаю и требую сокращения работы комиссий. Раз в две пятидневки бывает общее комсомольское собрание. На собрание приходят обычно все коммунары, даже Ленька Алексюк заранее занимает место за передним столом.

Самое трудное дело для нашего комсомола, труднее всех производственных тонкостей — дела пионерские. Не налаживается у нас с пионерами.

Пока не работали малыши в производстве, еще шли у них дела. Теперь же они возгордились и считают, что в пионерах им делать нечего.

Комсомольцы их и укоряют, и убеждают, и прикрепляют к ним все новых и новых работников, но пионеры неизменно отлынивают от пионер-работы. Зато почти еженедельно они подают в комсомол заявления о приеме. В самом деле, как пацану работать в пионерах, если по квалификации он перегнал своего командира, если по школе он перегнал многих комсомольцев, если в политиграх он идет впереди, если газет он читает больше? Можно вступать в комсомол с четырнадцати лет...

В пионерорганизации только одному Леньке Алексюку место, но и Ленька с удовольствием посещает комсомольские собрания и совет командиров...

Общее собрание

После второго ужина в коммуне наступает час, когда вся дневная программа считается законченной, все обязанности исполненными. Но кое-где еще бьется пульс дневного напряжения.

В столовой еще ужинают: дежурства, подавальцы, опоздавшие.

У парадного входа балагурят старшие в ожидании общего собрания. Здесь же собираются и инструкторы и рабочие, любители наших общих собраний. Образуются группы вокруг наиболее веселых и говорливых товарищей. Если сегодня была сыгровка оркестра, то веселее всего тем, кто толпится вокруг Тимофея Викторовича, нашего капельмейстера. Ему шестьдесят лет от роду, но в то же время он самый здоровый, энергичный и общественный человек в коммуне, никогда не устает ни от работы, ни от толпы. Он пользуется огромным авторитетом не только среди музыкантов, а решительно у всех коммунаров. Тимофей Викторович — человек полный, у него подстриженные усы и нос картошкой. Он был и на японской, и на империалистической, и на гражданской войнах, побывал чуть не во всех частях света. Этот умный и жизнерадостный человек любит порассказать о своих приключениях и наблюдениях.

В кабинете яблоку упасть негде. Командиры готовят рапорты и передают дежурному по коммуне для подтвердительной визы. Любители кабинета в этот момент собраны в наибольшем количестве. Да и трудно не зайти в кабинет, когда здесь и Соломон Борисович с последними производственными новостями и планами, восторгами и обидами, здесь и наш клубник, оригинал и фантазер Перский, всегда занятый неким изобретением, подозрительно похожим на перпетуум-мобиле; возле Перского неременный штаб, состоящий из самых недисциплинированных, самых дурашливых, предприимчивых и способных коммунаров — Ряполова, Сучкевича, Боярчука, Швыдкова.

В этот час только и можно выпросить у меня денег на какие-нибудь приспособления для изокружка, у Соломона Борисовича — дикт и гвозди, у ССК — бумаги и резинок. На диване или на полу поспешно заканчивают шахматную партию наши маэстро. Среди них — физкультурник Карабанов, старый мой товарищ по горьковской колонии, когда-то вместе со мной закладывавший камень за камнем фундамент горьковского здания, до того — беспризорный и бандит, а теперь — один из самых влиятельных

дзержинцев, по-прежнему упорный и огневой, наш чемпион в шахматах. Тут же и какой-нибудь заночевавший гость, чаще всего из учителей. Он не может постигнуть, каким образом в этом невероятном²² шуме решаются дела, пишутся бумаги, выдаются деньги, производятся расчеты и утверждаются акты.

В вестибюле в это время, то и дело поглядывая на циферблат наших главных часов, стоит дежурный сигналист.

Ровно в половине девятого сигналист поправляет рубашку и пояс и трубит сразу два сигнала — старая наша традиция — «сбор командиров» и «общее собрание». Как и все остальные сигналы, этот играется четыре раза: в вестибюле, на парадном крыльце и на двух углах здания. Когда до меня долетают последние звуки, я оставляю свой пост и выхожу из опустевшего кабинета. В конце коридора при входе в «громкий» клуб я вижу сбегающих по сигналу коммунаров.

В «громком» клубе чинно сидят коммунары, а поперек зала стройно вытянулись в две шеренги командиры. Против них, у самой сцены — дежурный по коммуне с красной повязкой. Когда шум постепенно стихает, раздается голос дежурного:

— К рапортам встать!

Начинается церемония рапортов²³. Каждый командир подходит к ДК, держа в руках рапорт. Командир вытягивается в салюте сегодняшнему старшему, за ним вытягивается и весь зал: коммунары салютуют командиру и в его лице всему отряду. В зале полная тишина, и все ясно слышат рапорт:

— В седьмом отряде все благополучно.

— В девятом отряде все благополучно. Заболел Васильев.

— В десятом отряде все благополучно. В цехе было три рабочих часа простоя.

— В пятом отряде все благополучно. Во время работы поссорились Лазарева и Пономаренко.

— В одиннадцатом отряде все благополучно. В командировке Богданов.

После командиров отдают рапорты дежурный член санитарной комиссии, старшая хозяйка и командир сторожевого отряда. У ДЧСК обычные замечания: за столом четвертого отряда было грязно, Романов не чистил утром зубы. У старшей хозяйки тоже обычное: Тетерятченко разбил чашку. А у командира сторожевого: Семенов не вытер ноги, девочки не прикрывают двери, Уткина была в спальне без ордера.

Дежурный по коммуне в ответ на рапорт говорит:

— Есть²⁴.

Рапорты окончены, все опускаются на стулья, а на месте ДК появляется очередной председатель, назначенный вчерашним приказом, и секретарь.

— Объявляю общее собрание коммунаров открытым.

Председатель заглядывает в кучу рапортов с особыми замечаниями, специально отложенных ДК.

— Тетерятченко!

Тщедушный Тетерятченко выходит на середину зала. На блестящем паркетном полу под главным фонарем он становится в позу «смирно».

— В рапорте старшей хозяйки отмечено, что ты разбил чашку, — говорит председатель.

Наиболее распространенный ответ коммунаров на такое обвинение:
— Я ее не разбил. Она стояла, а я подошел к ней и хотел взять в руки, а она распалась.

Коммунары всегда помнят, что еще в прошлом году я предложил им отвечать так:

— Я посмотрел на чашку, а она распалась.

Чашек у нас уже не хватает. Многим в столовой приходится ожидать, пока освободятся чашки. Я умышленно не покупаю пополнения, и все ребята догадываются почему: бейте, значит, — посмотрим, чем это кончится. Неудобство от недостатка чашек огромное, но все знают, что меня лучше не трогать, потому что я скажу: «Чашки были пополнены три месяца назад. Денег на новое пополнение нет». Поэтому никто и не заикается о пополнении.

Волчок просит слова:

— Я думаю, что с чашками как-нибудь нужно что-то сделать. Каждый день бьют. Или не давать таким, как Тетерятченко, — он где ни повернется, так испортит что-нибудь. Надо греть таких раззяв.

Собрание склонно последовать этому совету, но у каждого на совести есть чашка или тарелка, поэтому прения не развиваются.

Я вношу предложение: придется купить алюминиевые, эти не будут биться. В зале начинают сердиться. С места говорят:

— Ну, алюминиевые!

Председатель строго говорит Тетерятченке:

— Садись ты. Да смотри, в другой раз осторожнее поворачивайся вокруг посуды.

Тетерятченко, довольный, что дешево отделался, салютует председателю и отправляется на свое место.

Председатель снова заглядывает в рапорт.

— Лазарева и Пономаренко.

На середине две небольшие девочки, однако они умеют уже кокетливо жеманиться и демонстрируют сразу и смущенную застенчивость и пренебрежение к собранию. Они — новенькие, их только недавно прислала к нам комиссия по делам несовершеннолетних. Жили они еще совсем недавно в какой-то наробразовской колонии и своим «поведением» и решительным нежеланием подчиниться авторитету педагогов заслужили удаление из колонии.

Пономаренко — постарше, у нее выцветшие прямые волосы, челка почти закрывает глаза. Она задирает голову и все время вертится.

С краев зала несколько голосов кричат:

— Стань смирно! Что ты танцуешь?

Пономаренко вихляет ногой и бурчит:

— А вам не все равно?

На сцене, где всегда заседают самые активные пацаны, кто-то не выдерживает и, не получив слова, приступает сразу к речи:

— До каких пор это будет продолжаться? Они даже на собрании вести себя не умеют.

Председатель строго осаживает горячего оратора:

— А ты чего кричишь? Тебе давали слово?

— Ну, так дай слово.

— Говори.

Со стула подымается небольшой кучерявый Гершанович и начинает говорить, жестикулируя правой рукой над головами сидящих впереди товарищей:

— Я думаю, что с Пономаренко нечего возиться. Сколько уже раз она давала слово, а все равно каждый день на середине, да еще выйдет и ломается, как будто она барышня какая. Надо отправить ее, откуда пришла. На что нам такие?

Пономаренко, окинув Гершановича сердитым взглядом, намеренно резко говорит:

— Ну и отправляйте! Что ж, подумаешь, нужно очень!

В зале подымается возмущенный шум. Со всех сторон раздаются:

— А что ж, на твою челку смотреть будем?

— Да, конечно, отправить ее в комиссию!

— Пацанов сколько в коллекторе ждет вакансии в коммуне, так тех не берем, а эту держим, не видели ее ужимок!

— Пусть едет в Волчанск и там ужимается, сколько хочет!

Председатель с трудом наводит порядок в зале:

— Вот спросим, что ее командир скажет. Вехова, что сегодня случилось?

Вехова, румяная девочка лет шестнадцати, аккуратненькая и приветливая, как всегда склонив голову немного набок, подымается со стула:

— Да сегодня они с утра в мастерской всё грызлись из-за какой-то катушки. Их несколько раз и я останавливала, и Александра Яковлевна, и все девчата. Перестанут, а потом опять начинают. А сегодня после обеда, когда только что пришли на работу, они вцепились одна другой в волосы и такое подняли, что пришлось дежурного по коммуне вызывать.

В зале хохот. Сам председатель смеется. Из-под экрана кто-то из малышей старается всех перекричать:

— Их надо остричь, остричь надо, тогда не за что будет хвататься!

Слово берет Редько:

— Я думаю, что тут все девчата сами виноваты...

У девчат:

— О, придумал, уже мы виноваты!

— Да, виноваты! Как это можно не справиться с ними? Пусть у нас в цехе попробуют драться! А если у вас нет силы их примирить, так держите всегда под рукой ведро с водой или огнетушитель повесьте.

Взрыв смеха настолько заразителен, что и сами обвиняемые смеются. Редько раздражается:

— Вот смотрите, они еще смеются!

Председатель отмахивается от Редько рукой и дает слово Воленко.

Воленко всегда старается встать на сторону «униженных и оскорбленных»...

— Чего все так напали на девчат? Чем они виноваты? Только недавно прибыли, никакой культуры не нюхали. Нужно было им разъяснить.

Из угла девочек возмущаются:

— Мало им разъясняли! И мы сколько раз, и здесь на общем собрании, и воспитатели сколько уже с ними разговаривали да уговаривали, и в комсомол их вызывали, да и сам Воленко брался.

— Надо все-таки и дальше продолжать, пока они не станут культурнее, а то они еще совсем, как дикари.

Пономаренко быстро оборачивается к Воленко:

— Сам ты дикарь! Нужны кому твои разговоры!

В зале опять смех.

— Садись, Воленко, пока цел.

Слово получает Сопин. Он сегодня серьезен:

— Довольно уже с ними возиться! Я считаю, что разговаривали довольно. Надо с ними построже. Нужно запретить им работу в мастерской — вот что, раз они там себе прически только портят. Не пускать их в мастерскую, пускай уборкой занимаются.

— Правильно! — кричат со всех сторон.

Председатель видит, что вопрос выяснен.

— Можно голосовать? — спрашивает он дежурного заместителя.

Наложить взыскание имеет право и сам ДЗ единолично, если проступок не представляет собой ничего необыкновенного, но всегда считается полезным передать карательные полномочия общему собранию²⁵. Для голосования наказания все-таки необходимо согласие ДЗ.

— Не возражаю.

Предложение Сопина принимается единогласно. Пономаренко и Лазарева направляются к своим местам, но председатель останавливает:

— А салют?

Они нехотя салютуют.

На другой день они убирают в саду и в коридорах, но уже к вечеру приходит ко мне Вехова и говорит:

— Там Пономаренко и Лазарева просят, чтобы их простили. Говорят, что никогда так не будут делать.

— Так я же не могу, ведь общее собрание постановило.

— И я им говорила, а они все-таки просят.

— Ну вот, сегодня на собрании поговорим.

Вехова уходит, а через пять минут в кабинет потихоньку просовываются Пономаренко и Лазарева и, увидев, что в кабинете никого нет, шепчут:

— Если вы нас не можете простить, так не нужно на общее собрание ставить вопрос.

— Почему?

— А ну их! Эти хлопцы опять смеяться будут.

— Ну, а в самом деле, разве не смешно, что вы в мастерской в драку вступаете, как петухи? Что же делать! Общему собранию трудно не покориться. Я советую вам все-таки сегодня как-нибудь помириться с собранием.

Они молча уходят.

На собрании я сообщаю после выяснения всех очередных вопросов:

— Вчера мы довольно строго наказали двух девочек. Сегодня они хорошо работали на уборке и просили меня и командира шестого, чтобы с них наказание сняли. Больше драться они, конечно, не будут.

— Ну что ж, можно и амнистировать, — спокойно басит Похожай, командир девятого.

Волчок хлопает по плечу сидящую рядом с ним Пономаренко и говорит:

— Такая славная девочка, только бы на басу играть, а она — в прическу.

В зале улыбаются.

Председатель мирно спрашивает:

— Так что ж, может, и в самом деле на этот раз?..

Редько со смеющимся, всегда довольным лицом поворачивается во все стороны:

— Оно и не следовало б прощать, да так уже, для хорошего вечера...

— Возражений нет?

— Нет! — кричит весь зал.

Председатель обращается в ту сторону, где спрятались за спинами товарищей виновницы торжества:

— Ну, смотрите, собрание вас прощает. Ну, а если еще такие драки будут...

— Ладно, — говорит Пономаренко.

Редько серьезно поправляет:

— Не ладно, а есть.

— Ну, есть.

В зале смех.

Почти каждое общее собрание начинается с вызова бенефициантов на середину. Но большей частью их бывает очень немного и притом с пустяковыми провинностями. А бывает не раз, что командиры только быстро чеканят салюты:

— Все благополучно.

— Все благополучно.

— Все благополучно...

Я налагаю наказания очень редко. Чаще всего — по рапортам дежурных заместителей. Последние довольно строги, но возможности у них ограничены: «два наряда», «без киносеанса», «без отпуска»²⁶. Попавшие «в наряд» записываются контролем коммуны в его блокнот и по требованию дежурного по коммуне посылаются на дополнительные работы: им приходится убирать в день отдыха здание, отправляться в командировку в город, подметать в саду.

Наиболее легко отделываются назначенные «без кино». Когда должен начаться киносеанс и все коммунары собрались уже в зале и выслушивают очередной короткий политобзор, оставленные без кино вертятся у дверей и окон коридора и делают вид, будто они интересуются вечерним пейзажем. Это действует на меня или на того заместителя, который их наказал.

— Ты чего здесь вертишься? — спрашивает дежурный.

— Мы без кино.

— Ну так и идите спать.

На это предложение угрюмо отмалчиваются.

Я кричу в дверь залы:

— Никитин этих пусти, пусть в последний раз посмотрят картину, все равно завтра снова попадутся!

— А может, и не попадемся!

После разбора рапортов каждый коммунар может поднять на собрании

любой вопрос: о пище, об одежде, о производстве, о работе кружков, о распределении занятий, да и мало ли о чем. Главным толчком здесь бывает всегда комсомол.

Половая проблема

Наши посетители, в особенности педагоги, часто спрашивают, как обстоит у нас дело с половой проблемой.

Что можно ответить такому педагогу? В самом деле, известно, что в детских домах было много случаев, когда создавалась нездоровая обетановка.

У нас, как в любой здоровой семье, живут вместе девочки и мальчики, и это не вызывает никаких осложнений. Всякое здоровое детское общество может прекрасно развиваться в этих условиях.

Если же это не так, значит, данное общество детей недостаточно здорово, то есть не спаяно в одну семью, не занято, не имеет перспективы, не развивается, недисциплинированно, обкормлено или недокормлено, а во главе его стоят люди, которых дети не уважают.

Отношения между девочками и мальчиками у нас исключительно товарищеские.

Девочки-коммунарки выглядят гораздо подобраннее и аккуратнее мальчиков, но никогда не выделяются в особое общество. Года три назад мы еще замечали, что девочки несколько дичатся ребят, стараются держаться от них особняком. С другой стороны, и мальчики старались показать, что для них девочки совершенно не нужны, что можно было бы и без них обойтись, что вообще «девчонки здесь лишние». Бывали и случаи проявления несколько грубоватого, но все же исключительного внимания к некоторым девочкам, принесшим с собою немного безобидной кокетливости. Но дальше этого дело не пошло.

Совет командиров, по моему настоянию, лишил отряды девочек права иметь отдельные столы в столовой. Это было сделано под тем предлогом, что во многих отрядах мальчики не умеют аккуратно есть. Чтобы научить их аккуратности, привлекли на помощь к командиру по две, по три девочки. Девочки сначала стеснялись и жеманились, но потом дело пошло как по маслу. Хотя в отрядах и называли девочек хозяйками, на самом деле никаких хозяйственных функций девочкам поручено не было. Но эта мера приблизила девочек к ребятам, приблизила в очень хорошей обстановке и форме коллектив к коллективу. С тех пор всякая отчужденность между девочками и мальчиками исчезла.

Все это вовсе не значит, что в коммуне совершенно не заметно отличительных особенностей совместного воспитания. Не подлежит сомнению, что многим мальчикам и девочкам уже доводится переживать пробуждение каких-то особых симпатий. Но нам, педагогам, беспокоиться совершенно не приходится, хотя мы прекрасно понимаем, что стоит ослабить связующие скрепы коллектива, хотя бы в самой небольшой мере, и у нас сразу вырастет половая проблема, взаимное половое тяготение будет осознано отдельными парами, появится желание близости и т. д. Нужно сказать, что подчинение ребят законам коллектива — акт, отнюдь не бессознательный.

Ни для кого из коммунаров не тайна сущность половых отношений. Но зато для всех является абсолютно непреложным наш закон — закон нашей коммуны: в нашей коммуне не может быть никаких половых отношений. Этот закон вытекает из ясного представления об интересах коммуны, из представления об интересах отдельной личности, из мыслей о доброй славе коммуны, и выражается этот закон в ощущении ответственности перед общим собранием, в ощущении настолько реальном, что одна мысль о возможности отвечать в этом вопросе перед собранием страшнее всех прочих бед. Наиболее строгими блюстителями этого закона являются пацаны. Общественное мнение, формирующееся среди этого народа, настолько требовательно и выразительно, что даже мысли о каком-нибудь споре быть не может.

Года два назад кто-то из пацанов на общем собрании поднял вопрос:

— А почему после сигнала «спать» Иванов гуляет в саду с Николаевой?

Иванов, красный, как клюква, вышел на середину и объяснил собранию, что эти пацаны лезут без всяких оснований, что Николаева попросила его объяснить задачу. Но его перебили ехидными замечаниями:

— Видно, трудная задача, долго что-то объяснялся. Я уж ждал-ждал, заснул, проснулся, а они все объясняются... Ухаживать тут начинают...

Кто-то из старших пытался изменить настроение собрания:

— В самом деле, у нас нельзя поговорить с девочкой, сейчас же начинают...

Но пацаны крыли немилосердно:

— Бросьте там — поговорить! Мало вам разговаривать днем? Сколько хочешь разговаривай, никто за тобой не ходит и не слушает и даже внимания никто не обращает. А если уж в сад выбрались разговаривать, значит, тут секреты. Мое мнение такое: запретить всякие такие прогулки в парочках после сигнала «спать» — и все!

Председатель проголосовал. Предложение было принято единогласно, потому что ни у кого рука не могла подняться против.

Иванов после этого долго отдувался: было стыдно, что так основательно посадили пацаны на общем собрании. А спрос с них невелик, даже поколотить нельзя — у каждого пацана глотка большая и защитников множество, да и отряд не позволит.

В прошлом году прислала комиссия по делам несовершеннолетних новую воспитанницу в коммуну: восемнадцатилетнюю Шуткину.

Шуткина развязна, хороша собой. С первых дней она показала себя. Когда она в воскресенье вернулась из отпуска, на общем собрании откуда-то из-под экрана спросили:

— А пускай Шуткина скажет, куда она ходит в отпуск, почему она гуляет с кавалерами и почему у нее были губы накрашены?

Бывалая Шуткина — в контратаку:

— А ты видел? Ты много понимаешь — накрашены!

— А что же тут не понимать? Я сам в художественном кружке... А почему с кавалером?

— А что ж, нельзя с человеком встретиться?

Я остановил ребят: нельзя, в самом деле, так придирааться.

На другое воскресенье Шуткина снова ушла в отпуск. Часов в девять

вечера меня позвали к телефону. Женский голос передал, что говорит подруга Шуткиной, что Шуткина не может возвратиться в коммуну, потому что у нее температура, она останется ночевать у подруги.

Я командировал в город двух ребят с поручением нанять извозчика, привезти Шуткину в коммуну, показать врачу и положить в больничку.

Ребята возвратились расстроенные: Шуткиной дома не застали, а квартирная хозяйка сказала, что обе подруги ушли гулять.

Еще через неделю Шуткину вызвали на середину и сказали:

— Опять с пижонами ходишь?

— С какими пижонами? Что вы все выдумываете!

Ей перечислили с какими. Оказывается, осведомленность у ребят была исчерпывающая.

Пацаны крыли прямо:

— Если ты женатая, так переходи на производство, хоть и в коммуне. А чего ты в коммунарки пришла да еще всех обманываешь, больной прикидываешься!

Шуткина послушалась совета и на другой день попросила меня отправить ее на производство.

Однако в коммуне умеют оценить настоящую любовь.

Весной двадцать девятого года зацепили пацаны на собрании Крупова — зачем ухаживает за Орловой. Крупов, кандидат на рабфак, густо покраснел и пробурчал:

— Да ничего такого нет... Ну хорошо, больше не будет.

Но любовь, как известно, не картошка. Снова Крупов с Орловой глаз не сводит, а чуть вечер, так и усаживаются на скамейке в саду и уже никого не боятся.

На собрании — опять:

— Что ж это такое? То говорил, что больше такого не будет, а потом опять то же самое...

Кто-то из собрания — в голос:

— Так они влюблены! Все знают, ничего не поделаешь!

Я прекратил прения, сказав, что поговорю с ними потом.

У Крупова я прямо спросил:

— Влюблены?

Крупов опустил голову и руками развел.

— Да, в этом роде...

На следующем собрании я доложил:

— Действительно влюблены, ничего не поделаешь.

— Женить надо, — сказал кто-то.

Ничего как будто и не решали, но уже после этого никто не приставал к парочке, — напротив, все сочувственно на них поглядывали и через месяц отправили Крупова на рабфак, Орлова вышла на фабрику. Наняли для молодоженов квартиру, назначили приданое; специальная комиссия этим делом занималась: стол, стулья, кровати, белье, немного денег.

Этой весной пришла в коммуну Орлова, принесла показать своего первенца. Новый человек возился в кружевных пеленках, и Петька Романов, внимательно разглядев его, сказал:

— О, какой буржуй!.. Кружево!

Клубработа

Как полагается в приличном детском доме, мы организовали кружки: драматический, литературный, художественный и т. д.

В детских домах вся клубная работа сосредоточивается обычно в драмкружке. Но регулярные киносеансы в коммуне лишили драматическую работу решительно всех стимулов. Как зрелище кино для ребят и интереснее и проще. На постановку пьесы сколько-нибудь ценной приходится тратить столько сил, что в глазах ребят это ничем не оправдывается. Правда, сами участвующие получают некоторое удовлетворение, но для всех остальных ребят драматическая игра товарищей представляет мало интересного, к тому же репертуарный кризис ухудшает положение. У нас есть пьесы либо для взрослых, либо для детей; для юношества, собственно говоря, ничего нет. То, что есть, совершенно не заслуживает ни разучивания, ни траты денег.

Работа литературных кружков у нас, как часто бывает, сбивалась на какой-то повторительный курс того, что проходит в школе, и увенчивалась, как то нередко случается, одним литературным судом и изданием одного номера журнала.

В художественном кружке писание натюрмортов и рисование кувшинов в разных положениях было гораздо менее интересным, чем работа на уроках рисования в школе, где ребята с увлечением чертили или рисовали детали машины, шкив, шестеренку, станину.

Одним словом, клубная работа не клеилась.

Пригласили мы в коммуну нашего Перского — человека, преданного клубной работе и великого мастера сих дел.

Это очень высокий и очень худой человек, небрежно и как-то неумело одетый²⁷. С первого же взгляда на него становится ясно, что ничего, кроме работы, Перский не знает и собственная персона для него менее всего занимательна. Перский хорошо рисует, пишет стихи, умеет обращаться со всеми существующими инструментами, знает правила всех спортивных и неспортивных игр, знаком с устройством всех машин. Поражает эрудиция его во всех решительно отраслях знания. Но никогда Перский не выставляет напоказ своих познаний, всегда они у него обнаруживаются как бы случайно, поэтому ни у кого он не вызывает раздражения и никому не надоедает. И наконец, главное достоинство Перского — он настоящий ребенок: во время самой несложной игры он может заиграться, забыв о жене, о детях, о самом себе; он может волноваться и размахивать руками, из-за пустяков заспорив с Петькой Романовым.

Теория клубной работы у Перского самая простая.

— Никакой клубной работы, — говорит он. — Живут вот коммунары, сто пятьдесят человек или сколько там, и ты живи с ними, вот тебе и вся клубная работа.

Мы ему говорим:

— Ну, это все парадоксы! Мало ли чего — живут. Так ведь вот у них школа, вот мастерские, вот быт, и мы все-таки видим, что вот это — ни то, ни другое, ни третье, а что-то особенное: клубная работа. Здесь есть и отличительные признаки. Здесь обязательные элементы творчества, самоорганизации и т. д.

— Ну, понесли уже педагогическую бузу! Вы вот, педагоги, свяжете человека по рукам и ногам и смотрите на него: отчего это у него активности нет? А вот в клубной работе его нужно развязать. Просто живет себе человек, и больше ничего.

Мы доказываем ему, что он сам педагог, раз он дает ребятам и темы, и планы, и методы. Но Перский всегда отрицает это с негодованием:

— Тоже все выдумали, шкрабы несчастные! Я только взрослый человек и больше видел, вот и вся разница. А ребята, брат, хоть и моложе меня, да у них без меня хватает и тем, и планов, и методов.

Когда Перский начал свою работу, никакого плана, казалось, у него действительно не было. Сегодня он собирается ловить рыбу в озере в двух километрах, и вместе с ним собирается два десятка ребят; завтра, смотришь, Перский уже мастерит из разного древесного хлама какие-то поплавки, чтобы ездить на них по тому же озеру, и вокруг этой затеи разворачивается деятельность целых отрядов. Кто-то из ребят сказал, что ночью в лесу видел волка, — и организуется целая экспедиция в поисках хищника, заготавливается провизия, выпрашиваются винтовки и охотничьи ружья. Целая рота отправляется на поиски волка, бродят двое суток и возвращаются голодные и довольные, хотя волка никакого и не видели. Не успеешь оглянуться — новая эпидемия: вся коммуна строит и чертит перпетуум-мобиле № 30²⁸. Даже старые мастера-инструкторы носятся с самыми невероятными проектами, пристают к Перскому, потом ко мне и к заведующему производством. Перский серьезно разбирает каждый проект и доказывает:

— Вот в этом месте, пожалуй, остановится. А жалко, понимаете! Если бы не эта чертовинка, он бы крутился.

Обалдевший от умственного напряжения и, кажется, даже бессонных ночей, многосемейный слесарь Чеченко чешет «потылицу» и что-то долго соображает.

Я говорю Перскому:

— Для чего ты людям голову морочишь? Ведь знаешь же, что ничего не выйдет.

— Пусть поморочатся. Это не вредно. Это вы, шкрабы, привыкли все готовенькое зазубривать.

Но затем неожиданно добавляет:

— А вдруг кто-нибудь придумает... Вот будет история!

— Как это придумает? Что с тобой?

— Да все, знаешь, может быть. А вдруг ученые чего недосмотрели...

Однажды ночью на заднем дворе загорелись какие-то костры. Ночной сторож протестует, завхоз жалуется, жители волнуются, а оказывается, дело простое: Перский рассказывает сказки. Когда об этих сказках услышали в соцвесе 31, началось чуть ли не целое следствие: в явной опасности оказалась идеология, до сих пор якобы надежно охранявшаяся бдительным оком соцвеса. Перскому пришлось оправдываться. Это только название такое — «сказки», а на самом деле это импровизация, нечто вроде научно-фантастического рассказа, к примеру, о будущей войне или о значении радиоактивности. Успокоились в соцвесе, но на будущее время Перскому запретили рассказывать сказки²⁹.

Давил на Перского и я. При всем моем уважении к его талантам

я все-таки не мог терпеть полной беспорядочности и хаотичности его работы, небрежности в ее формах и в особенности полного³⁰ отсутствия учета. Последнее приводило к тому, что часть ребят в свободные часы оказывались предоставленными самим себе, и никакими способами нельзя было установить, чем они занимаются. Появились любители залезть в кочегарку и просто валяться там... Появились любители картежной игры и похабного анекдота. Эту опасность на общем собрании удалось вскрыть в самом начале, но от Перского я решительно потребовал плана и учета. Это оказалось полезным и для дела и для самого Перского. С тех пор он сам получил у нас основательное воспитание, и теперь уже наша клубная работа представляет собой очень разветвленную систему, имеющую точный календарный план. Перскому все это было, впрочем, нетрудно организовать. Его постоянная изобретательность, огромная активность главных кадров его последователей-коммунаров превратили план и учет в целую симфонию разных работ и выдумок. Кружковая работа благодаря этим выдумкам стала у нас живым и веселым делом. Даже драмкружок зажил новой жизнью. Перский решительно восстал против разучивания готовых пьес — только импровизацию он признавал театральным искусством.

Свои постановки Перский готовил в глубокой тайне с группой ребят человек в двадцать. Неожиданно на всех дверях и окнах появляются афиши, приглашающие коммунаров на спектакль. Пьеса идет в разных концах зала: белогвардейцы, партизаны, нэпманы и честные советские рабочие вылезают буквально из всех щелей и попадают в чрезвычайно сложные, часто бызвыходные положения, так что и зрители вынуждены бывают приходить на помощь. Разрешается все это к общему благополучию при помощи неожиданного трюка или остроумной выдумки одного из персонажей. В этих спектаклях бывало много ошибок и несообразностей, но это делало представление только веселее и занимательнее. Одно и то же лицо в постановке именуется то генералом, то полковником, родственные связи часто запутываются до последней степени, но зато после спектакля никто не чувствует усталости, и по всей коммуне разносятся хохот и оживленные споры.

Наиболее боевым органом Перского незаметно сделался так называемый изокружок. В коммуне признали его юридические права только после того, как он потребовал у совета командиров отдельную комнату. До тех пор он находил себе место в каком-нибудь закоулке главного здания.

В изокружке делают все, что угодно, для чего угодно и из чего угодно. В последнее время кружок «заимел» свои инструменты; с самого же начала он пробавлялся тем, что его членам удавалось притащить из мастерских. Материал и в последнее время, несмотря на то что отпускаются изокружку и деньги и перевозочные средства, добывается контрабандным способом, потому что материала нужно много, и притом самого разнообразного: дикт, сталь, листовое железо, медь, резина, материя, дуб, гвозди, клей, пух, вата. Одно время увлекались постройкой моделей аэроплана. После того как был поставлен рекорд и аэроплан Ряполова пролетел семьдесят метров, на моделях осталось немного народу. Часть занялась выделкой, кое-кто остановился на моделях паровой машины и двигателя внутреннего сгорания. Особенно много сил было положено на изобретение и производство военной игры. В настоящее время эта игра имеет

несколько вариантов и представляет собой великой важности дело. Для нормальной игры требуется теперь несколько сотен красных и синих металлических пехотинцев, две-три сотни кавалеристов на красивых лошадях, легкая артиллерия, тяжелая артиллерия, десятка три броневиков, санитарных автомобилей, несколько аэропланов, множество пулеметов, приспособления для удушливых газов и дымовых завес, зенитные орудия и многое другое. Игра производится на полу большого зала: на всем пространстве его расставляются леса, проводятся реки и перекидываются мосты, строятся города и прокладываются окопы. С каждой стороны участвуют огромные силы, так как под каждым пехотинцем нужно разуместь целую воинскую часть. Принимающие участие в игре коммунары получают высокие назначения: один командует кавалерийской дивизией, второй — артиллерийским полком и т. д. Противник уничтожается не условно, а с помощью пушек, пулеметов и броневиков. Правила игры в точности повторяют законы военных действий, победа возможна только при умелом соединении тактических, стратегических и механических средств. Обходы флангов, прорывы, разведка — все принято во внимание. Ребята иногда задерживаются за игрой на полу зала до позднего часа, и приходится принудительно прекращать побоище и требовать от судьи немедленного решения, кто победил.

Родным братом изокружка является ребусник. Что такое ребусник — трудно даже определить. Во всяком случае, это организация, насчитывающая в некоторые периоды и до ста коммунаров. Когда начинается ребусник, каждый коммунар имеет право предложить для него любую задачу, но непременно оригинальную. Художественно оформленный ребусник вывешивается на общем листе, назначается число очков, которое полагается за каждое решение. Это число очков делится между всеми решившими, и такое же число засчитывается автору задачи. Задачи можно давать самые разнообразные — от простой арифметической до сложной производственной. Даются и шуточные задачи. Таких задач на ребусном листе появляется больше двухсот. Ребусник заканчивается после трех сигналов, а сигналы бывают приблизительно такие.

Первый: где-то в коммуне будет спрятана последняя задача; кто ее найдет — получает столько-то очков, а кто решит — столько-то.

Второй: в кармане у Соломона Борисовича окажется интересная, но совершенно лишняя вещь.

Третий: в один из дней в четыре часа Перский будет находиться на северо-западе от коммуны в расстоянии семи с половиной километров и будет ожидать товарища, который его найдет и сможет ему по секрету сказать, название какой реки имеет двенадцать букв, начинается на Г и оканчивается на р (Гвадалквивир).

После третьего сигнала ребусник снимается, и в дальнейшем ни задачи, ни решения не принимаются. Редколлегия ребусника подсчитывает заслуги авторов и решавших. Но это еще не все. Наибольшее число очков не дает еще права на первенство. Мало — уметь решать задачи. Нужно быть и физически развитым человеком. Дополнительно устраивается состязание в разных видах спорта, требующих ловкости и увертливости. Наконец приходит день, когда в главном зале устраивается специальное заседание, играет оркестр и под звуки туша победители получают премии:

ножики, книги, инструменты, записные книжки, рисовальные принадлежности, альбомы.

Насколько эти ребусники захватывают всю коммуну, можно судить по тому, что редколлегии приходится пересмотреть около десяти тысяч решений.

Кружковая работа, сосредоточенная зимой в разных кружках, на каждом шагу сталкивается с физкультурой. Сам Перский и его помощники все симпатии отдают ей. Поэтому заядлые литераторы, эсперантисты, артисты и художники зимой начинают жаловаться, что им не дают работать. Главный вид спорта в коммуне — лыжи. Окружающая нас местность очень удобна для лыжного бега, а лыжи достали мы очень просто. Было у нас пар двадцать. Правление общества «Динамо» пригласило нас на какое-то лыжное торжество и снабдило лыжами. Коммунары на этом торжестве показали себя дисциплинированными ребятами, во всяком случае, ни один не отстал. В разгаре разных состязаний была дана команда коммуне построиться и ехать домой. Коммунары все уехали на лыжах. «Динамо», правда, вскоре потребовало возвращения лыж, но они остались в коммуне. На лыжах коммунары уходят очень далеко от коммуны и возвращаются только к собранию.

У парадного входа каток. Но с коньками коммунарам труднее, так как пара коньков приходится на трех коммунаров.

Весь апрель возятся коммунары с разными площадками: волейбольной, футбольной, гандбольной, крокетной. Больше всего отнимает времени и энергии площадка для горлэта³¹. Уже в феврале покупают ребята пряжу и плетут сетки, чтобы не особенно отягощать наш небогатый бюджет. С начала мая устанавливается горлётная площадка.

Горлёт — это наша игра, которую мы считаем самой интересной и самой нужной пролетариату игрой. Она похожа на теннис, но отличается от него тем, что это игра коллективная: восемь на восемь. Ракетки не дорогие теннисные, а сделанные из дикта. Правила горлэта выработаны в коммуне в течение ряда лет, и мы все уверены, что игра развивает ловкость, умение коллективно действовать, находчивость, инициативу.

Горлётных команд у нас шестнадцать.

Походы

В большие революционные праздники коммуна выступает в поход в город. Главные походы — Седьмого ноября и Первого мая. Во время съездов и слетов, в дни взаимных приветствий и смычек, в дни посещения клуба ГПУ, в дни динамовских спортивных празднеств по сигналу «общий сбор» считается ликвидированной рабочая организация коммуны и вступает в силу военная. Уже нет в коммуне отрядов, а есть пять взводов во главе с взводными командирами, назначенными советом командиров. Одним из этих взводов является оркестр.

Строевой устав коммуны давно выработан и закреплён, как и полагается для военного устава. Поэтому собраться в поход, построиться и выступить коммуна в случае надобности может в течение трех минут. Большой же частью накануне отдается приказ:

«Немедленно после ужина по сигналу «сбор» коммуне построиться в обычном порядке у парадного фасада, имея на правом фланге оркестр и знаменную бригаду. Форма одежды парадная».

Парадная форма одежды — это значит синие суконные блузы и черные брюки³². Блузы спрятаны в брюки, а брюки — в гамаши, на талии блестящий черный узенький пояс, на голове темно-синяя суконная кепка, или «чепа», как говорят коммунары. К воротнику блузы пристегивается белый широкий воротник. В таком костюме коммунары имеют вид выхлуженных английских мальчиков.

Особенно любим мы в коммуне день Первого мая.

Первое мая коммунары начинают ждать с ноября, как только отпразднуют Октябрь.

Уже в феврале предлагает ССК на общем собрании избрать первомайскую комиссию³³. Все приятно удивлены:

— Как, уже первомайскую?

ССК серьезно доказывает, что времени осталось мало, и комиссия избирается без возражений. В комиссию входят самые матерые дзержинцы. Теперь им каждый раз дается шуточный приказ:

— Смотрите же, чтобы было с промежутками!

Это повелось с тех пор, как в двадцать восьмом году первомайская комиссия предложила на утверждение собрания план кормежки коммуны в дни первомайских торжеств. Выходило, что получают пищу коммунары раз пять в день, и всё вещи самые вкусные и богатые: свинину, яйца, какао, пироги, и комиссия еще добавляла на каждый день: «В промежутках — яблоки, конфеты, пряники, пирожное».

Тогда много смеялись на собрании и стали в дальнейшем называть такое обилие специальным термином «с промежутками».

От «промежутков», между прочим, тогда отказались: уж очень вышло дорого!

Первомайской комиссии и без «промежутков» хлопот много. Нужно пересмотреть, купить и заготовить коммунарскую одежду, чтобы потом не о чем было беспокоиться. Обыкновенно к весеннему празднику производится ревизия всего гардероба коммунаров, и выпадает это на долю первомайской комиссии. Нужно приготовить меню и запастись продуктами на несколько дней, пока коммунары будут в городе. Нужно организовать доставку этих продуктов в город, хранение и раздачу. Обеспечить коммуну подходящим помещением, наметить план посещений театров, кино и смычек. Наконец, необходимо коммуну упорядочить в маршевом отношении, то есть приучить новеньких к строю. Нужно не забыть мельчайших деталей, чтобы в майские дни ни за чем не нужно было бегать.

Комиссия выделяет из своей среды несколько подкомиссий — одежду, столовую, парадную, культурную, хозяйственную, кооптирует в свой состав коммунаров, получает и расходует деньги и время от времени докладывает собранию о ходе своих работ. Перед самым выходом в город представляется на утверждение собрания так называемый комендантский отряд, человек двенадцать во главе с командиром. На обязанности этого отряда лежит уборка того помещения, где будет стоять коммуна. Никто не должен иметь хоть малейшего повода обвинить коммуну в нечистоплот-

ности. Комендантский отряд захватывает с собой несколько ведер, сорных ящиков, метел, веников, тряпок. В походе он производит уборку и является санитарной комиссией³⁴. Компенсируется его дополнительная нагрузка только возможной благодарностью в приказе, если все будет в отряде благополучно.

Работа первомайской комиссии, несмотря на то что отнимает много времени у коммунаров, совершенно не изменяет течения рабочих дней коммуны. Уже упакована большая часть обоза, уже отряды успели получить все, что они берут в поход, уже в городе все приготовлено. Уже двадцать девятое число, а коммуна работает полным ходом, как будто никакой особенной подготовки не совершается.

В городе коммуна проводит три дня. Третьего коммуна должна быть уже на работе.

Завтракают тридцатого еще в коммуне. После завтрака проходит час, во время которого все должно быть приведено в порядок. Ровно в десять часов все коммунары — в парадных костюмах, и только кое-где на лестницах и в спальнях можно видеть пары: коммунары высоко подняли голову, а одна из девочек пришивает к его гимнастерке белый воротничок. Прибегают запоздавшие с костюмами, те, кто грузил обоз или убирал в столовой. В оркестре Волчок проверяет инструменты: хорошо ли натянута кожа на большом барабане, не измялись ли флаги на фанфарах. У черного хода стоят нагруженные и покрытые брезентом две-три подводы с продуктами, постелями и запасами белья. В знаменном отряде надевают на знамя только что отглаженный чехол: сегодня еще не праздник, и знамя пойдет в чехле. Мне непривычно нечего делать, разве какой-нибудь зёва вроде Тетерятченко подойдет ко мне с заявлением:

— У меня пояс пропал...

Но немедленно на него зыкнет случайно пробегающий коммунары:

— Пояс пропал, шляпа! Целое утро носили по коммуне пояс, спрашивали — чей. Сам забыл в саду.

Тетерятченко и раньше знал, что с поясом именно так окончится. Я успеваю ему ничего сказать. Раздаются звуки рожка. Сегодня сигнал играет сам Волчок. Он берет на октаву выше других ребят и умеет особенно четко и в то же время залихватисто вывести последние ноты сигнала.

Я выхожу. В парадные двери вбегают коммунары, с лестницы спускается не спеша знаменная бригада — знаменщик и два ассистента с винтовками — и останавливается на площадке. Ко мне подходит дежурный по коммуне в новенькой повязке, франтоватый, как и все, с чистеньким платочком, кокетливо выглядывающим из кармана блузы.

— Знамя в чехле? — спрашивает он, хотя и сам довольно хорошо знает, что в чехле. Но так уже требуется для красоты дня.

— В чехле.

Параллельно парадному фасаду вытянулись в одну шеренгу коммунары. На правом фланге колонна оркестра, и Волчок впереди.

— Становись!

Но команда эта излишня. Уже все стоят на своих местах, и комвзводы проверяют состав. Пробегают по рядам Тетерятченко и застегивает на ходу пояс. Его провожают сочувственные возгласы:

— Вот человеку не везет!

— Да вот пояс насилу нашел. А утром положил штаны на чужую кровать и полчаса ко всем приставал: «Кто взял мои штаны?» Его Похожай чуть не побил.

Черномазый блестящий Похожай, сегодня особенно красочный и оживленный, потому что он — еще и командир третьего взвода, басит:

— Я его обязательно когда-нибудь отлуплю, этого Тетерятченко, так и знайте, Антон Семенович. Без этого из коммуны не выйду...

Но Тетерятченко смотрит на Похожая и улыбается. Он любит Похожая за красоту и удачливость и знает, что тот его не только не отлупит, а и другому не даст в обиду.

— Равняйся! — гремит Карабанов.

Все готово. От Карабанова отходит и направляется к зданию дежурный по коммуне. В оркестре поднимают трубы, и фанфаристы расцветивают утро красными полотнищами флагов. Волчок настороженно поднимает руку.

— Под знамя смирно! Равнение налево!

Оркестр гремит знаменный салют, все коммунары поднимают руки, перед фронтом замирает Карабанов. Служащие, провожающие колонну, тоже козыряют. Из парадных дверей выходит дежурный по коммуне и с рукой у козырька фуражки «ведет» знамя. Три коммунара бережно и подчеркнуто изящно проносят знамя по фронту и устанавливают его на правом фланге. Знамя держат почти вертикально: если оно без чехла, то оно не развеивается, а красивыми мягкими складками падает на плечи знаменщика, и при движении линии этих складок почти не меняются. Древко только касается плеча, вся тяжесть приходится на руки, а двумя руками держать знамя неприлично. Поэтому быть знаменщиком — дело довольно трудное.

Знамя на месте. Салют окончен. Карабанов последним «орлиным» взором оглядывает фронт. Пора. К левому флангу подошел обоз, и командир комендантского, в спецовке, уже сидит на первом возу.

— Справа по шести вправо... шагом... марш!

Коммунары прямо с развернутого фронта переходят в марш, на ходу перестраиваясь в колонну. Наш постоянный строй по шести, расстояние между рядами просторное — шагов до трех. Командиры взводов впереди, а между взводами интервал шесть шагов.

Гремит радостный марш: начался наш праздник.

Через час колонна подходит к городу. Между высокими домами улицы Либкнехта наш большой оркестр разрывает воздух.

Колонна занимает улицу. На тротуарах собираются толпы. Нам машут руками. С задорной улыбкой слушают наш марш девушки, приветливо-серьезно поглядывают на нас мужчины, улыбаются мамыши и корреспонденты газет. То с той, то с другой стороны подлетает новый человек:

— Что за организация?

Коммунару в строю нельзя разговаривать. Он из вежливости бросает поскорее:

— Дзержинцы.

Но харьковцы уже знают дзержинцев.

То и дело до меня долетает с тротуара:

— Это дзержинцы!

А один раз серьезный пацан лет четырнадцати показал другому:

— Это дзержинцы, а вон и сам Дзержинский.

Идущие за мной знаменщики не выдержали:

— Вот чудaki! Антона Семеновича за Дзержинского приняли.

Сегодня мы вошли в город со знаменем в чехле. Завтра мы первые с развернутым знаменем пройдем мимо трибуны и гордо посмотрим на тех, кто на трибуне: «Мы тоже пролетариат, мы тоже рабочие, сегодня — наш праздник!»

Вечером коммунары разбредаются по всем улицам. Вежливо разговаривают коммунары с публикой; как взрослые, покупают на свои карманные деньги пирожное и, как дети, любят илюминацией.

В дверях тридцать шестой школы — дневальный с винтовкой: школа занята нами, и вход в нее без разрешения дежурного по коммуне посторонним воспрещен. В одной из комнат столовая комиссия готовит ужин и между делом вспоминает сегодняшней день:

— ...нет, а вот та батарея, которая на белых лошадях... Ох, и здорово же!

Москва

7 июля 1929 года в шесть часов утра колонна коммунаров тронулась с площади Курского вокзала на свою московскую квартиру. На утренних улицах, свежих и пустынных, гремел наш оркестр. Еще не совсем проснувшиеся глаза вглядывались в лицо московских улиц. Вот она, великая Москва, о которой мечтали целый год, о которой было столько споров!

Направились к центру. На углу какого-то бульвара — «Стой!»

Отдыхать не отдыхали, а, скорее, собирались с чувствами.

Меня окружили:

— Вот это такая Москва? — недовольно тянул Похожай. — Не лучше Харькова!

Сторонники Крыма поддерживали его, но это всё — так, «для разговора», а всё ощущали какую-то торжественную приподнятость и были полны бодрости.

— Шагом марш!

Притихли все на асфальте Мясницкой. Глянула Москва на нас столичным важным взглядом, глянула сочными, солидными витринами, перспективой улиц... Притихли в нашей колонне. Впереди — зубцы Китай-города.

— Э, нет, это действительно Москва! — пробормотал за моей спиной знаменщик. И замолк.

Карабанов скомандовал:

— Государственному политическому управлению салют, товарищи коммунары!

Весело и задорно отсалютовали нашим старшим родичам и повернули на Большую Лубянку, теперь улицу Дзержинского. На этой улице наша квартира — школа Транспортного отдела ОГПУ.

Ничто нам так дорого не далось, как эта квартира. Пока ребята входили в улицу Дзержинского, вспомнилось все.

Целую неделю пробыл в Москве наш агент Яков Абрамович Горовский, а мы в коммуне сидели на чемоданах и ожидали от него телеграммы, в которой бы сообщалось, что квартира есть — можно выезжать.

Но Горовский ежедневно присылал нечто непонятное и неожиданное:

«С квартирой плохо. Есть надежда на завтра».

«Задержался еще на один день. Отсутствует нужное лицо».

«Наркомпрос отказал. Выясню завтра»...

Меньше всего мы ожидали, что нам откажут в квартире.

Но шестого вечером приехал Горовский и рассказал нам обидные и возмутительные вещи.

В экскурс-базе, в Наркомпросе, в Моно, в союзе Рабпрос — везде с готовностью соглашались предоставить на две недели помещение для коммуны ГПУ, но после такой любезности следовал вопрос:

— А это что за дети?

— Дети? Исключительно беспризорные.

Горовский гордился тем, что наши дети все — беспризорные, что тем не менее они организованно едут в Москву и он, Горовский, подыскивает для них квартиру. Но как только московские просветители, такие симпатичные, такие даже сентиментальные в своих книжках, так любящие ребенка и так его знающие, узнавали, что эти самые «цветы жизни» просятся к ним на ночевку, они приходили в трепет.

— Беспризорные? Ни за что! Об этом нельзя даже и говорить! На две недели? Что вы, товарищ, шутите? Что вы в самом деле?

Горовский не столько огорчился, что нет квартиры, сколько оскорблялся. Как это так? Те самые коммунары, которые не впускали Горовского в дом, если он недостаточно вытер ноги, здесь, в Москве, считаются вандалами, способными уничтожить всю наробразовскую цивилизацию?

И только когда бросил Яков Абрамович ходить по просветительному ведомству, улыбнулось ему счастье: Транспортная школа предоставила для нас общежитие с постелями, с кроватями.

Колонна во дворе школы.

— Стоять вольно!

Сигналист играет сбор командиров. Командиры отправляются делить помещение между взводами. Через три минуты они вводят свои взводы в спальни. По коридорам общежития расставляются наши плевательницы и сорные ящики, комендантский отряд уже побежал по коридорам и переходам с вениками и ведрами: прежде всего коммунары наводят лоск на то помещение, в котором будем жить. Здесь месяца полтора никого не было. Еще через пять минут дежурство дает общий сбор, и начинается авральная работа уборки. Моют стекла в окнах, уничтожается пыль.

В девять часов все коммунары в парадных костюмах уже гуляют на улице. Прибежали из столовой клуба ОГПУ члены столовой комиссии.

Все готово. Можно идти на завтрак.

Серые рубашки летних парадных костюмов, синенькие трусики, голубые носки. Круглые радостные мальчишеские головы, ноги, как на пружинах.

Все полны радостного оживления и в то же время сдержанного достоинства.

В столовой — цветы и скатерти, уют. Коммунары расположились вокруг столов и не дичатся, не боятся чистоты и цветов.

Началась чередá славных московских дней.

После завтрака вышли со знаменем в Парк культуры и отдыха — благо сегодня воскресенье — посмотреть, какой такой московский пролетариат и как он отдыхает.

На московских улицах наша колонна — верх стройности и изящества. По тротуарам движутся толпы, и Тимофею Викторовичу приходится пробивать дорогу. Расспрашиваем, как пройти к парку.

Гляжу через головы музыкантов. Рядом с Тимофеем Викторовичем, не отставая, маячит белый верх чьей-то капитанской фуражки. Подхожу.

— А вот товарищ туда идет, он нам покажет дорогу.

Товарищ лет сорока, со стриженными усами оживлен и торжествен.

— Я покажу, покажу, вы не беспокойтесь.

Подходим к воротам парка. Направляюсь к кассе, но рука человека в капитанской фуражке меня останавливает.

— Платить? Что вы! Зачем же? Мы сейчас это устроим. Дайте ваш документ.

Я даже растерялся, но документ отдал. Капитанская фуражка немедленно исчезла за воротами. Ждем, ждем...

— Разойдись до сигнала «сбор».

Наша дисциплина позволяет нам быть совершенно свободными и никогда не мучить коммунаров лишним стоянием в строю.

Коммунары рассыпаются, завязываются знакомства, начинаются расспросы. Смотрим, наш проводник вприпрыжку несется из парка и размахивает возбужденно какой-то бумажкой.

— Вот! Не только можно, но и очень рады, сегодня интернациональный митинг. Очень рады!

— Играй сбор!

Входим в парк и попадаем сразу на митинг. На широкой сцене — президиум; наши подошли как раз к сцене. Это хорошо, сразу попали в нужную обстановку.

Митинг не окончился, а капитанская фуражка уже отводит меня в сторону.

— Там я устроил для ребят завтрак: там, знаете, стакан чаю, бутерброд... Даром, даром, не беспокойтесь, даром!

Ребята окружили, улыбаются.

С митинга идем на завтрак. Я спрашиваю капитанскую фуражку:

— Вы здесь работаете?

— Нет, я во флоте работал, а теперь в отставку выхожу, буду здесь, в Москве, работать в одном учреждении.

Я в затруднении: как спросить, чего это он бегом гоняет из-за какой-то коммуны?

— Да, но вот вы так заботитесь о нас...

— Это вы хотите знать, чего я к вам привязался? Понравилось мне, знаете, ужасно понравилось! По правде сказать, мы здесь такого не видели.

С того дня «капитан», как его прозвали ребята, уже с нами не расставался. Рано утром он приходил в коммуну, будил коммунаров, принимал участие во всех наших совещаниях и заседаниях, настойчиво требовал,

чтобы мы не тратили лишних денег. После завтрака, от которого всегда отказывался, он брал двух-трех коммунаров и куда-то летел устраивать бесплатные билеты на трамвай, доставать лодки для катания, добывать разрешение осмотреть Кремль.

После обеда в сопровождении «капитана» мы куда-нибудь отправлялись.

На другой день после приезда были у гроба Ленина, сыграли около Мавзолея «Интернационал». Потом были в Кремле, в Музее Революции, в редакции «Комсомольской правды», в Третьяковке, в зоопарке.

Москва поразила коммунаров обилием людей, домов, стилей и пространства. После официальных часов они, не уставая, бродили по Москве и только к двенадцати ночи собирались на ночлег. Карманные деньги позволили им объездить город в трамваях, заглянуть во все улицы и переулки. Почти всем Москва страшно понравилась, но все затруднялись определить, чем именно. Трудно было, конечно, сразу охватить и выразить все впечатления от нашей столицы. Даже и взрослому человеку это не так легко.

С другой стороны, и коммунары понравились Москве. Наша колонна на Кузнецком мосту, на Театральной площади, на Тверской была действительно хороша. А оркестр ребячий, четкая и бодрая ухватка коммунаров, подтянутость и дисциплина, видимо, в самом деле радовали глаз. Очень часто какая-нибудь впечатлительная душа бросала ребятам с тротуара розочку или гвоздику. Один какой-то немолодой уже чудак смотрел-смотрел и вдруг бросил в оркестр целый букет роз. Было так неловко: оркестр как раз играл марш, и все розы чудака были безжалостно растоптаны, а через минуту он и сам потерялся в толпе.

Радужное отношение к нам москвичей мы встречали на каждом шагу, и это, разумеется, делало Москву для нас приятнее и теплее.

За пятнадцать дней мы достаточно насмотрелись и поистратились. Собрались в обратный путь. Приготовили свой багаж к погрузке, выстроились против дверей Транспортной школы, попросили выйти к нам начальника и от души поблагодарили его за помещение. Начальник в прочувствованном ответном слове выразил свою радость по поводу того, что мы у него остановились, что школа ничем не пострадала, что помещение мы оставляем даже в лучшем состоянии, чем получили.

Прошли еще сутки — и ночью, в проливной дождь, подкатили мы к Харьковскому вокзалу. Выглянули на площадь — людей нет, одни лужи и дождь. А мы было нарядились в парадные костюмы, чтобы в родной Харьков явиться в порядке.

Дождь. Что тут будешь делать? Выпросили у какого-то начальства комнату, чтобы сложить наши корзины, а сами решили отправляться домой, в коммуны. До парка нам дали три вагона трамвая. Но ведь от парка еще три с лишним километра, из них больше километра лесом, по тропинкам.

У коммунаров тем не менее настроение было прямо торжественное.

— Становись!

— Равняйся!

— Шагом марш!

Барабанщик, прозванный почему-то Булькой, ударил в намокший барабан. Волчок, не долго думая, бахнул какую-то веселую польку. Пошли под польку в коммуны. Дождь все усиливался, и ребятам было уже безраз-

лично, куда течет вода: все равно и сверху, и под блузами, и в ботинках — вода. Темно, не видно соседнего ряда. К лесу подошли — безлюдно, и все завоевано дождем.

— Стой! Вперед через лес четвертый взвод, за ним оркестр и знамя.

Гуськом, держась друг за друга, перебрались и вышли на поле. В коммуне были зажжены все фонари, нас ожидали, но дождь обратился в ливень настолько частый и напористый, что приходилось силой преодолевать сопротивление падающей воды.

По одному, по два подходили мы к коммуне. В дом не входили: по заведенному порядку в дом нужно раньше внести знамя. Построились. Карабанов особенно строго скомандовал:

— Смирно!

Вокруг все журчало, лопотало, булькало, свистело, волнами воды колотило по земле, тротуару, стенам, окнам, по строю коммунаров.

Но веселые, радостные лица ребят только жмурились.

— Товарищи! Поздравляем вас с концом славного московского похода! Мы много видели, многому научились и, самое главное, увидели, что мы крепко живем и что нам никакие походы не страшны. Не забудем же никогда этого нашего удачливого дела. Да здравствует наш Союз, да здравствует наша коммуна!

По-настоящему заревели ребята «ура», а свидетелями были только ливень да промокшая фигура сторожа у парадного входа.

Грянул Волчок «Интернационал», и не как-нибудь, не парадный отрывок, а полный, с настоящим концом:

...воспрянет род людской!

Строгими изваяниями замерли коммунары в салюте нашему гимну. Накрытые ночью, небом и ливнем, мы заодно и радостно заглянули в сердце нашего рабочего государства.

— Под знамя смирно! Равнение направо!

Закрытое чехлом знамя черным силуэтом прошло мимо наших лиц.

— Вольно!

И только тогда заговорили, засмеялись, зашумели ребята:

— Вот сюда, сюда, здесь тряпки!

— А какие там тряпки? Снимай всё в вестибюле, пусть девчата отойдут в сторонку.

Свалили все, пропитанное водой, в кучу, — завтра начнем приводить в порядок. Еще веселее стало. Даже дождь заиграл что-то похожее на го-пак. Прибежал в дом кладовщик с ворохом свежего белья.

Девчата, мокрые, в сверкающих на электрическом свете каплях:

— А мы ж как?

— И вы ж так.

— Так убирайтесь!

В столовой уже накрыт ужин. Дежурный по коммуне, в новых трусиках, с красной повязкой на голой руке, спрашивает:

— Можно давать ужин?

Ах, хорошее было дело — наш московский поход! Из Москвы мы приехали новыми, иными — более сильными, уверенными, еще больше чувствуя связь со всем пролетариатом нашего Союза.

Филька

Самый молодой и самый активный член коммуны со времени ее основания — Филька Куслия.

Ему двенадцать лет. У него всегда обветренное лицо. Умные и серьезные глаза. Он напускает на себя серьезность и даже немного надувается. Это потому, что он прежде всего актер.

Среди ребят часто попадаются артисты, но большинство из них очень скоро губит свой талант, используя его как средство подыграться к «доброму дяде», изобразить что-нибудь похвальное и занимательное, подрабатывать на милом выражении лица.

Но Филька со взрослыми всегда был недоверчив и горд.

В коммуне Филька всегда был вождем сепаратистски настроенных пацанов. Вокруг него всегда вертелись пацаны, занятые предприятиями и разговорами, в которые старшие коммунары, не говоря о взрослых, обыкновенно не посвящались.

В этом узком кругу Филька бывал всегда деятелен, стремителен и весел, его смех взрывался то там, то здесь. Его неудачные последователи, вроде Котляра или Алексюка, всегда «засыпались» и попадали в тот или другой рапорт, но сам Филька при встрече со старшими неизменно напускал на себя солидность и разговаривал только недовольным баском. При попытке ближе подойти к «душе ребенка» он бычком наклонял голову и что-то бурчал под нос.

Изменял своей тактике и делался доверчивым и ласковым Филька только во время репетиций малого драмкружка, самым активным членом которого он всегда был.

Но пионерские пьесы, упрощенные и неинтересные, Фильку не удовлетворяли. Он стремился в старший драмкружок, неизменно присутствовал на всех его заседаниях и непривычно для него смело и настойчиво требовал всегда выбора такой пьесы, в которой и для него находилась роль.

На репетициях Филька веселел и удивлял всех особой способностью точно схватывать и повторять тон, данный ему режиссером. Обращал он на себя внимание и своим мальчишеским дискантом и свежестью своей живой мордочки.

Тем не менее прямо можно было сказать, что все очарование Филькиной игры никогда не было очарованием драматического таланта. Только вот эта детская искренность и свежесть и делали Филькину игру занимательной.

Филька, однако, был иного мнения. Он еще весной стал важничать и заявлять, что если бы его пустили в киноактеры, так он показал бы, как нужно играть.

Мне уже не раз приходилось наблюдать увлечение кинокарьерой, но в таком молодом возрасте я это увидел впервые. Пожалуй, наша вина была в том, что мы слишком баловали Фильку и позволили ему слишком занестись. Пробовали Фильку уговаривать:

— Да что ты, Филя! Что там хорошего в киноартистах, что у них за игра! Немые, как рыбы...

Но разве в таких случаях можно что-нибудь доказать? Да и разве мож-

но было убедить Фильку в том, что все его достоинство в симпатичнейшем дисканте, который Фильке дан не на долгое время.

Филька примолк.

А в Москве, во время свободных прогулок по городу, он нашел нужных ему людей и переговорил с ними. Потом заявился ко мне и по обыкновению недовольным басом забурчал:

— Вот тут есть такой человек, так он говорит, что мне можно поступить на кинофабрику.

Окружавшие нас комсомольцы рассмеялись:

— Вот смотри ты, артист какой? На что ты ему сдался? Подметать двор тебя заставит, и в лавочку будешь бегать за лаком.

— Ну что ж, и побегу, зато и играть буду.

— Кого ты будешь играть? — рассердился даже кто-то.

— Как кого? Пацанов буду играть.

— А потом?

— Что потом?

— А потом, когда вырастешь?

— Ну-у,— протянул, уже явно сдерживая слезы, Филька,— «когда вырастешь»!.. Потом тоже найдется. А ты что будешь потом? — вдруг разозлился Филька.— Ты, может, будешь грузчиком!

— Он уже сейчас слесарь, грузчиком не будет, а ты все-таки брось. Забили мальчишке голову, он и карежится. Артист!

Я Фильке сказал:

— Не могу я так тебя отпустить. Я считаю, что это дело пустяковое. Артистом ты не будешь, да ты еще и маленький учиться в студии. Тебя возьмут, пока у тебя рожица детская, а потом выставят, будешь ты ни артист, ни мастер.

Филька ничего не сказал. Но по приезде в Харьков отправился Филька жаловаться на меня члену правления товарищу Н.

— А если я хочу быть артистом, так что ж такое? Может, у меня талант. Нужно меня отпустить.

— Куда?

— На кинофабрику.

— Если ты хочешь быть артистом, так нужно учиться на драматических курсах, а для этого ты еще маленький. А что ж на фабрике? Нет, поживи еще в коммуне, а там видно будет.

И от Н. Филька не в коммуну направился, а на вокзал. Вспомнил старину: влез на крышу, поехал только почему-то не в Москву, а в Одессу.

В коммуне с горестью констатировали:

— Филька убежал.

В течение двух-трех недель ничего о Фильке не было слышно, убежал — и все. Мало кому приходило в голову, что Филька поехал искать актерского счастья,— думали, просто сорвался пацан, надоела коммунарская дисциплина.

Через две недели возвратился Филька в Харьков и каким-то образом объявился в колонии имени Горького — захватили его, видно, в очередной облаве.

В коммуне о нем говорили разно. Кто — сдержанно:

— Сорвался-таки пацан, теперь уже пойдет бродить.

Другие отзывались с осуждением и обидой...

Филька тем временем спокойно сидел в колонии имени Горького и старался не попадаться нашим на глаза, когда наши ходили в гости к горьковцам. А через какого-то «корешка» передал, что он бы и пришел в коммуну, да ему стыдно. И, говорят, прибавлял:

— Чего там развозить! Убежал — и все. Проситься не приду.

У коммунаров первоначальная обида на Фильку прошла, даже жалели его, но никому в голову не приходило зазывать беглеца в коммуну. О его возвращении просто не говорили. И вдруг месяца уже через четыре пришел в коммуну Филька. Я возвращался из города и увидел его возле крыльца. Он салютнул по-нашему и улыбнулся. Ребята весело показали на него:

— Вот киноартист!

Филька отвернулся с улыбкой.

— Как же тебе живется?

— Так, ничего...

Филька сделался серьезным.

— Живется ничего... А вы на меня сердитесь? Правда?

— Конечно, сержусь. А ты что ж думал?

— Да я ж так и думал...

— Погулять к нам пришел?

— Немножко погулять...

— Ну, погуляй.

Через час Филька вошел в кабинет, прикрыл дверь и вытянулся перед моим столом:

— Я не погулять пришел...

— Ты хочешь опять жить в коммуне?

— Хочу.

— Но ведь ты знаешь, что принять тебя может только совет командиров.

— Я знаю. Так вы попросите совет, чтобы меня приняли.

— А в колонии Горького?

— Так в колонии там все чужие, а тут свои...

— Хорошо. Позови дежурного по коммуне.

Пришел дежурный.

— Что, принимать будем киноартиста?

— Да вот же явился. Нужно совет командиров потрубить.

— Есть!

В совете командиров Фильку не терзали лишними вопросами. Попросили только рассказать, как он ездил в Одессу. Филька неохотно повествовал:

— Да что ж там... Как Н. меня не захотел отправить на кинофабрику, я и подумал: «Что ж идти в коммуну? Будут пацаны смеяться. Все равно уже поеду в Одессу. Может, что и выйдет». Пришел на вокзал и сразу полез на крышу, только в Лозовой меня оттуда прогнали... Ну, подождал следующего поезда и опять залез на крышу. Так и приехал в Одессу. Пошел к директору, а директор и говорит: «Нужно раньше учиться в школе». А пацанов у них играть — сколько угодно своих, так те живут у родных. Он говорит: «Если хочешь — играй, может, когда и подойдет тебе, только жить у нас негде». Так я пошел в помдет и попросил, чтобы отправили меня в Харьков. Ну, меня и отправили в колонию Горького.

- А почему не к нам? — спросил кто-то.
- Так я ж не сказал, что я дзержинец.
- Почему ж ты не пришел к нам?
- Стыдно было, да и боялся, что не примут: подержат на середине, а потом скажут: «Иди куда хочешь».
- А почему теперь пришел?
- А теперь?.. — Филька затруднился ответом. — Теперь, может, другое дело. Что ж, я четыре месяца прожил в колонии Горького.
- В колонии плохо?
- Филька наклонил голову и шепнул:
- Плохо.
- Сразу заговорило несколько голосов.
- Да чего вы к нему пристали?
- Вот, подумаешь, преступника нашли!..
- ССК заулыбался:
- Принять, значит?
- Да ясно, в тот же самый отряд.
- Значит, нет возражений? Объявляю заседание закрытым.
- Фильку кто-то схватил за шею:
- Эх ты, Гарри Пиль!

Сявки

У многих коммунаров есть в прошлом... одним словом, есть «прошлое». Не будем о нем распространяться. Сейчас в коллективе дзержинцев оно как будто совершенно забыто. Иногда только прорвется блатное слово, а некоторые слова сделались почти официальными, например: «пацан», «чепа». В этих словах уже нет ничего блатного — просто слова, как и все прочие.

Коммунары никогда не вспоминают своей беспризорной жизни, никогда они не ведут разговоров и бесед о прошлом. Оно, может быть, и не забыто, но настойчиво, упорно игнорируется. Мы также подчиняемся этому правилу. Воспитателям запрещено напоминать коммунарам о прошлом.

Благодаря этому ничто не нарушает общего нашего тона, ничто не вызывает у нас сомнений в полноценности и незапятнанности нашей жизни. Иногда только какой-нибудь бестактный приезжий говорун вдруг залетится восторгами по случаю разительных перемен, происшедших в «душах» наших коммунаров.

— Вот, вы были последними людьми, вы валялись на улицах, вам приходилось и красть...

Коммунары с хмурой деликатностью выслушивают подобные восторги, но никогда никто ни одним словом на них не отзовется.

Однако еще живые щупальцы пытаются присосаться к нашему коллективу. В такие моменты коммуна вдруг охватывается лихорадкой, она, как заболевший организм, быстро и тревожно мобилизует все силы, чтобы в опасном месте потушить развитие каких-то социальных бактерий.

Социальную инфекцию, напоминающую нам наше прошлое, приносят к нам чаще всего новенькие.

Новенький воспитанник в коммуне сильно чувствует общий тон коллектива и никогда не посмеет открыто проповедовать что-либо, напоминаю-

щее блатную идеологию, он даже никогда не осмелится иронически взглянуть на нашу жизнь. Но у него есть привычки и симпатии, вкусы и выражения, от которых он сразу не в состоянии избавиться. Часто он даже не понимает, от чего и почему ему нужно избавиться. Наиболее часто это бывает у мальчиков с пониженным интеллектом и слабой волей. Такой новенький просто неловко чувствует себя в среде подтянутых, дисциплинированных и бодрых коммунаров: он не в состоянии понять законы взаимной связи и взаимного уважения. Ему на каждом шагу мерещится несправедливость, он всегда по старой привычке считает необходимым принять защитно-угрожающую позу, в каждом слове и в движении других он видит что-то опасное и вредное для себя, и во всем коллективе он готов каждую минуту видеть чуждые и враждебные силы. В то же время, даже когда он полон желаний работать, он лишен какой бы то ни было способности заставить себя пережить самое небольшое напряжение. Еще в коллекторе полный намерениями «исправиться», он рефлексивно не способен пройти мимо «плохо лежащей» вещи, чтобы ее не присвоить, успокоив себя на первый раз убедительными соображениями, что «никто ни за что не узнает». Точно размеренный коммунарский день, точно указанные и настойчиво напоминаемые правила ношения одежды, гигиены, вежливости — всё это с первого дня кажется ему настолько утомительным, настолько придирчивым, что уже начинает вспоминаться улица или беспорядочный, заброшенный детский дом, где каждому вольно делать что хочется.

Контраст полудикого, анархического прозябания «на воле» и свободы в организованном коллективе настолько разителен и тяжел, что каждому новенькому первые дни обязательно даются тяжело. Но большинство ребят очень быстро и активно входит в коллектив. Их подтягивает больше всего, может быть, серьезность предъявляемых требований. Обычно бывает, что ребята бунтуют только до первого «рапорта». Новенький пробует немного «побузить», нарочно толкнет девочку, уйдет с работы, возьмет чужую вещь, замахнется кулаком, ответит ненужной грубостью. На замечание другого коммунара удивится:

— А ты что? А тебе болит?

Первый же «рапорт» производит на него совершенно ошеломляющее впечатление. Когда председатель общего собрания спокойно называет его фамилию, он еще немного топорщится, недовольно поворачивается на стуле и пробует все так же защищаться:

— Ну что?

Но у председателя уже сталь в голосе:

— Что? Иди на середину!

Неохотно поднимается с места и делает несколько шагов, развязно покачиваясь и опуская пояс ниже бедер, как это принято у холодногорских франтов. Одна рука — в бок, другая — в кармане, ноги в какой-то багетной позиции, вообще во всей фигуре достоинство и независимость.

Но весь зал вдруг гремит негодующим, железным требованием:

— Стань смирно!

Он растерянно оглядывается, но немедленно вытягивается, хотя одна рука еще в кармане.

Председатель наносит ему следующий удар:

— Вынь руку из кармана.

Наконец, он в полном порядке, и можно с ним говорить:

— Ты как обращаешься с девочками?

— Ничего подобного! Она шла...

— Как ничего подобного? В рапорте вот написано...

Он совершенно одинок и беспомощен на середине.

Последний удар наношу ему я, это моя обязанность. После суровых слов председателя, после саркастических замечаний Редько, после задирающего смеха пацанов я получаю слово. Стараюсь ничего не подчеркивать:

— Что касается Сосновского, то о нем говорить нечего. Он еще новенький и, конечно, не умеет вести себя в культурном обществе. Но он, кажется, парень способный, и я уверен, что скоро научится, тем более что и ребята ему помогут как новому товарищу.

Заканчиваю я все-таки сурово, обращаясь прямо к Сосновскому:

— А ты старайся прислушиваться и приглядываться к тому, что делается в коммуне. Ты не теленок, должен сам все понять.

Когда собрание кончается и все идут к дверям, кто-нибудь берет его за плечи и смеется:

— Ну, вот ты теперь настоящий коммунар, потому что уже отдувался на общем. В первый раз это действительно неприятно, а потом ничего... Только стоять нужно действительно смиренно, потому, знаешь — председатель...

Самые неудачные новички никогда не доживают до выхода на середину. Поживет в коммуне три-четыре дня, полазит, понюхает, скучный, запущенный, бледный, и уйдет неизвестно когда, неизвестно куда, как будто его и не было.

Коммунары таких определяют с первого взгляда:

— Этот не жилец: сявка.

«Сявка» — старое блатное слово. Это мелкий воришка, трусливый, дохлый, готовый скорее выпросить, чем украсть, и не способный ни на какие подвиги.

Коммунары вкладывают в слово «сявка» несколько иное содержание. Сявка — это ничего не стоящий человек, не имеющий никакого достоинства, никакой чести, никакого уважения к себе, бессильное существо, которое ни за что не отвечает и на которое положиться нельзя.

У нас таких сявок было за три года очень немного, человека три всего. Коммунары о них давно забыли, и только в дневниках коммуны остался их след.

Гораздо хуже бывало, когда вдруг нам приходилось ставить вопрос о старом коммунаре, на которого все привыкли смотреть как на своего и у которого вдруг обнаруживались позорные черты.

Самый тяжелый случай был у нас с Грунским.

Грунский живет в коммуне с самого начала ее. У него красивое лицо, тонкое и выразительное. Он в старшей группе и учится прекрасно. Всегда он ко всем расположен, вежлив, в меру оживлен и активен. Его без всяких затруднений приняли в комсомол, а через год был уже он командиром первого отряда, и его всегда выбирали во все комиссии. На работе он — прямо образец, всякое дело умеет делать добросовестно и весело.

Во время московского похода обнаружилось неприятное дело: в поезде, по дороге в Москву, пропало у Волчка пять рублей. Ночью положил кошелек

рядом с собой, посторонние в наши вагоны не заходили, а утром проснулся — кошелька и денег нет.

Дневальными в вагоне ночью были четыре коммунара, в том числе и Грунский.

Как только расположились в Москве в общежитии, собрали общее собрание.

В огромной спальне Транспортной школы притихли. Дело безобразное: у товарища украли последние деньги, да еще во время похода, которого так долго ждали и на который так много было надежд. Назвать прямо перед всеми фамилию подозреваемого трудно: слишком уж тяжелое оскорбление. Четверо дневальных вышли вперед.

— Я денег этих не брал.

Так сказал каждый. Так сказал и Грунский.

В спальне было тихо. Все чувствовали себя подавленными.

Тогда попросил слово Фомичев и сказал:

— Первый отряд уверен, что деньги взял Грунский.

Еще тише стало в спальне.

Я спросил:

— А доказательства?

— Доказательств нет, но мы уверены.

Грунский вдруг заплакал.

— Я могу свои отдать деньги, но денег я не брал.

Никто ничего не прибавил, так и разошлись. Я выдал Волчку новые пять рублей.

В Москве и на обратном пути Грунский был оживлен и доволен, но я заметил, что тратит он гораздо больше, чем было ему по карману: его финансовые дела были мне известны. Он покупал конфеты, молоко, пирожное и в особенности кутил на станциях: на каждой остановке можно было видеть на подножке вагона Грунского, торгующего у бабы или мальчишки какую-нибудь снедь.

Я поручил нескольким коммунарам запомнить кое-какие его покупки. Как только мы приехали в коммуны, я собрал совет командиров и попросил Грунского объяснить некоторые арифметические неувязки. Грунский быстро запутался в цифрах. Выходило, что денег истрачено было им гораздо больше, чем допускалось наличием. Пришлось ему перестраивать защиту и придумывать небылицы о присланных какой-то родственницей в письме пяти рублях. Но это было уже безнадежно.

И пришлось Грунскому опустить свою белокурую голову и сказать:

— Это я взял деньги Волчка.

Среди командиров только Редько нашел слова для возмущения:

— Как же ты, гад, взял? Тебе ж говорили, а ты еще и плакал, а потом на глазах у всех молоком заливался!

Общее собрание в тот день было похоже на траурное заседание. Грунский кое-как вышел на середину. Председатель только и нашелся спросить его:

— Как же ты?

Но ни у председателя не нашлось больше вопросов, ни у Грунского — что отвечать.

— Кто выскажется?

Тогда вышел к середине Похожай и сказал Грунскому в глаза:

— Сявка!

И только тогда заплакал Грунский по-настоящему, а председатель сказал:

— Объявляю собрание закрытым.

С тех пор прошло больше года. Грунский, как и прежде, носит по коммуне свою белокурую красивую голову, всегда он в меру оживлен и весел, всегда вежлив и прекрасно настроен, и никогда ни один коммунар не напомним Грунскому о московском случае. Но ни на одном собрании никто не назвал имени Грунского как лица, достойного получить хотя бы самое маленькое полномочие.

Будто сговорились.

Юхим

Юхим Шишко был найден коммунарами при таких обстоятельствах.

Повесили пацаны с Перским горлётную сетку на лужайке возле леса, там, где всегда разбиваются наши летние лагеря. Наша часть леса огорожена со всех сторон колючей проволокой, и селянские коровы к нам заходить не могут.

Но раз случилась оказия: даже не корова, а теленок-бычок не только прорвал проволочное препятствие, но и попал в горлётную сетку, разорвал ее всю и сам в ней безнадежно запутался.

Пока прибежали коммунары, от горлэта ничего не осталось, пропали труды целой зимы и летние надежды.

Бычка арестовали и заперли в конюшне.

Только к вечеру явился хозяин, солидный человек в городском пиджаке, и напал на коммунаров:

— Что за безобразие! Хватают скотину, запирают, голодом морят. Я к самому Петровскому пойду! Вас научат, как обращаться с трудящимися.

Но коммунары подошли к вопросу с юридической стороны:

— Заплатите сначала за сетку, тогда мы вам отдадим бычка.

— Сколько же вам заплатить? — спросил недоверчиво хозяин.

В кабинете собралось целое совещание под председательством Перского. Перский считал:

— Нитки стоят всего полтора рубля, ну, а работы там будет рублей на двадцать по самому бедному счету.

Ребята заявили:

— Вот, двадцать один рубль пятьдесят копеек.

— Да что вы, сказались? — выпалил хозяин. — За что я буду платить?

Бычок того не стоит.

— Ну, так и не получите бычка.

— Я не отвечаю за потраву, это пастух пускай вам платит. Я ему плачу жалованье, он и отвечает.

Ребята оживились.

— Как пастух? Пастух у вас наемный?

— Ну, а как же! Плачу ж ему, он и отвечает.

— Ага! А сколько у вас стада?

Хозяин уклонился от искреннего ответа:

— Какое там стадо! Стадо...

— Ну, все-таки.

— Да нечего мне с вами талдычить! Давайте теленка, а то пойду просто в милицию, так вы еще и штраф заплатите.

ССК прекратил прения:

— Знаешь что, дядя, ты тут губами не шлепай, а либо давай двадцать один рубль пятьдесят копеек, либо иди куда хочешь.

— Ну, добре,— сказал хозяин.— Мы еще поговорим!

Он ушел. На другой день к вечеру ввалилось в кабинет существо первобытное, немытое со времени гражданской войны, не чесанное от рождения и совершенно неумеющее говорить.

В кабинете им заинтересовались:

— Ты откуда такой взялся?

— Га? — спросило существо.

Но звук этот был чем-то средним между «га», «ы», «а», «хе»...

— А чего тебе нужно?

— Та пышок, хасяин касалы, витталы шьоп.

— А-а, это пастух знаменитый!

С трудом выяснили, что этот самый пастух пасет целое стадо, состоящее из трех коров, нескольких телят и жеребенка.

Сказали ему:

— Иди к хозяину, скажи: двадцать один рубль пятьдесят копеек пусть гонит.

Пастух кивнул и ушел.

Возвратился он только к общему собранию, и его вывели на середину плачущего, хныкающего и подавленного. Рот у него почему-то не закрывался, вероятно, от обилия всяких чувств. Пастух объявил:

— Хасяин попылы, касалы — иды сопи, быка, значиться, узялы, так хай и пастуха запырають.

Ситуация была настолько комической, что при всем своем сочувствии пастуху зал расхохотался.

Из коммунаров кто-то предложил задорно:

— А что ж, посмотрим! Давай и пастуха... Смотри, до чего довели человека!.. Побил, говоришь?

— Эхе,— попробовал сказать Юхим, не закрывая рта.

— Да что его принимать? — запротестовал Редько.— Он же совсем дикий. Ты знаешь, кто такой Ленин?

Юхим замотал головой, глядя не отрываясь на Редько:

— Ни.

Кто-то крикнул через зал:

— А, може, ты чув, шо воно за революция?

Юхим снова замотал отрицательно головой с открытым ртом, но вдруг остановился.

— Цэ як с херманьцями воювалы...

В зале облегченно вздохнули. Все-таки хоть говорит по-человечески. Многие выступали против приема Юхима, но общее решение было — принять.

Приняли-таки Юхима. А бычка на другой день зарезали и съели.

Юхима остригли, вымыли, одели — все сделали, чтобы стал он похо-

жим на коммунара. Послали его в столярный цех, но инструктор на другой день запротестовал:

— Ну его совсем! Того и гляди, в пас запутается.

Юхим и сам отрицательно отнесся к станкам, тем более что в коммуне нашлось для него более привлекательное дело. Держали мы на откорме кабанчика. Как увидел его Юхим, задрожал даже:

— Ось я путу за ным хотыты.

— Ну ходи, что ж с тобой поделаешь.

Юхим за кабанчиком ходил, как за родным. Юхим не чувствовал себя наймитом и даже пробовал сражаться с кухонным начальством и с конюхом, отстаивая преимущественные права своего питомца. В его походке вдруг откуда-то взялись деловитость и озабоченность. В свинарне Юхим устроил настоящий райский уголок, натыкал веточек, посыпал песочку...

К счастью Юхима, его сельскохозяйственная деятельность в коммуне все-таки прекратилась.

В один прекрасный день Юхим не нашел в свинарнике своего питомца. Бросился в лес и по дороге с гневом обрушился на конюха.

Наш конюх, могучий, самоуверенный и спокойный Митько, старый мясник и селянский богатырь, добродушно рассмеялся.

Юхим унесся в лес. Бродил он в лесу и обед прозевал, пришел изморенный и к каждому служащему и коммунару приставал с вопросом:

— Дэ кабан? Чи не бачыли кабана?

И только придя на кухню обедать, он узнал истину: кабана еще на рассвете зарезал Митько. Когда Юхиму предлагала кусок свинины старшая хозяйка, ехидный и веселый Редько передразнил Юхима:

— «Дэ кабан?» Раззява несчастная! Ось кабан, кушай!

Как громом был поражен Юхим всей этой историей, не стал обедать и бросился в кабинет с жалобой. Я с большим напряжением понял, о чем он лопочет:

— Заризалы ранком, ништо й не знав, отой Митько, крав, крав помый, насмихався...

Несколько дней коммунары спрашивали у Юхима:

— Дэ кабан?

Но у Юхима уже прошел гнев, и он отвечал, улыбаясь доверчиво:

— Заризалы.

Гибель кабана от руки Митько окончательно порвала связь Юхима со скотным двором. Сделался Юхим рабочим литейного цеха. Сейчас он работает на щетковальном станке.

Юхим — уже старый коммунара и изучает премудрости третьей группы.

Вечер

Протрубил трубач у двух углов:

Спать пора, спать пора, коммунары,
День закончен, день закончен трудовой...

По парадной лестнице пробежали коммунары в спальни, и уже сменился караул у парадного входа. Новый дневальный записывает в свой блокнотик, кого и когда будить, и одновременно убеждает командира стороже-

вого в том, что, если командир отдаст ему карманные часы, они вовсе не будут испорчены.

Заведующий светом проходит по коридору и тушит электричество. Скоро только у дневального останется лампочка. У дверей одного из классов группа девочек требует:

— А если нам нужно заниматься?

— Знаю, как вы занимаетесь! — говорит грубоватый курносый, но хорошенький Козырь. — Заснете, а электричество будет гореть всю ночь.

— А мы разве засыпали когда?

— А почему я знаю, я за вами не слежу.

Но девочки получают подкрепление. Суровая Сторчакова разрешает спор молниеносно:

— Ну, убирайся!

Козырь убирается и заглядывает в «тихий» клуб, делая вид, что его авторитет ничуть не поколеблен. Однако за плечами его снова Сторчакова:

— Тут будет заседание бюро, прекрасно знаешь.

— Ну, знаю. Так что ж?

— Ну, нечего мудрить! Зажги свет.

Козырь послушно действует выключателем, но не уходит. Когда соберется бюро, он отомстит, обязательно пристанет к секретарю:

— Кто потушит свет?

— А тебе не все равно? Потушим.

— Нет, ты скажи — кто. Я должен знать, кто отвечает.

— Я потушу.

Козырь не будет спать или будет просыпаться через каждые четверть часа, спускаться в «тихий» клуб и смотреть, не забыли ли потушить свет. Надежды очень мало сегодня. Наверняка Сторчакова потушит. Уж очень она аккуратный человек. Но Козырь знает, что такое теория вероятности. Он будет и сегодня следить, и завтра, и много раз, и, наконец, настанет такой счастливый вечер, когда он на общем собрании отчетанит рапорт дежурному:

— В коммуне за сутки электроэнергии израсходовано двадцать киловатт-часов. Особое замечание: секретарь комсомольской ячейки Сторчакова после заседания бюро не выключила свет, «тихий» клуб «горел» до утра.

Сторчакова выйдет на середину и скажет:

— Да, я виновата...

Ничего Сторчаковой не будет, это верно, но Козырю ничего особенного и не нужно. Он и так получит много. Он получит право сказать секретарю:

— Знаем, как вы тушите!

В помещении коммуны появляется еще тень и ругает Володьку за то, что рано в коммуне потушен свет. Это представитель дежурного отряда. Дежурный отряд следит за порядком в клубах и отвечает за то, чтобы во всем здании, кроме, разумеется, спален, были на ночь закрыты окна.

Наконец, и Володька и дежурный отряд уходят в спальню.

В кабинете еще идет работа — какая-нибудь комиссия. В «тихом» клубе располагается бюро, а это значит, что «тихий» клуб полон.

На бюро кто-нибудь коротко отчитывается, кто-нибудь зачитывает небольшой проект, кто-нибудь «отдувается», кто-нибудь организуется.

Сегодня именинник литейный цех. Производственное совещание цеха. Мастера, Соломон Борисович — всего человек двенадцать. В цехе прорыв: что-то прибавилось браку, вчера не было литья, глина оказалась неподходящей.

Коммунары полегоньку нажимают на Соломона Борисовича и основательно наседают на мастеров; мастера кивают на Соломона Борисовича и оправдываются перед коммунарами; Соломон Борисович машет руками и наседает и на тех и на других. Через полчаса вопрос ясен: прорыв ликвидировать совсем не трудно, и тревога, в сущности, напрасна, но все-таки хорошо, что поговорили. Выяснилось, что коммунар Белостоцкий поленивается, что мастер Везерянский — шляпа, что Соломон Борисович должен, скрепя сердце, выложить сто рублей на новый точильный камень. Под шумок маленького спора сорвали с Соломона Борисовича обещание перевести что-то на мотор, договорились насчет новой работы и помечтали об отдельной литейной.

В кабинете тоже окончили. Председатель столовой комиссии складывает в папку бумажки и говорит:

— Конечно, нужны горчичницы. Будем нажимать.

Все расходятся.

Дневальный принимает ключи от кабинета и говорит:

— Спокойной ночи.

Во дворе неслышно прохаживается сторож. У конюшни голоса: двое коммунаров кому-то рассказывают о чудесах, совершенных Митькой-конюхом:

— Ну, так разве ж его можно взять! Раз трое на него наскочили с кольями, а у одного железный лом... Так что ж? Они на него с ломом — по голове, аж голова гудит, а он все-таки их всех поразгонял.

— Коммунары, спать пора!

— Идем уже, идем...

В последнем окне погас свет; кто-то дочитал книжку.

Заключение

Сейчас осень. Коммуна только что возвратилась из крымского похода.

Крымский поход достоин того, чтобы о нем написать книгу — книгу о новой молодости, о молодости нового общества, о радостях новых людей, сделавшихся частью живого коллектива.

Утром пятого августа в четыре часа коммуна вышла из Байдар. Впереди — проводник, разговорчивый татарин, данный нам байдарским комсомолом. Мы решили идти через Чертову лестницу, но нужно посмотреть на знаменитые Байдарские ворота.

Ахнули, посмотрели, влезли на крышу ворот и чинно уселись на барьер крыши, как будто собирались просидеть там до вечера. Слезли через минуту, сыграли «Интернационал» восходящему солнцу и пошли. Через пятьдесят шагов проводник неожиданно полез на какую-то кручу. Не успел я опомниться, как уже коммунары перегнали его, только кто-то из оркестрантов с тяжелым басом цеплялся за корни. Я разругал проводника:

— Разве это дорога? Разве можно вести по этой дороге сто пятьдесят ребят, да еще с оркестром?

Но коммунары на меня смотрели с удивлением:

— А чего? Хорошая дорога!

Кое-как и мы с Тимофеем Викторовичем, ругаясь и задыхаясь, выбрались на Яйлу.

Часа через два шли с пригорка на пригорок по волнистым вершинам Яйлы и наконец подошли к Чертовой лестнице.

Смотрим вниз. Какой-то застывший поток разбросанных повсюду острых камней. По ним нужно спускаться. Ребята нас обогнали давно. От Байдар уже сделали километров двадцать, а тут еще нужно прыгать на круглую макушку камня, смотрящего откуда-то снизу в полтора метрах. Прыгаем.

Тимофей Викторович возмущается:

— Проводнику не нужно платить, мерзавцу!

Спускались мы с ним часа полтора, так, по крайней мере, нам показалось. Но как только спустились к ожидавшим нас на шоссе коммунарам, Тимофей Викторович расплылся в улыбке:

— Замечательная дорога! Какая прелесть!

Голоногие коммунары смеются, понимая, в чем дело. Тимофей Викторович на этом самом участке шоссе с радостью закончил бы переход. Но нужно идти дальше, потому что коммунары уже скрываются из виду. Им приказано остановиться только в Кикенеизе, а до Кикенеиза еще километров восемь.

В Кикенеизе маршрутная комиссия достала разрешение остановиться в школе. Обоза еще нет, и коммунары отправились купаться к морю, до которого километра четыре.

Наконец приходит обоз. Карабанов дурашливо обнимается с коммунарами, конвоирующими обоз, столовая комиссия бросается снимать с арб обед.

Я спрашиваю:

— Здесь заночуем, наверно?

— Дальше! — кричат коммунары.

В шесть часов трогаемся дальше. Уже начинает темнеть, когда мы подходим к обсерватории на горе Кошка. До Симеиза километров пять. Директор разрешает осмотреть обсерваторию, и ребята устремляются к дверям. Нам уже впору отдохнуть, и мы с Тимофеем Викторовичем усаживаемся на скамье. Хорошо бы здесь и заночевать, но Карабанов уже выстраивает колонну. Техник обсерватории предлагает показать ближайший спуск в Симеиз. Мы с ним отправляемся вперед, но через минуту нас галопом обгоняют все сто пятьдесят коммунаров. Они летят по крутому спуску, как конница Буденного, не останавливаясь на поворотах и не упираясь на кручах, просто сбегают свободным бегом, как будто для них не существует законов тяжести и инерции. Любезный техник останавливается над каким-то обрывом и показывает мне дальнейшие извилины спуска, но вдруг безнадёжно машет рукой:

— Э, да вам показывать не нужно!

Впереди вся Кошка покрыта парусиновыми рубахами коммунаров.

Мы с Тимофеем Викторовичем только через полчаса добираемся до подошвы.

Еще через десять минут наш оркестр гремит на верхних террасах симеизского шоссе. Симеиз в сверкающем ожерелье все ближе и ближе.

После сорокакилометрового перехода и двух перевалов коммунары с музыкой входят в Симеиз. Их движения так же упруги, как и утром в

четыре часа в Байдарах. Так же торжественно колышется впереди знамя, по бокам его так же остряты штыки, и так же развевается флажок у флаженера левого фланга Алексюка.

Симеизская публика из квартала в квартал провожает нас аплодисментами. Кто-то любезно бросается подыскивать для нас ночлег. Через полчаса коммунары входят в великолепный клуб союза строителей, и караульный начальник разводит ночные караулы.

Тридцать первого августа в шесть утра мы вернулись домой.

Кончился наш отпуск. Перед нами — новый год и карты новых переходов.

В отрядах коммунаров уже сменились командиры. В первом отряде снова командует Волчок, а на месте ССК уже не Васька Камардинов, а Коммуна Харланова, особа выдержанная, серьезная и образованная. Теперь Соломону Борисовичу еще меньше будет свободы в совете командиров.

Соломон Борисович строится. Все площади нашего двора завалены строительными материалами, сразу в нескольких местах возводятся стены новых домов — общежитий, контор, складов и цехов. Все планы, намеченные перед отъездом в Крым, Соломоном Борисовичем выполняются, и это обстоятельство окончательно роднит его с коммунарами.

Вернувшись из крымпохода, побежали коммунары после команды «разойдись» осматривать новое строительство. Великолепный новый сборный цех длиной в семьдесят метров их совершенно удовлетворяет:

— Грубый цех будет! — говорит командир третьего.

Довольны и формовщики: новая литейная почти готова, на стропилах уже ползают кровельщики, и на траве в саду разложены масляные листы железа.

Но это еще не все. Самое главное вот что: в коммуне открывается рабфак. Настоящий рабфак Машиностроительного института. Первый и второй курсы. Это великое событие произошло чуть ли не случайно. Бросились наши кандидаты в рабфаки — оказывается: то стипендии нет, то общежития. Возникло решение открыть собственный рабфак. И Наркомпрос и ВСНХ пошли навстречу желаниям коммунаров.

Через три дня начинаются на рабфаке занятия. Новые наши студенты продолжают оставаться коммунарами. Все чрезвычайно довольны: не нужно никуда уходить, не нужно бросать родную коммуну, можно продолжать работать на нашем производстве.

В рабфаке будет семьдесят коммунаров.

В педагогическом совете затруднялись: как быть с такими, как Панов? И по возрасту и по росту совсем мальчик, а по способностям и коммунарскому стажу заслуженный товарищ. Ребята в педсовете настояли:

— Ну так что же? Кончит рабфак, ему уже шестнадцать будет. Чем не студент? Такие нам и нужны.

Сегодня в коммуну свозят много хороших вещей: физический кабинет, химический кабинет, новые книги. Соломон Борисович измеряет комнаты: надо делать шкафы, столы, стулья для новых кабинетов.

Соломону Борисовичу теперь есть чем гордиться: в коммуне рабфак; не успеет оглянуться — будут собственные инженеры. А на текущем счету уже лежат двести тысяч рублей. Взяли мы еще в июле заказ на оборудование Энергетического института, заказ стоит полмиллиона.

ФД·1

Очерк

1. Похоже на вступление

Харьков еще спал, когда колонна коммунаров прошла через город от вокзала в коммуны. Ожидался хороший день, но солнце еще не всходило. За окнами спали люди, и мы будили их громом нашего оркестра: раздвигались занавески, и кто-то удивленный разглядывал ряды марширующих мальчиков со знаменем впереди. Знамя шло по-походному — в чехле.

По плану коммунарам полагалось бы быть уставшими. Поезд пришел в Харьков в два часа ночи. Мы до рассвета «проволынили» на вокзале, пока нашли подводы для вещей. Только вчера мы были в Севастополе¹, дышали югом, морем, кораблями, широкими, вольными глотками пили бегущие мимо нас, быстро сменяющиеся впечатления. Сейчас, ранним утром, притихшим в мальчишеской лукавой бодрости, для нас таким непривычно знакомым показался Харьков, и это было тоже ново, как будто мы продолжаем поход по новым местам. Поэтому мы не ощущали усталости.

Прошли через город, вот и белгородское шоссе, вот и лес. Фанфаристы свернули вправо на нашу дорожку в лесу. Всегда в этом месте мы распускали строй и пробирались через лес «вольно», чтобы построиться снова в поле. Но теперь нас, наверное, будут встречать, и мы держим фасон.

— Справа по одному, марш!

Коммунары вытянулись в одну линию.

Лесные дорожки родные, на них знакома каждая морщинка, каждая сломанная придорожная веточка.

Оркестр уже выбрался из леса и торопливо перестраивается «по шести». Навстречу бегут по межам, сокращая путь, обрадованные люди: рабочие, служащие, их дочки и пацаны, приятели с Шишковки. Скачут по жнивью собаки.

Волчок быстро шепчет:

— Марш Дзержинского... раз, два...

Мы салютуем встречающим нашим маршем — маршем Дзержинского². Эту честь мы оказываем далеко не каждому.

Коммунары быстро перестраиваются. Им трудно сдержать улыбку в то время, когда кругом им машут шапками, протягивают руки и кричат:

— Васька, а Васька, черный какой...

Но коммунары держат ногу и напускают на себя серьезность.

Пыльная дорога еле-еле вмещает наш широкий строй, и поэтому нам трудно сохранять воинскую красоту. Встречающие идут рядом, разгля-

дывая наши загорелые физиономии. Землянский впереди особенно лихо звенит тарелками, и особенно высоко передовые задирают фанфары навстречу солнцу, в удивлении выпучившему на нас единственный глаз.

Летит к нам навстречу и Соломон Борисович, наш заведующий производством, человек толстый и юношески подвижный. Он ничего не понимает в неприкосновенности строя, прямо с разбегу со страшной инерцией своей шестипудовой массы бросается мне на шею и считает обязательным понастоящему обчмокать меня расстроенными старческими губами. Разогнавшаяся в марше знаменная бригада налетает на нас, а на нее налетает первый взвод³. Первый взвод хохочет, и командир взвода Миша Долинный протестует:

— Выйдите из строя, Соломон Борисович.

Соломон Борисович протягивает к нему руки.

— Товарищ Долинный, как вы загорели, это прямо удивительно!

Он пожимает руку смущенному Мише, семенит рядом с ним и торжествует:

— Теперь вы меня ругать не будете. Есть где работать — не скажете, что Соломон Борисович ничего для вас не приготовил. Вот я вам покажу... Вы видите крышу? Вы видите, видите? Вон за деревом...

Миша безнадежно пытается поймать ногу и сердится:

— Соломон Борисович, вы же видите, что мы идем за знаменем! Станьте сюда и держите ногу.

Как настоящий коммерсант, Соломон Борисович склонен к сентиментальности, но он слишком уважает коммунарский строй, и он послушен: он напряженно чеканит «левой, правой» и молчит. Его живот и наморщенный лоб всем окружающим возвещают, что Соломон Борисович умеет встретить коммуну, но и коммуна знает ему цену: все остальные идут сбоку, а Соломон Борисович «за знаменем».

Вот и наш серый дворец. Соломон Борисович вместе со всеми выстраивается для отдачи чести знамени, которое после месячного отсутствия вносится в наш дом.

Окончились церемонии, и коммунары побежали проверить коммуну. Соломон Борисович снова оживлен и радостен. Он берет меня под руку, и, окруженные толпой коммунаров, мы идем осматривать постройки, воздвигнутые Соломоном Борисовичем во время нашего похода в Крым.

Так окончился марш тридцатого года.

Марш тридцатого года — это было счастливое, беззаботное время для коммунаров. Это был год, когда мы на каком-то микроскопическом участке общего советского фронта делали свое маленькое дело и были счастливы. Мы много работали, учились, отшлифовывали грани нашего коллектива и радовались. Коммунары одинаково светлым взглядом смотрели на солнце и на трубы завода, потому что это были непреложные элементы живой жизни. Мир в их представлении был идеально гармоничен, он состоял из неба, солнца, заводов, рабочего класса, комсомола и других хороших и ценных вещей.

Тогда мы гордились маршем тридцатого года и о нем рассказывали в полной уверенности, что это было прекрасное и сильное движение. У нас были мастерские, мы выделывали нехитрые вещи, но все же нужные лю-

дям, в школе мы учились. Одним словом, мы гордились и имели на это основания.

Но вот теперь, когда прошел тридцать первый год, оглядываясь назад, мы со снисходительной улыбкой рассматриваем наше прошлое. Прекрасный марш тридцатого года — это вовсе не был потрясающий, звенящий марш победителей, нет, это мы только учились ходить. Так это было скромно в сравнении с тем, что выпало на долю нашего коллектива в славном боевом тридцать первом году.

О, тридцать первый год — это настоящая война. Здесь было все. Был зуд нетерпения и требовательности, была язвительная улыбка умного, опытного человека, мальчишеский кипящий задор и строгая математика остро очиненного карандаша. Коммуна прошла тяжелейшие изрытые оврагами пространства, заброшенные мусором площади, гудронные паркетные шоссе и Черное море.

У нас были в этом году необозримые посе́вы терпения, были напряжения длительные и безмолвные, когда крепко сжимаются губы и осторожно по сантиметрам расходуется драгоценная воля, когда не играет музыка и не блещет открыто коллектив в своем величии и красоте.

Были и марши и походы, полные стройности и очарования, марши юности по древним горам среди древних народов. Были широко раскрытые радостные глаза, стремящиеся схватить в дерзком усилии всю мощь Советского Союза и советской стройки, были просто человеческие дни отдыха и мобилизации новых сил.

А силы были нужны для больших и трудных операций.

Сейчас, когда я это пишу, на пятнадцать минут выйдя из строя, коммунары штурмуют высоты, о взятии которых нам не снилось еще полгода назад. Это действительно «кровавый» штурм, настойчивые удары нашей воли и дерзости, нашего знания и умения.

2. К теории мутаций⁴

Здания, воздвигнутые Соломоном Борисовичем, произвели на коммунаров сильное впечатление. Хотя они были построены из дерева и других подобных материалов, но были поразительны по своей величине и строительной смелости. Главными зданиями были: сборный цех для деревообделочной мастерской длиной в шестьдесят метров и шириной в двадцать и жилой дом, в котором строительная мудрость Соломона Борисовича вместила и квартиры для многих рабочих, и столовую, и швейную, и бухгалтерию, и кухню, и даже красный уголок.

Перед отъездом в Крым мы страдали от недостатка производственных помещений, и поэтому, когда загорелые ноги коммунаров, еще не расставшиеся с трусиками, пробежали по всем объектам строительства Соломона Борисовича, в душах коммунаров довольно основательно расположилось чувство удовлетворения.

Новый сборный цех в этот момент был еще пуст и представлял собой огромную площадь, которая еще не была тронута рукой легкой индустрии.

Коммунары прыгали по цеху, непривычно пораженные его размахом.

Соломон Борисович в этот момент испытывал наслаждение. Он был

горд успехами строительства и осчастливлен довольными рожами коммунаров.

Коммунары были довольны. Им не понравилось, что весь двор был завален строительным мусором, но и раньше Соломон Борисович не отличался чрезмерной аккуратностью. В общем это было в самом деле строительство, и коммунарам можно было развернуть настоящую большую производственную работу. В ближайшие дни коммунары были увлечены другими, гораздо более сильными впечатлениями, которые были связаны с нашей школой.

Школьный вопрос у нас до сих пор обстоял очень невыразительно. Начинали мы когда-то от печки, от обычных групп трудовой школы. Но к нам приходили мальчики и девочки, которых на педагогическом языке обычно называют переростками. Мы не умели с настоящей педагогической эмоцией произносить это слово, то есть не умели вкладывать в его содержание признаков безнадежности, предрешенности и ненужности. Переросток в детском доме — это то, что никому не нужно, всем мешает, нарушает дисциплину и спутывает весь педагогический пасьянс⁵.

Коммунары подходили к пятой, шестой группе в возрасте семнадцати-восемнадцати лет. Возиться с окончанием трудовой школы некогда и скучно. Давно мы привыкли к прекрасному выходу из нашей образовательной системы — мы отправляли коммунаров в рабфак. Все оканчивалось сравнительно благополучно, и у нас не было случая, чтобы кто-нибудь провалился на испытаниях. И летом тридцатого года и в коммуне и в Крыму человек до тридцати старших коммунаров готовились в рабфак.

Приехав из Крыма, наши комиссии бросились искать места в рабфаках. Нас ожидало страшное разочарование. На первые курсы нам предлагали места очень неохотно, да и то без стипендий, приглашали больше на второй. Это было похоже на разгром всех наших планов: без стипендии пускаться коммунарам в студенческую жизнь было весьма опасно, оставить ребят жить в коммуне значило бы совершенно изменить ее лицо, это уже не была бы трудовая коммуна, а в значительной степени общежитие для студентов, новеньких принимать было некуда. Посылать ребят на второй курс мы боялись, вдруг срежутся на экзамене.

В полной растерянности собрались совет командиров и бюро комсомола.

Как и всегда, в заседании присутствовали все, кто хочет, кому интересно и кто случайно забрел в кабинет. Собрались почти все кандидаты в рабфак.

Секретарь совета командиров (ССК) Коммуна Харланова поставила на повестку один вопрос — как быть с рабфаковцами? Так у нас называли всегда всех кандидатов в рабфаки, настолько была у всех глубокая уверенность, что все в рабфак попадут. В заседании над «рабфаковцами» немного подшучивали:

— Рабфак ваш работает в машинном...

— Принимайтесь лучше за кроватные углы, рабфак подождет...

— А Юдину уже снилось, что он профессор...

Я кратко доложил собранию об обстоятельствах дела. Все молчали, потому что выхода как будто и не было. Харланова озабоченно оглядывала командиров:

— Ну, так что же? Чего же вы молчите? Значит, на том и успокоимся — никого в этом году в рабфак не посылаем?..

Новый секретарь бюро ячейки комсомола, всегда улыбающийся Акимов, человек, не способный испортить себе настроение ни при каких обстоятельствах, спокойно и задумчиво говорит:

— Так нельзя, чтобы никого не посылать. Только чего нервничать? Надо подумать. Наверное, что-нибудь придумаем.

— Ну, так что ты придумаешь? Что придумаешь? — грубовато оборачивается к Акимову Фомичев, один из самых старших кандидатов в рабфак.

— Да что тут думать, — улыбается Акимов, — приглашают вас на второй курс, вот и идите, чего вы ломаетесь?

— Ну, какой вы чужак, а еще секретарь, — злится серьезный Юдин. — Приглашают... Это не приглашают, а отказывают. Они прекрасно знают, что мы все подавали на первый курс, а говорят: идите на второй, это все равно — убирайтесь на все четыре стороны.

— А вы и идите на второй, раз приглашают...

— Может, на третий идти, на третий тоже мест сколько хочешь, тоже приглашают... А экзамен?

— Ну, идите на первый, будет трудно — поможем, а там и стипендию дадут...

Харланова останавливает Акимова:

— У нас, знаешь, какое теперь положение... Себе не хватает, наша помощь будет плохая.

Юдин вдруг круто поворачивается ко мне.

— А скажите, пожалуйста, Антон Семенович, почему это такое? Идите, говорят, на второй курс. Что это такое? Выходит как будто, что в коммуне есть первый курс. Как будто мы окончили первый курс в коммуне, а теперь перейдем на второй курс куда-нибудь там, в электротехнический или еще какой?

— А в самом деле выходит так, — кричит Сопин и ерзает на стуле, что-то продолжая доказывать своему соседу.

Я задумчиво смотрю на Юдина и думаю: а ведь в самом деле так выходит, это он правильно сказал.

— А скажите, Антон Семенович, — спрашивает, улыбаясь, Акимов, — их зовут на второй курс... так ведь они не годятся еще, правда же?

— Годятся, — тихо говорит Коммуна.

— Конечно, годятся, — кричит Сопин, которому до рабфака еще очень далеко.

— Ну, чего ты кричишь? Чего ты кричишь? Ты что-нибудь понимаешь в этом? — Харланова начинает сердиться на Сопина.

— А как же, понимаю.

Совет командиров хохочет.

— А чего? Что тут понимать? Понимаю: если из четвертой группы поступают на первый курс, значит, из шестой можно прямо на второй...

— Там совсем другая программа, правда же, Антон Семенович? — настойчиво требует ответа Юдин.

В совете начинается шум... Харланова насилу сдерживает собрание и уже кричит на меня:

— Кричат все... ну, Антон Семенович, говорите уже...

Все затихают и смотрят мне в рот: Юдин серьезно и так, как будто он приступает к решению математической задачи, Акимов с прежней спокойной улыбкой, Сопин страшно заинтересован и весь превратился в нервный заряд.

Я очень хорошо помню этот момент. Тогда я особенно ясно ощутил всю прелесть и чистоту этого десятка лиц, таких светлых, таких умных и таких всесильных, умеющих так спокойно и с таким веселым достоинством решать судьбы своих товарищей и тех многих сотен будущих коммунаров, которые придут им на смену. Я мысленно отсалютовал этим милым очередным командирам нашего коллектива и сказал:

— Вопрос, товарищи, совершенно ясен, и Юдин прав. Нам не нужно ничего придумывать и не нужно падать духом. Через неделю у нас будет свой рабфак, самый настоящий, со всеми правами, и в него войдут не тридцать человек, а половина коммунаров, у нас будут первый и второй курсы. Давайте пока прекратим обсуждение этого вопроса, поручите мне действовать, и через неделю я вам доложу, как обстоит дело...

В совете командиров не закричали «ура», никто не предложил меня качать. Сопин сделался серьезным, это страшно не шло к нему, и сказал:

— Правильно... Так оно и должно быть...

— Ну, что ты понимаешь? — сказала, улыбаясь, Харланова.

— Я не понимаю? — закричал Сопин, но вдруг сразу успокоился.—

Это же она не понимает, правда же?

Юдин положил руку на колено Сопина и улыбнулся:

— Я думаю, что тут все понимают... Если мы доросли до рабфака, то пускай рабфак будет у нас...

— А разрешат рабфак? — спросил кто-то...

Еще за десять минут перед тем самый вопрос не приходил мне в голову, а теперь я ответил:

— В этом не может быть сомнений. Мы будем хлопотать. Но уже завтра соберем педсовет и приступим к организации рабфака. Считайте это дело решенным...

Акимов осторожно спросил:

— А педагоги наши годятся?

— Годятся почти все, часть, может быть, уйдет, но ведь у нас еще будут и подготовительные группы...

— Конечно, — закричал Сопин, — довольно... Какие там четвертые группы — подготовительные к рабфаку — это правильно...

Поднялся обычный галдеж, всегда сопровождающий рождение новых перспектив.

Харланова голосовала:

— Кто за это, поднимите руки...

— За что, за это? — спросил Акимов.

— Не понимаешь? — надул губы Сопин. — За рабфак...

Так совершилось открытие рабфака.

Я не обманывал коммунаров. Вопрос стоял с таким математически точным оформлением, что и на самом деле рабфак начал существовать на другой день. Правда, нами были предприняты шаги в соответствующих ведомствах, но сомневаться в том, что нам рабфак разрешат, ни у

нас, ни у этих ведомств основания не было. Разрешение еще не было получено, но уже коммунары были разбиты по группам, были приглашены дополнительные преподаватели, составлены планы и приступлено даже к закупке физического кабинета и других пособий.

У коммунаров навсегда осталось впечатление, что рабфак был открыт советом командиров, и это верно. Только его открыли не в заседании десятого сентября 1930 года, а в очень многих напряжениях коллектива дзержинцев задолго и незадолго до этого. Наш рабфак был естественным продуктом всей нашей работы и всей нашей жизни⁶. Когда мы этот рабфак открывали, мы не чувствовали никакого напряжения, и это дело было для нас естественным жестом проснувшегося сильного человека. Рабфак был открыт одним броском, в котором совершенно органически соединялись и наша воля, и наш разум, и наши стремления. В биологии тоже есть теория мутаций⁷, утверждающая, что в процессе эволюционного развития незаметно и постепенно накапливается тенденция к изменению, которое вдруг реализуется в одном взрывном, революционном явлении, приводящем к новым формам жизни. Так было у нас с рабфаком.

При его открытии мы испытывали только материальные затруднения. Мы должны были все наши нужды покрывать заработком производства, а оно само еще не стояло на ногах как следует. Тогда, в сентябре, мы были еще настолько бедны, что принуждены были обратиться за помощью в ЦКПД⁸ — нам дали две тысячи рублей для пополнения физического кабинета.

Мы даже не устроили вечера в честь открытия рабфака — так все это вышло естественно, мы были только очарованы, может быть, были очарованы своей собственной силой.

Очень скоро, уже через месяц, мы перешли от очарования к новым боям и к новым трудностям, сейчас, через год, мы ведем последний штурм казавшихся несокрушимыми цитаделей, но если бы не было рабфака, мы не были бы способны на это.

Тогда, в сентябре, затрудняло только одно: рабфак — это дорогая вещь, за него нужно платить деньгами, следовательно, нашими нервами, мускулами — нашей работой.

3. История производственного фона

Когда-то, в первой молодости, я написал рассказ и послал его Максиму Горькому. Получил от Горького письмо, в котором между прочим было написано:

«...рассказ написан слабо: не написан фон...»

Тогда письмо Горького отбило у меня охоту заниматься художественной выдумкой. Но и теперь, когда мне выпало на долю описывать художественную правду, я всегда со страхом вспоминаю:

— Стой... А фон? Написан ли фон?⁹

Действительно, жизнь ста пятидесяти коммунаров-дзержинцев осенью 1930 года рисовалась на определенном фоне, мы все этот фон замечали. Только этот фон не торчал отдельно на заднем плане картины, а выпи-

рал вперед, расплывался по лицам переднего плана и вдруг начинал играть на первых ролях, оттесняя в сторону специально назначенных для этих целей персонажей.

Привез этот фон из Киева все тот же Соломон Борисович.

Очень жаль, что Ильф и Петров истратили по пустякам прекрасный термин: «великий комбинатор»¹⁰. Их герой имел гораздо меньше права на это звание, чем Соломон Борисович, и занимался он какими-то стульями, между тем как Соломон Борисович — прежде всего производственник.

Соломон Борисович в нашей поэме играет не последнюю роль. По всем правилам нужно рассказать о нём подробно, не мешало бы даже остановиться на его предках. Но предков у Соломона Борисовича не было. Не было у него и прошлого. Соломон Борисович родился после 1917 года. Некоторые товарищи, правда, утверждали, что Соломон Борисович имел раньше в Киеве маленький заводик, жил хорошо, была у него квартирка...

По поводу таких предположений Соломон Борисович всегда говорит:

— Заводик, скажите пожалуйста, заводик... может, имел фабрику, магазин готового платья? Всем до этого дело, а никто не спросит, сколько часов в сутки спал Соломон Борисович... Подумаешь, фабриканта нашли...

После такого отзыва заводик и квартирка и в самом деле начинают представляться в далеком тумане, может быть, было, а может, и не было.

Если бы Соломон Борисович имел более спокойный характер, то и тумана никакого не было бы. Но иногда в совете командиров, когда коммунары доведут его до белого каления, раскричится в обиду:

— Вы понимаете? Много вы понимаете в производстве. Он, смотрите, носа вытереть не знает, а в производстве он все знает. Вы это говорите мне? Эти ваши мастерские, подумаешь, завод! Я имел получше дела, и спросите, как я их делал. Я не видел этой вагранки?..

Говорили также, что Соломон Борисович окончил Политехнический институт в Германии, но когда к нам приехали немцы-рабочие и на собрании в «громком» клубе просили Соломона Борисовича переводить, он сказал:

— Забыл, знаете, товарищи коммунары.

Коммунары мало интересовались его прошлым, ибо настоящее Соломона Борисовича слишком основательно было установлено перед их глазами и отвернуться от него нельзя. Вот вы отвернулись. Но Соломон Борисович, несмотря на свою толщину и некоторую бесформенность фигуры, несмотря на тяжелую седоватую голову и обрюзгшее лицо, перемещается с места на место с быстротой удивительной и при этом настойчиво избегает прямых линий. Не было случая, чтобы Соломон Борисович, желая пройти из деревянного сарая в каменный, просто прошел бы это расстояние по прямой дорожке. По пути он обязательно сворачивает несколько раз в какой-нибудь цех, обходит зачем-то вокруг сарая, снова направляется к прежней цели, но вдруг что-то вспоминает и озабоченно делает зигзаг по направлению к лесному складу, из которого не выходит в дверь, а укоризненно вылезает в одну из дыр, которыми лесной склад изобилует. И в конце концов он подходит к каменному

сарая с противоположной стороны или даже вовсе к нему не подходит, а подходит к Шнейдерову в другом конце двора и кричит:

— Если будет дальше такая никелировка, то я вам спасибо не скажу. Что это вам — кустарная мастерская на еврейском базаре или государственное производство?!

И наконец, Соломон Борисович оказывается как раз перед вами, а вы ведь только что от него отвернулись.

Соломон Борисович привез в коммуны производственный фонд. До Соломона Борисовича, до марша тридцатого года, положение с фондом у нас было очень тяжелое. Специалисты об этом говорили так:

— Нет производственной базы.

И в самом деле, какая могла быть в коммуне производственная база? Было две комнаты, в которых стояли несколько деревообделочных станков, два токарных по металлу, шепинг и револьверный. В этих комнатах насилу помещалось десятка два коммунаров и никак не оставалось места для материалов и фабрикатов. На всю производственную базу было два инструктора, которые большей частью занимались составлением учебных программ. При таком положении с производственной базой коммунары хоть и работали в мастерских и даже кое-что выпускали на рынок, но больше сидели в долгах и в постоянных конфликтах с заказчиками. Размах наш в то время не достигал 10 тысяч в год. Коммуна никогда не состояла на государственном или местном бюджете. Сотрудники ГПУ Украины, построившие наш дом, принуждены были и в дальнейшем отчислять от своего жалованья 2—3 процента для того, чтобы коммунары могли жить, питаться и одеваться. Правда, и в то время забота чекистов была достаточна, чтобы мы не испытывали особенной бедности. Коммунарский коллектив был всегда весел и полон надежд, всегда у коммунаров была хорошая дисциплина, и мы не переживали никаких страданий. Но двухлетняя совершенно безнадежная борьба за производственную базу, постоянные убытки и неприятности, вечная смена инструкторов, заведующих производством и производственных установок достаточно издергали нам нервы.

Все мы понимали, что на наших случайно собранных станках в двух комнатах никогда не родится производственная база¹¹.

К нам часто приезжали комиссии из разных специалистов, составляли планы более рациональной расстановки станков, обещали рекомендовать хорошего инструктора, при отъезде сочувствовали:

— Нельзя без оборотного капитала. Нужно не меньше десяти тысяч оборотного капитала.

Вновь назначенные старички завпроизводством привозили к нам в портфеле дощечки для настольных зеркал и говорили:

— Будем выпускать вот эту продукцию — дело не трудное, и на рынке есть спрос.

— Что, зеркала? — удивленно спрашивали коммунары.

— Нет, зачем же зеркала, вот досточки...

Мы уже совсем потеряли надежду выбраться на производственную дорогу. И в этот самый момент появился на горизонте Соломон Борисович...

Горизонт тогда помещался приблизительно на линии нашего Прав-

ления в ПТУ УССР. Соломон Борисович пришел в Правление, показал короткий доклад с приложением калькуляции и сказал:

— Я там был, в коммуне, такие хорошие мальчики, очень хотят работать, почему им не делать замки?

— Замки? Почему именно замки?

— Разве я сказал, что нужно обязательно замки? Можно делать и что-нибудь другое. Нужно что-нибудь делать и продавать государственным организациям. Зачем давать деньги коммунарам, когда они могут давать деньги Правлению.

— Как это?

— А вот видите — калькуляция? Вы же видите, что здесь показано сто тысяч чистой прибыли?

Соломона Борисовича просили зайти вечером. Вечером в заседании Правления, где были я и два коммунара, и родился Соломон Борисович послереволюционный, не имеющий предков и прошлого.

Калькуляция Соломона Борисовича не вызывала у нас доверия, но нам понравилась глубокая уверенность в возможности нашего производственного оздоровления¹².

— На чем же будем делать замки?

— Не замки, а французские замки. Важно, чтобы вы решили их делать, а потом вы дадите мне командировку в Киев, и я привезу вам станки и все оборудование по последнему достижению техники.

— Почему в Киев?

— В Киеве меня всякая собака знает, а здесь меня никто не знает.

— Но... видите ли, у нас нет денег ни на станки, ни для оборотного капитала...

— Если бы у вас был оборотный капитал, чего бы я к вам приходил? Разве приятно человеку, когда его выгоняют через двери и через порог? Но нельзя же спокойно смотреть на такое дело: это — детское учреждение, налогов не платит, все для мальчиков, а не делается никакого дела... Нам не нужно денег, нам нужно работать, а когда люди работают, у них бывает много денег, и у нас будут. А какая у мальчиков будет квалификация, ах! Токаря, слесаря, никелировщики, сборщики...

В Правлении разрешили Соломону Борисовичу съездить в Киев и использовать знакомых «собак» для приобретения в кредит оборудования и материалов. Список всего этого Соломон Борисович прочитал нам с совершенно артистической дикцией. Для коммунарского уха музыкой были такие нерифмованные строки:

токарных станков	14
шлифовальных станков	4
экспауэтеров	2
вагранок	1
прессов	3
револьверных станков	1
опок	30 пар ...

Это целое богатство после наших двух токарных и шепинга. Мы возвратились домой, во всяком случае, в приподнятом настроении, однако наш доклад в совете командиров встретили с недоверием:

— Замки? Буза какая-то...

— Замки, наверное, такие будут, что только собачники запирают.

— Это вроде как тот чудак приехал: досточки для зеркал, на рынке сейчас спрос!

— А черт с ним, пускай хоть станки привезет, а там видно будет. Только зачем столько токарных станков, что ж замки на токарных будем делать?

Через три недели в коммуноу влетел Соломон Борисович, оживленный и по-прежнему уверенный в себе. В моем кабинете в окружении всего коммунарского актива он разложил на столе какие-то блестящие штучки и сказал:

— Вот! Мы будем делать не французские замки, а кроватные углы, имейте в виду, мы их сами будем никелировать, а спрос? С руками оторвут...

Начало тридцатого года было до краев напихано непривычными для коммунаров событиями. Соломон Борисович с четырех часов утра убегал в город и потом в течение целого дня свозил в коммуноу разные вещи... Сначала были привезены Шнейдеров, Свет, Ганкевич, Островский и два Каневских. Для них в коммуноу не было свободных помещений, и Соломон Борисович сказал:

— Ничего, они поживут у меня, пока жена приедет...

— Но ведь у вас только одна комната...

— Это ничего, не пропадать же людям... Ах, вот вы узнаете, какие это мастера...

Вслед за мастерами начали прибывать станки. Их свозили к нам во двор крестьянские подводы и сваливали у дверей нашего столярного цеха. По некоторым признакам можно было догадаться, что это токарные станки, мастер Шевченко смог даже определить их возраст:

— Эти станки, хлопцы, старше меня с вами. Им лет по семьдесят.

Вместе со станками был привезен и знаменитый литейный барабан, составивший эпоху в истории коммуноу имени Дзержинского. Наконец, два грузовика высыпали посреди нашего двора целую кучу чрезвычайно странных вещей: между различными решеточками, обрезками, пластинками, подсвечниками, шайбочками торчали церковные кресты, иконные ризы¹³ и даже венчальные короны, в которых наши пацаны несколько дней гуляли по коммуноу, вызывая осуждение Соломона Борисовича:

— Вам все игратья... Это же не игрушки, это медь, вы думаете, мне легко было достать это в Киеве?

Прибыл из Киева и вагон глины и несколько возов железных рамок. Все это увенчивалось множеством всякого лома, назначение которого было покрыто мраком неизвестности. Была здесь между прочим и небольшая железная бочка, но с одним только колесом — она, кажется, и до сих пор где-то валяется в коммуноу, никуда ее не пристроил Соломон Борисович, хотя и говорил мне:

— Это же дорогая вещь!.. Попробуйте сделать такую бочку!..

Соломон Борисович не был сторонником старого письма — фон наносился на полотно широкими мазками, и иногда даже трудно было разобрать отдельные его подробности. В течение двух недель мастера Соломона Борисовича перетаскивали и устанавливали на новых местах раз-

личные приспособления. Соломон Борисович одобрительно отнесся к нашей столярной и швейной, и вообще он не был склонен к пессимизму и придирчивости:

— Столярная? Разве это плохо?

— Вы еще не знаете, что можно делать в швейной мастерской? Можно делать трусики, не нужно никаких платьев, трусики всем нужны, и каждый может их купить.

Все это богатство трудно было разместить в наших производственных помещениях, и по этому вопросу Соломону Борисовичу пришлось часто ссориться с советом командиров, но он оказался большим мастером находить уголки, щели и закоулки, которые через два-три дня называл уже цехами и обставлял привезенным из Киева оборудованием.

Две комнаты в главном доме, от природы назначенные под производство, он занял деревообделочной мастерской, в красном кирпичном доме расположил токарные по металлу, подвесив к шаткому потолку длинную трансмиссию. Рядом пристроил небольшой деревянный сарайчик — это литейная. В подвальном помещении он разыскал три вентиляционные камеры и, убедив всех, что у нас и без того воздух хороший, организовал в них никелировочный и шлифовочный цехи, перепутав их привезенными из Киева эксгаустерами, целой системой труб длиной в несколько метров. Эта сложная система, впрочем, с первого дня отказалась вытягивать опилки и пыль, как было ей положено по должности.

В один прекрасный день зашумел барабан в литейной, и желтый тяжелый дым повалил из низенькой жестяной трубы, полез в окна классов и спален, квартир служащих. Мы закашляли и зачихали, кто-то выругался, старушки в квартирах потеряли сознание на десять минут, коммунары хохотали и вертели головами в знак восхищения:

— Вот это так химия!..

В это время в коммуне уже работал доктор Вершнеф, один из лицедеев горьковской истории, получивший медобразование с нашей помощью, наш общий корешок¹⁴, именуемый обычно Колькой.

Колька Вершнеф в ужасе хватал термометр и тыкал его литейщикам под мышку, что-то штудировал в словаре о литейной лихорадке. Но Соломон Борисович был весел и доволен:

— У вас что, санаторий или производство? Скажите, пожалуйста, — вредно для здоровья. Поезжайте в Ялту и кушайте виноград — тогда будет полезно для здоровья, а всякое производство для здоровья вредно. Никто не умер?

— Не умер, так заболевает.

— Ну, когда заболевает, тогда будем говорить.

Два Каневских, Шнейдеров, Свет и Ганкевич летали по коммуне, развеивая лапами пиджаков, кричали в кладовых, распорядились в цехах, доказывали Соломону Борисовичу, что они больше его понимают, иногда вступали с ним в настоящую перебранку и в таких случаях переходили даже на еврейский язык. После этого Соломон Борисович прибежал ко мне и кричал:

— Разве с этим бараклом можно работать? Они привыкли к своей кустарной мастерской и никак не могут понять, что такое большое производство...

— Надо выгнать...

— Выгнать! Легко сказать... А с кем я буду работать... А как же я их выгоню, если станки ихние, барабан ихний, даже медь ихняя?

Коммунары сначала не очень ссорились с Соломоном Борисовичем, только смеялись много. Все же много внес Соломон Борисович нового в коммуну: всем нашлось место у станка, всех захватили наполненная материалом и фабрикатом работа, понравилось, что коммунары получают зарплату.

Отряды коммунаров: машинистов, сборщиков, формовщиков, токарей, никелировщиков, шлифовальщиков — в две смены проходили рабочий день, вечером на собраниях осторожно говорили о недостатках и пустых местах, но на другой день убегали в цехи и радостно ныряли в волнах непривычных предметов и терминов: опока, суппорт, оправка, анод, катод, шкив, вагранка...

Еще в самый первый день, как только Соломон Борисович положил на мой стол никелированный кроватный угол, его спросили в совете командиров:

— А на Крым заработаем?

— А сколько вам нужно на Крым?

— Пять тысяч, — с трудом выдохнул кто-то...

— Так это же пустяки, — сказал Соломон Борисович. — Пять тысяч, разве это деньги?

Кто-то отвернул листки моего настольного календаря и сказал Соломону Борисовичу:

— Напишите, вот — первого июля: «Даю пять тысяч на Крым».

— Хе-хе... давайте и напишу...

— Нет, вы и распишитесь...

Коммунары долго собирались в Крым... Это было венцом нашего трудового года, это было непривычно восхитительно — всей коммуной в Крым. Ежедневно к моему столу на переменах и вечером подходили коммунары и перелистывали мой календарь, чтобы не прочесть, а полюбоваться надписью красным карандашом...

С трудом собрал Соломон Борисович пять тысяч... Это было первое наше достижение, достаточно нас восхитившее...

А теперь рабфак бросил наши ряды на неожиданно заблестевшие просторы. Кроватный угол, меднолитейный дым и мастера Соломона Борисовича шли рядом с нами на каком-то фланге, уже явно отставая от нашего движения.

4. Арифметическая поэзия

Осень тридцатого года мы начали бодро. Коммунарские дни звенели смехом, как и раньше, в коммуне все было привинчено, прилажено, все блестело и тоже смеялось. Подтянутые, умытые, причесанные коммунары, как и раньше, умели с мальчишеской грацией складывать из напряженных трудовых дней просторные, светлые и радостные пятидневки и месяцы. Напористые, удачливые и ловкие командиры вели наш коллектив к каким-то

несомненным ценностям, а когда командиры сдавали, общее собрание коммунаров двумя ехидными репликами вливало в них новую энергию, энергию высокого качества.

Коммуна жила во дворце, не будем греха таить. Дворец блестел паркетом, зеркалами, высокими, пронизанными солнцем комнатами, а наши лестничные клетки были похожи на «царство будущего» в «Синей птице» Художественного театра. Дворцом этим нам кололи глаза наробразовские диогены¹⁵. По утверждению завистливых педагогов, мы были богаты, но наше богатство только и заключалось в одном этом доме. Вокруг него расположился Соломон Борисович со своим производством, и общий вид напоминал старую Москву на картинах Рериха¹⁶.

А вместе с тем мы были бедны, просто бедны, гораздо беднее даже Наробраза.

Здесь нужны цифры¹⁷. Для того чтобы жить «по-человечески», нашей коммуне нужно было в месяц тратить шесть тысяч рублей, сотрудники ГПУ отчисляли из своего жалованья на содержание коммуны до лета тридцатого года некоторую сумму. С появлением у нас текущего счета, с появлением зарплаты и прибылей коммунары поблагодарили чекистов за помощь и просили их прекратить дотации. Соломон Борисович хотя и обещал нам богатство, но к осени 1930 года, кое-как выполнив свое обязательство относительно пяти тысяч на крымский поход, он вконец выдохся. Постройка всех его сооружений, запасы материалов и инструментов требовали много денег, а выпуск продукции его цехов был в то время еще невелик. Соломон Борисович производил операции, по гениальности неповторимые, могущие ввергнуть в зависть даже Наполеона I. Именно в эту эпоху произошло нечто, напоминающее Ваграм¹⁸, с энным институтом. Но гениальные фланговые марши Соломона Борисовича только и позволяли ему держаться на производственном фронте, для коммуны же не приносили облегчения. Огромные авансы, полученные Соломоном Борисовичем в результате его стратегии, все были вложены в дело, все обратились в основной и оборотный капитал. Двести тысяч рублей, однажды задержавшиеся на текущем счете, вдруг исчезли, как дым, в результате какой-то сложной операции. Уже к нашему горлу прикоснулись лезвия ножей нетерпеливых заказчиков, доверивших нам свои капиталы, а свободных денег у нас все еще не было.

Совет командиров после многих дум и наморщенных лбов, после многократных упражнений в решении ребусов, в которых участвовали изодранные ботинки, недостаток белья, плохие шинели и даже слабый стол, нашел было основание приступить к Соломону Борисовичу с иском:

— Занимает швейная класс — платите, яблоки оборвали ваши рабочие, когда мы были в Крыму, — платите, подвал заняли под никелировочную — платите...

Соломон Борисович презрительно выпячивал губы и говорил:

— Скажите, пожалуйста, я им должен платить! Вы же хозяева, зачем я буду платить? Сделайте постановление, чтобы вам отдать всю кассу, и покупайте себе ботинки и шелковые чулки. А если остановится цех, тогда вы все кричите на общем собрании: «Куда смотрит Соломон Борисович?» Потерпите немножко, будете иметь деньги, вот...

Соломон Борисович с трудом поднял руку выше головы, и это понравилось коммунарам. Командир первого отряда Волчок улыбнулся, глядя в окно на золотую осень, и сказал:

— Да это мы бузу затеяли шутя, какие там мы кассы будем брать. А вот плохо, что даже на нотную бумагу нет денег...

Волчок — командир оркестра и смотрит с музыкальной колокольни. Командир двенадцатого Конисевич более беспристрастен:

— Ничего страшного нет, терпеть нам не надо учиться, а нужно вот прибрать к рукам кое-кого из коммунаров. А то у нас есть такие, как Корниенко, так ему, гаду, ничего не нужно, а только чтобы по-жрать.

В совете командиров насчитали несколько человек, страдающих излишней приверженностью к земным благам.

— Не только Корниенко, Корниенко — это уже известно, это разве коммунар, грак всегда был граком...

Граками в коммуне называют людей чрезвычайно сложного состава. Грак — это человек прежде всего деревенский, не умеющий ни сказать, ни повернуться, грубый с товарищами и вообще первобытный. Но в понятие грака входило и начало личной жадности, зависти, чревоугодия, а кроме того, грак еще и внешним образом несимпатичен: немного жирный, немного заспанный...

— Не только Корниенко, а возьмите Гарбузова. Дай ему три порции, сожрет и еще оглядывается, может, и четвертую дадут.

— Э, нет, Гарбузова не равняйте с Корниенко. Ну что же, аппетит такой, за аппетит нельзя обвинять человека, зато он и на производстве другому не уступит...

Гарбузова обвиняли в других грехах. У этого человека шестнадцати лет была привычка брать кого-нибудь за плечи и пытаться повалить на землю. Сам он, неловкий, тяжелый, с туповатым лицом, мог рассчитывать только на свою силу, но обычно бывало, что сила его не могла устоять против ловкости коммунаров, и Гарбузов всегда заканчивал тем, что его ноги взлетали вверх и опускались на самые неподходящие места: стены, столы, стулья, шкафы. Поэтому спина Гарбузова всегда испачкана, костюм всегда в беспорядке, а окружающие его предметы всегда изломаны и побиты. На общих собраниях неизменно отмеченный в рапорте Гарбузов выходил на середину и безнадежным жестом старался вправить в штаны рубаху, а штаны кое-как зацепить за неловкую, негнущуюся лошадиную талию.

Гарбузова упрекали, не жалея выражений и гнева:

— Когда, наконец, он сделается коммунаром? Ничего ему не жалко, где ни пройдет, все к черту летит. Его нужно в упаковке водить по коммуне.

— И упаковка не поможет... человек не понимает. Слова никакого не понимает... что же, тебе обязательно бубну нужно выбить, чтобы ты понял? После тебя нужно все ремонтировать и поправлять, а ведь знаешь, что у нас сейчас и копейки лишней нету. В командировку идешь, и то на трамвай нет десяти копеек.

Гарбузов тяжело поворачивается в сторону оратора и улыбается виновато красивыми карими глазами.

— Да что же вы пристали, — говорит он грубоватым, обиженно-беспризорным голосом. — Вот уже сказал... отремонтировать из-за меня... и без меня ремонтировали бы...

Ораторы махали на него руками... Но его в коммуне любили за хороший, покладистый характер, за прекрасную работу токаря, за замечательный аппетит. В школе он тянулся изо всех сил и подавал надежды¹⁹. Это, конечно, не Корниенко.

Корниенко в своем роде единственный в коммуне. Бывали и еще ребята, способные изобразить страдающего, но до Корниенко им далеко.

Только он мог с настоящим вкусом на вопрос председателя: «Какие еще есть вопросы у коммунаров?» — солидно откашлявшись и открыто неприязненно повернувшись к начхозу, спросить:

— А когда нам будут давать новые ботинки?

Из каких-то детских домов он принес вот это самое третье лицо: «будут давать», вызывающее насмешку коммунаров.

— Видали беспризорного? Ему будут давать. Сколько человек?

— А шо ж... А как по-вашему: подметок нет и верха нет, а спросишь Степана Акимовича, так у него один ответ: а ты заработал? Конечно ж, заработал...

В зале шум улыбок и нетерпения. Всем нужно положить на обе лопатки этого грака.

— Ты еще что придумай! Тебе ничего не понятно? Может, просить пойдём на улицу? Или с производства возьмем? Потерпишь, не большой барин.

— А производство разве его? Какое ему дело до производства!

— Производство казенное...

— И коммуна казенная.

Сопин в таких случаях нарушает все законы демократии и общих собраний. Он сначала протягивает к Корниенко кулак, а потом и сам выходит, выходит почти на середину... Слов он не может найти от возмущения и презрения:

— Вот... вот... вот же... понимаешь, вот ей-ей я его сейчас отлуплю...

Зал заливается — Сопин вдвое меньше Корниенко. Смущенно улыбается и Сопин.

— Ну, чего смеетесь, а что ж тут делать?... Вы ж понимаете...

Общий хохот покрывает его последние слова. Корниенко густо краснеет...

Общее собрание расходилось с хохотом и шутками. Сопина окружала толпа любителей. Многие любили смотреть, как он «парится».

Уходил с собрания и я со сложным чувством восторга перед коммунарами и беспомощности перед их нуждой.

Дело, видите ли, в том, что коммунары уходили с собрания почти голодные. Сплошь и рядом у нас было так мало пищи, что даже самые неутомимые шутники и зубоскалы ту же затягивали пояса и старались больше налечь на работу.

— За работой не так есть хочется.

Наши обеды и ужины на глаз были недостаточны для трудящегося человека, а если этот человек еще учится, да еще и растёт, и на коньках катается, то совсем плохо. Только обилие в наших полях свежего воздуха да запасы крымские кое-как поддерживали нас на поверхности. Но

многие коммунары уже начинали бледнеть, худеть и уставать на производстве.

Это было время неприятное для педагога и еще неприятнее для заведующего коммуной. У нас по неделям не бывало ни копейки...

Служащим тоже задерживали жалованье, и бывали дни, когда и одолжить рубль в коммуне было невозможно.

Капиталы Соломона Борисовича выражались не в рублях, а в кубометрах, тоннах и полуфабрикатах.

Однажды с большим трудом я раздобыл пятьдесят рублей, до зарезу нужных, чтобы завтра оплатить какой-то крайний счет. Возвратился я в коммуну из города и нарвался на неприятность. Временная фельдшерница встретила меня кислым сообщением:

— А у нас Коломийцев заболел...

Фельдшерница в панике показывала мне термометр.

— Сорок... понимаете...

Куда-то позвонили, через час приехал доктор, молодой и нерешительный. Он тоже заразился паникой:

— Надо немедленно отправить в больницу... Знаете, сорок, это все-таки... Вы мне дайте мальчика какого-нибудь, пусть он со мной проедет в город, мы устроим место в больнице, а там вы как-нибудь его отправите...

— В больницу? А может, подождать, знаете, в больнице уход...

— Нет, нет, я не могу отвечать...

Сергей Фролов поехал с доктором в город на его извозчике, а перед отъездом я заплатил этому извозчику шесть рублей, и Вася Камардинов, возвращаясь со мной к парадному входу, улыбаясь и грустно глядя на меня, сказал:

— Вот еще, болеть начинают... Шесть рублей — это деньги... А отчего вы не поторговались?

За всякой работой у себя в кабинете я уже было успокоился, а тут же в кабинете Ленька Алексюк смотрит в окно на дорогу и подымается вдруг на цыпочки:

— О, кто-то едет на машине!..

Кто же может ездить на машине в коммуну? Гости или начальство... Но Ленька кричит удивленно:

— О, смотри, Сережка приехал... на такси приехал...

Смотрю и я в окошко: действительно, Сергей Фролов дает какие-то распоряжения шоферу. Я сразу догадался — Фролов такси нанял, наверное, доктор дал хороший совет...

Сережка вошел в кабинет румяный и довольный...

— Место есть, я привел такси, доктор говорит, недорого и спокойно... А я думал, что на нашей линейке плохо...

— Ну что ж? Иди к фельдшернице... Такси... Если так будем болеть, то и жрать скоро нечего будет...

Сережка серьезно сказал:

— Есть.

И удалился.

Через три минуты в рамке той же двери стоит белобрысая, веснушчатая фельдшерница и улыбается радостно:

— А знаете, больной выздоровел...

— Как выздоровел? А температура?

— Температура сейчас почти нормальная...

— А чтоб вас!

Перепуганная фельдшерица уселась на стул и рот открыла от оскорбления... Я даже воротник рубашки расстегнул от обиды.

— Ну, все равно, везите в больницу.

Фельдшерица в недоумении раскрыла глаза и смотрит на меня, как на удава, оторваться не может.

— Так он же здоров...

Каюсь, я потерял всякое уважение к женщине, закричал на нее, загремел стулом:

— Наплевать! Здоров! Все равно везите, черт вас там разберет, здоров или болен. Сейчас у него нормальная, а через час опять температура... Что у меня, наркомфин? Такси будет для вашего удовольствия писать мне счета?

Фельдшерица больше не сидит на стуле и не торчит в рамке двери, она исчезла.

Вышел я на крыльцо. Стоит такси, и ребята с восторгом наблюдают, как «цокают» пяточки за простой машины.

— Ступай, скажи там, чтоб не копались.

Вышел Коломийцев Алешка, веселый и аккуратный. Веселый потому, что такое приятное событие: на такси поедет... Залезла фельдшерица в такси, а за ней юркнул и Алешка и заулыбался в окно:

Я достал из кармана деньги:

— Сколько?

Заплатил двенадцать рублей. Алешка возвратился из города пешком.

5. Дело при Ваграме и другие дела

Производство Соломона Борисовича было фоном не в переносном смысле, а настоящим физическим фоном. Наш прекрасный дом-дворец глядел на поле, чистенькое, просторное поле. За полем был Харьков. Таким образом, выходило, что публика рассматривает нас из Харькова прямо в упор, и ясно, что на первом плане для нее рисовался наш фасад со всеми коммунарами. В представлении этой публики фон должен помещаться на втором плане. Так оно и было. Второй план — это производство Соломона Борисовича, на фоне которого и было все нарисовано. Был еще и третий план. Но поскольку это был обыкновенный молодой лес, следовательно, явление природное, то нам до него никакого дела нет.

Дом наш двухэтажный, серый, изящный и вполне современный. Он покрыт терезитовой штукатуркой и на солнце поблескивает искорками. Крыша на доме красной черепицы. Над фронтоном сетчатая большая вывеска, на ней написано золотыми буквами:

«Детская трудовая коммуна имени Ф. Э. Дзержинского».

Перед домом — широкие цветники и упомянутое выше поле. Слева от дома фруктовый сад с дорожками, усыпанными песком, а посреди сада небольшая деревянная эстрада для оркестра. Еще дальше влево

площадка для лагерей, а еще дальше пустая природа — поле и завораживающий в обход нашего правого фланга лес, отрезающий нас от белгородского шоссе на Харьков.

Дайте вашу руку, любезный читатель, и проникнем в промежуток между нашим дворцом и кирпичным домом Соломона Борисовича. Пройдем этот промежуток и остановимся. Вы поражены, вы восхищены, вы подавлены. Это потому, что вы увидели производство Соломона Борисовича во всем его великолепии.

Картина, прежде всего, невероятно сложная. Коммунарка Брыженко, прибывшая к нам из Кобеляк, стоя на этом самом наблюдательном посту, долго разглядывала пораженными серыми очами эту картину и, наконец, кончила тем, что не нашла ни русского, ни украинского слова для выражения. Она произнесла слово неизвестного нам языка:

— Чортишо!

В производстве Соломона Борисовича не было ни одного кирпичного мазка — все было писано деревянными красками — никаких других красок, например акварельных или масляных, здесь не было: Соломон Борисович всегда считал, что расход на разные покраски — это фигели-мигели.

Деревянные краски были когда-то свежими, отливающими золотистыми улыбками только что оструганной еще сыроватой, еще пахнувшей смолой сосны. Потом они подчинились законам времени, и производство Соломона Борисовича приобрело тона, не встречающиеся в природе, тона, не имеющие никакого отношения к солнечному спектру — не то серые, не то черновато-серые, не то желтовато-серые.

Только построенный в последнюю эпоху сборный цех, о котором уже упоминалось не раз, был франтоватее и улыбочатее — это была пора его молодости, впрочем рано увядшей.

Сборный цех — это тоже один из героев нашего повествования.

Даже и сейчас, когда мы заканчиваем наш замечательный штурм, он еще стоит на месте, и даже ночью мы о нем не забываем. Только к двадцать пятой главе мы надеемся его разрушить, если его не угораздит сгореть раньше времени.

В предыдущей главе мы упомянули о Ваграме Соломона Борисовича. Не помню, Наполеон I после Ваграма взял с врагов контрибуцию? Соломон Борисович контрибуцию взял и не мог не взять, ибо без контрибуции для Соломона Борисовича не было никакого смысла в Ваграме. Наполеон был такой человек, что мог удовлетвориться и славой, а для Соломона Борисовича слава — это тоже фигели-мигели.

Сборный цех — это и есть контрибуция после Ваграма.

Соломон Борисович, как и Наполеон, стоял посреди поля, пустого нашего двора, на котором ничего не было выстроено, иначе говоря, не было основного капитала. У Правления не было денег, ни основных, ни оборотных. Единственным выходом для Соломона Борисовича было вести агрессивную политику. Первой жертвой он избрал энный институт.

Читатель, не выносящий кровавых картин, обязательно запротестует: как можно было жить с таким человеком, как можно было допустить повторение наполеоновских ужасов?

Ничего нельзя было поделывать, история — она катится по своим

рельсам, и никакие силы не могли предотвратить поражения энного института. А кроме того, как и у Наполеона, дело начиналось с дипломатических трюков, и никто не мог предсказать, что оно придет к кровавой развязке. Разница была только в том, что у Наполеона был Талейран, а Соломон Борисович был в единственном лице. Немного виноваты, конечно, и мы: Соломон Борисович, наряженный в дипломатический фрак, не давал никаких оснований для беспокойства, а мы непростительно выпустили из виду, что всякая кровавая история непременно начинается с фрака.

События эти происходили еще до нашего похода в Крым. Находясь без денег и капиталов, Соломон Борисович наткнулся на энный институт, у которого были деньги, но не было аудиторной мебели. Первой нотой Соломона Борисовича было предложение изготовить мебель для энного института. Основанием для избрания именно этой жертвы послужило то обстоятельство, что у энного института не было еще и зданий и мебель не было куда складывать. Поэтому институт искал такую организацию, которая обладала бы складами. Такой организацией оказался Соломон Борисович, хотя у него не только складов, но и мастерских не было. Во второй ноте ничего не было написано, потому что она была произнесена хриплым голосом Соломона Борисовича, а по содержанию была невинна, как работник соцвеса с десятилетним стажем:

— Вы нам дайте сто пятьдесят тысяч аванса, а мы построим складочные помещения и сложим туда вашу мебель.

Энный институт накинул на наживку и потребовал только, чтобы в договоре было написано: «Для постройки складочных помещений энный институт выдает коммуне аванс в счет уплаты за мебель сто пятьдесят тысяч рублей. Соломон Борисович на эти деньги закупил материалов — дубовый лес, инструменты, кое-какие станки, наконец, выстроил сборный цех.

Забежим немного вперед: потом, уже в тридцать первом году, когда мебель для энного института была сделана коммунарами, Соломон Борисович послал третью ноту, написанную на бумаге и совершенно недвусмысленную:

«Благоволите немедленно получить вашу мебель, так как складывать в коммуне негде, а за порчу мебели коммуна на себя ответственности не принимает. Если мебель не будет вывезена, мы продадим ее другой организации».

Противник выстрелил из всей своей артиллерии:

«...по договору вам была передана сумма на постройку складочных помещений, следовательно, вы обязаны хранить мебель на своих складах...»

Но что артиллерия? У австрийцев при Ваграме тоже была артиллерия.

Соломон Борисович обошел противника с тыла:

— Скажите, пожалуйста, — договоры, разговоры, строительный институт называется, а не понимает, что написано, а чего не написано... Написано, что вы даете деньги на постройку складочных помещений, а разве написано где-нибудь, что коммуна обязывается строить какие-то там склады? Что такое коммуна? Вы думаете, что это место для сараев энного института? Так вы ошибаетесь. Это образцовое воспитательное

учреждение, и как я мог строить какие-то сараи, чтобы они сгорели, а я за них буду отвечать...

Мебель была продана «другим организациям». Второй комплект такой же мебели — тоже «другим организациям», третий — тоже. Соломон Борисович оборудовал мебелью все втузы Харькова, и Тракторный завод, и Наркомздрав, и Институт рационализации...

Энный институт отступил в полном беспорядке, бросив артиллерию. Соломон Борисович въехал в оборотный капитал, увенчанный славой победителя, а маршалы его преследовали деморализованного противника: маршал Лейтес, агент по снабжению и поручениям, предъявил энному институту счет:

«За хранение мебели в течение года следует получить... рублей».

Только в конце 1931 года энный институт получил свою мебель и уплатил за хранение ее сколько полагается. При заключении мирного договора дипломаты этого института спросили:

— Так как же вы получаете за хранение, если у вас нигде было хранить и даже сараев не было?

Но дипломатам ответили уже без всякой дипломатии:

— Ваше дело получить мебель и уплатить за хранение, а сараи — это наше дело, может быть, я ее в кармане хранил...

Так окончилась эта победоносная война, принеся Соломону Борисовичу славу и богатство. И самое главное, был выстроен сборный цех... Строился он во время нашего крымского похода, а крымский поход продолжался ровно месяц.

Сборный цех был длиною больше шестидесяти метров и в ширину не меньше двадцати. Стены его были сделаны из горбылей и засыпаны внутри стружками. Двери были сделаны из дикта и скреплены обрезками деревообделочного производства. Крыша была покрыта толем. Пол был из хорошо выструганных обрезков разного сорта, но не в этом было его главное очарование. Этот пол имел чрезвычайно важное достоинство — его нельзя было обвинить в беспочвенности. А так как почва в коммуне довольно круто спускается к оврагу, то и пол в сборном цехе спускается в том же направлении.

Соломон Борисович не признавал никаких архитектурных тонкостей и считал всегда, что эстетика в производственном деле — вещь совершенно излишняя. Поэтому весь сборный цех и имел разницу в высоте над уровнем моря в своих концах на несколько метров. Пусть читатель, впрочем, не думает, что это наклонное состояние сборного цеха угрожало жизни коммунаров. Небольшая опасность заключалась в том, что деталь, сорвавшись с верстака, могла покатиться вниз к оврагу и за ней придется гоняться. Но Соломон Борисович доказывал, что это предположение просто недialeктично. Ведь сборный цех назначен для работы, а не для пустых прогулок. Поэтому в сборном цехе всегда будет находиться материал, и отдельные части мебели, и готовая мебель, и, наконец, верстаки, и коммунары, вообще много таких вещей, за которые упавшая деталь должна будет зацепиться. И он оказался глубоко прав. Упавшая деталь не только никуда не катилась и не катится, но вообще ей продвинуться довольно трудно в цехе. Да что делать? Человеку и тому пройти из конца в конец почти невозможно из-за множества предметов, расположившихся на пути.

Коммунары и приезжие посетители-производственники много насмеха-

лись над Соломоном Борисовичем по случаю разных уровней сборного цеха. Соломон Борисович даже иногда сердился и говорил:

— Нужно делать мебель? Аудиторные столы, чертежные столы? Так вам нужно устраивать тут какой-то бильярд, чтобы никто никуда не покатился? Что это за такие разговоры? Мы делаем серьезное дело или мы игрушками играемся? Вам нужны каменные цехи, а деньги у вас есть? Что у вас есть? Может, у вас кирпич есть или железо, а может, есть наряды на материалы? Так отчего вы не вынимаете их из кармана? Ага! У вас только язык есть? На языке будем собирать мебель? Какие все умные, когда мешают другому работать!..

Печей в цехе не было. Так как коммунары в отпуске были в июле, то и сборный цех строился в июле. Приехали коммунары из отпуска в августе. Кому придет в голову в августе топить? В сборном цехе без отопления можно работать до ноября месяца. Если печи в сборном цехе поставить в июле, то неопытному человеку покажется, что это хорошо. А на самом деле это значит иметь мертвый капитал полторы тысячи рублей в течение четырех-пяти месяцев, ибо печи топиться не будут, никакой пользы от них не будет, а капитал вложи. Соломон Борисович не ставил печей до тех пор, пока коммунары не заговорили на общих собраниях, что в такой температуре работать нельзя. Соломон Борисович попробовал возразить:

— Конечно, когда ты не работаешь, а смотришь на термометр, то тебе холодно. А человеку, который работает, никогда не бывает холодно...

И против воли Соломона Борисовича мы решили поставить несколько утермарковок, оградить их специальными решетками и установить возле них суточное дежурство. Соломон Борисович волосы на себе рвал, но когда печи были поставлены, он даже был доволен — утермарковки были широкие и основательные, и Соломон Борисович использовал эти качества: он прислонял к печам доски, дощечки, царги и прочее добро и таким образом высушивал их, вместо того чтобы топить дорогостоящую сушилку.

Но сборный цех представлял только главную часть картины, кроме него на всем пространстве, расположенном перед зрителем, находилось много других построек. Большинство их было пристроено к сборному цеху с разных сторон. Сначала пристраивалось одно помещение, к нему другое, ко второму третье. Соломон Борисович это делал для того, чтобы не тратить лишних денег на четвертые стены — это давало двадцать пять процентов экономии. По вполне понятным конструктивным законам каждое новое строение воздвигалось немножко ниже ростом, чем материнское. От этого все сооружения здесь располагались, как ягоды в гроздьях винограда, все уменьшаясь и уменьшаясь. Были здания, выстроенные отдельно от сборного цеха, но у них также были дети и внуки и даже правнуки.

По совести говоря, не могу сказать на память, для чего предназначено то или другое сооружение. Был там машинный цех, было помещение для полуфабрикатов, было для готовой мебели, было для обрезков годных, для обрезков негодных, конюшня, какой-то сарай, еще какой-то сарайчик. Была даже кузница. В настоящее время многие из строений разрушены частью от ветров и бурь, частью по причине природной слабости, так как каждый лишний гвоздь представляется Соломону Борисовичу мертвым капиталом.

Мы не имеем намерения преувеличивать заслуги Соломона Борисовича. Часть построек была произведена в порядке личной инициативы его масте-

рами, привезенными из Киева. Они жили в старых хатенках, оставшихся еще от помещика, но никаких помещений для дров и своего хозяйства не имели. Они по примеру своего вождя избегали расходов на четвертую стену, прилеплялись то с той, то с другой стороны к комбинату Соломона Борисовича, украшая его и придавая ему еще более живописный вид.

В эти постройки нам и вовсе не пришлось заглядывать, кажется, самым последним из них расположилась собачья будка.

Все пространство двора между разными постройками было всегда завалено... Завалено массой, состоящей из очень многих элементов: старых досок, новых досок, стружек, опилок, обрезков, чернозема и глины, рогож, тряпок, ящиков, соломы... попадались и банки от консервов и некоторые другие предметы, не имеющие непосредственного отношения к производству. В значительной мере и в помещениях находилась эта масса, изобретение которой не известно ни автору, ни Соломону Борисовичу, который в совете командиров об этом говорил так:

— Ах, что за народ... вы же знаете, какой народ...

Приблизительно мы нарисовали картину, хронологически следующую за возвращением коммунаров из Крыма и за открытием рабфака. События начали развертываться как раз в это время.

Толчки для событий были разнообразные. Первые колебания почвы были произведены пожарным инспектором, но они не произвели заметного действия, — правда, кузница была выведена из общего производственного фронта и перенесена на площадку впереди кирпичного дома и, значит, впереди всей нашей фасадной линии. Одновременно с этим Соломон Борисович начал что-то пристраивать деревянное и впереди самого красного дома по тому же принципу: долой четвертую стену. Скоро и к кузнице была прилеплена какая-то халабудка. Коммунары это отметили как весьма симптоматическое знамение...

В это самое время в коммуну приехал председатель Правления коммуны, но это уже было в ноябре, пятая глава не имела в виду описывать это событие...

6. В пучине педагогики

Сложное производство Соломона Борисовича отвлекло нас от проблем педагогических. А ребячий коллектив — это прежде всего коллектив, который воспитуется. Следовательно, мы обязаны рассказать, как у нас организуется педагогический процесс и какое место занимают в нем элементы социальные и биологические. Осенью тридцатого года наш коллектив подвергался очень сложным влияниям, которые определили и его поведение в целом и поведение отдельных коммунаров.

Мы были дружны, здоровы, дисциплинированы... но у нас были и недостатки, и несимпатичные характеры, и жили среди нас маленькие дикари, воображающие, что они одиноки и что они враги нашей культуры. Кое-кто топорился против железных обручей коллектива, но у коллектива не было сомнений — через полгода он перестанет топориться и сам при случае сильной рукой придет на помощь этим обручам.

Были у нас и биологические элементы. У наших правоверных соцвосни-

ков вошло в моду недавно смешивать биологические элементы с ведьмами и водяными и доказывать, что этой нечисти просто не существует.

Биологические элементы существуют: мы, например, серьезно подозреваем, что у Болотова не все благополучно с биологией.

Болотов²⁰ — первый коммунар. Еще не было закончено наше здание в 1927 году, а он уже сидел в соседнем совхозе и поджидал нашего открытия, привезенный откуда-то с курорта председателем нашего Правления, которому понравился своей беспризорной выдержанностью. Болотову тогда было двенадцать лет, а теперь шестнадцать. С той поры много коммунаров пришло в коммуну, порядочно и вышло. Каждый принес с собой не только вшей и отрепья. У каждого было много и привычек, и рефлексов, довольно непривлекательных, умели ребята и похулиганить и «стырить», если что плохо лежит, умели щегольнуть анархистской логикой по привычной формуле:

— А что ты мне сделаешь?..

Но почти не бывало, чтобы через три-четыре месяца пацан не признал могучего авторитета коллектива и не покорился ему открыто и бесповоротно. Оставались привычки, но не было у них корней, и с ними он первый начинал борьбу.

Один Болотов каким пришел, таким и посеючас выпирается в коллективе, беспокоит его то в том, то в другом месте и всегда стоит как тема в коммуне.

Болотов никогда не крал и не способен украсть, ему как-то это и в голову не приходит, но он пакостник, всегда упорный, терпеливый и изобретательный. В коммуне ему живется хорошо, и он это знает и никогда не уйдет из коммуны, если его не выгонят, но он всегда враждебен коммуне, всегда стоит на дороге. Его не увлекают ни штурмы, ни марши, ни развлечения, он никого не любит, и нет у него товарищей, но он ко всякому лезет с улыбками и усмешками, а где можно, в каком-нибудь темном углу, то и с кулаками. Ущипнуть, толкнуть, испортить пищу, написать скабрёзную записку девочке, сочинить и пустить самую мерзкую сплетню — на все это он великий мастер. За четыре года он единственный занялся надписями в уборной, единственный раз и сразу же попался. Он угрюм, хоть и улыбается, умен и развит, много читает и много разговаривает с учителями, но ни к чему у него нет искреннего интереса, ко всему он подходит с каким-то гаденьким планом, мелким и легкомысленным.

Он давно привык подрабатывать на ханжестве и выражении преданности, и даже теперь, когда его все знают и никто ему не верит, он старается понравится старшим.

Четыре года сварившийся в стальную пружину коллектив дзержинцев бил по этому характеру и... безнадежно. Алеша Землянский, один из замечательных людей, отважный, прямой, честный и всегда просто и искренно пылающий каким-то ароматнейшим человеческим благородством, умеющий видеть насквозь каждого нового пацана, на совете командиров один раз сказал:

— Дайте мне Болотова. Я с ним повожусь.

Сколько было целых отрядов, развалившихся, склочных и неверных, которые отдавались Алеше в работу, которые принимали его несмотря на это с восторгом, всегда эти отряды через месяц уже были впереди и горди-

лись своим командиром. Сколько было пацанов, малость свернувших с коммунарской дороги, и Алеша незаметно для глаза творил с ними чудеса. А с Болотовым ничего не вышло.

В какой-то мере личность свободна в проявлении своих биологических особенностей, в какой-то не свободна. Там, где биологические аппетиты идут против линии коллектива, там начинается борьба. Плохо это или хорошо, но это должно делаться даже бессознательно — коллектив отталкивает всякое поведение, социально не ценное.

Нам поэтому нет никакого дела до болотовских биологических предрасположений, мы не будем с ними считаться и равняться по ним. Болотов отбрасывается коллективом в каждом моменте, где он является вредителем. Мы ничего не изменим в его биологической структуре, но мы сообщим этой структуре привычку встречать сопротивление в определенных местах. Если эта привычка не достигнет достаточно крепкого выражения, Болотов погибнет во взрослом состоянии — ничего не поделаешь. Но наш путь единственный — упражнение в поведении, и наш коллектив — гимнастический зал для такой гимнастики. Биологические элементы, даже самые не-симпатичные, в течение целого дня тренируются, и Болотов вместе со всеми.

При этом мы не склонны придавать так называемому сознанию какое-то особенное, превалирующее значение — сознание не должно предшествовать опыту. Самое упорное натаскивание человека на похвальных мыслях и знаниях — пустое занятие, в лучшем случае получится ханжа или граммофон. Сознание должно прийти в результате опыта, в результате многочисленных социальных упражнений, только тогда оно ценно.

По нашему глубокому убеждению, широко принятое у нас словесное воспитание, то есть бесконечное разглагольствование о разных хороших вещах, без сопровождающей гимнастики поведения, есть самое преступное вредительство. Сознание, не построенное на опыте, хотя и выражается в многословных формах, на деле прежде всего слабосильно, во-вторых, одиноко, не способно творить никакую практику — это то, что для нашего общества наиболее опасно.

Поэтому мы не будем придирааться к болотовскому сознанию до тех пор, пока не организуем его опыт.

Как никакое сознание о необходимости чистоты не принесет пользы, если не создана привычка к чистоте и умение ее поддерживать, так невозможно никакое сознание о дисциплине, если не было никогда самой дисциплины.

Приведенное длинное рассуждение имело целью подготовить читателя к восприятию истории нашего коллектива в 1931 году.

Обстановка, в которую иногда попадал наш коллектив, приводила сплошь и рядом к неудобным и даже тяжелым условиям, и тогда биологические элементы становились сильнее, а сила коллектива теряла свою общепризнанную мощь, останавливая вредные движения в самом их начале.

Таким тяжелым временем оказалась для нас осень 1930 года. Необходимо было пристальное внимание, чтобы заметить, что у нас не все ладно. Мы возвратились из Крыма с бодрым настроением, поздоровевшие и отдохнувшие. Внешним образом в коллективе было все благополучно, как всегда,

вставали в шесть часов, убирали коммуны, завтракали и расходились к работе в школу и цехи. В пять часов вечера заканчивали рабочий день и набрасывались на новую работу: политическую, клубную, книжную... Было мало событий, мало потрясений, такие, как Болотов, переваривались, так сказать, в порядке плана и никого не удивляли.

Но уже в это время явно ощущались какие-то неправильности в нашем кровообращении. Рабфак, такой новый и такой увлекательный, еще не сделался привычным, многие коммунары еще не приспособились к положению студентов. Производство Соломона Борисовича, наполненное стандартным трудом с массой материала, тоже как будто увлекало коммунаров. Это была непривычно дельная разрядка энергии, но у многих коммунаров она переживалась как погоня за заработком. Коммунары отмечали появление так называемых хищников, которые приходили в цех за полчаса до сигнала на работу и угрюмо начинали отбрасывать с верстака деталь за деталью, однообразно, механически, упорно, совершенно не интересуясь, что за деталь, какого она выходит качества и что рядом делает товарищ.

Жизнь коммуны катилась, как совершенно налаженный механизм, без хрипов и перебоев, но где-то в воздухе ощущались признаки приближающейся непривычной слабости. Коммунары доверчиво и приветливо встречали меня утром и прощались вечером, но днем и после работы меня все время подмывало узнать, а что делает Петька Романов или Гришка Соколов, а какое самочувствие у Фомичева? Оказывалось, что Петька с Гришкой сидят на крыше, приделывают антенну. Этих антенн в виде разнообразной величины палок, палочек и даже прутьев на крыше стояло видимо-невидимо. К зиме завхоз насчитал их до семидесяти. Они придавали нашей крыше оригинальный вид какого-то странного огорода. В каждой спальне было несколько радиоаппаратов, у многих были дорогие — двухламповые, трехламповые.

Петька Романов к этому времени подрос и стал смелее, выявляя черты будущего боевого работника, но иногда с ним случались истории, приводящие его по-прежнему на середину в общем собрании. Поводом к этому было большей частью вмешательство в личную жизнь того или другого коммунара, выраженное при помощи кулаков или подножки. Петька был драчун по природе — только его двенадцать лет спасали нас от серьезных драм.

Фомичев — теперь уже студент второго курса рабфака — далеко ушел вперед и начал заметно для всех играть в коллективе роль вождя. Только привычка спать до «без четверти поверка» у него осталась, да в оркестре его дела были очень плохи. Коммунары про него говорили:

— Был два раза в оркестре и оба раза ушел только по усиленным просьбам Левшакова (капельмейстера).

Итак, и с Фомичевым все было благополучно; в оркестре его заменил Стреляный, приведший Левшакова в восторг несравненными баритонными способностями.

С кем же было неблагополучно?

Как будто все хорошо. Все работали, все умели отдыхать, и каждый чем-нибудь развлекался — почти у всех были билеты Автодора, и все мечтали о грандиозных выигрышах, во всяком случае, не меньше мотоцикла.

В кружке природников тоже теплилась жизнь. В то время он имел у

нас рыбоводческий уклон, тон задавал Гуляев. Гуляев почти не покидал помещения кружка. Сопин объяснял так:

— Боится расстаться с африканским циклозоном, чтобы кто-нибудь не съел циклозона...

Я, наконец, понял, что мне не нравится. Это было явно обозначившееся стремление к личной игре, к обособлению и копанию в своем уголке. Каждый это делал с веселой рожей, что-то напевая, с прекрасным настроением. Не было никакой угрюмости, никакой враждебности к товарищу, но это было все же превалирование личной жизни. Радиозайцы располагались по своим уголкам и наслаждались какими-то звуками, Гуляев по целым часам наблюдал африканского циклозона, в изокружке каждый копался над своей моделью, ничем не связанной с моделями других. В бибкружке просто «кохались» в книжке, зачитывались до одурения и ходили сонные, обращаясь в объекты физкультурных упражнений даже девочек. Миша Борисов, человек серьезный, с лицом средневекового философа, назначенный советом командиров заведовать лыжами и коньками, устроил на верхней площадке черной лестницы отдельное жилище и три раза строил печку, регулярно разрушаемую по постановлению совета командиров.

После чая в пять часов все вдруг куда-то исчезали и проваливались по своим делам, даже таким хорошим, как приготовление уроков. На общее собрание сходились немного неохотно, и по всему было видно — во время собрания мечтали тоже о циклозонах, мотоциклах, пятиламповых приемниках.

Первого октября были перевыборы совета командиров. Результаты показались мне симптоматичными. Старый совет, комплект энергичных, бодрых и ехидных коммунаров, прошедших крымский поход и открытие рабфака, ушел почти целиком. На его место пришла новая группа, состоявшая большей частью из так называемых интеллигентов — людей, преданных книге и литературному и драматическому кружкам. Старики-командиры откровенно предоставили командные места представителям демократического принципа. В совет командиров вошли: Шура Агеев, единственный коммунар в очках, «Гарри Ллойд», в самом деле похожий на этого артиста, председатель литкружка и поэт. Ваня Григорьев — первый любовник, на самом деле отнюдь не склонный к донжуанству, человек, в свои шестнадцать лет впитавший уже какую-то житейскую мудрость, немного вялый, но всегда приветливый и вежливый. Стреляный — человек, играющий на баритоне и, кроме баритона, пока что не признающий иных ценностей.

Шмигалев — страстный и неудачный футболист, всей своей недлинной жизнью доказавший страшный вред физкультуры, ибо всегда ходил с какой-нибудь перевязкой — то на голове, то на руке, то на ноге. Борисов Миша, о котором уже говорилось по поводу печей...

Каплуновский — единственный коммунар, употреблявший тогда бритву, будущий инженер, добросовестный и точный, преданный науке и книжке. Вехова Женя — самая горластая девочка в коммуне, но употребляющая свой голос исключительно в борьбе с преобладающим влиянием хлопцев. Миша Долинный — самый сильный, самый добрый и самый покладистый коммунар, тип славянского богатыря в мирное время.

Увенчал эту группу секретарь совета командиров Дорошенко, при выборах которого всем было ясно, что выбирают его специально для того, чтобы

было спокойнее. Вася Дорошенко — прекрасный формовщик, но не ему было суждено формовать коммуну имени Дзержинского.

Всякое явление он сопровождал несколько запоздалым вздохом удивления — как это так вышло, что оно случилось! Провалы в дисциплине вызывали у Васи пассивное страдание и тоже удивление:

— Ну, смотри ты!.. Ну, кто ж мог такое думать?..

Демократический состав совета командиров позволил зато восстановить пацанью власть в их отрядах. Никому не пришло в голову проследить за соблюдением старой конвенции, по которой у пацанов командиры были старшие. Неожиданно в одиннадцатом и двенадцатом отрядах оказались на командирских постах Филька и Васька Бородков — сторонники пацаньей автономии. Это были люди убежденные и сильные волей, доктрина пацаньей свободы была ими давно закреплена в борьбе хотя и полной поражений, но славной. Эпоха Дорошенко поэтому сделалась эпохой вольности пацанов, не верящих ни в сон, ни в чох и в глубине души не признающих никаких авторитетов. Изодранные костюмы, испачканные физиономии, поломанная мебель, всякие проявления анархизма сразу омрачили наши дни, и дежурства по коммуне сделались чрезвычайно хлопотливым делом.

Только пятерка дежурных по коммуне сохранила волю и не бросала коммунарский руль. Между ними выделялся Воленко²¹, выдвинувшийся еще до похода на первое место и открыто сейчас перехвативший власть у слабого и вялого секретаря совета командиров.

7. Часы и дни

Воленко в коммуне выдвинулся неожиданно быстро. В двадцать девятом году он был прислан к нам из коллектора в очередном пополнении и пришел к нам пацаном, но и среди этого легкомысленного и радостного племени он сразу выделился своей серьезностью и сдержанностью. На наших глазах он стал быстро расти.

Такие случаи у нас бывают часто. Смотришь на такого — совсем ребенок, нельзя дать больше одиннадцати лет, а через два года это уже юноша шестнадцати-семнадцати лет. Коммунары метрики с собою не приносят, не приносят и других документов, вообще к ЗАГСу не имеют никакого отношения. Через месяц после прихода в коммуну они часто меняют фамилию, это у нас делается тоже без ЗАГСа, совет командиров достаточно для этого авторитетен, а самое дело тоже совершенно ясное:

— Моя настоящая фамилия не Баранов, а Лазарев — на «воле» переменял...

И совет командиров в приказе по коммуне объявляет: считать Баранова Лазаревым.

«Воля» дается пацанам нелегко; она подменяет у них не только фамилии: румянец юности, блестящие глаза, выражение спокойной человеческой мысли, искренняя и прелестная игра детского лица — все это тоже подменяется изможденной маской запущенного и озлобленного звереныша. Внешний вид беспризорного, приходящего в коммуну, очень плох, неприятны и непривычны для культурного глаза и его социальные ухватки.

Но и то и другое, как легкая корочка, очень быстро отмывается в здоровом коллективе.

Иногда такого «изверга» нужно только постричь, искупать и переодеть, для того чтобы от корки не осталось никаких воспоминаний и перед вами оказался прелестный ребенок.

Два-три месяца хорошего питания, и уже блестят глаза и играет румянец.

И жизнь на улице, и предшествующая неудачная семейная биография очень отражаются на росте. Поэтому приходящие в коммуну пополнения почти всегда малорослы. И так же точно, как оживает остальное, оживает и рост. Не успеешь оглянуться, уже пацана нужно переводить в строю из четвертого взвода в третий, а через год он украшает уже первую шеренгу.

Воленко был один из таких восстановленных коммуной юношей. Вытягиваясь вверх физически, он так же быстро восстанавливался и социально. Уже зимой тридцатого года он составлял одно из самых главных звеньев коммунарского самоуправления. Ему в это время было не больше шестнадцати лет, и по возрасту он кое-кому уступал, но выгодно выделялся из всего коллектива своей серьезностью. Умное и деловое выражение его лица замечательно выгодно подчеркивалось тем, что он был красив, строен и вежлив. Его черные локоны были всегда коротко подстрижены, он всегда причесан, подтянут, вычищен и собран. И так как он был лучшим токарем в коммуне, так как он всегда активно высказывался на производственных совещаниях, никто не ставил ему в вину внешнюю вылощенность и несколько подчеркнутую интеллигентность его вида. Он и в цехе в спецовке мог быть образцом аккуратности и прилежности. В этом отношении ему очень многие подражали, а в качестве дежурного по коммуне он и в порядке официального нажима добивался подражания.

По отношению к коллективу коммунаров он вел несколько двойную игру: с одной стороны, он был требователен и настойчив, с другой — всегда выступал против слишком суровых взысканий, накладываемых общим собранием, и был присяжным защитником наиболее разболтанных и недисциплинированных коммунаров. Это создавало ему большую популярность среди отсталых элементов в коммуне и несколько настраивало против него весь коммунарский актив. Старшие коммунары немного недолюбливали Воленко за его гордый вид и излишнюю вежливость, истолковывая эти качества как напускную таинственность.

Что-то тайное действительно носил с собой Воленко по коммуне. Был он когда-то смертельно оскорблен, не мог забыть этого оскорбления, был поэтому недоверчив и сдержан. Мы знали, что в Ташкенте живет его мать, от которой он иногда получал письма, но он ни с кем не делился никакими воспоминаниями. Какая история выбила его из материнских объятий, никто в коммуне не знал.

Непонятным было и его отношение к комсомолу. Он бывал на всех комсомольских собраниях, часто брал слово и высказывался, как всегда, очень серьезно и дельно, всегда блистал знанием коммунарских традиций и коммунарских законов и всегда был по обыкновению прав, но не вступал в комсомол и не подавал никакой надежды на вступление.

Комсомольцы проводили его регулярно в органы самоуправления и

поручали ему самые ответственные посты в коммуне, но в общем держались по отношению к нему с некоторым предубеждением.

Осенью тридцатого года Воленко один из немногих вел открытую и настойчивую политику сбережения коллектива. Он упрекал коммунаров на общих собраниях в обособлении, преследовал пацанов за всякие проказы, работал в клубном совете и много делал в развитии кружковой работы. Он сознательно делал большое и полезное дело, в ценности которого у него сомнений как будто не было. С открытием рабфака он попал на второй курс и шел в нем одним из первых.

И как раз на Воленко упали первые удары судьбы, вздумавшей бить по коммуне имени Дзержинского. О, нет, мы не верим ни в какую судьбу. Но слово такое удобное, оно прекрасно итожит невидимые и непонятные с первого взгляда предрасположения.

В жизни нашего коллектива в то время были неизбежны заболевания, но об этом можно с уверенностью говорить только теперь, а тогда немногим из нас было понятно, что мы не совсем здоровы.

22

8. Чудеса техники

Коммунары смотрели на Соломона Борисовича, как на музейный экспонат, и спрашивали:

— А как делают хорошие хозяева?

Во время таких мирных разговоров Соломон Борисович умел иногда отбросить брюзжащий тон скупого и обиженного человека и делался мудрым и проникновенным проповедником. Его массивная фигура в эти моменты прочно укоренялась на пьедестале какой-то незнакомой для нас философии, глаза и прочие приспособления на его голове приобретали тоже более крепкую установку. Это несколько противоречило его невысокому росту, но не мешало ему говорить с таким же приблизительно выражением, с каким львы и тигры разговаривали с ягнятами и телятами в эдеме.

— Хороший хозяин должен иметь в банке сто тысяч рублей, не меньше. Нет у вас ста тысяч рублей, вы себе сидите тихо...

— А сколько сейчас в банке?

Но Соломон Борисович терпеть не мог выдавать секреты госбанка:

— Ну, сколько там, сколько там... — передразнивал он коммунаров. — Сколько там в банке... Чепуха... Вам если сказать пять тысяч, десять тысяч, так вы сейчас же: давайте их сюда — мы себе новые спецовки пошьем...

Коснувшись спецовок, Соломон Борисович совершил неосторожность. Это было больное место у коммунаров, ибо ни в каком другом месте так не просвечивала их душа, как в вопросе о спецовках. А часто вместе с душой просвечивало и белое коммунарское тело.

— А как же, — кричали коммунары на присмирившего Соломона Борисовича. — Что это, спецовки? Да, спецовки?

Представители младшего поколения при этом обязательно задирали ноги и показывали Соломону Борисовичу нижние части брючных клёшей или тыкали ему в живот истрепанные и промасленные рукава.

Спецовка — это костюм из самой дешевой материи, которую только

способен был придумать гений Соломона Борисовича. Соломон Борисович нежно именовал эту материю — «рубчик». «Рубчик» был мало приспособлен к роли, навязываемой ему режиссером. Это была действительно дрянь — жиденькая, прозрачная ткань, не способная ни к какому серьезному делу. В токарном цехе она в первый же день промасливалась до самых глубин своего существа, так как коммунарам Соломон Борисович не выдавал ни тряпок, ни концов и заменял все эти вещи правом вытирать руки о собственный живот и колени. Наступал момент, когда старшее поколение добивалось перемены спецовки, но разве мог Соломон Борисович выбросить пару штанов и рубашку? Отвергнутая старшими спецовка после стирки переходила к пацанам. Пацаны и сами по себе не отличались чрезмерной требовательностью, а, кроме того, спецовка Соломона Борисовича имела и некоторые особые достоинства, реализуемые исключительно пацанами. Рукава рубашек, шитых для старшего поколения, были на полметра длиннее, чем нужно, и это было чрезвычайно удобно. Именно этими излишествами вытирали пацаны свои станки и агрегаты. К сожалению, почти невозможно было использовать с таким же производственным эффектом дополнительные части брючных холщ, и они, сложившись на пацаньих ногах в некоторое подобие гармонии, без пользы увядали на наших глазах.

Но и эта сносная конъюнктура подвергалась действию времени: концы рукавов и брюк очень быстро истрепывались, вся спецовка украшалась дырами, и пацаны начинали приобретать определенно кружевной стиль, не соответствующий ни нашей эпохе, ни нашим гигиеническим капризам.

Соломон Борисович, впрочем, был другого мнения.

— Скажите, пожалуйста, — дырочка там... Ну что ты на меня тыкаешь своими рукавами! Длинные — это совсем неплохо. Короткие — это плохо, а длинные, что такое? Возьми и подверни, вот так...

Соломон Борисович собственноручно подвертывает на руках пацанов промасленное кружево рукава, но пацан только хохочет и пищит:

— Э, ой и хитрый же Соломон Борисович!..

Ни пацаны, ни старшие никогда не были склонны к разоружению, и война из-за спецовок то затихала, то вспыхивала, но никогда не прекращалась. Периодически наступал момент, когда на фронте раздавались залпы совета командиров или общего собрания, и тогда сильно страдал Соломон Борисович — шил новую партию спецовок для старших. Старшие ходили в швейную мастерскую и торопили девочек, пацаны с вожделием поглядывали на спецовки старших, а Соломон Борисович страдал:

— Двести пятьдесят метров рубчика, вы подумайте, сколько это стоит?

В такие моменты даже я начинал злиться на Соломона Борисовича, несмотря на мое постоянное перед ним преклонение:

— Ну как вам не стыдно, сколько стоит двести пятьдесят метров — сто рублей?

Соломон Борисович взрывается оскорблением и болью:

— Двести пятьдесят метров — сто рублей? Как вы дешево привыкли жить... сто рублей. Что же, по-вашему, рубчик стоит по сорок копеек метр?

— Ну, не по сорок, так по сорок пять. Материя дрянь, что там она стоит?

— Дрянь? Я бы хотел иметь этой дряни миллионы метров... Дрянь. Может быть, шить для коммунаров спецовки из чертовой кожи? Или, может быть, из сукна? Так чертова кожа стоит полтора рубля, к вашему сведению...

Сколько стоит сукно, не знал никогда Соломон Борисович, ибо он никогда не имел дела с этой роскошной тканью. Он и сам одевался в костюмы, сшитые из рубчика, а на сукно смотрел с презрением, как Франциск Ассизский на бутылку шампанского.

Мне становилось жаль Соломона Борисовича, и я продолжал с ним ласково:

— Все-таки нужно же пожалеть ребят. Вы видите, в чем они ходят на работу. И белье у них в масле и тело. И некрасиво, вы же все это прекрасно понимаете...

Соломон Борисович был всегда склонен к сентиментальности. Он смотрит на меня дружелюбно-понимающим взглядом:

— Чудак вы, разве я что-нибудь говорю? Я же понимаю, и они хорошие мальчики и хорошо работают. Ну, что же, пошьем им спецовки, можно пошить, можно истратить и триста метров рубчика, что, это мое все? Это все ваше, шейте, можно шить...

Он уходит от меня, расстроенный и своей любовью к пацанам и трагической необходимостью тратить деньги и метры. А деньги — это всегда сумма копеек, а каждая копейка рождается с мучением на производстве Соломона Борисовича.

Глубокая осень тридцатого года. Ни снега, ни мороза. К белгородскому шоссе на Харьков мы добираемся через море грязи, через разъезженное, распаханное подводами поле. Это море разжиженного чернозема плещет о самый цоколь коммуны и блестящими затоками и рукавами разливается между цехами Соломона Борисовича. Только пристальная настойчивость нашего часового у парадного хода не пускает его в наш дом, но в цехах Соломона Борисовича нет часовых, и поэтому в цехах пол покрыт еще свежими морскими отложениями, станки забрызганы и стены измазаны.

В литейном цехе²³, пристроенном еще летом из ненужных для деревообделочной мастерской материалов, в углу огромной кучей насыпано сырье — старые медные патроны. При помощи каких хитроумных комбинаций доставал это сырье Соломон Борисович, никто не знает. Коммунары отрицательно относились к патронам. По их словам выходило, что патроны — самое негодное сырье, медь в них плохая, и в каждом патроне кроме меди много еще посторонних примесей — свинец, порох, грязь. Коммунары именно патроны винили в том, что дым, выходящий из трубы литейной, слишком удушлив. Соломон Борисович был другого мнения... Коммунары готовы были примириться с патронами, если бы литейный дым действительно выходил в трубу и отравлял только окрестное население, ибо население держится все-таки ближе к земной поверхности, а дым, даже самый нахальный, все-таки подымается к небесам. В том-то и дело, что дым этот не очень выходил в трубу, а больше пребывал в самой литейной и отравлял самих литейщиков.

Соломон Борисович по этому поводу много перестрадал. Даже ночью его преследовали кошмары — снились ему кирпичные трубы, протянувшиеся до облаков, целый лес труб, целая вакханалия мертвых капиталов.

Одного из подчиненных ему чернорабочих Соломон Борисович сделал кровельным мастером, и из старого железа, оставшегося от разобранного сарая, этот мастер в течение двух недель приготовил нечто, напоминающее самоварную трубу, и водрузил ее над литейным цехом под аккомпанемент

ехидных замечаний коммунаров, утверждающих, что труба делу не поможет. Действительно, она не помогла, и Колька-доктор ежедневно писал протоколы, удостоверяющие, что в коммуне свирепствует литейная лихорадка. Тогда Соломон Борисович прибавил к трубе еще одно колено. Труба вышла довольно высокая и стройная. Единственный ее недостаток — слабое сопротивление ветрам — был уничтожен при помощи проволок, которыми она была привязана к крыше литейной.

На некоторое время Колька прекратил писание протоколов, ибо дым стал направляться туда, куда ему и полагается, но коммунары-литейщики и теперь предсказывали, что установившееся благополучие долго не протянется. В самом деле, крыша литейной была сделана только для того, чтобы литейщиков не мочил дождь. Ее скелет был слишком нежен и не подготовлен для тяжелой службы — удерживать высокую трубу. Коммунары предсказывали, что во время бури труба упадет вместе с крышей. Соломон Борисович презрительно выпячивал губы:

— Сейчас упадет, как вы все хорошо знаете вместе с вашим доктором... и крыша упадет, и вся литейная развалится... От бури развалится. Какие-то бури придумали... подумаешь, какой Атлантический океан!..

На этот раз коммунары ошиблись — крыша осталась на месте, литейная тоже не развалилась, и даже нижняя часть трубы еще и до сих пор торчит на фоне украинского неба, только верхняя ее часть надломилась и повисла на железной жилке, но в это время у коммунаров появились более серьезные заботы, и на трубу не обратили внимания. Только доктор снова принялся за протоколы, да старик Шеретин, математик рабфака, комната которого была недалеко от литейной, уверял, что во время ветра труба стучит, трещит и мешает ему спать...

В литейной помещался барабан. Это был горизонтально установленный цилиндр с круглым отверстием на боку. В это отверстие и набрасывались патроны, и из этого же отверстия выливалась расплавленная медь. К барабану была приделана форсунка, на стене бак с нефтью — на первый взгляд все просто, и нет ничего таинственного. На самом деле барабан был самым таинственным существом в коммуне. Он очень стар, продырявлен и проржавлен, форсунка тоже не первой молодости. Вся эта система накопила за время своей долгой жизни у киевского кустика так много характерных черт и привычек, что только бывший хозяин, наш мастер Ганкевич, мог с ними справляться. Во всяком случае, обыкновенные смертные могли взирать на барабан и даже подходить к нему только до того момента, когда он начинал действовать. Когда же наступал этот момент, Ганкевич всех удалял из литейной и оставался наедине с барабаном. Через полчаса отворялись двери и присутствующие приглашались удостовериться, что медь готова, Ганкевич жив и барабан на месте. Даже Соломон Борисович не решался нарушить жреческую неприкосновенность Ганкевича и терпеливо гулял по формовочной, пока в литейной совершалось таинство претворения патронов в расплавленную медь.

Вообще Соломон Борисович очень уважал Ганкевича и боялся больше всего на свете его ухода с производства.

Много было в литейной и других вопросов и производственных тайн, но не все сразу они были нами замечены.

Рядом с литейной формовочная. На двух машинах коммунары формо-

вали кроватные углы, в соседней каморке пацаны делали шишки. В формовочной уже начинало складываться небольшое общество коммунаров-специалистов — Миша Бондаренко, Могилин, Прасов, Илюшечкин, Терентюк и другие. Они уже формовали по тридцать пар опок в день и начинали разбираться в производственных тайнах Ганкевича. Ганкевич старался ладить с ними и кое-как мириться по вопросу о глине.

Глина — это не просто глина, а проблема. Глина привозилась к нам вагонами из Киева. Соломон Борисович уплачивал за доставку глины большие деньги и каждый раз после такой уплаты приходил ко мне и грустил:

— Опять заплатил за вагон глины семьсот рублей. Ну, что ты будешь делать? Ганкевич не хочет признавать никакой другой глины, подавай ему киевскую...

Только в токарном цехе отдыхала душа Соломона Борисовича. На пятнадцати токарных станках работали токари-коммунары и точили кроватные углы. Привешанная к потолку трансмиссия вместе с потолком сотрясалась и визжала, коммунары к трансмиссии относились с предубеждением и боялись ее²⁴. И сама трансмиссия, и ее шкивы, и все токарные станки часто останавливались от старческой лени, старенькие пасы рвались и растягивались, но все это мелочи жизни, и они не требовали больших расходов. Правда, наш рабочий день весь был украшен нарывами конфликтов и споров, но эти вещи ничего не стоят, а нервы у Соломона Борисовича крепкие.

Соломон Борисович в цехе был похож на домашнюю хозяйку. Сколько забот, сколько мелких дел и сколько экономии! Был в цехе мастер Шевченко. По плану он должен инструктировать коммунаров, но одно дело план, а другое — жизнь. На самом деле он в течение целого дня занимался разным ремонтом — все станки требовали ремонта. Ремонт — понятие растяжимое. В нашем цехе оно не было растяжимым и выражалось точной формулой: один Шевченко на пятнадцать станков и на тридцать метров трансмиссии. Корректировалась эта формула самим Соломоном Борисовичем — его указания были категоричны и целесообразны.

— Тебе что нужно? Тебе нужно точить кроватный угол? Так чего ты пристал с капитальным ремонтом? Пускай Шевченко возьмет гаечку и навинтит...

— Как гаечку? — кричит коммунар. — Здесь все расшатано, суппорт испорчен, станина истерлась...

— Не ты один в цехе, пускай Шевченко найдет там в ящике гаечку, и будешь работать...

Шевченко роется в дырявом ящике и ищет гаечку, но Соломон Борисович уже нарвался на другого коммунара и уже кричит Шевченко:

— Что вы там возитесь с какой-то гайкой, разве вы не видите, что в трансмиссии не работает шкив? По-вашему, шкив будет стоять, коммунар будет стоять, а я вам буду платить жалованье...

— Тот шкив давно нужно выбросить, — хмуро говорит Шевченко...

— Как это выбросить? Выбросить этот шкив, какие вы богатые!.. Этот шкив будет работать еще десять лет, полезьте сейчас же и вставьте шпичку...

— Да он все равно болтает...

— Это вы болтаете... Болтает... Пускай себе болтает, нам нужно, чтоб станок работал... Поставьте шпоночку, как я вам говорю...

— Да вчера уже ставили...

— То было вчера, а то сегодня... Вы вчера получали ваше жалованье и сегодня получаете...

Шевченко лезет к потолку, Соломон Борисович задирает голову, но за рукав его уже дергает коммунар:

— Так что ж?

— Ну, что тебе, я же сказал, тебе поставят гаечку...

— Да как же он поставит, он же полез туда...

— Так подождешь, твой станок работает?

Откуда-то из угла душу раздирающий крик...

— Опять пас лопнул, черт его знает, не могут пригласить мастера...

Соломон Борисович поднимает перчатку:

— Был же шорник, я же сказал, исправить все пасы, где вы тогда были?

— Он зашивал, а сегодня в другом месте порвался... Надо иметь постоянного шорника, а то на два дня...

— Очень нужно, чтобы человек гулял по мастерской... Шорник вам нужен, завтра вам смазчик понадобится, а потом подавай убиральницу.

Возмущенный коммунар швыряет в угол ключ или молоток и отходит в сторону, пожимая плечами.

Соломон Борисович вдруг соображает, что пас все-таки не сшит и станок не работает. Соломон Борисович гонится за коммунаром:

— Куда же ты пошел? Что же ты уходишь?

— А что же мне делать? Буду ждать, пока придет шорник...

— Это трудное дело, сшить пас?.. Ты не можешь сам сшить пас, это какая специальность или, может, технология...

— Соломон Борисович,— пищит удивленный коммунар,— как же это сшить?.. Это же не ботинок, а пас...

Но Соломон Борисович уже покраснел и уже рассердился. Он с жадностью набрасывается на шило и кусочек ремешка, валяющийся на подоконнике, и торжествует:

— Ты не можешь сшить пас, а я могу?

Он по-стариковски неловко тычет шилом в гнилой пас. Коммунары улыбаются и с сомнением смотрят на сшитый пас. У Соломона Борисовича тоже сомнение — пас не сшит, а кое-как связан неровным некрепким швом. Соломон Борисович, отнюдь не имея торжествующего вида, спешит удалиться из цеха, а коммунары уже вечером в совете командиров ругаются.

— Что такое, в самом деле. Пас порвался, шорника нет, Соломон Борисович сам берется за шило, а разве он может сшить, это тоже специальное дело... И все равно через пять минут станок стоит...

Соломон Борисович в таком случае помалкивает или пускается в самую неприятную дипломатию:

— Что ты говоришь? Ты говоришь так, как будто я шорник и плохо сшил. Что я буду заведовать производством и еще пасы сшивать? Я тебе только показал, как можно сшить, а если бы ты захотел и постарался, ты бы сшил лучше, у тебя и глаза лучше...

Коммунары заливаются смехом и от того, что дипломатия Соломона Борисовича слишком наивна, и от того, что Соломон Борисович выкрутился, и даже хорошо выкрутился, приходится коммунарам даже защищаться:

— Когда же нам шивать? Если шивать, все равно станок стоять будет.

Соломон Борисович молчит и вытирает вспотевшую лысину. Настоящей своей мысли он не скажет, настоящую мысль он скажет только мне, когда разойдется совет командиров спать, а Соломон Борисович смотрит, как я убираю свой стол, курит и говорит дружески доверчиво:

— Эх, разве так надо работать? Разве такой молодой человек не может остаться после работы и сшить себе пас... Что там полчаса, а шорнику нужно заплатить семьдесят пять рублей в месяц.

Я молчу — все равно спор имеет академический характер.

Но иногда и мне приходится идти огнем и мечом на Соломона Борисовича. Утро, из классов еле слышен прибор науки. В мастерских шумят станки, в моем кабинете никого — вся коммуна рассыпалась по трудовым позициям. Вдруг открывается дверь. К моему столу быстро подходит Коля Пашенко, мальчик пятнадцати лет, смуглый, стройный коммунар. Сейчас Коля плачет. Он пытается удержать слезы и говорит неплаксивым, спокойным голосом, но слезы падают на спецовку, и на его руках целые лужи слез, смешанных с машинным маслом и медными опилками.

Он протягивает ко мне руки:

— Смотрите, Антон Семенович, что же это такое... прямо... шкив испорчен... я говорил, говорил, все равно никакого внимания...

— Ты говорил Соломону Борисовичу, чтоб исправили шкив? Чего же ты так волнуешься...

— Я пришел, чтобы вы посмотрели сами... Пусть бы там не исправляли, пусть бы там прогул или как там... простой... а он говорит — работай... Как же я могу работать... я боюсь работать.

Я знаю Колю как смелого мальчика. Это живой, способный и энергичный человек, он в коммуне с самого начала и всегда умел прямо в глаза смотреть всяким неприятностям. Поэтому меня очень удивили его слезы.

— Я все-таки не понимаю, в чем дело... Ну, идем...

Мы входим в цех. Коля обгоняет меня в дверях и спешит к токарному станку. Он уже не плачет, но в борьбе со слезами он уже успел свой нос покрасить в черный цвет.

— Вот, смотрите...

Он пускает свой станок, потом отводит вправо приводную ручку шкива, деревянную палку, свисающую с потолка. Станок останавливается. Коля левой рукой отталкивает меня подальше от суппорта, на который я оперся.

— Смотрите.

Я смотрю. Смотрю и ничего не вижу. Вдруг станок завертелся, зашипел, застонал, заверещал, как все станки в токарном цехе. Я ошеломлен. Подымаю голову и вижу: палка уже опустилась и передвинулась влево, шкив включен. Я смеюсь и гляжу на Колю. Но Коля не смеется. Он снова чуть не плачет:

— Как же я могу работать? Остановишь станок, станешь вставлять угол в патрон, а станок вдруг начинает работать... Что ж, руку оторвать или как?..

За нашими плечами Соломон Борисович.

— Соломон Борисович, надо же как-нибудь все-таки... Ведь так нельзя.

— Ну, что такое, придет мастер завтра, исправит шкив, так что? Сегодня нужно гулять?.. Я ж тебе сделал, можно работать...

— Ну, смотрите, Антон Семенович, разве можно так?

Колька лезет куда-то под станок и достает оттуда кусочек ржавой проволоки, на концах ее две петли. Одну — он надевает на конец приводной палки, а другую — цепляет за угол станины. Станок перестает вертеться, палка крепко привязана проволокой. Колька смотрит на меня и смеется. Смеется и Фомичев, подошедший к нашему станку:

— Последнее достижение техники, здравствуйте, Антон Семенович...

— А что? — говорит Соломон Борисович. — Чем это плохо?

Ребята хохочут...

— Нет, вы скажите, чем это плохо?

Колька безнадежно машет рукой. Фомичев спокойно, с улыбкой объясняет, глядя сверху на Соломона Борисовича:

— Ему нужно станок останавливать раз пять в минуту, как же он может все время привязывать проволоку, а вы посмотрите. — Он снимает петлю с угла станины. Станок завертелся, но петля бежит перед глазами, цепляется за резец.

— Ну, и что ж?

— Как, что же, разве вы не видите?

Я приглашаю Соломона Борисовича к себе, но уже на дворе говорю ему, сжимая кулаки:

— Вы что, с ума сошли? Что это за безобразие? Вы еще веревками будете регулировать станки, к чему вы приучаете ребят... это просто халтура, просто мошенничество...

Соломон Борисович терпеть не может моего гнева и говорит:

— Ну, хорошо, хорошо... ничего страшного не случилось... завтра привезу мастера, начнем капитальный ремонт...

Вы думаете, завтра Соломон Борисович привез мастера?

— Я не привез? Ну, конечно, он не поехал, потому разве теперь люди? Он хочет заработать двадцать рублей в день. Я ему дам двадцать рублей, а Шевченко на что, а Шевченко будет гулять...

9. Трагедия

Кроватный угол, выпускаемый Соломоном Борисовичем на рынок, представлял собой очень несложную штукуну: в литейной он отливался почти в совершенном виде — с узорами. На токарных станках ребята только очищали резцами его цилиндрические плечики, и после этого он поступал в никелировочную. Поэтому мы выпускали этих кроватных углов множество. По сложности работы кроватный угол немногим отличался от трусиков, которые изготовляла швейная мастерская. В столярной мастерской производились более сложные и громоздкие вещи: аудиторные и чертежные столы и стулья, но и здесь особенной техникой не пахло. Отдельные детали выходили из машинного цеха с шипами и пазами, в сборном нужно было их привести в более блестящий вид и собрать в целую вещь.

В самом содержании производственной работы было очень мало интересного для коммунаров. Их увлекала только заработная плата, постоянная война с производственными «злыднями» и, пожалуй, еще общий размах производства — вот это обилие вещей, горы полуфабрикатов и фабрикатов и ежедневные отправки готовой продукции в город.

По вечерам коммунары заходили иногда в кабинет покалякать и пошутить. Уже никакой злобы и огорчения к этому времени у них не оставалось. Посмеивались всегда над производством Соломона Борисовича и говорили:

— А все-таки удивительно: не производство, а барахло, куча какая-то старья всякого, а смотришь, все везут и везут в город.

В это время давно исчезло то удовлетворение, которое было вызвано постройками Соломона Борисовича. Всем уже начинало надоедать сарайное богатство Соломона Борисовича, приелись вечные споры о печах и зимних рамах, надоело говорить о засоренности производственного двора, о плохих станках и плохом материале. Коммуна стояла оазисом среди производственного беспорядка и грязи, и у коммунаров начинало складываться отношение к производству как к чему-то постороннему.

В это время к нам очень редко приезжали члены Правления, в самом Правлении происходили перемены. Стихия Соломона Борисовича разливалась вокруг коммуны безудержно, все шире и шире, захватывая территорию, и уже располагалась перед фасадом, заваливала цветники обрезками и бросовым материалом.

Коммунары знали цену своей коммуне, любили чекистов и были благодарны им и за свой дом, и за порядок, и за рабфак. На производство же они смотрели несколько иронически, как на необъяснимое недоразумение в общей гармонии коммуны. Сборный цех коммунары называли «сборным стадионом», отражая в этом названии и его грандиозные размеры и его непригодность к цеховому назначению.

Соломон Борисович очень обижался за это название и даже просил меня запретить его приказом по коммуне:

— Обязательно отдать нужно в приказе. Скажите, пожалуйста, «сборный стадион»... А где они работают?

Соломон Борисович гордился стадионом до приезда в коммуны председателя Правления²⁵. Он приехал в счастливый день, когда немного подмерзла жижица грязи на производственном дворе и до стадиона можно было легко добраться, остановился пораженный в центре стадиона и спросил Соломона Борисовича:

— Это, что же, вы выстроили?

Соломон Борисович выкатился вперед и с гордостью сказал:

— Да, это я конструировал. Деревянное, конечно, строение, но оно будет долго стоять...

Председатель на это ничего не сказал, а обратился к коммунарам с вопросом, никакого отношения не имеющим к стадиону:

— Понравилось вам в Крыму?

— Ого,— сказали коммунары.

— Что ж, на лето еще куда-нибудь поедем?

— На Кавказ,— сказали коммунары...

— На Кавказ — это хорошо. Только нужно выполнить промфинплан...

— Выполним...

— Да, на Кавказ хорошо. Поезжайте на Кавказ. Ну, до свидания.

Председатель уехал, а Соломон Борисович пришел ко мне и спросил:

— Как вы думаете, какое впечатление произвел на него сборный цех?

Он так посмотрел...

Васька Камардинов не дал мне ответить:

— Какое же впечатление? Вы думаете, он не понимает. Отвратительное впечатление.

— Вы еще молодой человек, — сказал Соломон Борисович, покрасневший от гнева, — а обо всем беретесь рассуждать.

Но через два дня к нам дошли слухи, что действительно стадион произвел впечатление отвратительное. Соломон Борисович загрустил:

— Так кто виноват? Виноват Левенсон? А где деньги? Правление, может, думает, что нужно построить каменные цехи, так почему оно не строит? А все Соломон Борисович должен строить: и литейный цех, и сборный, и квартиры.

В это время заканчивался триместр, и у коммунаров головы были забиты зачетами. Кроме того, в коммуне происходили события печальные и непонятные. В середине ноября командир третьего отряда поразил всех рапортом:

— У Орлова пропало пальто с вешалки²⁶.

Коммунары во время разбора рапорта сказали:

— Поискать надо лучше. Кто-нибудь захватил нечаянно или не на свою вешалку Орлов повесил...

— Ты поищи лучше, — сказал я Орлову.

— Да где я буду искать? Я уже всю вешалку перерыл и у всех смотрел — моего пальто нигде нет...

— Поищи все-таки.

Через день пропало пальто в седьмом отряде. Дали общий сбор и приказали всем коммунарам надеть пальто и выстроиться во дворе. На вешалке не осталось ни одного пальто, а Орлов и Кравченко все же своих пальто не нашли.

Опросили весь сторожевой отряд, но он ничем помочь не мог. На вешалке висит сто пятьдесят пальто, разве разберешь, какое пальто берет коммунары с вешалки — свое или чужое.

На общем собрании Фомичев предложил:

— Надо пока что пальто держать в спальне. Ясное дело, между нами завелся гад. Он и теперь сидит здесь и притаился, а завтра еще что-нибудь утащит.

Харланова возмутилась:

— Вот тебе и раз. У нас завелся вор, так мы будем от него прятаться, всё будем в спальне тащить. Это безобразие, и нужно сейчас же поднять с этим борьбу.

— Да как ты поднимешь борьбу, если мы не знаем, на кого и думать. Кто может у нас взять?

— Раз взяли, значит, всякий может...

— Как это всякий?.. Я вот не возьму, например...

— А кто тебя знает? На тебя нельзя думать, а на какого коммунара можно думать? Покажи, на кого?

— Так что же делать?

— Надо найти вора.

— Найди...

— Надо собаку привести в коммуны,— предложил кто-то.— Вот как она на этого гада бросится, тогда уж мы будем знать, что делать.

В собрании закричали:

— Вот еще, собак тут не хватало. Сами найдем.

— Найдите.

Редько взял слово:

— Найдем. Все равно найдем. И если я найду, он у меня все равно не вырвется. Так пускай и знает. А вешалку, действительно, нечего переносить в спальню. Да больше он и не возьмет. Я его все равно поймаю...

Коммунары улыбнулись.

Через неделю в кабинет вошел Миша Нарский. Совет командиров три месяца тому назад командировал его на шоферские курсы, которые он регулярно посещает и о которых каждый вечер отзывается с восторгом. Живет он в коммуне в одном из отрядов и болеет коммунарскими делами по-прежнему.

Миша Нарский ввел в кабинет Оршановича и Столяренко и сказал:

— Вот они, голубчики, видите?

Миша Нарский, несмотря на многие годы, проведенные в колонии Горького и в коммуне Дзержинского, остался прежним: чудаковатым, по-детски искренним, неладно одетым. Он по-прежнему причесывается только по выходным дням и лучшим украшением для человеческого лица считает машинное масло. Он сейчас горд и от гордости на ногах не держится.

— В чем дело?

— Да вот вы их спросите...

— Ну, рассказывайте...

Оршанович грубовато отворачивается:

— А что я буду рассказывать? Я ничего не знаю.

Столяренко молчит.

— Видите, он не знает... А как пальто продавать, так он знает.

Полдюжата коммунаров, находившихся в кабинете, соскочили со стульев и окружили нас...

— Пальто? Что? Оршанович? Здорово...

Оршанович с недовольным видом усаживается на стул, но Миша сильной рукой металлиста берет его за воротник:

— Что? Ты еще будешь тут рассиживаться? Постоишь...

— Чего ты пристал? Чего ты пристал? Пальто какое-то...

— Ишь ты, какое-то... Смотрите... Субчик...

В кабинете уже не полдюжата коммунаров, а целая толпа, и кто²⁷ . . .

10. И трагедии и комедии

11. Праздник

Пацаны бегом по всей лестнице — ужасно оживленные и храбрые, но только до дверей «громкого» клуба, а здесь хвосты поджали и тихонько, бочком пробираются в клуб мимо председателя Правления и еще тише салют:

— раст...

А потом все собрались и смотрят на гостя, глаз не сводят и молчат.

Правда, нужно сказать, что главные пацаньи силы в это время намазывались всеми возможными красками и наряжались в каморке за нашей сценой — готовились к постановке. Перский, на что уж человек изобретательный, а и тот «запарился»:

— Да сколько вас играет?

— Ого, еще Колька придет, Шурка, две девчонки, Петька и Соколов, да еще ни один кустарь не гримировался, а кустарей трудно будет, правда ж?

Коммуна украшена: везде протянулись плакаты, столовая, сцена и бюст Дзержинского в живых цветах. Много потрудились художественная комиссия. Много поработали и остальные. Все-таки наиболее поражает всех Миша Долинный, который со своей комиссией — человек двадцать, кажется, и праздника не видели — протолкались на дворе до часу ночи. Зато ни один гость не заблудился. На повороте к нашим тропинкам на белгородском шоссе стоял Мишин пикет и спрашивал публику:

— Вам в коммуну Дзержинского? Так сюда.

И указывал на линию огней, протянувшихся через лес и через поле до самой коммуны. Огни были сделаны самым разнообразным образом: здесь были и электрические фонари, и факелы, и разложенные на поворотах и трудных местах костры. Вся Мишина территория курилась дымом и пахла разными запахами наподобие украинского пекла.

Коммуна была тоже в огнях, а над главным входом в огненной рамке портрет Дзержинского.

В семь часов всех гостей пригласили в клуб, коммунары расположились под стенками. Когда все собрались, команда:

— Под знамя встать! Товарищи коммунары — салют!

Левшаков загремел салют. Может быть, читатели еще не знают, что такое знаменный салют коммунаров. Это наш сигнал на работу, обыкновенный будничный сигнал, который играет в коммуне два раза в день. Он оркестрован Левшаковым еще в 1926 году в колонии Горького и сейчас и у нас и у них является не только призывом к труду, но и салютным маршем, который мы играем, когда выносим наше знамя, когда проходим мимо ЦК партии, ВУЦИКа, когда встречаем очень дорогого гостя и когда встречаемся в городе с колонией Горького...

Дежурный по коммуне идет впереди, подняв руку над головой, за ним знаменная бригада шестого отряда — три девочки. Шестой отряд

уже второй месяц владеет знаменем. Гости стоя встречают наше знамя...

Началась торжественная часть. Нас приветствовали с тремя годами работы, нам желали дальнейших успехов...

После торжественной части концерт оркестра. Левшаков сыграл гостям:

1. Марш Дзержинского — музыка Левшакова.

2. Торжество революции — увертюра.

3. Увертюра из «Кармен».

4. Кавказские этюды Ипполитова-Иванова.

5. Военный марш Шуберта.

Закончил он шуткой²⁸. Вышел к гостям и сказал:

— Быть хорошим капельмейстером очень трудное дело. Нужно иметь замечательное ухо, нельзя пропустить ни одной ошибки. Чуть кто сфальшивит, я сейчас же услышу, и поэтому я могу управлять оркестром, стоя к нему спиной. Вот послушайте.

Он обратился к музыкантам:

— Краснознаменный.

У музыкантов заволынили:

— Довольно уж.

— Уморились...

— Праздник так праздник, а то играй и играй...

— В самом деле...

У публики недоумение. Мало кто понял сразу, что здесь какой-то подвох. В зале отдельные замечания:

— Ого, дисциплинка!..

Левшаков стучит палочкой по пюпитру и говорит:

— Хочется в совете командиров разговаривать? Краснознаменный...

Наконец волынка в оркестре понемногу утихает и музыканты подносят мундштуки к губам. Раздается один из громких и веселых советских маршей. Левшаков дирижирует стоя спиной к оркестру. Но уже на третьем такте часть корнетов поднимается с мест, машет руками и уходит за кулисы. Марш продолжается, но за корнетами удаляются альты, тенора, волторны и так далее. Остаются: Волчок с первым корнетом, Грушев с басом, Петька Романов с пиколкой и барабаны... Левшаков продолжает дирижировать, стоя лицом к публике, и даже строит какие-то нежные рожи, показывающие, что он переживает музыку. Но вот уже убежал и Волчок, последний раз ухнул Грушев, наконец, и Петька пробирается в зал, пролезая под рукой Левшакова. Остался один Могилин на большом барабане. Только теперь Левшаков «понимает», как его подвели музыканты, и сам убегает. «Булька» последний раз гремит барабаном и хохочет. Хохочет и публика, все довольны, что это простая шутка и что с дисциплиной у дзержинцев не так уж плохо.

Настало время и пацанам показать, к чему они так долго и так таинственно готовились. Оркестр, их союзник, усаживается в соседнем классе, из класса дверь в зал открыта, и Левшаков уже с кем-то перемигивается у сцены.

Открывается занавес. В зале кто-то из коммунаров громко говорит:

— Ой, и вредные пацаны, дали им волю...

На сцене Филька в коммунарском парадном костюме. Он говорит:
— Сперва пойдет пролог²⁹.

.....
Все гонят, все клянут меня³⁰,
Мучителей толпа,
Правителей несправедливых
И мальчиков неукротимых...
Безумным вы меня прославили всем хором
И от начальства до юнца
Покрыли детище мое позором.
Вы правы, тут не разберешь конца:
И строить вредно, и не строить плохо,
Построил вот, а теперь охай.
Я в Кисловодск теперь ездук,
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок...
Каре... Эй, Топчий, запрягай, пожалуйста, до автобуса...³¹

Левенсон удаляется, а на сцену выходят три пацана с фанфарами, играют какой-то сигнал и объявляют, что феерия «Постройка стадиона» окончена.

Их место занимают три коммунарки в белых передниках и просят гостей ужинать, за их спиной Волчок играет наш призыв «все в столовую».

Гости расходятся только часам к двенадцати. Дежурные отряда коммунаров приступают к уборке всего здания, в кабинете делятся впечатлениями.

Соломон Борисович взбешен пацаньей проделкой:

— Разве я могу теперь работать в коммуне? Какой у меня будет авторитет?

— При чем тут ваш авторитет, Соломон Борисович?— спрашивает Ключнев.

— Как при чем? Как при чем? Что это за заведующий производством, когда он освещается какими-то синими фонарями, а руки складывает, как Демон? Бегаёт по сцене и кричит, как сумасшедший? После этого будет авторитет?

— Вот вы, значит, не поняли, в чем тут дело. Эту пьеску пацаны здорово сделали. Теперь Правление задумается...

Действительно, феерия пацанов была не столько по Соломону Борисовичу, сколько по Правлению. Как ни комичен был Соломон Борисович, перемешанный с Борисом Годуновым, Демоном и Ленским³², но его комизм был показан как необходимое следствие нашей производственной заброшенности. Жалкие цехи, размещенные по подвалам и квартирам, жалкие диктовые постройки, засилие кустарей и кустарщины были представлены пацанами в неприкрашенном виде. И председатель Правления, уезжая от нас в этот вечер, сказал:

— Молодцы коммунары, это они здорово сегодня критикнули...

12. Пожары и слабости

Не успели ребята отдохнуть после праздника, убрать цветы, снять иллюминационные лампочки и спрятать плакаты, как приехал в коммуны Крейцер³³ и сказал в кабинете:

— Ну, товарищи, кажется, с весны начнем строиться...

Дорошенко сонно ответил:

— Давно пора.

Сопин не поверил:

— А долго так будет казаться? Строиться, строиться, а потом скажут — денег нет. За какие деньги строиться?

— Да что вы, объелись чего? — сказал Крейцер. — У нас сейчас на текущем счету тысяч триста есть?

— Ну, есть, так это ж мало, смотря что строить...

— А вот об этом подумаем. А что, по-вашему, нужно строить?

— Мало ли чего, — сказал Фомичев. — Вот это все расчистить нужно, а на чистом месте построить завод. Новый завод...

Соломон Борисович из-за спины Крейцера моргал всем коммунарам. Это значило: построятся, как же... Но вслух он сказал:

— Надо строить маленький заводик, чтобы производить токарные станочки. Хорошая вещь, а спрос? Ух!..

— Токарные не выйдут, — сказал Фомичев. — Какой это завод на сто пятьдесят коммунаров? Нужно что-нибудь помельче...

— Надо прибавить коммунаров, — протянул Крейцер, усаживаясь за столом ССК.

— Ой, сколько же прибавить? — спросил Дорошенко.

— А сколько ж? Удвоить нужно.

Сопин задрал голову и показал на Крейцера пальцем:

— О, сказали, и все за триста тысяч: завод построить, новые спальни и классы ж нужно, а столовая наша тоже, выходит, тесная будет, а клуб?

— Так вы же работаете?

— На этом бузовом производстве много не заработаем, а тут, видно, миллионом пахнет...

Но вечером Сопин рассказывал пацанам уже в другом освещении:

— И что? И можно, конечно, построить, тут тебе такое будет — завод, во! И не то, что сто пятьдесят коммунаров, а триста, во! Это дело я понимаю.

— Вот обрадовался: триста... — кивает на Сопина Болотов, — как придут новенькие, от коммуны ничего не останется...

— Чего не останется? Ты думаешь, если беспризорные, так и не останется? Это ты такой...

— Я такой... скажи, пожалуйста. А вот ваш актив — Григорьев — вот хороший оказался.

— И то лучше тебя, — сказал Сопин.

— А я теперь что? Я теперь ничего, никто не обижается, — надувшись окончательно, сказал Болотов, и Сопину стало жалко его; он потрепал Болотова по плечу:

— Как придут сто пятьдесят новых, мы тебя обязательно ССК выберем.

Болотов улыбнулся неохотно:

— Выберите, как же!

Весть о том, что на лето предполагается постройка, в коммуне никого не взволновала — мало верили словам коммунары. Но все же появилась серьезная задача — надо побольше собрать денег.

Соломон Борисович предъявил одному из общих собраний промфинплан первого квартала. Коммунары о нем недолго думали:

— Это выполнить можно, если в цехах хоть немного наладится. А если выполним, то сколько у нас денег будет?

Соломон Борисович считал такие вопросы неприличными:

— Вы сделайте, а деньги будут.

— Не забудьте ж, и на Кавказ поехать нужно.

— И на Кавказ поедете.

— А все-таки, сколько будет денег, если выполним план?

Соломон Борисович развел руками:

— Ну, что им говорить?

— Тысяч сто прибавим на текущий счет, — сказал я коммунарам.

Промфинплан обсудили на цеховых собраниях³⁴. Встречный выдвигали без большого разгона — цифры Соломона Борисовича были и без того жесткими; встречный план коммунаров на первый квартал был такой:

А р м а т у р н ы й ц е х

Масленок	51 840	штук
Ударников для огнетушителей	12 000	»
Шестеренок для тракторов	600	»

Д е р е в о о б д е л о ч н ы й ц е х

Столос аудиторных	780	штук
Столос чертежных	700	»
Табуреток к ним	1100	»
Стульев аудиторных	1100	»

Ш в е й н ы й ц е х

Трусигов	18 000	штук
Юнгштурмов	1 100	»
Ковбоек	2 300	»

Всего по себестоимости на сумму 170 000 рублей.

Металлисты наши очень обрадовались, что выбросили из плана эти отвратительные кроватные углы. Их не любили коммунары:

— Это что за такая продукция? Кроватный угол... Это самая легкая индустрия, какая только есть. Подумаешь, кому нужен кроватный угол? Покрась себе кровать хорошей краской и спи. А то: никелированный кроватный угол. Всякая, понимаете, охота пропадает...

— Масленка — это, действительно, груба! Это для машины для всякой нужная вещь. Это уж не такая легкая индустрия: масленка Штауфера. Видите — не сразу даже придумали, Штауфер такой нашелся...

— Seriously, — говорили уважающие себя токари, — в масленке и резьбу нужно сделать, и все так пригнать, чтобы крышка правильно навинчивалась, и дырочку просверлить.

Колька Вершнеv торжествовал — закрывали-таки никелировочный цех. Колька считал, что ничего вреднее для пацанов быть не может.

С первых дней января работа сразу пошла веселее в цехах, да и весной запахло — коммунары умеют на большом расстоянии чувствовать весну и ее запахи.

Соломон Борисович часто заходил ко мне и радовался:

— Молодцы коммунары, хорошо взялись! А я им план закатил, ой, будут меня ругать. Ну, ничего, все будет хорошо.

Соломон Борисович оживился в январе, забыл громы Декина³⁵ и сарказмы пацанов в «Постройке стадиона». Его поднимало сознание, что коммуна нуждается в больших деньгах, что эти деньги коммунары заработают только под его руководством. Соломон Борисович прибавил стремительности в своих движениях и до позднего вечера летал по производственной арене. Одно его смущало со времени приезда Декина — боялся Соломон Борисович пожара. Пожар ему мерещился ежеминутно, он не мог спокойно лечь спать и приходил ко мне иногда часов в двенадцать ночи, извинялся, что мешает, о чем-нибудь заговаривал, как будто спешном, а потом сидит и молчит.

— Чего ты не спишь? — спрашиваю его: мы с ним перешли на «ты» после праздника.

— По правде сказать, так боюсь ложиться — пожара боюсь.

— Вот глупости, — говорю ему, — откуда пожар возьмется, все уже спят.

— Там же, в стадионе, печки еще топят, — с трудом выговаривает Соломон Борисович, — я вот подожду, пока закроют трубы, и пойду спать.

Он уже и сейчас почти спит, голова его все падает на лацканы пиджака, он тяжело отдувается и протирает глаза:

— Уф... Уф...

— Да иди спать, вот придумал человек занятие — пожара ожидать.

В дверях стоит с винтовкой дневальный, которому веселее с нами, чем в одиночестве скучать у денежного ящика. Дневальный улыбается:

— Пожар никогда не бывает по заказу. Вы ждете пожара, а он загорится в другое время, когда спать будете...

— Почему ты думаешь, что он обязательно загорится? — спрашивает Соломон Борисович.

— А как же? Это и не я один думаю, а все пацаны так говорят...

— Что говорят?

— Что стадион непременно сгорит, ему так уже от природы назначено...

Дневальный решил, что довольно для него развлечений, и побрел к своему посту. Соломон Борисович кивает головой в его сторону:

— Пацаны говорят! Они все знают!.. Загорится стадион, пропало все дело: будет гореть, а мы будем смотреть, это правильно сказал Декин. Все ж дерево, сухое дерево, сколько там дуба, сколько там лесу, ай-ай-ай, пока пожарная приедет...

В первом часу я отправляюсь домой. Бредет рядом со мной и Соломон Борисович и просит:

— Зайди в стадион, скажи этим истопникам, чтобы были осторожнее, они тебя больше боятся... зайди, скажи...

Однажды рано утром, только что взошло солнце, наш одноглазый сторож Юхин поднял крик:

— Пожар!

Прибежали кто был поближе, никакого пожара нет, солнце размалевало окна стадиона в такой пожарный стиль. Посмеялись над Юхиным, но в квартире Соломона Борисовича обошлось не так просто: услышал Соломон Борисович о пожаре — и в обморок, даже Колька бегал приводить его в чувство. Дня три ходил после этого Соломон Борисович с палочкой и говорил всем:

— Если загорится, я погиб — сердце мое не выдержит, так и доктор сказал: в случае пожара у вас будут чреватые последствия.

И вот настал момент: только что проиграли спать, кто-то влетел в вестибюль и заорал как резаный:

— В стадионе пожар! Пожар в стадионе!..

Захлопали двери, пронеслись по коммуне сквозняки, залился трубач тревожным сигналом, сначала оглушительно громко здесь, в коридоре, потом далеко в спальнях. Как лавина слетели коммунары по лестницам, дробь каблуков, крики и какие-то приказы вырвались в распахнувшуюся настежь парадную дверь — снова тихо в коммуне. Соломон Борисович тяжело опустил голову на бочок дивана и застонал.

Я поспешил в стадион. Подбегаю к его темной массе, а навстречу мне галдящая веселая толпа коммунаров.

— Потушили! — размахивает пустым огнетушителем Землянский.

Он хохочет раскатисто и аппетитно:

— Как налетели, только шипит, как не было!

— Что горело?

— Стружки возле печки. Эта раззява Степанов в кочегарку пошел «воды попить», у них в стадионе и воды нет...

Говорливой торжествующей толпой ввалились мы в кабинет. Соломон Борисович изнемог на диване. Он с большим напряжением усаживается и стонущим голосом спрашивает:

— Потушили? Какие это замечательные люди — коммунары... Стружки, говорите? Большой огонь?

— Да нет, только начиналось, ну, так, половина кабинета костерчик, — говорит Землянский. — А куда теперь эти банки девать? — показывает он на разряженные огнетушители, выстроившиеся в шеренгу в кабинете.

Соломон Борисович поднимается с дивана.

— Сколько вы разрядили?

Он начинает пальцем считать.

— Да кто их знает, штук двенадцать...

— Двенадцать штук? Двенадцать штук? Нет, в самом деле? — вертится сердитый Соломон Борисович во все стороны. Он протягивает ко мне обе руки:

— Это же безобразие, разве это куда-нибудь годится! Это же... Двенадцать на такой маленький пожар. Ты им скажи, разве можно так делать? Где я могу набрать столько огнетушителей, это разве дешевая вещь?

Коммунары притихли и виновато поглядывают на шеренгу огнетушителей.

— Нет, в самом деле...— даже раскраснелся Соломон Борисович.

Я серьезно говорю коммунарам:

— Слышите? Больше одного огнетушителя в случае пожара не тратить.

Коммунары хохочут:

— Есть! Соломон Борисович, пропал ваш стадион... Сегодня разве потушили бы одним?..

— Как ты сказал? Как ты сказал!— пораженный, обращается ко мне Соломон Борисович.

— Я исполнил твою просьбу...

— Разве я говорил — один? Я же не сказал один. Надо с расчетом делать...

После этого Соломон Борисович стал бояться всякого крика, всякого бега по коммуне. Только с приходом весны он несколько успокоился и стал смотреть веселее на мир.

Принимал Соломон Борисович разные противопожарные меры. Ему сказали:

— Полагается в цехе держать бочки с водой и швабры при них.

Соломон Борисович выпросил у заведующего хозяйством несколько старых бочек и действительно налил их водой. Это ничего не стоило. Но швабры оказались дорогой вещью, и Соломон Борисович втихомолку заменил их палками, на концы которых были привязаны пучки рогожи. Когда приехал пожарный инспектор, Соломон Борисович с гордостью повел его к кадушкам, но здесь он был незаслуженно посрамлен.

— И швабры есть, как же,— говорит он пожарному инспектору.

Он с гордым видом вынимает палку из бочки и видит, что на конце ее нет ничего, торчат одни хвостики рогожные.

Когда уехал пожарный инспектор, Соломон Борисович произвел расследование, и оказалось: бабы-мазальницы, которым поручил Соломон Борисович что-то выбелить в системе своих цехов, отрезали рогожные пучки от пожарных приспособлений и обратили их в щетки.

— Разве это люди?— сказал Соломон Борисович.— Это звери, это некультурные звери.

Много страдал Соломон Борисович от пожарной опасности, и, наконец, его сердце не выдержало бы всех волнений, если бы не коммунары. Коммунары не позволяли Соломону Борисовичу сосредоточиваться³⁶

.

— Вы посмотрите, что утром делается! Не успели окончить завтрак, а некоторые даже и не завтракают, а бегом в литейную. Каждый захватывает себе масленки и ударники, а кто придет позже, тому уже ничего не остается, жди утренней отливки, жди, пока она остынет.

— Соломону Борисовичу жалко истратить тысячу рублей на новые опоки, а сколько он тратит на доставку глины из Киева? Сколько стоит вагон глины? А формовочный песок возле самой коммуны, сколько хочешь, и сушить формовку не надо, не то, что эта глина.

Соломон Борисович обещал, оправдывался, снова обещал, придумывал

разные причины, говорил, что нет железа, что опоки будут тяжелые, что коммунары их не поднимут³⁷.

— Поднимем, вы сделайте...

На одном собрании он, наконец, взмолился:

— Что вы мне покоя не даете с этой глиной? Что, я сам не понимаю, что ли? Опоки будут скоро сделаны.

— Когда? Срок? — шумят в зале.

— Через две недели...

Редько с места:

— Значит, будут сделаны к первому февраля?

— Я говорю, через две недели, значит — к двадцать пятому января.

— Значит, к первому февраля будут обязательно?

— Да, к двадцать пятому января обязательно, — гордо и неприязненно говорит Соломон Борисович.

Он становится в позу, протягивает вперед руку и торжественно произносит:

— К двадцать пятому января — ручаюсь моим словом.

В зале припадок смеха. Хохочет даже председатель.

Соломон Борисович краснеет, надувается, плюется, размахивает руками. Он уже на середине зала:

— Вы меня оскорбляете. Вы имеете право оскорблять меня, старика? Вы? Мальчишки?

Хохот стихает, но вежливый румяный и веселый Ключнев говорит негромко:

— Никто вас не хочет оскорблять. Но я перед всем собранием утверждаю: вы говорите, что новые опоки будут готовы к двадцать пятому января, а я утверждаю, что они не будут готовы и к двадцать пятому февраля.

В собрании тишина внимания: что ответит Соломон Борисович? Но он молча поворачивается и уходит. Все смущены. Кто-то говорит Ключневу:

— Ты все-таки чересчур. Разве так можно с человеком? Он ручается словом.

Ключнев спокойно:

— И я ручаюсь словом. Если я окажусь неправ, выгоните меня из коммуны.

В первых числах февраля на мой стол оперся локтями Синенький, поставил щеки на собственные кулачки, долго молча наблюдает, чем я занимаюсь, и, наконец, осторожно пищит:

— Сегодня ж шестое февраля?

— Да, шестое.

— А новых опок еще не сделали...

Я улыбаюсь и смотрю на него.

— Не сделали.

— Значит, Ключнев Вася правильно говорил...

— Выходит, так.

Синенький срывается с места и вылетает. Только в дверях он оборачивается и делает мне глазки:

— А Соломон Борисович, значит, не сдержал слова...

Но Синенький произвел эту рекогносцировку неофициально. Ни в общем

собрании, ни в совете командиров не вспоминают о состязании Соломона Борисовича и Ключнева. Соломон Борисович недолго обижается. Он оживлен и энергичен и первого марта с торжеством говорит общему собранию:

— Ваше желание, коммунары, выполнено: сегодня готовы новые опоки, и мы переходим на формовку в песке...

Коммунары шумно аплодируют Соломону Борисовичу. Я ищу в зале Ключнева. Он прячется от меня за чьей-то головой и хохочет, хохочет. Перед ним стоит Синенький и быстро бьет ладонью о ладонь, широко отставив пальцы. Смотрю — и многие коммунары заливаются, но так, чтобы не видел Соломон Борисович.

А Соломон Борисович высоко поднял руку и говорит звонко:

— Видите, что нужно и что можно сделать для производства, я всегда сделаю.

В зале взрыв аплодисментов и уже откровенный взрыв смеха. Смеется и Соломон Борисович.

13. На дороге

Несмотря на холод в цехах, плохой материал и полное изнеможение станков, без всякого сомнения заканчивающих свою земную жизнь, коммунары подходили к концу первого квартала без больших поражений.

Тридцать первого марта мы просидели до 12 часов ночи в общем собрании — дела были серьезные.

Промфинплан первого квартала был выполнен:

арматурным цехом	86%
деревообделочным	108%
швейным	130%
коммуной в среднем	102%

Всего выпущено продукции по себестоимости на сумму 174 000 рублей.

Напали на металлистов:

— Так мы и говорили, что вы подкачаете... Вот у вас прорыв, где еще 14% плана гуляют? А ведь у вас собрались самые квалифицированные коммунары.

Металлисты были очень смущены. В особенности был огорчен четвертый отряд, в котором были и Юдин, и Ключнев, и Грунский, и Скребнев, и Козырь. По выполнению своих отрядных норм отряд шел впереди всех отрядов коммуны, уступая только одиннадцатому отряду девочек (после закрытия никелировочного цеха у нас была произведена реорганизация отрядов, и девочки получили номера десятый и одиннадцатый). Но другие отряды токарей далеко отстали от четвертого, а особенно отставали литейщики. За литейщиков и взялось общее собрание.

— Два месяца держались за киевскую глину, выпускали больше брака, чем дельного литья.

— Зайдешь к ним в цех — не литейная, а аптека; это не трогай, а на это нельзя смотреть, а это секрет какой-то, а на самом деле саботаж-

ники. А командиры-литейщики? Хоть один был рапорт за квартал?

— Чего, хоть один рапорт? — вскакивает задетый за живое командир девятого. — Мало было рапортов?

— А за мастером вы смотрели? Вы, вот, посадили токарей на «декохт»... Что мы не знаем, как они гонялись за масленками? Каждое утро у них в очереди стоят. Куда это годится такое?..

— А где Ганкевич, почему его нет на собрании?

Председатель немедленно посылает за Ганкевичем пацана. Ганкевич приходит смущенный и злой.

— Я работал двенадцать часов в сутки, разве я отдыхал когда³⁸

В левом здании будут спальни на триста человек, больничка, вешалка и кое-какие подвалы. В правом здании расположится в двух этажах новый завод — завод ручных электросверлилок.

Центральное здание все придется перестроить: кухню опустить в подвал, за счет классов вниз и коридора расширить столовую, спальни второго этажа обратить в аудитории, из теперешнего «тихого» клуба и спальни девочек сделать театр на пятьсот человек, в теперешнем «громком» клубе устроить «тихий». Придется в центральном здании передвинуть почти все переборки.

Косалевич добивался на Правлении:

— Нельзя ли коммунаров раньше отправить куда-нибудь, чтобы раньше начать перестройку?

Но в Правлении сказали: нельзя никуда отправить, нужны большие средства, нужно сейчас работать, уедут коммунары только пятнадцатого июля.

В этом проекте самым увлекательным был завод электросверлилок.

Мы видели уже эту электросверлилку, инженеры достали где-то заграничную: алюминиевый кожух, ручка, собачка, все вместе немного похоже на револьвер, только больше — сантиметров сорок в длину и цилиндричнее. Внутри моторчик, механизм, шестеренки — внутренность еще мало понятная, но говорили инженеры, что в работе нужна точность до одной сотой миллиметра. Если эту сверлилку разобрать, получается много деталей. Одних названий деталей сто одно.

До сих пор сверлилки эти привозились к нам из Америки, Австрии, платили за них золотом. Коммунары на сверлилку смотрели со страхом и уважением:

— Это тебе не масленка, тут тебя один моторчик слопают с потрохами. Одна сотая миллиметра — какие очки надевать нужно?

— Правда, что у нас мастеров таких пока что нету, а все-таки сделаем, вот увидите, сделаем, еще как...

Все это дело: и новые здания, и новый завод, и новые коммунары, все это представлялось в далеком тумане, но не туманом уже были ряды кирпича, обступившие коммуно со всех сторон, пирамиды песка, сосновые бараки для рабочих, начальник строительства Вастонович. А в конце марта пришли люди с топорами и хватили ими по нашему милому саду. Из пацанов кое-кто ахнул:

— Сад? Ой, жалко ж...

— Чего ты трепыхаешься? — сказал кто-то из старших. — Яблок жалко?

Так яблоки, это что? Яблоки — это баловство, а тут тебе электросверлилка...

Пацаны не успевали, впрочем, переживать как следует все, что им выпало на долю в это время. Слишком много было потрясающих впечатлений, а впереди еще поднимались кавказские горы. Не успели вырубить сад, как начали копать котлованы для фундаментов, а в начале апреля на нас навалилось новое дело: постройка дороги.

О дороге к белгородскому шоссе мы хлопотали давно. Нужно было проложить мостовую длиной в километр с четвертью, а сейчас мы положительно изнемогали от бездорожья. Даже пешеходы добирались до шоссе ценою великих страданий и сложной обходной стратегии. Ведь вы знаете, что такое старая российская дорога? Это такое место, которое меньше всего приспособлено быть дорогой. Так вот именно такая дорога отделяла нас от белгородского гудронного шоссе.

В течение зимы совет командиров отправил несколько делегаций в Коммунхоз. Совет командиров писал Коммунхозу, что для перевозки двадцати пяти пудов груза нужно запрягать трех лошадей, что извозчики отказываются вообще к нам ездить, а о проезде машиной нечего и думать.

И к весне Коммунхоз, наконец, сжалился над нами и приступил к прокладке дороги. Начались земляные работы, свозили камень. С земляными работами сразу обернулось очень плохо. Нужно было сделать выемку длиной до полуверсты — для этой работы наняли даниловских и шишковских крестьян и платили им по поденному расчету, а по сдельному они ни за что не хотели работать — слишком для них подозрительным показался кубический метр.

Посмотрели мы с недельку на эти земляные работы и головы повесили: при таких темпах дорогу окончат не раньше конца пятилетки. Еще прошла неделя. В общем собрании заговорили:

— С такой работой нечего возиться. Либо бросить все дело, либо искать новых рабочих.

— А где ты их найдешь?

Пришел в собрание и десятник с дороги и сказал:

— С дорогой плохо, прямо вам говорю.

Кто-то из коммунаров спросил:

— А если бы нам взяться за дело?

Десятник улыбнулся высокомерно:

— Что вы, разве это детская работа?

— Какие мы дети! — обиделся Грунский. — Хорошие дети...

— Сколько там у вас больших, а малышам будет трудно. Знаете, земляная работа, она...

Так собрание и кончилось ничем. У себя я сказал десятнику:

— Жалко, разумеется, отрывать ребят от производства, но вы знаете, если бы ребята взялись, за шесть дней выемку бы окончили.

Десятник и теперь не поверил, а через три дня снова пришел ко мне и сказал:

— Что ж, надо прекращать работу. Эта волынка обходится дорого, и к осени дорогу не окончим.

— А не потрубить ли нам, Василь, совет? — спросил я Дорошенко.

Дорошенко подумал, подумал:

— Насчет дороги? А как же с промфинпланом будет? На дорогу нужно не меньше десяти дней.

— Десять дней? — удивился десятник. — Голубчики мои, да это ж прямо чудо... Давайте...

— Потрубить можно, что ж, — сказал Василь.

Потрубили. Командиры задумались:

— Десять не десять, а на неделю придется закрыть производство.

Соломон Борисович разволновался до истерики:

— И что вам в голову приходит? Откуда такое приходит в голову? Десять дней, это по себестоимости на сорок тысяч рублей продукции. Что такое? Вы соображаете своей головой?

— А если останетесь совсем без дороги? — сказал десятник.

— Как без дороги? Без дороги нельзя...

— Соломон Борисович, — сказал кто-то, — если мы не выполним промфинплан, тогда можно будет в июне лишний час прибавить, да мы и так выполним...

— Надо не выполнить, а перевыполнить...

— И перевыполним...

— Ну, делайте как хотите, — сказал Соломон Борисович.

Совет командиров постановил: отдать на дорогу одну пятидневку за счет производства и за счет учебы, — значит, по 8 часов в день. В школе у нас дела шли хорошо.

— А лопаты будут? — спросил я десятника. — На сто пятьдесят человек!

— Да я вам не только лопаты, я вам черта достану, только помогите.

Совет командиров немедленно отправился на дорогу и разделил всю выемку на двенадцать частей — по числу отрядов, пацанам и девочкам дали более мелкие части выемки, кто постарше — глубокие. Вышло на каждый отряд по сорок с чем-то метров погонных.

Филька посмотрел на свой участок и сообразил:

— По два с половиной метра на пацана, а глубина тут сантиметров тридцать... Ого...

В следующие дни линия дороги была похожа на какой-то фейерверк земляных бросков. По сторонам линии все росли и росли земляные валы, коммунарские головы все глубже и глубже уходили в землю. Через три дня четвертый отряд окончил свой участок и перешел на участок девочек, а девочек упростили отправиться на помощь пацанам.

— Там вам легче, здесь высоко бросать нужно...

Все-таки за пятидневку не окончили, пришлось истратить и выходного дня половину.

Но к вечеру в выходной день пришел ко мне десятник и сказал, захлебываясь:

— Это же замечательно, честное слово, я никогда такого в жизни не видел... Это же замечательно, ей-богу, это прямо замечательно!..

Был тихий и теплый вечер. Коммунары прогуливались по вырытой выемке, и Сопин декламировал:

— Пацаны — это тебе кадры! Это не какая-нибудь мелкая буржуазия из Даниловки...

В первых числах апреля еще волнения — перевыборы совета командиров.

За месяц вперед началась кампания по перевыборам. Комсомольское бюро часто и ужин пропускало за этим трудным вопросом. А вопрос был действительно трудным: новому совету командиров предстояли большие дела — тяжелый промфинплан, постройка, конец учебного года, кавказский поход. Дорошенковский созыв, по мнению бюро, расстрепал коммуны: воров завели, потеряли Воленко³⁹, разбаловали пацанов, не сумели крепче связаться с инженерами, проектировавшими новое производство. Только и заслуг было, что приступили к дороге. И в бюро и среди актива все высказывались за крепкий состав совета:

— Надо выбирать таких, чтоб корешкам не смотрели в зубы.

В некоторых отрядах не нравились такие идеи. Литейщики и кузнецы доказывали:

— У нас все одинаковы. Кого отряд выдвинет, тому и будем подчиняться.

На избирательном общем собрании споров не было.

Бюро выдвинуло еще одно предложение: не избирать отдельно дежурных по коммуне, а дежурить командирам по очереди:

— А то у нас так: дежурный на части разрывается, а командиры смотрят — пускай себе. А вот когда он будет знать: сегодня этот дежурит, а завтра я, так у него другой порядок в отряде будет.

Против этого никто не возражал — в самом деле — да и начальства меньше. Это постановление имело в дальнейшем огромное значение. Командиры в коммуне сделались с тех пор действительными руководителями нашего коллектива.

Собрание выбрало таких кандидатов:

Первого	отряда —	Землянский
Второго	•	— Швыдкий
Третьего	•	— Ширявский
Четвертого	•	— Ключнев
Пятого	•	— Похожай
Шестого	•	— Кравченко
Седьмого	•	— Дорохов
Восьмого	•	— Студецкий
Девятого	•	— Сергиенко
Десятого	•	— Вехова
Одиннадцатого	•	— Пихоцкая

Секретарем совета командиров выбрали Никитина, подчеркивая этим избранием большие задачи нашего самоуправления. Никитин — самый старый коммунар, перебивавший командиром несколько раз. Он до сих пор находился как бы на покое, и выбирали его только в самые ответственные комиссии. Никитин — человек, прежде всего, суровый, во-вторых, Никитин знает все⁴⁴.

14. Положение на фронте

.....

15. Четырнадцатое июля

.....

напихал Колька всякого добра: бинтов, йоду, каких-то капель, английской соли...

Было много мороки со всеми этими мелочами. Уже с июня стали собирать ребята старые газеты, чтобы выложить ими в корзинах.

Совет командиров мобилизовал всех женщин в коммуне научить ребят складывать костюмы так, чтобы они не мялись и не мешали друг другу. Это оказалось довольно сложной наукой, и многие пацаны с трудом постигали ее теоремы. Командирам по горло было забот с обще-взводным имуществом: ведра, топоры, гвозди, веники, фонари. Фонарей «летучая мышь» полагалось на каждый взвод три штуки. А для фонарей нужен был керосин, а для керосина — банки.

В особенности много повозились мы с лагерями. Сначала думали взять палатки с собой в поход. По этому вопросу долго спорили на общем собрании. Маршрутная комиссия требовала, чтобы палатки сопровождали нас по Военно-Грузинской дороге. Панов говорил на собрании:

— Вы не думайте, что там для вас везде приготовлена хорошая погода. А если дождь, куда вы денетесь на дороге?

— Дождь не страшно, — говорили на собрании, — ну что ж, помокнем немного. А ты говоришь: палатки. Ну хорошо, возьмем палатки. Вот пришли мы на ночлег, а тут на тебе: дождь... что ты будешь делать?

— Как что? Разобьем лагерь!..

— Разобьешь, какой ты скорый!.. Во-первых, чтобы развернуть палатку и натянуть, нужно не меньше как полчаса, и ты измокнешь, и палатка вся мокрая, а, во-вторых, на каком же месте ты ее разобьешь?

— Как на каком? Мало ли на каком? На каком удобнее...

— А я тебе скажу, на каком...

— А ну, скажи...

— На мокром...

Общее собрание взрывается смехом.

— Верно, на мокром...

— И придется ложиться все равно на сырую землю. А на другой день ты палатку должен свернуть? Должен?

— Ну, должен, — говорит уже сбитый с толку член маршрутной комиссии.

— А как ты ее свернешь, если она мокрая, ее сушить надо? А если дождь не перестал?

— Верно, — закричали в собрании, — не надо палаток... возиться с ними.

Но маршрутник не сдается.

— Вы так говорите, как будто вы маленькие или дурачками прикидываетесь. Смотри ты: пошел дождь, а он полчаса палатку натягивает,

и он, бедный, измокнет, и палатка измокнет, все пропало. А разве так делается? Видим, что туча находит, значит, стой, разбивай лагерь, пока там дождь...

Редько перебивает:

— А туча прошла, опять свертывай, так перед каждой тучей и будем, как на ярмарке, развертывать и свертывать...

Собрание снова хохочет, хохочет и маршрутная комиссия.

— Ну хорошо, мокните, нам все равно, а вот другое — вы знаете, что такое Крестовый перевал?

— А что там страшного?

— Мы вот ехали с Антоном Семеновичем, так прямо по снегу три километра над уровнем моря, а там ночевать придется или близко оттуда, а где ты согреешься?

— В палатке?

— Ну да, в палатке...

— И в палатке не согреешься...

Крестовый перевал все же не дождь, и над ним коммунары задумались. Потом решили удлинить марш через перевал: пройти за один день верст пятьдесят и таким образом избавиться от ночевки в самом холодном месте. А на всякий случай согласились:

— Ну и померзнем, не большая беда, как-нибудь друг друга нагреем.

Лагери решили отправить прямо в Сочи товарным грузом, а для постройки лагерей командировать в Сочи Панова — он знает место для лагерей, а Военно-Грузинскую он все равно уже видел. Панову только пятнадцать лет, но он уже на втором курсе. Славится он постоянной бодростью, очень малым ростом и великими математическими способностями. Вместе с Пановым посылаем Семена Мойсеевича Марголина⁴¹.

Марголин — фигура последней формации. Ему лет тридцать, и официальное положение его в коммуне — киномеханик. В коммуне он должен бывать раза два в пятидневку, пропустить фильм, и за это он получает сто восемь рублей в месяц.

Но коммунары уже давно усовершенствовали Марголина. Чего только Марголин не делает: он и ремонтирует проводку, и чинит моторы, и устраивает иллюминацию, и достает билеты для культпохода, и покупает мазь для оркестра, он «и швец, и жнец, и в дуду игрец». И если Марголин какое-нибудь поручение выполнит плохо, на него сердятся и кричат:

— Сенька, ты опять напутал? Как тебе говорили, ты чем слушал?

Сенька всегда весел и доволен жизнью — он влюблен в коммуну. Из-за коммуны он забыл дом, семью, жену, семейное счастье. Жена Сенькина, маленькая изящная женщина, иногда приходит в коммуну, улыбается сквозь слезы и жалуется:

— Что это такое? Четыре дня не было дома...

Тогда Сеньке говорят:

— Ты что ж, и дома путаешь все!.. Ступай домой да смотри, не забудь завтра зайти узнать, как там фанфарные занавески, готовы?

Сенька сейчас возится с лагерями: надо запаковать доски, колья, веревки, надо достать вагоны, приготовить инструмент...

Посторонний человек, приехавший в коммуну, не заметил бы ника-

ких приготовлений к походу. Так же чисто в коммуне, так же расцветает день сигналами, так же шумят мастерские и журчит наука в классах. Только где-то глубоко в подвалах, кладовках, на черных дворах рассчитывают, измеряют, запаковывают наши будущие походные дни. По вечерам коммунары толпятся на стройке, спорят с Делем и Степаном Акимовичем, и только немногие возятся со своими корзинами. У пацанов дела больше всего. На их плечах прощальный вечер в клубе ГПУ. Кружок пацанов, поставивший в свое время «Постройку стадиона», не разошелся. Он ставит обзоры на какие угодно темы. Он уже поставил «Дзержинцы в Европе» и «Паровоз», а теперь готовит сложную политическую сатиру под названием «Red Army». Чего только нет в этой сатире: Пуанкаре, Бриан, Макдональд, Пилсудский, китайские генералы, рабочие и, самое интересное, Красная Армия. Постановка — дело сложное. Не только нужно знать текст, не только играть, но и костюмы приготовить и все художественное оформление. И все это должны сделать пацаны.

В последние дни коммунары смеются, прыгают, радуются, а посмотришь на них внимательнее, и так ясно видно: устали ребята до последней степени — побледнели, похудели. Стали попадаться в совете командиров заявления:

— Прошу перевести меня в какой-нибудь другой цех, так как я здесь очень утомился.

В совете командиров не потворствовали малодушным:

— Все утомились, отдохнешь в Сочи.

В последний раз собрался совет командиров 10 июля, чтобы разрешить много последних мелочей. Пристал строитель Вастонович:

— Надо приступать к перестройке главного дома — убирайте все ваше добро.

Убрать не так легко: мебель, гардины, портреты, книги, кровати. Насилу нашли такое помещение, перестройку которого согласился Вастонович отложить до нашего возвращения.

И еще вопрос: кому передается переходящий приз — знамя коммуны? Девочки выполнили промфинплан лучше всех цехов, а у девочек лучший отряд одиннадцатый. Но у металлистов лучший отряд четвертый, и по выполнению норм он первый в коммуне. Оба отряда заявили свое право на знамя. Помирить их совет командиров не мог и решил на время похода выбрать специальную знаменную бригаду. Общее собрание выбрало знаменщиками Конисевича и Салько, ассистентами — Похожая и Сергея Соколова.

Наконец, настали последние дни. Закрыли школу. Опустошили все комнаты коммуны — попрятали все подальше, свернули лагеря и отправили на вокзал.

13-го вечером расформировали отряды и ночевали уже в походном порядке — по взводам, а 14-го уже и делать нечего. Пацаны что-то заканчивают к постановке, хозкомиссия раздала последний багаж по взводам. Командир четвертого отряда Ключнев один оказался в маленьком прорыве:

— Как я сдам знамя? Кисти такие старые, одни кулачки остались. Сколько раз говорил Степану Акимовичу...

В четыре часа дня послали кого-то в город за кистями.

За обедом прочитали приказ:

Коммуне имени Дзержинского с 14-го числа считаться в походе. Заведование коммунной на месте передается товарищу Левенсону. В пять часов вечера всем построиться в парадных костюмах для марша в клуб ГПУ. После вечера в клубе всем переодеться в походные костюмы и строиться для марша на вокзал. Обоз все время при колонне.

В пять часов проиграл Волчок общий сбор. В сторонке уже стояли нагруженные доверху восемь возов обоза. Выстроились в одну шеренгу против фасада коммуны, на правом фланге заблестели трубы оркестра, засмеялись на солнце занавески фанфар. Белый строй коммунар не забываемо красив, свеж, совершенно необычным мажорным мотивом врезывается в память. На макушках коммунаров золотые шапочки, только командиры в фуражках с белым верхом.

Пробежали последние деловые пацаны. Кто-то поправил завязку на ногах, кто-то потуже затянул пояс, девочка отряхнула последнюю нитку с юбки и, улыбаясь, смотрит на меня:

— Ох, и хорошо ж!..

— Под знамя смирно!

Вынес четвертый отряд знамя в чехле и замер перед фронтом. С правого фланга отделилась знаменная бригада, под салют оркестра приняла знамя, и вот оно уже на правом фланге во главе нашей белоснежной колонны, чтобы быть там полтора месяца. Высоко подбрасывая пятки, стремглав пролетел Алексюк со своим флагом на место⁴².

Против нашего строя собрались служащие и рабочие коммуны, строители, техники, на стройке затихли стуки и опустели леса. Многие идут с нами в клуб на прощальный вечер.

Как будто все готово. Несколько прощальных слов остающимся, несколько пожеланий с их стороны.

Соломон Борисович смотрит на нас и волнуется, на глазах у него слезы:

— Эх, поехал бы с вами... хорошие мальчики и девочки, мне трудно без них... Ах, как они работали, как звери, как звери!

— Соломон Борисович, станки ж, смотрите! — кричат из третьего взвода.

— Хорошо, хорошо, ты не бойся...

— Ну, пора.

— Колонна, смирно!

Но кто-то прорвался сквозь строй и дышит так, как будто у него все цилиндры лопнули.

— Что такое? Где ты был?

— Кисти!..

— Ах, кисти!..

Склонилось знамя, и несколько человек занялось его украшением.

— Ну? Больше ничего не будет?

— Ничего, можно трогать...

— Колонна, смирно! Справа по шести, шагом марш!

Тронулся, зазвенев, оркестр, тронулось знамя, ряд за рядом перестраивались коммунары, проходя мимо заулыбавшихся родных пацанов левого фланга.

16. Первые километры

Рано утром пятнадцатого июля коммунары уже сидели в вагонах. В первом поместился оркестр, во втором — первый и третий взводы, в третьем — второй и четвертый — пацаны и девчата. Поместился и я с этой компанией, наиболее предприимчивой и опасной в пути.

Ожидая посадки на вокзале, истомились без сна, и поэтому, как только распределили командиры места, открыли ребята корзинки, достали одеяла и завалились спать. Даже самое замечательное наслаждение, о котором все мечтали за месяц до похода — смотреть из окна вагона, было отложено до будущего времени. Только в Донбассе выставили ребята любопытные носы в окна и засыпали друг друга вопросами:

— Ты, наверно, не знаешь, что это за такие кучи?

— Я знаю.

— Ты, наверно, думаешь, что это уголь? Ха, ха, ха...

— А по-твоему, это дрова?

— Это — порода. Понимаешь? Порода, земля...

— А ты все понимаешь? Это, по-твоему, доменные печи?

— Нет, не доменные.

— А что?

— А тебе какое дело, что?

— Это тоже порода?

— Вот народ какой, эти пацаны!.. — говорит Сопин, командир четвертого взвода. — Ну вот, из-за чего они ссорятся?

— Мы разве ссоримся? Мы разговариваем.

— Знаю, какие это разговоры. Это разговор, а через минуту начинают драться. У меня во взводе чтобы этого не было!

В переднем вагоне заиграли сигнал. Пацаны прислушались.

— Хлопцы, на завтрак!..

Из-под одеял высунулись головы.

— Странно как-то, вставать не играли, поверки не играли, а прямо в столовую...

В вагон входит Кравченко, член хозкомиссии и ее признанная душа.

— Командир, давай пацанов, получить по фунту хлеба, по два яйца и по яблоку.

— Мы в хлебе не нуждаемся, — говорит Сопин.

— Отправишь двадцать буханок в средний вагон, там разрежем.

По вагону проходит Ключнев. Сегодня он дежурный командир.

— Чтобы в вагоне не было скорлупы, крошек, санобход будет после завтрака.

Они с Кравченко удаляются, преисполненные важности, — они имеют право переходить из вагона в вагон. За ними отправляется несколько пацанов за завтраком. В отделении девочек тоже зашевелились. Прибежали старшие за буханками и тоже в зависти.

— Вот здорово, у них какие окна, по три человека может смотреть...
Снова в вагоне Кравченко.

— Если у кого попадет плохое яйцо, скажи командиру — обменем.

Кравченко великий специалист своего дела. Он провел хозкомиссию в крымском походе и теперь, когда его выбирали, чуть не плакал:

— Пожалейте, хлопцы, никогда покою нету, и день и ночь паришься.

Но хлопцы его не пожалели:

— Не ври, чего там паришься! А у нас поход серьезный, сам понимаешь! А тебе что? Мы пёхом жарим, а ты в обозе едешь, и пици у тебя хоть завались...

— Та на ту пицу дывытысь протывно...

В крымском походе с ним случилась смешная история, которую никогда коммунары не забудут. Колонна коммунаров спустилась в Симеиз прямо от обсерватории через Кошку, а обоз пошел по шоссе. На каком-то повороте слез Кравченко с воза и присел на дороге переобуться, потом на что-то загляделся и потерял обоз из виду. Бросился вдогонку, попал не на ту дорогу и совсем заблудился. Обоз вошел в Симеиз, присоединился к колонне, а Кравченко нет. Ждали, ждали и забеспокоились. Уже стемнело. Послали трубачей в горы и сказали:

— Играйте сбор, не поможет — играйте на обед, обязательно прибежит.

Но и «на обед» не помогло. Так Кравченко и не нашли и без него на другой день отправили обоз в Ялту, а сами погрузились на катер. Большинство было опечалено трагической гибелью Кравченко, но опытные коммунары говорили:

— Найдется старый, не бойтесь...

Действительно, в Ялте на набережной, когда мы сходили с катера, нас встречал Кравченко, измазанный и потертый.

— Где тебя черт носил? — спрашивают у него.

— Да где ж? Я ото отстал от обоза, черт его знает, куда оно повернуло, ходил, ходил, та й пришел в Симеиз отой самый. Спрашивал, кого только ни спрашивал, чи не видел кто обоза, так никто и не видел, как скрозь землю провалился. Так я й пошел прямо в Ялту, денег со мной же не было...

Коммунары, пораженные, выслушали эту исповедь.

— Да слушай ты, халява!..

— Ну, чего ж я халява? — спросил Кравченко обиженно.

— Халява! А чего ж ты не спросил, чи не бачылы тут хлопцив з музыкаю?

— Та на що мени музыка ваша, — разозлился Кравченко, — когда мени обоз був нужный!.. А дэ ж вин зараз?

— Кто?

— Та обоз же, от ище дурень...

— Обоз в пять часов отправился в Ялту.

Кравченко бегом бросился в город... Так и не разобрал он, почему его назвали халявой.

Теперь Кравченко опытнее и, пожалуй, не потеряется, но и теперь он умеет ограничить свои действия формулами самой ближайшей задачи.

После завтрака культкомиссия притащила газеты и журналы, купленные на узловой станции. Но недолго коммунары предавались политике, завязались разговоры. Они были на границе двух эпох, совершенно не похожих одна на другую: они только что оставили свои станки и развороченную в стройке коммуны, но еще не вступили в сложные переплеты похода. Говорили все-таки больше о коммуне.

— А интересно, чи отремонтирует станки Соломон Борисович?

— А на что тебе станки эти? Там, брат, будут такие машины!..

— Не успеют к нашему приезду...

— Успеют!..

— А здорово дорога вышла, красота!..

— А вот, хлопцы, сто пятьдесят новеньких как напрут, ой-ой-ой!..

Напрасно мы позадавались перед Правлением.

Дело в том, что в Правлении все-таки побаивались — новенькие разнесут. Но коммунары в Правлении говорили:

— Вот увидите, как тепленькие на места станут...

— Все-таки лучше пригласить двух-трех воспитателей.

— Хуже, гораздо хуже, волынка будет. Вот увидите: срок четыре месяца, через четыре месяца не отличите, где старый, где новый, мы уже это знаем.

Это положение — обработать новых за четыре месяца без помощи воспитателей — без всякого формального постановления сделалось почему-то обязательством коммунаров, его признавали как обязательство и коммунары и Правление и о нем часто вспоминали. Большинство коммунаров считало, что вопрос о новых вообще — вопрос пустяковый, гораздо труднее в их глазах был вопрос о заводе.

Только подъезжая к Владикавказу, мы стали больше предаваться перспективам ближайшего будущего. На Минеральных Водах на секунду задержались с воспоминаниями: многие ребята в свое время посетили Минеральные Воды, хотя и не имели командировки Курупра⁴³. Вспоминали сдержанно и недолго:

— Тут летом жить можно...

Владикавказ встретил нас проливным дождем. Из вагонов не вышли, думали: вот перестанет. Но дождь у них какой-то странный: жарит и жарит с одинаковой силой, без всякого воодушевления, ровно, упорно, и самому ему как будто скучно так однообразно поливать землю, а он все-таки поливает и поливает. Просидели час в вагонах и пришли в полное недоумение. Собрали совет командиров взводов.

Никитин председательствует в совете. Степан Акимович зло смотрит на станционное здание, поливаемое дождем.

— Вот дьявол заладил. Так вот, товарищи. Под таким дождем погрузиться на подводы, достать хлеба, выступить невозможно.

— Уже и поздно, — говорит Никитин, председатель маршрутной комиссии. — Нам полагалось выйти из города в 10 часов, а сейчас уже два. Опоздали, а теперь дождь этот, да пока соберемся и нагрузимся, будет уже вечер, куда же идти под дождем. Давайте ночевать...

С нами сидит и думает представитель ОПТЭ⁴⁴.

— А как же обед? Мы для вас обед приготовили. А ночевать где вы будете?

— А нельзя в вагонах?

— А пожалуй, что и можно...

— А обедать как-нибудь попробуем позже...

На том и решили. Начальник станции разрешил переночевать в вагонах. Коммунары занялись уборкой, часть отправилась на поиски фруктов, и через пятнадцать минут весь базарчик на площади перед вокзалом был прикончен. Под вечер кое-как пробрались в город и пообедали.

Представитель ОПТЭ говорил нам:

— На дождь не смотри, дождь три дня, четыре дня будет. Ты иди, там дождя не будет...

Решили завтра выступить во что бы то ни стало. До вечера спорили и торговались с возчиками, договорились о шести парных арбах за пятьсот рублей до Тифлиса. Помогло то обстоятельство, что мы захватили с собой из Харькова несколько мешков овса.

Утром проснулись — к окнам: дождя нет, но небо несимпатичное — все равно дождь будет. Хозкомиссия наскоро выдала по куску колбасы. Объявили приказ:

Немедленно погрузить обоз. Строиться на площади в обычном порядке, форма одежды летняя (выходные трусики и парусовки). Караул при обозе от первого взвода.

Пробежали командиры на площадь, распределили между собой арбы. Потянулись коммунары через рельсы с корзинками, ящиками, трубами. Обоз грузили долго и мучительно. Осетины завидовали друг другу и не признавали нашей взводной организации, перебрасывали ящики и корзинки с воза на воз, упрекали нас в обилии багажа. Коммунары уговаривали их:

— Ты кушать будышь?

— Кушать будым, — смеется старик с обкуренной сединой в бороде.

— И мы будым.

— Зачем так много кушать брал?

— Про тыбэ все думал.

Старик смеется. Смеется и коммунары и уже по-русски доказывает:

— Ты не бойся, тут еды на сто пятьдесят человек. Вот в Балте подзаложим, легче станет, а в Тифлис придем — пустые арбы будут. Все поедим.

Теперь уже старик шутит:

— Ты и корзынка поедьш?

— Корзынка не-э-э-эт, — хохочут коммунары.

Осетины постепенно делались добрее и сговорчивее. Но обнаружилась другая беда: веревок у осетин нет, шины на колесах еле держатся, ободья тоже «живут на ладане», как говорит Соломон Борисович.

— Как же мы доедем? — спрашивает Степан Акимович.

— А чиво?

— Как чиво? Двести километров...

— Доедым, не бойся...

— А веревка?

— А веревка нужный, это верно...

Начинается дождик. Веревок нет, и за хлебом только что уехал Крав-

ченко на пустой арбе. Решили выступать и подождать обоз при выходе из города. Три арбы, впрочем, готовы выступать с нами.

Построились, вынесли знамя.

— Шагом марш!

С музыкой пошли через город. Нигде я не видел таких ужасных мостовых, как во Владикавказе. То взбираешься на неожиданно выплывший каменный зуб, то проваливаешься в ущелье, наполненное дождевой водой. Вышли в центр города. Левшаков впереди размахивает руками, потерял человек всякую парадность. Обгоняю оркестр, подхожу к нему.

— Не спеши, пацанам трудно.

— Надо ж окончить поскорее эту каторгу!

Нагоняет меня пацан из четвертого.

— Одна арба рассыпалась!

Посылаю тройку из первого взвода. Наконец переходим через Терек, проходим еще около километра, и мы на краю города. Останавливаемся около верстового столба, на котором стоит цифра 1. Мы уже на Военно-Грузинской, впереди нас горы, покрытые сеткой мелкого дождя. С нами пришла только одна арба, остальные отстали. Выясняется, что со второй арбы свалилось два ящика.

— С чем ящики? — тревожно спрашивает Левшаков.

— С яйцами, кажется.

— Ну, будет дело, — говорит Левшаков.

Распускаем колонну, но дождь все усиливается, а спрятаться негде. Около часа терпеливо мокнем, наконец надоело. Прибежал гонец от Степана Акимовича:

— С хлебом и с веревками еще задержимся немного.

Посылаю гонца обратно:

— Скажи: колонна ушла, ожидаем обоз на восьмом километре.

Я дал приказ двигаться дальше «вольно». Знамя привязали к арбе, очередные разобрали басы. Еще в коммуне был составлен план переноски басов, каждый коммунар знает, от какого километра до какого он несет бас, от кого принимает и кому сдает — вышло в среднем по десять километров на человека, девочкам поменьше.

Пошли «вольно» и сразу быстро. Человек восемь взяли под руки: я, Акимов, Ключнев, Камардинов, Харланова и еще кто-то — и широкой шеренгой двинулись вперед. Через минуту нас вприпрыжку обогнала стайка пацанов и скрылась за поворотом. Кто-то из них обернулся, крикнул:

— На восьмом километре?

Мне с коммунарами идти трудно: я в сапогах, а они в трусиках и в легких спортсменках, но нужно держать фасон. Идем очень быстро, за нами растянулась вся коммуна, далеко позади темнеет громада единственной арбы, следующей за нами.

Подошли к Тереку. Справа поднимается уже какая-то гора. Есть коммунары, изучившие Анисимова на ять⁴⁵. Они называют имя этой горы и что-то разглядывают на ее склонах. Но дождь еще поливает нас, и никому не хочется заниматься геологией. Нас все обгоняют и обгоняют, и мы уже слышим за собой понукание нашего возчика.

Только на шестом километре вышли мы под ясное небо. Задержали шаг и окунулись в тепло и солнце. Громче защебетали девочки, заиграл

смех, кто-то за кем-то уже погнался. Прошли мимо каких-то хаток и впереди на спускающейся вниз дороге видим: на каменном парапете сидят все коммунары, как воробьи на проволоке, длинной белой лентой отделяют бурный Терек от линейки шоссе. Догадались — это и есть восьмой километр. Подошли и мы и тоже уселись на парапет. Фотокружок уже наладил на нас аппараты: рыжий Боярчук, Левка Салько и Козырь имеют в обозе целый ящик с пластинками.

Отдыхали недолго. Через четверть часа кто-то уже полез на ближайшую кручу, а пацаны уже бродят в отмелях Терека, и на них кричит ДЧСК:

— Ты же в выходных трусиках, что же ты их купаешь?

— Я не купаю... А смотри, какая вода холодная, а купаться негде.

Терек сейчас невиданно полноводен, грязен и бурлив. Он плюется сердито на пацанов и не дает им купаться. Пацаны тоже недовольны Терекком:

— Терек, Терек! Что за речка такая — замазура!

Группа с Филькой во главе потеряла терпение и замелькала пятками по дороге к городу.

— Куда вы?

— Обоз встречать...

Через полчаса они представили обоз в полном составе. Целая корзинная оргия на арбах, а рядом с возчиками сидят наши караульные и держат в руках винтовки. Примостился с ними и Степан Акимович, и пацаны упрекают его:

— Хитрый какой!..

— Чудак, чего ты ругаешься? Я ж тебя скоро обедом кормить буду.

Увидев обоз, пацаны вдруг спрыгнули с парапета и поскакали вперед по дороге, потом вдруг остановились:

— А где будем обедать?

— На пятнадцатом километре, — говорит Никитин.

За первым поворотом открылись новые пейзажи, новые ласковые мохнатые горы. Золотые шапочки коммунаров рассыпались и по дороге, и по откосам гор, и на берегу Терека. Мы бредем сзади с Левшаковым. Прошли маленькую деревушку Балту. За последней хатой через дорогу течет целая река прозрачной воды и падает водопадом с края дороги в балочку: высота водопада метров шесть. На дне балочки идет пир горой. Коммунары быстро сбрасывают легкие одежды и бегом слетают на дно под оглушительный удар водопада. Их с силой швыряет на дно, они перекатываются в шипящем потоке и снова в атаку. Один Миша Долинный стоит под самой стенкой и только покряхтывает. Левшаков без разговоров снимает рубашку и штаны. Левшакову шестьдесят лет, но он крепок и румян.

— А трусики что же не снимаешь?

— Купаться полагается в трусиках, — говорит Левшаков ехидно. — Это только граки без трусиков купаются...

Коммунары защищаются:

— Вам хорошо, как у вас, какие надел трусики, в таких и есть, а у нас сегодня выходные. Кто это такой приказ придумал, Никитин все...

Левшаков лезет под водопад. Миша протягивает ему руку, но с Левшакова уже сбило трусики, и они путаются у него в ногах. Через секунду

и сам Тимофей Викторович летит на дно и сваливается в одну кучу с пацанами...

— Ох, и хорошо же! — кричит он. — Вот это я понимаю — пляж!

Десяток пацанов облепил грузное тело Левшакова и катит его снова под стенку — визг, хохот, кутерьма и хаос... Девочки осторожно обходят эту неприличную кашу и, сняв спортсменки, бредут через реку на дороге. Над водопадом стоит Колька и бубнит:

— Х-х-х-охладная в-в-вода, п-п-п-ростудитесь, черти, г-г-де лечить в-в-вас...

— А вы, Николай Флорович, померяйте температуру, может, она и не холодная...

Где-то далеко впереди пищит сигнал на обед.

— Ой, лышенько ж! — вскрикивает Кравченко и вылетает из водопада.

На пятнадцатом километре расположился бивуак, и хозкомиссия делит обед. Хозкомиссия в затруднении — свинины хватает только на четыре взвода, так щедро разрезали. Левшаков держит в руках пять спичек — одна без головки.

— Всегда нам так выпадает, — говорит обиженно командир второго Красная.

— В свинине не везет, в любви повезет, — говорит Левшаков.

Девочки надуваются и молча сидят на камнях.

Кравченко смущенно держит перед ними нарезанную колбасу:

— Та чого ты, дывысь, що там доброго в тий свини...

Но через минуту девочки уже торжествуют: свинина оказалась с небольшим запахом.

В семь часов мы подходим к деревне Ларс у самого входа в Дарьяльское ущелье. Снова брызгает дождик — на дворе спать нельзя. У самой дороги школа, а в школе две маленькие комнатки. Командиры двигали, двигали плечами, а ничего не поделаешь — нужно размещаться. Для девочек сделали загородку из парт, корзинки поставили высокими стенками и кое-как, один на другом, улеглись. Вдруг открытие: рядом казарма, там почти никого нет, есть нары...

— И клопы, — говорит Левшаков.

Часть хлопцев перебирается в казарму. Левшаков начинает здесь крупную операцию, достает из чемодана примус, на примус ставит чайник. Пока закипает чай, хозкомиссия втаскивает два ящика с яйцами, и Левшаков с увлечением приступает к работе во главе хозкомиссии. Нужно перебрать два ящика яиц. Скоро казарма наполняется невыносимым запахом тухлого яйца, но Левшаков неумолим:

— Нельзя, иначе все завоняется.

Целую ночь они работают, а мы с Дидоренко пьем чай и иногда выходим к обозу. Под брезентами стоят арбы, а сторожевые коммунары мокнут под дождем.

Только в два часа ночи вошел в казарму Конисевич и сказал:

— Хорошо... Дождик перестал, уже одна звезда светит...

17. Тоже первые километры

Утром проснулись рано. Всех обрадовал ясный день и знакомый со вчерашнего дня шум Терека. Побежали на горку к ключу и через полчаса уже построились. Проиграли один марш, и снова «вольно» замелькали тубетейки по Военно-Грузинской. Сегодня особенно радостно на душе: на каждое впечатление отзываются коммунары бесконечным птичьим гомоном, писком удивления и стремительным бегом. Природа здесь как будто нарочно построилась в нарядные цепи, чтобы встретить дзержинцев, прибежавших сюда побаловаться после утомительных скрипов и визгов ржавого производства Соломона Борисовича. Вот нашли старую дорогу и минутку постояли возле нее, вот влезли в какую-то поперечную речушку, благо сегодня трусики не выходные, вот остановились возле коровы, спустившейся к воде с зеленого склона.

— Ну и корова ж, как коза, а не как корова, — говорит Алексюк, и вокруг него на мгновение замирают пацаньи голоса, чтобы немедленно разразиться:

— Отчего, как коза? Это такая у них и есть корова. А ты лучше посмотри на вымя. Ты видишь, сколько молока?

— Ну и что же? Сколько молока? Три кувшина!

— Три кувшина? Как бы не так. Здесь кувшинов десять будет, а то — три!

— Десять, какой ты скорый!

Старшие идут небольшими группами и солидно делятся впечатлениями. Только такие, как Землянский, не могут идти по дороге, а карабкаются по кручам и откуда-то из-за кустов перекликаются.

Скоро вошли в Дарьяльское ущелье. Оно не поразило ребят ничем грандиозным, но здесь все сложнее, и Терек сердитее.

Остановились возле замка Тамары.

— Так что? Она здесь жила, Тамара эта самая?

— Не жила, называется так...

— Нет, жила!..

— Да как же тут жить? С голоду сдохнешь...

— Чудак ты какой! Она же была царица!..

— Это ты чудак! Если царица, так чего ей сюда забираться? А может, она была того... Без одного винтика? Ну, тогда может быть...

Навстречу по шоссе грузовик, и на нем толпа рабочих. Нам вдруг бросают записку:

«Дальше ходу нету, размыло дорогу, останавливайсь, десятник».

Оглянулись, а грузовика и след простыл. Через два километра натыкаемся на целое происшествие: автомобили, группы туристов сидят на краю дороги и скучают. Коммунары облепили всю горку над дорогой. Рас-талкиваем толпу и видим: карниз шоссе вдруг прерывается сажени на две и зияет пустотой. Внизу метрах в десяти Терек. Через разрыв переброшена доска, и по ней бегают наши пацаны. К нам подходит человек в замасленном пиджаке и говорит:

— Я дорожный инженер. Вы заведующий этой детской колонией?

— Я.

— Дорогу мы восстановим только дня через три. Но я уже говорил

с вашими мальчиками. Можно перебраться по досточке, только, вот, говорят, у вас обоз...

— Да, что же делать с обозом? Другой дороги нет?

— Другой дороги нет.

— А вот что сделаем, — говорит из-за моего плеча Фомичев, — разберем возы, разберем обоз и все перенесем...

— Как же вы возы перенесете? — спрашивает инженер.

— Да как? Колеса отдельно, оси отдельно, а лошадей переведем, у нас еще доски найдутся.

Подошел и наш обоз, вмешались в разговор возчики:

— Вэрна говорит маладой чилавэк...

— Это вам на день работы, — улыбается инженер.

— На день? — поднял брови Фомичев. — Через час уже пойдем дальше...

Думать долго не приходится. Я уже хотел трубить сбор командиров, чтобы распределить работу, как на меня налетел вспотевший и взлохмаченный грузин.

— Ты будешь начальник? Коммуна Дзержинского? Ты телеграмму давал, чтобы хлеб был и обед был?

— А ты кто такой? — спрашиваю.

— Я заведующий базой Казбек! Пойдем поговорим!

— Куда пойдем?

— Иди сюда, чтобы народ не слышал! Тебе нужно назад! Я тебя через Баку отправлю, на Тифлис нельзя идти...

— Да брось, товарищ, мы здесь переберемся.

— Здесь переберешься, дальше не переберешься. А тебе чего надо? — набросился он на коммунаров, уже обступивших нас.

— Да это свои, говори.

— На Тифлис не дойдешь. Это что? Это пустяк! За Млетами Арагва, ай, что наделала, что наделала! Пассанаур нет, Пассанаур поплыл, дороги нет тридцать километров, я оттуда бегом прибежал...

— Да врешь ты все...

— Зачем мне врать? Какой ты чудак! Вот смотри. Видишь, вот люди, видишь? Эй, иди сюда! Вот пускай он тебе расскажет.

Четыре человека подошли к нам. Это артисты из Ростова. Они тоже отправились пешком по Военно-Грузинской. Они рассказали, что чудовищный разлив Арагвы не только размыл дорогу, но и совершенно изменил карту местности. Арагва идет по новому руслу, частью покрывая шоссе. Пассанаур значительно пострадал. Горы во многих местах подмыты и завалили проходы. Они не могли пройти пешком, возвращаются во Владикавказ. О колесном обозе нечего и думать.

Мы с Дидоренко задумались: что делать?

— Да врет, может, черт чернявый.

— Так вот же артисты!..

— А артисты откуда, может, тоже из Казбека?

— Из Ростова.

Все-таки Дидоренко попробовал:

— Может, у тебя обед не готов, так и выбрехиваешься! И хлеба, наверное, не приготовил!..

— Хлеба не приготовил? А ты думаешь, можно приготовить хлеб? Когда такое горе? Ты знаешь, сколько народу пострадало? А откуда я хлеб привезу? Здесь, видишь, какое дело? А в Пассанауре Арагва, какой тебе хлеб?

— Что же делать?

— Иди назад! Я тебя отправлю через Баку! Я тебя не пущу, я не имею права!

— Как же ты меня через Баку отправишь?

— Я тебе дам бумажку.

— А печать у тебя есть?

— Печати нет...

— Ну, так и убирайся!.. Он меня через Баку отправит.

Я распорядился: всем коммунарам возвращаться обратно. Но коммунары в крик:

— Это все брехня! Наши возчики говорят.

Возчики что-то горячо доказывали в толпе коммунаров.

— Что вы тут говорите?

— Ны правда назад! Впырод можна, назад нэ нада.

— А вы откуда знаете?

— Наш чилавэк пришел, наш чилавэк гаварыл.

— Когда пришел? Когда говорил?

— Тры дня прышол.

— А чего ж ты молчал? — спрашивает Дидоренко.

— Нечиво гаварыть. Впырод можна...

Колька Вершнев подбегает красный, заикается до полного изнеможения.

— В-в-в-верно, н-н-н-адо идти!

Ребята взбудоражены, взволнованы, никому не верят и готовы лезть в какие угодно пропасти. Кто-то разговаривает с заведующим базой в таких горячих выражениях, что я посылаю туда дежурного командира. На Кольку я прикрикнул:

— Ты доктор, черт тебя забери, а поднимаешь глупую волюнку.

— А я г-г-г-говарю...

— Ничего не смей говорить, молчи!

— А к-к-к-как же?

Я приказываю Волчку трубить общий сбор. Когда все сбегаются, я приказываю:

— Становись!

— Куда становись?

— Стройся по шести лицом к городу.

Неохотно, надутые, злые коммунары разыскивают свои места в строю, оглядываются и все спорят, но я даю уже следующую команду:

— Равняйся! В оркестре!..

Удивленный Левшаков подымает палочку.

— Шагом марш!

Мы проходим с музыкой километра полтора до замка Тамары. Здесь на полянке, обставленной огромными камнями, у самого Терека, мы устраиваем общее собрание. Председательствует дежурный командир — Роза Красная.

Я доложил собранию, как обстоит дело. Как быть?

Высказывались почти исключительно сторонники продолжения похода. Кампанию проводят Колька и Землянский. Колька несколько успокоился и уже не так заикается.

— Сколько будет стоить дорога в Тифлис через Баку? Четыре тысячи рублей — это раз. Военно-Грузинской не увидим — это два, а провизии зачем набрали на десять дней — три. А пройти наверняка можно. Не пройдем по Военно-Грузинской, пройдем по какой-нибудь другой. Нужно идти — и все. А то через Баку. А как мы в поезд сядем — сто пятьдесят человек, а? А вагоны кто нам даст?

Ребята одобрительно галдят. Все в один голос:

— Врет этот заведующий, наши осетины говорят: можно пройти. И пройдем, вот увидите, пройдем!

Мы с Дидоренко почти в одиночестве — сторонники отступления почти не высказываются.

Я, наконец, попросил слова.

— Не могу, по совести, не могу вести коммуну на такой риск. Я верю заведующему и верю артистам. А что будет, если мы заберемся к Пассанауру, а оттуда ни вперед, ни назад? Хлеба мы сейчас нигде не достанем, потому что сообщение прервано. С нами пацаны и девочки. Можно разобрать обоз и перенести на расстояние пяти сажен, но этого невозможно сделать на протяжении нескольких километров. Продолжают идти дожди, и мы не знаем, какие еще будут размывы завтра. Может быть, и сейчас мы еще будем отрезаны от Владикавказа. Возвращаются все туристы, у которых нет обоза, а вы хотите идти к Пассанауру, до которого шестьдесят километров, а там засесть на месяц или возвращаться обратно, только время потратим. Мы прошли пятьдесят километров, видели Военно-Грузинскую, не такая большая беда, если вернемся. Зато увидим Баку.

Коммунары недовольно бурчат:

— Опять в вагоны!

— А нарзаны, значит, улыбнулись.

Они мечтали об этих нарзанах как о каком-то необыкновенном счастье — нарзаны ожидали нас почти на перевале.

— А на что вам эти нарзаны?

— А как же? Панов говорил, аж кипят...

— Зато увидим нефтяные промыслы...

— Ну, голосуем, — говорит Красная.

Мы с Дидоренко со страхом ожидаем голосования. Если постановят идти вперед, придется нарушить конституцию и отменить постановление общего собрания.

— За «вперед» 76 голосов, за «назад» 78 голосов, — говорит Красная.

— Что же? Поровну, — говорит Колька.

— Ну, так что же?

Колькина компания вносит предложение:

— Голоса разделились. А может быть, мы правы. Пускай колонна идет к городу, а нас отправьте на разведку. Нас вот пять человек, мы проберемся в Казбек, там все узнаем подробно. Где вы будете ночевать?

— Наверно, у деревни Чми — двадцать пятый километр.

— Мы к ночи вас нагоним. Если окажется, что в Пассанауре ничего страшного нет, вся коммуна пойдет снова в Тифлис.

Кое-кто протестует: до Чми нужно пройти двадцать пять километров... Давайте здесь ожидать разведку.

Я на это не согласился. Все равно из разведки ничего не выйдет, даром потеряем день. Есть постановление, и кончено. Можете идти в разведку, мы вас ожидаем у Чми.

Колька с компанией быстро собрались, взяли у меня несколько рублей и побежали к прорыву.

Через час после обеда мы двинулись на север. Еще через час последние клочки подавленного настроения слетели с коммунаров, и они снова засмеялись, завозились, запрыгали.

Солнце заходило, когда мы в строю и с музыкой подходили к деревне Чми. При входе в деревню небольшая площадка и немного повыше ключ. Здесь расположились на ночлег: распределили площадку между взводами, расставили корзинки, разостлали одеяла. Загорелось пять костров, каждый взвод варил на ужин яйца и чай. Пацаны верхом поскакали поить лошадей.

Все жители деревни сошлись к нашему лагерю. В деревне Чми большинство русских, между ними оказался и дорожный техник. Он подтвердил сведения о пассанаурской катастрофе и сказал, что идти на Тифлис ни в каком случае нельзя и что Военно-Грузинскую дорогу придется закрыть месяца на два.

Уже отдали рапорты командиры и проиграли «спать», когда вернулись наши разведчики из Казбека с опущенными носами:

— Такое делается в Казбеке!.. Народу тысячи, вертаются все. Идти нельзя — это правильно...

С первым проходящим грузовиком ремонтной организации Дидоренко уехал во Владикавказ. Завтра он должен устроить вагоны и возвратиться к нам.

Утром на другой день коммунары занялись приведением в порядок своих корзин, стиркой носовых платков и полотенец. Часть полезла на горы.

Левшаков вызвал охотников перебирать яйца — из ящичков шел сильный запах. Охотников набралось человек двадцать.

На лужайке в сторонке настоящий хоровод. Каждое яйцо идет по кругу, его рассматривают на свет, пробуют на нюх и определяют, куда оно годится. Совершенно исправные укладываются в чистый ящик и пересыпаются опилками, совсем плохие отбрасываются в другой ящик... Свежие, но разбитые сливаются в кружки, таких кружек стоит на горбике целая линия.

— Это наши трофеи, — говорит Левшаков. — Достанем сковородку и зажарим яичницу.

Над нами развернулся в полном блеске тихий жаркий день. Далеко видна дорога на Владикавказ, и по ней бродят пацаны, ожидают Дидоренко.

Дидоренко приехал на извозчике в двенадцать часов.

— Поезд есть на Баку в шесть часов вечера. Я звонил в Ростов и Грозный, сговорился, может быть, уже сегодня для нас пригонят вагоны. Нужно спешить, а я поеду еще звонить...

Он уехал снова в город. Нам нужно пройти двадцать пять километров и к пяти быть в городе, чтобы успеть погрузиться.

Обоз уже готов, построились молниеносно, коммунары уже знают, что волынить нельзя. Местные жители выскочили из своих хат и стоят в дверях, предвкушают музыкальное наслаждение.

— Шагом марш!

Всегда после этой команды ожидаешь удара оркестра, но сейчас моя команда повисла пустым словом в жарком воздухе...

— В чем дело, Тимофей?

Левшаков показывает на бабу, стоящую на пороге первой хаты:

— Сковородки пожалела... буду я для нее играть!

Баба метнула подолом и скрылась в сенях.

Коммунары хохочут, смеются и жители. Левшаков подымает руку:

— Раз, два...

Мы покрываем Чми раздольным полнокровным маршем — у нас в оркестре все-таки сорок пять человек.

Прошли деревню, распустили строй и бросились в город быстрым шагом. Это был очень тяжелый марш — по всей дороге ни капельки тени. Шеи, руки, носы, ноги пацанов здорово подгорели за сегодняшний день. Забавляться по сторонам дороги теперь некогда, коммунары идут, как будто работают: упорно, настойчиво и почти молча. Только пацаны пролетают мимо нас бегом и занимают авангардные места, чтобы через полчаса снова оказаться в арьергарде.

Особенно тяжелы последние пять километров, прямая, как луч, дорога и безлюдные скучные площади предгорий по сторонам. Вот, наконец, и первый километр. Строимся и принимаем в строй знамя. Через город проходим таким же быстрым маршем, почти не замечая тротуаров и только раздраженно отмахиваясь от тучи мальчигов, налетевших на нашу колонну, как комары, влетающих в ряды, галдящих невыносимо.

К вокзалу подошли ровно в пять часов, молча и устало замерли. У Дидоренко нет ничего утешительного — вагонов сегодня не будет, может быть, завтра.

Маршрутная комиссия предложила место для ночлега — сад начальника станции. Сад не сад, но есть и деревья, и травка, и весь он обнесен каменным забором с решеткой. Расстались с возчиками и потащили в сад ящики с консервами, с яйцами, с колбасой... Устроились, приготовили постели, можно отдыхать, обедать, чай пить. Славный теплый вечер, и решетка забора до самого верха забита зрителями.

— Мы — как в зверинце, — говорят коммунары.

По углам сада стали часовые.

Следующий день весь истратили на телефонные разговоры. Только к пяти часам вечера добились толку. Телефонограмма из Грозного гласила, что три вагона прицепят для нас к поезду, который пройдет через Беслан в девять часов вечера, — к поезду № 72.

Я заплатил в кассе за 156 билетов до Тифлиса 4037 рублей.

Беслан — станция на линии Ростов — Баку, а от Беслана к Владикавказу — ветка в двадцать один километр. До Беслана нам нужно дотащиться дачным поездом. Это целая история. Снова грузимся в вагоны,

а в Беслане снова выгружаемся. Станция Беслан забита пассажирами, всех согнала сюда Арагва своим истерическим припадком.

Уже темно. Нашли отдельную площадку, на которой еле-еле можем поместиться стоя. Но коммунары умеют очень быстро навести порядок. Через пять минут уже можно жить: у каждого взвода некоторое подобие квартиры, ящики изображают квартирный уют, корзинки сложены правильными стопочками, коммунары беседуют, улыбаются, что-то рассматривают и совершенно спокойны. Хозкомиссия в углу раздает ужин. Дидоренко приносит потрясающее известие.

В телефонограмме Грозного была ошибка: три вагона для коммунаров были прицеплены к поезду № 42, который прошел два часа назад, а к поезду № 72 никаких вагонов не прицеплено, и поезд идет переполненный...

— Так...

— Надо все-таки садиться...

Никто не верит такой возможности.

Начальник станции в панике. Он может дать телеграмму в Минеральные Воды, чтобы для нас освободили один вагон, а остальным придется следующим поездом.

— А когда следующий поезд?

— Завтра утром. Но он тоже будет переполненный...

Если бы не бесчисленное количество наших вещей, если бы не оркестр, если бы не тяжелые ящики...

Командиры взводов высказываются единодушно: разделяться нам нельзя, надо всем вместе ехать.

— Сядем, только нужно, чтобы не было паники.

— А долго стоит поезд?

— Десять минут.

Собираем всех. Я говорю коммунарам:

— Товарищи, нам нужно сесть в переполненный поезд в течение десяти минут. С этого момента никаких разговоров, никакого галдежа. Слушать только команду. Никаких движений без команды. Считайте себя, как будто вы в бою.

— Есть! — кричит все собрание.

На темном перроне все забито людьми, сундуками, чемоданами, мешками. Я вывожу взвод за взводом и выстраиваю коммуну в одну шеренгу по всему краю перрона. Возле каждого коммунара — корзинка, а кроме того, ящик, или труба, или сверток. Публика начала было ворчать, но наша суровая решимость и на нее произвела впечатление. Она состоит почти исключительно из туристов, а это народ настолько культурный, что не будет драться с коммунарами. По всему фронту начинаются знакомства и разговоры.

Через десять минут, обходя фронт, я слышу сочувственные призывы:

— Нет, товарищи, пусть они усаживаются, а мы подождем. Они сами не хотят разбрасываться по всему поезду, это правильно, им нужно три-четыре вагона, и нам останется.

Тем не менее в некоторых точках фронта давление на нашу тонкую линию довольно тяжелое, здесь становится несколько стрелков охраны. Дидоренко взял на себя левый фланг. Он в форме, и это сейчас имеет значение.

Хуже всего то, что мы не знаем, какие вагоны будут менее наполнены и где будет вагон, оставленный для нас в Минеральных Водах. Выделяем разведку из пяти человек: Акимов, Землянский, Оршанович, Семенов и Гуляев. Разведка должна быстро пробежать по вагонам и приблизительно установить наиболее выгодные пункты.

Разведчики сказали: «Есть!» — и исчезли. Я догадался — побежали навстречу поезду, хотел погнаться за ними, но потом махнул рукой — народ бывалый.

Наконец показались фонари паровоза. Коммунары спокойны, пацаны даже о чем-то мирно беседуют, почти шепотом. На станции торжественный порядок, даже публика загипнотизирована и не колышется, не бросается никуда. Поезд подходит медленно, мимо нас мелькают окна вагонов, перерезанные поднятыми полками и спящими телами.

Подошел Дидоренко:

— Плохо, поезд полон...

Поезд остановился, но и мы стоим, совершенно невозможно сообразить, куда бросаться. Начальник станции топчется возле нас:

— Это очень трудное, это невозможное дело...

Подбегает ко мне Акимов.

— Задний вагон свободен...

Теперь уж можно давать команду.

— Второй, четвертый взводы, басы, тенора, баритоны, барабан — в задний вагон.

Второй взвод повернулся и гуськом двинулся к хвосту поезда. Но девочки еле-еле поднимают ящики и корзинки.

— Из первого взвода десять человек в помощь второму!

Бегом прибежали десять коммунаров: сильные, пружинные, ловкие. Я их узнаю — два первых ряда. Второй взвод исчез в тумане едва мерцающих станционных фонарей. Ага, хорошо, вот и пацаны прочапали туда же, у каждого в одной руке корзинка, в другой буханка хлеба, последний — Алексюк, у этого еще и флаг с золотой надписью, значит, все благополучно — взвод в порядке...

— Акимов, наблюдать за посадкой в заднем вагоне!

— Есть!

У Степана Акимовича какая-то новость. Он спешит ко мне с Землянским.

— В пятом вагоне можно кое-как человек двадцать.

— Берите оркестр.

Землянский бросился на далекий правый фланг. Через полминуты музыканты уже у пятого вагона. Эти проклятые вещи страшно замедляют наши движения. Я вижу, что посадка в пятый вагон происходит с трудом, и радуюсь, что отправил с девочками громоздкие инструменты.

Начальник станции гоняет по перрону, как на ристалищах:

— Во втором вагоне можно немного...

Но у Оршановича сведения более точные:

— Во второй вагон можно половину третьего...

— Есть, забирай половину.

Ну, думаю, как будто налаживается. Что там в последнем вагоне делается? Вот и вторая половина третьего убежала к вагонам. Я спешу

к голове поезда, посадка здесь страшно трудна, ребята проникают больше через переходные площадки. Когда у ступеньки вагона остается три-четыре коммунара, можно вздохнуть свободно. Свободно вздыхает и начальник станции.

— Кажется, можно давать второй?

Мне и самому так кажется, только и скребет в душе:

— А как там девочки и пацаны?

Я бегу к хвосту поезда. Ударил второй звонок, и вместе с его звуком я с разбегу налетаю на кошмарное видение: первый взвод стоит нетронутый, окруженный тяжелейшими ящиками, а над ним еле поблескивает верхушка знамени. Ключнев улыбается:

— Как там, все благополучно?

Налетают на первый взвод и начальник станции и Дидоренко. Начальник станции кому-то истерически орет:

— Стой, стой, подожди!

Но возле нас запыхавшийся маленький Гуляев.

— В первый вагон, там никто не садился, там все спят, там можно.

Начальник станции орет:

— В первый вагон, в первый вагон!..

— Идем, — спокойно говорит Дидоренко.

Разрезая толпу пассажиров, бросившихся к вагонам, первый взвод начинает движение: но у каждого корзинка, а ящик с консервами в одну руку не возьмешь. Ключнев нагружает одних корзинками, а на более сильных взваливает тяжелые ящики. Но уже завертелись между первовзводниками явно посторонние фигурки... прибежали коммунары из третьего взвода на помощь... Здесь можно спать спокойно. Я бегу к пацанам. Девочки и пацаны все в вагоне, но войти в него невозможно. Кое-как проталкиваюсь и соображаю: здесь восемьдесят человек. Колька-доктор навстречу мне и ругается:

— Б-б-б-узовый в-в-вагон, к-к-к-какое-то к-к-купе...

В вагоне шесть купе. Коридор заполнен корзинками, басами, хлебом, ящиками.

Поезд тронулся.

18. Почти туристы

До Дербента коммунары — мученики в поезде. В нашем вагоне хоть то хорошо, что нет посторонней публики, — коммунары установили очередь и спали каждый по четыре часа в течение ночи. В других вагонах мы встретили враждебное отношение пассажиров, и оно было заслужено нами: мы натащили в вагон ящики и корзины, пройти по вагону нельзя. Первый взвод особенно настрадался в эту ночь, всем пришлось стоять в тамбурах, кое-как поддерживая разваливающиеся кучи вещей и отбиваясь от пассажиров и проводников, требующих выполнения разных правил.

В Дербенте многие пассажиры «слезли», и наши расположились вольнее, а главное — кое-как пораспихали свое имущество. В Дербенте поезд стоит час, и коммунары побежали купаться в Каспийское море. Возвратившись оттуда, забежали в буфет и покупали вишни и редьку. В Дербенте много редьки. И-за этого российского фрукта и пострадал Швед — вы-

тащили у него кошелек с деньгами. Швед пришел в вагон подавленный и оскорбленный, но Камардинов только улыбнулся:

— Не жалко денег, а жалко, что я тебя никак не воспитаю.

Швед и Камардинов почти одно существо. Трудно представить себе более тесную дружбу, чем у Шведа и Камардинова. Они жить один без другого не могут, всегда вместе, о чем-то шепчутся, чему-то смеются. Если и видишь иногда в одиночку Шведа, то он всегда в таком случае спрашивает:

— Не видели Васьки?

Они оба страдают оттого, что Швед на втором курсе, а Васька на первом, Швед в машинном цехе, а Васька в сборном. Тем более они стараются наверстать эту временную разлуку в других местах коммунарской жизни.

У Шведа и у Васьки общий капитал, который они, подобно почти всем коммунарам, хранят у меня. Деньги записаны на одного Камардинова, но я имею разрешение выдавать любому из них по первому требованию. То берет Васька, а то Швед. Я рассмотрел ближе их денежные отношения и поразился степени доверчивости этих людей. Каждый из них берет деньги, сколько ему нужно, и тратит их, куда хочет, не спрашивая и не советуясь с товарищем. Я им говорил:

— Смотрите, поссоритесь из-за этих денег.

Но они улыбаются:

— Никогда в жизни.

— Вася, — спрашиваю, — а что бы ты сказал, если бы Швед взял все ваши восемьдесят рублей и истратил на себя?

— Ничего не сказал бы. Значит, ему нужно...

— Ты все-таки обижался бы на него, почему не спросил?

— Да что ж он будет меня спрашивать? Я не папаша ему.

Весть о том, что обокрали Шведа в Дербенте, распространилась по всему поезду, и на Шведа приходили смотреть. Коммунары с осуждением относятся к тому, кто дал себя обокрасть. Швед поэтому в большом смущении, хотя пропало у него всего пять рублей.

Скучна, невыносимо скучна дорога на Баку.

К вечеру на другой день увидели мы вышки бакинских промыслов и между ними огромный столб черного дыма — ясно, нефтяной пожар.

Началась самая тяжелая для нас неделя: два дня в Баку, три дня в Тифлисе, один день в Батуме, две ночи в поезде.

Несмотря на совершенно различные индивидуальности этих городов, несмотря на многообразие коммунарских впечатлений, они слились для нас в один огромный город, разделенный на шесть дневных отрезков неудобными короткими ночами. Все эти дни были до отказа полны умственным и физическим напряжением, невиданными новыми образами и тяжелыми маршами по асфальту и мостовым. Биби-Эйбат, перегонные заводы, Каспийское море, рабочие клубы, столовые, грязные полы пристанищ ОПТЭ, Загэс, Мцхет, молочные и птичьи совхозы, новые и старые улицы, снова столовые и снова ОПТЭ, музеи и рабочие клубы — все это сложилось в чрезвычайно сложную ленту переживаний, в общем глубоко прекрасную, но иногда утомительную до последней степени.

Здесь мы были похожи на туристов, роль для коммунаров мало знакомая.

Турист — это особое существо, снабженное специальными органами

и специальной психологией, а коммунары так и оставались коммунарами, ни разу не показав готовности приобрести все эти специальные приспособления.

Турист — это прежде всего существо вьючное: таскать за собой мешок, набитый всякой пыльной дрянью, это не только необходимость для туриста, это и общепризнанная честь и обязательная эстетика. Турист без мешка — это уже не настоящий турист, а помесь человека и туриста, метис. Коммунар для экскурсии выбегает в самом легком вооружении, какое только возможно на свете, — в трусиках и в легкой парусовке, он занимает свое место в строю и не имеет права даже держать что-либо в руках.

Строй коммунаров по шести в ряд, просторный и свободный, со знаменем впереди и с оркестром, требует для себя дороги и уважения, для него собираются толпы на тротуарах, и милиционеры останавливают движение на перекрестках. Туристы же бродят по тесным тротуарам, толкают мешками прохожих, возмущают и вызывают сожаление сердобольных.

У туриста нет своей воли, своего времени, своей скорости и своих вкусов. Это несчастное существо с момента выезда в экскурсию теряет все гражданские, человеческие и даже зоологические права. Оно спит, где ему прикажут, встает, когда прикажут, бежит, куда укажут, выражает восхищение, сожаление, грусть, удивление только по расписанию. Подобно загнанной лошади, оно вообще не трусливо, ему нечего терять и нечего бояться, и оно не боится ни автомобилей, ни криков, ни паразитов. Оно боится только одного — отстать от группы.

Чтобы утолить свой голод, туристы обязаны в течение часа или двух сидеть на земле возле столовой, потом в течение часа давить друг друга в дверях столовой и царапать взаимно туристские физиономии мешками, а затем в течение получаса стоять за стулом одного из обедающих, напирать на его мешок своим животом и ожидать, пока освободится стул.

В одном из городов на коммунаров пытались распространить все законы жизни туристов. Назначили для нас обед в три часа. Наша маршрутная комиссия еще и переспросила:

— В три или в четверть четвертого?

— Нет, как можно, обязательно в три...

— Столовая будет свободна в три? Нам нужно, чтобы коммунары сразу вошли в столовую и пообедали.

— В три, в три, будьте покойны...

Ровно в три подошли к столовой — картина знакомая: на земле сидят, в дверях смертный бой, в столовой каша.

— Вы обещали в три.

— Ну, что мы можем сделать? Понимаете, подошла группа, которая... через полчаса будет готово.

— Через полчаса или через час?

— Через полчаса, через полчаса...

— Если через полчаса не будет готово, мы уходим.

— Что вы... обязательно...

Ровно через полчаса мы построили колонну и увели с музыкой, а за нами бежали организаторы и умоляли возвратиться.

Дидоренко умеет с ними разговаривать:

— Вы можете назначить для нас любой час, но ни пяти минут мы торчать на улице не будем.

И мы научили их уважать точность. Мы приходили в назначенное время, и, уже не спрашивая, прямо с марша, команда:

— Справа по одному в столовую.

Туристы в это время сидели на травке и щелкали на нас зубами от зависти.

В плане экскурсий и посещений коммунары с первого дня захватили инициативу в свои руки и ходили, куда хотели и как хотели.

На нефтяном промысле Биби-Эйбат нас сначала приняли равнодушно, как, вероятно, принимают и все экскурсии: по себе знаем — это штука довольно надоедливая. Но коммунары, разбежавшись по промыслу десятками групп, через полчаса уже со всеми перезнакомились и успели залезть во все щели и закоулки и расспросить о самых таинственных деталях. Рядом горел еще нефтяной фонтан, и не было конца расспросам о нефтяных фонтанах.

Биби-Эйбат — один из первых промыслов Баку, выполнивших пятилетку в два с половиной года, и это обстоятельство вызывало со стороны коммунаров особенный к нему интерес.

Когда все группы снова сошлись на центральной площадке, возле нас собралась половина промысла. Бакинский горсовет соревнуется с Харьковским, в прошлом году была в Харькове делегация бакинских рабочих, между прочим была и в коммуне. Нашлись сразу и знакомые, у коммунаров память на лица замечательная. Оживленные лица коммунаров уже неофициально заморгали в лица старых рабочих, улыбающихся и освеженных этим общением с юностью. Целыми венками золотые шапочки обступили группы рабочих в пропитанных нефтью спецовках и рассказывали им о своих коммунарских делах. Вдруг целая сенсация:

— У них знамя Харьковского горсовета, переходный приз!

— Знамя Харьковского горсовета? Здорово!

— У вас наше знамя?

— Ваше, ваше, как же... харьковское.

— Покажите.

— Что?

— Покажите знамя, которое вам прислал Харьков...

Предфабзавкома даже немного смутился от такого требования:

— Показать знамя? Пойдем, показать можно.

— Нам всем идти не годится... давайте сюда.

Рабочие заулыбались, завертели головами:

— Вот, смотри ты, народ какой... Ну, что ж...

Перекинулись они между собой по секрету, и трое рабочих направились к воротам.

— Они за знаменем пошли?

— За знаменем.

— Надо салют, — заволновались в оркестре.

— Коммунары, становись! Равняйся!

Похожай и Соколов, наши ассистенты при знамени, с винтовками побежали к воротам. Показалось знамя Биби-Эйбата.

— Коммунары, под знамя смирно!

Оркестр и коммунары салютуют, наши ассистенты приняли охрану дружеского знамени и торжественно провели его к дружескому строю.

Товарищу Шведу слово.

Швед умеет найти горячие и искренние слова:

— Рабочие Биби-Эйбата! Это знамя — знак вашей победы на фронте индустриализации. Ваша победа привела в восторг весь Союз, всех рабочих мира. Мы считаем своим счастьем, что нам пришлось отдать честь вашему знамени, вашим огромным победам, вашей работе. Мы на вас смотрим с восхищением, мы будем брать с вас пример, мы будем у вас учиться побеждать...

Коммунары закричали «ура». Бибиэйбатовцы разволновались, разволновались и мы, трудно было без горячего чувства быть участником этого события.

Мы пригласили знамя в наш строй и под эскортом всей коммуны проводили его до небольшого серенького домика, в котором оно помещается. И сразу же домой. Рабочие машут руками и шапками и кричат:

— Приходите в наш парк, парк культуры и отдыха!

— Приедем!

— Приходите! Когда придете?

— Завтра!

— Приходите же завтра! Будем ожидать!

На другой день были мы в парке культуры и отдыха. Нас действительно ожидали и встретили у ворот. Перед эстрадой собралось тысячи две народу. Камардинов рассказал рабочим о нашей жизни, о нашей работе на производстве, о будущем заводе. Он еще выразил наше преклонение перед героической работой нефтяников. Отвечали нам многие. Здесь не было сказано ни одного натянутого слова, это было действительно собрание близких людей, близких по своей общей, пролетарской сущности.

После собрания наш оркестр сыграл несколько номеров из революционной и украинской музыки. Потом разбрелись по саду тесными группами. Легкие и стройные коммунары, приветливые и бодрые, видно, понравились бакинцам. Многие рабочие подходили ко мне, расспрашивали о разных подробностях, уходя, пожимали руку и говорили:

— Хороший народ растет, хороший народ...

Один подсел ко мне и поговорил основательно. Он тоже рабочий с Биби-Эйбата, говорит правильным языком, и его особенно занимает одна мысль:

— Вот эти мальчишки, когда сразу посмотришь, так чистенько одеты, шапочки эти и все такое, подумаешь, барчуки, что ли, а потом сразу же и видно: нет, наши, рабочие дети, все у них наше, а может, и лучше нашего. И, знаете, так приятно, что это такая культура, знаете, это уже культура новая...

Это были хорошие часы в Баку. А вообще Баку коммунарам не понравился — очень жарко. И в самом деле, в эти дни жара доходила до шестидесяти градусов, и во время одного из наших маршей были солнечные удары. Не понравилось и Каспийской море — грязное и неприветливое. Не понравилась и наша стоянка — прямо на асфальтовом полу базы ОПТЭ.

В Тифлисе нас встретили с музыкой пионерская организация, комсомол и наши шефы.

Три дня в Тифлисе пролетели страшно быстро. Один из них истратили на Мцхет. В Мцхет поехали грузовиками. Загэс вылазили как следует, обижался только фотокружок, предложили ему все свои орудия сложить при входе на станцию...

В один из вечеров коммуна отправилась с визитом в клуб ГПУ. Первый раз в походе надели белые парадные костюмы. Наши парусовки уже поиспачкались. Проблема стирки вдруг вынырнула перед нашими глазами. Прачечные требовали две недели сроку и две сотни рублей. Мы думали, думали. В Тифлисе мы стояли во дворе какой-то школы, спали на полу в классах. Квадратный довольно чистый двор школы был украшен в центре водоразборной колонкой. Мы и отдали в приказе от 27 июля:

Предлагается всем коммунарам к вечеру 28 июля постирать парусовки, выгладить и приготовить к дороге на Батум.

Коммунары заволновались после приказа:

— Чем стирать? Чем гладить? Где стирать?

Но приказ есть приказ.

Сразу же после приказа закипела во дворе лихорадочная деятельность. С парусовками расположились вокруг колонки и отдельных камней двора, вместо мыла песок, а вместо утюга чугунные столбы балкона. На ночь уложили парусовки под одеяла, а вместо пресса — собственные тела. И вечером 28 июля по сигналу «сбор» все построились в свежих, элегантно выглаженных парусовках.

В клуб ГПУ пошли в парадных белых костюмах. Белоснежный строй коммунаров на проспекте Руставели — зрелище совершенно исключительное. Вокруг нас завертелись фотографы и кинооператоры.

Чекисты Грузии приняли нас как родных братьев. После первых официальных приветствий разбрелись по клубу, завязались матчи и разговоры. Потом концерт, ужин, танцы. Коммунары не захотели посрамить украинскую культуру и ахнули гопака. Шмигалев понесся в присядку, замахнувшись рукой до самого затылка. Оркестр неожиданно перешел на лезгинку, и Шмигалев исчез в толпе под аккомпанемент аплодисментов, а на его месте черненьким жучком завертелся перед Наташей Мельниковой новый танцор. Наташа зарумянилась, но она никогда не танцевала лезгинку, и вообще, причем тут Наташа? Танцор принужден был плавать в кругу в одиночку, но через минуту он снова выплывает перед ней. Наташа в панике скрылась за подругами. Кончились танцы, а танцор уже беседует с Наташей. Поздно вечером строимся домой, а танцор печально смотрит на Наташу, стоящую во втором взводе.

На другой вечер мы уже выглядываем из окон вагонов на тифлисском перроне. Нас провожает группа тифлисских друзей. Между ними и вчерашний танцор, прячется за спинами товарищей, а Наташа в окне — далеко. Коммунары моментально решили этот ребус. Из первого вагона выбежали музыканты, а коммунары под руки потащили танцора к Наташиному окну:

— Танцуй лезгинку, а то не позволим попрощаться...

Три вагона и перрон заливаются смехом, танцор, краснея, отплясывает и в изнеможении останавливается. Тогда из вагона вышла Наташа и под общие аплодисменты пожала влюбленному руку.

Второй звонок.

— По вагонам!

Тронулись. Закричали коммунары «ура». Влюбленный печально помахивает папашой, а Наташа в девичьем вагоне умирает от хохота.

Еще один день в Батуми: парки, марши, столовые, бессонная ночь на пристани, — и мы на борту «Абхазии», которая должна доставить нас в Сочи.

19. Лагери

Коммунары уже успели выспаться в каютах, а «Абхазия» все еще стояла в Батуми. Только после полудня мы отчалили. Пацаны украсили тюбетейками оба борта и радовались, что море тихое, потому что в глубине души пацаны здорово боялись морской болезни. Девочки боялись не только в глубине, а совершенно откровенно, и пищали даже тогда, когда море походило на отполированную верхнюю крышку аудиторного стола. Пацаны, отразив свои физиономии в этой крышке, стали презрительно относиться к сухопутным пискам девчат и говорили:

— Вот чудаки!.. Всегда эти женщины боятся морской болезни.

Но полированная крышка имеет свои границы. Как только мы вышли из батумской бухты, пацаны эту границу почувствовали, побледнели, притихли и незаметно перешли на чтение книг в каютах, спрятавшись подальше от взоров и девчат и старших коммунаров.

А между тем Дидоренко приготовил для коммунаров сюрприз — заказал обед в столовой второго класса. Если читатели ездили на теплоходах крымско-кавказской линии, они знают, что столовые этих теплоходов замечательно уютные и нарядные штуки: большие круглые столы, мягкие кресла, чисто, красиво и просторно. Коммунарам было предложено явиться на обед в парусовках, в первую смену девочкам и музыкантам, а остальным во вторую. Все начали готовиться к обеду, а пацаны и девчата еще больше побледнели: морская болезнь обязательно нападет по дороге в столовую. Спасибо, кто-то пустил слух, что лучшее средство от морской болезни — хорошо пообедать. По сигналу сошлись все, но девчата сидели за столом бледные и испуганные, а Наташа Мельникова, так недавно и так неустрашимо победившая горячее сердце человека в папаше, сейчас совсем оскандалилась, заплакала и выскочила на палубу. Колька заходил между коммунарами с бутылкой и стаканчиком. К сожалению, я не знал, что он в роли знахаря, и напал на него:

— Ты что же это — босиком и без пояса...

— От м-м-морской болезни, п-п-понимаете...

Дежурный командир Васька Камардинов спросил у Кольки:

— А ты имеешь право без халата капли прописывать? Иди надень хоть халат, а потом приходи с каплями.

Неудача доктора сильно отвлекла внимание коммунаров от морской болезни, даже девочки выдержали испытание геройски. А пацаны, прослышав о таком замечательном влиянии столовой на морскую болезнь, прибежали на свою смену розовыми и радостными и не оставили ни крошки на своих столах. Васька хохочет:

— Вот пацаны, это они, знаете, от морской болезни лечатся — побольше есть, им один матрос сказал.

Колька пришел уже в халате и предлагает пацанам капли, но они гордо отказываются:

— Что мы, женщины, что ли?

После обеда они уже спокойно лазили по теплоходу и заводили между собой мирные обычные беседы:

— Ты думаешь, что это такое?

— Это веревочная лестница.

— Вевочная лестница, ха-ха-ха-ха!

— Вевочная, а какая же?..

— Ванты! Это ванты, а не веревочная лестница.

— Ох, важность какая, а можно сказать и веревочная лестница, тоже будет правильно. А вот скажи, что это?

— Это?

— Ага.

— Ну, и радуйся...

— Бушприт.

К вечеру хлопцы на теплоходе свои люди. Море совершенно утихло, и все вообще соответствовало тем мирным мелодиям, которые разливал над Черным морем Левшаков с верхней палубы, по уверению пацанов называемой спардеком.

Утром следующего дня мы остановились у берегов Сочи.

Я показал коммунарам маяк, возле которого должны расположиться наши лагеря. Синенький посмотрел пристально и закричал:

— О, палатки наши видно! Смотрите, смотрите!

Ребята бросились к борту и обрадовались:

— Вот здорово, наши лагеря!

Заинтересованные пассажиры тоже радовались:

— В самом деле замечательно, они еще здесь, а там уже квартиры готовы. Вы, наверное, никогда не боитесь квартирного кризиса.

Посмотрел и Левшаков и сказал серьезно:

— Конечно, это наши лагеря, вон и Марголин ходит по берегу.

Старшие засмеялись, а пацаны даже обалдели от удивления. Они воззрились на Левшакова, а он прислонил два кулака к глазам и подтвердил:

— Конечно, Сенька, я же его по глазам узнал...

Только тогда пацаны пришли в восхищение.

— Хитрый какой, за три километра и глаза увидел...

На лодки коммунары грузились первые.

— Четвертый взвод, в лодку!

Не лодка, а большая корзина голоногих пацанов, как будто на рынок их вывезли. Поплыли со своими корзинками и малым флагом. С ними и дежурный командир для порядка на берегу.

С последней лодкой оркестр и знамя. Как ни тесно в лодке, а нельзя ехать без марша. На теплоходе закричали «ура» и замахали платками.

На деревянной площадке пристани начинается длинная цепь, ребята передают на высокий берег вещи, мы давно уже привыкли в таком

случае обезличивать груз — бери, чья попадетсЯ. Я иду по цепи и в конце ее вдруг наталкиваюсь на Крейцера⁴⁶.

— Коммуна имени Дзержинского прибыла благополучно. В строю сто пятьдесят коммунаров, больных нет!

Ребята рады Крейцеру, как родному отцу, держат его за пояс и спрашивают:

— Вы тоже в лагерях с нами?

— Чудак, разве ты не видишь, я больной, мне лечиться нужно.

— Мы вас вылечим, вот увидите.

А вот и Сенька. Он в каких-то петлицах и с револьвером на боку.

— Ты чего это таким Александром Македонским?

Крейцер смеется:

— Да, Сеня имеет вид воинственный...

— Нельзя иначе, понимаете, тут столько бандитов...

Вещи все уже наверху, и маршрутная комиссия побежала за грузовиками.

— У коммунаров и здесь свои правила, — показывает Крейцер.

На берегу столб с надписью: «Купаться строго запрещается», а море кипит от коммунарских тел.

Через полчаса нагрузили машины и сами тронулись с развернутым знаменем. Оркестр гремит марш за маршем, почти не отдыхая. В Сочи переполох, духовая музыка, да еще какая: с фанфарами, тромбонами и целой шеренгой корнетистов. Коммунары, как завоеватели, занимают всю ширину улицы. Автомобили сзади нас кричат и просят. Пацаны в этом случае беспощадны. Сопин, дежурный командир, с которым я иду рядом в строю, говорит мне:

— В Харькове трамваев не пускали, а тут какой-то автомобиль.

На расширенной части улицы одна машина обгоняет нас, и кто-то стоя протестует, ему отвечают смехом:

— Чудак...

Навстречу нам по улице на велосипеде Панов. Он в трусиках и еле-еле достает до педалей. Слез, отдал салют знамени и снова на машину — поехал впереди в качестве гида.

Наконец мы свернули в раскрытые ворота в легкой изгороди и вошли на широкую площадку, заросшую травой, обставленную лимонными деревьями и пальмами. Справа церковь, слева за оврагом школа, а прямо синее над линией берега море. К берегу тянется в две линии лагерь. Деревянные клетки уже готовы, на них наброшены палатки. Их остается только натянуть и укрепить.

— Стой! Товарищи командиры взводов!

Вышли командиры. Панов вынырнул откуда-то с блокнотом.

— Три палатки оркестра. Палатка для инструмента, три палатки второго взвода...

— Разойдись...

И сразу же застучали молотки, завертелись коммунары в работе. Мы с Крейцером опустили на травку, хватит начальства и без нас. К нам долетают распоряжения Сопина:

— На постройку штабной палатки по два человека от каждого взвода.

— На помощь девочкам от оркестра три человека.

Против нас как раз строятся девочки. У них не хватает сил натянуть бечеву и выравнять все крылья палатки. Прибежал Редько из оркестра и с ним двое.

— Без нас пропадете!

Первый взвод уже расставил часовых по краям лагеря. На часовых насаждает публика, заинтересовавшаяся лагерем завоевателей.

Начался месяц в Сочи.

Жить в лагере с коммунарами — мало сказать, наслаждение. В коммунарском лагере есть какая-то своя особенная прелесть, не похожая ни на какую другую. Нас живет здесь сто пятьдесят шесть человек, наша жизнь вся построена на стальном скелете дисциплины, многих правил, обязанностей, само собой понятных положений. Но этот скелет так для нас привычен, так привычно удобен, так органично связан с нами, что мы его почти не замечаем или замечаем только тогда, когда гордимся им. Молодой радостный коллектив живет так, как не умеют жить взрослые. Наша жизнь лишена всякого трения и взаимного царапания, мы здесь действительно сливаемся с природой, с морем, с пальмами, с жарким солнцем, но сливаемся легко и просто, без литературных судорог и интеллигентского анализа и не переставая помнить, что мы дзержинцы, что нас в Харькове ожидают новые напряжения и новые заботы.

Я помещаюсь в штабной палатке с Дидоренко, Колькой и Марголиным. Мне отведена четвертая часть нар. На нарах стоит пишущая машинка, ящик с печатью и бумагой, лежит портфель с деньгами и небольшая библиотечка. В первый же день Марголин и Боярчук провели по всему лагерю электрическое освещение, шнур и лампочки предусмотрительно были привезены из Харькова. Жить можно.

Сигнал «вставать» играют в лагере в семь часов. Через пять минут после сигнала наш физкультурник Бобров уже командует:

— Становись!

Начинается зарядка. После зарядки мальчики галопом летят в море, девочки еще повозятся с купальными костюмами.

Нельзя сказать, что коммунары умеют плавать. Быть в воде для них такое же естественное состояние, как для утки. Они могут сидеть в море целый день, укладываться спать на самых далеких волнах, разговаривать, спорить, играть, смеяться, петь и не умеют, кажется, только тонуть.

В первый же день их неприятно поразила плоская доска, поставленная на якоре для обозначения границы купальной зоны. Дальше этого знака плавать нельзя — от берега метров тридцать. Пробовали не обращать внимания на эту доску, но за нею ездит на лодке дед, уполномоченный идеи спасения на водах, и возвращает хлопцев к берегу. Коммунары произвели героические усилия, чтобы переставить знак подальше. Они всем первым взводом старались выдернуть якорь, но это оказалось трудным делом, главное, не во что упереться, нет той самой знаменитой точки опоры, отсутствие которой не нравилось еще Архимеду. Провозившись несколько часов над этим пустяшным препятствием, кончили тем, что привязали к нему камень и утопили его. На душе стало легче, но на деле проиграли. Спасательная станция обозлилась за уничтожение знака и почти все свои лодки поставила против нашего берега. Началась война, которая окончилась и моральной и материальной победой коммунаров. Иначе и быть не могло.

До самого горизонта море покрыто коммунарскими головами. Раздраженный спасатель гоняется за ними и приказывает:

— Полезай в лодку!

Коммунары охотно взбираются на спасательное судно и тихонько сидят. Дед выгребает к берегу и начинает злиться:

— Что, я нанялся возить вас? На весла, гребки!

Коммунар, улыбаясь, садится на весла. Через пять минут его сосед шепчет:

— Петька, дай я погребу.

Но лодочник не может перенести такой профанации идеи спасения на водах и орет:

— Кататься вам здесь? Прыгай все в море!..

Коммунары, улыбаясь, прыгают и плывут к горизонту.

Дело кончилось тем, что спасательные деды предоставили коммунарам лодки и право заниматься спасением утопающих и просили только об одном: посторонних не пускайте в море. Посторонние — это все остальные люди, кроме дедов и коммунаров.

С этого момента коммунары разъезжали на спасательных лодках и спасали посторонних. Впрочем, посторонние не весьма стремились в запретные воды, и хлопот с ними было немного. Поэтому коммунары могли на свободе заняться усовершенствованием спасательного флота. Несколько дней Левшаков в компании с Грунским, Козырем, Землянским сидели на корточках возле разостланных на траве простынь и готовили парус. В один прекрасный день они и уехали на парусе.

Из всех коммунаров не могли плавать только двое: Швед и Крейцер. Шведом занялась вся коммуна, а Крейцером — четвертый взвод.

Шведа скоро перестали дразнить, вероятно, он приобрел нужные знания.

Крейцера пацаны поймали, окружили плотным кольцом и потащили к морю. Крейцер уверял, что он и сам может научиться, что не считает пацанов хорошими учителями, но они показывали Крейцеру старую автомобильную камеру и уверяли, что такого хорошего приспособления он нигде не найдет. Несмотря на энергичные протесты, Крейцера ввергли в море и заставили лечь на надутую камеру.

— Теперь руками и ногами... руками и ногами...

Но Крейцер не имел времени думать о руках и ногах, потому что его внимание было сосредоточено на голове. Увлеченные добрыми намерениями пацаны, собравшиеся вокруг камеры в полном составе, действовали довольно несогласованно, поэтому голова Крейцера все время опускается в воду. Не успеет он прийти в себя, его снова окунули и напоили морской водой. Наконец, он взбеленился и потребовал, чтобы его тащили к берегу. Пацаны послушались, но потом очень жалели:

— Так никогда не научитесь плавать. Поучились полчаса и трусили...

Крейцер от дальнейшего учения отказался.

— Так и запишите: я не умею плавать.

— Теперь будет так: вы едете на пароходе, а пароход тонет, вот тогда пожалеете...

— Надеюсь на то, что такая катастрофа на пароходе еще не скоро будет, а так вы меня завтра утопите. Не хочу!

— Не утопим... Вот увидите!

— Нет, спасибо.

Так Крейцера и не выучили плавать.

Утром ребятам долго купаться нельзя. В половине восьмого с высокого берега трубач трубит «в столовую». Это означает, что все коммунары могут свободно отправляться в городской парк, где нас ожидает завтрак. До парка от лагерей нужно пройти километра полтора, но если идти прямо с пляжа, то гораздо ближе.

В городском парке — открытый павильон столовой и при нем небольшая кухня. Этим учреждением пользуемся только мы по договору с северокавказским ГОРТОм, поэтому нас не пугают никакие очереди и никакая толпа. В павильоне может поместиться сразу не больше восьмидесяти человек, поэтому мы едим в две смены. Сигнал, который играли на берегу, — сигнал предупредительный, коммунары располагаются на скамейках и откосах парка. Между ребятами считается дурным тоном заглядывать в столовую и стоять у входа в нее. В столовой вертится только дежурный командир со своим трубачом. Когда накрыты столы и все готово, трубач играет, и по этому сигналу собираются в столовую коммунары. Вторая смена будет приглашена приблизительно через полчаса, поэтому взводы второй смены могут дольше купаться или бродить по лагерю. В столовой каждый коммунары имеет свое закрепленное за ним место. Есть свое место и у меня в «левофланговой смене». Со мной сидят Синенький, Лазарева и Харланова.

Лазарева одна из младших девочек, но она с большим трудом досталась нашему коллективу. Года два назад она жила в детском городке. За плохое поведение и разлагающее влияние педагогический совет детского городка отправил ее в комиссию по делам несовершеннолетних правонарушителей, а эта комиссия прислала Лазареву к нам. Лазаревой сейчас тринадцать лет. Это черноглазая девочка, серьезная и неглупая, но с капризами. Дисциплина для нее понятие абсолютно не священное, поэтому она всякое распоряжение и всякое правило считает для себя обязательным только в том случае, если оно ей нравится. А если не нравится, она за словом в карман не полезет. Слово же у Лазаревой смелое и ядовитое. Вот уже два года Лазарева в постоянной войне с советом командиров, с общим собранием и со мной. В совете она грубиянит, поворачивается спиной и вспоминает отдельные проступки самих командиров. В общем собрании отмалчивается, а в разговорах со мной плачет и говорит:

— Вы меня почему-то не любите и все придираетесь. Для вас инструкторша что ни скажет, так правильно.

Я ей говорю:

— Да помилуй, ты же и сама не отрицаешь, что работу бросила и ушла из мастерской...

— Бросила потому, что она мне нарочно дает все петли метать, все петли да петли...

— Ты должна об этом заявить в совете командиров, а не бросать работу.

— Вот еще, буду в совет командиров с петлями... А в совете командиров что ни скажи, все не так...

Совет командиров иногда обрушивается на Лазареву со всей силой власти, отстраняет ее от работы, назначает в распоряжение дежурного ко-

мандира, лишает отпуска, парадного костюма. Но я давно заметил, что репрессии для Лазаревой вредны, они только укрепляют ее протестантскую позицию. Нужно подождать, пока с возрастом у нее придет забвение о каких-то причудах первого детства, а может быть, и детского городка. Дело в том, что Лазарева очень мила, добра и послушна, пока ее что-нибудь не раздражит. И еще у нее хорошая черта: она быстро забывает все обиды и все угрозы совета командиров.

Я подружился с ней еще в крымском походе. В пешем марше «вольно» мы с нею всегда идем рядом, а она может болтать о чем угодно, не уставая и не требуя от меня особенно глубокомысленных реплик. Она охотно вступает в спор и в таком положении, но это...⁴⁷

20. Люди и медведи

В Сочи мы застали целую кучу писем. Больше всех писал Соломон Борисович, и его письма мы читали на общем собрании. Собрание собиралось вокруг памятника Фабрициусу⁴⁸, погибшему в этой части побережья.

Соломон Борисович сообщал важные новости.

Первая: на строительстве не хватает людей, часть рабочих строительная организация перебросила на работу в совхоз. Корпус спален накрыт, но к внутренней отделке еще не приступили, главный дом разворочен, а дальше ничего не делается, производственный корпус сделан только до крыши, литейный цех только начинают...

Вторая: в Правлении выделен товарищ, которому поручено помочь коммуне в покупке станков, он уже выехал в Москву и в другие города.

Третья: начальником нового завода назначен инженер Василевский, а Соломон Борисович остается коммерческим директором; в коммуне работает группа инженеров в пять человек, они занимаются конструированием электросверлилки.

Четвертая: станки для завода достаем везде, где можно, выпрашиваем на харьковских заводах, в Одессе и в Николаеве, в Москве, в Самаре, в Егорьевске... Соломон Борисович прилагал список станков:

Универсальный револьверный Гассе и Вреде,
Четырехшпиндельный автомат Гильдемейстер,
Револьверный Гильдемейстер П-40,
Прецизионный токарный Лерхе и Шмидт,
Вертикально-фрезерный Вандерер Д-1,
Зуборезный автомат Марат,
Зуборезный автомат Рейнекер,
Плоскошлифовальный Самсон Верке,
Круглошлифовальный Коленбергер,
Радиально-сверлильный Арчдейль...

(всего в списке Соломона Борисовича было до ста станков, считая и токарные).

Пятая: к закупке оборудования для новых спален и одежды для новых коммунаров еще не приступали, отложено до того времени, когда возвратится коммуна.

Шестая: ремонт старых станков производится, но нужно прострогать почти все станины, и мало надежды, что эта работа будет закончена к 1 сентября.

Седьмая: в коммуне уже имеется легковой автомобиль, а шофером ездит Миша Нарский, автомобиль куплен в Автопромторге, скоро прибудет и грузовой автомобиль.

Восьмая: денег нужно много, получаем большой заказ на десять тысяч деревянных кроватей для Наркомздрава, но нет коммунаров и некому деньги зарабатывать и заказ этот выполнить.

Девятая: мало надежд, что перестройка главного корпуса будет закончена к 1 сентября, и поэтому коммунарам некуда приехать: нет спален, нет столовой, кухни, уборных, — одним словом, ничего нет...

Коммунары были положительно придавлены этими новостями.

— Как это, к 1 сентября некуда приехать? Почему не перестраивается главный корпус?

— Они там просто волынят и саботируют!..

— Наверное, будет так, что завод окончат к следующей осени...

Скребнев особенно нервничал:

— Дела не будет, уже видно. Приедем домой — жить негде, учиться негде, работать тоже негде, а новеньких как принимать? Мы еще можем повалиться где-нибудь, а новенький валяться не будет, а дернет на улицу. Да еще и одеть не во что, ни постели, ни одеяла, а если со станками будут такие темпы, так совсем буза: «вандерер», «вандерер», а на поверку те же козы и соломорезки останутся.

Радовал только автомобиль в коммуне.

— Автомобиль — это грубá, только, наверное, форд...

— А тебе что нужно?

— Мерседес, фиат, паккард!..

— Подождешь!

— Подожду.

Через день получили телеграмму: председатель Правления коммуны товарищ Б. уезжает в Москву на новую работу.

— Крышка коммуне!

— Чего крышка?

— Крышка, уже видно.

— Вот, понимаешь, терпеть не могу вот таких шляп. Крышка! У тебя так, честное слово, и крышки нет. Ты посуди, чего б стоила наша коммуна, если бы председатель Правления уехал, а коммуны нет!..

— Ну?

— Чего ну? Вот теперь, товарищи, докажите всем, и товарищу Б., что сделано ими настоящее дело. Поставили на ноги, и должны жить!.. А сколько остается в Харькове чекистов и других людей!

Председателя Правления любили в коммуне как живого человека. Он редко бывал в коммуне, но умел это сделать так, что все ясно чувствовали — коммуна для него своя, родная. И сейчас ребята жалели о нем больше, чем о родном, близком живом человеке.

В Харьков отправили делегацию: Торскую и Анисимова.

Тем временем жизнь в коммуне шла своим чередом — купались, от-

дыхали, читали. В нашу размеренную и точную жизнь все больше вплетались новые обстоятельства, новые люди, новые впечатления.

Рядом с нами в школе примостился на лето какой-то ростовский детский сад, и каждое утро рыженькая воспитательница приводила к нам в гости строй малюток. Они вытаращивали глаза на палатки, на коммунаров и на часовых, вдруг улыбались и заливались писком, потом так же неожиданно напускали на себя серьезность и начинали что-то лепетать о делах ростовских. Коммунары с первого же дня называли это учреждение инкубатором и очень обидели рыженькую воспитательницу таким сравнением.

Приходили к нам и взрослые — в этот сезон в Сочи сделалось просто неприличным не побывать в коммуне. Мы принимали гостей и в одиночку и партиями, знакомились с отдельными людьми и заводили дружбу с целыми домами отдыха и санаториями. Иногда лагерь наполнялся до отказа, и нам было довольно трудно придумать, чем гостей занять. Усаживали оркестр и играли кое-что, устраивали состязания в волейбол и в городки. Гости постепенно оживлялись, заражались ребячьим прыганьем и смехом. Перед уходом они строились в колонну и кричали хором:

— При-хо-ди-те к нам се-год-ня!..

Коммунары и сами выстраивались в сторонке и тоже хором отвечали:

— А что у вас бу-дет на у-жин?

Гости хохочут и любезно выдумывают:

— Жа-ре-ный по-ро-се-нок...

— Хо-ро-шо, при-дем о-бя-за-тель-но, — отвечают коммунары.

Пока происходит такой обмен любезностями, мимо гостей галопом проскакивают музыканты в самых разнообразных костюмах: кто в черном, кто в голошейке, а кто и в одних трусиках, впереди колонны они выстраиваются и ахают марш. Мы провожаем гостей до центральной площади и там прощаемся.

Чаще было иначе. Приходили в лагерь представители какого-нибудь санатория и приглашали коммунаров на вечер. В такой день перед вечером не играл трубач «в столовую», а играл «общий сбор». Коммунары прибегали с берега и в три минуты решали: идти. Потом бросались к палаткам, и через десять минут они уже в парадных костюмах строятся на улице. Выносили знамя, подтягивались, равнялись, наводили полный строевой лоск и шли маршем по улицам, вдребезги разбивая мертвые часы, ужины и развлечения санаторных жителей радостными разрядами оркестра...

— Куда вы?

— В санаторий Фрунзе...

— И мы с вами!..

— Пристраивайтесь!..

Рабочие, интеллигенты, старички и женщины пристраиваются сзади четвертого взвода и стараются попасть в ногу с Алексюком, по-прежнему несущим малый флаг. Когда отдыхает оркестр, они затягивают «попа Сергея» или «Молодую гвардию», мы немедленно подбавляем к ним дискантов из наших запасов.

Хозяева встречают нас на улице, улыбаются, кивают, что-то кричат. Коммунары против таких вольностей в строю и ожидают знака:

— Товарищи коммунары, салют!

Сто пятьдесят рук с непередаваемой юношеской грацией взлетают над строем, но лица коммунаров серьезны — салют это не шутка. Тогда хозяйка орут «ура» и бегут за нашей колонной в свой...⁴⁹

время. Думали, что общение со всей коммуной поможет заведующему стать добрее, да и сами отдыхающие возьмут его в работу. Вышло не совсем так, как ожидали: отдыхающие, правда, пристали к заведующему:

— Отдай медведей коммунарам, чего ты за них держишься?

Заведующий весьма дружелюбно выслушивал настойчивые домогательства коммунаров и своих подопечных, но медведей все-таки не отдал:

— Осенью приезжайте.

А в это время в нашем лагере уже появился Мишка — полугодовалый медвежонок очень симпатичного нрава и забавной наружности. Достался он коммунарам случайно. Стоял в Сочи какой-то приезжий пионерский отряд, и у них жил медвежонок, которого, по данным нашей разведки, они купили у охотников из Красной Поляны за пятьдесят рублей. Пионеры гордо отвергли наши предложения продать нам медведя за семьдесят рублей. Наши разведчики доставляли и другие сведения, которые в особенности усиливали наши устремления именно к этому Мишке. По словам разведчиков, пионеры Мишку плохо кормили и дразнили палками...

И вдруг мы узнали: пионерский лагерь снялся и уехал, а в момент их отъезда Мишка вырвался и удрал. Обнаружили Мишку в городском парке. Он чувствовал себя прекрасно, и ему не угрожала никакая опасность, потому что публика при встрече с Мишкой в панике разбежалась... Два дня коммунары охотились за Мишкой и все неудачно. Мишка взбирался на высокие сосны и оттуда смотрел на коммунаров с насмешкой. Кое-кто пробовал взбираться на дерево вслед за Мишкой, но это был прием безнадежный: силой Мишку с дерева не стащишь, а Мишка был достаточно силен, чтобы сбросить с дерева любого охотника.

Победил Мишку Боярчук: против всего Мишкиного фронта он произвел сильную демонстрацию, отправил десяток коммунаров на дерево. Коммунары облепили ствол и покрикивали на Мишку. Мишка, переступая потихоньку, подобрался выше, не спуская глаз с преследователей, но, видимо, не придавал серьезного значения всей этой армии. А тем временем Боярчук по стволу соседнего дерева совершал обходное движение. В нужный момент он перебрался на Мишкину сосну и оказался выше его метра на два. Этого удара с тыла Мишка не ожидал и не приготовился к нему. Он начал стремительное отступление вниз, настолько стремительное, что сидящие на дереве коммунары уже не могли спускаться по всем правилам, а должны были в самом срочном порядке прыгать на землю и просто валиться как попало, чтобы не принять Мишку себе на голову. Окружающая место охоты толпа хохотала во все горло, поднимая с земли ушибленных и исцарапанных охотников. Мишка слез с сосны и пытался прорваться сквозь строй, но на шее у него ошейник, а с ошейника болтается цепочка, за эту цепочку Мишку и ухватили. Он спорить не стал и покорно побрел в коммуны.

Мишку поселили на краю лагеря. Совет командиров передал попечение о Мишке Боярчуку и Гуляеву, остальным коммунарам запретил даже

разговаривать с Мишкой, а тем более играть с ним или кормить его. Мишка жил довольно хорошо: он был еще молод и весел, пищи у него было достаточно, душевный покой обеспечивался советом командиров, а кроме того, ему была предоставлена автомобильная шина для физкультурных упражнений.

Тем не менее совнаркомовские медведи не перестали быть предметом коммунарских мечтаний. Все решили, что осенью за медведями нужно прислать, и тогда в коммуне будет три медведя.

Рядом с медведем как развлечение нужно поставить церковь. Церковь стояла почти в самом нашем лагере. Время от времени возле церкви собирались старушки, старички, парочки и вообще потребители «опиума»⁵⁰. Приходил старенький сморщенный попик, собирался хор, и начиналось священнодействие.

Коммунары, слышавшие о религии только на антирелигиозных вечерах, обратились ко мне с вопросом⁵¹:

— Ведь можно же пойти посмотреть, что они там делают в церкви?

— А чего же? Пойди посмотри.

Акимов предупредил:

— Только смотри, не хулиганить. Мы боремся с религией убеждением и перестройкой жизни, а не хулиганством.

— Да что мы, хулиганы, что ли?

— И вообще нужно, понимаешь, чтобы не оскорблять никого... там как-нибудь так... понимаешь... деликатнее так...

Хотя Акимов делал это распоряжение больше при помощи пальцев, но коммунары его поняли.

— Да, да, это мы понимаем, все будет благополучно.

Но через неделю ко мне пришел попик и просил:

— Нельзя ничего сказать, ваши мальчики ничего такого не делают, только, знаете, все-таки соблазн для верующих, все-таки неудобно. Они, правда, и стараются, боже сохрани, ничего плохого не можем сказать, а все-таки скажите им, чтобы, знаете, не ходили в церковь...

— Хулиганят, значит, понемножку?

— Нет, боже сохрани, боже сохрани, не хулиганят, нет. Ну, а приходят в трусиках, в шапочках этих, как они... а некоторые крестятся, только, знаете, левой рукой крестятся и вообще не умеют. И смотрят в разные стороны, не знают, в какую сторону смотреть, повернется, понимаете, то боком к алтарю, то спиной. Ему, конечно, интересно, но все-таки дом молитвы, а мальчики, они же не знают, как это молитва, и благолепие, и все. В алтарь заходят, скромно, конечно, смотрят, ходят, иконы рассматривают, на престоле все наблюдают, неудобно, знаете.

Я успокоил попика, сказал, что мешать ему больше не будут. На собрании коммунаров я объявил:

— Вы, ребята, в церковь все-таки не ходите, поп жалуется.

Ребята обиделись.

— Что? Ничего не было. Кто заходил, не хулиганил, молча пройдет по церкви и домой...

— А кто там из вас крестился левой рукой и зачем понадобилось креститься, что, ты верующий, что ли?

— Так говорили же, чтобы не оскорблять. А кто их знает, как с ними

нужно. Там все стоят, стоят, потом бах на колени, все крестятся. Ну, и наши думают, чтобы не оскорблять, как умеют, конечно...

— Так вот, не ходите, не надо...

— Да что ж? Мы и не пойдём... А и смешно же там: говорят как-то чудно, и все стоят, а чего стоят? А в этой загородке, как она? Ага — алтарь, так там чисто, ковры, пахнет так... а только, ха-ха-ха-ха, поп там здорово работает, руки вверх так задирает, представляется здорово, ха-ха-ха-ха...

— А ты и в алтаре был?

— Я так зашел, а поп как раз задрал руки и что-то лопочет. Я смотрю и не мешаю ему вовсе, а он говорит: иди, иди, мальчик, не мешай, ну, я и ушел, что мне...

Во второй половине августа начались групповые экскурсии в горы. Собирались по пять-шесть человек, выпрашивали у хозкомиссии хлеба и консервов, на плечи навешивали спортивные винтовки для защиты «от бандитов и медведей» и уходили на несколько дней. Возвращались уставшие и оживленные, рассказывали о чудесных происшествиях, страшных обвалах, ночевках в горах, о медвежьих следах и о заброшенных черкесских садах. Одна из групп привела с собой беспризорного Кольку Шаровского. Колька в горах свой человек, знает тропинки и селения, но готов променять вольную жизнь казака на коммунарский строй... Коммунары исследовали Кольку со всех сторон, а главное, не идиот ли, но восприимчивики расхваливали его наперебой:

— Грубый пацан. С нами был все время, грамоте знает, разумный пацан, не симулянт, сразу видно...

Колька на собрании держится с достоинством. Он сидит на камне и веточкой похлопывает по голой пятке, то и дело поправляя на голове выцветший измятый картуз.

— А не сорвешься?

— У вас хорошие ребята, не сорвусь...

Приняли и немедленно зачислили в третий взвод. Мне оставалось позвать Ваську, командира взвода:

— Отведи, пусть Николай Флорович посмотрит, выкупайте и к парикмахеру, вот деньги...

— Есть, а костюмы?

— Трусики у нас найдутся и парусовки, а без парадного обойдется, да он в строй все равно еще не годится.

— Есть, — сказал Камардинов, беря пацана за плечо. — Ну, идем к... а вот и он. Колька, вот тебе работа, а то жалко на тебя смотреть...

Вершневу остановился и в пол-оборота на Ваську:

— Сколько р-р-раз тебе г-г-говорил, не К-к-колька, не К-к-колька...

— Извиняюсь, Николай Флорович...

— Ну, хоть К-к-коля, а то ч-ч-черт з-з-знает...

— Да брось, Колечка, Коленька, осмотри вот пацана новенького, нет ли у него, знаешь, чего такого...

У Кольки Вершнева «кабинет» за штабной палаткой: шкафчик со всякой ерундой медицинской, небольшая скамейка, умывальник. Но лечить Кольке некого, и он принужден пробавляться всякой профилактикой: проверяет фрукты, гоняет пацанов за уборкой, придирается к постелям, пы-

тается ограничить купание, а самое важное — мертвый час. Коммунары признают его авторитет, но купание ограничивать и не думают, фрукты лопают невымытые, а против мертвого часа уже не возражают. Впрочем, и сам Колька не всегда строго соблюдает капризы науки.

Утром он подходит к Дидоренко и почти плачет:

— Сколько раз я г-г-говорил, что же, мне ж-ж-аловаться? Никакого внимания, это ч-ч-ч-ерт его з-з-з-нает...

Мы сидим над морем, и вокруг нас, как полагается, ребята.

— Ну, чего ты? Что случилось?

— Опять невымытые г-г-груши раздали, сколько я г-говорил?

— Ах, черт, — улыбается Дидоренко виновато, вскакивает, направляется к штабной палатке. Нам слышно, как он разделявает хозкомиссию:

— Душа с вас вон, я вам сколько раз говорил. Опять Колька ругается. Груши мыть перед раздачей если вам лень, так скажите мне, я помою.

— Да на черта их мыть, — оправдывается голос Кравченко, — що воны з базару, чы як? Яка там зараза? Грушы з саду, якого йому нужно биса, тому Кольке. Понимаешь, ничего робить — груши мый...

Колька, удовлетворенный, скрывается в своем «кабинете». Но через полчаса в лагере гомерический хохот. Слышу голоса Кравченко, Дорохова, Ефименко, Дидоренко, всей хозкомиссии и самого Вершнева. Его тащат ко мне, а он упирается, покрасневший, как пацан, но не смеяться не может. В руках у него начатая груша.

— Ось дывиться: доктор, а груши исть не помывши — прямо з ящыка...

Колька крутит головой и оправдывается:

— Т-т-тебе к-к-какое дело. Я, может, п-п-попробовать хочу: в-в-в-редно или не в-в-в-редно?

— Наложить на него два наряда, наложить, Антон Семенович.

Я шутя говорю:

— Конечно, два наряда.

— Есть, — салютует Колька недоеденной грушей и вырывается из объятий хозкомиссии.

Дня через два я вижу Кольку с метлой у клубной палатки.

— Что ты здесь делаешь?

— Два наряда за ним, — серьезно говорит дежурный командир Красная.

— Это з-за два наряда с-с-считается? — спрашивает Колька придиричиво...⁵²

21. В Харьков

все, что поддается стирке, снова воскресла маршрутная комиссия, хлопотала о вагонах для отправки палаток в Харьков, о пароходных билетах.

30 августа на море начались бури, пришлось прекратить купание, в Сочи не заходил ни один пароход. 2 сентября мы свернули лагерь и погрузили его в товарные вагоны. Половину вагона отвели для Мишки и для его провожатого Боярчука. Ночевали на открытом воздухе, вспоминали Владикавказ и Военно-Грузинскую. Назавтра был назначен прощальный вечер, а послезавтра выезжать. Сегодня нас чествовали в доме от-

дыха ТООГПУ, в котором мы наиболее часто бывали. В доме ТООГПУ собралось много гостей из разных санаториев. Коммунаров встретили особенно приветливо, угощали ужином, Хенкиным, выслушали наш концерт. В заключение принесли огромный торт, похожий на вавилонскую башню, и разыграли его «на оборону». Долго прибавляли единоличники по трешнице и по пятишнице. Когда набросали к Хенкину в тарелку больше четырехсот рублей, перешли на состязание целыми коллективами. Коммунары дергали меня за рукав и шептали:

— А мы что ж?

Когда я сказал (уже забыл, в каком арифметическом ансамбле) «двести один рубль», коммунары зааплодировали, и никто не решился после нас испытывать счастье. Торт поднесли при звуках туша Леньке Алексюку и уволокли в наш тыл. В тылу мы все задумались:

— Куда ж его девать? Делить на сто пятьдесят частей не годится.

— Отдать оркестру.

— Верно, оркестру.

Волчок, улыбаясь, принял торт, ему только крикнули:

— Алексюка ж не забудьте...

— Не забудем, не бойся.

После вечера принесли торт в лагерь. Музыканты о чем-то совещались, потом вытребовали к себе Левшакова и с прочувствованным словом вручили ему торт, а потом схватились за трубы и проиграли туш. Левшаков клянялся и благодарил, говорил, что никогда в жизни не мог ожидать такого большого подарка, что он теперь понимает, какое хорошее влияние оказывает музыка на человеческую душу, что он и в дальнейшем надеется, что ему будут подносить такие торты.

Ребята с блестящими глазами наблюдали за всей этой церемонией. Левшаков кончил, сделал вид, будто он вытирает слезы, и, сгорбившись до самой земли, потащил торт к скамейке. Здесь, вооружившись огромным хлебным ножом, он спросил просто:

— Сколько вас в оркестре? Сорок пять?

— Сорок пять.

— Становись в очередь, да смотри, не забудь, что на каждого из вас приходится по два с половиной коммунара, у которых слюнки текут уже два с половиной часа.

— Что вы, Тимофей Викторович, мы же вам поднесли.

— Знаю я вас, разрезать не умеете сами, вот и...

Музыканты застеснялись, а Левшаков кричит:

— Довольно дурака валять, что же вы думаете: я буду таскать его за собой или слопаю?.. Становись!

Музыканты получили по огромной порции, так что хватило и для корешков, рассыпанных по всем взводам.

На следующий день прощальный вечер. Мы пригласили всех своих сочинских знакомых. В нашей столовой в городском парке мы устроили настоящий пир: закуска, икра, жаркое, мороженое и даже (ох, отвернитесь, кто там из наробраза) по стакану столового вина. Персонал столовой восседал за столами, а подавали и хозяйничали коммунары. Были гости из всех санаториев и домов отдыха, были сочинские комсомольцы, а самые дорогие гости — старые большевики с Шелгуновым.

После ужина раздвинули столы и пустились в пляс. Вино хоть и слабое, а развязало ноги пацанам. Нашлись танцоры из гостей и даже из глазающей публики...

Пора и оканчивать вечер. Оркестр грянул гопака. Из нашего круга выскочил Петька Романов и по кавказскому обычаю начал вытанцовывать перед Шелгуновым. Ничего не оставалось делать старику, передал он кому-то свою палочку и вспомнил молодость, пристукнул каблуками и пошел в присядку. А Петька после этого уже в настоящем восторге завертелся перед ним, как бесенок.

В три часа четвертого сентября мы построились против дома ТООГПУ в походном порядке: знамя в чехле, на боках баклажки, в строю санитары. Провожала нас целая колонна наших друзей.

После небольшого митинга на пристани провожающие разошлись, а мы стали ждать теплохода. «Армения» пришла только в девять часов вечера.

По причине бури уже шесть дней не заходили в Сочи теплоходы, и поэтому пассажиров собралось на пристани сверх всякой меры. Перед деревянным помостом, выдвинутым в море, стоит не меньше пятисот человек, все больше туристы, но есть и женщины с ребятами. У каждого не только мешок, но еще и чемодан и какая-нибудь бутылка. «Армения» стоит в двух километрах, блестит и играет огнями, а между нами и «Арменией» болтается по морю широкая нескладная лодка, которую тащит на веревке моторный катерок. В лодку можно посадить не больше сорока человек. Публика начала давить друг друга еще за час до прибытия парохода, а когда он подошел и остановился на рейде, то из публики уже выматывались последние внутренности и взаимные любезности дошли до последней степени совершенства.

Капитан порта приказал в первую очередь «грузить» коммунаров. Первой лодкой отправили девочек, но когда стали выводить на помост четвертый взвод, публика не выдержала давления сзади, запищала, застонала, закричала, заругалась. Какая-то компактная группа туристов, раздавив несколько детей, вылезла на помост и потребовала от капитана объяснений: «почему это беспризорные в первую очередь?» Мы возвратили четвертый взвод на берег и стали ожидать выяснения конъюнктуры. На помосте крики и ругань.

Спор был разрешен неожиданным образом. Наши музыканты, потеряв терпение, взяли трубы и обрушили на головы туристов... звуки туша. Раз, другой... остановились, прислушались, третий. Капитан порта смеется в лицо туристам, а туристы уходят с помоста. Четвертый взвод пробегает к лодке.

Вот мы и на «Армении». Никаких мест нет, и нам предоставляют кормовую палубу. Тем лучше. Ключнев разделил ее на пять частей, получилось довольно просторно, еще и проходы останутся.

На краю палубы наши часовые от первого взвода, а снизу на них поглядывают те же туристы.

Зашумели винты, поехали.

После полуторасуточного самого счастливого плавания, наполненного солнцем, пением моря, дельфинами, новыми людьми, мы в Одессе. Нас встречают: оркестр пограничников, комсомольцы, чекисты и между ними такое приятное видение: Крейцер смеется в лицо нашему строю на

палубе и салютует нашему знамени. После приветствий и парада мы окружили Крейцера.

— Как дела в коммуне?

— Да что дела? — шурится Крейцер на солнце. — Без вас там дела нет, а ехать вам некуда, что вы будете делать, а?

— Все равно поедем, а здесь что делать?

— Да и я так думаю, вот я еду в Харьков. А и завод же у вас будет, ай и завод... Станки какие, поломайте только мне...

— А мы ломали? Что говорить?

— Ну, ну, это я так...

Дидоренко отвоевал для нашей стоянки какой-то физкультурный зал. В Одессе коммунары прожили девять дней. Обедали в кооперативной столовой. Целый день у коммунаров заполнен маршами и экскурсиями, а по вечерам разговоры только об одном — о коммуне. Из коммуны по-прежнему сообщали, что ехать некуда, что нет ни спален, ни столовой, ни кухни, ни классов, ни мастерских.

Коммунарские собрания собирались бурные и нетерпеливые. Доходили до разговоров неприличных:

— Нечего ждать разрешения Правления. Заказывайте вагоны и едем, чем тут валяться, лучше там валяться...

— Нам сейчас нужно быть в коммуне. Что мы за коммунары, почему мы здесь сидим, когда там прорыв на прорыве?

— Вот возьмем и разбалуемся в Одессе, — шутит Похожай, — что вы тогда будете говорить? Как тут не разбаловаться? Делать нечего, смотреть нечего, гулять надоело, ой, и надоело же, если бы вы знали...

Коммунары угрожали развалом коллектива и другими страхами. Но стоило трубачу заиграть «общий сбор», они быстро и по-прежнему ловко выбегают на улицу и строятся для очередного похода. По улицам проходят с прежним строевым лоском, но ни приветствия, ни тысячные толпы, идущие за коммуной по тротуарам, уже не занимают их и не радуют.

Вечером то же самое:

— Вот увидите, пешком будем расходиться в коммуны.

Наконец 14 сентября получили распоряжение Правления:

— Коммуне выезжать в Харьков.

Закричали «ура», подбросили вверх потемневшие тюбетейки и бросились к корзинкам складываться. Маршрутники побежали на вокзал.

22. Кое-что о коэффициентах

Поезд с коммунарами прибыл в Харьков 16 сентября в одиннадцать часов утра. На перроне вокзала собралось все Правление во главе с председателем, и пока поезд останавливался, коммунары уже пожимали руки чекистам, перевесившись через окна.

Через полминуты они уже выстраивались на перроне, имея на правом фланге оркестр и знамя.

— К рапорту смирно!

Дежурный командир Васька Камардинов отдал рапорт председателю Правления:

— Коммуна имени Дзержинского прибыла с похода благополучно, коммунаров в строю сто пятьдесят один, больных нет, коммунары привет-

ствуют свое. Правление и уверены, что они с новыми силами пойдут на новую работу и закончат ее с победой.

Председатель Правления сказал коммунарам:

— Правление поздравляет вас с возвращением. Коммунары, в строительстве коммуны прорыв, вам даже остановиться негде, но Правление знает, что вы быстро приведете коммуну в порядок, своевременно окончите строительство, пустите завод и приступите к выполнению нового промфинплана вместе с новыми товарищами, которых вы примете в свой состав.

Я глянул в лицо нашего строя. Старшие немного суровы, пацаны же, как всегда, радостны и улыбаются — для пацанов нет ничего невозможного на свете: завод пустить? Отчего не пустить? Они пустят...

Через два часа коммунары с развернутым знаменем подошли к коммуне. Уже издали мы видели новые корпуса, вытянувшиеся в одну линию с нашим главным. Они еще в лесах и со всех сторон обставлены бараками и сараями. Впереди, у самой дороги, вытянулась темная гряда — это встречают коммуну строители, наши рабочие и служащие. Соломон Борисович в том же пиджаке стоит впереди, а вокруг него незнакомая нам группа людей — мы догадываемся, это инженеры. И Соломон Борисович и инженеры держат «под козырек», только Соломон Борисович подчеркнуто лихо и высоко, а инженеры неловко и неуверенно.

Колонна остановилась. Никто нас не приветствовал, и мы ни к кому не обращались с речами. Для того чтобы дать дорогу знамени, толпа расступилась, и мы увидели, что вся площадь перед всеми тремя корпусами завалена мусором, ящиками, бочонками, изрыта ямами и колеями грузовиков; от наших клумб и следа не осталось. Прямо в глаза нашему строю глядят парадные двери и окна фасада, забрызганные известью и обставленные какими-то примостками, распахнутые настежь и искалеченные.

— Под знамя смирно!

Васька повел знамя. Проходя мимо меня, он шепчет:

— Куда знамя?

— Найди где-нибудь...

Я обратился к коммунарам с самым коротким словом:

— Товарищи, я не поздравляю вас с окончанием похода, поход продолжается, но отдых наш окончен. С завтрашнего дня всю волю и весь разум дзержинцев мы должны бросить на большую, тяжелую и длительную работу. Разойдитесь!

Коммунары не разбежались с шумом и смехом, как это они делали всегда. Мне даже показалось, что на некоторую долю минуты строй не потерял положения «смирно». Только постепенно он давал трещины, и коммунары между бочками и ящиками стали пробираться к зданиям коммуны.

В главном здании все комнаты завалены подмостками, отбитой штукатуркой, дранью. Стены кое-где только побелены, большей же частью они изгрызаны, исцарапаны, а то и совсем первобытны, пестреют обрешеткой и свежими досками. Бывшие спальни второго этажа расширены в пять просторных аудиторий классов, но все это живет еще в строительном хаосе. Внизу уже готова огромная столовая, осталось только помыть окна, сделать панели и смыть с паркета «вековые» залежи грязи и извести.

Правый корпус — новые спальни коммунаров — как будто готов: в каждом этаже двадцать три спальни, одни маленькие — на четыре кровати,

другие побольше — на восемь, а есть и большие — на двенадцать, пятнадцать человек. Но в спальнях нет еще проводки электричества, еще не покрашены двери, не готов паркет, вовсе не поставлено отопление. Сразу видно, что на строительстве не хватает рабочей силы. Кое-где только можно встретить маляра или паркетчика за работой. И в главном корпусе и в спальнях свободно гуляют ветры, так как стекла в окнах наполовину выбиты, а наружные двери настезь.

Производственный корпус даже и вчерне не готов. Стоят высокие кирпичные стены, и укладываются балки и стропильные фермы крыши, вот и все. Еле-еле намечены контуры балконного второго этажа, но к бетонированию еще и не приступали, только что привезли бетономешалку и устанавливают ее снаружи. Зияют пустые оконные проемы, вместо пола какие-то провалы и спуски — здесь потребуется громадная высыпка. Дальний фланг корпуса еще только работает каменщиками и весь перепутан кладками и лесами.

Задний двор коммуны засыпан пирамидами земли и глины, осколками строительного материала, и между всем этим добром восседает возле врытой в землю ванны привезенный Боярчуком Мишка. На фасадной площадке, на фоне такого же хаоса, торчат высокими кубами несколько ящиков — это прибывшие недавно станки.

Только что мы распустили строй, подошел к коммуне недлинный кильватер ломовиков, а меня поймал на крыше Соломон Борисович и смущенно зашептал⁵³.

...да нас и немного. Мы усаживаемся кто на чем может.

Никитин открывает совет простыми словами:

— Ну, с чего начинать?

Командир первого взвода говорит:

— Надо прежде всего устроить коммунаров. Спать придется, конечно, на полу. Для хлопцев можно столовую, там уже все готово, только полы помыть, а для девочек можно на втором этаже, там есть, кажется, такая комната.

— А я думаю, что это не нам решать, — говорит Волчок, — пускай выступают командиры отрядов.

— Какие там отряды, — машет рукой Никитин, — да вот и тебя взять, куда ты инструменты сложишь? Рядом с пацанами на полу. Значит, уже оркестр нельзя разбивать. Раз по-походному, значит, по-походному. Я думаю так, что, пока не будет спален, продолжать по взводам.

— Пожалуй, — соглашается Волчок.

— А теперь насчет столовой. Степан Акимович, где нам кушать?

Степан Акимович смеется:

— Черт его знает?! У нас ведь кухни нет. Новая кухня внизу, будет готова не раньше, чем через три недели... придется с рабочими.

Соломон Борисович отрицательно вертит головой:

— Это невозможно. Наши мастера и рабочие — это одна очередь, потом две очереди строителей, потом две очереди коммунаров, значит, пять очередей...

— Ну, а что ты будешь делать?

— И потом там грязно, ах, эти строители...

Камардинов страстно:

— Ну, насчет грязи, так это мы быстро наладим, а что же делать?

— Ну, раз больше ничего нельзя делать, так что ж? — соглашается Соломон Борисович.

— Это мы наладим, — говорит Дидоренко.

— Значит, с этим кончено. Надо сегодня разделить ребят по сменам и столы разделить.

— На смены нечего делить. Как было в Сочи, так и здесь будет.

— Верно.

— А теперь насчет работы, Соломон Борисович?

Соломон Борисович торжественно произносит:

— Для работы коммунаров все готово, как я и говорил, а вы мне не верили. Станки в полной исправности, станины исправлены, меди сколько угодно, лес есть... Ах, какой заказ мы имеем для Наркомздрава: кроватки для детских больничек, десять тысяч штук!

Командиры аплодируют Соломону Борисовичу, а Соломон Борисович горд и радуется:

— Эти самые масленки, о, вы еще увидите, масленка еще нас вывезет, электросверлилка еще далеко...

— Работать по старым местам?

— По старым, где кто был.

— А теперь самое главное, теперь насчет строительства, — говорит Никитин.

Командиры задумались, молчат. В строительном беспорядке, в целой куче прорывов не видать того конца, за который можно ухватиться совету командиров. Молчит и Соломон Борисович и толкает меня по секрету, это значит: а ну, интересно, как командиры за это дело возьмутся?⁵⁴

23. Первые атаки

младшие группы и, значит, сократить выпуск ближайших лет. Поэтому мы решили часть ребят взять из детских домов. Неудобство в этом было только одно: нас уже начинали упрекать:

— Хорошо вам работать, если будете брать из детских домов, берите прямо с улицы.

Коммунары — высококвалифицированные специалисты во всех вопросах, касающихся беспризорности. Коммунары говорили:

— Ребята и на улице и в детских домах одинаковые. Сегодня он в детском доме, а завтра на улице, а потом опять в детском доме. Какая разница?

— С улицы — те труднее.

— Не труднее. И на улице ребята хорошие, и в детских домах есть хорошие.

Наркомпрос Украины не возражал против этой операции. Она была интересна для нас и в другом отношении: мы надеялись познакомиться с положением и работой детских домов в нашей республике.

К детским домам приходилось обращаться и еще по одной причине.

Правление решило увеличить в коммуне процент девочек. До сих пор у нас было тридцать девочек, теперь нужно было это число довести до девяноста. На улице мы могли найти только единицы. Все эти соображения рисовали картину нового пополнения приблизительно так:

с улицы пять девочек и семьдесят мальчиков,
из детских домов пятьдесят пять девочек и двадцать мальчиков.

По возвращении из похода мы получили от Наркомпроса разверстку семидесяти пяти мест между детскими домами, большей...⁵⁵

24. На боевых участках⁵⁶

... ..
сделана планировка, и уже вскапывались цветники, но против производственного корпуса все еще валяются доски и стоит бетономешалка, которая очень мешает коммунарам. На Деля кричат:

— Когда вы уберете свою мясорубку?

Дель обещал, что уберет через четыре дня, а через пять дней говорит:

— Как же уберу мясорубку, как вы говорите, если еще фундаменты бетонируются?..

Чем ближе подходил к концу октябрь, тем страшнее становилось — не успеем. В последние дни бросились за помощью к рабочим и служащим коммуны. Местком дал помощь на несколько дней, но этим нельзя было злоупотреблять: были срочные заказы, многое делалось и для себя. Все же педагоги, бухгалтеры, столяры, литейщики поработали с коммунарами.

В пять часов работа в мастерских и на строительстве заканчивается, но для коммунаров не наступает отдых. В коммуне все еще не устроено, не довершено, не поставлено на место. Кое-как заморивши червяка после работы, коммунары разбегаются по новым делам. Бюро и совет командиров в это время собирались каждый вечер и часто засиживались долго. И в комсомоле запарка: богатырским ростом вдруг стала расти ячейка, уже редкие коммунары не входят в комсомол. Наседает и учебный год, который мы поневоле должны начинать с опозданием. Постановление ЦК партии о школе, новые учебные планы и новые программы, новые увязки — все это нужно проработать к началу занятий. Положение в рабфаке к этому времени усложнилось чрезвычайно. У нас проектировалось пять курсовых групп, народился третий курс, который в своем учебном плане оказался запутанным до последней степени.

Наш новый завод, завод электросверлилок, является заводом машиностроительным, наш институт тоже машиностроительный — это открывало совершенно невиданные горизонты в области отношения производства и учебы. В комсомоле и в педагогическом совете мы не особенно надеялись на пресловутую увязку. До сих пор проблемы этой увязки нигде не решены и по своей сущности недалеко ушли от проблемы комплекса. Поэтому у нас решили ввести в план дополнительные предметы: технологию, электромеханику, станки, организацию производства и литейное дело. Комиссии комсомола с этими вопросами еле-еле управлялись, несмотря на большую помощь педагогов.

Рабочее напряжение после первого ужина было даже более сложным,

чем на строительстве, так как здесь мы то и дело встречались со стыками: нужно идти и в комиссию, и в бюро, и в совет командиров, активу было в пору разорваться.

А тут еще новенькие. Они пропитывали коммуну все больше и больше, и штабы новых отрядов были загружены работой буквально до отказа.

Наши вербовочные комиссии возвратились уже давно. В разных детских домах набор был произведен почти по плану. В каждом доме были оставлены новые коммунары до нашего приказа о выезде в коммуну. Сначала мы предполагали, что будем вызывать их постепенно, чтобы не сразу разбавлять коммуну новыми элементами. Дело в том, что во многих детских домах нашим комиссиям очень не понравилось. Нашли и полное отсутствие дисциплины, и потребительские тенденции, и везде нашли плохую грамотность и слабую культуру быта. Осторожность вербовочных комиссий встретила сопротивление со стороны нашего комсомола.

Комсомольцы доказывали:

— Угробим коммуну, вот увидите, угробим. Одних обрабатываем, на тебе: другие приехали, начинай с этими, только и будем знать, что возиться с ними. Пускай приезжают все сразу, отделаемся, и квит!

Приводили и еще одно дельное соображение:

— Сразу взять, сразу начнем и занятия, а то что ж? Опять будем в классах сидеть, поджидать: вот скоро приедут.

Поэтому мы с начала октября начали форсировать приезд новеньких. Почти каждый день мы отправляли куда-нибудь телеграмму с приказом о выезде, и через день-два в кабинет вваливаются гости. Оглушенные шумом строительства, чистотой и порядком внутри коммуны, самым видом раскаленного в работе нашего коллектива, они смирнехонько усаживаются на стульях и вытаращенными глазами рассматривают все окружающее. Нужен опытный глаз, чтобы в каждом измятом, бледном и неподвижном лице увидеть будущего настоящего коммунара.

Правобережье присылает ребят в высоких шапках и в новых блестящих ватных пиджаках. Ситцевая в горошек рубашка, подпоясанная свеженькой тесемкой, тоже сияет невинностью, и по всему видно, что пацан от рождения не переживал такой полноты жизни и ее новизны, как сейчас. Он неподвижно сидит на стуле в ряду таких же ошеломленных фигур и молчит.

Коммунары поминутно забегают в кабинет посмотреть на новеньких:

— Смотри, граченята какие!..

Но входит штаб отряда и уволакивает прибывших на первоначальную обработку: к доктору, в баню, в одежную кладовку. Все великолепие новых шапок, пиджаков и рубашек безжалостно сдается в кладовую, и через час новые коммунары уже сияют другим сиянием: щеки румянятся от бани, круглые головы блестят после стрижки, поясок охватывает похудевшую сразу фигуру, открытый воротник новой коммунарской спецовки создает впечатление новой человеческой культуры.

Похожай вводит их и напуганно басом:

— Это вам спецовки, а форму получите, когда вся эта буза пройдет. Да и ходить к тому времени научитесь.

Вечером в отряде штаб собирает новеньких в кружок и рассказывает им о порядке коммунарской жизни.

— Сигнал «вставать» в шесть часов. Значит, снится там тебе или не

снится что, а вставай и за уборку. Дам тебе щетку, тряпку, и действуй. Да смотри, чтобы мне из-за тебя вечером не отдуваться...

— На всякое приказание, понимаешь? Начальник или командир, скажем я, — никаких разговоров, «есть» и все! А ну, покажи, умеешь ты салют? Ну, что ты ноги расставил, как теленок. Ты коммунар, должен быть во! Выше, выше руку нужно!.. Вот молодец!..

Новичок радуется первому успеху.

— Да, ну конечно, если какое распоряжение неправильное, можешь в общем собрании взять слово и крой, не стесняйся! Но только на общем собрании, понимаешь? В газету можешь написать. Ты пионер? Нет? Не годится! Вот я тебя познакомлю со Звягинцем, вожатым.

— Э, нет, нос так не годится. У тебя же платок!.. Так что же ты теперь платком? Это как покойнику кадило... Руки измазал, а потом уже платок вынул...

— Стенки не подпирать, стенка, она, знаешь, не для того. У тебя, понимаешь, есть вот тут позвоночный столб называется, как ты больше на него напирай, тогда будешь молодец! А когда сходишь по лестнице, тоже не держись ни за что, ни за перила, ни за что другое...

— А как же?

— Чудак, да что ты, старик, что ли?.. Вот так просто и иди, как по ровному.

Пацан перед последним пунктом стоит пораженный и улыбается.

Из детских домов нам все-таки не пришлось набрать требуемое число. Многие приезжали с чесоткой и с стригущим лишаем. Таких мы со стесненным сердцем отправляли обратно — лечить их было некогда.

С улицы был хороший самотек с первых дней октября и усиливался с каждым днем. Уже с утра в вестибюле, завернувшись в изможденные клифты или в остатки пальто, сидят три-четыре пацана и блестят белками глаз на измазанной физиономии. Они пялятся на дневального и сначала помалкивают, а потом начинают приставать ко мне, к дежурному командиру, к каждому старшему коммунару, к Дидоренко.

Дидоренко особенно любит с ними поговорить:

— Тебя принять? Ты же убежишь завтра...

— Дядя, честное слово, буду работать и слушаться. Дядя, примите, вот увидите!..

— А ты это откуда убежал на прошлой неделе?

— Дядя, ниоткуда я не убежал, я от матки как ушел, так и жил на воле все время.

— Вот посуди, на что нам принимать таких брехунов?

— Дядя, честное слово!..

— Ну, сиди пока здесь, просохнешь немного, вечером совет командиров будет, может, и примут.

В дальнейшем новые пацаны уже и сами знали, что нужно ожидать совета командиров. Они поуютнее устраиваются в вестибюле и наполняют его тем своеобразным горячим и ржавым духом, от которого, как известно, плодятся вши и разводятся сыпняк. Дневальный не пускает их дальше вестибюля, только после обеда дежурный командир придет и спросит:

— Вы как? Обедать привыкли?

Пацаны неловко улыбаются:

— Два дня ничего не ели.

— Ну, это ты, положим, врешь, а обедать все-таки пойдем.

Для них уже заведен постоянный стол, который после обеда внимательно осматривается ДЧСК, не осталась ли на нем «блондинка».

Вечером в совет командиров их вводят поодиночке.

Коммунары их видят насквозь и обычно долго не возятся.

— Это свой... В какой отряд?

— Давайте мне, что ли, — говорит Долинный.

— Забирай, сейчас же к Кольке тащи!..

Долинный поднимается с места.

— Вот твой командир, понимаешь?

— А как же... командир, знаю.

Но бывают случаи и неясные.

Посредине нашего тесного временного кабинета, заставленного неразвешанными портретами и зеркалами, вертится малорослый пацанок. Матерчатый козырек светлой кепки оторван, но у него умненькое лицо, бледное, но умытое. Он не знает, в какую сторону повернуться лицом — командиры со всех сторон, а с разных краев кабинета на него смотрят явные начальники: Швед — председатель, я — тоже как будто важное лицо, а сбоку Крейцер, случайно попавший на заседание.

Швед энергично приступает к делу:

— Ну, рассказывай, откуда ты взялся.

— Откуда я взялся? — несмело переспрашивает пацан. — Я родился...

— Ну, это понятно, что родился, а дальше что было?

— Дальше? Папа и мама умерли, а я жил у дяди. Дядя меня выгнал, говорит, иди, сам проживешь... Ну... я и жил.

Остановка.

— Где же ты жил?

— Жил... у тетки, а потом тетка уехала в Ростов, а я жил в экономии... там, в экономии заработал четыре рубля, четыре рубля заработал, пошел в Харьков, хотел поступить в авторемонтную школу, так сказали — маленький...

— На улице, что ли, жил в Харькове?

— На улице жил три недели...

Пацан говорит дохлым дискантом и чисто по-русски, ни одного блатного слова.

Командиры вопрошают его наперебой:

— А что ты ел?

— А я покупал.

— Все на четыре рубля?

— На четыре рубля... я еще зарабатывал, — говорит пацан совсем шепотом.

— Как зарабатывал?

— Папиросы продавал.

— Ну, разве на этом деле много зарабатываешь?

— А я продавал разве коробками? Я по штукам. По пять копеек штука продавал.

Из противоположного угла кабинета:

— Где же ты брал папиросы?

Пацан поворачивается в противоположную сторону:

— Покупал.

— Почему?

— А по рублю тридцать.

Каплуновский серьезно и несмело произносит:

— Чистый убыток выходит...

Все смеются...

Швед говорит:

— Ты все это наврал... Ты, наверное, прямо от мамы.

Пацан в слезы:

— Примите, честное слово, у меня никого нет... Я жил у тетки, а тетка говорит: пойдешь погуляй, а я пришел, а хозяйка говорит: твоя уехала с новым мужем в Ростов...

— С каким новым мужем?

— А я не знаю...

— Это было в каком городе?

— В Таганроге...

— Ну?

— Уехала с новым мужем и больше не приедет, а ты, говорит, иди.

Так я приехал в Харьков...

— С кем?

— Там мальчики ехали...

— Это они тебе такое пальто обменяли?

— Угу. Один говорит: давай твой пиджачок...

— Сколько дней был в Харькове, говори правду!..

— Вчера приехал, а тут на вокзале мальчики говорят, в коммуне этого... как его...

— Дзержинского?

— Угу... так говорят принимают, так я и пришел, тут еще один мальчик пришел... Колесников его фамилия... он там стоит.

— Ну, хорошо. Сколько двенадцать на двенадцать? Ты учился? В какой группе?

— Учился в пятой группе...

Со всех сторон один и тот же вопрос:

— А кто же тебя учил? Где ты учился?

Но Крейцер останавливает командиров:

— Да бросьте, мучители, вам не все равно!.. Пускай говорит, сколько двенадцать на двенадцать...

— Сто четыре, — улыбается более мажорно пацан.

— Та-а-ак. А кто такой Дзержинский?

Молчание.

— А Ворошилов кто?

— Ворошилов?.. Главный... этот... вот, как генерал...

— Главный, значит?

— Угу...

Теперь уже и Крейцер заливается хохотом, покрывая басовым восторгом смех командиров.

Пацан молчит.

— Ну что? — обращается Швед к совету.

— Принять, — говорит Крейцер.

— Голосую. Кто за?

Не успели принять этого, врывается в совет Синенький.

— Там еще один, из Одессы приехал...

— Ну, чего ты, как угорелый... давай его сюда!..

Входит. Длиннейшая шинелишка. Заплаканные глаза.

— Рассказывай.

Начинает рассказывать быстро, видно, что заранее обдуманную речь произносит:

— Я жил в одном дворе в Одессе, где вы останавливались. Просил вот их, — показывает на меня глазами, — отец у меня пьет, безработный, и каждый день бьет и бьет. Я и приехал...

— Где взял денег на дорогу?

Сначала деньги взяты у отца. Потом выясняется, что деньги украдены у соседей.

— Для чего ты украл?

— А я раньше поехал без денег, это, как его...

— Зайцем?

— Зайцем, а меня на третьей станции высадили, так я и вернулся, а потом взял эти деньги... на дорогу.

Коммунары вспоминают, что видели этого мальчишку в Одессе, он занимался кражей арбузов с подвод... Коммунары говорят:

— Пацан балованный, а потом папа у него есть... Пускай в Одессу едет, дать денег на дорогу...

Сопин другого мнения:

— Вот, что он не беспризорный, так это что ж? Он, конечно, ночует дома, а днем, так он все равно арбузы таскает, так это разве не беспризорный? А ночью, конечно, ночует... А что? Принять. Он, конечно... и так и так. Две должности занимает...

Большинство за отправку в Одессу.

— Завтра поедешь, — говорит Швед, — дадут тебе билет...

Одессит громко ревет и срывает с себя рубашку...

— Не поеду, все равно не поеду, смотрите, как бьет... вот!.. вот!..

Кое-кто и синякам не верит.

— Да это не папаша, это кондуктор.

И вдруг горячую речь произносит Синенький, торчащий до сих пор в кабинете:

— Мы знаем, пацан этот хороший... А мы знаем, как отец его бил, и тогда все видели!.. А что он украл, так что, он не на что-нибудь, а на дорогу, а к отцу он все равно не поедет. Надо принять, потому что пропал он тогда совсем!..

И таки добился своего одессит — приняли. Крейцер махнул рукой:

— Правильно, правильно сделали, что приняли...

Наконец, и третий в сегодняшнем совете — Колесников. Этого сразу видно. Его физиономия свидетельствует о породе, слагающейся обыкновенно на Тверских, Ришельевских и улицах Руставели.

— Сколько времени на улице?

— Три года.

Колесникову уже лет шестнадцать, он держится в совете прямо и видно старается не оскандалиться.

Крейцер по неопытности задает вопрос, который в подобном случае никогда не зададут коммунары:

— Чем жил на улице?

— Чем жил? — добродушно серьезен кандидат. — Да так, как придется.

— Красть приходилось?

— Да так вообще. Разное бывало. Ну, на благбазе не без этого... Но только в редких случаях...

Командиры улыбаются, улыбается и Колесников — через одну минуту новый член пятнадцатого отряда.

А в один из вечеров две небольшие девочки, у каждой аккуратный сверток, и сами они аккуратистки, видно. Совета командиров в этот вечер не ожидалось, а в кабинете, по обыкновению, народ.

Спрашиваю:

— Чего вам?

— Примите нас в коммуны.

— Откуда же вы?

— Из Сочи.

— Откуда?

— Из Сочи приехали.

Мы все удивлены, переспрашиваем. Действительно, приехали из Сочи.

— Как же вы приехали?

— Нас посадил начальник станции.

— А билет?

— Мы собрали пятьдесят рублей. Мы жили у людей с ребенками...

А Настя и говорит: поедем, так мы и поехали...

— Пятьдесят рублей?

— Нам хозяева были должны, мы долго не брали денег, а как коммунары жили в Сочи, так мы и сказали хозяину, что поедем...

— Что за хозяева?

— Ее не пускали, а мои — хорошие, сказали «поезжайте» и даже попросили начальника станции...

— А назад как поедете? — спрашивает Камардинов.

— Не знаем.

Мы молчим, пораженные этим происшествием. А они стоят рядом и молча моргают глазами.

Пришлось трубить совет. В совете смеющееся удивление. Сопин предлагает:

— За их боевой подвиг — принять!

Так и сделали.

Но были и отказы. Вваливается в кабинет бородатый парень и сразу усаживается на стул:

— Примите в коммуны.

— А сколько вам лет?

— Семнадцать.

— В каком году родились?

— В тысяча девятьсот девятом.

— Уходите.

- Что?
- Уходите!
- Других можно, а я что ж...
- И уходит, цепляясь за дверь...

25. Симфония Шуберта

Ужин, как обычно, был в шесть часов.

За ужином секретарь совета бригадиров Виктор Торский прочитал приказ:

«Несмотря на героическую штурмовую работу колониетских бригад, остается еще много дела. Поэтому совет бригадиров постановил: сегодня время с восьми часов вечера до трех часов ночи считается как рабочий день с перерывом на обед в одиннадцать часов. Рапорты бригадиров — в три часа пятнадцать минут, спать — в три двадцать. Завтра встать в девять, построиться к первомайскому параду в десять часов.

Заведующий
колонией — Захаров,
ССК — Торский».

Производственный корпус новенький, двухэтажный, с балконом... На свежеекрашенном полу ничего нет, кроме блеска, у порога распростертый мешок приглашает вытирать ноги. Под левой стеной выровнялись в длинной шеренге токарные «красные пролетарии», а справа во всю длину цеха протянулись солидные фрезерные «цинциннати» и «ван-дереры», перемежаемые высокими худыми сверлильными станками. А между этими рядами разместилась сложная семья зуборезных и долбежных станков. Четыре ряда фонарей, еще без абажуров, заливают ровным светом стены, потолки и станки. Колонисты по одному, по два пробираются на балкон и любуются этим великолепным итогом многолетних своих трудов — новым советским заводом, настоящим заводом, который завтра будет торжественно открыт.

Зато в самой колонии не управились. И в главном здании и в лите-ре «А», где расположились спальни, успели побелить, но не успели устроиться. В колонии сейчас, точно после погрома. По всем комнатам, по коридорам разбросана мебель, валяются клочки бумаги, куски фанеры, стоят у стены рамы, лестницы, щетки...

Торский — в кабинете Захарова. В кабинете, как в боевой рубке. Против Торского сидит садовник и просит:

— Это ничего, что ночь, вы же все равно будете работать... А цветы кто приготовит? Вы же мне обещали давать по десять человек, а давали по пять.

Торский смотрит на садовника и бурчит:

— Днем вам дал сорок человек, днем мы решили все кончить, а ночь оставили для себя. А теперь вы опять просите. Это же ночь, поймите, это — наше время!

— Товарищи, так и розы ваши и гвоздики ваши... Я же не успею...

— Сколько вам?

— Десять человек.

— Три. Похожай, дашь из твоей бригады троих?

— Виктор... Да откуда же я возьму? У меня театр!

— У тебя все комсомольцы. Управишься. Давай.

— Ну, есть, — недовольно тянет Похожай и вытаскивает из кармана блокнот, чтобы выбрать для садовника самый слабый рабочий комплект. Садовник все же облизывается от удовольствия. Торский напоминает ему:

— Только с восьми! Алексей Степанович сказал: до восьми — полный отдых.

Дирижер оркестра толстый краснолицый Левшаков прослушал этот драматический отрывок и исчез потихоньку. Через пять минут откуда-то донесся слабый сигнал. Заведующий колонией Захаров, подняв голову от бумаг, спросил удивленно:

— Почему сигнал?

Дежурный бригадир маленький Руднев сорвался со стула:

— Да кто же это играет?.. Сигналка — вон лежит!

На маленьком столике лежала длинная труба с белой лентой. Никто в колонии не имел права давать сигнал, кроме дежурного трубача по приказу дежурного бригадира.

— Это они сами... сами играют... Нахально играют «сбор оркестра»!

Руднев смеется и вопросительно смотрит на Захарова:

— Разогнать?

— Жаль... Знаешь что... пусть они... поиграют, ведь у них завтра концерт.

* * *

Захаров вышел в коридор. У окна стоял главный инженер Василевский, сухой, строгий, прямой, как всегда. Еще осенью он не верил ни в колонию, ни в колонистов... По коридору пробежали озабоченные малыши: они спешили закончить личные дела к восьми часам. Увидев Захарова, Василевский отошел от окна:

— Пойдемте послушаем музыкантов, они разучивают прекрасную вещь, я уже два раза слушал: симфонию Шуберта.

В будущей физической аудитории, где уже стоят стеклянные шкафы, за столами музыканты. Кажется, что их страшно много. Дирижер отделяет симфонию Шуберта. Захаров и Василевский присели в сторонке.

Захаров устал, но нужно подготовиться к еще большей усталости, и поэтому хорошо прислониться головой к холодной стене и слушать. Он различает в сложном течении звуков то улыбки, то капризы, то восторженную песнь, то заразительный хохот, то торжествующий звон. Пять лет назад он создавал этот замечательный оркестр, который считается теперь одним из лучших в стране.

Сорок мальчиков, сорок бывших бродяжек, играют Шуберта. Они поглядывают на Захарова и, вероятно, волнуются...

Дирижер кривится и бессильно опускает руки и голову — музыка нестройно обрывается.

Дирижер смотрит на Головина — большой барабан. Захаров еле заметно улыбнулся: он знает, сколько мучений испытал дирижер, пока нашел охотника на этот инструмент.

- Сколько у тебя пауза? — страдальчески-вяло спрашивает дирижер.
- Семь, — отвечает Головин.
- Семь! Понимаешь, семь? Это значит шесть плюс один, или пять плюс два, но не три, не три, понимаешь, не три! Надо считать!
- Я считаю.
- Наконец, надо на меня смотреть.
- И на вас смотреть и в ноты смотреть... — говорит Головин недовольным баском.
- Чего тебе в ноты смотреть? Написано семь, сколько ни смотри, так и останется семь.
- Вам хорошо говорить, а мне делать нужно.
- Мальчики хохочут, смеется дирижер, смеется и Головин.
- Чем вы его накормили сегодня? Сначала!

* * *

В восемь часов вышел на площадку лестницы Володька Бегунок и проиграл сигнал на работу. С лестницы спускаются девочки в красных косынках. Сегодня у них геройская задача — навести блеск на все окна, на все стекла шкафов, на все ручки.

Первая бригада Зырянского развешивает по аудиториям, спальням и залам портреты и зеркала — этой работы хватит на всю ночь. Не меньше работы досталось и третьей бригаде: на всех дверях надо прикрепить стеклянные голубые таблички, на которых золотом написаны названия комнат. Шестнадцатая бригада девочек приводит в порядок столовую. Шестая натирает паркет. У каждой бригады своя задача и — задача большая.

По всем коридорам и залам рассыпала свою агентуру четвертая комсомольская бригада, пользующаяся сегодня монопольным правом переносить мебель из помещения в помещение. Уже в начале вечера бригаду назвали «Союзтрансом». «Союзтранс» доставляет грузы по указанию дежурного бригадира и об их дальнейшей участи не заботится. Вот принесли из столярной огромные шкафы для химической лаборатории, вот притащили из подвала несколько зеркал, доставили в классы десятки столов... И вот уже весь «Союзтранс» отдыхает в кабинете, и бригадир Скребнев говорит, усмехаясь:

— Биржа труда!..

В кабинете же сидят пять-шесть малышей, несущих службу связи. Этим сегодня придется побегать. Для связи малыши незаменимы.

— Володька, — говорит Захаров, — срочно Зырянского!

Володька очень хорошо знает, насколько было бы неприличным спросить, где может находиться Зырянский. Володька дрыгает рукой (это значит салют), шепчет «есть» и вырывается в коридор. В коридоре он нюхает воздух и бросается к дверям «тихого» клуба, потом останавливается и вдруг летит в противоположную сторону, перескакивает по ступенькам лестницы, проносится по коридору второго этажа, перелетает через мостик, съезжает на перилах, и вот он уже в спальне № 39 дергает за рукав Зырянского:

— Алешка, в кабинет!

Алеша спешит в кабинет, а Володя не спеша бредет за ним, и по

дороге его зоркие, внимательные глаза замечают, где расположились бригады и другие нужные люди.

В «тихом» клубе сосредоточены главные силы малышей. Здесь они под руководством учителя Маленького устраивают уголки: Ленина, 1 Мая...

Ах, сколько здесь дела, сколько дела! Сколько метров материи, сколько картин, рамок, портретов, букв, гвоздей, кнопок, картона, золотой, серебряной и красной бумаги. Весь «тихий» клуб в обрезках бумаги, везде стоят банки с клеем, стучат молотки и стрекочут ножницы. Малыши то сосредоточенно работают, то щебечут и спорят, то в мире с Маленьким, то в конфликте, но дело все же подвигается.

Здесь же работают и два пацана из Кролевца: Волончук и Коленко. Они прибыли в наш город неделю назад, специально в колонию имени 1 Мая. В совете бригадиров они заявили, что желают жить в колонии. Совет бригадиров долго расспрашивал их о разных семейных обстоятельствах, но мест в колонии все равно нет. Дежурный накормил кролевцев парнишек обедом, а после обеда они поплакали и куда-то исчезли. На другой день малыши снова явились, сидят на крыльце и ждут. Захаров увидел их и сказал Торскому:

— Чего сидят? Отведите их в приемник.

— Они уже там были.

— И что же?

— Да вот опять пришли...

— Идите в приемник, вас в колонию не приняли.

Они скрылись, а сегодня к вечеру снова пришли, улыбнулись Торскому и отправились прямо на работу в «тихий» клуб. Один из них — курносый, круглоголовый, с умными серыми глазами, второй — дурашливее и похитрее. В «тихом» клубе они что-то прибывают маленькими молоточками и рассказывают:

— Батки и мамы давно нет... Ни... Мы городяны. Та у мене бабка есть, а у Волончука никого, так вин пас... коровы. Там коровы у городян у каждого... Про колонию давно прочулы, наши плотныки тут робылы... Чого бабки жалко? Бабка не пропадэ, ей люды помохуть...

Малыши к этой паре относятся сочувственно, иначе не дали бы молотков в руки.

К обеду много работы было уже сделано, и Захаров с Торским пошли проверять. Зашли и в «тихий» клуб. Уголки почти готовы, остались последние мазки, по полу уже прыгают члены шестой бригады: натирают полы. Кролевцевские парнишки что-то вырезают ножницами.

— А эти чего здесь?

Кролевцевские задрали головы и молчат. Только у Коленко в одном глазу задрожала маленькая слеза. Торский взял Захарова за пуговицу:

— Да пусть они уже остаются... для праздника.

Захаров положил руку на круглую голову мальчугана:

— Добре. Тащи их к доктору.

— Да доктор спит, наверное.

— Ничего не спит. Колька в больничке пол натирает.

В коридоре заиграли сигнал на обед. Колонисты потянулись в столовую. «Союзтранс» пронес на плечах несколько спящих малышей...

В десять часов утра отдохнувшие, розовые, в парадном блеске, с вензелями на рукавах колонисты выстроились против цветников. За цветниками сверкали вымытые окна их колонии. Площадка перед новым заводом была посыпана песком.

— Под знамя смирно!

Вытянулись, подняли руки в салюте.

Оркестр загремел знаменный марш. Взволнованные и строгие вышли из главного входа знаменщики. Еще через минуту пятьсот членов колонии имени 1 Мая, по восьми в ряд, играя на солнце всеми красками радости и молодости, маршем пошли в город. Сейчас у них нет никаких долгов перед людьми: все сделано, все поставлено на место.

Вышли на шоссе. Справа строятся к параду рабочие машиностроительного завода. Люди уступают дорогу колонистам. Между рядами мужчин и женщин, разрывая воздух вздохами оркестра, гордо проходят пятьсот юношей.

— Машиностроительному заводу салют!

Пятьсот рук вспорхнули над головами. Лица у рабочих розовеют под солнцем. Они смеются и аплодируют.

26. Поворот оверштаг⁵⁷

27. Похоже на эпилог

.....
 прошлом году работали праздничные комиссии, только дорожной комиссии не было. Теперь уже не пацаны готовили в тайне праздничную каверзу, а все триста коммунаров готовили к пуску свой завод.

В день праздника вечером двери завода закрыты, и коммунары показывают гостям спальни, аудитории, классы и клубы.

В семь часов приехал председатель ВУЦИКа Григорий Иванович Петровский и пошел в толпе коммунаров осматривать коммуну. В одной из спален ему представили братьев Братчиных и пояснили, что Петька старше Кольки только на пять минут.

В одной из аудиторий Григорий Иванович увидел глобус и сказал одному из пацанов:

— А покажи Украину.

Пацан не опозорил звания коммунара-дзержинца:

— Вот Украина.

В это время вышел на площадку лестницы трубач и заиграл сбор. Пробежали на завод коммунары и выстроились в нижнем этаже. Гостей пригласили на балкон, на балконе же расположился Левшаков со своим оркестром.

У каждого станка стал коммунар, а у распределительной доски, где красным бантом связан рубильник, часовые: Синенький и Ворончук. На заводе дежурное освещение — мерцают только лампочки на стенах.

Председатель ВУЦИКа поздравил коммунаров с новым заводом и взялся за ножницы.

Фанфаристы развернули над перилами балкона свои занавески и за-

играли сигнал «на работу». Марголин двинул выключателями, и четыре линии фонарей ослепительно загорелись над нами.

Председатель ВУЦИКа перерезал ленту рубильника и сказал:

— Объявляю завод открытым.

Оркестр грянул «Интернационал», коммунары замерли в салюте.

И тишина.

И вот первый звук: завертелся шкив у Грунского, и сейчас же за ним круглым гулом пошло по заводу. Все больше и больше в общую гармонию прибавляется звуков: зашипели шлифовальные, замурлыкали револьверные, запищали сверлилки, зазвенели молоточки в сборном на балконе, завертели шкивы и патроны, заходили шепинги широким шагом, затанцевали долбежные, и в вихре вальса завертели «вандереры» — бал, торжественный бал. В каждом патроне деталь, угощение для советского хорошего гостя, ибо деталь новой советской машинки лучше пирожного и бутерброда.

Григорий Иванович и гости пошли между станками и коммунарами.

На втором этаже последние винтики завинчивают девчата в первую сверлилку, вытирают на ней последнее пятнышко, смахивают последнюю пылинку с вензеля на крышке ФД-1, что значит: электросверлилка завода коммуны имени Феликса Дзержинского, модель первая.

С того момента прошло три месяца. Наш корабль быстро мчится вперед, не отставая от развевающихся впереди красных вымпелов и почти не имея крена. На корабле снова идеальная чистота, четкий ритм марша двадцати девяти отрядов коммунаров.

Двадцать первым отрядом заготовщиков, в котором двенадцать пацанов, командует коммунар Томов.

Швейной мастерской нет: есть фрезеровщицы, сверловщицы, сборщицы, контролеры.

Стадион еще стоит и ожидает весны, чтобы перейти в загробную жизнь в виде хороших сухих дров. Но в стадионе уже не слышно писка пацанов, шарканья рубанков, визга пилы: все коммунары работают на новом заводе, ибо промфинплан семь тысяч машин в год. Уже выполнен план первого квартала — двести пятьдесят машин. В коммуне то и дело сидят представители советских заводов: всем до зарезу нужны электросверлилки. Нет, не напрасно коммунары подставили ножку Петравицу в Австрии и Блек и Деккеру в Америке⁵⁸.

В рабфаке коммунары добивают последние остатки осеннего прорыва, но и без прорыва работы здесь по макушку: улучшаются программы, выбрасываются последние хвостики, торчащие еще из советского текста, находят новые формы, новые ухватки в работе.

В комсомоле сто семьдесят человек, наша ячейка одна из самых сильных в Харькове.

И у комсомола, как и раньше, в руках чуткий руль коммуны...

Впереди еще много жизни и много борьбы. Много коммунаров уйдет в жизнь взрослых людей, много придет новых пацанов, из них будет складываться коллектив дзержинцев, коллектив живых людей. Коммунары уверены, что через три года коммунаров уже будет не триста, а тысяча и будет огромный завод электроинструмента, из которого выйдут наши будущие марки ФД-2, ФД-3, ФД-4...

МАЖОР

Пьеса в четырех актах

Действующие лица

Крейцер Александр Осипович — председатель Правления трудовой коммуны имени Фрунзе. Высокий, стройный, в военной форме. Всегда в хорошем настроении, даже когда сердит. Уверенный в себе, с большой силой воли. 36 лет.

Захаров Алексей Степанович — заведующий коммуной, иногда в военной форме, но большей частью одет сборно. Худой, молчаливый, чрезвычайно спокойный человек. Он может часто проходить через сцену по каким-то своим делам без слов, иногда прислушиваться к происходящему. Несмотря на немногословие, он деятельный воспитатель в коммуне, и его интеллект и воля должны чувствоваться. 40 лет.

Торская Надежда Николаевна — учительница русского языка в рабфаке коммуны. Хороша собой, женственна, очень культурна. Бодрый характер. 23 года.

Дмитриевский Георгий Васильевич — главный инженер завода электроинструмента при коммуне. Высокий, сухой, очень вежлив и всегда серьезен. 44 года.

Воргунов Петр Петрович — начальник механического цеха и заместитель главного инженера. Полный, массивный. Бритое лицо, выразительная мимика. Говорит басом. 55 лет.

Троян Николай Павлович — начальник сборного цеха завода. Усы и борода, за которыми не следит. Очки. Всегда спокоен и молчалив. 40 лет.

Вальченко Иван Семенович — начальник инструментального цеха завода, красив, темная шевелюра, брит.

Григорьев Игорь Александрович — инженер, старший конструктор завода. Блондин, подстриженные усики и пенсне без оправы. Всегда оживлен. 29 лет.

Блюм Соломон Маркович — бывший заведующий производством коммуны, теперь заведующий снабжением. Небольшое ожирение, несколько отекающее лицо, лысина. Несмотря на все это, очень подвижен, всегда бодр и энергичен. 57 лет.

Белоконь — механик, усы закручены, ежик. 38 лет.

Воробьев Петр — шофер, блондин, веселый. 25 лет.

Черный — инструктор. Высокий, худой, черный и долговязый. 30 лет.

1-я уборщица.

2-я уборщица.

Пожарный.

Коммунары:

Шведов Марк — приземистый, широколобый, огромные глаза. 18 лет.

Жученко (Жучок) Ваня — секретарь совета командиров, большая склонность к улыбке. Добродушен, но напускает на себя строгость по положению, часто ее не выдерживает и улыбается. Веснушки. 17 лет.

Одарюк Тимка — рыжий, некрасивый, стройный. 17 лет.

Клюкин Вася — командир первого отряда коммунаров, высокий, светлые локоны, интеллигентное лицо. 17 лет.

Забегай Коля — командир четвертого отряда. Образец постоянно бурлящей бодрости. 17 лет.

Ночевная Настя — командир отряда девочек, в отличие от других носит косу. Серьезный человек.

Зырянский Алешка — командир второго отряда, неподатлив и прям во всем. 17 лет.
Собченко Санька (Санчо) — командир пятого отряда, небольшого роста, остроносый блондин с непокорными вихрами. Живой. 16 лет.

Нестеренко Наташа — темные локоны, большие глаза. 17 лет.

Донченко Вера — полная, с круглым лицом, рыжеватая, спокойная девушка. 16 лет.

Гедзь Володя — курчавый юноша с вздернутым носом, несколько грубоват, силен. 18 лет.

Болотов Сергей — широкий нос, монгольское лицо, идеальная прическа. 16 лет.

Синенький Ваня — очень хорошенький, с чистым лицом, аккуратно причесанный мальчик, всегда весел, сигналист коммуны, часто носит с собой трубу-сигналку на синей ленте. 13 лет.

Романченко Федя — умен, проказник; когда находится в официальной обстановке, делается очень серьезен и старается говорить басом. 13 лет.

Вехов Игорь — молодой коммунар. Не беспризорный — из семьи. 15—16 лет.

Лаптенко Гриша — беспризорный, живые черные глаза. 14 лет.

Деминская.

Коммунары и коммунарки.

Общие указания к постановке

Мы даем шестнадцать «говорящих» коммунаров, чтобы не затруднять театр. Всего в коммуне двести человек. Этот коллектив театр должен показать движением коммунаров в разное время при помощи разнообразия лиц и возрастов.

Приблизительное отношение возрастов: шестнадцати — восемнадцати лет — пятьдесят процентов; четырнадцати-пятнадцати лет — тридцать процентов; двенадцати-тринадцати лет — двадцать процентов.

Из общего числа — девочек двадцать пять процентов.

Коммунары всегда одеты в форму. Во втором действии белые костюмы: штаны на выпуск и спрятанные в них рубахи со свободными воротниками (как в ковбойке). На левом рукаве вышитая золотом буква Ф. На голове тубетейка. Узкий черный пояс.

В остальных действиях обычный костюм: ботинки, гамаши с коричневой каймой, черные суконные полугалифе и взятые в штаны суконные синие рубахи. Черный пояс. На левом рукаве такой же знак. У часового и у дежурного командира на голове темно-синяя беретка, у дежурного, кроме того, шелковая красная повязка на рукаве.

С завода коммунары проходят в третьем действии в спецовках: синие штаны и такие же пиджачки, у многих довольно замасленные. Уже к концу третьего акта все должны переодеться в обычный костюм, только на пожар мьогие сверх обычного костюма надевают пиджачки.

У девочек такого же цвета костюмы, вместо сукна шерсть. Вместо спецовок синие халатки.

Как правило, все коммунары подтянуты, собранны в движениях, не опираются на стены, сходя по лестнице, не держатся за перила¹. Только младшие позволяют себе иногда съехать по перилам.

Все причесаны, небольшие нарушения этого правила у младших².

Не должно быть толкотни, пробок в дверях.

Акт первый

Временная контора завода электроинструмента в коммуне имени Фрунзе. Большая комната — класс, на стене доска. Два окна в задней стене открыты, справа видно новое здание, кое-где еще остались леса. Несколько вершин деревьев, конец лета.

Прямо, ближе к задней стене, стол главного инженера. За столом *Дмитриевский*. По эту сторону стола в кресле *Воргунов*. Они рассматривают большой чертеж.

Слева, ближе к зрителю, высокий стол, какие бывают в физических кабинетах. За ним стоя работает *Троян*. На его столе собранные электросверла и электрорубанок, много, целые кучи разных деталей. К столу привинчены маленькие тисочки.

В банке с бензином лежат какие-то части.

Далеко от зрителей маленький столик *Григорьева*, за которым он, впрочем, никогда не сидит. Справа чертежный стол *Вальченко*. Самого его сейчас нет. В комнате много стульев самых разнообразных фасонов: канцелярских, столовых, классных, две-три табуретки. Все в большом беспорядке: на столах и на полу сор и окурки, некоторые стулья в известке.

На задней стене на синьке два больших чертежа.

Дмитриевский (*кричит в окно*): Соломон Маркович, Соломон Маркович! Подождите, не выезжайте. Зайдите на минуточку к нам.

Блюм (*за окном*): А что такое? Я же и так опоздал...

Дмитриевский: Соломон Маркович, очень нужно.

Блюм: Ну... хорошо.

Троян (*рассматривая на свет две шестеренки*): В нашем городе он такого фреза не достанет. Я уже искал.

Воргунов (*сдержанно опуская кулак на стол*): Не могу понять. Не могу. Как могли допустить такую ошибку? Ведь это задача для грудных детей. Кто это придумал, что сюда подойдет фрез модуль один? Это вы, *Григорьев*?

Григорьев: Кажется, нет. Кажется, товарищ *Троян* высчитывал.

Троян: Если кажется, нужно перекреститься, *Игорь Александрович*. Все зуборезные высчитывали вы, как вы могли это забыть? Вот же у меня расчеты. Вот! Это ваши цифры?

Григорьев (*заглянув в бумажку*): Как это могло быть? Поразительно...

Блюм (*входит с толстым портфелем*): Ну, что такое? Когда же я выеду в город? Это не темпы, а мучительство. Разве так можно работать?

Дмитриевский: Соломон Маркович, маленькое недоразумение: для зуборезного «рейнекер» рассчитан фрез модуль один, а нужно ноль семьдесят пять сотых.

Блюм: Новое дело! Пойдите достаньте. Модуль один доставали две недели, а теперь семьдесят пять сотых... А кто же это такой грамотный, извините?

Молчание.

Значит, кот Васька виноват? Ну и хорошо. Я поехал. Только, пожалуйста: мне, старику, прыгать по лестницам нельзя сказать, чтобы было приятно. Пока я дойду до машины, так вы мне закричите: не ноль семьдесят пять сотых, а ноль сто семьдесят пять сотых. Так, пожалуйста, кричите в окно, я догадаюсь, в чем дело. Будем доставать!

Троян: В городе нет.

Блюм: Что значит нет? На свете все есть, даже калоши номер пятнадцатый. *(Собирается уходить.)*

Троян: Подождите, Соломон Маркович, я заканчиваю проверку. Сейчас.

Блюм: Вот теперь подождите. В таких темпах работают только угорелые кошки...

Дмитриевский: Не волнуйтесь, Соломон Маркович.

Блюм: Как же не волноваться, Георгий Васильевич? Вот-вот должны приехать коммунары. А что у нас есть? Даже фундаментов нет, станки в ящиках. Это называется: мы пускаем завод первого сентября? А сейчас тринадцатое августа, слава тебе, господи. А что скажут коммунары? Сидело здесь вас шесть инженеров, а сделали для комара насморк.

Дмитриевский: Ничего, ничего, все будет хорошо. Садитесь лучше и расскажите нам о коммунарах.

Блюм: Ну что же, будем сидеть и разговаривать? Коммунары нам покажут, как разговаривать. Кто здесь сидел: инженеры или разговорщики? Вот вы их увидите!

Воргунов: Вы думаете, мы не видели беспризорных?

Блюм: Да, вы их не видели.

Воргунов: Один даже у меня шапку сорвал с головы, да я отнял.

Блюм: Хэ-хэ, то шапка...

Воргунов: А то что?

Блюм: Они из вас душу вытрясут, к вашему сведению.

Григорьев: А у вас уже вытрусил?

Блюм: А что вы думаете? Они за меня как взялись, так моя душа, знаете, где была? В подметках, если вы хотите знать. Ну, а потом я их узнал, так это же совсем новые люди.

Дмитриевский: Интересно вот что, Соломон Маркович, откуда у вас такая преданность коммунарам? Вероятно, вы хорошо жили, был у вас собственный заводик, правда?

Блюм: Ну а как же? У Блюма был завод, фабрика, настоящий трест. Разве вы не слышали? Соломон Блюм и К⁰. Откуда вы все так хорошо знаете?

Дмитриевский: А все-таки?

Блюм: Что «все-таки»? Ничего никогда у Блюма не было, кроме еврейского счастья — семеро детей. Работал всю жизнь на других, как угорелая лошадь, а что у меня теперь есть? Заводик.

Дмитриевский: Я слышал, вы работали у своего дяди управляющим.

Блюм: Желая вам иметь такого дядю. Разве это дядя, когда он не заплатил мне за год жалованья и уехал в Америку? Хороший дядя! Так я лучше буду работать у коммунаров. Они меня не обманут, я знаю. И пускай детки на моем труде учатся.

Воргунов: Трогательная история.

Блюм: История ничего себе.

Троян: Вот расчет. Правильно: семьдесят пять сотых.

Блюм (взял бумажку): Я тоже могу написать: ноль, запятая, семьдесят пять. Передайте это на память коту Ваське. *(Возвратил бумажку Трояну.)*

Троян: Можно передать, что ж...

Блюм, выходя, в дверях встречается с Вальченко.

Здоровается с ним и уходит.

Вальченко усаживается за чертеж.

Григорьев: Он у них здесь делом вертел. Заведующий производством. Спасите мою душу, инженер Блюм!

Вальченко: Он не инженер!

Григорьев: Как не инженер? Да вот и сейчас он насчитал шесть инженеров, значит, и себя считал.

Дмитриевский: По снабжению он работает прекрасно! Прекрасно!

Воргунов: Спекулянт!

Дмитриевский: Нет, про него нельзя это сказать.

Воргунов: Советский спекулянт. Вынюхать, обмануть, с мясом вырвать...

Вальченко: Блюм — энтузиаст.

Воргунов: Еще бы. Для того чтобы хватать каждого встречного за горло, необходимо быть энтузиастом.

Григорьев: Верно. Это верно. Он спекулянт. И производство у них было такое же. Что хочешь? Дубовая мебель, медные масленки и трусики. Спасите мою душу, комбинат! Все это в сараях, в подвалах. Столярный цех — это умора. Семьдесят метров длины и весь из фанеры. И чего там только нет, на десять пожаров хватит! А механическая? Станки! И где он их навывдирал? И прямо на полу, никаких фундаментов.

Вальченко: Да! Георгий Васильевич, фундаменты не делаются.

Дмитриевский: Почему?

Вальченко: Белоконь говорит, чертежей нет.

Дмитриевский: Игорь Александрович, что такое?

Воргунов: Чертежей фундаментов до сих пор нет?

Григорьев: Петр Петрович, поймите же... «Гильдемастеры» еще в пути. Габаритов...

Воргунов: ...Я вам сказал снять габариты на Кемзе. Я вам сказал, на Кемзе восемнадцать «гильдемастеров». Сняты габариты?

Григорьев: Да ведь все некогда, Петр Петрович... Эти расчеты...

Воргунов: ... Где эти расчеты? Модуль один насчитали?

Воргунов: Где фундаменты?

Белоконь: Чертежей же нет.

Воргунов: Чертей же на вас нет. А леса, а грязь, а бочки? А бетономешалку когда уберете?

Белоконь: Плотники ушли, вы же знаете.

Дмитриевский: Но если фундаменты все равно не делаются, можно заставить каменщиков убрать леса.

Воргунов: Георгий Васильевич! А придут плотники, фундаменты сделают, а чернорабочие фрез рассчитают. А инженер Григорьев что будет делать? Плановое хозяйство? Социализм строите? Социалисты! Портачи!

Дмитриевский: Петр Петрович, ну чего вы так? Григорьев — молодой инженер, ошибся, бывает же...

Воргунов: Не беда, что молод, а беда, что лентяй. Габариты может снять каждый грамотный человек, нужно распорядиться. Нужно меньше баб.

Григорьев: Спасите мою душу, Петр Петрович!

Воргунов: Чтобы чертежи были к вечеру, понимаете?

За окном гудок автомобиля.

Дмитриевский: Позвольте, ведь Блюм на завод едет. (В окно.) Соломон Маркович...

Блюм (за окном): А что такое?

Дмитриевский: Зайдите.

Блюм: Но как же так можно?

Дмитриевский: Зайдите, нужно! Вы подождите, товарищ Воробьев. (К Белоконю.) Пожалуйста, товарищ Белоконь, проследите за уборкой. И здесь после ремонта такой ужас. Подгоните строителей. Ожидаем воспитанников. Надо столовую, спальни скорее.

Белоконь: Побелку кончили, а убрать некому. Собственно говоря, это не моя обязанность.

Воргунов: Не ваше призвание, хотите сказать?

Белоконь: Я по механическому делу, а выходит уборщик...

Дмитриевский: Некогда разбираться с этим. Вы проследите.

Входит Блюм.

Блюм: Товарищи, нельзя же так. Я же просил, крикните в окно, ну, сколько теперь? Наверное, ноль пятьдесят или ноль черт его знает.

Дмитриевский: Соломон Маркович, вы будете на Кемзе?

Блюм: А если буду, так что?

Дмитриевский: Надо снять габариты некоторых станков.

Блюм: Новое дело. Какое же это имеет отношение к снабжению?

Вальченко: Потому, что вы будете на заводе.

Блюм: Мало ли где я бываю! Так я должен за всех работать? А где я возьму время?

Дмитриевский: Я вас очень прошу.

Блюм: Ну хорошо, давайте список, какие там станки.

Григорьев: Я сейчас запишу.

Блюм: Да, Георгий Васильевич, в той заявке на материалы много пропущено.

Дмитриевский: Не может быть. Дайте. *(Протягивает руку.)*

Блюм: Я никогда не записываю. Запишешь, потеряешь, а так лучше. *(Быстро.)* Латунь медная, калиброванная, четыре, четыре с половиной, шесть, шесть с половиной.

Сталь три, размер семь, одна четвертая, восемь и пять, одна четвертая.

Сталь пять, размер девять, девять с половиной и одиннадцать с половиной.

Сталь шесть, размер шесть и шесть с половиной.

Лента тафтяная.

Ликоподий.

Крепежные части.

Метчики одна четверть и три четверти.

Провод ПШД ноль двадцать сотых.

Провод голый.

Пробки угольные.

Порошок графитовый.

Все смеются. Вальченко аплодирует.

Блюм: О, у меня память!

Воргунов: А я предпочел бы, чтобы у вас был список. Что это вы из себя монстра какого-то корчите?

Блюм: Монстра? Как это?

Воргунов: У нас не цирк. Это в цирке дрессированные лошади и собаки считают до десяти, что ж, пожалуй, и занимательно. Дайте список, у нас серьезное дело. А фокусы эти оставьте для ваших беспризорных.

Блюм: Что вы ко мне пристали с беспризорными? Почему они беспризорные, скажите мне, пожалуйста? Они не беспризорные, а коммунары.

Григорьев: Что же, теперь запрещается называть их беспризорными?

Блюм: А что вы думаете? Чего это вам всем так хочется говорить о том, что раньше было? Коммунары беспризорные, у Блюма был заводик. А если я спрошу, что вы раньше делали, так что? Я же никому не говорю «господин полковник»?

Вальченко: Да у нас и нет полковников.

Блюм: Да, теперь нет. Ну, и беспризорных, значит, нет. Коммунары здесь хозяева.

Григорьев: Не слишком ли это сильно сказано?

Блюм: Да, хозяева, и, если хотите, они вас наняли.

Вальченко: Это уже чересчур. Выбирайте слова, Соломон Маркович.

Блюм: Чего я буду их выбирать? А он выбирал слова? Кошки, собаки, лошади, так это можно?

Дмитриевский: Соломон Маркович, нас не могут нанять беспризорные, или, пусть там, коммунары.

Блюм: Хорошо, «пусть»...

Дмитриевский: Мы служим делу.

Блюм: Вы служите делу, а кто это дело сделал? Они же, коммунары! Они заработали этот завод. Вы не можете так работать, как они работали. На этих паршивых станочках, что они делали, ай-ай-ай...

Григорьев: Что же они делали, спасите мою душу? Масленки, что же тут особенного? Станочки. О ваших станочках лучше молчать. Интересно, где вы выдрали всю эту рухлядь... Эпохи... первого Лжедмитрия?

Блюм: Какого Дмитрия, причем здесь Дмитрий? Ну, пускай и Дмитрий, так на этой самой эпохе, как вы говорите, на этой рухляди они и сделали новый завод. А вы теперь будете работать на гильдемейстерах. Так кому честь?

Торская (входит): У вас очень весело... но грязь невыносимая.

Григорьев: Простите, Надежда Николаевна, не ожидали вас.

Воргунов: Вот именно. А для самого товарища Григорьева здесь достаточно чисто.

Торская: Я получила телеграмму, Соломон Маркович. (Отдает Блюму телеграмму и отходит к столу Трояна.)

Блюм: Вот видите, вот видите? Вот, Георгий Васильевич.

Дмитриевский (читает): Сочи. Они в Сочи сейчас? Да... Коммуне Фрунзе, Блюму, копия Крейцеру. Лагери отправили, будем пятнадцатого. Поспешите спальни, столовую. Захаров. (Возвращает телеграмму.) Ну что же, распорядитесь.

Блюм: И габариты я, и фрез я, распорядиться тоже я! Вы — главный инженер, начальник коммуны дает распоряжение, а вы его заместитель.

Дмитриевский: Я с ним даже не знаком. И какое мне дело до спален? Я не завхоз.

Григорьев: Приедут господа с курорта, обижаться будут.

Блюм: Да, с курорта, а почему нет?

Григорьев: Может быть, даже в белых брюках?

Торская: Угадали, в белых брюках.

Блюм: Он думает: только ему можно, хэ-хэ... Ну, я поехал...

Входит Воробьев.

Воробьев: Соломон Маркович, едете или не едете? Стою, стою.

Блюм: О, Петя! Послезавтра коммунары приезжают. Вот кто рад, а? Наташа приезжает.

Торская: Наташа о нем забыла. На Кавказе столько молодых людей и все красивые...

Воробьев: Как же это так, забыть! Письма, небось, писала. На Кавказе, знаешь, Надежда Николаевна, все больше пастухи, а здесь тебе шофер первой категории.

Торская: Вы, кажется, влюблены не сердцем, а автомобильным мотором.

Воробьев: Что ты, Надежда Николаевна! У меня сердце лучше всякого мотора работает.

Троян: И охлаждения не требует?

Воробьев: Пока что без радиатора работает.

Блюм: Ну, едем, влюбленный.

Воробьев: Едем, едем...

Вышли.

Воргунов: И здесь любовь?

Торская: И здесь любовь. Чему вы удивляетесь?

Воргунов: Да это дело нехитрое. Я пошел на завод.

Дмитриевский: И я с вами.

Выходят.

Торская: Какой сердитый дед.

Троян: Он не сердитый, товарищ Торская, он страстный.

Торская: К чему у него страсть?

Троян: Вообще страсть... К идее...

Торская: Идеи разные бывают... Товарищ Троян, расскажите мне о ваших этих машинках. Я возвратилась с каникул и застала у нас настоящую революцию.

Троян: Да, революция... Мы делаем революцию.

Торская: Это электроинструмент?

Троян: Да, такие штуки будет выпускать наш новый завод. Это новое в инструментальном деле. Электросверлилки, электрорубанки, электрошлифовалки. Задача, барышня, очень трудная. Видите, в этой штуке двести деталей, а точность работы до одной сотой миллиметра.

Торская: Ой, даже не понимаю!..

Троян: Мы все немножко боимся, как ваши мальчики справятся?

Торская: Не бойтесь, товарищ Троян, они сделают.

Троян: Я уже десять раз проверял. Если они настоящие люди, так они должны сделать.

Торская: Они не только люди, они еще и коммунары.

Григорьев: Божественные коммунары!

Крейцер (*входит*): Божественные не божественные, а будет скандал. Здравствуйте. Здравствуйте, Надя. Получили телеграмму?

Вальченко: Только что. Здравствуйте, товарищ Крейцер!

Крейцер: Ну, как у вас дела? Что-то медленно подвигаются, вижу. Вы знаете, коммунары этого не любят.

Григорьев: Товарищ Крейцер! Сегодня нас целый день пугают коммунарами. У меня уже поджилки трясутся.

Крейцер: Правильно, пускай трясутся. Коммунары — это молодое поколение, новые люди. Они, знаете, волынить не любят. А у нас все на одном месте стоит...

Вальченко: Н-нет. Почему все? Мы идем вперед...

Крейцер: Никуда вы не идете. Станки в ящиках, беспорядок...

Вальченко: Препятствий много, товарищ Крейцер.

Крейцер: Вот видите: препятствий. А что вы делаете, чтобы препятствий не было?

Вальченко: Мы свое дело делаем.

Крейцер: Какое свое дело?

Вальченко: Мы — инженеры. Стараемся устранить препятствия, по-

сколько это в наших технических силах.

Крейцер: Вот видите, у нас это как-то очень интеллигентно выходит. Поскольку в ваших технических силах. Есть у вас такие люди, что больше так... мешают работать?

Вальченко: *(уклончиво)*: И такие есть.

Крейцер: И что вы делаете?

Вальченко: Все, что можем. Предупреждаем, добиваемся, требуем.

Крейцер: Вы управляете, кажется, машиной?

Вальченко: Автомобилем? Да.

Крейцер: Ну, вот представьте себе: едете вы на авто. А впереди корова. Понимаете, корова? Ходит это перед фарами, стоит, мух отгоняет. Вы гудите, гудите, предупреждаете, требуете. А она ходит на вашей дороге, корова. И долго вы будете гудеть? Нет. Надо слезть с машины, взять палку и прогнать. Палкой.

Торская *(смеется)*: Корова. Это очень правильно.

Крейцер: Вот видите, девушка автомобилем управлять не умеет, а тоже говорит: правильно.

Вальченко: Если всем шоферам гоняться за коровами, погонщиком сделаешься.

Крейцер: Бойтесь потерять квалификацию? Чудаки. Ну, как дела, Николай Павлович?

Троян: Да как вам сказать? Это верно, что коровы ходят перед фарами.

Крейцер: Верно? Ну?

Троян: Не умеем мы как-то... это самое... с палкой.

Крейцер: Вы больше насчет убеждения, теплые слова: «товарищ корова», «будьте добры», «пропустите»...

Троян: Не то, что убеждения, а так больше... помалкиваем. Коровы, знаете, тоже разные бывают.

Крейцер: Иная боднет так, что и сам убежишь и машину бросишь?

Троян: В этом роде. В этих вопросах теория познания еще многого не выяснила.

Крейцер: Темные места есть?

Троян *(улыбается)*: Да, имеются. Шоферу кажется, что это корова, а на поверку выходит — вовсе не корова, а какой-нибудь старший инспектор автомобильного движения.

Крейцер *(громко смеется, смеются и другие)*: Вот вы и есть интеллигенты. Приедут коммунары, они вам покажут, как коров гонять. А где Дмитриевский, Воргунов?

Троян: На заводе. Хотите пойти?

Крейцер: Пойдем. Пойдемте, товарищ Вальченко.

Крейцер, Троян, Вальченко уходят, Торская занялась чертежами и деталями на столе Трояна.

Григорьев: Надежда Николаевна, вы давно работаете в этой коммуне?

Торская: Три года.

Григорьев: Спасите мою душу! Это же ужасно.

Торская: Ну что вы, чему вы так ужасаетесь?

Торская усаживается на стул Вальченко.

Григорьев: Молодая красивая женщина, сидите в этой дыре, с беспризорными, далеко от всякой культуры.

Торская я: В коммуне очень высокая культура.

Григорьев: Спасите мою душу! А общество, театр?

Торская я: В театр мы ходим. Да еще как! Идут все коммунары с музыкой, в театре нас приветствуют. Весело и не страшно.

Григорьев: Ведь здесь одичать можно, видеть перед собой только беспризорных...

Торская я: Забудьте вы о беспризорных. Среди них очень много хороших юношей и девушек, почти все рабфаковцы, комсомольцы... У меня много друзей.

Григорьев: Уж не влюбились ли вы в какого-нибудь такого Ваську Подвокзального?

Торская я: А почему? Может быть, и влюбилась.

Григорьев: Спасите мою душу, Надежда Николаевна, не может быть!

Торская я: Почему? Это очень вероятно...

Григорьев: Значит, вы уже одичали, вы ушли от жизни. Сколько в жизни прекрасных молодых людей...

Торская я: Инженеров...

Григорьев: А что вы думаете! Инженеров. Разве мы вам не нравимся? А?

Торская я: Значит, коммунары и я — это что-то вне жизни? А где жизнь?

Григорьев: Жизнь везде, где культура, понимаете, культура, чувство.

Положил руку на ее колено. Торская я внимательно посмотрела на него.

Торская я: Видите ли, то, что вы делаете, не культура, а просто хамство. Уберите руку.

Григорьев: Ах, извините, Надежда Николаевна. Я уже начинаю увлекаться вами...

Торская я: Кончайте скорее.

Григорьев: Как вы сказали?

Торская я: Кончайте скорее увлекаться.

Григорьев: Спасите мою душу, Надежда Николаевна, ведь это не так легко. Вы мне очень нравитесь.

Торская я: Какое событие! Я должна многим нравиться, что ж тут такого?

Григорьев: Надежда Николаевна, поверьте: ваши глаза, походка, голос...

Торская я: Даже походка? Странно...

Григорьев (*взял ее за руку*): Ваша рука...

Торская я: Отстаньте.

Вошел Вальченко.

Вальченко: Я, кажется, помешал?

Торская я: Отчего вы такой сердитый, товарищ Вальченко?

Вальченко: Я не сердитый. Это вам показалось после воодушевления Игоря Александровича.

Торская я: О, товарищ Григорьев на вас не похож. Он энтузиаст. Он приходит в восторг от походки, глаз, голоса...

Вальченко (сквозь зубы): Бывает!

Григорьев: Надежда Николаевна!

Торская я: Скажите, товарищ Вальченко, а вы бы не могли прийти в восторг от таких.. пустяков?

Вальченко (смущенно): Да, я думаю.

Торская я: Вот видите, товарищ Григорьев, у вас есть хороший пример.

Григорьев: Давайте прекратим эту затянувшуюся шутку.

Торская я: Прекратить? Есть прекратить, как говорят коммунары.

Григорьев: Вы слишком презираете людей, Надежда Николаевна.

Торская я: Ну, это тоже слишком громко сказано.

Входят Дмитриевский, Троян и Воргунов.

Троян: Откуда взялся этот Белоконь?

Григорьев: Белоконя я рекомендовал Георгию Васильевичу как прекрасного механика. Я с ним работал.

Троян: Помилуйте, какой же он механик? Он уже две недели возится с автоматом...

Дмитриевский: Он хороший механик, но станок никому не известен. Во всем городе нет.

Воргунов: Автоматов в городе нет, а таких механиков можно найти на любой толкучке.

Вальченко: Чего вы не выгоните его, Петр Петрович?

Воргунов: Не люблю заниматься пустяками...

Торская я: Чудак вы, Петр Петрович.

Воргунов: Вот видите: «чудак».

Торская я: Это вы от тоски в печаль ударились... Пройдет. Я вас приглашаю встречать коммунаров. У них музыка хорошая.

Воргунов: Музыка!

Торская я: Вы принимаете приглашение?

Воргунов: Нет, я, знаете, на такие нежности не гожусь.

Торская я: Вы невежливы.

Воргунов: Что это такое? Вы меня сегодня второй раз бьете? Это правильно. А все-таки увольте — не люблю вокзалов.

Торская я: Ну, как хотите. До свидания, товарищи. (Вышла.)

Вошел Одарюк.

Одарюк: Где я могу найти Соломона Марковича?

Общее смущение. Григорьев почти повалился на шкаф.

Дмитриевский привстал за столом, Воргунов в кресле круто повернулся.

Дмитриевский: Соломона Марковича?

Одарюк: Да. Я привез лагеря.

Дмитриевский: А вы кто такой?

Одарюк: Коммунар. Одарюк.

Занавес

Акт второй

Вестибюль главного здания коммуны³. С правой стороны марш широкой лестницы ведет наверх. Вверху площадка во всю ширину сцены. В обе стороны отходят коридоры верхнего этажа.

В задней стене два окна.

Левая часть сцены занята вешалкой, отделенной от передней части сцены массивным барьером. Передняя половина сцены представляет широкую, светлую, освещенную верхним окном площадку. Справа дверь в столовую. Это показано надписью на дверях. Слева две-три ступеньки к выходу во двор и широкие зеркальные двери, по бокам которых два больших зеркальных окна. При входе на лестницу телефон.

Вестибюль в полном беспорядке: валяются рогожки, окрашенные масляной краской панели сейчас забрызганы известью, на всем следы только что законченной штукатурки, ведра, щетки, штукатурные козлы. Наружные двери распахнуты.

Б л ю м (*пробегает из столовой наружу*): Ах, боже мой, что делается!

На верхней площадке появляются Торская и Вальченко.

Торская: Как же так? Который сейчас?

Вальченко: Чего?

Торская: Который час?

Вальченко: Четверть одиннадцатого.

Торская: Ну, что это такое? Говорили, поезд придет в четыре часа, а сейчас говорят: уже на вокзале.

Вальченко: Чего вы так волнуетесь, Надежда Николаевна?

Торская: Да кто это сказал?

Вальченко: Что?

Торская: Кто это выдумал, что они уже приехали?

Вальченко: Право, не знаю, кажется, по телефону сказали.

Торская: Ах, какой вы: «кажется»! Берите трубку.

Вальченко: Зачем?

Торская: Да что с вами, Иван Семенович?

Вальченко: Со мной, собственно говоря, ничего. Я хотел поговорить с вами, Надежда Николаевна.

Торская: Поговорите сначала с Западным вокзалом.

Вальченко (*быстро спускается с лестницы. У телефона*): Западный вокзал. Да. Дежурного. Товарищ дежурный? Скажите, пожалуйста, правда ли говорят, прибыл поезд с коммунарами? Да? Прибыл? Спасибо. (*Повесил трубку.*)

Торская: Ну, что вы сделали? Что вы сделали?

Вальченко: Как что сделал? Узнал: прибыли.

Торская: Надо же узнать, где они? Выехали или вышли с вокзала?

Вальченко (*снимает трубку*): Западный вокзал. Дежурного. Товарищ дежурный, простите, пожалуйста, это из коммуны имени Фрунзе. Где сейчас коммунары? (*К Торской.*) Спросить — выехали? А на чем они могут выехать?

Торская: Ах ты, господи, на чем? На трамвае, на автобусах.

Вальченко (*в телефон*): Вышли? На чем вышли? На трамвае или автобусе? Пешком? С музыкой? Ага, спасибо. (*Повесил трубку.*)

Торская: Боже мой, какой ужасный человек! Не спросили, когда вышли?

Вальченко: Вышли пешком, с музыкой. Наверное, недавно.

Торская: «Наверное» — ну что это такое?

Вальченко: Надежда Николаевна! Я хотел у вас спросить об одной вещи... Вы только не сердитесь.

Со двора вошел Воргунов.

Торская я: Петр Петрович, вы знаете, коммунары приехали.

Воргунов: Вы знаете, что сверлильные поставили черт знает где?

Торская я: Мне сейчас не до ваших сверлильных.

Воргунов: А мне не до ваших нежностей.

Торская я: Всего хорошего. *(Реверанс, направляется к выходу.)*

Воргунов: Оревуар. *(Реверанс.)* Вы куда, Иван Семенович? Постойте, об этом вы еще успеете.

Вальченко: О чем?

Воргунов: А вот об одной вещи. Скажите, где Григорьев?

Вальченко: В конструкторской нет.

Воргунов: Это совершенно невозможное животное. Сверлильные вчера сволок на фундамент для шлифовальных. А у вас что делается?

Вальченко: А что?

Воргунов: Где вы этого идиота нашли? Рыжий такой? Вы ему поручили наметить сталь?

Вальченко: Да, наметить серой и желтой краской.

Воргунов: Ну, так он ее выкрасил с одного конца до другого.

Вальченко: Да что вы? *(Выбежал в дверь.)*

Воргунов подымается вверх. Со двора входят Блюм и Белокопья.

Блюм: Вы понимаете, в половине десятого они вышли с вокзала. Через четверть часа они будут здесь. Это вы так встречаете коммунаров? Это называется, вы произвели уборку? В спальнях грязь, в столовой ужас, а здесь что, может, вы скажете, что это порядок? Где ваши убиральщицы?

Белокопья: Товарищ Блюм! Я не завхоз и не дворник, я механик.

Блюм: Я спрашиваю — где ваши убиральщицы?

Белокопья: У меня только две уборщицы, что я могу сделать?

Блюм: Так где же они? Может, они в доме отдыха или у них мертвый час? Это же ужас что такое! Столовую уберите!

Белокопья побежал вверх. Блюм направляется к выходу.

В дверях Воробьев.

Воробьев: Соломон Маркович, так как же, едем на вокзал?

Блюм: Чего я на вокзале не видел? Носильщиков? Коммунары давно уже вышли с вокзала. Ах, боже мой, боже мой...

Воробьев: Соломон Маркович, так я один поеду навстречу. Узнаю, чи далеко, и вам скажу.

Блюм: Ты мне фигели-мигели не рассказывай. Он узнает и мне скажет! Тебе Наташу нужно посмотреть?

Воробьев: А что же, нельзя, что ли?

Блюм: Ну, поезжай. Вам только разные глупости, а что здесь грязь до самой прически, так вам все равно.

Воробьев: Я машину начистил... блестит... Так я поехал.

Вышел. Блюм побежал в столовую и немедленно выбежал наружу.
Сверху спускаются Белоконь и две уборщицы.

Белоконь: Как можно скорее уберите столовую, через полчаса чтобы было готово.

1-я уборщица: То коридор, теперь столовую...

Белоконь: Пожалуйста, без дискуссий! (Вышел.)

2-я уборщица: За полчаса? Ах ты, пижон дохлый! За полчаса!

Воргунов (с верхней площадки): Товарищи, черт бы вас подрал...

1-я уборщица: А ты чего ругаешься, как каменщик? Я из тебя сама чертей натрясу.

Воргунов: Уважаемые, дорогие товарищи...

1-я уборщица: Вот так-то лучше.

Воргунов: Четыре дня вы обещаете убрать в конструкторской, четыре дня! От ваших обещаний ни черта толку.

2-я уборщица: Вот уберем столовую...

Воргунов: Нельзя, голубки мои, надо немедленно.

1-я уборщица: Да ведь нам приказано.

Воргунов: К чертовой матери с приказаниями. Нате вот вам пятерку и немедленно уберите.

2-я уборщица: Да чего тебе так приспичило?

Воргунов: Жениться собираюсь! Понимаете?

2-я уборщица: Ну, раз такое дело, мы тебе и без пятерки.

1-я уборщица: А на свадьбу позови, смотри.

Воргунов: Первые гости будете...

Ушли наверх. Вбежал и пробежал наверх Блюм. Со двора входят Торская и Григорьев.

Григорьев: У меня лишний билет.

Торская: Случайно оказался лишним?

Григорьев: Что вы, Надежда Николаевна! Не случайно. Нарочно взял.

Торская: Нарочно?

Григорьев: Я был уверен, что вы не откажетесь, ведь подумайте: Московский Художественный театр, «Федор Иоаннович», Качалов; Москвин... Я был уверен...

Торская: Товарищ Григорьев, вы сообразите: неужели бы я стала ожидать, пока у вас окажется лишний билет? Это в Московский Художественный, «Федор Иоаннович»?

Григорьев: Да. Это же замечательно...

Торская: Да я давно поручила товарищу Вальченко...

Григорьев: В таком случае извините. Выходит так, что вы ему доверяете больше.

Торская: Ничего я ему не доверяла. Он взял билет на свои деньги.

Григорьев: Надежда Николаевна!.. (Оглянулся.) Надежда Николаевна, если бы вы поняли мое положение...

На верхней площадке Блюм.

Торская: Соломон Маркович, помогите товарищу Григорьеву в его

тяжелом положении. У него лишний билет на «Федора Иоанновича».

Блюм: А кто это такой — Федор Иванович?

Торская: Он не имеет никакого отношения к снабжению, но билет вы возьмите.

Блюм: Ах, я уже знаю. Это тот самый, который зарезал царевича Дмитрия. Ну, вы же знаете, я такими людьми не интересуюсь. Но билет я возьму. Может быть, дочка пойдет. Она все романы с убийством любит. Да, скажите, пожалуйста, вы не видели уборщиц? Это черт знает что такое...

Блюм уже внизу. На верхней площадке Воргунов.

Воргунов: Товарищ Григорьев, я не понимаю, что это такое? Вы приходите на работу в одиннадцать часов.

Григорьев: Петр Петрович, с этими трамваями...

Воргунов (*кулаком по барьеру*): Товарищ Григорьев, я прошу вас не молоть глупости. Мы все приезжаем трамваями. А куда вы стащили сверлильные? Что это, вредительство, черт бы вас побрал, или последний идиотизм? Когда это кончится?

Григорьев: Петр Петрович, вы могли бы при посторонних...

Воргунов: К чертовой матери посторонних. Посторонние вам мешают работать. Вас ждут в конструкторской, а вы здесь с посторонними. Пожалуйста и немедленно дайте объяснение главному инженеру.

Григорьев направляется вверх.

Блюм (*к Торской*): Попало, хэ-хэ-хэ! Ох, и характер!.. Петр Петрович, вы там не видели уборщиц?

Воргунов (*спускается на несколько ступенек*): Уборщицы убирают в конструкторской.

Блюм: Они должны убирать не в конструкторской, а здесь и в столовой.

Воргунов: А они в конструкторской. Совершенно необъяснимое явление в природе.

Блюм: Ох, как захвачу их оттуда, так с них будет шерсть сыпаться. Господи, какой я злой, какой я злой, если бы кто-нибудь знал. (*Побежал наверх.*)

Воргунов: Надежда Николаевна, вы простите, но из-за вас наши молодые инженеры прямо испортились.

Торская: Что же делать? Испортились?

Воргунов: Как что делать? А вы не догадываетесь?

Торская: Я немножко догадываюсь. Вы их пересыпьте нафталином...

Воргунов: Да? Это было бы хорошо... Наши люди совершенно не способны провести черту: здесь дело, а здесь любовь. У них если любовь, так непременно с гражданскими мотивами или там с политикой, а дело летит к черту, потому что любовь мешает: бросают работу и бегают на свидания.

Торская: Петр Петрович, только из уважения к вам я обещаю: разговаривать с молодыми инженерами исключительно о фрезях, болванках и об инструментальной стали.

Воргунов: Ну, вот я же и говорю. Разговаривайте о чем хотите:

о слиянии душ, о соловьях, воробьях, при чем тут инструментальная сталь? И самое главное — не в рабочее время: ведь для этой всей чепухи отведено специальное время — вечером или там по утрам...

Торская я: Я постараюсь, Петр Петрович...

Входит О д а р ю к.

О д а р ю к: Уже музыку слышно.

Торская я: Да ну? *(Подходит к двери и слушает.)*

Воргунов: Вот еще: эта музыка...

О д а р ю к: Вы инженер?

Воргунов: Инженер.

О д а р ю к: Вы будете управлять заводом?

Воргунов: Почти.

О д а р ю к: А почему станки стоят на дворе и упаковка сорвана? А кто виноват?

Воргунов: Папа с мамой виноваты. Им не нужно было жениться и плодить портачей. Вот. *(Вышел.)*

О д а р ю к: Что он, чудака?

Торская я: Это Воргунов. Он интересный человек.

О д а р ю к: Он наш?

Торская я: Он должен быть нашим.

О д а р ю к: Придется в работу брать?

Торская я: Ох, трудно его брать в работу!

Вбегают В о р о б ь е в.

Воробьев: Идут. Совсем близко. Ездил встречать. Как раз возле парка встретил. Ну и идут, брат, во! В белых костюмах, черт, красота...

О д а р ю к: Возле парка?

Воробьев: Да уже к лесу подходят, совсем близко.

О д а р ю к выбежал.

Торская я: И Захаров с ними?

Воробьев: А как же, с Верой Донченко рядом. Вера сегодня дежурная.

Торская я: А Наташа?

Воробьев: Наташа? Аж страшно. Такая красивая, куда мне! Загорела, глаза, брат, блестят. На меня только так — повела. А Алешка мне кулак показал, так я и уехал.

Торская я: Все-таки, что вы будете делать с Наташей?

Воробьев: Вот, брат, Надежда Николаевна, скажи, что делать? Тут, понимаешь, такое дело, хлопцев боимся.

Торская я: Отчего?

Воробьев: Хлопцы еще ничего как следует не знают. Из девчат, и то не все. А у нас же любовь, если бы ты знала! А боимся хлопцев, знаешь, аж шкура болит со страху. Жучок, как стал председателем, так сразу Наташу в работу: ты что это с Петькой романы затеваешь? Я тебя, говорит, в совет командиров выволоку. Вот какое дело...

Торская я: Чудаки. Вот я поговорю с Алексеем Степановичем.

Воробьев: Да что ж с того? Товарищ Захаров все равно в совет командиров передадут. Я уже думаю так: у меня и квартира в городе хорошая и все. Скажу Наташе, пускай прямо ко мне переходит.

Торская я: Побойтся Наташа.

Воробьев: Вот в том-то и дело.

Торская я: Да и зачем же ссориться с коммунарами? Они ведь и помогут чем-нибудь.

Воробьев: Да вот же...

Близко взорвался марш оркестра.

Торская я: Идут...

Воробьев: Это, значит, из лесу вышли.

Выходят. Сверху спускается Блюм с уборщицами. Услышал музыку и остановился.

Блюм: Ну, доигрались... Разве это коммуна? Это же сумасшедший дом!

1-я уборщица: Так что?

Блюм: А я знаю что? Лечить надо... Ах, ты господи! Подите скорее, уберите там самый маленький класс. А то и трубы некуда будет сложить.

Ушли наверх. Звонок телефона. Со двора входит Одарюк и берет трубку.

Одарюк: Да, коммуна Фрунзе. Что? Два грузовика отправили? А я не знаю... Стойте... Разгрузить? Разгрузить будет кому. Коммунар Одарюк. А я говорю, будет кому. Значит, знаю. Откуда знаю... Вот сейчас двести коммунаров подходят. Ах, коммунары... *(Повесил трубку.)*

Сверху спускаются Воргунов, Блюм, Троян.

Воргунов: Десять тысяч лет будем жить, а от глупостей не избавимся. Для чего это встречать, парады разные. Приехали — ну и приехали.

Блюм: Нельзя же, Петр Петрович, они же два месяца не были дома. Мы должны же их встретить, посмотреть...

Воргунов: Все равно: если они мне станки поломают, головы пооткручиваю.

Троян: Какая у них музыка... Никогда не работал с молодежью. Интересно.

Блюм: Так интересно, Николай Павлович, знаете, как будто в книжке.

Троян: Жизнь должна быть лучше книжки, Соломон Маркович.

Блюм: Я же и говорю: куда там книжки годятся.

Одарюк: Звонили сейчас: два грузовика со станками отправлены.

Воргунов: А не говорили, грузчики поехали?

Одарюк: Грузчиков при станках нет. Спрашивали, кто разгрузит?

Воргунов: Кто же разгрузит?

Одарюк: Я сказал, коммунары подходят.

Воргунов: Коммунары разгрузят? Это «вандереры». Каждый ящик сорок пудов.

Одарюк: Ну, так что ж такое?

Воргунов: Глупости, побьют... Ах, черт!

Вышли. Сверху сбегает В а л ь ч е н к о. На верхней площадке остановились
Д м и т р и е в с к и й и Г р и г о р ь е в.

Г р и г о р ь е в: Хозяева приехали, Георгий Васильевич...

Д м и т р и е в с к и й: Да, думали ли когда-нибудь, что будем служить беспризорным? А ведь в самом деле хозяева. Уличные дети, воришки, отбросы — хозяева. А ведь это, собственно говоря, красиво, Игорь Александрович.

Г р и г о р ь е в: Я не такой эстет, чтобы в этом видеть красоту. Ведь их еще нужно переделывать. Перевоспитывать, все-таки это, наверное, звереныши.

Д м и т р и е в с к и й: Ну что ж, переделаем...

Вышли.

Пробежали наружу у борщицы. Марш очень громко у самых дверей. Слышна команда, марш оборвался. Обрывки короткой речи. «Интернационал». Команда: «Под знамя смирно!» Знаменный салют. В тот момент, когда верхушка знамени показывается в дверях, салют прекращается. Команда: «Разойдись!» Шум.

В вестибюль входят: В е р а Д о н ч е н к о в красной повязке дежурного, держа руку в салюте, за нею со знаменем Г е д з ь и два коммунара-ассистента с винтовками.

Д о н ч е н к о (*опуская руку*): Ой-ой-ой, куда же теперь?

Г е д з ь: И не прибрали.

Д о н ч е н к о: Подождите здесь, я пойду посмотрю. (*Убежала наверх.*)

1-й а с с и с т е н т: И в столовой не убрано.

Г е д з ь: Честное слово, как им не стыдно?

В двери по два, по три входят коммунары-музыканты с трубами, фанфарами. За ними коммунары.

О т д е л ь н ы е г о л о с а в х о д я щ и х:

— Черт, насилиу выбрался, завалили!

— А то инженеры, видел?

— И цветники наши пропали...

— Ого, вот где порядок.

— То станки, здоровые.

— А кто это толстый, сердитый такой?

— Ой, Соломон Маркович, плачет, понимаешь.

— Что? И знамени нету места?

— Вот так завод!

— Берите ведра, тряпки!

— Поход продолжается!

— Сейчас пойдем на завод.

— Станки заграничные, видел: Берлин.

— У, Берлин...

— Конечно, Берлин.

— А это знаешь? Универсально-фрезерные.

— Ничего подобного.

— Универсально-фрезерные!

— Поход продолжается, ха-ха!

— А где обоз, не знаешь?

— Я ничего не понимаю.

Шум. Кто-то поет мотив знаменного салюта. Два-три коротких звука в трубу. Неожиданно забил барабан.

Жученко: Что же тут стоять? А где дежурная?

Гедзь: Пошла посмотреть.

Из музыкантов: Жучок, куда же инструменты?

Жученко: Сейчас.

На верхней площадке Донченко.

Донченко: Знамя и музыканты, идите сюда. Остальные подождите здесь, никуда не ходите. Синенький здесь?

Синенький (с сигналкой): Здесь, а что?

Донченко: Иди сюда. Жучок, иди, посоветуемся.

Жученко и Синенький взбежали наверх. На площадке они открывают совещание. Знаменщики и музыканты проходят в левый коридор второго этажа. Со двора, окруженная толпой ребят, входит Торская.

Отдельные возгласы:

— Надежда Николаевна, здравствуйте.

— Товарищ Торская, напрасно с нами не поехали.

Торская: Хорошо было?

Голоса:

— Ого, хиба ж так?

— А чего у вас тут все разорено?

Торская: Федя, чего ты такой серьезный?

Романченко: Чего серьезный? Не серьезный. (Подает руку.)
Здравствуйте. Вы здесь без нас еще не женились?

Торская: Нет, Федечка, не женились.

Романченко: То-то. А вы знаете, Вера Донченко чуть-чуть не женилась в Тифлисе.

Донченко (сверху): Смотри, Федька, я тебе уши нарву.

Романченко: Видите, видите, значит, правда.

Торская: Разве тебе за правду всегда уши рвут?

Романченко: Почти всегда. А это правда. Чуть-чуть не женились. Там такой к ней черный прилепился. Куда она ни пойдет, а он все... (Федька танцует, показывает, как приглашают на лезгинку.) А у Верки сердце, знаете, так и прыгает. (Показывает кулаком, как прыгает сердце.) Видите, видите?

Вера сбегает вниз и хватает Федьку за уши.

Романченко: Дежурный командир, а дерется. Запиши себя в рапорт...

Жученко (сверху): Слушай, пацаны. Слушайте: обоз прибыл и стоит возле черной лестницы. Сейчас будет сигнал на работу. По сигналу разгрузите обоз и корзинки внесите в спальни. Каждый отряд пускай сейчас же выделит уборщиков, переодевайтесь и немедленно приступайте к уборке.

Г о л о с: А где убирать?

Ж у ч е н к о: По старым отрядным участкам.

Г о л о с а: Правильно.

Г о л о с д е в о ч к и: А где ведра и тряпки?

Ж у ч е н к о: Все получайте у коменданта. Синенький, давай сигнал.

С и н е н ь к и й трубит сигнал на работу. Выбегает во двор и повторяет сигнал. После сигнала кое-кто вбегает со двора, кричит.

Г о л о с а:

— Какая работа?

— Куда заиграли?

О т в е т ы:

— К обозу...

— На уборку.

Большинство разбегается: часть во двор, кое-кто по коридорам. В вестибюле остаются Ж у ч е н к о, З ы р я н с к и й, О д а р ю к.

З ы р я н с к и й: Я этому Вехову чуть морду сегодня не набил.

Ж у ч е н к о: Ты всегда паришься.

З ы р я н с к и й: И в спальню его не пущу, пусть идет к маменьке.

О д а р ю к: Ох, и ленивый же парень.

З ы р я н с к и й: Вышли на вокзал, прохожу по вагонам — баритон лежит. Чей? Вехова. А тут, понимаешь, публика лезет. Я его взял. Спрашиваю, как ты баритон бросил, а он мне: «У меня не десять рук». Не могу я этого видеть.

Ж у ч е н к о: В совет надо.

Входят Ш в е д о в, З а б е г а й и Б л ю м.

Б л ю м: А, товарищ Жученко, здравствуйте! Здравствуйте, товарищ Зырянский! Если бы вы знали, как я рад, что вы уже приехали.

Ж у ч е н к о: Так как же, Соломон Маркович? Завод не пущен, станки на дворе.

О д а р ю к: И без упаковки.

Б л ю м: Вы знаете, что здесь делается? Это не коммуна, а сумасшедший дом. Начальства — так звезд на небе немного меньше, а денег сколько выбросили! Помните, как мы с вами зарабатывали? Каждую копеечку берегли. А теперь — ф-ф-фу! Везут, везут, все заграничное. Один станочек пятнадцать тысяч рублей.

Ш в е д о в: Вот красота!

З ы р я н с к и й: Наши соломорезки побоку.

Б л ю м: Вот вы говорите: соломорезки. Это правда, что станочки были старенькие, а все-таки мы на них шестьсот тысяч рублей заработали. Как зарабатывать, так никого не было, а как тратить да разные фигели-мигели, так сразу нашлись хозяева...

Ж у ч е н к о: Зато завод какой...

Входит В о р о б ь е в.

Воробьев: Здравствуйте.

Зырянский: Только ты, Петька, брось эти дела с Наташей. Чего ты пристал к девочке?

Воробьев: Да как же я пристал?

Зырянский: Ты здесь шофер и знай свою машину. Рулем крути сколько хочешь, а головы девчатам крутить — это не твоя квалификация. А то я тебя скоро на солнышко развешу.

Блюм: Так они же влюблены, товарищи.

Зырянский: Как это — влюблены? Вот еще новость. Я тоже влюблюсь! И всякому захочется. Наташке нужно рабфак кончать, а этот принц на нее вытаращился.

Жученко: Действительно, Петр, ты допрыгаешься до общего собрания.

Воробьев: Странные у вас, товарищи, какие-то такие правила. Наташа ведь взрослый человек и комсомолка тоже. Что же, по-вашему, она не имеет права?

Шведов: Она коммунарка! Как это — взрослый человек? Права еще придумал...

Жученко: Выходи из коммуны и влюбляйся сколько хочешь, а так мы коммуну взорвем в два счета.

Зырянский: Вас много охотников найдется с правами...

Блюм: Но если бедная девушка полюбила, так это же нужно понять...

Зырянский: Так и знай — на общее собрание!..

Забегай: Ты, Петр, с ними все равно не сговоришься. Это же, понимаешь ты, не люди, а удавы. Ты лучше умыкни.

Воробьев: Как это?

Забегай: А вот, как у диких славян делалось. Умыкни. Раньше это, знаешь, подведут это лошадей к задним воротам, красавица это выйдет, а такой вот Петя, который втрескался, в охапку ее — и удирать.

Жученко: А дальше?

Забегай: А дальше мы его нагоним, морду набьем, Наташку отнимем. Это очень веселое дело.

Блюм: Зачем ему на лошадях умыкивать! У него же машина. И на чем вы догоните? Другой же машины нету... Однако глупости по бокам. Тебе, Петя, сейчас нужно ехать на вокзал. Вот тебе квитанция, привези багаж. Это Захаров сказал...

Воробьев: Есть.

Жученко: Ну, ребята, идем на уборку, а то ребята обижаются будут.

Зырянский: Ой, я и забыл, нам же столовую убирать. *(Побежал наверх.)*

Блюм вышел наружу. На сцене остается один Воробьев.

Пробегаёт уже в трусиках Федька Романченко.

Воробьев: Федя, голубчик, иди сюда.

Романченко: А чего тебе? Наверное, Наташу позвать?

Воробьев: Да, Федя, позови Наташу...

Федя: А покатаешь?

Воробьев: Ну, а как же, Федя!

Федя: Есть позвать Наташу.

Воробьев: Ну, чего ж ты кричишь?

Федька побежал наверх. Со двора входят Захаров, Дмитриевский,
Троян, Григорьев.

Захаров: Значит, все ясно. Завтра начинаем работу. Работы хватит?

Дмитриевский: Работы хватит... но только... мальчишки же не умеют...

Блюм: И откуда вы знаете, что они умеют? Надо учить. Я раньше не умел танцевать польку, а теперь уже сорок лет умею. Человек всегда сначала не умеет, а потом, так с ним уже и разговаривать невозможно: он все умеет...

Захаров: Молодец, Соломон. Вот он верит в коммунаров.

Блюм: А мало они разве работали? Ого... Как звери!..

Григорьев: Трусики работать — небольшая хитрость...

Блюм: Я готов это слушать, но только не от вас, товарищ Григорьев.

Григорьев: Почему?

Блюм: Потому что вы не сошьете пару трусиков, к вашему сведению. Вы же не умеете...

Троян: Технология трусиков и мне неизвестна...

Блюм: Но если вы способный человек, так я вас за два дня выучу.

Захаров: Трусики забудем. Все будет хорошо. Я пошел умываться. Пока. (Ушел через столовую.)

Троян: Мне коммунары понравились... Дисциплина.

Григорьев: Спасите мою душу... Какой толк с этой дисциплины! Увидите, как станки полетят. Они и красть будут...

Троян: Нет.

Григорьев: Будут.

Блюм: Это знаете что? Это авансовая клевета!

Дмитриевский: Давайте не предвосхищать событий.

Блюм: Мне нравится: события. Какие же события? Это просто же безобразие!

Входит Воргунов.

Блюм: Скажите, Петр Петрович, коммунары будут красть?

Воргунов: Товарищ Блюм, насчет кражи я и за себя не ручаюсь...

Григорьев: Как вам понравились хозяева, Петр Петрович?

Воргунов: Вы мне сегодня нравитесь, во всяком случае, меньше. Я бы вам советовал поспешить со сверлильными.

Григорьев: Петр Петрович, все будет сделано. Не беспокойтесь.

Воргунов: Разрешите уж мне беспокоиться.

Все уходят наверх.

Наташа (выходит из столовой): Петечка!

Воробьев обнимает ее, хочет поцеловать.

Наташа: Да что ты, увидят...

Воробьев: Наташа, знаешь что?

Наташа: У меня в голове такое делается. Ничего не знаю. Уже хлопцы догадываются. Прямо не знаю, куда и прятаться.

Воробьев: Наташа, едем сейчас ко мне.

Наташа: Как это так?

Воробьев: Прямо ко мне на квартиру. Наташа, едем.

Н а т а ш а: Да что ты, Петр?

В о р о б ь е в: Наташа, а завтра в загс, запишемся — и все.

Н а т а ш а: А здесь как же?

В о р о б ь е в: Да... черт... Никак. Вот просто едем. Честное слово, хорошо. Они хватятся, а тебя нет.

Н а т а ш а: Да они же прибегут за мной.

В о р о б ь е в: Куда там они прибегут? Они даже не знают, где я живу. Едем!

Н а т а ш а: Вот, смотри ты! Да как же? Я в белом платье.

В о р о б ь е в: Самый раз. На свадьбу всегда в белом полагается.

Н а т а ш а: А, знаешь, верно. Ой, какой ты у меня молодец!

В о р о б ь е в: Чудачка, ведь шофер первой категории.

Н а т а ш а: А увидят?

В о р о б ь е в: Наташенька, ты же понимаешь, на машине, кто там увидит?

Н а т а ш а: Сейчас ехать?

В о р о б ь е в: Сейчас.

Н а т а ш а: Ой!

В о р о б ь е в: Ну, скорее. Вон машина стоит, видишь, садись и айда.

Н а т а ш а: Подожди минуточку. Я возьму белье и там еще...

В о р о б ь е в: Так я буду в машине. А ты им записочку какую-нибудь оставь. Все-таки, знаешь, ребята хорошие.

Н а т а ш а: Записочку?

В о р о б ь е в: Ну да. Они, как там ни говори, а смотри, какую красоту сделали. Напиши так, знаешь: до скорого свидания и не забывайте.

Н а т а ш а: Напишу.

Н а т а ш а убежала наверх. В о р о б ь е в вышел наружу. Входят один за другим пять мальчиков в трусиках и голошейках с тряпками и ведрами. Впереди со щеткой Зырянский. В вестибюле остановились.

З ы р я н с к и й: Я так считаю: за час должны кончить столовую.

Г о л о с: Можно и за час. А чего это Соломон Маркович плакал?

З ы р я н с к и й: Только окна как следует мыть, а не то что размазал и бросил.

Д р у г о й г о л о с: Тебя сразу не нашел, думал, ты утопился в Черном море.

О т р я д ушел в столовую. Сверху спускается В а л ь ч е н к о, неловко останавливается и оглядывается.

З ы р я н с к и й (из дверей столовой): А вы кто такой?

В а л ь ч е н к о: Я — Вальченко, инженер. Я здесь работаю.

З ы р я н с к и й: У нас в коммуне?

В а л ь ч е н к о: Да, у вас.

З ы р я н с к и й: Так вы кого-нибудь здесь ожидаете? Или позвать, может?

В а л ь ч е н к о: Нет, собственно говоря, для меня никого звать не нужно.

Наверху показалась Н а т а ш а, увидела Зырянского, спряталась в коридор.

Зырянский: Влюбленные уже забегали, никакого спасения.

Вальченко: Товарищ коммунар, я вас не понимаю.

Зырянский: Влюбленные, что ж тут непонятного? Я тебе задам!
(Грозит пальцем.)

Вальченко: Я вас не понял сразу.

Зырянский: Если им волю дать, этим влюбленным, жить нельзя будет. Их обязательно ловить нужно.

Торская входит.

Торская: Алешка все влюбленных преследует. Если вы влюбитесь, Иван Семенович, старайтесь Алешке на глаза не попадаться, заест.

Зырянский (уходя в столовую): Влюбляйтесь, не бойтесь.

Вальченко: Я вас ожидаю.

Торская: А зачем я вам? Насчет инструментальной стали?

Вальченко: Как?

Торская: А может быть, вам нужно знать мое мнение об установке диаметрально-фрезерного «рейнекелис»?

Вальченко: Надежда Николаевна, вы все шутите.

Торская: Нет, я серьезно. Да по стойте, Иван Семенович, по стойте, голубчик. Как вам понравились наши коммунары?

Вальченко: Коммунары мне понравились. Красиво это. И музыка, и все. Только вот... все-таки, знаете, мальчики...

Торская: Что вы там лепечете? Какие мальчики? Они комсомольцы...

Вальченко: Нет, я так, знаете, конечно, это хорошо, что они комсомольцы...

Торская: Ах вы, чудак... Так что вам от меня нужно? Имейте в виду, что я имею разрешение говорить с вами только о слиянии душ...

Вальченко: От кого разрешение?

Торская: От вашего Вия.

Вальченко: Какого Вия?

Торская: А вот у Гоголя в одном производственном романе говорят (басом): «Приведите Вия». Это значит пригласите самого высокого специалиста. И у вас такой Вий тоже есть...

Вальченко (смеется): Ах, Воргунов...

Торская: Так вот... Вий распорядился, чтобы с молодыми инженерами я говорила только о слиянии душ. Можно еще о воробьях, но это уже в крайнем случае. Дело, видите ли, в том, что молодые инженеры оказались скоропортящимися. Знаете — не ближе одиннадцатого к паровозу. Это так пишут на вагонах, когда перевозят вас, молодых инженеров, и другие скоропортящиеся предметы: молоко, сметана, вообще...

Вальченко: Нет, Надежда Николаевна, вы меня таким, скоропортящимся, не считайте. Напротив...

Торская: Бросьте, бросьте... Так давайте о слиянии душ... Что вы знаете об этом предмете?

Вальченко: Как вам сказать? А знаете что, по этому поводу и мне приходят в голову некоторые мысли...

Торская я: Этого не бойтесь. Это не вредно. На практике вы знакомы с этим?

Сверху спускается Наташа.

Наташа: Надежда Николаевна, миленькая, передайте эту записку Жученку.

Торская я: А ты куда это с узелком?

Наташа: Ой, Надежда Николаевна! Уезжаю.

Торская я: Уезжаешь?

Наташа: Уезжаю. Совсем. Знаете, ой, стыдно! — к Пете. Ой! (*Выбежала.*)

Торская я: Видите, Иван Семенович. Вот вам и практика слияния душ...

Зырянский (*из дверей столовой*): А куда это Наташа, а?

Торская я: Почему ты, Алексей, так интересуешься Наташей?

Зырянский: Я не так Наташей, как этим донжуаном. Он ее с толку собьет. (*Пристально смотрит в двери.*) Ай, черт, уехали, ей-ей уехали!

Сверху спускается четвертый отряд со всеми приспособлениями для уборки.

Забегай: Кто уехал?

Зырянский: Наташка с Петром. На машине. Это ты насоветовал. Она с узелком была, правда?

Торская я: С узелком. Да вот записка для Жучка. Наверное, здесь все написано.

Зырянский: Записка? Все как в настоящем романе. Вот мещане! А ну, дайте.

Забегай: Умыкнул, значит? Молодец. Теперь его не догонишь.

В группе четвертого отряда оживленное обсуждение событий.

Отдельные голоса:

— Куда же они поехали?

— Они хитрые, никто и не знал.

— Я тоже читал: влюбится, понимаешь...

— А я еще до похода догадывался.

Зырянский: Ах ты, черт, слушай: «Жучок, я люблю Петю, уезжаю к нему и выхожу замуж. Спасибо колонистам за все. До скорого свидания». Вот я ей покажу свидание! И этому «Пете» покажу!

Забегай: Так. (*Дурашливо строго.*) К приказу смирно!

Ребята так же дурашливо вытягиваются.

Забегай (*водит пальцем по воздуху, как будто пишет*): Убежавшая из коммуны по причине мещанства коммунарка Нестеренко Наташка снимается с довольствия. Вольно! (*К Вальченко и Торской.*) Граждане, здесь будет происходить уборка, так что прошу очистить помещение.

Вальченко: Пожалуйста, пожалуйста.

Торская я: Давайте я вам помогу. (*Берет тряпку у кого-либо из рук.*)

Вальченко: Значит, Надежда Николаевна...

Торская я: Это насчет слияния душ? Давайте отложим конференцию... по случаю уборки.

Вальченко посмотрел на нее и с оскорбленным видом пошел наверх.

Забегай: Ну, четвертый непобедимый! Сорок пауков смотрят на вас с вершины... этих козел...

Начинается уборка.

Разговоры:

— А эту лестницу?

— Ликвидировать.

— Степка, ты там внизу никого не впускай.

— Ай, и хитрая ж Наташка!

— Здесь нужно глории.

— Нельзя глории, краска облезет.

— Колька, я там кислоту в спальне оставил, принеси.

— А чего это Алешка так против Наташки?

— А как же ты думал! Им только дай волю на романы.

— Это же, правда, нехорошо — романы, Надежда Николаевна?

Торская я: Волю на романы? Да, это вопрос серьезный.

Блюм (со двора): Товарищ Жученко здесь?

Забегай: Сюда нельзя ходить. Видите — уборка.

Блюм: Я по делу.

Забегай: Знаем ваши дела. По делу, по делу, а потом возьмете и умыкнете коммунарку.

Блюм: Что вы, товарищ Забегай! Для чего ее красть, если своих не знаешь, как замуж выдать.

Жученко: Какой здесь отряд?

Кто-то из ребят: Четвертый, непобедимый.

Блюм: Товарищ Жученко! Я, конечно, понимаю. Мальчики с дороги и все такое. Но вы же видите: шоферы ругаются, и никого нет...

Жученко: В чем дело?

Блюм: Да станочки эти.

Жученко: Разгрузить?

Блюм: Да, там три станочка.

Жученко: Ну что же, сейчас это устроим. Забегай, давай свою братву! Зырянский уже в столовой. Вот здорово! Алешка!

Зырянский (в дверях столовой): Жучок, тебе любовное послание. (Отдает записку.)

Жученко: Алексей, дай отряд на разгрузку станков.

Зырянский: Есть дать отряд на разгрузку станков. (В столовую.) Эй, пацаны, станки снимать.

Забегай (к Блюму): Это какие станки?

Блюм: «Вандереры» — универсальные фрезерные.

Забегай: Ребята, так это же те же самые «вандереры».

Общий возбужденный шум. Все выбегают во двор. Жученко читает записку.

Жученко: Допрыгались! Слышали, Надежда Николаевна?

Торская я: Знаю.

Жученко: Вот беда. Что нам делать с этими женщинами? И откуда в голову придет — жениться?

Торская: Ничего, Жучок, не поделаете, жениться всегда будут.

Жученко: Так нельзя же так ни с того ни с сего... Ну... как это так у них выходит?

Со двора слышно:

Голос Зырянского: Раз, два — взяли, раз, два — нажали... Стой, стой!

Дискант: А давайте так, как на Волге.

Голоса: Давай, давай. *(Смех.)*

Хор:

И пойдет, пойдет, пойдет...

Вот идет, идет, идет...

И еще, еще идет. *(Хохот.)*

Жученко: Пойдем посмотрим.

Жученко и Торская выходят. Сверху медленно спускается Воргунов, прислушиваясь к тому, что делается на дворе. Со двора слышно:

Забегай: Подкладывай, подкладывай. Стой! Навались на ту сторону.

Зырянский: Ну, разом, взяли!

Забегай: Малыши, вы все сразу. Вы не тащите, животами, животами навались!

Какой-то треск, победный крик, смех: «Готово!»

Воргунов, направившийся было к дверям, останавливается, задумывается, машет рукой и возвращается к лестнице. Не видя его, Федька Романченко с верхней площадки спускается вниз по перилам лестницы и на полном ходу налетает на Воргунова. Воргунов, пошатнувшись, поневоле принимает Федьку в объятия. После освобождения из них Федька очень смущен и поправляет одежду.

Воргунов: Это... что ж вы... спешите так!..

Романченко: Там... это... станки. А вы кто — инженер?

Воргунов: Да, инженер, а все-таки надо развивать меньшую скорость.

Романченко: Когда спешишь...

Воргунов: Тогда у вас третья скорость.

Романченко: Угу!

Воргунов: Вы там увидите Блюма, попросите его зайти ко мне — к Воргунову.

Романченко: Есть пригласить товарища Блюма. *(Убежал.)*

Воргунов обернулся и тяжело смотрит ему вслед.

Занавес

Акт третий

Тот же вестибюль, что и во втором акте. Очень чисто, все блестит. На верхней площадке между окнами большой портрет Фрунзе, а под самым потолком на красном шелке золотой лозунг. По лестнице положена малиновая бархатная дорожка. Внизу при входе на лестницу

стоит высокий денежный шкаф, а на стене — круглые часы. У денежного шкафа часовой с винтовкой⁴. Часовой держится свободно, но когда проходит Захаров, становится «смирно».

У лестницы в специальной подставке из белой жести — цветы. У барьера вешалки два диванчика, обитые кожей. У входных дверей пушистый половик, и все входящие обязательно вытирают ноги.

Забывчивых часовой знаком или словом приглашает к порядку.

У денежного шкафа К л ю к и н. Сверху спускаются К р е й ц е р, Д м и т р и е в с к и й, В о р г у н о в, Т р о я н.

К р е й ц е р: Совещание ни в чем меня не убедило. (*Остановился.*) У нас есть все: инженеры, рабочая сила, станки, материалы, инструменты, вот этот самый ваш технологический процесс. Все есть, понимаете, а продукции нет. Вы мне рассказываете: то не так, другое не так, это не выходит. А я вас не понимаю. Должно выйти. И Троян вот говорит.

Т р о я н: Должно выйти.

К р е й ц е р: А не выходит. Может быть, молебен отслужить нужно? Позовите попа, отслужите молебен. Святой водой покропить? Кропите все ваши агрегаты. Давайте делать то, что нужно, по вашему мнению. А что нужно? Ну? Что нужно, Петр Петрович?

В о р г у н о в: Я так думаю, что поп и святая вода не помешают.

К р е й ц е р (*смеется*): Видите?

В о р г у н о в: Получится полный ассортимент: головотяпство, лень, чудеса и попы. Попы определенно соответствуют. Стилль будет выдержан...

Д м и т р и е в с к и й: Петр Петрович по обыкновению шутит. Причины ведь более или менее известны, только вы не хотите назвать их серьезными. Я уже докладывал вам: производство у нас сложное, мальчишки работать не умеют, и, кроме того, как это ни неприятно признать, — крадут. Крадут инструменты, материалы. Я вот только сейчас узнал: у коммунара Собченко украли штанген, он стоит сто пятьдесят рублей, и без него работать нельзя. Штанген заграничный. И все это на самом ответственном участке, на выключателях.

К р е й ц е р: Что вы скажете, Петр Петрович?

В о р г у н о в: То же самое. Кражи тоже соответствуют: тоже стилль.

К р е й ц е р: Но нужно же бороться с этим стиллем! Надо же принимать меры. Найти воров, наладить учет и ответственность. Ведь и на заводах могут красть. Никто из нас никогда не думает: вот он пролетарий, так и не украдет. Пролетарий тоже может спереть. Надо организовать дело, а вы сидите и руками разводите.

Т р о я н: Я думаю так: организм физически здоров, но наблюдаются, понимаете... так сказать, мозговые явления. Мальчишки работой интересуются, к станкам относятся любовно, у нас все есть, это верно... Но вот — кражи, потом как бы это сказать: именно мозговые явления...

К р е й ц е р: В чем дело?

В о р г у н о в: Я вам скажу, в чем дело. Психическая установка не такая. Другая нужна психическая установка. Нужно более точное отношение к себе и к задаче. А у нас этого нет. Ведь сегодня целый скандал: диаметр штатива пять сантиметров, а диаметр пружины, которая на штатив надевается, — понимаете? — у нас вышел четыре с половиной сантиметра. Кто виноват? Виноватого, конечно, мы найдем, но это же не про-

изводственная работа — искать виноватого. Второе: выключатель. Вы говорите: мальчики виноваты. Не то, не то, Георгий Васильевич. (*К Крейцеру.*) Это сложная, довольно противная штука: всякие винтики, штифтики, осики, шарнирчики. У нас все это разлезается. Мы не знаем, как он собирается в Вене, а наш способ не годится...

Крейцер: Теперь понял, чего вам не хватает. Вам не хватает немца. До каких пор мы немцев будем целовать?

Воргунов: Еще долго будем целовать...

Крейцер: Глупости.

Воргунов: Будем...

Крейцер: А я говорю: глупости.

Воргунов: Ну и говорите. А пока что мы выключатель делаем вручную и накладываем заклепки по методу Иванушки-дурачка. Делаем, а того нет, чтобы задуматься, напряжения нет, воли, всего такого...

Дмитриевский: Петр Петрович, вот бы вы сели и задумались.

Воргунов: А что же, и сяду.

Крейцер: Молодец!

Воргунов: Не молодец, а гадость... Я начальник механического цеха, почему я должен выполнять работу конструктора? Что это за организация? Все в расчете на случайность. И автомат загнали.

Крейцер: Автомат стоит?

Троян: Автомат испорчен?

Дмитриевский: Нет.

Воргунов: Загнали. Это ваш Белоконь...

Крейцер: Товарищи, вы просто не овладели техникой.

Воргунов: Вы еще скажете: болезни роста.

Крейцер: А что же, и скажу. (*Смеется.*)

Воргунов: Александр Осипович, простите меня, старика. В Европе давно нет холеры, сыпного тифа и этих самых болезней роста⁵.

Крейцер (*взял за пуговицу, ласково*): Это потому, что Европа ваша старенькая. Из нее уже порох сыплется. У нее другие болезни: подагра, старческая немощь, артериосклероз.

Воргунов: Это, может, у дворян там каких. У техников этого нет...

Троян (*улыбается*): Вы замечаете, Петр Петрович, что вы делаете успехи в классовом подходе?

Крейцер (*хохочет*): Правильно!

Воргунов (*рассердился*): Вам угодно называть дворян классом, а я их называю просто дармоедами. Таких подагриков и у нас еще сколько хотите.

Крейцер (*хохочет*): Поддели, поддели Петра Петровича...

Выходит. Зырянский выглядывает из столовой в повязке дежурного.

Зырянский: Васька, скоро сигнал?

Клюкин: Через двадцать минут.

Зырянский исчез. Входит Лаптенко и останавливается у дверей.

Клюкин: Чего тебе?

Лаптенко: В коммуноу.

Клюкин: Чего в коммуну?

Лаптенко: Примите меня в коммуну.

Клюкин: Как тебя зовут?

Лаптенко: Гришка, Лаптенко Гришка.

Клюкин: Ты откуда?

Лаптенко: Да откуда же? Мне негде жить.

Клюкин: Давно на улице?

Лаптенко: Два года. Как ушел от мамки.

Клюкин: Сядь вот там, подожди. Нет, на диван не садись, на ступеньку сядь.

Лаптенко усаживается на ступеньку у дверей.
Сверху идут Григорьев и Белоконов.

Белоконов: Я сколько раз говорил главному инженеру: раз они набросали гвоздей в коробку шестеренок, пускай они и отвечают. Я за автомат определенно не отвечаю.

Григорьев: А кто набросал?

Белоконов: Да кто же? Я знаю разве? Народ тут такой. Они меня...
(Оглянувшись на часового.)

Клюкин заглядывает в столовую.

утопить готовы, потому что я с них определенно требую. Игорь Александрович, переведите меня на другой завод.

Григорьев: Глупости, работай здесь. Что тебе, плохо?

Белоконов: Оно не плохо, да народ здесь беспокойный здорово...

Григорьев: Ничего.

Белоконов: Народ здесь оскорбительный. А я такого не люблю. С автоматом этим проходу нету... Вы скажите главному...

Григорьев: Хорошо.

Входит Торская. Белоконов уходит, здоровается с ней в дверях.

Григорьев: Здравствуйте, Надежда Николаевна.

Торская: Здравствуйте, здравствуйте, Вася. Не знаешь, где Вальченко?

Клюкин: Кажется, на заводе.

Григорьев: Спасите мою душу, Надежда Николаевна. Уже не товарищ Вальченко вас ищет, а вы его ищете...

Торская: Товарищ Вальченко мне нужен, вот я его и ищу.

Григорьев: Кажется, товарищ Вальченко вытеснил из вашей души даже коммунаров.

Торская: Ошибаетесь, в моей душе они уместятся, не мешая друг другу.

Григорьев: Только для меня нет места в этой любвеобильной душе.

Торская: Для людей вашей категории места нет. Верно.

Григорьев: Надежда Николаевна, обратите внимание, здесь часовая.

Торская я: Ничего не могу поделать: в присутствии часового вы не умнеете.

Клюкин неожиданно взрывается смехом.

Григорьев: Так, Надежда Николаевна?

Торская я: Да, так.

Григорьев: Хорошо. *(Ушел наверх.)*

Клюкин: Сцена ревности, да?

Торская я: Нет, Вася, это сцена хамства...

Клюкин: И я так думаю.

Торская я: Где Воргунов?

Клюкин: А вот.

Воргунов вошел.

Воргунов: Удивительное дело: для чего я вам могу понадобиться?

Торская я: Идите сюда, мне надо с вами поговорить. Садитесь.

Воргунов: А это что за персонаж?

Клюкин: В коммуно просится.

Воргунов: Смотрите, какой он смиренный. Ну, чего ты такой смиренный?

Лаптенко: Примите в коммуно.

Воргунов: Ага, практические соображения, значит?

Лаптенко: У меня соображение хорошее. Примите.

Воргунов: Я вижу: смиренный.

Торская я: Так и нужно: он будет хорошим коммунаром, правда?

Лаптенко: Я буду все делать... А примете?

Торская я: Я здесь человек маленький... Попросишь старших... Примут.

Воргунов: Ну, сел. Говорите, в чем дело?

Торская я: Один коммунар, фамилия его Одарюк, сделал важное усовершенствование в выключателе. Об этом говорят все коммунары. Вам известно?

Воргунов: Ничего не слышал. В выключателе? Угу...

Торская я: Знает о нем Григорьев. Григорьев объявил, что усовершенствование Одарюка ничего не стоит. Я хочу, чтобы вы проверили.

Воргунов: Где же этот молодой русский изобретатель?

Клюкин: Он сейчас на работе, я могу вам рассказать.

Воргунов: Оказывается, это уже достояние широких народных масс? Рассказывайте.

Клюкин: В выключателе есть пластинка, знаете?

Воргунов: Ну?

Клюкин: Там на двух углушках нужно высверливать две дырочки и закрепывать на них штифтики для контактов. Одарюк предлагает дырочек не сверлить, штифтиков не ставить, а штамповать пластинку наподобие ласточкиного хвоста, а потом загнуть два хвостика. Можно их загнуть во время штамповки. Получаются хорошие контакты⁶.

Воргунов: Угу. Это он сам придумал?

Клюкин: Ну, а кто же?

Торская: Разве хорошо?

Воргунов (*в задумчивости подымается и направляется вверх*):
Черт... Просто как... Ласточкин хвост...

Торская: Петр Петрович, куда же вы?

Воргунов (*остановился на лестнице*): Ах, да. Так его фамилия Одарюк? А не Одергейм?

Клюкин: Да нет, Одарюк.

Воргунов: Пошлите этого Одергейма ко мне.

Клюкин (*сдерживая смех*): Смотри ты!

Сверху спускается Григорьев.

Воргунов: Товарищ Григорьев, вам было известно предложение Одарюка — ласточкин хвост?

Григорьев: Дело в том...

Воргунов: Было известно?

Григорьев: Было...

Воргунов: Больше не имею вопросов.

Григорьев: Петр Петрович, спасите мою душу — я же говорил о нем Георгию Васильевичу, и он со мной согласился.

Воргунов: С чем именно согласился?

Григорьев: Что это слишком наивно.

Воргунов: Угу. Замечательно!

Григорьев: И потом ведь немцы этого не делают.

Воргунов: Отправляйтесь к чертовой матери с вашими немцами, понимаете? Немцы за вас будут соображать? Ох ты, господи, когда это кончится? (*Ушел.*)

Григорьев: Это вы ему рассказали, товарищ Торская?

Торская: Я.

Григорьев: Это называется интригой, товарищ Торская.

Торская: Это называется борьбой, товарищ Григорьев. (*Ушла.*)

Григорьев: Что она ему рассказывала?

Клюкин: С часовым разговаривать строго воспрещается.

Григорьев: Ага, воспрещается? (*Пошел наверх.*)

Зырянский (*выходит из столовой*): А это что за птица?

Лаптенко: Дядя, примите в коммуну.

Зырянский: Из детского дома давно?

Лаптенко: Я не из детского дома.

Зырянский: А ну, покажи. (*Открывает ворот рубахи, осматривает белье.*) Когда ты убежал из детского дома?

Лаптенко: Три дня.

Зырянский: Так чего ты к нам пришел?

Лаптенко: На заводе хочу работать.

Зырянский: Ну, посиди, просохни малость. (*Уходит во двор.*)

Лаптенко: А кто здесь самый старший?

Клюкин: Обойдешься без самого старшего.

Клюкин смотрит на часы, заглядывает в столовую. Вбегает Синенький.

Клюкин: Ты где это шляешься?

Синенький: Ты знаешь, что в цехе делается? Зырянский Вехова обыскивал. (Снимает сигналку с денежного шкафа.)

Клюкин: Ящик?

Синенький: Ага. Два французских ключа, которые у Гедзя пропали.

Клюкин: Ну, давай, давай.

Синенький дает сигнал «кончай работу» в вестибюле, в верхнем коридоре, во дворе. Зырянский и Вехов входят.

Вехов: На что мне эти ключи, у меня самого таких два.

Зырянский: Значит, продать хотел! Я тебя знаю!

Вехов: Алеша, честное слово, честное коммунарное слово, не брал.

Зырянский: Почему они в твоём ящике?

Вехов: Не знаю.

Жученко и Шведов входят.

Жученко: Я его сейчас выгоню на все четыре стороны. Ага, он здесь?

Шведов: Подожди выгонять, чего ты горячишься?

Жученко: Ты понимаешь, Шведов, по всему заводу и в городе уже растрепали: «Коммунары крадут», «Коммунары — воры, срывают завод».

Зырянский: Ты, Шведов, брось тут добрую душу разводить. Сколько инструмента пропало! А штанген у Собченко? Я вот тебя поддам в дверь!..

Шведов: Так не годится, Алексей. Вечером в бюро поговорим. Это дело темное. Ведь он не признался? Тут может быть ошибка.

Зырянский: Я его выгоню сейчас. А ты меня в бюро сколько хочешь разделявай.

Шведов: Я не позволю никого выгонять без разбора.

Жученко: И вечно ты, Шведов, усложняешь дело.

Шведов: Постой. Ты вот что, Алексей, скажи мне: почему ты у него производил обыск?

Зырянский: По праву дежурного командира.

Шведов: Да знаю. А почему именно у него?

Зырянский: А мне Григорьев сказал.

Жученко: Григорьев сказал?

Зырянский: Чего ты?

Жученко: Постой. Как он тебе сказал?

Зырянский: Просто сказал, что он подозревает Вехова.

Входят три-четыре коммунара, между ними Гедзь.

Шведов: Откуда же он знает?

Зырянский: Значит, знает.

Гедзь: А в самом деле интересно: как он может знать, что Вехов у меня украл ключи?

Зырянский: Разве вы коммунары? Вы бабы. Откуда знает? Что же, по-вашему, он крал вместе с Веховым? Значит, имеет какие-нибудь основания.

Шведов (*задумчиво*): Какие-нибудь... Это недостаточно.

Гедзь: Да, это верно. Скажи, Вехов, прямо: когда ты украл ключи?

Вехов: Я ключей не брал.

Шведов: Я ему верю.

Зырянский: Ну еще бы! Как это можно, чтобы Шведов кому-нибудь не поверил. Я удивляюсь, как ты попам не веришь? Ну, что с ним делать?

Шведов: Это дело завтра разберем. Завтра все равно день боевой. И комсомол и совет командиров. (*Вехову.*) Иди в спальню.

Задерживаются в вестибюле: Шведов, Жученко, Зырянский, Собченко, Деминская, Донченко, Гедзь. Другие коммунары в спецовках пробегают наверх и влево по коридору.

Гедзь: Странная история!

Собченко: Теперь у нас все истории странные. Вот смотри: мой штанген, эти самые ключи, сколько инструмента у всех пропадает. Откуда у нас столько воров? Откуда набрались, понимаешь?

Романченко (*пробегая*): Это не коммунары крадут.

Жученко: Вот мудрец тоже, Федя, а кто же крадет?

Романченко: Это черти завелись в коммуне.

Донченко: Вот я тебе уши надеру. Какие черти?

Романченко: Завелись в коммуне. Черти. С рогами и с хвостом. Штатив пять сантиметров, а пружина четыре с половиной. Все крадут. Много чертей. Мы вчера с Ванькой одного поймали.

Шведов: И что ты мелешь? Кого вы поймали?

Романченко: Я ж сказал тебе: черта, такой, знаешь... (*Прикладывает рожки.*)

Жученко: А ну, покажи.

Романченко: Э, нет! Это мы в подарок готовим с Ванькой.

Жученко: Кому?

Романченко: Совету командиров, кому же? Вот завтра поднесем. (*Показывает, как он будет подносить. Удирает наверх.*)

Шведов: Болтает пацан.

Жученко: Нет, здесь что-то есть. Федька — серьезный человек.

Черный (*входит*): О, целое совещание. Григорьева не видели?

Собченко: Вот еще этот Григорьев, понимаешь ты... А зачем он тебе?

Черный: В коллекторе была прокладка из слюды. Обтачивали коллектор на шлифовальных. Теперь ставим прокладку бокелитовую.

Жученко: А бокелит на шлифовальных плавится.

Черный: Во, прокладку переменили, а того не заметили, что бокелит жару не выдерживает. Ты знаешь, какое вращение на шлифовальных?

Собченко: Ну?

Черный: Вот тебе и «ну». Бокелит расплавится, а снаружи этого не видно. Ставим коллектор на место, все собираем, пробуем мотор — ничего не выходит. А черт его знает, в чем причина? Попробуй догадаться.

Собченко: А кричали все: «Девчата виноваты — обмотка неверная».

Черный: Валили на обмотку. Девчата уже и плакали, бедные.

Жученко: Да, это, брат, действительно. Кто же это наделал?

Черный: Да Григорьев же...

Шведов: Ну, будет завтра день, постойте.

Жученко: Действительно, черти в коммуне.

Воргунов медленно спускается с лестницы, задумался.

Зырянский: Вот, может быть, товарищ Воргунов разъяснит?

Воргунов: Чего разъяснять?

Жученко: Говорят, черти в коммуне завелись.

Воргунов: Этого только не хватало.

Жученко: Товарищ Воргунов, вы слышали сказки о штативе и пружине, о бокелитовой прокладке, об автомате, о ласточкином хвосте?

Воргунов: Слышал.

Гедзь: Так отчего это?

Коммунаров прибавляется.

Воргунов: Отчего? Ясно — отчего. Не умеем работать.

Шведов: А вот мы за это возьмемся по-комсомольскому.

Воргунов: Как же это — по-комсомольскому?

Шведов: А вы не знаете?

Воргунов: Да, видите ли, я уже сорок лет как в комсомольцах не был.

Шведов: Энтузиазм — вот что нужно!

Воргунов: Ах, энтузиазм?

Жученко: А вы в энтузиазм не верите?

Воргунов: Я ни во что не верю. Я могу только знать или не знать.

Собченко: Ну хорошо, так вы энтузиазм знаете?

Воргунов: Эта штука для меня трудная. Начнем с маленького. Вот вы рабфаковцы. Значит, геометрию, скажем, знаете?

Голоса: Знаем.

Воргунов: Какая формула площади круга?

Голоса: Пи эр квадрат.

Воргунов: Как можно эту формулу изменить при помощи энтузиазма?

Молчание.

Зырянский: Ну, так это само собой... Энтузиазм не для того, чтобы формулы портить.

Воргунов: Вот человек хорошо сказал. А вся работа нашего завода состоит из одних формул. Куда ни повернись — математика.

Шведов: И для того, чтобы применять математику, нужен энтузиазм.

Воргунов: Посмотрим. Возьмем того портача, который, скажем, проектировал бокелитовую прокладку. Сейчас он обтачивает на шлифовальных. Это без энтузиазма. А не дай господи, он станет энтузиастом, так он коллектор в горне обжигать будет.

Голоса: Ну...

Воргунов: Да. Ведь тут все дело в знании и честности. Если ты не знаешь свойств бокелита, не смей браться за конструирование бокелитовых деталей. Или посмотри в справочник. Вы понимаете, молодые люди? Это ведь халтура, это мошенничество, портачество. Люди не уважают ни себя, ни математики, ни работы, ничего. Какой энтузиазм может им помочь?

Молчание.

Вот и все. Можно продолжать мой путь?

Собченко: Нет, минуточку. Вот бакинцы выполнили пятилетний план в два с половиной года. Разве это не энтузиазм?

Воргунов: Да нет! Подобрались хорошие, честные, уважающие себя работники. Они всегда одинаковы — и с энтузиазмом и без энтузиазма. А сволочь всегда есть сволочь, и нечего призывать ее к подвигам. Дать стрихнина — и все.

Жученко: А вот вы не правы, так не правы! Нас тогда всех стрихнином потравить нужно было...

Воргунов: Почему... вас?

Жученко (смугился): Да... так. Мы тоже, знаете... всяко бывало.

Гедзь: Да это же известно, чего там скрывать. Мы, товарищ Воргунов, были, как бы это выразить... не так, чтоб очень честные...

Воргунов: На работе?

Гедзь: Нет, не на работе...

Воргунов: Меня интересует только работа, а если вы там от любви или от голода... ну так это... это другое дело, совсем другое дело... Ну, я плыву дальше... (Он уходит несколько расстроенный и сгорбленный.)

Гедзь: Здорово завернул.

Шведов: Он правильно сказал. Конечно, нужны прежде всего точность и освоение техники.

Клюкин: И энтузиазм!

Шведов: Вот для него как-то места не находится.

Клюкин: Жалко, что я на посту стою. А то я треснул бы тебя прикладом по голове за такие разговоры, хоть ты и секретарь.

Собченко: Давай я за тебя постою, а ты тресни...

Шведов: Пойдите, чем неправильно?

Клюкин: А ты понимаешь? Точность ему показали. А раньше он о точности не слышал? И у буржуев есть точность.

Гедзь: Ты точности дай волю... Они с тебя и шкуру стянут по всем правилам математики. Точность у них называется расчетом...

Собченко: А этот дед тоже, видно, такой... буржуазный...

Клюкин: Ты этого деда не знаешь, так и молчи...

Собченко: А что? Почему не знаю?.. Вот он говорит...

Гедзь: Он чужак.

Клюкин: Он чужак только снаружи... и бывает... такое закручивает. А на самом деле он у нас тут первый энтузиаст.

Собченко: О!

Зырянский: Ты тоже, Клюкин, закручиваешь...

К л ю к и н: А ты смотри. Мы вот с тобой смеемся, а он, смотри, какой черный ходит. Думаешь, отчего это? Он душой болеет...

С о б ч е н к о: Это еще ничего не значит.

Б л ю м входит.

Ж у ч е н к о: Соломон Маркович, энтузиазм нужен или не нужен?

Б л ю м: Ну, это как сказать... Если что-нибудь получить, так почему, пожалуйста, энтузиазм нужен, это хорошее дело... А то другой получит, а ты будешь стоять как из кулька в рогожку. Ну, а если платить, например, так зачем тебе энтузиазм? Если тебе есть чем платить, так с тебя возьмут, не беспокойся, ну, а если тебе нечем платить, так нужно тихонько сидеть и не кричать, для чего тебе этот самый энтузиазм...

Смех.

Ш в е д о в: Вот это я понимаю. Ну, а если в работе?

Б л ю м: И в работе так: когда ты умеешь что-нибудь делать, так пожалуйста... А когда не умеешь, так кому ты нужен с твоим энтузиазмом. Не мешай другому — и все...

Ш в е д о в: То же самое.

Б л ю м: Что, то же самое?

Ж у ч е н к о: И Воргунов так говорит.

Б л ю м: Ну, так он же образованный человек, потому так и говорит.

С о б ч е н к о: Соломон Маркович, где вы были целый день?

Б л ю м: У Соломона Марковича нет письменного стола, так он целый день бегаёт. А тут еще эту старую столярную на меня набросили.

Г е д з ь: Соломон Маркович, вы эту столярную скорее разбирайте.

Б л ю м: Кого разбирать, что вы говорите? Я на ней еще заработаю полмиллиона.

С о б ч е н к о: Не заработаете, она сгорит раньше.

Б л ю м: Ну, что вы!

Ж у ч е н к о: Все коммунары говорят, что сгорит. Дня такого нет, чтобы там что-нибудь не загорелось.

Б л ю м: Вы знаете, я и сам так думаю. Даже ночью спать не могу... Ой! *(Ушел наверх.)*

З ы р я н с к и й: Ну, ребята, переодеться, скоро буду ужин давать. *(К Лаптенко.)* А ты как, привык ужинать? *(Ребята расходятся.)*

Л а п т е н к о: Три дня ничего не ел.

З ы р я н с к и й: Какой же ты беспризорный после этого? Мы таких не принимаем.

Л а п т е н к о: А как же?

З ы р я н с к и й: А ты не знаешь как? Ты что сегодня спер на базаре?

Л а п т е н к о: Я?

З ы р я н с к и й: Ну да...

Л а п т е н к о: Так... только подметки... пару.

З ы р я н с к и й: Где же они?

Л а п т е н к о: Кого, подметки?

З ы р я н с к и й: Да.

Лаптенко: Прошамал.

Зырянский: То-то же. А то: «Три дня не ел». Дураком прикидываешься. Ты если в коммуны поступаешь, так брехать брось. *(Ушел в столовую.)*

Наташа *(входит)*: Здравствуй, Вася.

Клюкин: О, Наташа, здравствуй, как это ты?

Наташа: Пришла проведать. К девочкам некого послать?

Клюкин: Да ты иди прямо в спальню. Там все.

Наташа: А кто дежурный сегодня?

Клюкин: Зырянский.

Наташа: Ой, вот не повезло...

Клюкин: Да ты не бойся, иди, что он тебе сделает?

Зырянский с Синеньким выходят из столовой.

Зырянский: О, а вы чего пожаловали?

Наташа: Нужно мне...

Наверху Ночевная и Деминская.

Зырянский: Скажите, пожалуйста, — «нужно». Убежала из коммуны, значит, никаких «нужно».

Ночевная: Наташа, ой, какая радость! Наташенька, миленькая! *(Обнимает.)*

Зырянский: Я вас всех арестую! Какая радость? Она убежала из коммуны!

Деминская: Убежала, что ты выдумываешь! Не убежала, а замуж вышла. Наталочка, здравствуй!

Синенький *(бросается на шею Наташе)*: Наталочка, ах, милая, ах, какая радость!!!

Наташа *(смеется)*: Убирайся вон, чертенок!

Зырянский: Нечего ей здесь околачиваться. Я ее не пущу никуда. Раз убежала из коммуны — кончено. И из-за чего? Из-за романа.

Наташа: Как это убежала? Что я — беспризорная, что ли? Я пять лет в коммуне.

Зырянский: Пять лет, тем хуже, что ушла по-свински... Для тебя донжуаны лучше коммунаров.

Наташа: Какие донжуаны?

Зырянский: Петька твой — донжуан.

Синенький: Дон-Кихот Ламанчанский!

Наташа: Какой он донжуан? Мы с ним в загсе записались.

Зырянский: В загс тебе не стыдно было пойти, а в совет командиров стыдно. Убежала и два месяца и носа не показывала. *(Клюкину.)* Я не позволю пропускать ее в спальню.

Клюкин: Есть — не пропускать в спальню.

Зырянский ушел в столовую.

Ночевная: Вот ирод. Что же делать? Вася, ты не пропустишь?

Клюкин: Что вы? Приказание дежурного не только для меня, а и для вас обязательно.

Сверху Жученко и Шведов.

Ночевная: Жучок! Вот пришла Наташа, а Алешка не пускает в спальни.

Жученко: А, Наташа, здравствуй! Не пускает? *(Кричит в столовую.)*
Алешка!

Зырянский в дверях столовой.

Жученко: Надо же пропустить.

Зырянский: Наш старый обычай — беглецов в коммуны не принимать.

Жученко: Какой же она беглец? Ну, немного не так сделала.

Зырянский: Не пущу.

Жученко: В таком случае я тебе приказываю.

Зырянский *(вытянулся, поднял руку в салюте)*: Есть, товарищ председатель совета! Пропусти ее, Вася, по приказанию председателя..

Клюкин: Есть пропустить!..

Жученко: Ну и черт же ты, Алешка.

Зырянский: Я черт, а ты... интеллигент...

Сверху спускаются Григорьев и Блюм.

Блюм: Хэ-хэ, какой же он механик, я же знаю...

Зырянский: Товарищ Григорьев, разрешите узнать, откуда вы получили сведения, что ключи украл Вехов?

Григорьев: Мне сказали.

Зырянский: Кто сказал?

Григорьев: Для вас, надеюсь, все равно. Ведь это оказалось правдой?

Зырянский: Нам не все равно. Почему вы скрываете?

Григорьев: Я не хочу подводить того коммунара под неприятности.

Клюкин: Это что за психология? Какие неприятности?

Григорьев: Спасите мою душу, часовые тоже могут разговаривать?

Клюкин: Если нужно, часовые могут даже стрелять... Ответьте, о каких неприятностях вы говорите?

Григорьев: Разумеется, этому коммунару будут мстить...?

Зырянский: Ах ты, черт. Так вы что же думаете? Коммунары все воры, а если кто выдаст, так месть? Вы имеете право это говорить?

Григорьев: Не забывайте, молодой человек, и не кричите.

Зырянский: Я вас отсюда не выпущу, пока вы не скажете...

Торская и Вальченко вошли.

Григорьев: Как же это? Арестуете?

Зырянский: А хотя бы и так...

Григорьев: Это издевательство над инженером!

Гедзь: А разве вы инженер?

Торская: В чем дело? Что это за собрание?

Зырянский: Товарищ Григорьев сообщил нам сегодня, что в ящике Вехова есть краденые вещи. Это верно, нашли, но товарищ Григорьев отказывается сказать, откуда он узнал сам...

Торская: Может быть, вы мне скажете, товарищ Григорьев?

Григорьев: Продолжайте ваши беседы с товарищем Вальченко...

Зырянский: Клюкин, не выпускать его отсюда.

Клюкин (*смеется*): Есть не выпускать...

Вальченко: Товарищ Григорьев, что с вами?

Григорьев: Что с вами, товарищ Вальченко? Вам не угодно замечать хулиганства по отношению к инженерам?

Вальченко: Я тоже инженер...

Блюм: Вас могут обвинить в соучастии...

Григорьев: В чем?

Блюм: Ну, в чем, известно, в чем. Если кто-нибудь крадет, а другой знает и не хочет сказать, так он тоже...

Григорьев хочет пройти.

Клюкин (*на дороге с винтовкой*): По распоряжению дежурного командира...

Вошел Воргунов.

Григорьев: Наплевать на ваших дежурных.

Гедзь (*засучивая рукав*): Ого! Не могу, честное слово, не могу.

Воргунов (*хватает его за руку*): Эй вы, русский богатырь...

Гедзь (*конфиденциально Воргунову*): Надо, понимаете, стукнуть.

Воргунов: Давайте подождем...

Торская я: Товарищи, успокойтесь. Это всегда успеем разобрать. Зырянский, вы же дежурный, наведите порядок.

Зырянский: Клюкин, выпустить арестованного.

Клюкин: Есть выпустить арестованного. Пожалуйста.

Григорьев (*проходя между молча расступившимися коммунарами*): Хамство!

Гедзь (*Воргунову*): Видите? Нужно было стукнуть.

Воргунов: Слишком, знаете, старая форма...

Гедзь: Уже согласен. (*Спускает рукав.*)

Зырянский: Коммунары, через десять минут ужин.

Коммунары поднимаются по лестнице. Внизу группа: Торская, Вальченко, Блюм, Воргунов.

Блюм: Это он у папаши так научился разговаривать?

Торская я: А вы знаете его отца?

Блюм: А как же — генерал-лейтенант Григорьев...

Торская я: Он умер?

Блюм: Нет, он теперь трудящийся...

Воргунов: Блюм, что вы чепуху мелете?

Блюм: Блюм никогда не мелет чепухи. Их превосходительство сейчас продает газеты в Берлине. Дело, как видите, не солидное.

Торская я: Откуда вы все это знаете?

Блюм: Живешь на свете — все видишь, а то и скажет какой-нибудь знакомый.

Воргунов и Блюм ушли наверх.



Сигналіст

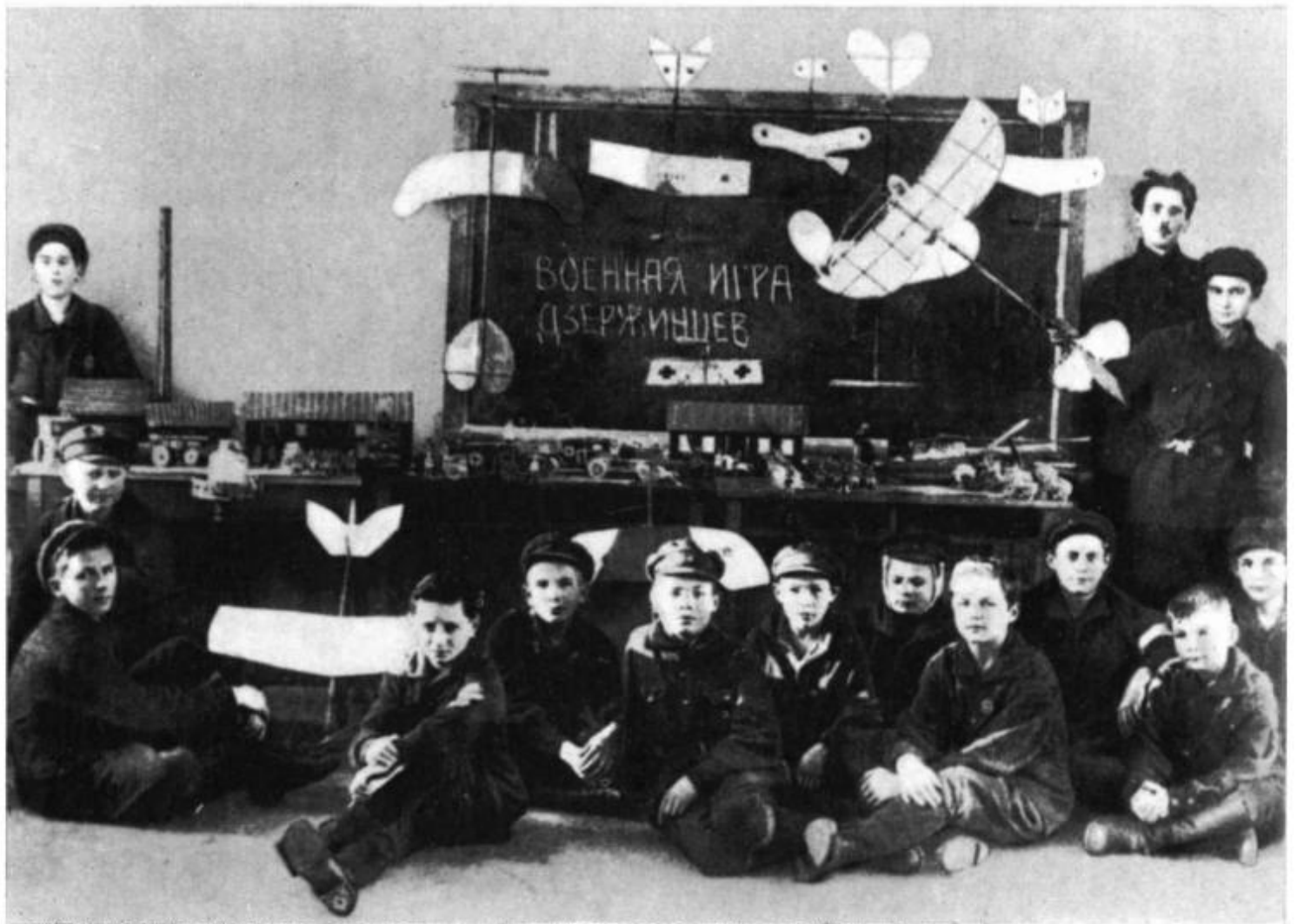


Обложка первого издания книги «Марш 30 года»



Вынос знамен коммуны дзержинцев

Группа воспитанников детской трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского (1928)





А. С. Макаренко (1932)

Группа коммунаров-дзержинцев (1932)





Заседание совета командиров коммуны

А. С. Макаренко с участниками драматического кружка коммуны

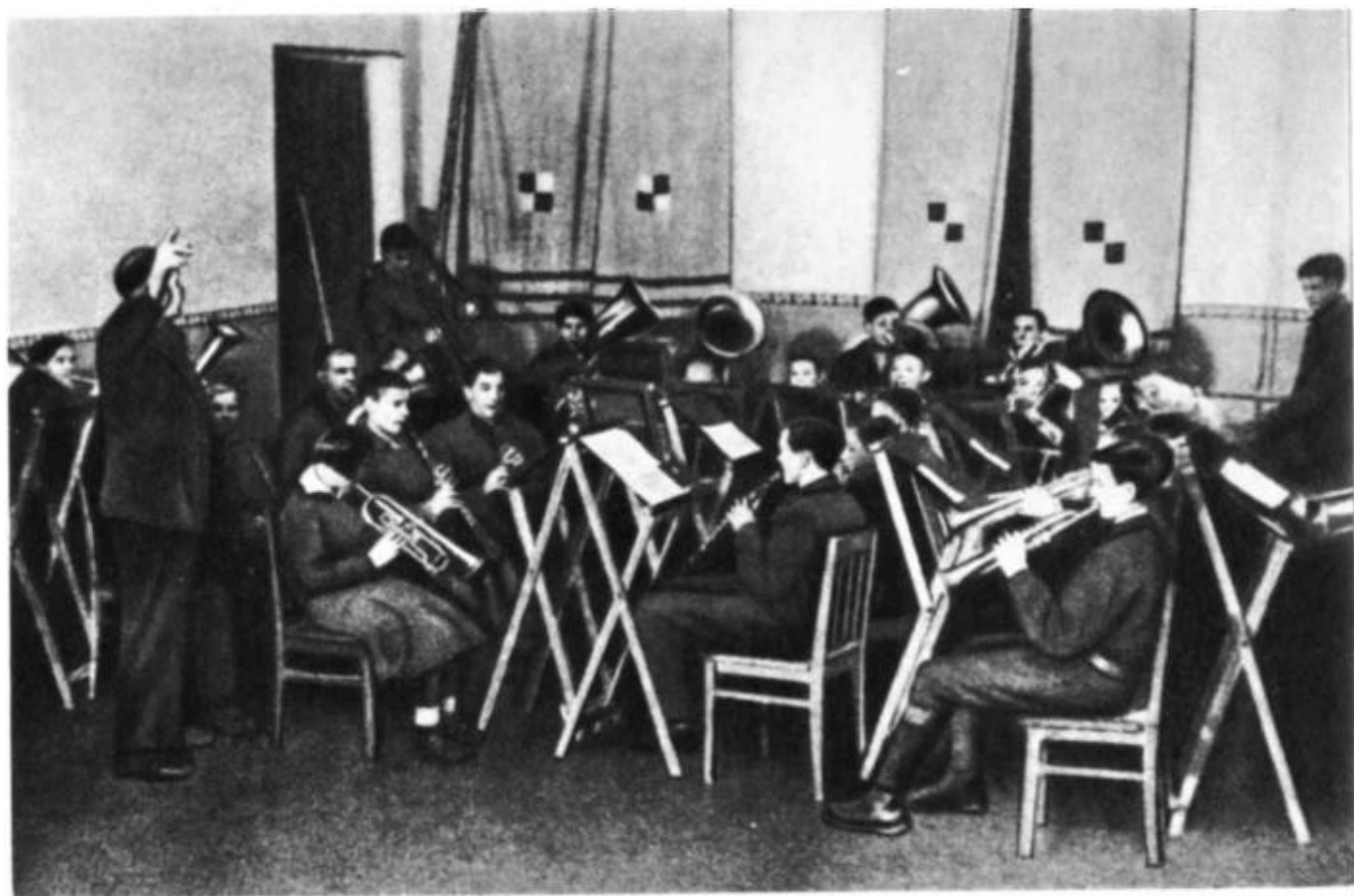


Младшие коммунарки



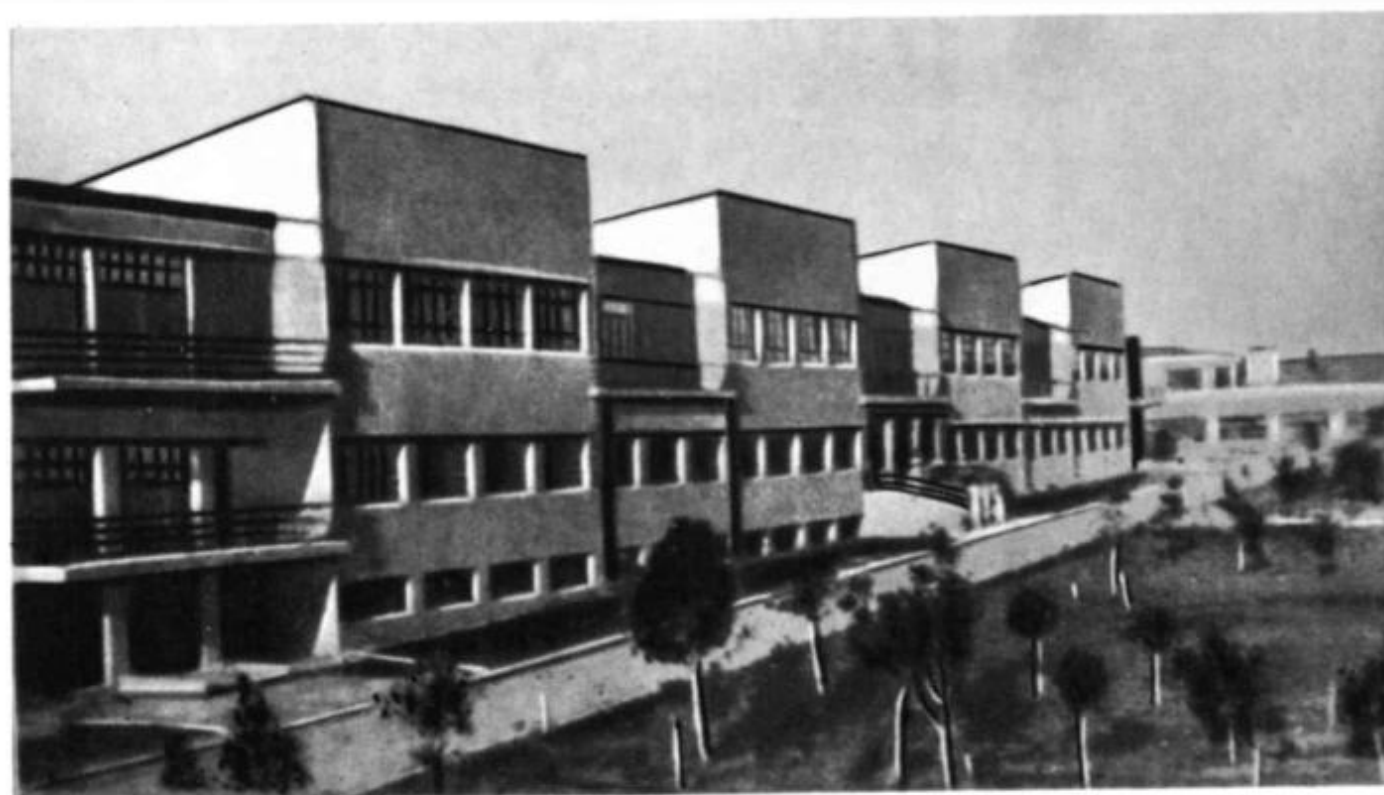
Кавалерийская секция коммунаров





Сыгровка оркестра

Корпуса завода коммуны





Коммунары в заводском цехе



*Продукция завода
коммуны:
электросверлилка
ФД-3, суппортная
электрошлифовалка
ФД-2*

Киев, 28 сентября, 1935 г.
Ул. Леонтьева, 6 к/з 21

Дорогой Алексей Максимович!

Сегодня сиюминутной мыслью Всею третью часть «Персикопольской Позмы». Не знаю, конечно, какой она получится, но писал ее с большими волнениями.

Поскольку Вы пожелали в Вашем письме по поводу второй части, я ценил все темы персикопольского расхождения Наркомпросом, это прибавило к основной теме много перцу, но главным отщепенческим тоном я сохранил.

Описать Ваше пребывание в Туркестане я не решился. Это знало бы описывать Все, для этого у меня не хватило совершенно необходимого для этого дела профессионального накопления. Там и мои кавказцы, я люблю Все симпатично застенчиво.

Третью часть пришлось писать в тяжелых условиях, меня перевели в Киев полициникой на-темлянина Юрия трицовой Колонии НКВД, в-строительстве переиздана и новой работы очень плохие условия для писания, в сути оставалось не больше трех свободных часов, с свободной ду-ши ничего не оставалось.

Работа у меня сейчас бюрократическая, для меня неприятная и неприятная, по мотизам скучно страшно. Меня вырвали из коллектива в июне, сейчас не попрощался с ребятами.



А. С. Макаренко (1935)

Письмо А. М. Горькому



Фотоаппарат ФЭД — продукция коммунарского завода фотоаппаратуры

Торская: Иван Семенович, не грустите.

Вальченко: О нет, я прекрасно себя чувствую, но я не могу спокойно выносить такие сцены...

Торская: Что вас беспокоит?

Вальченко: Мне хочется... драться.

Торская (*берет его под руку, направляются вверх*): Морды бить? Правда?

Вальченко: В этом роде.

Торская: Это прекрасное, захватывающее желание. Я вас понимаю.

Сверху идут Наташа и Ночевная.

Наташа (*бросается к Торской*): Надежда Николаевна, а я вас все ищу...

Торская: Наконец-то... Как тебе не стыдно! Два месяца не показывалась...

Наташа: Зырянского боюсь...

Торская: Это верно, его многие побаиваются. Как же ты живешь?

Наташа: Хорошо, Надежда Николаевна! Хорошо! Петя, вы знаете, такой хороший...

Торская: У вас большая любовь?

Наташа: Такая любовь... Ой! (*Смущается присутствием Вальченко*.) Я вам потом расскажу...

Вальченко: Вы меня не бойтесь. Я...

Торская: Верно. Вы не бойтесь его, Наташа. Он тоже влюблен...

Вальченко: Откуда вы знаете?

Торская: «Живешь на свете — все видишь»...

Наташа: Это правда?

Вальченко: Я бы вам сказал, но я тоже... Зырянского боюсь...

Направляется наверх, оттуда сбегает Деминская к Клюкину.

Деминская: Ну, сдавай. (*На Лаптенко*.) Этот чего здесь сидит?

Клюкин: Ждет совета командиров... (*Сдал винтовку, побежал наверх*.)

Деминская: Ты где живешь?

Лаптенко: Я нигде не живу.

Деминская: Как это нигде не живешь? Вообще ты живешь или ты умер?

Лаптенко: Вообще? Вообще я живу, а так — нет.

Деминская: А ночуешь где?

Лаптенко: Вообще? Да?

Деминская: Что у тебя за глупый разговор? Где ты сегодня спал?

Лаптенко: Ах, сегодня? Там — в одном доме. В парадном. А когда меня примут?

Деминская: После ужина будет совет командиров. Только ты на совете ничего не ври.

Лаптенко: Я уже знаю. Мне уже говорил этот — Алеша, чтобы не врал.

Воргунов проходит сверху, курит. Внизу размахнулся окурком, бросил его с гневом в угол.

Воргунов: Черт...

Деминская я: Товарищ Воргунов!

Воргунов: Что такое?

Деминская я: Поднимите окурком.

Воргунов: Как это поднять?

Деминская я: Здесь нельзя курить и бросать окурки. Поднимите.

Воргунов: Да... черт... где я его буду искать? Завтра уборщица уберет...

Деминская я: У нас нет уборщиц. Поднимите.

Воргунов: Да что вы на меня с ружьем?

В дверях столовой Зырянский и Синенький.

Зырянский: Что, опять скандал?

Деминская я: Товарищ *(улыбается)* бросил окурком, а поднять не хочет.

Воргунов *(явно опасаясь Зырянского)*: Да я его не найду.

Зырянский: Бросать нельзя!

Лаптенко: Вот. *(Подает окурком Воргунову.)*

Воргунов *(машинально берет окурком и выходит)*: Вот глупая история!

Зырянский: А ты чего стараешься? Сам поднял бы. Ты беспризорный?

Лаптенко: Беспризорный.

Зырянский: А не лакей, нет?

Лаптенко: Так жалко... этого... его зовут Виём? Да?

Зырянский: Что ты там?..

Лаптенко: Говорю, жалко... Виём.

Зырянский: Смотри ты: «Виём». Молодец, Роза, наша берет. Будет знать старый, что такое энтузиазм.

Синенький: Он говорит: уборщица, а Роза — ввик. *(Показывает, как стреляют.)* Битва котят и медведей.

Деминская я: Сам ты котенок.

Романченко *(влетает со двора)*: Хлопцы, столярная... столярная горит... пожар...

Зырянский: Брешешь!

Романченко: Да, пожар!.. Горит крыша!..

Зырянский: Новый скандал! Вот дежурство! Синенький, давай тревогу.

Синенький: А как она?.. Смотри ты: забыл... Ага!

Играет тревогу в дверях, потом наверху и где-то далеко в спальнях. Немедленно с верхнего этажа врываются коммунары, некоторые из них с огнетушителями. Внизу появляется Воргунов и не понимает, в чем дело.

Зырянский *(оглушительно кричит)*: Спецовки, спецовки надевай, куда вас черт несет?

Часть возвращается. Большинство уже в спецовках вылетает лавиной в распахнутые двери.

Зырянский (Шведову): Я туда, вызывай пожарную. Товарищ Воргунов, тушить... Шведов, пошлешь ко мне сигналиста.

Шведов: Есть...

Воргунов: Тушить так тушить...

Зырянский и Воргунов выбегают. С верхнего этажа пробегают Вальченко и Троян. Не спеша спускаются Дмитриевский и Григорьев.

Шведов (у телефона): 5-50. Пожарная? Говорят из коммуны Фрунзе. У нас пожар. Столярная мастерская. Деревя много и сама деревянная. Есть обозначить гидранты.

Синенький спокойно спускается сверху.

Синенький (к дежурному): С сигналкой?

Шведов: Вот глупый вопрос. Куда ты годишься без сигналки?

Синенький вылетел.

Шведов (у телефона): 4-17-11. Товарища Крейцера. Александр Осипович? У нас пожар. Столярная мастерская. Только что... Вызвал только что... Еще не знаю. Коммунары уже все там... Да. Вы будете у телефона? Есть. Роза, Крейцер будет у телефона. Я побегу...

Деминская: Есть.

В окна пробивается отблеск пожара. Слышен неясный шум толпы.

Зырянский (вбегает): Вот везет... Воды нет в водопроводе. Где Шведов?

Деминская: Крейцер у телефона.

Зырянский (у телефона): Александр Осипович? Зырянский, да, дежурный командир... Воды нет в водопроводе, поганое дело. Хорошо, нажмите. Тушим, как же. Да как? Огнетушители, а то больше руками... Горит крыша и угол. Там, где сложены стулья... Знаете? Хорошо.

Сверху Блюм, поддерживаемый Торской.

Блюм: У меня сердце... Я не перенесу этого. Ох, боже мой! Мальчики только сегодня говорили... Как они все хорошо знают... Как там дела? Если я сегодня не умру, так, значит, я еще здоровый человек.

Зырянский помог свести Блюма, направляется к выходу.

Торская: Не волнуйтесь так. Алеша, пришли ко мне девочку.

Зырянский: Есть.

Захаров и Шведов входят.

Шведов: Кто говорил с Крейцером?

Деминская: Дежурный.

Захаров: Звони в совхоз. Пускай срочно дают воду, а то совсем сгорим... (Вышел.)

Шведов (у телефона): 30-89. У нас пожар, знаете? Так почему воды нет? Коров поили... Давайте немедленно. Вот черти: через десять минут. (Выбежал.)

Платова: (коммунарка лет тринадцати): Что такое, Надежда Николаевна?

Торская: Зина, в моей комнате есть нашатырный спирт. Тебе мама даст. Принеси сюда.

Платова: Есть. (Побежала наверх.)

Зырянский (вбрасывает в вестибюль Болотова, у него в руках радиоприемник): Роза, он арестован. У кого пожар, а у него радио... (Скрылся.)

Деминская: Вот еще... людишки... Как же ты?

Болотов: Честное слово, не слышал сигнала. Я там в инструментальной работал, а там... примус... шумит...

Деминская: Ну, чего ты врешь: как это можно не слышать тревоги? Вот выгонят тебя — и правильно.

Собченко и Романченко вводят под руки Вальченко.

Торская: Что случилось?

Вальченко: Как замечательно удачно.

Собченко: Ушибли здорово.

Романченко: Балку вытаскивали, а эта штука... раскоряка такая, как треснет его по кумполу. Он только брык.

Вальченко: И не раскоряка, а стропильная нога.

Романченко: Нога... Хорошая нога.

Собченко и Романченко убегают.

Торская: Вы уже в сознании?

Вальченко: Да ничего... сначала оглушило.

Торская: Но у вас кровь?

Вальченко: Это ничего... ударило сильно. А как хорошо кончилось.

Погас свет.

Торская: Вот еще беда... Болотов, беги ко мне, там возле зеркала свеча и спички. Принеси.

Деминская: Он под арестом.

Торская: Ничего, не убежит, я отвечаю...

Болотов: Есть. (Умчался наверх.)

Платова (сверху): Ой, и темно ж. Вот спирт.

Торская: Ну, как вы себя чувствуете, Соломон Маркович?

Блюм: Я себя никак не чувствую... Как там с пожаром этим? Для моего сердца нельзя такие пожары. Мне и доктор сказал: в случае чего у вас будут чреватые последствия...

Шведов (входит): Провода порвали.

Торская: Света не будет?

Шведов: Одарюк уже на столбе. Будет. (У телефона.) 4-17-11. Товарищ Крейцер? Горим. Ого, тушим... Руками растаскиваем. Сейчас весь двор завален огнем: балки, стулья, доски... По-всему двору разбросали... Да так

благополучно: по башкам кой-кому досталось... Средне. Плохо с костюмами, попортили многие... Да, думаю, что потушим... Хорошо, ждем.

Б л о т о в (*осторожно несет зажженную свечу*): Насилу нашел.

Ш в е д о в: Смотри, тут целый лазарет. А я видел, как вас стукнуло, товарищ Вальченко. Аж зазвенело.

В а л ь ч е н к о: У меня тоже впечатление было довольно сильное...

Б л ю м: Сильное впечатление хорошо, если у тебя здоровое сердце.

Т о р с к а я: Зина, принеси бинт из больнички.

П л а т о в а: Есть. (*Убежала наверх.*)

Ш в е д о в: А знаете, кто хорошо работает? Воргунов. Он и Забегай, как черти. Мы их два раза из огнетушителя тушили. Старый, а с энтузиазмом...

Б л ю м: Голубчик, Шведов... потушим?

Ш в е д о в: Потушим, а как же...

По окнам вестибюля пробегает свет прибывших машин, шум моторов.

Ш в е д о в: О, пожарные приехали. (*Выбежал.*)

П л а т о в а (*сверху*): Вот бинты...

Т о р с к а я: Дайте, я вам перевяжу...

В а л ь ч е н к о: Это прямо замечательно. Я желал бы, чтобы меня каждый день... по кумполу.

Т о р с к а я: Через три дня от таких наслаждений никакого кумпола не останется.

З ы р я н с к и й (*входит*): Ф-фу... насилу одолели.

Б л ю м: Потушили?

З ы р я н с к и й: Не потушили, а растащили по бревнышку. Двор, как огненное озеро. Пожарные приехали. С бочками.

В а л ь ч е н к о: Это самый счастливый день...

Б л ю м: Ну, зачем вы так говорите... Вы знаете, чем это может кончиться?

В а л ь ч е н к о: А что?

Б л ю м: Я же знаю, чем это кончается. Пока у тебя голова разбита, так все хорошо. А когда голова целая и все на месте, так тебе говорят: я уезжаю...

В а л ь ч е н к о: Кто?

Б л ю м: Откуда я знаю кто? Каждая может уехать. Говорит, характерами не сошлись... Жены эти самые...

В а л ь ч е н к о: Нет... не может быть...

Т о р с к а я: Мне этот лазарет придется разогнать за то, что он занимается пустяковыми разговорами...

П о ж а р н ы й (*входит*): Где телефон? 5-50. Говорит связист. Коммуна Фрунзе. Пожар номер шесть. Воды не было. Да, ребята сами растащили. Во дворе много огня. Поливаем. Пришлите несколько бочек... (*Вышел.*)

Воргунов и Забегай входят обнявшись.

З а б е г а й: Пропустите старых партизан. Ой-ой-ой, что же они с нами сделали? Товарищ Воргунов?

В о р г у н о в: Да, здорово нас того. Стервецы, из огнетушителя поливали.
З ы р я н с к и й: Вы еще спасибо скажите, а то из вас окорока были бы.
В а л ь ч е н к о: Жму вашу руку, Петр Петрович.
В о р г у н о в: А вы как?
В а л ь ч е н к о: О, я наверху блаженства.
В о р г у н о в: Кому что, а курице просо...
Т о р с к а я: Да вы весь мокрый, надо сейчас же переодеться.
З а б е г а й: Идем, сейчас идем. Я вам предлагаю, как старому партизану, мое галифе.

Смех. Зырянский и Синенький входят.

З ы р я н с к и й: Хорошо, товарищ Воргунов?
В о р г у н о в: Да, это по-нашему: все горит, никаких инструментов, шипит, гремит, валится, а они руками, голыми руками. Это все-таки картина...
Т о р с к а я: Да ведь и вы с ними.
В о р г у н о в: Да ведь и я такой же...
З ы р я н с к и й: Синенький, давай отбой.

Сигнал во дворе. Толпой вваливаются коммунары. Большинство мокрые, черные, измазанные, обгоревшие, все бурно веселые. На секунду задерживаются возле Вальченко, Влюма, Воргунова и убегают наверх. Приходит на свое место и мокрый Лаптенко и, улыбаясь, заглядывает всем в лицо. Деминская спешит убрать в сторону бархатный коврик на лестнице. Ей кто-нибудь помогает.

О б р ы в к и ф р а з:

- Товарищ Вальченко, как ваше здоровье?
- Что же теперь?
- Там стульев штук триста.
- Это я вас из огнетушителя тушил, товарищ Воргунов.
- Значит, и костюм за ваш счет.
- А может, он был старый.
- Вот кто хорошо действовал. Как тебя зовут?
- Лаптенко, Гришка.
- Он молодец.
- Ему хорошо, у него спецовка подходящая.
- Как раз для пожаров.
- Его надо сейчас принять.
- Идем купаться, корешок...
- Соломон Маркович, а я говорил вам.
- Это горел старый мир.
- Ишь ты какие: старый мир...
- Выходит так, что и тушить не надо было.
- А за что я вам пошью новые костюмы?
- Заработаем.

Т р о я н (входит): Чему я больше всего поражаюсь, это что мои очки уцелели.

Т о р с к а я: На кого вы похожи, Николай Павлович!

Т р о я н: Горел.

Общий смех. Троян не столько обгорел, сколько изодрался.

Воргунов: Где это вас так?

Троян: Это мы разбирали маленькую кладовочку.

Жученко (*вводит толпу с огнетушителями. Уже и раньше многие приносили их*): Что же вы побросали? Ставьте здесь.

Захаров: Ну, Соломон Маркович, ожили?

Блюм: Потушили. Ах, как я люблю этих коммунаров! Это же замечательно!.. Вы знаете?.. Пойдите, сколько же огнетушителей истратили? (*Поднялся с дивана. Начинает считать.*) Один, два, три...

Жученко: Да зачем считать, сколько их было?

Блюм: Сорок штук.

Жученко: Все истратили, сорок, значит...

Блюм (*в ужасе*): Сорок штук?! Не может быть... Алексей Степанович, как же так?

Захаров: Что, много?

Блюм: Алексей Степанович, разве же так можно? Где же набрать столько денег? Сорок огнетушителей на такой маленький пожар... Это же безобразие.

Общий хохот. По окнам пробежали огни авто.

Синенький (*встает*): Крейцер приехал.

Все подтягиваются, как могут, поправляют одежду. Встает и перевязанный Вальченко. Зырянский вытягивается на верхней ступеньке, за ним Синенький с сигналкой. Зажегся свет.

Крейцер (*входит*): Ну, как? (*Принимая рапорт, прикладывает руку к козырьку фуражки.*)

Зырянский: Председателю Правления трудовой коммуны имени Фрунзе дежурный по коммуне командир второго отряда Зырянский отдает рапорт: в коммуне имени Фрунзе все благополучно. Коммунаров двести один, раненых... (*посмотрел на Вальченко*) один.

Крейцер: Вот, дьяволы...

Смех, приветствия, рукопожатия.

Занавес

Акт четвертый

Большая комната совета командиров. В левой стене два окна. В правой стене, ближе к заднему плану — двери. Под стеной бесконечный диван, обитый зеленым бархатом с низенькой простой спинкой. Этот диван проходит даже сзади двух письменных небольших столов: один у задней стены — Жученко, второй у левой стены — Захарова. Перед столами по два кресла, а перед столом Захарова небольшой столик. У правой стены на авансцене широкий турецкий диван, тоже обитый зеленым бархатом. На полу большой ковер.

На стенах портреты, диаграммы соцсоревнования, портреты ударников.

Комната совета командиров уютна, и нет нигде дешевых украшений, наклеенных кое-как бумажек. Все сделано солидно⁸.

Вечер. Горят электрические настольные лампы и потолочный свет. Жученко сидит за своим столом.

Шведов (*входит*): Мы сейчас кончаем, Жучок.

Жученко: Совет после ужина сделаем.

Шведов: Добре.

Собченко (*в повязке дежурного*): Как с ужином? После комсомольского или после совета?

Жученко: Как только комсомольское кончится, давай ужин.

Собченко: Только вот беда: инженеры и инструкторы будут ожидать, пока мы поужинаем?

Жученко: Да чудак какой! Пригласи их поужинать...

Собченко: Правильно... А здорово сегодня!

Жученко: Ты, Шведов, молодец. Сегодня комсомол взял завод в руки...

Шведов: Да... Сколько сегодня машинок?

Жученко: Тридцать шесть.

Шведов: Хорошо. До пятидесяти близко. Вот тебе и ласточкин хвост.

Жученко: С воровством плохо. Ничего в руках нет.

Собченко: Забегай подозревает в краже масла Федьку и Ваньку Синенького.

Жученко: Не может быть...

Собченко: А вот я уверен, что на совете и воровство откроется. У пацанов есть какие-то намеки.

Шведов: Ну, идем на собрание, а то там Клюкин уже парится.

Шведов вышел. В дверях Воробьев и Наташа.

Воробьев: Жучок, задержись на минутку.

Жученко: Ну добре.

Собченко: А эти влюбленные все ходят.

Воробьев: Вот подожди, Санька, и ты влюбишься когда-нибудь.

Собченко: Чтобы я такую глупость мог на своем лице размазать? Да никогда в жизни. На тебя вот смотреть жалко. Что твоя физиономия показывает, так и хочется плюнуть.

Воробьев: А что?

Наташа: Смотри ты какой! А что она показывает?

Собченко: Да ты посмотри на него. Разве можно при всех такое показывать? Написано прямо: Наташа лучше всех, лучше солнца и месяца. Я на месте Алексея Степановича не поехал бы. Стоит, ты понимаешь, какой-нибудь телеграфный столб, а ему померещится, что это «ах, Наташа». Он и влепится всем радиатором.

Воробьев (*хватает Собченко в объятия и валит его на диван*): Будешь вякать?

Собченко: Да брось, ну тебя, зайдут сюда. (*В дверях.*) Все-таки, Жучок, ты с ним осторожнее. С ним только по телефону можно разговаривать. (*Ушел.*)

Жученко: А вид у вас в самом деле... на шесть дизелов.

Воробьев: Подумай, Жучок, кончаются наши страдания. Ты только помоги.

Жученко: Да чем тебе помогать?

Воробьев: Самое главное, чтобы Наташу не мучили. Она этих ваших командиров боится, как шофер пьяного...

Жученко: А ты сам приходи в совет, я дам тебе слово. Да ничего такого страшного и не будет. Против вас только Зырянский. Это уже известно.

Воробьев: Самое главное, Наташа, ты не бойся. Мы такого ничего плохого не сделали.

Уходят все. Пауза.

Входят Крейцер, Захаров, Дмитриевский и Троян. Крейцер и Троян усаживаются на широком диване. Захаров разбирается в бумагах на столе. Дмитриевский ходит по комнате. Закуривают.

Крейцер: Здесь можно и покурить... Ну, я доволен. Молодцы комсомольцы. Замечательно правильная у них постановка. Хорошая молодежь...

Захаров: Да, горизонты проясняются...

Крейцер: Проясняются горизонты, Николай Павлович? А?

Троян: Наши горизонты всегда были ясными, Александр Осипович. Это, знаете (*улыбается*), на дороге пыль. Бывает, поднимаются вихри такие...

Крейцер: Вы прелесть, Николай Павлович, честное слово. Ну а все-таки еще и сейчас у вас есть темные тучки, места разные.

Троян: Да нет. Ничего особенного нет, темного такого. А если и есть, так и причины более или менее известны. (*Улыбается.*) Надо немножко ножиком... ланцетом. Потом перевязочку — и все.

Крейцер (*смеется*): Это хорошо. А разве раньше нельзя было... ланцетиком?

Троян (*улыбается*): Видите ли, всякая причина... она должна, так сказать, назреть...

Крейцер: Это не революционная теория.

Троян: Нет, почему, революционная. Накопление изменений, количество и качество и так далее... Диалектика.

Крейцер: А я вот не могу ждать. Всегда это хочется раньше ампутацию проделать... И, сколько я знаю, помогает...

Троян: Возможно. Это уже дело практики. Вы, так сказать, опытный хирург, а я только философ, да и то беспартийный. Практика, она немножко дальше видит в отдельных случаях.

Дмитриевский: Я, пожалуй, согласен с Николаем Павловичем. Необходимо ланцетиком действовать. И сегодня же произвести повальный обыск.

Крейцер: Повальный обыск? Что вы!

Дмитриевский: Да, повальный, в спальнях у коммунаров. Я уверен, что найдете много интересного. Вы посудите: каждый день кражи. Разве это завод?

Захаров: Вы считаете возможным оскорбить двести коммунаров. Из-за чего?

Крейцер: А вот мы спросим Николая Павловича. Вы тоже имели в виду повальный обыск, когда говорили о ланцете?

Троян: Повальный обыск это не ланцетом, а столовым ножом и притом по здоровому месту.

Дмитриевский: Вы меня чрезвычайно поражаете, Николай Павлович, чрезвычайно поражаете. Я не могу допустить, чтобы вы не понимали, что кражи у нас — бытовое явление. Все случаи известны. Крадут все. Несколько дней назад украли флакон дорогого масла прямо из станкового шкафика у Забегая. Наконец, сегодня у Белоконя украли часы прямо из кармана, как в трамвае. Надо все же решить, будем мы бороться с воровством или примиримся с тем, что наш завод строится на воровской рабочей силе...

Крейцер: Эх, зачем вы так: «На воровской рабочей силе»? Значит, вы очень далеки от коммунаров, какие же они воры?

Дмитриевский: Я привожу факты, а вы хотите их не видеть. Рекомендуете мне стать ближе к коммунарам. Если это поможет искоренению воровства, дело, конечно, хорошее. Но ведь согласитесь, это не моя задача, я не воспитатель, я главный инженер завода, а не воспитатель.

Крейцер: Хорошо. Допустим, крадут. Произведем повальный обыск, все сделаем. Давайте все-таки о другом. Пятидесяти машинок нет? С выключателем засыпались, вывозит Одарюк, автомат прикончили, да и, кроме того, много разных анекдотов: штативы, пружины, бокелит и прочее. Вы это как будто смазываете, Георгий Васильевич.

Вошел Блюм.

Дмитриевский: Новое производство без таких случаев не может быть. Везде так бывает.

Крейцер: Как это везде бывает? У моего соседа горб, почему у меня должен быть горб?

Дмитриевский: У одного горб, у другого нога короче.

Крейцер: С какой стати! А у меня вот все правильно, и у Трояна, и у Захарова, и у вас. Зачем так много калек? Ничего подобного. Правда же, Соломон Маркович?

Блюм: Я не слышал вашего разговора. Но я понимаю, что Георгию Васильевичу нужны калеки. Я как заведующий снабжением могу достать, но я думаю, что у нас и так довольно. Вот вам Григорьев. Это же калека...

Крейцер: У него нога короче?

Блюм: Если бы нога... У него и совесть короткая и голова тоже недомерок. А скоро ему коммунары печенки поотбивают — к вашему сведению...

Дмитриевский: При вашем участии, вероятно.

Блюм: Я, что вы думаете? Я его два раза тоже ударю. И буду очень рад. Вы его лучше уберите, а то его побьют, и будет скандал. Это же не человек, а наследие прошлого.

Троян: Думаю, что при известном напряжении можно найти много людей, так сказать, с правильными ногами.

Крейцер: И без горба?

Троян: Да... горб тоже... не обязателен.

Блюм: А как же с Григорьевым? Я уже не могу на него смотреть. Разве можно в серьезном производстве иметь такой агрегат? Какой это эпохи, скажите мне, пожалуйста?

Дмитриевский: С каких пор вы стали интересоваться эпохами? Вы сами — какой эпохи?

Блюм: Ну, скажем, и я тоже — эпохи... эпохи Александра второго, это тоже неплохо... так у меня уже все части новые, только сердце у меня старое, так теперь же сердце уже не имеет значения...

Собченко *(входит)*: Товарищи, прошу в столовую... Чай и все такое.

Крейцер: Санчо, отчего у нас в коммуне так много воров развелось?

Собченко: А сколько у нас воров?

Крейцер: Говорят, много.

Собченко: Если и есть у нас вор, то, может быть, один, ну, пускай — два. А больше нет. Скоро он все равно засыпется. Скоро ему совет командиров *(показывает, как откручивают голову)*... и кончено. Пойдем чай пить.

Крейцер: Что это такое? *(Повторяет жест.)*

Собченко: Это?.. Ну, так... поговорить по-товарищески.

Крейцер *(направляясь к выходу, обнимает Собченко за плечи)*: Ох, знаю, как вы нежно умеете разговаривать...

Захаров: Что же, товарищи, приглашают, пожалуйста.

Блюм: Они-таки умеют разговаривать...

Все вышли.

Вошла Ночевная и устало опустилась на диван. Входит Григорьев, закуривает.
Молчание.

Григорьев: Ваша фамилия — Ночевная?

Ночевная: Да.

Григорьев: Настя?

Ночевная: Настя. Почему вы знаете мое имя?

Григорьев: Я давно обратил на вас внимание, Настя.

Ночевная: Для чего это?

Григорьев: Не для чего, а почему?

Ночевная: Ну хорошо, почему?

Григорьев: У вас очень интересное лицо, вы красивая девушка, Настя.

Ночевная: Ох ты, лышенько!..

Григорьев: И я очень удивляюсь, товарищ Ночевная. Вам уже, наверное, семнадцать лет, у вас есть потребность и запросы, правда же? Будем говорить прямо: вас уже занимают вопросы любви?

Ночевная: Вопросы?

Григорьев: Подумайте: самая лучшая пора жизни. Неужели вам никто не нравится? Вы вот так и живете в этой коммуне? Вам не скучно?

Ночевная: Нам некогда, а вас разве занимают эти вопросы?

Григорьев: Ну, как вам сказать... все люди... Нет, в самом деле: вы убиваете лучшие годы...

Ночевная: Убиваю? Ну, что ты скажешь!..

Григорьев: Убиваете. Надо оживлять свою жизнь. Надо искать людей, интересных людей. Почему вы никогда не зайдете ко мне?

Ночевная: К вам? Интересно. Дальше что?

Григорьев: Заходите вот вечером — сегодня-завтра. Я получил хорошую комнату в инженерском доме, знаете?

Ночевная: Так... дальше...

Григорьев: Попьем чайку, поговорим, у меня есть хорошие московские конфеты, журналы...

Ночевная: Вечерком?

Григорьев: Вот именно... Когда дела у вас кончены, коммунары отдыхают, заходите...

Ночевная: А дальше что?

Григорьев: Спасите мою душу, дальше там уже будет видно, познакомимся.

Входит К л ю к и н.

Клюкин: Где Жучок? Комсомольское кончилось.

Ночевная: Вася, ты знаешь, что предлагает товарищ Григорьев?

Клюкин: А что?

Григорьев: Товарищ Ночевная...

Ночевная: Ах, нельзя говорить? Нельзя говорить, Вася, секрет.

Клюкин: Интересно. *(Вышел.)*

Григорьев: Вы меня испугали, Настя.

Ночевная: Вы еще не так испугаетесь... Вот сегодня на совете командиров...

Григорьев: Спасите мою душу, товарищ Ночевная! Что же я такого сделал, пригласил... Чай...

Ночевная: Скажу все равно...

Григорьев: Товарищ...

Ночевная *(в дверях)*: Вот и хорошо. Ничего плохого? Чего же вы испугались? Совет командиров разрешит мне пить у вас чай... с московскими конфетами... *(Выбежала.)*

Григорьев: Товарищ Ночевная... *(спешит за ней, но наталкивается на Белоконя.)* Черт... Ну, чего нужно... Чего лезешь?

Белоконь: Игорь Александрович...

Григорьев: Ну, что такое?

Белоконь: Вы говорили Георгию Александровичу... насчет этого... вот, что гвоздей накидали...

Григорьев: Мало кто этому верит...

Белоконь: А что же? Я их набросал?

Григорьев: А пошел ты к черту, какое мое дело! Набросал, набросал...

Белоконь: Извините, Игорь Александрович, а только нехорошо это с вашей стороны... вызвали вы меня.

Григорьев: Тебе уезжать отсюда надо.

Белоконь: Это вы истинную правду сказали, что уезжать, потому я совсем не механик, одни неприятности. А только куда я поеду?

Григорьев: Куда хочешь.

Белоконов: Так не годится, Игорь Александрович. Как ваш папаша, так и вы сами много от меня имели помощи в делах ваших, а теперь на произвол течения жизни... так не годится...

Григорьев: Об этом приходи вечером поговорить.

Белоконов: Да вас вечером дома даже никогда и не пахнет.

Григорьев: Как у тебя часы пропали?

Белоконов: Да как пропали? Вытащили... Гедзь, наверное, вытащил.

Григорьев: Почему Гедзь?

Белоконов: Да он возле меня вертелся все время. Он и вытащил...

Григорьев: Когда?

Белоконов: Да утречком, наверное.

Григорьев: Ну, иди...

Белоконов: В совет меня ихний вызывали... с автоматом этим...

Григорьев: А ты не ходи...

Белоконов: Да от них не скроешься, следят проклятые!

Григорьев: Впрочем, все равно...

Белоконов: А как мне за часы, стоимость, значит. Триста рублей...

Григорьев: Заявление подал?

Белоконов: А как же, самому главному инженеру. Он сказал, что полагается будто.

Григорьев: Ну, убирайся.

Дмитриевский (входит): Ты чего здесь?

Белоконов: Вызывали.

Григорьев: Интересно, Георгий Александрович, как в таких случаях полагается платить: вот часы пропали у Белоконоя.

Дмитриевский: Я думаю... ведь мы все под угрозой.

Белоконов выходит.

Игорь Александрович, у вас все случаи воровства собраны?

Григорьев: Все до единого.

Дмитриевский: Я требую обыска, не соглашаются.

Григорьев: Они никогда не согласятся. Как же, оскорбление коммунаров!

Входят Воргунов и Шведов.

Воргунов: А я не вижу в этом никакого смысла. Простое варварство, и при этом мелкое, провинциальное.

Шведов: Как это — мелкое? И смысл — ого! Вот увидите, какой будет смысл.

Воргунов: А я требую, чтобы немедленно сняли. И наказать того, кто это сделал.

Шведов: Наказать может только совет командиров...

Блюм вошел, слушает.

Воргунов: Ну, что же, доберусь и до совета командиров.

Входят Крейцер, Собченко, Забегай.

Блюм: Но это же шутка, что ж тут такого, на меня еще не такое вешали...

Воргунов: К черту! Или производство, или балаган!

Шведов: Это социалистический метод.

Воргунов: Глупости. Варварство! Здесь и не пахнет социализмом.

Крейцер: На кого это гром и молния, Петр Петрович?

Шведов: Да мы снимем...

Воргунов: На станках рогожные флажки. Заграничные драгоценные станки и... рогожки. Отвратительно⁹.

Собченко: А если норма не выполнена?

Воргунов: Кто не выполнил? Станок не выполнил? Вы не выполнили! Ну и надевайте на себя что хотите, а станков не трогайте! Это же некультурно.

Блюм: Ай, нехорошо, товарищи коммунары. Разве так годится делать: ваш завод такой хороший, а вы на него всякую гадость нацепили...

Крейцер: А мне это нравится, Петр Петрович. Смотрите, как все заволновались.

Воргунов: Девка, которой ворота дегтем вымазали, тоже волновалась, иные даже вешались. Может быть, и в моей квартире двери дегтем вымажете? Старый мерзостный быт. Благодарю вас. Решительно протестую.

Крейцер: Н-нет...

Забегай: И я протестую.

Воргунов (*удивленно*): А вы чего?

Забегай: На моем «самсон-верке» тоже рогожный флаг.

Воргунов: Ну, значит, вы виноваты.

Забегай: Честное слово, не виноват. Виноват Вальченко, не подает приспособлений. А я все-таки протестую. И знаете что? Вот садитесь. Мы, старые партизаны...

Воргунов: Ну что? (*Сел.*)

Крейцер: Интересная парочка.

Блюм: Они же друзья!

Дмитриевский: Легкомыслие какое-то...

Вышел, за ним — Григорьев.

Забегай: Знаете что? Давайте устроим демонстрацию.

Воргунов: Как же это? Дурака валяете...

Забегай: Нет, серьезно. Попросим Жучка. Он командир оркестра и все может. Возьмем флаги и... демонстрацию. «Марш милитер» и лозунг «Руки прочь от трудящихся старых партизан». Насчет наших огнетушительных заслуг тоже можно выставить. Разобьем два-три окна в комнате совета командиров, но, конечно, за наш счет. Красиво.

Шведов: Вы ему верьте, Петр Петрович. Он и сам флажки навешивал.

Воргунов: Как же вы?

Забегай: Среда заела, Петр Петрович.

Воргунов: Все равно, я вешаться не буду, ничего не добьетесь. А в цех не пойду.

Блюм: Товарищи коммунары, вы как хотите, а я пойду снимаю флажки. Мне жалко смотреть на товарища Воргунова. Такой человек, а вы с ним поступаете, как будто он кого-нибудь зарезал.

Воргунов: И формально неправильно: кто постановил, кто выбирал станки? Сам Забегай на своем станке навесил?

Шведов: Правильно. Снять...

Забегай: Смыть пятно позора с механического цеха.

Блюм: Идем.

Крейцер: Ну, ладно — идите.

Забегай: А старые партизаны идут чай пить. После победоносной демонстрации.

Воргунов: Вот это другое дело. Чай люблю.

Все вышли, кроме Собченко.

Торская (*заглядывает*): Санчо, скоро совет?

Собченко: Вот пойду посмотрю, как ужин, — да и на совет. (*Вышел.*)

Торская берет одну из книг на столе Захарова и усаживается за этим столом.

Вальченко (*входит*): Редкая удача: вы одни.

Торская: Дорогой Иван Семенович, я вас целый день не видела.

Вальченко: У вас в слове «дорогой» нет никакого выражения.

Торская: Это я нарочно так делаю.

Вальченко: Экзамен продолжается, значит.

Торская: Продолжается. Не можете ли вы сказать, Иван Семенович, что такое любовь?

Вальченко: Это я прекрасно знаю.

Торская: Скажите.

Вальченко: Любовь — это самое основательное предпочтение Надежды Николаевны всякому другому имени.

Торская: В вашей формуле любви Надежда Николаевна обязательно присутствует?

Вальченко: Непременно.

Торская: Садитесь.

Вальченко: Куда?

Торская: Садитесь. Единица.

Вальченко: Почему?

Торская: Несовременно. Устаревшая формула, примитив. Это годится для феодального периода.

Вальченко: В таком случае я могу привести другое определение любви, которое более современно и даже злободневно.

Торская: Получайте переэкзаменовку. Пожалуйста.

Вальченко: Любовь — это бесконечное издевательство над жи-

вым человеком, наполнение экзаменами, переэкзаменовками и другими ужасами старой школы, вечно угрожающее оставлением на второй год.

Торская я: Слабо и слишком пессимистично: оставление на второй год! Как и все школьники, вы воображаете, что очень большая радость возиться с вами еще один год. Не можете ли вы привести такую формулу любви, при которой приспособление для насадки якоря было бы сконструировано любящим человеком и сдано в сборный цех?

Вальченко: Любовь... это такая... удача для любящего человека, когда, наконец, Соломон Маркович Блюм привозит настоящую сталь номер шесть, а не простое железо и валик, сделанный из этой стали, не гнется во время насадки частей якоря, а это позволяет сборному цеху признать приспособление и любящему человеку избавиться от издевательства другого любящего человека.

Торская я: Довольно сносно. Но в последних словах некоторая неточность: вы сказали другого любящего человека, а нужно сказать — любимого человека. А вот и Соломон Маркович. Вы привозили железо вместо стали номер шесть?

Блюм (вошел): Новое дело... С какой стати? Я... железо? Кто это сказал?

Торская я: Это очень важно, и поэтому я запрещаю вам уклоняться от истины.

Блюм: Ну, раз вы запрещаете, так зачем я буду уклоняться. Привозил...

Торская я: Вместо стали номер шесть простое железо?

Блюм: Да, простое железо.

Торская я: Как же вам не стыдно?

Блюм: Я не виноват. Разве я могу пересмотреть каждый кусочек стали? Выписали сталь, а положили железо. Разве это люди? Это же дикари с острова Бразилии...

Торская я: Оказывается, и вас можно надуть...

Блюм: Извините... Разве это называется надуть? Я подойду сзади и ударю вас камнем по голове, так это разве — надуть? А скажите, пожалуйста, почему вас интересует какое-то железо?

Торская я: Мы с Иваном Семеновичем затеяли одну конструкцию...

Блюм: Господи, я же знаю, какая у вас конструкция. Так в этой конструкции не нужно никакого железа. И вообще это легкая промышленность, причем тут железо?

Торская я: Нам нужно не железо, а сталь, сталь номер шесть!

Блюм: Ну хорошо, хорошо, будет вам сталь номер шесть, только лучше я вам привезу что-нибудь другое... Разный текстиль, и цветы, и разные там кондизделия, ну и, само собою, нашатырный спирт, валерьяновые капли, цианистый калий...

Торская я: Вот я вам задам!

Входят Захаров и Забегай.

Забегай: И я прошу вас, Алексей Степанович, вы их постороже допросите.

Захаров: Но ведь у тебя нет доказательств.

Забегай: Если бы были доказательства, я бы вас не беспокоил, а прямо в совет командиров. А вы их хорошенько допросите. Масло украли они. Они работают рядом на «кейстоне» и сперли.

Захаров: Что же я могу сделать?

Забегай: Как что сделать? Их нужно в работу взять. Я приказал им прийти сюда.

Захаров: Ну хорошо.

Забегай (*кричит в дверь*): Эй, вы, идите сюда!

Входят Романченко и Синенький. Романченко отвечает на вопросы, а Синенький больше разглядывает кабинет и направляет улыбку то к Вальченко, то к Торской, то к Блюму. Блюм в ответ на его улыбку грозит пальцем.

Захаров: Забегай вот обвиняет вас в краже флакона масла для смазывания станка.

Романченко: Мы украли масло? Чудак какой! Ничего мы не крали.

Забегай: А я говорю — вы взяли.

Романченко: Ну, посуди, Колька, для чего нам твое масло? У нас свое есть.

Забегай: У меня было особенное, дорогое.

Романченко: Ах, особенное? Очень жаль. А где оно у тебя стояло?

Забегай: Да что ты прикидываешься? Где стояло? В станке, в шкафике.

Романченко: Воображаю, как тебе жалко!

Забегай: Смотри, он еще воображает. Вы на это масло давно зубы точили.

Романченко: Мы и не знали, что оно у тебя есть. Правда же, Ванька, не знали?

Синенький небрежно мотает головой.

Забегай: Вот распустили вы их, Алексей Степанович. Стоит и брешет, не знали. А сколько ты ко мне приставал: дай помазать. Приставали?

Романченко: Ну, приставали...

Забегай: Ну и что же?

Романченко: Ну и что же. Не даешь — и не надо.

Забегай: А сколько раз вы просили Соломона Марковича купить вам такого масла? Чуть не со слезами: купите, купите. Ну, что ты на это скажешь?

Романченко: А что ж тут такого? Просили. Ни с какими слезами только, а просили...

Забегай: А вот уже четыре дня, как не просите и не вякаете. А?

Романченко: И не вякаем. А что ж...

Забегай: А почему это?

Романченко: Да до каких же пор просить? Не покупает — и не надо. Тебе купил, а нам не покупает. Значит, он к тебе особую симпатию имеет.

Блюм: Ой, какой вредный мальчишка...

Забегай: А мажете вы как?

Романченко: Обыкновенно как.

Забегай: Я уже знаю. Встааете, еще вся коммуна спит — и в цех.

Федька мажет, а Ванька на страже стоит. Что — не так?

Романченко: Мажем, как нам удобнее.

Синенький: И ты можешь раньше всех встать и мазать.

Забегай: Вот ироды!

Блюм: Вы такие хорошие мальчишки...

Захаров: Убирайтесь вон...

Федька и Ванька быстро салютуют и скрываются. Вальченко, Торская и Блюм смеются.
Улыбаются Захаров и Забегай.

Забегай: Ну, что ты будешь с ними делать?

Блюм: Я для вас, товарищ Забегай, куплю еще такого масла. А они пускай уж мажут. Они же влюблены в свой «кейстон».

Собченко (заглядывает в дверь): Алексей Степанович, даю сигнал на совет.

Захаров: Есть сигнал на совет.

Воргунов (входит и располагается на большом диване): Выяснили с маслом, Забегай?

Забегай: С ними выяснишь! Когда вымажут флакон, сами скажут, а теперь ни за что. Им масло жалко. И где они прячут?

Воргунов: Шустрые пацаны. Станок у них: не у каждой барышни такая постель.

Захаров: Согласитесь, Петр Петрович, это новая культура.

Воргунов: Пожалуй, новая...

Забегай: Социалистическая.

Воргунов: Вы думаете?

Забегай: А как же?

Воргунов: Так. Ну, а я еще подумаю.

В коридоре сигнал на совет командиров. Синенький, продолжая играть сигнал, марширует в кабинет. За ним, отбивая шаг, марширует Федька и еще три-четыре пацана одинакового с ними возраста. Кончив этот марш, они вдруг выстраиваются и начинают петь на мотив развода караула из «Кармен». Синенький подыгрывает на своей трубе.

Хор (за сценой).

Папа римский вот-вот-вот
Собирается в поход.
Видно, шляпа — этот папа:
Ожидаем третий год...
Туру-туру-туру,
Туру-туру-туру,
Туру-туру-туру,
Туру-туру-туру-туру,
Туру-туру-туру.

Воргунов живо аплодирует, мальчишки собираются к нему.

Воргунов: Честное слово, хорошо. Вы были на «Кармен»?

Романченко: Аж два раза. И наш оркестр играет. Мы можем еще спеть для вас марш из «Кармен»: Петьки, Федьки, Витьки, Митьки.

Жученко: Эй, вы, музыканты, успокаивайтесь, пока я вас отсюда не попросил...

Романченко: Мы возле вас сядем, товарищ Воргунов. А то наша жизнь плохая: кто чего ни скажет, а Жучок на нас кричит.

Воргунов: Ну что же, садитесь.

Романченко: Вы у нас будете, как дредноут, а мы подводные лодки.

Синенький: Вы знаете как, товарищ Воргунов? Если Жучок будет нападать, вы правым бортом, а если Алексей Степанович — левым бортом.

Воргунов: А вы меня тут нечаянно не взорвете? Подводная лодка, знаете, опасная вещь...

Синенький: Ого! Вот вы сегодня увидите: будет атака подводных лодок — прямо в воздух.

Крейцер: У вас такие серьезные планы, подводные лодки?

Романченко: Даже самым немного страшно.

Блюм: А почему вы говорите «подводные лодки»? Настоящие моряки так не говорят. Говорят: подлодки.

Синенький (улыбается): Так это мы для непонимающих, для разных сухопутных.

К этому времени в кабинете собрались все пять командиров, человек пятнадцать — двадцать старших коммунаров. Не нашедшие места на диване стоят у дверей. «Подлодки», разместившиеся было на диване, уступая места старшим и взрослым, постепенно опускаются на ковер, окружая большой диван со всех сторон. Прежде всего им пришлось уступить место на большом диване Крейцеру, потом Трояну; Торская и Вальченко устроились у стола Захарова, недалеко от них

Блюм. Дмитриевский и Григорьев держатся особняком в самом дальнем углу.

В кабинете стало тесно.

Жученко: Ну, довольно.

Пауза.

Первый!

Клюкин: Есть.

Жученко: Второй!

Зырянский: Есть, второй.

Жученко: Третий!

Донченко: Есть.

Жученко: Четвертый!

Забегай: Четвертый непобедимый есть.

Жученко: Пятый!

Собченко: Пятый на месте.

Жученко: Голосуют командиры, члены бюро, начальник коммуны и товарищ Крейцер, а также главный инженер. Могут присутствовать и братья слово все коммунары, но предупреждаю, в особенности компанию подводных лодок, что при малейшем, знаете (улыбнулся), выставлю беспощадно.

Синенький (шепчет Воргунову): Видите, видите, какая политика?

Жученко: Объявляю заседание совета командиров открытым. Слово члену бюро комсомола товарищу Ночевной.

Ночевная: Все уже знают, в чем дело. Я коротко. Положение на заводе неважное. Проектный выпуск — пятьдесят машинок, а мы сегодня еле-еле собрали тридцать пять...

Романченко: Тридцать шесть.

Жученко: Федька...

Романченко (Воргунову и Крейцеру): Видите, какая справедливость. Ведь на самом же деле тридцать шесть. А она не знает, а берется доклад делать.

Жученко: Федька, оставь разговоры.

Воргунов: Они нас взорвут, эти подлодки.

Ночевная: Ну, хорошо, тридцать шесть. Недостатка у нас ни в чем нет, коммунары работают хорошо. Но все-таки дело как-то не вяжется, и техника нашего производства освоена слабо. Комсомол предлагает: прежде всего прекратить всякую партизанщину, вызовы коммунаров по вечерам. На всех опасных и важных участках мы предлагаем учредить коммунарские посты для изучения техники и для того, чтобы наблюдать за ходом всего дела на этом месте. Посты эти должны отвечать за свои участки наравне с администрацией. Бюро просит совет командиров провести это в жизнь начиная с завтрашнего дня.

Жученко: Кому слово?

Романченко: Мне! (*Подскочил на ковре.*)

Жученко: Ты подождешь.

Синенький: Вот видите?

Воргунов: Давай и в самом деле подождем.

Клюкин: Дай мне слово.

Жученко: Говори.

Клюкин: Я два слова. Надо решить вопрос о Григорьеве. Ленивый, неспособный и чужой для нас человек. Второе: надо, чтобы товарищ Дмитриевский объяснил, на чем основано его особое доверие к Григорьеву и особое недоверие к коммунарам?

Романченко: Это — да...

Григорьев: Мне можно?

Жученко: Говорите.

Григорьев: Я всю эту компанию понимаю. Коммунары любят, чтобы их хвалили, а я требую от них честной работы.

Общий смех.

Гедзь: Когда вы сами приходите на работу?

Романченко: А сколько раз вас товарищ Воргунов гонял?

Жученко: Федька, ну чего ты кричишь?

Григорьев: Криком и смехом не возьмете, товарищи коммунары. А воровство?

Пауза.

Почему же вы не смеетесь?

Если сейчас произвести обыск?

З а б е г а й: А кто будет обыскивать?

Г р и г о р ь е в: Вот только жаль, что обыскивать некому...

К р е й ц е р: Все воры, значит?

Г р и г о р ь е в: Я этого не говорю. Но вы предпочитаете о воровстве молчать.

Р о м а н ч е н к о: Чего молчать? Дай слово, Жучок.

Ж у ч е н к о: Подождешь.

Р о м а н ч е н к о: Так смотрите же, товарищ Григорьев: я не молчу, а поджидаю.

Ж у ч е н к о: Ты дождешься, пока я тебя выставлю. Видишь, товарищ Григорьев не кончил?

Г р и г о р ь е в: Я все-таки предлагаю обыск. Вчера у Белоконя пропали часы из кармана. За что страдает этот человек? Только повальный обыск.

Б л ю м: Так надо же пристава пригласить?

Г р и г о р ь е в: Какого пристава?

Б л ю м: Эпохи Николая второго, какого?

Ж у ч е н к о: Соломон Маркович... постойте...

Б л ю м: Я не в состоянии больше стоять... У меня тормоза испортились...

С о б ч е н к о: Дай, Жучок...

Ж у ч е н к о: Жарь.

С о б ч е н к о: Григорьев прямо нас называет ворами, и выходит так, что мы помалкиваем. Почему? Мы так молчать даже и не привыкли. Так считают: беспризорный — значит вор. Григорьев сколько здесь живет, а того и не заметил, что в коммуне нет беспризорных. Беспризорный — кто такой? Несчастный, пропадающий человек. А он не заметил, что здесь коммунары, смотрите, какое слово: коммунары, которые, может быть, честнее самого Григорьева...

Д м и т р и е в с к и й: Не позволяйте же оскорблять.

Ж у ч е н к о: Ты поосторожнее, Санчо...

С о б ч е н к о: А для чего нам осторожность? Кто это такое придумал! Таких, как Григорьев, нужно без всяких осторожностей выбрасывать. Инструменты пропадают, надо обыскивать коммунаров? Почему? А я предлагаю: что? Пропали инструменты? Обыскивать Григорьева.

Г р и г о р ь е в: Как вы смеете?

Д м и т р и е в с к и й: Это переходит всякие границы.

Ж у ч е н к о: Товарищ Собченко!

Р о м а н ч е н к о: Ух, жарко...

С о б ч е н к о: Нет, ты сообрази, Жучок, почему на всех коммунаров можно сказать «вор», устраивать повальные обыски, а на Григорьева нельзя? Мы знаем, кто такие коммунары: комсомольцы и рабфаковцы. А кто такой Григорьев? А мы и не знаем. Говорят, генеральский сын. Так если комсомольца так легко обыскивать можно, так я скажу: сына царского генерала — скорее. А возле Григорьева Белоконь. Откуда он? А черт его знает. Механик. А он долота от зубила не отличает, автомат угробил. Тут уже и товарищу Дмитриевскому ответ давать нужно: почему Белоконь, почему? А Белоконь денщик отца Григорьева. Какой запах, товарищи коммунары? Всё.

Григорьев: Откуда это? Кто вам сказал?

Блюм: Это я сказал.

Григорьев: Вы?

Блюм: Я.

Григорьев: Вы знаете моего отца?

Блюм: А как же? Встречались.

Григорьев: Где?

Блюм: Случайно встречались: на погроме в Житомире...

Дмитриевский: Такие вещи надо доказывать.

Блюм: Это я в Житомире не умел доказывать, а теперь я уже умею, к вашему сведению.

Романченко: Вот огонь, так огонь...

Жученко: Товарищи, не переговаривайтесь. Берите слово.

Зырянский: Слово мое?

Жученко: Твое.

Зырянский: Прямо говорю: Григорьеву дорога в двери. У нас ему делать нечего. Только за женщинами. Ко всем пристаёт: и уборщицы, и конторщицы, и судомойки, и учительницы, коммунарок только боится.

Ночевная: Чего там? Сегодня и меня приглашал чай пить с конфетами.

Гедзь: Молодец!

Забегай: Ого!

Шведов: Воспитательную работу ведете, товарищ Григорьев?

Синенький: А нам можно?

Жученко: Чего тебе?

Синенький: Нам можно приходить на «чай с конфетами»?

Общий смех.

Жученко: Синенький, уходи отсюда...

Крейцер: Кажется, подлодка затонула...

Романченко: А что он такое сказал?

Воргунов: Просим амнистии.

Жученко: Смотри ты мне!

Григорьев: Я не могу больше здесь находиться. Здесь не только оскорбляют, но и клеветуют.

Жученко: Ночевная сказала неправду?

Григорьев: Да.

Общий смех.

Григорьев: Я ухожу, всякому безобразию бывает предел.

Крейцер: Нет, вы останетесь.

Григорьев: Меня здесь оскорбляют.

Крейцер: Ничего, это бывает.

Романченко: Дай же мне слово.

Жученко: И чего ты, Федька, пристаешь?

Романченко: Дай мне слово, тогда увидишь.

Синенький: Зажим самокритики.

Жученко: Ну, говори...

Синенький: Вот: атака подводных лодок.

Жученко: Честное слово, я эти подводные лодки вытащу на берег.

Воргунов: Нырять скорей...

Романченко: Значит, приходим мы с Ванькой в цех. А еще и сигнала вставить не было.

Забегай: «Кейстон» смазывать?

Романченко: Угу.

Смех.

Романченко: Мы имеем право смазывать наш «шепинг»?

Забегай: А масло краденое.

Романченко: Товарищ председатель, мне мешают говорить, и потом этого... оскорбляют...

Смех.

Жученко: Да говори уже...

Романченко: Ну, вот... Только мы наладились, смотрим — тихонько так Белоконь заходит. Мы скорее за Колькин «самсон-верке» и сидим. Он это подошел к ящику, к твоему, Санчо. Оглянулся так... и давай... раз, раз... открыл и в карман. А потом к Василенку... Тоже. А ключей у него целая связка... Вот и все.

Белоконь: Врет, босяк.

Общий шум.

Собченко: Похоже на правду.

Зырянский: Это да!

Клюкин: Вот где обыск нужно!

Одарюк: Гады какие...

Крейцер: Молодец, Федька. Это, действительно, атака.

Воргунов: Тут целая эскадра может взлететь на воздух.

Синенький: Ого!

Жученко: Говорите по порядку, чего вы все кричите! Клюкину слово.

Клюкин: Мы давно об этом думали, да спасибо подлодкам, в самом деле черта поймали. Теперь все ясно: Белоконь крал и продавал инструменты, а чтобы с себя подозрение снять, подбрасывал кое-кому, вот, например, Вехову ключи.

Голос: Ага, вот, смотри ты...

Клюкин: Я предлагаю: немедленно произвести в комнате Белоконя обыск.

Шведов: А мы имеем право?

Жученко: А мы с разрешения Белоконя. Вы же разрешите?

Белоконь: Я определенно не возражаю, но только и вы права такого не имеете. Это, если каждый будет обыскивать... И я протестую против всех оскорблений...

Гедзь: Тогда можно и без разрешения.

Зырянский: Какие еще там разрешения?

Крейцер: Я имею право разрешить обыск. Сейчас же отправьте тройку. Белоконь здесь живет?

Жученко: Здесь. Я предлагаю тройку: товарищ Воргунов, Забегай и Одарюк.

Воргунов: Бросьте, чего выдумали.

Романченко: Дредноут на такое мелкое дело не подходит. Давай я!

Шведов (Воргунову): Вы будете от руководящего состава.

Воргунов: Да ну вас, есть же более молодые...

Жученко: Ну, тогда товарищ Черный. Согласны?

Голоса: Есть. Идет. Добре.

Жученко: Отправляйтесь. Командиром Забегай.

Забегай: Белоконя брать?

Белоконь: Я никуда не пойду. Я решительно протестую.

Синенький: Не трать, кумэ, сылы, та сидай на дно.

Крейцер: Идите, Белоконь, не валяйте дурака.

Четверо вышли.

Жученко: Продолжаем. Слово Шведову.

Шведов: Завтра начинают работать наши посты. Сегодня мы их выделим. Особенно важен пост по снабжению, а то Соломон Маркович часто привозит всякую дрянь.

Блюм: Меня тоже, кажется, начинают оскорблять... Как это — дрянь?

Смех.

Шведов: Привозите...

Блюм: Так надо раньше выяснить в общем и целом, что такое дрянь.

Шведов: Вальченко на вас очень жалуется. Хотя, правду сказать, и товарищу Вальченко нужно подтянуться. Он слишком много времени уделяет Надежде Николаевне.

Крейцер: Вот тебе раз...

Торская: Я его больше и на порог не пущу.

Вальченко: Собственно говоря, я...

Захаров: Молчите лучше.

Вальченко: Дайте мне слово, Жученко.

Жученко: По личному вопросу?

Вальченко: Нет.

Жученко: Пожалуйста.

Вальченко: Для нас, инженеров нашего завода, не нужно ожидать результатов обыска у Белоконя. Я говорю не только от себя, но и от Воргунова и Трояна, хотя они меня и не уполномочили. Мы всегда были уверены, что не коммунары крадут. У нас нет ни одной точки, на которой мы стояли бы против коммунаров. Развитие нашего завода для нас такое же святое дело, как и для вас. Мы такие же участники социалистического строительства, как и вы. И мы такие же энтузиасты, как и вы. Правда, Петр Петрович?

Воргунов: Вообще правда, но поменьше трогательных слов, очень прошу.

Вальченко: Но в одном отношении коммунары выше нас. У коммунаров прямее и сильнее действие. А мы иногда раздумываем и колеблемся. Я вот считаю: напрасно Петр Петрович не пошел с обыском. Я три месяца назад тоже не пошел бы. А сейчас пойду, если пошлете. Петр Петрович, это у нас остатки российской интеллигентщины...

Романченко: Это переходит всякие границы...

Синенький: Осторожнее, осторожнее...

Воргунов: Говорите, я тоже речь скажу.

Вальченко: И я заявляю: мы вместе с вами, и мы не сдадим.

Аплодисменты.

Торская: Наконец, вы экзамен выдержали...

Вальченко: Да что вы говорите? Так легко разве?

Жученко: Товарищи...

Воргунов: И я речь скажу. Вальченко, действительно, перешел всякие границы — я сам эту... интеллигентщину не выношу. Не в том дело. Дело в другом: у коммунаров коллектив, а у нас нет. У них комсомол, вот совет командиров, а у нас что? Но ничего, мы уже входим в ваш коллектив. Это очень приятно чувствовать. А если это не почувствуешь, то ничего и не поймешь в новом. Я вот очень рад, что меня уже записали в дивизион подводных лодок.

Романченко: Вы дредноут.

Воргунов: Ну, вот видите, даже дредноутом. У коммунаров мы прежде всего должны научиться прямо смотреть, прямо говорить, прямо действовать. Коммунары никогда не лгут, вот что удивительно. Даже Федька, безусловно стащивший флакон масла, даже он имеет право не считать себя преступником и с негодованием отбрасывать всякие обвинения. За него внутренняя глубокая правда: порученный ему «кейстон». Я теперь буду поступать по-федькиному, хотя, конечно, от меня не нужно запираить все флаконы с маслом. А завод наш пойдет хорошо. Это точно.

Овации. Все что-то кричат, аплодируют.

Крейцер: Молодец, теперь вы настоящий молодец.

Романченко: Так корешки не поступают...

Воргунов: Что, напутал?

Романченко: Конечно, напутали. Теперь ему масло отдавать нужно.

Воргунов: А и верно. Вот, понимаешь, какая у меня непрактическая натура. Но знаешь что? Я тебе куплю флакон масла.

Синенький: Два флакона.

Воргунов: Хорошо — два.

Забегай, Черный, Одарюк, Белоконь входят.

Жученко: Ну?

Забегай (*выкладывает на стол*): Вот всякий инструмент, вот Собченка штанген; твоя метка, Санчо? Вот ключи и отмычки, а вот... часы самого Белоконя.

Тишина.

Жученко: Что вы скажете, Белоконь?

Белоконь: Ничего не скажу.

Крейцер: С Белоконем мы будем разговаривать в другом месте. Алексей Степанович, дайте двух коммунаров, пускай отведут Белоконя по этой записке. Белоконь, скажите сейчас вот что: Григорьев знал о ваших кражах?

Белоконь: Нет.

Григорьев: Я не знал ничего, честное слово.

Крейцер: Вы все-таки ко мне зайдите, товарищ Григорьев.

Белоконь уходит с двумя коммунарками.

Жученко: Ну, что же, как будто все. Товарищ Григорьев, вы у нас работать больше не будете?

Григорьев: Нет. (*Вышел.*)

Дмитриевский: Разрешите и мне уйти. Но на прощание два слова. Я не буду оправдываться. Я попал в какую-то грязнейшую и отвратительнейшую яму. Я не могу простить себе свою слепоту и глупость. Но многого я еще и сейчас не понимаю, и у вас я работать, конечно, не могу. Все-таки вы меня многому научили. Прощайте. (*Вышел.*)

Тишина.

Синенький: И адмиральский корабль взлетел на воздух.

Смех.

Жученко: Ванька, ну что ты выстраиваешь? Слово Александру Осиповичу.

Крейцер: Все кончено, товарищи коммунары, мне и говорить нечего. Главным инженером назначаю товарища Воргунова.

Аплодисменты.

Ну вот, теперь только одного не хватает — пятидесяти машинок.

Воргунов: Ну, это пустяк...

Жученко: Всё? Еще одно маленькое дело. Нестеренко Наташа подала заявление. Да она сама скажет.

Нестеренко: Да, я виновата, я не сказала товарищам и поступила плохо. Прошу меня простить и выпустить меня как коммунарку.

Жученко: Кому слово?

Зырянский: Она поступила нехорошо. Из-за любви забыла и товарищей и дисциплину. Таких вещей прощать нельзя. Вышла замуж без...

Воргунов: Благословения родителей.

Зырянский: Что?

Воргунов: Без благословения совета командиров. За это раньше родители проклинали.

Зырянский: Проклинать не будем, а предлагаю посадить Наташу и Петра на пять часов под арест.

Романченко: Правильно.

Крейцер: Вот изверг!

Романченко: А то они все поженятся.

Воргунов: Вы кровожадные звери.

Жученко: Есть другое предложение: амнистировать, выдать приданое, как полагается выходящему коммунару. Избрать для этого комиссию: Торская, Ночевная. Голосую. Кто за это предложение, прошу поднять руки. Девять. Кто против? *(Начинает считать.)* Один, два. *(Замечает поднявших руки подлодок.)* А вы чего голосуете? Против один.

Романченко: Конечно, если нас не считать.

Воргунов: Довольно с тебя на сегодня крови...

Жученко: Всё. Список постов будет объявлен завтра. Закрываю заседание.

Шум, группы расходятся.

Забегай (Шведову): Я на пост снабжения, смотри ж...

Блюм: Значит, ко мне? Замечательно. Завтра же едем. И без победы не возвращаться. Знаете как? Со щитом или под щитом.

Захаров: Не под щитом, а на щите.

Блюм: На щите, что это значит?

Захаров: Со щитом — значит с победой, на щите — значит убит. С победой или убитый.

Блюм: На щите нам как-то не подходит, правда, товарищ Забегай? Тогда скажем просто: со щитом или с двумя щитами.

Крейцер: Где же вы другой возьмете?

Блюм: Мало разве дураков? Нужно уметь. Будут же убитые какие-нибудь?

Крейцер: Лишних щитов тоже не натаскивайте в коммуну. А то вот навезли калиброванной меди на три года. Куда это годится?

Блюм: Калиброванная медь? Первый раз слышу... Ах, да... *(Уходит.)*

Крейцер: Ну, до свидания, товарищи. Кого подвезти в город?

Троян: Нам нужно еще с ребятами посты наметить.

Все вышли. Остались Вальченко и Торская.

Торская я: Что же, пора и нам. Бой кончен.

Вальченко: Мне не хочется никуда отсюда уходить, Надежда Николаевна.

Торская я (*подходит к нему. Положила руки на его плечи, смотрит в глаза*): Милый!

Вальченко вдруг обнимает ее и целует в глаза. В дверях Зырянский.

Торская я: Ах... Алеша... Что? Без совета командиров? Алеша, а когда будет следующее заседание?

Зырянский: У вас всегда... совет командиров во вторую очередь.

Занавес

ЧЕСТЬ

Повесть

Часть 1

1

Город стоял на большой реке. По реке проходило неустанное, деловое движение, и сам город был деловой, хлопотливый, запросто-кирпичный, без претензий. Через город давно прошла железная дорога от Москвы к югу, а от нее отделилась ветка куда-то далеко к западу. И на больших — в двадцать пять путей — товарных станциях, и на широких пристанях народ суетился, измазанный, потный, пахнувший смолой и маслом. И весь город был такой же: покрытый пылью и разными деловыми остатками. Даже воробьи порхали в городских скверах и над мостовыми с злободневным, практическим чириканьем, измазанные в масло, мазут и муку.

Построен город был давно, но не имел никакой истории. Ни сражений здесь не происходило, ни осад, и ни разу за триста лет жители не имели возможности проявить какое-либо геройство или гражданское мужество. И никто не родился в городе ни из генералов, ни из писателей, ни из ученых, даже и памятника поставить было некому: не только на площадях, но и на кладбищах ничего не было замечательного. Единственное место в городе, где ощущалось некоторое веяние истории, был городской парк, насаженный будто бы самим князем Потемкиным. Парк этот очень полюбили грачи.

Грачи целыми стаями всегда клубились над парком и при этом так кричали, что и за версту от этого исторического места разговаривать было трудно. Поэтому даже влюбленные избегали бывать в городском парке, а выясняли свои отношения под акациями второстепенных улиц и на скамейках у ворот. Городской голова Пряников, прославившийся постройкой трамвая в городе, и тот ничего не мог сделать с грачами. С членом управы Магденко он нарочно отправился в парк, чтобы разобрать вопрос, но мог только пробормотать:

— Ну, что ты скажешь! Простая птица, а имеет свою линию! И какого черта им здесь нужно?

Магденко ответил:

— Эта птица не вредная. Она только кричит, а зла от нее никакого...

— Как это никакого! — воскликнул городской голова. — Смотрите, что на дорожках делается! И на ветках! Это же какие дубы? Это потемкинские дубы!

Магденко посмотрел на дубы:

— Птица не понимает, потемкинский или какой. Она не только на историческое место, она может и живому человеку на голову, если человек неосторожный. Ей все равно. А пищи для нее сколько хочешь: наш город богатый!

— А если пострелять? — спросил Пряников.

— Пострелять можно, только новые прилетят, а кроме того, «Южный голос» обязательно карикатуру нарисует.

— Пожалуй...

— А как же? Раз прогрессивная газета, она должна. Напишет: «Уничтожение пернатых» или еще хуже: «Победа городского головы Пряникова над невинными птичками».

— Да, — сказал Пряников. — А жаль, очень жаль. Природное место... Здесь ресторан можно, а там открытую сцену.

— Хорошо, — вздохнул Магденко.

— А ходить будут?

— Кто?

— Известно кто: жители.

— Кто будет, а кто и не будет.

— К Аристархову не ходили?

— Не ходили.

— Не будут ходить, — решительно сказал Магденко.

— Да почему?

— Если даром, так будут ходить, а если за деньги, ни за что не будут ходить.

— Вот черт, — сказал Пряников. — Какой народ дикий! Вот они и в трамвае не ездят. Кострома!

Народ в городе действительно одичал несколько за триста лет, а отчего это происходило, никто и не знал. В других городах, говорят, и просвещением интересуются, и в театр ходят, и в трамваях ездят, а в нашем городе только хлопчут и заботятся о пропитании. В других городах есть и промышленность, и там научились даже произносить слово «рабочий», а в нашем городе все норовили по-старому выговаривать: «мастеровой». Почтенные люди в городе даже гордились: наш город патриархальный, нравственность у нас не то, что в Питере. Несмотря на постоянную суету, больших дел в нашем городе не делали, а со стороны многие и удивлялись: чем живут горожане? Горожане и на этот вопрос отвечали с достоинством: мы-де искони торговлей славимся, у нас река, у нас сплавы лесные — святое дело. А на самом деле, бедно жили в нашем городе, с лесных пристаней ни богатства, ни просвещения не получалось... А беднее всего жили на Костроме.

Кострома расположилась по другую сторону потемкинского парка — на песчаных дешевых просторах. Почему это место называлось Костромой, никто не знал. От настоящей Костромы наш город был расположен очень далеко. Кроме того, в этом слове «Кострома» было что-то ругательное и обидное, значит, название было дано не по волжской старине, а по какому-то другому поводу.

Культурные граждане относились к Костроме с недоверием, даже полицейская собака в случае чего направлялась прямо на Кострому, не

обнюхивая следов. На Костроме не было ни мостовых, ни тротуаров, ни кирпичных домов, воду Кострома добывала из колодцев, освещалась керосином, а водку пила и закусывала больше на открытом воздухе. С другой стороны, и жители Костромы не любили города. Правда, на Костроме были свой базарик и кое-какие лавчонки. Даже река проходила к Костроме особым коленом, чтобы не смешивали ее с городом. Она не расстилалась здесь широкой гладью, а почти к самым берегам подбросила несколько зеленых и тенистых островов. Удовольствия на этих островах были бесплатные.

В центре Костромы стояло несколько заводиков. Был здесь и шпало-пропиточный железнодорожный, и уксусный, братьев Власенко, потом табачная фабрика караима Карабакчи и завод молотилок и веялок Пономарева и Сыновья. Заводы эти приклеились друг к другу темными деревянными заборами, а во все стороны смотрели широкими воротами и проходными будками. Со стороны реки к заводам подходила просторная площадь, песок на ней давно утрамбовался, площадь была укрыта приземистой цепкой травкой и пересечена в нескольких направлениях узкими пешеходными дорожками. Посреди площади стояло красное двухэтажное здание высшего начального училища, выстроенного после того, как по рабочей курии чудесным образом прошел в Государственную думу рабочий завода Пономарева — Резников. Депутат, правда, потом отправился в ссылку, но в простом разговоре жители Костромы все же называли училище резниковским.

На той же площади, с краю, Пономарев, когда вступил в кадетскую партию, построил столовую для рабочих. Некоторое время в столовой отпускались даже обеды для тех, кому далеко домой ходить обедать, но потом это дело расстроилось либо потому, что Пономарев покинул кадетскую партию, либо вследствие «некультурной» привычки рабочих приносить обед в узелках: хлеб и соленые огурцы с картошкой. В столовой Пономарев разместил контору и очень обижался на жителей, которые настойчиво продолжали называть контору столовой.

На этой же площади стояла еще и церковь — маленькая, беленькая, приятная. Вокруг церкви раскинулось зеленое кладбище. На нем и укладывали костромских жителей, когда приходила в этом надобность, но и до наступления такой надобности жители любили погулять между могилами, кто с девушкой, а кто с приятелем, с бутылкой в одном кармане и все с тем же соленым огурцом в другом.

2

До немецкой войны жизнь и в городе и на Костроме отличалась спокойствием, хотя у каждого человека были и свои хлопоты. Никто не сидел сложа руки, все мотались с утра до вечера, каждый добивался своего, что ему положено в жизни. Исаак Маркович Мендельсон добился, например, что половина пристаней на реке называлась мендельсоновскими, а Ефим Иванович Чуркин выстроил дом кофейного цвета и на фасаде дома поставил Венеру с такими подробностями, что редкий человек мог пройти мимо, не скосив глаза на чуркинский дом. Добился своего и Богатырчук — долго он был кладовщиком у Пономарева, а потом получил должность смотрителя зданий, квартиру в заводском флигеле и тридцать

рублей жалованья. И старый Муха, плотник, тоже добился. Было ему пятьдесят девять лет, когда закончил он хату на Костроме, настоящий дом под черепичной крышей, а долгу на нем Пономареву за хату осталось только триста двадцать рублей. Старый Муха так полагал, что если он сам не выплатит, то сын — тоже плотник — обязательно выплатит, как и многие другие на Костроме, которые выстроили свои хаты. Теплов Семен Максимович, например, десять лет благополучно выплачивал и жил в своей хате, а не таскался по квартирам.

До немецкой войны люди жили спокойно, и каждый считал себя хорошим человеком, а другие не сильно в этом сомневались. Хороший был человек Пономарев, а Карабакчи тоже хороший, а старый батюшка, отец Иосиф, говорил такие проповеди, что даже нищие плакали. И дети росли у людей хорошие, послушные, на рождестве ходили со звездой, на новый год «посевали» и пели при этом и поздравляли, чистыми детскими голосами Христа славили и радовали хозяев.

Правда, после 1905 г. чуточку испортилась жизнь. Новые слова появились у людей и новые повадки, старый Муха уже не казался таким хорошим, потому что его сын, плотник, во время забастовки как будто забыл, сколько отец должен Пономареву за хату, и будто бы даже выражался так:

— Не нужно платить ему, живодеру. Ничего ему никто не должен.

С того времени и в лице отца Иосифа появилось выражение скорби — и осталось на долгое время.

И выстроили потом высшее начальное училище на сто двадцать человек. Пономарев говорил по этому поводу:

— Раньше мальчишка, выучился он там или не выучился грамоте, собственно говоря, что ему нужно? Если у хорошего отца подрастает, ему четырнадцать лет, а он уже отцу помогает, смотришь, и заработал на побегушках какую пятерку. Теперь ему шестнадцать, а он в школу таскается, географию какую-то учит. И самые разумные мастера с ума посходили. И Богатырчук, и Афанасьев, и другие. А Теплов, тот даже в реальное поперся с своим сыном. Дома есть нечего, а он на реальное тратится! Ну пускай уже Теплов, всегда чудачком считался. А Пащенко, а Муха, а Котляров? Котляров! С чего живет? Плотник-упаковщик и всегда был плотником-упаковщиком! Сына отдал в это самое высшее начальное, а дочку — в гимназию. Каким-то манером добился — я, говорит, георгиевский кавалер! Заморочили людям головы. Как придет осень, все в училище. Принимают тридцать, а их триста прошения пишут. А потом ко мне: Прокофий Андреевич, возьми мальчишку на завод, пускай пока поработает. Пока!

3

Сын токаря Теплова Алексей окончил-таки реальное училище и поступил в Институт гражданских инженеров в Петербурге. Старый Теплов был человек гордый и суровый. Он и теперь не улыбался, а сказал сыну:

— Ученым будешь, а в паны нечего лезть.

Семен Максимович Теплов был одним из самых старых рабочих у Пономарева и самым лучшим токарем. Он вел строгую жизнь, не пьянствовал,

жену не бил, улыбался очень редко и считался на Костроме человеком странным. В церковь ходил только когда говел, и то строго официально: один раз на исповедь, другой раз к причастию. В церкви стоял серьезный, отчужденный и гордый, расчесав редкую бороду и крепко сжав сухие, бледные губы; крестного знамения не творил и свечей не ставил. Отец Иосиф говорил матушке:

— Старый Теплов сегодня исповедовался. Вредный старик, злой, а, однако, на исповедь всегда рубль кладет. Чудные люди, ей-богу! Пономарев — рубль, и Теплов — рубль — сравнялись! Гордость какая бесовская!

Но отец Иосиф был добрый батюшка и не преследовал Теплова за гордость. Он даже смущался немного, когда Семен Максимович, холодный и несуетливый, укладывал седую голову под потертую, но ароматную епитрахиль. И не расспрашивал старого Теплова ни о каких грехах, а старался проникновенной, но скороговорной молитвой быстрее снять их с грешника. Семен Максимович деловито прикладывался к евангелию, так же деловито и не спеша открывал кошелек и осторожно опускал на тарелку серебряный рубль. Потом подымал сухую жилистую руку, но вовсе не для крестного знамения, а для того, чтобы разгладить седые усы, приведенные в беспорядок во время церемонии. Отец Иосиф косо поглядывал на старого токаря и незаметно вздыхал. Он хорошо помнил, что к старому Теплову с молитвой лучше не заходить, — не пустит.

После причастия Семен Максимович негодующим жестом отмахивался от диаконовского красного плата для вытирания губ верующих и от серебряной чаши для запивания, не задерживался в храме до конца службы, а уходил домой, спокойно перемежая шагом суковатой палки шаги длинных ревматических ног. А дома отвечал жене на поздравление с причастием:

— Накорми, мать, как следует, а то на одном причастии не проживешь. Есть у тебя скромное что-нибудь?

— Семен Максимович! Как же можно скромное? Только что причастился и опять гресишь!

— Ничего, мать, лучше сразу, чего там откладывать!

— Семен Максимович, бог-то видит...

— Соображай, мать! Чего он там видит? Есть у него время за мной шпионить!

Станный и самостоятельный был человек Семен Максимович и сына отдал в реальное училище, наверное, на зло Пономареву, у которого сына из реального училища уволили за неспособность. Говорил тогда Алешке:

— Реальное не для нас строили, а ты покажи им. Принесешь четверку... лучше не носи! Пятерки. Понимаешь?

Очень ясно выражался Семен Максимович, а Алешка от роду был понятливый. Так и прошел Алексей реальное на пятерках, ни разу не огорчив отца. И Алешке, и Семену Максимовичу трудно было протащить семилетний «реальный» курс. Семен Максимович еще много долгу не выплатил Пономареву за хату, и бывали такие дни, когда тихонько говорил Семен Максимович жене:

— Сократи, мать, разные сладости, — за правоучение платить нужно.

— Да какие же у нас сладости, Семен Максимович?

— Все равно сократи. Картошку давай.

И учебники покупал Семен Максимович самые старые, и форму доставал с чужого плеча, и за все семь лет ни разу не дал сыну на завтрак. Но такой уж был у него характер, ни разу не говорил с сыном о нужде, а сын ни разу не спросил. В старших классах стало легче, находились уроки, а кроме того, сочинения писал Алексей гимназисткам, больше всего о тургеневских героях, по рублю за сочинение.

Алешка был славный мальчик: высокий, круглолицый, румяный, с большими серыми глазами. И хотя учился он в реальном училище один на всю Кострому, а дружил исключительно со своими костромскими сверстниками, большею частью учениками высшего начального училища. В этом училище собралась хорошая и дружная компания. По образованию не было для этих ребят соперников на Костроме, старшее поколение не пошло дальше трехлетки, да и то — немногие. В одном выпуске много у Алексея было друзей детства, тех самых, с которыми он в свое время и с гор спускался, и рыбу ловил, и Христа славил. Лучшим другом Алексея в этом выпуске был Павел Варавва, сын пономаревского заводского сторожа. И старик Варавва и сын были люди невыносимо черной масти, у Павла даже и лицо было какое-то негритянское, только волосы не курчавились, а всегда торчком стояли на его голове. Конечно, в училище Павла дразнили цыганом. Когда Алеша поступил в институт, Павел уже работал у Пономарева помощником ремонтного слесаря.

Вместе с Вараввой окончили высшее начальное училище хорошие и веселые хлопцы: и Сергей Богатырчук, и Дмитрий Афанасьев, и Филька Пащенко, и Колька Котляров. Некоторые из них, как Филька и Колька, сразу пошли на завод, другие захотели чистой работы — кто устроился табельщиком, кто конторщиком, а Сергей Богатырчук пристроился к бродячему цирку, кого-то положил там на обе лопатки, да так и пошел гулять с цирком, сначала борцом, а потом наездником.

4

Приехал на каникулы Алешка Теплов, и неожиданно появился на улице Сергей Богатырчук: у него вышли какие-то неприятности с директором цирка, и он решил навестить родителей. Многим девушкам на Костроме очень нравился Сергей Богатырчук и высоким ростом, и могучей шеей, и коричневой курткой со шнурами, но Сергей заглядывался на Таню Котлярову, на которую заглядывались и все остальные молодые люди. Таня только что окончила гимназию в городе. Давно уже не было на Костроме такой красавицы. Даже Семен Максимович Теплов, встретив однажды Таню, когда возвращался с работы, остановился и сказал:

— А ну, постой! Ты это откуда такая? Котлярова, что ли?

Таня тогда была в последнем классе. Она наклонила голову и прошептала:

— Котлярова. Здравствуйте, Семен Максимович!

— Ха! — сказал Семен Максимович. — Здорово! Только не забудь, что плотника дочка, а не какой-нибудь свиньи, — стукнул суковатой палкой о землю и зашагал дальше. А Таня долго еще смотрела ему вслед и думала над его словами.

У Тани были яркие голубые глаза, а брови и ресницы — черные. Прозрачные коричневые тени были положены на веках, и все лицо у Тани было нежное и смуглое, даже чуть раздвоенный подбородок.

В это лето многие добивались Таниного благосклонного взгляда. Но Танин взгляд с одинаковым дружеским вниманием бродил по лицам молодых людей и очень часто останавливался на них с непонятной иронией.

Хата Котляровых недалеко стояла от хаты Семена Максимовича, и все детство Алешка провел в обществе детей плотника-упаковщика. Колька Котляров был нрава тихого и скучного, зато Таня никому из мальчишек не уступала ни в одной игре. В то время никто из друзей не думал, что наступает в жизни время любви, что люди бывают красивые и некрасивые, что это обстоятельство имеет некоторое значение. А когда Алешка влюбился в Таню, между ними уже не было первой детской близости, и приходилось ему начинать дружбу сначала. И вот этой новой дружбе почему-то мешали и иронический блеск Таниных голубых глаз, и толпа влюбленных юношей, и неуверенность в себе. Была середина июля. Алеша с Богатырчуком только что выплыли на лодке из-под зеленых навесов острова: увидел Алеша, сидевший на руле, проходившую по берегу группу девушек.

— Сергей, хочешь посмотреть на Таню?

— Разве? Где?

— Обернись.

Обернулся Сергей, а до берега сажен двадцать. Сергей сказал:

— Ну давай, давай же к берегу!

— Да ведь ты гребешь, а не я. Ну и давай!

В руках у Сергея два весла, и руки работают, да только весла над водой даром ходят. Алексей засмеялся и закричал:

— Таня, подожди, Сергей на тебя посмотреть хочет!

Таня отделилась от девушек, стала на влажном песке у самой воды, а розовая ситцевая юбка под теплым ветром прижалась к Таниному колену, только край юбки все вырывается и вырывается. Богатырчук бросил весла, прыгнул на берег, лодка завертелась на месте.

— Вот еще дурень, — сказал Алеша и гребнул своим веслом, направляя лодку, но глаз не спускал с берега — важно было посмотреть, как Таня встретит Богатырчука, самого красивого человека на Костроме.

Богатырчук стоял на берегу, его щегольские сапоги погружались в мокрый песок, а он смотрел на Таню и отдышаться не мог не то от сильного прыжка, не то от голубого сияния Таниных глаз.

— Здравствуй, Сергей, — сказала Таня. Ее тонкая талия, перехваченная узким пояском юбки, чуть-чуть шевельнулась в еле заметном поклоне, может быть, даже немножко шутливым. — А где твоя куртка?

— Какая куртка? — спросил Богатырчук и сразу поглупел в несколько раз.

— Да ведь у тебя одна куртка: со шнурками! Очень красивая.

Алексею понравился этот разговор. Но Таня и на него ни разу не взглянула. Поэтому Алексей спросил с иронией:

— Откуда ты знаешь, сколько у Сергея курток?

Но Таня и теперь не оглянулась на Алексея, а ждала, что скажет Богатырчук. Сергей, наверное, и не собирался отвечать, а все смотрел и смотрел на улыбающееся Танино лицо.

— Ну, довольно, — сказал Алеша, приткнувшись к берегу. — Посмотрел, и поедem дальше.

Богатырчук растерянно оглянулся на лодку, потом радостно мотнул головой:

— Черт его знает... как ты... того!

Таня бросила быстрый взгляд на Сергея и вдруг предложила, присматриваясь к Алеше с деловым вниманием:

— Вылезай, Алеша, пойдem с нами.

— Нет, Таня, расчета нет.

— Какой там расчет? Вылезай, проводите нас.

— Нема расчета, — повторил Алеша, завертел головой, не глядя на Таню.

— Ты сегодня какой-то... скуластый.

— Это я от злости. Сергей, марш в лодку!

Богатырчук вытащил одну ногу из песка, посмотрел на нее, потом посмотрел на Таню и взмолился:

— Таня, он надо мной власть имеет: дал ему слово до вечера плавать. А у тебя добрая душа, садись к нам в лодку. Мы тебя довезем, куда нужно...

— У Тани нет времени с нами болтать, — Алеша развел руками в лодке, — вон ее компания стоит.

— А отчего? — спросил Богатырчук и высоко поднял брови.

У Тани жалобно вздрогнули ресницы:

— Ты в самом деле сегодня злой. Отчего это? А?

— Это? Это... от солнца. Жаркое очень солнце.

Богатырчук вытащил и вторую ногу и решительно взмахнул кулаком:

— Ну, и похорошела же ты недопустимо! Что это такое?

Таня засмеялась легко и радостно, вдруг наклонилась к коленям, удерживая стремящуюся вверх юбку, и посмотрела на Богатырчука с любопытством.

— Взвыл! — сказал Алеша. — Хватит с тебя! Полезай на свое место!

Богатырчук повел плечами, выпрямился и прыгнул в лодку, но и в лодке немедленно повернулся к Тане: он не мог оторваться от ее голубых глаз, от ее темно-русой косы, от ее розовой юбки.

— Бери весла! — резко приказал Алексей.

Сергей обалдел как будто.

— Бери весла, — повторила Таня с тихой ласковой убедительностью.

Алексей круто занес весло за корму, и лодка быстро наметила носом путь к острову. Таня крикнула весело:

— Знаешь, Сережа, а без шнурков тебе гораздо лучше!

Алексей сидел теперь спиной к Тане. Он не хотел больше ее видеть. И удивился, когда услышал свое имя:

— Алеша, мне нужно с тобой поговорить. Приходи вечером к столовой.

Алеша быстро оглянулся. Таня догоняла девушек и на бегу приветствовала его рукой.

Богатырчук тоже смотрел на Таню. А потом сказал Алексею:

- Видишь?
- Нет, не вижу, — ответил Алексей серьезно.
- Ну и я не вижу, — вздохнул Богатырчук и взялся за весла.

5

В это лето в помещении бывшей столовой открылся «Иллюзион» — кинематограф. При входе в столовую повисли два ослепительных фонаря. Электрическую энергию предоставил Пономарев с своего завода. Содержатель «Иллюзиона», приезжий, веселый человек со странной фамилией Убийбатько, то сам сидел в кассе, то усаживал жену, толстую и сердитую даму. Он сам веселым голосом, а жена злым голосом отвечали покупателям в одной и той же форме:

— Не можем дешевле, господа, у нас не городская электрика, а госпоина Пономарева.

И многие господа отходили от кассы, не имея возможности получить иное удовлетворение, кроме такого ответа. Но электрика отражалась отрицательно и на самом Убийбатько: только по субботам в «Иллюзионе» набиралось порядочно публики, потому что в субботний вечер многие старики приходили с женами смотреть погоню за вором или смешные приключения Макса Линдера. В другие же дни господ зрителей набиралось меньше половины зала, а остальные места заполнялись костромскими мальчишками, умевшими с энергией не менее титанической, чем энергия Макса Линдера, преодолевать и строгость контроля, и неудобство пономаревской электроэнергии.

И все-таки «Иллюзион» супругов Убийбатько имел на Костроме большое просветительное значение, главным образом в смысле буквальном: указанные выше ослепительные фонари ярко освещали довольно приятную площадку: на ней еще кадетом Пономаревым были посажены деревья и поставлены деревянные диванчики. Когда-то все это предназначалось для уставших рабочих, ожидающих обеда. Теперь на диванчиках располагалась костромская молодежь, по разным соображениям предпочитавшая свежий воздух фракам и визиткам кинематографических героев. Преддверие «Иллюзиона» обратилось в маленький костромской клуб. Убийбатько с негодованием смотрел на это бесплатное использование электроэнергии и обращался к публике:

— Господа, надо купить билеты и смотреть картину, а здесь нечего сидеть даром.

Но такое обращение не имело успеха у сидящих на диванчиках, и в дальнейшем Убийбатько ограничивался тем, что тушил фонари, когда начинался сеанс.

На диванчике сидели Алеша, Таня и ее брат Николай Котляров, тоже голубоглазый, но совсем некрасивый юноша с бледным веснушчатым лицом. Николай заглядывал в лицо Алеши и говорил жидким, нежным тенором:

— Идем, Алеша, не ломайся.

Таня смотрела на Алешу любопытным взглядом вкось, как будто исподтишка. Алексей склонился к коленям и задумчиво поглядывал на кусты

желтой акации. Из-за кустов вышли Павел Варавва и Богатырчук. Павел сказал:

— Алеша ни за что не пойдет за чужой счет. Что ты его уговариваешь?

— А я пойду, — веселым басом произнес Богатырчук. — Пойду за счет Цыгана — и ничего. Спасибо ему говорить не буду. Он помощник слесаря, у него денег много.

— Перед кем ты гордишься? — обратился Павел к Алеше. — Перед товарищами? Дурень ты, хоть и студент. Какая честь тебе в том: сидишь и надуваешься!

Алеша поднял голову, свет упал на его лицо. Оно было еще по-юношески румяным и круглым, но на скулах уже начинали играть тени мужества, а на лбу падала к переносью резкая и острая складка. Алеша с усилием, вкось посмотрел на Павла:

— Тебе хочется в «Иллюзион»?

— А что же? Хочется. А тебе не хочется?

— Не хочется.

— А скажи, твой институт называется императорским?

— Мой институт не называется императорским.

— Так чего же ты?

— Я ничего...

— Идем, — решительно сказал Павел и тронул Алешу за плечо.

— Отстань!

— Идем, уже впускают.

За кустами акаций на главной дорожке проходили головы и картузы посетителей «Иллюзиона». Алексей поднялся со скамьи, неожиданно выпрямил высокое, ловкое тело и потянулся, положив руки на затылок.

— Идите, я вам не мешаю.

— Раз ты не идешь, значит, и я должен тут торчать, — пробурчал недовольно Павел.

— Да ну вас к черту! — сказал Богатырчук. — Пригласил, а теперь назад? Ты меня из дому вытащил? Какое ты имел право, уважаемый?

— На тебе сорок копеек, и ступай один.

Богатырчук взял сорок копеек, подбросил их на ладони и грустно ухмыльнулся красивым ртом:

— Подлецы! Вы думаете, у меня действительно никакой чести нет? Подлецы вы после этого! На твои сорок копеек!

Он с размаху опрокинул ладонь на протянутую руку Павла.

— Убирайся! Богатырчук может принять приглашение товарища, а подачек не принимает. Если даже его пригласит Колька Котляров, этот беднейший из пролетариата Костромы, Богатырчук примет приглашение.

Колька Котляров сказал без всякого выражения:

— Я тебя не приглашаю.

— Почему?

— Не хочу.

— Нет, почему?

— Сказать?

— Скажи.

— Принципиально.

Колька стоял перед Сергеем мелкий, нескладный, ничего не унасле-

довавший от плотника Ивана Котлярова: ни сажженных плеч, ни коренас-
тости, ни буйной шевелюры, но сквозь плохонькую оболочку ясно был
виден его принципиальный дух. Павел пошевелил руками в карманах
и сделал шаг к Николаю:

— Интересно!

Одна Таня осталась на диване и спокойно играла пушистым кончиком
косы на коленях. Колька под горячим взглядом Павла поежился, но не
улыбнулся, отвел глаза к фонарям и сказал негромко:

— Да чего говорить! Ты спроси у него, почему он не работает?

— Ха! — засмеялся Богатырчук и повалился на диван рядом с Таней. —
Старая песня. Меня даже не раздражает. Дома папаша с мамашей талды-
чат, теперь Колька прибавился. Черт бы вас побрал, почему вы отца
Иосифа на помощь не позовете?

— Нет, ты все-таки отвечай, — сурово произнес Павел. — Он тебе
в глаза сказал, и ты в глаза.

— Знаешь что? Дома я читал «Три мушкетера». Знаешь, до чего ин-
тересно! Пришел ты, Цыган. Идем да идем! Пожалуйста! А вы мораль
тут развели, труженики! Настойчиво требую, веди меня в этот самый
«Иллюзион». Требую выполнения обязательств.

— Хорошо, выполню обязательство, а только скажи, почему ты не
работаешь?

Богатырчук протянул руку по спинке дивана сзади Тани, и Таня немед-
ленно выпрямилась, все так же теребя кончик косы.

— Скажу. Алешка и так знает. Скажу. Но все-таки нет справедливости.
Алексей тоже не работает, однако ты его тащил в «Иллюзион»? Тащил,
Колька?

— Тащил, так разница: Алешка студент, он работает, только ничего
не получает. А с какой стати я буду тебя водить, когда ты нарочно не
работаешь?

— Ну, хорошо. Почему я не работаю? Не хочу. Не хочу работать
на Пономарева. Не хочу жить в этой самой Костроме. Здесь живут
рабы Пономарева и Карабакчи. Ты сколько получаешь, помощник сле-
саря?

— В этом месяце заработал семнадцать, — хмуро ответил Павел,
не глядя на Сергея.

— Семнадцать. А ты сколько, Колька?

— Не в том дело, а ты дальше говори. На кого ты хочешь работать?

— Ни на кого.

— Как это у тебя выйдет?

— Как-нибудь выйдет. Опять в цирк пойду.

— Балда! — сказал Павел. — А в цирке ты на кого будешь работать?
Все равно на хозяина.

— В цирке не так, детки. В цирке я работаю для людей. И вижу
людей. Вы этого не знаете. Когда выскочишь на арену на Цезаре... свет
какой! Глаза какие! Да что вы понимаете?

— Чьи глаза? — тихо спросила Таня.

— Всекие глаза: и у людей, и у Цезаря. Какие красавицы смотрят,
улыбаются. Да и не только красавицы!

— И что? — так же тихо спросила Таня.

— Он себе шею свернет на Цезаре, а хозяин все равно в карман тысячи положит, — тоскливо протянул Николай.

Сергей вскочил. Он стал против Николая, взмахнул кулаком и этим движением как будто сбросил с себя богатырское свое добродушие:

— Наплевать мне на хозяина! Когда я на арене, хозяин — мой лакей, понимаешь? Он смотрит мне в глаза и дрожит. Я тогда артист. Ты знаешь, что такое артист? Знаешь?

— А за что тебя хозяин выгнал, Сережа?

Богатырчук не ожидал нападения с этой стороны. Он повернул к Алексею тяжелую голову:

— За что?

Алексей стоял у кустов акации и заканчивал перочинным ножиком пищик. Он поднял глаза на Сергея, вложил пищик в рот и вдруг запищал на нем оглушительно и комично-жалобно, а потом спросил, перекосив губы в ехидной гримасе:

— Да. За что?

Павел взмахнул руками и захохотал. И Николай с застенчивой улыбкой отвернулся к фонарю. Улыбнулась и Таня, присматриваясь к Алеше.

Богатырчук оглянулся:

— Выгнал? Не выгнал, а...

— Уволил, — серьезно закончил Павел.

Сергей осторожно сел на диван. Таня смотрела на него с интересом.

— Все-таки за что, Сережа? — ласково спросила она.

— За грубость, — тихо ответил Сергей и улыбнулся ей печальными глазами.

Таня задержала на нем внимательный, почти материнский взгляд, поднялась с дивана, перебросила косу назад и сказала решительно:

— Хватит! Идем в театр, все! Слышишь, Алеша?

Алексей увидел ее нахмуренные брови и протянул руку к Павлу:

— Павлушка, одолжи сорок копеек до завтра.

6

По дороге домой Алеша и Таня отстали. Таня спросила:

— Неужели ты из гордости не пошел в «Иллюзион» за Колин счет?

— Не из гордости, Таня, а из бедности.

— Это все равно.

— Нет, не все равно. Если у меня были бы деньги, я мог бы пойти за их счет.

— А где ты возьмешь отдать Павлу сорок копеек?

— У отца.

— Ты у него много берешь денег?

— Нет, почти что не беру, вот разве на дорогу теперь придется взять.

— А как же ты живешь в Петербурге?

— Зарабатываю.

— Много зарабатываешь?

— Уроками много нельзя заработать. Очень дешево платят.

— А сколько платят?

— Если репетировать какого-нибудь отсталого — пять рублей в месяц.

— А сколько тебе нужно в месяц?

- Мне нужно самое меньшее тридцать рублей.
- Для чего?
- Квартира, стол, учебники, ну, конечно, баня, бритье, кое-что починить, в театр нужно.
- А если без бритья, значит, дешевле?
- На бритье полтинник можно скинуть. Таня, почему ты сказала, чтобы я пришел сегодня к столовой?
- Я просто хотела побыть с тобой.
- Почему?
- Как почему? Мне с тобой хотелось побыть вместе. А как же ты зарабатываешь тридцать рублей? Неужели шесть уроков?
- Ну, три, четыре урока.
- Значит, не выходит тридцать рублей?
- Никогда не выходит. Все-таки, если человек хочет видеть другого, у него есть какие-нибудь причины.
- Причины? Конечно, есть... — Таня лукаво глянула на Алешу. — А как же так, без причины?
- А какие у тебя причины?
- И причины есть, и все есть, — произнесла Таня задумчиво. Алексей наклонился к ней, заглядывая в лицо. Она подняла глаза:
- Все-таки, как же ты живешь, если ты не зарабатываешь?
- По-разному живу. Если не хватает, — значит, за квартиру не плачу, живу, живу, пока выгонят, — вот и экономия.
- Или не обедаешь?
- Это самое легкое — не обедать. Обедать вообще редко приходится, больше чай и булка. Но бывает, урок достанешь за обед. Это самое лучшее с экономической стороны, но только обидно как-то. Я не люблю.
- А почему ты у отца не берешь?
- Да у отца нету. Он еще Пономареву должен. Но он иногда присылает. Это... последнее дело — получать от него деньги.
- Ты чересчур гордый, Алеша.
- Нет. Какой же я гордый, если все спрашиваю и спрашиваю: почему ты захотела быть со мной?
- А почему тебе так интересно?
- А как ты думаешь?
- Ты воображаешь, что влюблен в меня, да?
- Алеша и на темной улице покраснел и испугался:
- Нет... как ты сказала...
- Значит, ты не воображаешь?
- Я ничего не воображаю.
- Вот и хорошо. А я уже думала, что и ты влюбился.
- Ты что ж так плохо говоришь о любви?
- Чем же плохо?
- Ты никого не любишь? Никого?
- Нет, одного человека люблю, но держу в секрете.
- Почему?
- Я хочу учиться. Если полюбить и сказать, замуж выйти, значит... ну, обыкновенная костромская история.
- Если любишь — вместе хорошо!

- Я боюсь — вместе!
- Почему?
- Я, Алеша, боюсь женской доли. Я буду искать другое. Ты не думай, что я ничего не знаю. Я все знаю.
- И ты удержишься, не скажешь?
- Чего не скажу?
- А вот... тому человеку... про любовь?
- Конечно, не скажу.
- И долго?
- Пока не кончу медицинское отделение. Я потому тебя и спрашиваю все.
- Ага... так поэтому ты меня и просила прийти?
- И поэтому.
- А скажи, разве любимый человек не мог бы помочь тебе учиться? Таня улыбнулась в темноте, но улыбка слышалась и в голосе:
- Как же он поможет? Он... тоже... очень бедный. А скажи, Алеша, я достану уроки в Петербурге?
- Ты в Петербурге будешь учиться?
- Да.
- Значит, вместе? — Алеша обрадовался, как ребенок.
- Ну, да. В одном городе.
- Я тебе помогу найти уроки.
- Спасибо.
- Тот учится или работает?
- Кто?
- Которого ты любишь?
- А потом спросишь, на какую букву начинается его имя? Да?
- Спрошу.
- А потом, какая вторая буква?
- Нет, я и по первой догадаюсь. Скажи.
- Да для чего тебе, ты же не влюблен в меня?
- А может, и влюблен...
- Да ведь ты сказал...
- Я ничего не говорил...
- Ты сказал, что ты ничего не воображаешь...
- Можно просто любить, а не воображать.
- Алеша, сколько стоит билет до Петербурга?
- Дорого: восемнадцать рублей.
- Ой, как дорого!
- Таня... неужели ты не скажешь, ты должна по дружбе, по старой дружбе...
- Что сказать?
- Кого ты любишь?
- Алеша, ты все об этом? Мне никого не хочется любить. Ты такой гордый человек, неужели ты не понимаешь: разве можно любить, если тебе на обед не хватает? Это оскорбительно.

Алеша опустил голову, очень многие подробности его студенческой жизни, подробности ежедневных мелких обид, голодной бессильной жизни вдруг пришли в голову. Снова подступил к сердцу невыносимый вопрос,

мучивший его все лето: как взять у отца восемнадцать рублей на дорогу? И еще более трудный: как попросить у отца сорок копеек, чтобы отдать Павлуше?

7

Доктор Петр Павлович Остробородько давно заведовал земской больницей, расположившейся на краю города, но усадьбу купил поближе к центру — широкий многокомнатный дом, окруженный верандами, цветниками, садом.

Не только в нашем городе, но и в других городах Петр Павлович считался врачом-чародеем. Петр Павлович добросовестно поддерживал свою медицинскую славу хитрыми рецептами, золотым пенсне и умными разговорами. Честно служила славе и небольшая бородка Петра Павловича, делавшая его похожим на самого Муромцева, председателя Первой Государственной думы. Может быть, и в самом деле Петр Павлович был талантливым врачом, но несомненно, что это был человек общественный и богатый. Богатств его, правда, никто не считал, но никто не жил в нашем городе так широко и красиво.

В доме Остробородько всегда собирался цвет городской молодежи, привлекаемый сюда не столько славой Петра Павловича, сколько гостеприимством и красотой его дочери Нины Петровны. Нина Петровна была уже помолвлена с сыном отца Иосифа — Виктором Троицким, но это обстоятельство почему-то никто всерьез не принимал. Нина была красива: высокая, нежная, медлительная, всегда ласково-задумчивая и приветливо-сдержанная.

Брат ее, Борис Петрович, студент Петербургского технологического института, считался человеком глупым, и этой славе не мешали ни его красота, ни веселый нрав, ни общая симпатия, его окружающая. Еще в реальном училище товарищи считали долгом чести вывозить Борю во время экзаменов, а в технологическом институте прямо с его зачетной книжкой ходили к профессорам и сдавали за Борю зачеты, не столько, впрочем, из чувства дружбы, сколько из мальчишеской любви к студенческим анекдотам.

На веранде Остробородько собралась большая компания. Говорили исключительно о надвигающейся войне. Городской врач, кругленький и остроглазый человек, Василий Васильевич Карнаухов, называемый в городе чаще просто Васюней, ораторствовал воодушевленно:

— Уверяю вас честным словом — демонстрация! Что вы шутите? Франция и Россия! Немцы еще не сошли с ума. Вы думаете, они рискнут из-за какого-то там Эльзаса? Или, вы думаете, им очень жалко этого самого Франца-Фердинанда? Мы своей силы не знаем, а немцы знают. Это не девятьсот четвертый год! Великая Россия! Великая Россия, господа!

Борис стоял против группы женщин, обрывал чайную розу и очень ловко бросал ее лепестки в прически дам. Дамы встряхивали головами, улыбались красивому Борису и старались внимательно слушать Васюню. Продолжая игру, Борис говорил:

— Австрийцы что? А вот пруссаки нам зададут, зададут, зададут... После каждого слова Борис бросал новый лепесток.

У барьера веранды стоял и смотрел в сад широкоплечий, лобастый жених Нины — Виктор Осипович Троицкий. Он сомкнул тонкие губы,

и было видно, что он одинаково презирает и тех, кто боится немцев, и тех, кто не боится. Белый китель следователя, золотые пуговицы с накладными «зерцалами», бархатные петлицы, белые красивые руки — все отдавало у Виктора Осиповича мужской серьезностью.

— Виктор, будет война? — крикнул Петр Павлович с другого конца веранды. — Будет или не будет? Мне твое слово нужно, я этим вертопрахам не верю.

Троицкий обратился к будущему тестю:

— Я не пророк, Петр Павлович, я пока только следователь.

— Говорите, следователь, не ломайтесь, — сказала одна из дам.

— В таком случае будет, — ответил Троицкий, круто повернувшись к обществу.

— И победная?

— Надеюсь. Мужики не подведут. Вот... пролетарии...

— Подведут, — закричал Борис и бросил остаток чайной розы к дамским ножкам.

Все засмеялись. Петр Павлович, сидя в качалке, замахал руками на Троицкого:

— Брось, брось! Никто не подведет! Да вот же и представитель пролетариата. Алексей Семенович, успокойте, голубчик, старика.

Алексей редко бывал в этом доме, сегодня затащил его Борис на правах однокашника. Алешке всегда казалось, что здесь слишком высокомерно относятся к его бедности. Но иногда и тянуло попасть в этот барский уют, в среду красивых женщин и хороших настроений. Приятно было ощущать близость Нины.

Сегодня Алеше не нравился разговор, и он хотел уйти, но Нина оставила всех остальных гостей, поставила перед ним стакан чаю и печенье, села рядом:

— Уйдете, всю жизнь буду обижаться!

И Алексей сидел и смотрел в стакан, стесняясь своей ситцевой косоворотки. Вопрос Петра Павловича застал его неподготовленным, он покраснел. Борис закричал:

— Пролетариат подумает!

Следователь один не смеялся и строго смотрел на Алешу:

— Интересно!

Алеша сказал:

— Почему вас интересует пролетариат? А командиры?

Троицкий ответил ему, почти не раздвигая сухих холодных губ:

— Командиры меня тоже интересуют. Но в вопросе о командирах вы, вероятно, менее компетентны.

— То есть в каком смысле командиры? В каком смысле? — Петр Павлович заерзал в качалке. — Офицерский корпус?

— О, нет! — Троицкий расправил плечи. — Офицерский корпус у нас великолепен. Вы согласны, господин Теплов?

Алексей пожал плечами.

— Не согласны?

Алексей смотрел на Троицкого серьезно, но его губы проделали ряд упражнений, которые в любой момент могли перейти в улыбку:

— Я думаю, что наши офицеры... умеют умирать.

— Благодарю вас, — насмешливо сказал следователь.

— Ну, и прекрасно! А чего тебе еще нужно? — радостно закричал Борис.

— Какой ты все-таки... повеса, — укоризненно проговорил Петр Павлович. — Что ты говоришь?

Борис с таким же выражением радостного оживления воззрелся на отца, но отец забыл о нем и внимательно обратился к Алеше:

— О, вы не так просто ответили, Алексей Семенович! В ваших словах есть, знаете, такой привкус: вы говорите, умирать умеют, а дальше? Чего они не умеют?

— Я боюсь, что они не умеют побеждать.

— Вы прелесть! — прошептала Нина.

— Вот, вот! — Петр Павлович подскочил в качалке. — Ты слышишь, Виктор?

— Слышу. Только господин Теплов ошибается или... хочет ошибиться. Офицеры умеют и побеждать.

Петр Павлович решительно откачнулся назад и покачал головой:

— Да-а! Если вспомнить прошлую войну, прогноз насчет «побеждать» слабоватый выходит.

Троицкий застегнул верхнюю пуговицу кителя:

— В неудачах японской войны виноват не офицерский корпус, а... вы знаете, кто.

— Двор?

— Не двор, а правительство; впрочем, пускай и двор.

— А Куропаткин, Стессель, Рождественский? Паршивые стратеги.

— Найдутся и хорошие. Во всяком случае, я рад, что господин Теплов признал за офицерами способность умирать. Это очень хорошая способность. У многих ее не бывает.

— Я бы предпочел все-таки, чтобы у офицеров была и способность руководить армией, — сказал Алеша медленно и улыбнулся.

— Как это вы важно говорите: я бы предпочел. Кто вы такой?

Алеша поднялся за столом и одернул рубашку.

— Кто такой я? Если разрешите, — я гражданин той самой великой России, о которой говорил Василий Васильевич.

— Здорово ответил! — закричал Борис. — Честное слово, здорово!

Петр Павлович засмеялся в лицо следователю.

— Срезали следователя, а главное, не ответили насчет пролетариата...

Троицкий нахмурил брови:

— Я надеюсь, и на этот вопрос господин Теплов ответит с таким же достоинством, тем более, я повторяю, что в этом вопросе он более компетентен.

Алеша решил уходить. Он пожал руку Нине, но она задержала его руку и подняла к нему глаза.

— Отвечайте, отвечайте, — сказала она чуть слышно.

У Алеши вдруг стало светло на душе от этой маленькой ласки, и он сказал, подойдя к следователю:

— Виктор Осипович, вы помните забастовку тысяча девятьсот пятого года?

— К чему это? — гордо спросил следователь.

— Пролетариат — это очень большая сила, гораздо, гораздо больше, чем вам кажется.

— Ну?

— Я думаю, что пролетариат не удовлетворится командирами, которые умеют только красиво умирать. Этого будет мало.

Троицкий прищурился:

— И что он сделает с ними?

— Я не пророк, я только студент.

— И я студент, — закричал Борис, — но я предсказываю: будут большие неприятности.

Все засмеялись. Петр Павлович с осуждением посмотрел на сына, пожал руку Алеше и сказал:

— Будем надеяться на лучшее, Алексей Семенович.

Нина спустилась в сад рядом с Алешей. Он с удивлением и радостью поглядывал на нее, она молчала, склонив красивую белокурую голову.

— Я незаслуженно пользовался сегодня вашим вниманием, Нина Петровна. Я страшно вам благодарен.

— Приходите чаще, — сказала негромко Нина. — Хорошо?

8

Возвращался Алеша на Кострому около десяти часов вечера. В конце прямой улицы горели огни вокзала, а за ними потухали последние пожары заката. От заката протянулись по небу неряшливые космы облачных следов — ленивой метлой подметал кто-то сегодня небеса.

По узким кирпичным тротуарам пробегала обычная вечерняя толпа. Люди спешили к домам, уставшие, без толку суетливые, без нужды разговорчивые. Трамваи ковыляли с такой же излишней торопливостью и скрывались в неразборчивой перспективе улицы, а их грохот тонул в еще более оглушительном перекате подвод, передвигавшихся где-то ближе к вокзалу. Из этого сложного, надоедливого шума как-то случайно и незаметно возник более настойчивый, высокий и упорядоченный звук. С резким треском, подскакивая колесами на булыжниках, проехал извозчик и уничтожил этот звук, но силуэт извозчика был еще хорошо виден, а из-за него уже вырвался строгий и сухой, уверенный барабанный бой. Через несколько секунд он покрыл шум улицы. Люди на тротуарах сбились к краям, заглядывая в даль улицы.

В последних, пыльных сумерках поперек улицы легла однообразно темная полоса, а над ней косою штриховкой расчертился потухающий закат. Кто-то спросил рядом:

— Чего это? Солдаты?

— А кому же больше? Да много, смотри!

— Караул, что ли?

— А кто их разберет, может, и караул.

Молодой парень вытянул голову и крикнул:

— Гляди: музыка, а не играет!

— Ну? Музыка? — спросил сзади голос.

— Да, музыка, смотри!

Всмотрелся и Алеша. Он уже видел бледные пятна барабанов и дви-

жения рук барабанщиков. Они быстро выплывали из сумерек и проявились на фоне темной массы. Один из них, идущий крайним, далеко отбрасывал правую палочку и красивым ловким жестом снова бросал ее на барабан — казалось, что это он один выделяет правильную и дробную россыпь, а другие только поддакивают ему дружными звонкими точками. За барабанщиком шел оркестр, спокойно покачивая раструбами бледно-серебряных труб.

Алексей выдвинулся вперед на мостовую. Крайний барабанщик прошел мимо него, чуть задев его рубаху кончиком палочки. Музыканты оркестра шли вразвалку и поглядывали по сторонам. Глаза Алеши вдруг увидели чуть-чуть искривленный ножик: он ходил взад и вперед над тусклым золотом прямого аккуратного погона. Алексей, наконец, разобрал, что это офицер с обнаженной шашкой. Рядом с ним солдат, а потом снова офицер и снова с шашкой. Солдат до самой мостовой вытянул из-под руки длинное древко, над головой солдата выпрямился в небо узкий сверток. Алеша догадался: это знамя в чехле, вверху оно поблескивало и курчавилось каким-то металлическим орнаментом. За знаменем снова рябенький пояс офицера и грациозные шаги узких сапог, послушные барабанному маршу. А потом бесконечные ряды однообразно-незнакомых лиц, серьезных, с напряженными скулами, шеренги скошенных бескозырок и прижатых к груди прикладов. Лица и груди быстро проплывали, крепко утвержденные на гулкой, усыпляющей череде ударов тяжелых сапог по мостовой. Потом еще офицер и снова ряды прижатых прикладов и чуть скошенных бескозырок над темными неподвижными лицами.

На тротуаре за линией зрителей кто-то спешил куда-то, бросался к плечам смотрящих, снова спешил вперед. Кто-то вскрикнул громко:

— Да что такое? Да ведь это Прянский полк!

— Какой там Прянский? Чего врешь?

Загалдело несколько голосов:

— Конечно, прянцы!

— Чего ору! Чего ору! Ты понимаешь, в чем дело?

— Уже понял: Прянский полк!

Близкие рассмеялись.

— Дурак ты: из лагерей ведь...

— Рассказывай: чего это в июле из лагерей?

— Что?

— Из лагерей! Вот так дела! А ну, постой! Скажи, милый, из лагерей?

Проходящий мимо солдат бросил быстрый взгляд на тротуар:

— А откуда же? Из лагерей.

Бесцеремонный локоть оттолкнул Алешу в сторону и метнулся за солдатом:

— Походом, что ли?

Солдат ничего не ответил, но идущий за ним вдруг улыбнулся широкой, деревенской улыбкой:

— Некогда походом. Поездом.

— Некогда?

На тротуаре задвигались, зашумели сильнее. На Алексея надвинулся чей-то большой нос:

— Вы понимаете? Вы понимаете, к чему?

Алексей заглянул через барьер сдвинутых плеч. В тесном кругу стоял полный кондуктор с жгутами на плечах, смотрел то на одного, то на другого из слушателей и говорил одними губами, не изменяя набитого мясом лица:

— Тридцать поездов! Тридцать! Через двадцать минут поезд за поездом. И товарные стоят, и пассажирские! На нашей станции два курьерских застряло!

Алексей обошел толпу и направился к вокзалу. Полк еще проходил, но барабанов уже не было слышно, и раздавался только стук сапог, то мерный и согласный, то перебиваемый каким-то соседним ритмом. Кто-то высокий пошел рядом с Алексеем и сказал, ища сочувствия:

— Ну, если полк из лагерей пригнали, — значит, все ясно.

— Что?

— Говорю, все ясно: завтра мобилизация!

Алексей не ответил, а высокий продолжал:

— Вам оно не светит и не греет — вы молодой еще, а мне вот жарко стало.

— Вы запасный?

— В запасе. Слово такое, как будто спокойное: запасный, а на самом деле в первую очередь.

Высокий отошел и, отходя, сказал как будто про себя:

— Ах ты, господи, господи!

Алексей свернул в поперечную улицу. Здесь было тише и меньше людей, но впереди грохотало тяжело и упорно, снова стояла толпа, и над ней проходили какие-то тени. Алеша прибавил шагу. По Александровской улице двигалась артиллерия — пушки чередовались с конскими парами. Далеко впереди что-то крикнули, и там застучало быстрее, волна учащенного грохота покатила оттуда все ближе и ближе. И ближайšie лошади вдруг пошли рысью, а за ними загремела по мостовой, уткнув хобот в землю, молчаливая пушка. Этот быстрый бег орудий, сопровождаемый легким и веселым звоном подков, еще долго проносился мимо толпы. Обгоняя движение, сбоку быстрым аллюром, видно, на хороших лошадях, проскакали по улице два офицера. Один из них, молодой, что-то кричал товарищу и смеялся.

Алеша проводил их легкий, стремительный бег завистливым, взволнованным взглядом. Где-то далеко, за несчитанным рядом дней и ночей, зашевелились враги; здесь, в городе, еще мирно живут люди, а эти уже понеслись вперед, уж бьют барабаны, и уже готовы они идти на защиту... кого? Моей страны, великой России? Черт его знает, великой или не великой, но... моей России.

Алексей выбрался из толпы и побрел через пустынную площадь к городскому парку. Хотелось очень долго думать о России. Почему-то вдруг показалось ему, что до сих пор он непростительно мало думал о ней. Сейчас в словах «моя Россия» было что-то радостно-горячее, но в то же время непривычное, родившееся как будто только сейчас.

Алеша полузакрыв глаза и представил себе: Россия! Неясные, бесформенные межи океанов, сибирских пустынь, среднеазиатских песков. Это там, черт его знает где, но здесь все равно она — Россия? Какая она?

Широкий Невский, памятники, каналы, торжественные повороты улиц — столица, настоящая столица! Высокие аудитории института и родное радостное студенчество. Русское! И русские профессорские глаза, то старчески-мудрые, но научно-холодные, то придирчиво-вредные. Все равно. Все равно или нет? Все равно русские.

Но, может быть, и не это? Вот это: поля, поля, серые группы изб и... бороды, и лапти, пыльные сапоги на скамьях третьего класса, вонь и теснота, матерная ругань...

Алеша остановился посреди темной площади, подумал и сказал вслух: — Нет!

Он оглянулся назад и прислушался. Еще доносился грохот артиллерии, и он вспомнил ее сосредоточенно тяжелое движение, бег офицерских коней, палочку барабанщика и боевое знамя Прянского полка в чехле, охраняемое шпагами офицеров. Почему офицеров? Почему не солдаты охраняют знамя? Чушь, несет знамя все равно солдат. Да, это Прянский полк. Алексей вспомнил защиту Малахова кургана. И на Шипке замерзал Прянский полк, замерзал, но не отступил. Прянский полк, — что это такое? Чередование проходящих и уходящих русских людей, умирающих, замерзающих, защищающихся штыками... это уже несомненная Россия, тут ничего не скажешь. Это прекрасная, моя Россия, тысячу лет защищающая свои...

— Лапти, — как будто подсказал кто-то.

И в этот момент подошли к воображению не исторические дали прошлого, не перспективы Петербурга, не просторы русских равнин, а близкие, бедные улицы Костромы, сухие утопанные дорожки, жидкие акации и скромные люди. Он с явной душевной болью вспомнил вчерашний разговор с Таней, ее «русскую» тоску, и ему вдруг так жаль стало Россию, что он не вспомнил даже о своей любви к Тане. А рядом с Таней почему-то настойчиво рисовалась такая счастливая, нежная и такая далекая Нина Петровна, уже отданная этому сухому и тщеславному следователю. И отец — токарь Теплов. Отца эксплуатирует красномордый Пономарев, пошлейший, истасканный, обычный тип русского промышленника — русского все-таки, вот в чем дело. Своего, значит! И он — русский! И его защищать? С какой стати! Почему? И в Петербурге нескладная фигура Николая второго, и блестящие плечи и лысины двора, блестящее великолепие ничтожеств, правящих «моей» Россией.

И все-таки... И все-таки миллионы русских людей и тысячи лет истории, и Пушкин, и Толстой, и великие пространства нищеты, и институт, и девушки, — все равно моя Россия! И пусть Алеше сейчас предложат сделаться гражданином богатой Франции или прекрасной Италии, пусть предложат ему дворцы и богатства — Алеша не променяет России на это. Он почувствовал снова радостное и горячее волнение и снова позабывал ушедшим в темноту военным людям, их мужественной тревоге. Это настоящие люди, и как прекрасно быть сейчас с ними.

9

На центральных улицах кучки охотников ходили с портретами, пели и кричали «ура». А на тех же улицах, почти на каждом квартале, строились и рассчитывались новые роты. По тротуарам глазели мальчишки

и прохаживались прапорщики запаса в новеньких погонах. А люди менее воинственные жалась к домам и хмуро и молчаливо о чем-то думали. А когда расходились, толковали о войне и с удивлением произносили непривычно-ненужные слова: немцы, французы, Вильгельм. Находились знатоки, которые вспоминали что-то о славянах, щеголяли словами «Сараево», «Франц-Фердинанд». Знатоков выслушивали с такой миной, с какой привыкли слушать охотничьи рассказы, а потом снова думали про себя, стараясь разрешить непосильный вопрос: при чем здесь немцы, при чем здесь человеческие жизни?

На улице встретил Алеша Виктора Осиповича Троицкого под руку с невестой. Он был очень хорош в военном костюме, туго перетянут ремнями, а шашка висела на его боку с особенно строгой готовностью. Троицкий холодно козырнул, но Нина протянула руку Алеше:

— Алексей Семенович, приходите вечером к нам. Сегодня мы чествуем отъезжающих прынцев. Приходите.

Алеша поклонился и с большей симпатией посмотрел на Троицкого. Троицкий улыбнулся:

— Надо проводить. Даже если вы настаиваете на том, что мы умеем только умирать.

— Я... от всей души желаю вам победы, — сказал Алеша.

— Это благородно с вашей стороны, — с нарочитой холодностью сказал Троицкий.

— Почему благородно? Ведь я тоже русский?

— Конечно, конечно! Честь имею!

Троицкий приложил к новой фуражке руку и немедленно подставил ее Нине Петровне. Нина склонила голову и через погон жениха еще раз взглянула на Алешу серьезным глубоким взглядом.

Кто-то произнес рядом:

— Японцев лихо победили! Видно, народу много лишнего стало!

Алеша оглянулся: парень в темной рубахе насмешливо глянул на Алешу, повел плечом и сказал соседу:

— Благородные господа!

Сергей Богатырчук пошел на войну добровольцем. Он пришел на Кострому в военном костюме, его погоны были обшиты пестреньким жгутом — Таня сказала ему весело:

— Ты не можешь без шнурков?

На зеленом кладбище друзья расположились вокруг полудюжины пива, и теперь даже Алеша не протестовал против того, что Павел и Николай так много истратили денег. Павел Варавва лежал на траве и говорил:

— А хитрый этот Сергей, он-таки устроился без хозяина. Только тебя обязательно офицером сделают, ты обязательно золотые погоны заработаешь, ты храбрый!

— А что же? Ты думаешь, я хуже этих... барчуков.

— Чего хуже? — сказал Павел. — Так и нужно. Ты должен быть офицером. Нам свои командиры потом... пригодятся.

— Когда пригодятся? — спросил Алеша.

— Да... вообще... могут пригодиться!

Богатырчук сгреб Павла в объятия:

— Люблю этого Павла! Он свою линию всегда гнет! Ты на меня рассчитывай, Павло, — я не подведу.

— Я и рассчитываю.

— А немцев все-таки бить будем?

— Я согласен бить всякую дрянь, от Вильгельма до... — ответил Алеша за Павла.

— Пономарева, — закончил Сергей.

Павел захохотал, лежа на траве и задрал ноги:

— Пономареву теперь повезло. С войной ему отсрочка...

— Ну, это как сказать...

— Довольно вам, — сказала Таня, — пустые разговоры!

— Почему пустые? — спросил Николай.

— Так, пустые, за пивом. Не люблю! Сережа, ты постарайся, чтобы тебя не сильно попортили на войне.

— Э, нет, я стараться в таком смысле не буду, что ты!

— Ну для меня.

— А что мне за это будет?

— Если вернешься целым, я тебя поцелую.

— Идет! Все слышали? Значит, вернусь в целости, такими поцелуями нельзя пренебрегать...

Потом полки ушли к вокзалу. С площади они тронулись под гром музыки, офицеры шли впереди своих частей, держали ногу и косились на солдатские ряды. А потом солдаты запели песню, горластую и вовсе не воинственную:

Пойдем, Дуня, во лесок...

Теперь офицеры шли уже по тротуарам, окруженные грустными женщинами, улыбались и шутили. Когда солдаты допели до рискованного места, капитан крикнул высоким радостным тенором:

— Отставить!

Солдаты поправили винтовки на плечах и ухмыльнулись на веселого капитана.

А потом полки запаковали в вагоны, сделали это аккуратно, по-хозяйски, так же аккуратно проиграли марш, свистнули, и вот уже на станции нет ничего особенного, стоят пустые составы, ползают старые маневровые паровозы, из окна аппаратной выглядывает усатый дежурный и присматривается к проходящим девицам. Провожающие побрели домой. Через немощеную площадь к селам и хуторам быстро побежали женщины и девушки в новых платках, ботинки повесили через плечи — ботинки еще пригодятся в жизни. По кирпичным тротуарам потекли домой говорливые потоки людей, среди них потерялись покрасневшие глаза жен и сестер и склоненные головы матерей. Матери спешили домой, спешили мелкими шажками слабых ног и смотрели на ямки и щербины тротуаров, чтобы не упасть.

— Проводили? — спросил Семен Максимович Теплов, когда сын возвратился с вокзала.

— Проводили, — ответил Алеша.

— Здорово бабы кричали?

— Нет, тихонько.

— Поехали воевать, значит... Напрасно на немцев поехали. Надо было на турок.

— А что нам турки сделали?

Семен Максимович редко улыбался, но сейчас провел рукой по усам, чтобы скрыть улыбку.

— На турок надо было: война с турками легче — смотришь, и победили бы.

— И немцев победят.

— На немцев кишка тонка, потому царь плохой. С таким царем нельзя на немцев. У них царь с какими усам, а наш на маляра Кустикова похож. Сидел бы уж тихо, нестуляка.

Нестулякой называл Семен Максимович всякого неловкого, неудачливого человека.

Алексей с удивлением посматривал на старика. Чего это он так сегодня разговорился? Обыкновенно он не тратил лишних слов, да еще с сыном. С матерью он иногда беседовал на разные темы, но и то, когда сына дома не было. А сейчас он обращался именно к Алексею: мать стояла у печи и, поджав губы, серьезно слушала беседу. Семен Максимович сидел у накрытого белой клеенкой стола, поставил локоть на подоконник и слегка подпер голову. Его прямые, привыкшие к металлу темные пальцы торчали среди редких прядей седых волос.

— Не годится наш царь для войны. Он за что ни возьмется, так и нагадит. С японцами воевал, нагадил, конституцию хотел сделать, тоже нагадил. Вот и маляр Кустиков такой.

Семен Максимович снял руку с головы, захватил пальцами усы и бороду, потянул все книзу и крикнул:

— Да. Я к тому говорю, что и тебе воевать придется.

— А может, еще и не придется.

— Придется, слушай, что я говорю! Я лучше тебя понимаю в этих делах. Наши туда полезли, раздразнят немца, а куда бежать? Сюда побегут. Будь покоен, и тебя позовут в солдаты.

Мать неловко повернулась у печки, загремела упавшим половником, наклонилась поднять, а потом побрела в сени, легонько спотыкнувшись на пороге.

Семен Максимович проводил ее взглядом и еле заметно подмигнул:

— Пошла глаза сушить. Эк, какой народ сырой! Да, ты на всякий случай не очень располагайся в тылу сидеть. В думках своих нужно подготавливаться.

— Сами же вы говорите: царь плохой.

— Что ты за балбес, а еще студент! Плохая баба, бывает, плохой каши наварит, а есть все равно приходится. Никто к соседу не ходит хорошую кашу есть.

Алексей улыбнулся:

— Плохую бабу можно и выгнать.

— Нечего зубы скалить, когда я говорю, — строго и холодно произнес Семен Максимович. — Выгнать! Вы мастера такие слова говорить. А почему до сих пор не выгнали? Кишка тонка. А он сидит над нами, хоть бы царь, а то идиот какой-то. Одного выгонишь, другой такой же сядет — все они одинаковы.

Алексей присел к столу и склонился к коленям отца, тронул их пальцем:

— Ты на меня не сердись, отец, я тоже кое-что понимаю. Можно царя выгнать, а на его место нового не нужно.

— Один черт! Не царь, так Пономарев сядет, нашего брата не выберут президентом. Ну... что ж... а на войну позовут — идти придется.

— А кого защищать?

— Тут не в защите дело. Погнали народ, и ты пойдешь, а там видно будет. В погребке не спрячешься. Да и кто его знает, как война повернется. Вон с японцами совсем паскудно вышло, а народ все-таки глаза открыл, виднее стало, что наверху делается.

Семен Максимович задумался, глядя в окно, потом сказал, не поворачивая головы:

— Ну, все. Через три дня поедешь? Может, тебя, там, в Петербурге, и в солдаты возьмут. Все может быть. На дорогу я тебе двадцать рублей приготовил. А там проживешь без помощи?

— Проживу.

— Ну и хорошо. А может, когда и вышлю пятерку.

11

Накануне отъезда, перед самым вечером, пришли к Алексею Таня и Павел. Алексей был во дворе, по поручению отца чинил сруб колодца. Он увидел гостей в калитке и пошел навстречу, как был в дырявых брюках и с пилой в руках.

— Таня! Ты ошиблась: здесь живет бедный токарь и его сын — бедный студент.

Таня серьезно пожалала Алеше руку и ответила:

— Не балуй. Мы по серьезному делу.

Павел держался сзади, был в рабочей измазанной блузе, как всегда — без пояса и как всегда — руки в карманах.

— Идем в хату, раз по серьезному делу.

— Да чего в хату, вот у вас садик и столик.

Под вишнями у круглого столика сели они, напряженные, не привыкшие еще решать дела в своем обществе, но и забывшие уже привычки детских игр. Таня причесана была небрежно, на ее голову сейчас же упал и запутался в волосах узенький, желтый листик. Сегодня она была еще прекраснее, но в то же время и проще, и роднее. Старенькая ситцевая блузка, заштопанная во многих местах, была обшита по краю высокого воротничка узеньким, сморщенным кружевцем, его наивные петельки трогательно белели на нежной и смуглой Таниной шее. Таня, пожимая

пальцы собственной руки, для храбрости глянула на серьезного Павла и протянула руку на столе к Алексею.

— Мы к тебе посоветоваться. Хорошо?

Она снова быстро глянула на Павла. Алеше стало даже жарко от зависти.

— Слушай, вот какое дело. Только ты, пожалуйста, ничего не подумай такого. Павел... да ты же знаешь Павла... Ты же знаешь... он такой замечательный человек, ой я не могу...

Таня положила голову на руки и застыла в позе изнеможения. На что уж черное лицо было у Павла, но и оно теперь покраснело. Он встал, вытащил руки из карманов, оперся на край стола и заговорил хрипло и глухо, глядя на Танин затылок, на то самое место, где начиналась ее богатая коса:

— Понимаешь, Таня... ты же обещала... что без фокусов. Черт бы вас побрал... все-таки баба! Я тебе сколько раз говорил: это дело, притом взаимное, а теперь — замечательный, замечательный! Да ну вас совсем!

Он хотел уйти. Таня ухватила его руку, с силой усадила на скамью:

— Не нервничай! Ничего в тебе нет замечательного. И не воображай.

Павел, ища сочувствия, посмотрел на Алешу и повел плечами:

— Ты понимаешь что-нибудь?

— Пока ничего не понимаю, — ответил Алексей, прислушиваясь к нараставшей внутри него тревоге.

— Ну, хорошо, — сказала Таня. — Дело! Именно дело! Алексей должен решить. Ты у нас будешь, как судья. Только беспристрастно. Слушай, Алеша!

Поглядывая то на одного, то на другого серьезным взглядом, в котором сквозили легкие остатки лукавства, Таня объяснила, в чем дело:

— Я еду в Петербург учиться. Не перебивай, Алеша. Прощение и документы отправила давно. Принимают меня без экзамена — медалистка. На медицинское. Да. Не перебивай. Но у меня нет денег. И на дорогу нет. И заплатить за лекции. И жить. Я тебе, Алеша, все рассказывала. Ты сказал: нужно тридцать рублей в месяц. Ну, допустим, если экономить, не тридцать, а двадцать. А я не знаю еще, сколько мне удастся заработать там... в Петербурге. Десять рублей в месяц будет мне давать Николай, а Павел говорит, что и он будет давать десять. Ему очень трудно, он сам зарабатывает десять.

— Не десять, а семнадцать.

— Ну, все равно... десять. А ты, Алеша, скажи, будь настоящим другом. Можно взять у Павла или нельзя? Как ты скажешь, так и будет. Ой, насилу все сказала!

Алеша не мог опомниться от сообщения Тани и не мог оторваться взглядом от недовольной, расстроенной физиономии Павла. Наконец, Павел свирепо мотнул на Алешу взъерошенной своей головой:

— Чего ты прицепился? Чего ты вытаращился? Что тут такого?

Тогда и Таня посмотрела на Павла с таким любопытством, как будто только сейчас выяснилось, что Павел действительно представляет собой нечто замечательное.

— С вами нельзя дело иметь... Вы... просто... черт его знает!

Павел оскалил белые зубы и по-настоящему злился.

— Он — дикий, — сказал Алеша. — У него добрая душа, но он дикий. Я бы на твоём месте не брал у него денег из-за его дикости.

— Алеша, говори серьёзно.

— Да что же тут говорить? Я не знаю, на каких условиях он предлагает тебе помощь. Если без отдачи — брать нельзя.

— Почему? — спросил Павел.

— Я не взял бы.

— Почему?

— Это слишком... это должно... слишком большую благодарность. Слишком большую.

— Какая благодарность? Я ей даю деньги сейчас, а сам буду готовиться на аттестат зрелости. Пока она выучится, я подготавливаю. Тогда она мне будет помогать.

— А если не подготовишься?

— Тогда она отдаст мне деньгами, когда будет доктором.

— Это не выйдет.

— Неужели не выйдет, Алеша? — Таня жалобно смотрела на Алексея.

— Давайте говорить серьёзно. Снаружи здесь все кажется просто. Он тебе поможет, а потом ты ему. Правда? На самом деле, ничего такого простого нет. Эту услугу нельзя мерять рублями. На аттестат зрелости Павел не подготовится, и вообще ваши планы могут легко рухнуть. Началась война, а что потом будет, никто не скажет. Вообще деньги можно брать, но ответить такой же услугой, может быть, Тане и не придется.

— Все равно.

— Извини, пожалуйста. Не все равно.

— Значит, ты против? — сказала Таня.

— Алексей путает. Такого наговорил. А это обыкновенное денежное дело. Дело — и больше ничего.

— Если так, так вам и мой совет не нужен. А я считаю, что такие вещи не коммерческая сделка. Такие вещи бывают, если — любовь.

— Вон ты куда загнул, — протянул Павел и покраснел.

— Чего загнул? Что ты любишь Таню, я не сомневаюсь...

— Какого ты черта! — закричал Павел. — Ты не имеешь права так говорить! Если нужно, так я сам скажу!

Павел смотрел на Алешу гневным взглядом, и у него дрожали губы.

— А почему же ты не сказал?

— Дальше! — сказала Таня серьёзно и строго.

— Дальше? Деньги можно взять, если и ты любишь Павла.

— Вот сукин сын! — прошипел Павел. Но боялся смотреть на Таню и замолчал отвернувшись.

Таня сидела тихо, рассматривала какие-то царапинки на столе. Потом подняла глаза на Алешу, встретила его суровый, тревожный взгляд и тихо спросила:

— Значит, любовь нельзя оставить в сторонке?

— Нельзя.

— Спасибо, Алеша. Ты — настоящий Соломон. Ты очень мудро сказал. Значит... Павлуша... я еще подумаю, хорошо?

Павел пожал плечами. Алексей спросил печально:

— А ты, Павел, почему меня не благодаришь?

Павел зло улыбнулся:

— Зачем тебя благодарить? Ведь ты тоже любишь Таню.

Таня бросила на Павла убийственный жестокий взгляд, который немедленно усадил его на скамью, и обратила к Алексею внимательное, холодное лицо. Алеша побледнел, и его губы что-то выделывали, какую-то гримасу презрения, а может быть, и страдания. Он, наконец, улыбнулся и даже склонился к Тане с веселой галантностью:

— Обрати внимание: «тоже»! Весьма знаменательное словечко. Это, во-первых. А во-вторых, ты ошибаешься, Павел. Я никогда и не воображал, что могу полюбить Таню, она об этом знает, иначе не выбрала бы меня судьей в таком трудном вопросе. И вообще, пусть призрак влюбленного Теплова не смущает ваши сердца.

— Ну, хорошо, довольно шутить, — улыбнулась Таня. — До свиданья, Алеша.

12

Таня уехала в Петербург вместе с Алешей. Накануне она сказала Алеше:

— Я приняла помощь Павла, только это вовсе не подтверждает твоих глупости, которые ты тогда говорил в садике.

— Неужели ты и не сказала Павлу правду?

— Какую правду?

— Что ты его любишь.

— Такая правда не нужна. Я не согласна с тобой, что помощь нужно принять только, если любишь. Это все чепуха. Я ему тоже помогу... потом. У тебя слишком большая гордость. Я не такая гордая.

— Значит, ты не любишь Павла?

— Отстань. Значит, завтра на вокзале.

— Хорошо.

На вокзале Алексей на прощанье сказал Павлу:

— Ты помнишь того разбойника Варавву, которого распяли рядом с Иисусом Христом? Какие тогда были Вараввы и какие теперь Вараввы!

Павел грустно улыбнулся:

— И тогдашние Вараввы не могли учиться в институтах, и теперешние не могут.

— Дай руку, — приказала Таня.

— Что такое? На.

Таня взглянула на линии руки Павла Вараввы и сказала весело:

— Какая у тебя счастливая рука! Как тебя любят и какой ты будешь богатый и образованный!

— Я подожду, — ответил Павел.

Он остался на перроне одинокий и печальный. Пыльный поезд увез на север последние лирические дни того исторического лета.

Многие в то лето уехали из города, уехали многие и из Костромы. Доктор Васюня нацепил узенькие белые погоны военного врача и уехал на Кавказский фронт. Брат Тани, Николай Котляров, и Дмитрий Афанасьев пошли в армию по досрочному призыву. Богатырчук сначала писал костромским девушкам о победах в Галиции, а потом прислал карточки, на которых был снят в форме юнкера. Только Павел Варавва не пошел на войну: все металлисты завода Пономарева были оставлены для оборонной работы.

И прав оказался Семен Максимович Теплов. Уже в феврале прямо из института отправили Алешу в военное училище в Петрограде. В то же военное училище попал и Борис Остробородько.

Война прошла несколько стадий. Они быстро сменяли одна другую и забывались. Прошли дни непривычной и волнующей тревоги, короткие, очень короткие дни галицийского наступления и Перемышля.

В десяти коротких строчках, без комментариев и повторений, без подробностей и чувств, пришло известие о разгроме и гибели армии Самсонова. И после этого начался длинный, однообразный и безнадежный позор. Это было невыносимо безотрадное время, наполненное терпением и страданиями без смысла. Война тяжелой, неотвязной былью легла на дни и ночи людей, былью привычной, одинаковой вчера, сегодня и завтра. Дни проходили без страсти, и люди умирали без подвига, уже не думая о том, кто прав, немцы или французы, не хотелось уже думать о том, чего хотят немцы или французы, как будто не подлежало сомнению, что разумных желаний не осталось у человечества.

Иногда у людей просыпалось старое представление о России и немедленно потухало в неразборчивом месиве из названий брошенных врагу крепостей, из имен ненавистных и презираемых исторических деятелей, из картин глупого и отвратительного фарса, разыгрываемого в Петрограде. К старому представлению о России присоединялась новая, чрезвычайно странная и в то же время убедительная мысль: и хорошо, что бьют царских генералов, и хорошо, что нет удачи ненавистным, надоевшим правителям.

За эти годы много совершилось горестных событий в жизни людей.

А на Костроме было как будто тихо. По-прежнему дымили заводики Пономарева и Карабакчи. По-прежнему костромские жители утром проходили на работу, а вечером с работы, по-прежнему горели ослепительные фонари у столовой, и, как и раньше, некому было пополнить убытки у предприимчивого Убийбатько.

Тихо плакали на Костроме матери в своих одиноких уголках, ожидая прихода самого радостного и самого ужасного гостя того времени — почтальона, ожидали, не зная, что он принесет: письмо от сына или письмо от ротного командира. Иногда переживания матерей становились определеннее — это тогда, когда приезжал сын, искалеченный или израненный, но живой, и матери не знали, радоваться ли тому, что хоть немного осталось от сына, или плакать при виде того, как мало осталось. Матери в эти дни научились и радоваться, и скорбеть одновременно.

Летом приехал из военного училища в погонах прапорщика и в новом

френче Алексей Теплов. Два дня он погостил у стариков. Мать смотрела на сына удивленно, с отчаянием и могла только спрашивать:

— Алеша, куда же ты едешь? Куда ты едешь? В бой?

Больше она ничего не могла говорить и потому, что ничего больше не выговаривалось, и потому, что боялась Семена Максимовича.

А Семен Максимович помалкивал и делал такой вид, как будто ничего особенного не случилось. Семен Максимович очень много работы нашел у себя во дворе и каждый вечер возился то у колодца, то у ворот, то сбивал что-нибудь, то разбивал, и в каждом деле ходил суровый, и молчаливый, и даже не хмурился и не кричал, забивая гвоздь или раскалывая полено.

А когда уезжал Алексей на фронт, отец вышел во двор, холодно миновал взглядом неудержимые, хоть и тихие слезы жены, позволил Алексею поцеловать себя и только в этот момент улыбнулся необыкновенной и прекрасной улыбкой, которую сын видел первый раз в жизни.

— Ну, поезжай! — сказал Семен Максимович. — Когда приедешь?

Алексей ответил весело, с такой же искренней, и простой, и благодарной улыбкой:

— Не знаю точно, отец. Может быть, через полгода.

— Ну, хорошо, приезжай через полгода. Только обязательно с георгием. Все-таки серебряная штука.

И Семен Максимович обратился к матери и сказал ей серьезно:

— Хорошего сына вырастили мы с тобой, мать. Умеет ответить как следует.

И мать улыбнулась отцу сквозь слезы, потому что действительно хорошего сына провожала она на войну.

На вокзале провожали Алексея Павел и Таня. Павел крепко пожал руку товарища и сказал:

— Только одно прошу: вернись оттуда человеком.

Таня улыбалась Алексею мужественно, но глаза у нее были печальные, и она все оглядывалась и сдвигала брови. А потом, когда ударил третий звонок, она сказала с горячим смятением:

— Дай я тебя поцелую, Алеша!

Павел выбежал из вагона, а Таня не прощальным поцелуем поцеловала друга, а с жадным размахом закинула руки на его шею и прижалась к его губам дрожащими горячими губами, потом глянула ему в глаза и шепнула:

— Помни: я тебя люблю!

14

И снова побежали скучные и тревожные костромские дни — однообразные, как пустыня, и бедственные, как крушение. Уже перестали люди мечтать о мире и перестали говорить о поражениях.

Так проходили месяц за месяцем.

В начале зимы, когда уже крепко зацепились морозы за декабрьский короткий день, привезли в город Алешу. В здании женской гимназии разместился специальный госпиталь для контуженых. На его крылечко и выходил погуливать Алеша.

Ему недавно вынули осколок снаряда из-под колена, и он довка дрыгал перевязанной ногой, высоко занося костыли из простой сосны. С ним рядом сидели на крылечке, ходили по тротуару, кричали и смеялись контуженные.

У Алеши сейчас счастливое детское лицо, но иногда его взгляд останавливается и с напряжением упирается в противоположные дома улицы, что-то старается вспомнить. К нему нарочно выходит и приглядывается молодая пухленькая женщина-врач Надежда Леонидовна, бессильно оглядывается на других больных и говорит:

— Что мне с ним делать?

Алеша, опираясь на костыли, двигает плечами, топчется на одной ноге, смеется и с усилием говорит:

— Аббба!

Надежда Леонидовна со слезами смотрит на веселое лицо Алеши, на вздрагивающую мелко и быстро голову, на потертый, изодранный халат:

— Милый, что мне с вами делать?

Подходит небритый, рыжий больной в таком же халате и помогает врачу, как умеет:

— Поручик! Сообразите! Черт его знает! Смеется!

Алеша и на него смотрит с улыбкой, но соображает только о чем-то радостном и детском. Он не слышит человеческих слов, он не узнает своего города, он не помнит своей фамилии. Только в одной области он что-то знает и о чем-то помнит. Каждое утро он рассматривает свой старый коричневый френч и на нем защитные погоны, на которых одна настоящая звездочка и две намазанные чернильным карандашом. С такой же любовью он рассматривает и шашку, совершенно новую, с золотым эфесом, с георгиевским черно-желтым темляком. Он счастливо улыбается, глядя на шашку, и любовно говорит:

— Абба!

И потом с особенной силой и улыбкой:

— Табба!

У него есть память о чем-то и какая-то веселая забота. Он радовался и прыгал на костылях, когда Надежда Леонидовна принесла в палату зачищенный и отглаженный его френч с новыми золотыми погонями поручика, но ничего, кроме «табба», он и тут не сказал.

Только через две недели, в воскресенье, Павел Варавва, проходя мимо бывшей гимназии, узнал Алешу и бросился к нему:

— Алексей! Алеша, это ты?

Алеша быстро повернулся на костылях и серьезно, внимательно посмотрел на Павла, засмеялся детским своим смехом:

— Абба!

Его голова мелко дрожала, но он не замечал этого дрожания. Склонив голову к поднятым на костылях плечам, он с детским радостным любопытством смотрел на Павла. Павел нахмурил брови, его начинало обижать это безразличное любопытство:

— Алексей, что с тобой? Ты ранен? Чего ты смеешься?

У Алеши в глазах вдруг пробежала мгновенная больная тревога. Он весь сосредоточился в остром беспокойном внимании, его лицо сразу побледнело, голова задрожала сильнее. Он неловко повернулся на

костылях, беспомощно оглянулся по улице и застонал что-то неразборчивое и энергичное. Павел, наконец, догадался, что Алеша не может говорить, и обнял его за плечи:

— Алеша! Это я — Павел! Павел Варавва! Ты узнаешь меня?

Алеша успокоился и затих, но не мог оторвать взгляда от лица Павла, смотрел на него, о чем-то долго и туго думал. Потом он грустно улыбнулся и поник головой, прошептал:

— Табба!

Павел быстро смахнул набежавшую слезу и побежал в госпиталь. Алексей поднял голову, спотыкаясь, повернулся и с хлопотливой торопливостью заковылял за Павлом.

В большой пустой комнате Павел уговаривал Надежду Леонидовну:

— Да. Его отец здесь живет. И мать.

Алексей остановился и улыбнулся врачу. По Павлу скользнул прежним напряженным взглядом и отвернулся, видимо отгоняя какие-то неясные и мучительные образы. Надежда Леонидовна глянула на Алешу с любопытным состраданием:

— Он вас не узнал?

Алеша выслушал ее вопрос, затоптался на костылях, снова мельком взглянул на Павла и зашагал к окну.

У окна он остановился, и его неподвижный взгляд замер на какой-то точке на улице. Павел ответил:

— Не знаю. Кажется, он начал узнавать, а потом забыл. Это можно вылечить?

— Я надеюсь, что это пройдет. Вы его хороший товарищ? Друг? Это очень плохо, что он вас не узнал...

— Скажите, можно к нему отца или мать?..

— Я боюсь, что он и отца не узнает. Здесь, видите ли, больница. Знаете что? Далеко отсюда до его дома?

— Далеко. Через весь город.

— Все равно. Давайте мы его свезем домой.

— На извозчике?

— Конечно. Знаете что? Завтра наймите извозчика и приезжайте. Когда родные дома?

— Да все равно. Я скажу.

— Хорошо. Заезжайте в двенадцать. Я сейчас дам вам деньги.

15

Алеша ехал на извозчике оживленный и веселый, но Павла не узнавал и даже не обращался к нему. Кажется, больше всего он был доволен, что одет не в халат, а в свой потертый френч и шинель. Его шашку держал в руке Павел, и дорогой Алеша все трогал ее рукой и улыбался.

У ворот своего дома Алеша охотно и ловко спрыгнул с пролетки и очень обрадовался своей удаче, оглянулся на пролетку и сказал:

— Табба!

Потом показал пальцем на шашку в руках Павла и тоже сказал:

— Табба!

Он совершенно сознательно направился к калитке. Перед калиткой

только на миг задержался, потом стукнул сапогом, и она открылась. Перепрыгнув через порог, он оглянулся на Павла и быстро начал взбираться по ступенькам крыльца. В дверях показался Семен Максимович. Алеша поднял лицо, улыбнулся ласковой, радостной улыбкой и сказал негромко, душевно, не отрываясь от отца взглядом:

— Та... татецц!

Но после этого он упал в обморок. Костыли загремели по ступеням крыльца, а сам он медленно сложился, как будто осторожно сел на колени. Его голова перестала дрожать и спокойно склонилась к золотому погону поручика.

16

Поправлялся Алеша очень медленно. Ему разрешили бывать дома и даже ночевать. Надежда Леонидовна сказала матери, посетив Алешу на дому:

— Пусть больше видит и узнает. Побольше впечатлений.

Дома Алеша почти не сидел на месте, он быстро передвигался по комнате и по двору, заглядывал в каждую щель и все пытался о чем-то рассказывать, но понимал, что у него мало слов, и умолкал, грустно улыбувшись. Слова восстанавливались у него по случайным поводам, но сначала приходили только в общем, что-то напоминающем комплексе звуков. Он говорил сначала «изизистка» вместо «гимназистка», «тузыка» вместо «музыка», «бабед» вместо «обед». Только слово «мама» он говорил правильно с первого дня, как только пришел в себя после обморока и увидел склонившееся над ним лицо матери. Тогда же он узнал и Павла и страшно этому обрадовался, все смеялся, все показывал на друга и кричал:

— Тавел Равава! Тавел!

В эти дни интересно было видеть его счастливое оживление и в то же время замечать, что для него не нужны стали и непонятны обычные знаки любви и нежности. Когда мать поцеловала его после того, как он пришел в себя, он с удивлением посмотрел на нее, потрогал пальцем щеку и улыбнулся:

— Мама!

Он гораздо быстрее учился понимать чужие слова, чем говорить, и все время приставал к отцу, совершенно забыв о суровой его недоступности и молчаливости, просил его говорить.

Семен Максимович серьезно ему отвечал:

— Что я буду тебе говорить? Ты половины все равно не поймешь. Вояка! Вот лучше ты расскажи, как ты заслужил эту штуку.

Отец брал в руки золотое оружие сына и рассматривал его — и как будто довольным и в то же время ироническим взглядом:

— За что тебя наградили? Понимаешь?

Алеша оживленно кивал дрожащей головой и кричал:

— Тулеметытыты... тулеметыты! Де... десятьть... тулеметототов!

Он смеялся отцу и взмахивал кулаком:

— Десятьтьть!

— Десять пулеметов? Это ты забрал? У немцев?

- Немцыцыцы!
- Молодец, Алеша! Молодец!
- Таладецц! — повторял Алеша радостно.
- Вот именно: молодец!

Отец усаживал Алешу на стул, неумело рабочей сухой рукой гладил его по плечу. Старался серьезно растолковать ему, как малому ребенку:

— Ты понимаешь? Они, сволочи, все воображали, что это они хозяева, они и герои. Куда ни посмотришь, все они — начальники и герои. А наш брат вроде как для черной работы, вроде волов. Нагонят тысячи нашего брата — серая скотина!

Алеша слушал отца внимательно, кивал головой и повторял некоторые слова, давая возможность отцу заключить, что он все понимает из сказанного:

— Нанашшш браттт! Ткатианана!

— Да, скотина! У них всё! У них и деньги, и мундиры. У них и родина. А мы безродные как будто. Куда погонят, туда и идем. Ему, понимаешь, родина, потому что он по родине на колесах катается. А наш брат пешком ходит; да и куда ему ходить, на работу да с работы, так зачем нам родина. Мы ее и не видели. Я вот счетом в нашем городе двадцать раз был. А то все — Кострома.

Семен Максимович говорил негромко, строго, все время оглядывался на окно, как будто именно за окном помещались «они», и проводил пальцем под усами, по сухим тонким губам.

— Родина! Ничего, Алеша! Это хорошо, что ты не трус, а только... у нас такие разговоры... правильные разговоры: пускай расколотят этого нестуляку проклятого! Эту сволочь давно бить следует.

Алеша удивленно глянул на отца и ничего не сказал. Старый Теплов, худой, похожий на подвижника, трогал прямыми темными пальцами клинок почетной сабли и о чем-то крепко думал, решал какие-то трудные вопросы. Смотрел на этот клинок его сын, и впервые зашевелился у него в душе странный холодный расчет: для чего его батальон понес свои жизни в боях под Коротыницей? Не для того ли, чтобы лишний раз убедиться: какие отвратительные руки распоряжались этими жизнями?

Они смотрели и думали над золотой шашкой, а рядом, мимо них, катилась все дальше и дальше история, катилась по оврагам и рывинам, и на самом дне оврагов еще копошилась и дышала последние дни российская империя.

17

Через месяц приехал денщик Алеши — Степан Колдунов и привез из полка его вещи. Он ввалился в хату пыльный и серый, с двумя чемоданами и сказал громко:

— Во! Это ты и будешь Василиса Петровна?

Мать с удивлением смотрела на широкое, довольное, как попало заросшее бородой лицо Степана, узнала чемоданы сына, но никак не могла сообразить, в чем заключается сущность происходящего.

— Я — Василиса Петровна. А вы меня откуда знаете?

— Да как же не знать, коли ты мать его благородия нашего? А где сам будет?

— Кто? Алексей?

— Да он же — Алексей! Барин мой! Очухался? Я его тогда погрузил в санитарный, без всякого смысла был. Где он?

Но уже из второй комнаты вышел Алеша, швырнул на пол костыли и повалился на Степана с радостным криком:

— Степапан! Степапан!

Потом отстранился и, держась на одной ноге, воодушевленно рассматривал запыленную фигуру Степана в истасканной, промасленной шинельке:

— Мама! Друг! Такой, понимаешь, Степапан! Какой ты хороший!

Степан стоял посреди кухни и ухмылялся:

— А болтаешь ты как-то плоховато, ваше благородие. Хорошо, что очухался. А я уж думал, каюк тебе, Алексей Семенович!

— Степан! А как это... как? Я тогда... черт его знает. Забыл... шли, шли...

Степан расстегнул шинель, поставил чемоданы к стене, повернулся к матери:

— Василиса Петровна! Ему все рассказать нужно. Да и ты послушаешь про сына. А только дай пожрать, два дня не ел.

— А как же это вы... без денег, что ли, в дороге-то?

— Какие там деньги? Я пристал к батальонному, вещи-то нужно отправить. А он...

— А кто, кто?

— А черт его знает, все новые. Тогда это... в той самой атаке слезы одни остались. Я так и уехал, убрать не успели, вонь какая, Алексей Семенович, ни проходу, ни продыху. Наш полк, можно сказать, лежит на поле, как будто навоз, лежит и смердит.

Алеша побледнел и спросил:

— А кто... уббитытытый?

— Да черт там разберет, все убитые. И полковой, и офицеры все, и наш брат. Один смердеж остался. Валяются там в грязи. Черт-те что. Лопатами убирать нужно героев. Да лучше не рассказывать, а то вон мамаша пугаются. От всего полка два офицера: ты остался да прапорщик Войтенко прилез на другой день. Что ты хочешь — ураганный огонь. Ну дай, мамаша, поесть.

Побледневшая, действительно испуганная, мать захлопотала вокруг стола:

— Вы, Степан, как вас по отчеству?

— Да брось, Василиса Петровна, какое там отчество. Спасибо, хоть Степан остался. Да и не выкай ты мне, я тебе не полковой командир, а денщик. Я и сам на «вы» не умею.

После завтрака, умытый и порозовевший, Степан уселся на диване в чистой комнате и рассказал Алеше и Василисе Петровне:

— Пошли вы тогда ночью. Помнишь, может, наши три дня громили. Ты понимаешь, мамаша, какое дело. Это наши генералы придумали, чтоб им... Особая армия генерала Гурко. Особая, ты пойми. Прорыв хотели сделать, да только и того, что кишки пообрывали и легли. Три дня сто двадцать батарей... наших. Мы думали, от немцев пыль одна останется.

А ночью мы и пошли. Ах, старушка ты моя милая, до чего людей приспособили, ты не можешь сообразить. Ты понимаешь, ночная атака на фронте в десять верст, в шестнадцать цепей. А наш полк в первой цепи. Помнишь, ваше благородие, прожекторы? Прожекторы помнишь?

Алексей вспоминал и горящими глазами смотрел на Степана.

— Помнишь, значит? Как это они стали над нами, прожекторы, — страшный суд, справедливый страшный суд. Я, может, помнишь, все с деньгами к тебе приставал: дай деньги, дай деньги. А ты только головой махнул, да и прыгнул за окоп. Прыгнул ты за окоп, и вдруг — тихо. Даже страшно стало — тихо, а то ведь три дня говорить было впустую. Вторая цепь перекаатилась, третья. Побежали еще люди. Куда ни глянь, везде цепи, а потом уже и разобрать невозможно. А тут немец начал. Мамочки! Прыгнул я в окоп, пропал, думаю, да все равно и наши все пропали. Я так и знал, что они вас с грязью смешают. Если наших сто двадцать батарей было, так ихних, наверное, триста. Спасибо, по мне они мало били. Смотрю, кроет он впереди по своим, по старым окопам. Ну, думаю, каюк его благородию, разве там разберешь, послали людей на верную смерть, чего там говорить... Вылез из окопа, а впереди земля горит и к небу летит. Наши последние цепи перевалились, да черт там разберет, кто куда спешит — кто вперед, а кто и назад. Тут и на меня налетел какой-то прапор, кричит: «Где твоя винтовка?» А у самого и глаза прыгают от страха. Махнул я на него рукой, думаю, все равно нечего делать, пойду поищу своего, где-нибудь недалеко валяется. Пошел. И на тебе такую удачу: за первым ихним окопом, в ходе сообщения, немец лежит, а тут рядом и ты, сердечный, да еще и землей присыпан, одна голова торчит. Ну, думаю, кончили воевать, а валяться тут незачем. Взял тебя на плечи, а у тебя еще и наган в руке, я это заметил еще, когда нес, рука болтается, а наган все меня по боку. Насилу отнял у тебя, да тут и заметил, что рука у тебя теплая. Ну, я обрадовался, наган в карман. На вот тебе, привез на память.

Степан вытащил из кармана вороненый револьвер.

— Тут двух пулек нету. Это, видно, ты немца ухлопал, а тут тебя снарядом и оглушило.

Алексей все вспомнил. Он заволновался, заходил по комнате, заговорил заикаясь:

— Помнишь, Степан, ты говорил, дай деньги, матери отправлю, если убьют. А я подумал, отдам — убьют, не отдам — не убьют... А как побежал, все про эти деньги думал. Там... там было... не расскажешь. Только видишь разрывы, бежишь прямо в смерть. Этот немец один был с пулеметом. Я стрелял два раза, только он не падал. А потом... потом ничего... потом в поезде.

Алеша подошел к матери, положил руку на ее плечо:

— Мама! На всю жизнь друг — Степан! Там меня похоронили бы вместе со всеми. С полком нашим.

Он задумался, подошел к окну, засмотрелся на улицу. Степан кивнул на него:

— Разве там один полк пропал!

— Как тебя отпустили? — спросил Алеша.

— Какой черт отпустили? Говорит этот, батальонный: вещи, говорит, отправлю, а ты ступай в роту. Думаю: чего я там в роте не видел?

Война все равно кончена. Куда там воевать, когда уже все провоевали! Да и вижу, народ не хочет воевать. Злые ходят и все о мире думают. А пришел на станцию, смотрю, кругом оцепление, патрули. Раз так, коли эти занимаются таким делом, так и у меня тоже дело серьезное: хоть вещи отвезу, посмотрю, как та Василиса Петровна живет, да и скажу все-таки, как сын ее воевал, ей нужно знать. Ну, я на крышу, да так на крыше и доехал. Два раза высаживали, да ведь раз человеку нужно доехать, так он доедет.

Алексей повернулся на костылях и пошел к своему денщику, остановился против него и нахмурил брови:

— Значиттт... ты... ты... убежалл. Это... это...

Он не вспомнил нужного слова и еще крепче обиделся, дернул кулаком, зашатался:

— Ббежалл!

Степан поднялся с дивана, оправил гимнастерку, попробовал улыбнуться, не вышло:

— Да что ты, ваше благородие! Я тебе вещи привез. А ты думаешь: дезертир...

Алеша услышал нужное слово и закричал, наливаясь кровью:

— Дезертир! К чертутуту! Вещи к чертутуту!

Но у Степана нашлась защитница. Василиса Петровна стала между офицером и денщиком и сказала серьезно-тихо, потирая почему-то руки, покрытые тонкой, прозрачной кожей:

— Алеша! Не кричи на него. Он тебе жизнь спас!

— Не нужно! Не нужно! Не нужно... жизньньнь спасать!

Алеша быстро зашагал по комнате, размахивая костылями, оглядываясь на Степана страдающим глазом через плечо, и уже не находил слов. Мать испугалась, бросилась в кухню, принесла воду в большой медной кружке. Алеша пил воду жадно, но у него сильно заходила вправо и влево голова, и медная кружка ходила вместе с ней. У матери сбегали по щекам слезы. Она взяла сына за локоть:

— Успокойся, Алеша, какой он там дезертир! Ну, поживет у нас и поедет. Куда-нибудь поедет. Видишь, он говорит, что война кончена.

Алексей ничего не ответил матери. Он сидел на диване, вытянув большую ногу на костыле, и смотрел куда-то широко открытыми глазами. Это уже не были глаза его юности. Они были, как и раньше, велики, но по ним в разных направлениях прошли налитые кровью жилки, и они смотрели теперь с настойчивым мужским вниманием. Алеша поднял их к матери и приложил к губам ее руку, облитую не то водой, не то слезами.

— Ничего, мама, ничего, — сказал он.

Мать властно отняла у него костыли, склонила его плечи к подушке и протянула ему книгу, которую он читал раньше: «Дворянское гнездо». Он благодарно улыбнулся ей и нашел страницу.

В кухне ее поджидал Степан. Он присел на табуретке и продолжал ее работу — чистил картофель.

— Как же теперь будет? — спросила мать.

— А? — широко улыбнулся Степан. — Как будет, никто не скажет. А только он обязан пофордыбачить. По службе обязан, потому что офицер и командир батальона. Это тебе не шутка. А только воевать кончено!

Василиса Петровна еще в первый день сказала Степану:

— Ты, Степан, не говори старику, что удрал с фронта, а то он у нас сердитый и порядок любит.

— Да я и не скажу, боже сохрани. Потом, разве, когда привыкнем.

Василиса Петровна внимательно пригляделась к Степану, да так и не разобрала, кто к чему будет привыкать.

А только она напрасно беспокоилась о Семене Максимовиче. В первый же вечер, как только увидел он Степана и пожал его широкую руку, так и сказал:

— А, еще один воин? Удрал, такой-сякой?

— Нехорошо говоришь, хозяин, не по-военному. Не удрал, а отступил в беспорядке. А еще говорят: потерял соприкосновение с противником.

Семен Максимович иронически глянул на Степана, но было видно, что Степан ему пришелся по душе:

— Не понравился тебе противник?

— Не понравился, Семен Максимович, здорово не понравился. И связываться не хочу.

— Ты, видно, не дурак. Сколько тебе?

— Да вот скоро тридцать шесть будет.

— Не дурак.

— Да нет, Семен Максимович, не дурак.

На что уж суровый человек был Семен Максимович, а и тот улыбнулся:

— Где офицер наш?

— Его благородие в госпиталь поехал ночевать.

— Ну, давай ужинать. Садись, брат Степан... Как тебя по отчеству?

— Да это ни к чему.

— А говорил, не дурак. Как же это ни к чему? У русских людей так полагается: имя и отчество.

— А это смотря какие люди.

— Смотри какие! Люди все одинаковые. Чего я буду тебя без отчества звать. Ты ведь не мальчишка. А слуг у меня никогда не бывало, не привык я к лакеям. Да и ты человек, надо полагать, честный.

— Да в этом роде. Если так... Плохо лежит меньше тысячи, ни за что не возьму.

— А если больше?

— А если больше, не ручаюсь. Если больше, — может быть, какая-нибудь свинья положила.

Семен Максимович ставил на стол бутылку с самогоном и даже задержался:

— Ха! А ты и в самом деле не дурак, Степан...

— А Иванович.

— Степан Иванович. Садись. Самогонку пьешь?

— У хорошего хозяина пью.

— Только я больше двух рюмок не дам. Не жалко, а не люблю пьяных.

— Пьяных и я не люблю, Семен Максимович. Пьяный человек вроде

как и на барина похож, потому что кричит, и вроде как на лакея, потому что все кланяется. И не разберешь, кто он будет.

— Ишь ты? Правильно. Так рассказывай, Степан Иванович, почему тебе неприятель не понравился.

— Да он все стреляет, а мне умирать не хочется.

— Смерти боишься?

— Смерти не боюсь, а умирать как-то расхотелось.

— А раньше хотелось?

— Да раньше как-то... ничего. Мне это говорят: умирай за веру, царя и отечество, ну, думаю... подходяще, за это можно.

— А потом?

— А потом разобрался, вижу, смерть моя, можно сказать, без надобности.

— Ну?

— Совсем без надобности. Первое...

— Первое, вот выпей.

— Ну, будь здоров, Семен Максимович и Василиса Петровна. Желаю вам, чтобы Алексей, поручик, поправился в добром здравии и чтобы на фронт больше не поехал.

— Поедет или не поедет, пока помалкивай, а за здоровье выпьем.

— Выпьем. Хороший он человек. Свой человек. И солдаты его любили, да... вот... пропали все.

— Так первое, говоришь?

— Первое — за веру. Теперь я так вижу: если люди верят, пускай себе верят... Чего тут защищать. А если люди потеряют веру, так тоже ничего страшного. Пугают там разными адами, а я так думаю, что и там рабочему человеку место найдется. Да я тебе и так скажу: у нас в батальоне и евреи были, и магометы, и католики. Черт его разберет, какую тут веру защищать. Так я и решил, что без меня, пожалуй, будет спокойнее.

— Так. Дальше!

— Дальше: его императорское величество. Тут люди свои, рабочие. Видишь, защищать царя поставили нас сколько миллионов. Все мы царя защищаем, а он себе сидит в ставке и никакой ему опасности. И сколько всяких войн ни было, нашего брата целыми полками в землю втапывали, а царям что? Цари всегда помирятся, у них обиды нет — один к другому. И выходит так: будто мы тонем, а царь сидит себе на берегу, чай пьет, а нам еще и кричат: «Тони веселей, царя спасай!» Я так и решил, что мне в это дело лучше не вмешиваться.

— Лучше не вмешиваться?

— Лучше. Вильгельм и Николай и без меня помирятся как-нибудь.

— Так. А отечество как же?

— Отечество, Семен Максимович, это, конечно, так. Я его два с половиной года спасал, а потом уже и запутался — не разберу, от кого его спасать нужно. Как положили наш полк целиком, да и не один наш, так я и подумал: где этот самый враг? Немец или кто другой?

— А если на твою деревню немцы полезут?

— У меня никакой и деревни нет, Семен Максимович. А если полезут, надо как-нибудь иначе. Народ у нас не любит, когда к нему лезут. А вот теперь народ обозлился, только видишь, не на немцев.

— А на кого?

— Да черт его знает! На всех. Сейчас, если бы только старший нашелся... ого!

— Война надоела?

— И война надоела, и жизнь надоела. До ручки дошло. Говорят, раньше были войны, и воевал народ, и генералы были, а сейчас все пошло прахом. Россия вроде как перемениться должна, а такая уже не годится в дело.

Долго еще Семен Максимович толковал со Степаном, а больше слушал.

На глаза Алексею Степан старался не попадаться, и Алеша делал такой вид, как будто он ничего не знает и не знает даже того, что Степан вот здесь живет в кухне, самое деятельное участие принимает в домашнем хозяйстве, ходит на базар. Не заметил, как будто, Алеша и того, что на Степане появились сначала его старая «реальная» блуза с золотыми пуговицами, потом и его старые штаны. У Степана была циклопическая шея, — воротник блузы не мог достать петлями до пуговиц, и поэтому даже зимой Степан имел такой вид, как будто ему страшно жарко. Степан всегда был в прекрасном настроении и даже пел. Голос у него был обыкновенный солдатский, и тихо петь было ему трудно. Пел все одну любовную песню, в которой с особенной нежностью выводил:

На моих засни коленочках...

Как ни старался Алеша игнорировать существование Степана на кухне, даже сапог свой сам чистил, чтобы не пользоваться услугами, а пения Степана не мог не заметить и, наконец, возмутился открыто в другой комнате:

— Черт! Коленочки! На этих коленочках дрова рубить только!

Степан очень обрадовался Алешиному голосу и подошел к дверям:

— Может, отставить, ваше благородие?

Алеша поднял плечи на костылях и обратил к Степану большие свои серьезные глаза:

— Чего это ты про любовь распелся?

— А про что петь, ваше благородие?

Алеша повел губами и тронул правый костыль, отворачиваясь от Степана:

— Не о чем сейчас петь.

Степан ступил шаг вперед и прислонился к наличнику.

— Ты это напрасно, Алексей Семенович, на себя тоску нагоняешь. Ты думаешь, как нас побили, так и беда? А может, иначе как обернется?

Алеша опустился на диван и задумался, не выпуская из рук костылей. Потом сказал тихо:

— Нет, не обернется. Мы уже не побьем. Уже кончено.

— У меня было... такой случай был. Работаю я на Херсонщине, у хохла богатого. И он, собака, натравил меня на одного парня, из-за бабы все. Я на парня и полез с кулаками. А он меня и отдубасил, да еще как: два дня лежал. А только поправился, сам у этой бабы поймал на месте не своего соперника, значит, а хозяина. Ну, я тут такой прорыв сделал, даже другие люди жалели хозяина. Видишь?

— Ты это, собственно говоря, к чему? — спросил Алеша.

Выпятив локоть, Степан почесал бок и посмотрел на Алешу денщицким взглядом — домашним, послушным и даже чуточку глуповатым:

— Да ни к чему, ваше благородие, а к примеру. Вот нас немцы побили, а нам обидно. А только это напрасно. Придет время, и мы кого-нибудь побьем.

— Кого-нибудь? Кого это?

— Да подвернется кто-нибудь. Сначала другой какой немец или, скажем, турок, японец также, а может, еще кто?

— А может, и хозяин?

Степан раскурил цыгарку и выдул дым в дверь, ничего не сказал, как будто не заметил вопроса.

— Ты слышал? Кто подвернется? Может, и хозяин?

Степан наморщил лоб и серьезно захлопал глазами, а потом скривился: куда-то попала ему махорка. И ответил с трудом, поперхнувшись дымом:

— Хозяин — это редко бывает, но бывает все-таки. Вот у меня, видишь, был случай и с хозяином.

— У тебя? А у меня кто хозяин? Кого бить?

— Мне тебя не учить, Алексей Семенович, ты сам ученый. А хозяев у тебя, голубчик, много. Если захочешь бить, искать не долго придется. А может, и за меня кого отдуешь.

— И за тебя даже?

— И за меня.

— И это ты говоришь мне, офицеру?

Степан улыбнулся грустно:

— Да чего, Алексей Семенович, какой ты офицер? Тебя вот изранили, душу тебе повредили, а война кончится, тебе никто и спасибо не скажет. А батюшко твой кто? Такой же батрак, как и я.

— Ну... хорошо... спасибо за правду. А только ты дезертир — это плохо. Честь у тебя должна быть, а у тебя есть честь?

— Честь у меня, Алексей Семенович, всегда была. Была честь куска хлеба не есть. А теперь тоже не без чести: если поймаю кого, по чести и по-благодарю.

Алеша задумался и не скоро сказал Степану:

— Ну... добре... иди себе, отдыхай, дезертир.

19

В середине зимы приехал с фронта Николай Котляров и засел в своей хате безвыходно. Говорили на Костроме, будто он совсем рехнулся: сидит и молчит, не ест и не пьет. Алеша в воскресный морозный день направился к хате Котляровых.

Алеша уже научился говорить, только голова иногда шутила, да рваная рана на ноге заживала медленно. И костыли у Алеши не сосновые, а легкие бамбуковые, и лицо порозовело, и волосы стали волнистые. Только в выражении его лица легла постоянная озабоченность. И даже костыли Алешины научились шагать с какой-то деловой торопливостью.

У Котляровых тоже была своя хата и тоже на две комнаты. В первой, в кухне, копошилась мать Николая и Тани, очень напоминающая Таню, но

в то же время и очень ветхая, сморщенная, маленькая старушка. У печи сидел на корточках и раскалывал полено на щепки широкоплечий, коренастый мужчина — старый Котляров. Увидев Алешу, он отшвырнул остатки полена и щепки к стене, переложил косарь в левую руку, а правую, растрескавшуюся и обсыпанную древесным прахом, протянул Алексею.

— Ты погляди, Маруся: красивый из него военный вышел, а ведь нашего корня веточка.

Старушка, которую он назвал Марусей, маленькая, нежная, слабенькая, смотрела на Алешу радостно:

— Бог тебя спас, Алешенька. Хоть и хромой будешь... Не поедешь больше, не надо!

— Где Николай? — спросил Алеша.

Котляров озабоченно тронул рукой прикрытую дверь и так и оставил на ней руку. Сказал приглушенно:

— Я сам за тобой идти хотел, Алексей. Не знаю, что с ним делается. Тут и Павло прибежал, говорил, говорил, говорил с ним, а потом выругался чего-то и убежал. Может, ты с ним поговоришь?

— А какой он вообще?

Старушка придвинула табуретку, покосилась на дверь, зашептала:

— И не разберем. И не ранен. Целое все. А билет увольнительный *на-совсем*. Ничего не рассказывает. Молчит. Хоть бы плакал или сердился, а то ровный такой.

— Читает?

— Нет, не читает. Павел принес ему каких-то книг, не читает.

Старушка с пристальной надеждой смотрела в глаза Алеши. Алеша поднялся на костыли, глянул на старушку ласково и сказал:

— Ничего, все пройдет. Я сам такой приехал.

— Слышали, слышали, как же!

Во второй комнате стоял Николай и смотрел на огонь в печи. Он медленно повернулся к Алеше, не сразу узнал и по солдатской привычке вытянул руки по швам, но потом на его бледном веснушчатом лице пробежала вялая улыбка. Он протянул руку и подождал, пока Алексей выпутал свою из переплетов костыля.

— Здравствуй, друг, — сказал Алеша весело, хотя голова его и начала пошатываться справа налево.

Николай молча пожимал руку Алексея и с той же улыбкой смотрел на его погоны. Алеша направился к деревянному дивану, устроился на нем и хлопнул рукой рядом. Николай как-то особенно нежно и неслышно, как будто не касаясь земли, передвинулся к дивану и легко опустился на него, глядя на гостя с той же вялой улыбкой.

— Почему тебя отпустили, Коля?

Николай отвел в сторону задумчиво улыбающиеся глаза и прошептал с таким выражением, как будто он вспомнил далекую прекрасную сказку:

— Я не знаю.

— Чего ты не знаешь?

— Я ничего не знаю, — произнес Николай с тем же выражением.

— Почему ты не офицер? Ведь тебя должны были послать в школу прапорщиков?

Николай задумчиво кивнул головой.

— Тебя послали?

— Послали.

— Ну и что?

Николай перестал улыбаться, но ответил с безразличной пустой холодностью, как будто язык его сам по себе привык отвечать на разные вопросы:

— Меня потом откомандировали в полк.

— Почему?

Алеша спрашивал громко, энергично, гипнотизировал Николая решительным поворотом больших, серьезных глаз.

— У меня все было не так: строй не такой. Командовать не умел. Там все такой народ был веселый. А я не подошел.

— А в полк подошел?

— Подошел.

— Так неужели ты не знаешь, почему тебя освободили? Почему ты не говоришь? Говори, Коля, не валяй дурака, говори!

Алеша взял Николая за плечи и крепко прижал к себе. Худенький, мелкий Николай в старенькой выцветшей гимнастерке совсем утонул в широких Алешиных плечах. Но Николай по-своему воспользовался этой близостью, он прижался к Алешиному плечу отросшей щетиной солдатской стрижки и ничего не ответил.

— Ты был в бою?

Николай вдруг оттолкнулся головой от Алешиного плеча, вскочил с дивана и устремил на Алешу пронзительно-воспаленный взгляд голубых глаз:

— Не нужно это... бой! Понимаешь, не нужно! Это царю нужно, генералам нужно, а народу не нужно...

Алеша мелкими неслышными толчками зашатал головой и прищурил глаза на Николая. Николай еще долго говорил, все громче и возбужденнее. Из кухни тихо приоткрылась дверь, выглянуло испуганно-внимательное лицо матери и быстро спряталось.

20

А еще через неделю Семен Максимович стоял посреди комнаты с палкой — забыл ее поставить в угол, — непривычно задорно смотрел на Алешу и непривычно собирал веселые складки у глаз:

— Убрали-таки этого нестуляку! А? Словчился народ! Что ты теперь скажешь!

В дверях стоял Степан и поддерживал Семена Максимовича широкой улыбкой:

— Переменяется Россия. Теперь по-другому пойдет!

Но известие о конце империи не произвело на Алешу никакого впечатления. Он задумчиво смотрел куда-то, и красные жилки в его глазах сделались еще заметнее и краснее.

Семен Максимович присмотрелся к сыну и спросил строго:

— Ты чего это надулся? Может, Николая жалко?

Алеша улыбнулся:

— Ты что это обрадовался, отец? Сам, помнишь, говорил: республика — все равно. Ну, вот тебе и республика: Родзянко, князь Львов. Доволен?

Семен Максимович сел на край стула, поставил палку между ног, на палку положил длинные свои прямые пальцы:

— Языком пока говоришь — все равно, а на деле как-то иначе выходит. Ты смотри: сегодня первый день, а уже на заводе все друг друга товарищами называют. И флаги какие? Красные. Это тебе не все равно. А завтра совет выбираем.

— Какой совет?

— Совет рабочих депутатов.

Алеша сразу поднялся на костыли, заходил по комнате, остановился против отца, обрадованный:

— Ты серьезно, отец?

— Не будь балбесом. Я тебе не серьезно что-нибудь говорил? Выбирают совет, и меня в совет уже приговорили.

Алеша задумался и... весело:

— Да! Дела большие!

Степан заржал, как будто жеребец со двора вырвался:

— За хозяев взялись, за хозяев! Ах ты черт, где ж моя амуниция военная?

Он полез на кухню, там о чем-то громко кричал с Василисой Петровной, хохотал и требовал свои военные доспехи: гимнастерку и штаны. Василиса Петровна улыбалась и спрашивала Степана:

— Куда ты собираешься, Степан Иванович?

— Это я приготовлю. Воевать буду.

— С кем воевать?

— А там будет видно. Найдем с кем.

— Смотри, как бы тебя не нашли, — сказал Алеша, выходя в кухню. — Царя скинули, а дезертиры остались.

— Да какой же я дезертир? Царю присягу давал, а царя — по шапке.

— А теперь народу будет присяга.

— Ну, народу другое дело. Народу мир нужен, а может, и еще что. Народ — это дело справедливое!

21

Алеша целый день бродил по улицам, провожал все демонстрации, заходил на все митинги, заговаривал с каждым прохожим, присматривался к каждому встречному. Надежда Леонидовна по вечерам ссорилась с ним и возмущалась:

— Что это такое?! Вы раненый или нет? У вас еще рана не зажила, а вы целый день по городу бегаете! Я вас привяжу к постели.

Но Алеша отвечал ей:

— Все равно и здесь по комнате буду ходить. Усидеть сейчас невозможно, Надежда Леонидовна. Сдвинулся народ с места, понимаете?

— Сколько вам лет?

— Мне лет? Двадцать три.

— Господи, как мало! Тогда вам действительно трудно усидеть на месте. А все-таки я вам не позволяю так много бродить.

— Ну хорошо, я пойду в гости.

— В гости идите.

Алеше почему-то вдруг захотелось побывать у Остробородько — там всегда самые свежие новости, можно увидеть и Нину Петровну. На нее тянуло посмотреть, как на хорошую картину на хорошей выставке.

У Остробородько действительно сидел и разглагольствовал доктор Васюня, только что прибывший из Петрограда, куда он ездил за хирургическими инструментами для Кавказского фронта.

— Ничего понять нельзя, — говорил Васюня. — Народ, ну его к черту, просто с ума сошел. Все ходят, кричат, галдят, как будто оглашенные. Теперь его скоро не остановишь. Большую узду нужно, чтобы взять в руки. А кто возьмет? Ах, какой глупый этот Михаил! Теперь сразу нужно было из рук в руки корону брать. Наш народ такой: еще «ура» кричали бы, на руках носили бы. Такая красота:

«Божею милостью, мы, Михаил Второй, император и самодержец всероссийский».

Васюня водил пальцем по воздуху и изображал этот торжественный текст.

На него смотрели прищуренные глазки Петра Павловича Остробородько:

— Ничего вы не понимаете, Васюня. У нас не такой народ. У нас без бенефиса не обойдется.

— Какой же бенефис?

— А вот увидите: по старым программам, но первый раз в этом городе. Панам попадет. У нас ведь, если что, всегда панов били. Правда, Алексей Семенович?

— Да, панов будем бить, — улыбнулся Алеша.

— Вот видите? — Петр Павлович протянул возмущенную руку. — Это говорит офицер, георгиевский кавалер, герой. А что скажет мужик?

— В самом деле будете панов бить? — заинтересованно спросил Васюня и направил на Алешу свои маленькие глазки.

— А как же! — ответил Алеша с прежней улыбкой.

— Для чего? — спросил серьезно Петр Павлович.

— Сначала для удовольствия, потом для дела.

— Ну, и что?

— Хорошие дела готовятся. Подождите несколько месяцев.

— Удирать нужно?

— Вам зачем удирать?

— Меня тоже могут за пана посчитать.

— Ну, какой вы пан? Вы — доктор, человек трудящийся.

— Бить панов это всегда значило бить и культуру.

— Положим, далеко не всегда.

— Вы сейчас же закричите: буржуазная культура! Вы большевик? Ваш Ленин уже в Петрограде? Да?

— Я пока что инвалид, Петр Павлович.

Петр Павлович стоял посреди комнаты и сыпал возмущенными вопросами, острыми взглядами и плюющимися мокрыми словами. Нина Петровна сидела у самовара, заботливо опускала и подымала глаза над пустыми и полными чашками и ласково поглядывала на Алешу. Она сказала:

— Довольно вам кричать. Чего вы напали на больного человека! Идите сюда, Алеша, бедненький. Я вам сейчас дам ваши подпорки.

Она заботливо перевела Алешу поближе к себе и приблизила к нему милое, мягкое и нежное свое лицо. Васюня и Петр Павлович о чем-то снова оглушительно заспорили.

— Расскажите что-нибудь, Алешенька,— сказала Нина.

Алеша поднял на нее большие глаза:

— Что же рассказать, Нина Петровна?

— Расскажите что-нибудь счастливое.

— Не знаю, Нина Петровна, с чего начать.

— Тогда я вам расскажу. Только никому не говорите.

Она наклонилась к нему, и по Алешиной щеке загуляли кончики ее нежных золотистых волос:

— Алеша, только никому не рассказывайте. Я не люблю этого поповича. И не пойду за него замуж. Я хотела идти в сестры милосердия, а он написал: не нужно. Он — попович, понимаете, у него и душа поповская, расчетливая.

— Где он сейчас? — тихо спросил Алеша.

— Он получил все, что полагается. Где-то при интендантстве. Получил капитанский чин. Но он не военный. Он только вид такой делает, что он военный. Он — попович. И его солдаты убьют, обязательно убьют. Он попович, а хочет быть баринном. Его все равно солдаты убьют.

— Нина, почему вы мне об этом говорите?

— Мне больше некому сказать. А кроме того, еще есть одна важная причина. Я даже хотела идти к вам в госпиталь, а потом стало стыдно. А теперь уже не стыдно.

Нина Петровна все это говорила спокойно, ничего не изменилось в ее лице, даже улыбка осталась та же: нежная.

— А вы написали ему, что не любите его?

— Я еще не написала. Все папу как-то жалко. Это его мечта. Хотя теперь это уже не модно.

— Что не модно?

— А вот за поповича выходить.

— Пожалуй, что и не модно.

— А вы будете архитектором, Алеша?

— Вероятно.

— А за архитектора выходить модно?

Алеша, улыбаясь, присмотрелся к ее лукавому взгляду:

— В общем, это ничего.

— Я пошутила, Алеша.

— Я понимаю.

— Вы скажите: что мне делать? Я страшно хочу что-нибудь хорошее делать. Разве в учительницы пойти? Как вы думаете?

— Нет, в учительницы не нужно.

— Почему?

— У вас не выйдет.

— Это верно, что не выйдет. Все равно замуж кто-нибудь возьмет. Вот еще горе. Отчего я такая женственная, скажите?

— Разве это плохо?

— Да. Мне не нравится. От попovichа откажусь, кто-нибудь другой явится. Интересно все-таки, кто меня возьмет замуж. А теперь такое интересное время начинается.

— Вы думаете, что интересное?

— Голубчик мой, так видно же! Вы не думайте, что я такая пустая или такая, как Борис. Я хочу что-нибудь делать. Наверное, пойду в учительницы. Скажите, Алеша, почему это так глупо: как женщина, так и в учительницы. А если я не хочу никого учить?

Алеша не ответил. Она еще немного подумала над своим тяжелым положением, потом встряхнула хорошенькой головкой и сказала капризно:

— Васюня, что же это такое! Почему никто чаю не просит?

22

И сейчас возвращался Алеша таким же поздним вечером, и сейчас было так же тревожно вокруг, как и в тот вечер. Теперь на Алеше тоже были оба сапога, но ему еще не разрешали становиться на больную ногу. Впрочем, он привык к костылям, привык поджимать больную ногу, ему даже не хотелось расставаться с ними. Он решил дойти до главной улицы и там взять извозчика.

Алеша не спеша переставлял костыли, чтобы не попасть в ямку на тротуаре. На темной улице, освещенной очень редкими фонарями, почти никого не было. Встречалась изредка парочка, привлеченная на улицу первыми днями весны, да изредка пробежал одинокий человек и испуганно бросался в сторону, обходя его костыли. Алеша вдруг почувствовал особый уют в своем неспешном одиноком движении.

Было очень много вопросов, над которыми нужно было подумать. Раньше было все-таки ясно. Нужно было сидеть в окопах, писать рапорты, иногда сидеть под обстрелом и ждать смерти, иногда идти в атаку, нести вперед страх смерти и угрожать револьвером тем, у кого этот страх слишком вылезал наружу. Все это нужно было делать потому, что этого требовали долг и уважение к себе и глубокая уверенность, что за плечами лежит родина — Россия, что на огромных ее пространствах все уверены в его чести. Все было ясно, а что было неясно, то нужно было отложить на завтра, в том числе отложить и мысли о многих безобразиях на фронте, о лени, трусости, даже о разврате и пьянстве офицеров, о возмутительном чечевичном рационе, о бесталанном командовании, о проигранной войне. Часто все это было до боли отвратительно и мерзко, часто от этого притуплялся даже страх смерти, но все-таки все было ясно: главное и первое — дисциплина и война, его человеческая честь, его достоинство и уважение к себе. И поэтому нельзя было ни закричать в отчаянии, ни удрать с фронта, ни пойти в плен. И Алеша привык гордиться этой своей гордостью и привык взнуздывать себя, когда начинали гулять нервы.

Так было раньше. А сегодня как-то не так. Сегодня все не так. В Петрограде еще кричат «до победного конца», но уже ясно, что победы не будет и что в победе нет радости. И вопрос о гордости требовал пересмотра.

В светлом пятне, освещенном окном домика, выросла высокая фигура солдата. Солдат быстро посторонился и с почтением к раненому приложил

руку к козырьку. Правая рука Алеши по привычке хотела подняться ответным движением, но остановилась на полдороге, и Алеша крикнул:

— Сережа! Сергей!

В замешательстве Алеша ступил на больную ногу и вскрикнул от боли. В этот момент Богатырчук крепко обнял его вместе с костылями и горячим поцелуем впился в его губы:

— Алешка! Милый мой! Красавец мой!

Сергей целовал его губы, щеки, лоб, он обращался с ним, как с девушкой.

— Да ну тебя, сдурел,— засмеялся Алеша и нашел наконец свои подпорки.

— Идем,— сказал Богатырчук.— Идем куда-нибудь!

— Да куда?

— Идем, вот тут сквер.

— Да там народу много.

— Стой, вот тут я проходил, скамеечка такая славная. Ох ты, калека моя родная!

Скамеечка оказалась действительно славной. Была для нее сделана специальная ниша в заборе и распускались перед ней сирень и еще какие-то кусты. Здесь у чужого двора и расположились друзья.

— Алеша, я тебя целый день искал. Дома был, в госпитале был. Чего ты шляешься? Что это? Ты и ранен? Мне говорили — контужен. Это на владимирско-волынском направлении? Здорово тебя покалечили.

— Здорово. Буду хромать. И с нервами плохо. Заикаюсь вот, и голова ходит, особенно если разволнуюсь. И болит часто. И вообще это надолго; говорят, ни пить, ни курить, ни за барышнями не ухаживать, не расстраиваться.

— Так ты и не расстраивайся.

Алеша улыбнулся.

— Не такие времена.

— Ох, и времена, друг! До чего времена замечательные. Я хожу и смотрю, и слушаю, думаю, такая жалость: и это забуду, и это забуду.

— Сергей, расскажи подробно: что случилось в военном училище? Почему тебя солдатом выпустили?

— Шпионили, дряни. А я не очень умею язык за зубами держать. Понятное дело. Да я не жалею. Зато теперь хорошо. Я прямо уморился. И туда поспеть, и сюда поспеть! В Киев попал, как раз валил памятник Столыпину. А на нем, понимаешь, написано: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Сволочи, еще и на памятнике написали,— «великая Россия»! Но зато и потрясения, брат, будут, прямо голова кругом идет.

Алеша слушал, склонив голову, и молчал. Сергей на месте сидеть не мог, то быстро поворачивался на скамье, то вставал, то пробовал ходить.

— Мороки много будет. Офицерня, между прочим, гадко держится. Я понимаю, еще дворянчики или там кадровые, тем, конечно, иначе и не приходится, но какого черта прапорщички эти лезут. Такое же пушечное мясо, как и мы. А туда же, воевать им хочется.

— А как же, по-твоему? Просто удирать с фронта?

— Удирать нельзя. Зачем удирать? Надо мир. Народ не хочет воевать. Баста, есть дела поважнее.

— А если немцы все заберут?
— Да брось, Алешка, чего там они заберут. Они рады будут, только отвяжись от них.

— Ты — большевик? — спросил Алеша.

— Большевик. И председатель дивизионного комитета. Да постой, а ты как же думаешь? Ты что — с офицерами? Какая у тебя компания?

Алеша поцарапал концом костыля землю.

— Ты, Сергей, брось этот тон, — резко сказал он. — Здесь не митинг, и никакой у меня компании нет. Я здесь один, видишь, раненый, разбитый, через месяц мне дадут чистую; офицером я не буду и на фронт больше не пойду. И не забывай: мой отец — токарь, я отцу никогда не изменю, да он же еще и член Совета рабочих депутатов, наверно, тоже в большевики пойдет, хоть и старый. Да ведь ты отца знаешь.

— Еще бы не знать!

— Ну вот, а ты мне растолкуй, раз ты комиссар. Как у вас дело с честью обстоит?

— С какой честью?

— С обыкновенной человеческой честью?

— Не понимаю.

— Ты что, тоже бросил фронт?

— Нет, я не бросил. Я в отпуск.

— А можешь бросить?

— Как это, просто удрать?

— Ну да, вот как мой денщик. Взял и удрал.

— Тайно?

— Да один черт, хоть и явно.

— Чудак, так ведь я большевик.

— Ну так что?

— Если партия скажет бросай — брошу. Скажет дерись — буду драться. За революцию будем драться, Алеша!

— А честь?

— Вот здесь и честь. Своим не изменю.

— А России?

— Да какой России? Мы и есть Россия.

— Это какая же Россия? Маленькая? То была великая, а теперь маленькая?

Богатырчук засмеялся:

— Ты действительно больной. Потом разберешь. Если бы ты был сейчас на фронте, сразу бы разобрал. Ну, идем... на нашу великую... Кострому.

23

Весной приехала из Петрограда Таня.

В первый же вечер они с Павлом пришли к Алексею. Павел стоял в дверях, черный и сумрачный, и хмуро наблюдал сцену встречи. Таня быстро подошла к Алеше, положила руку на его рукав. У Алеши вдруг заходила голова, он попробовал улыбнуться, но улыбка вышла страдальческая, тревожная. Таня посмотрела ему в глаза, вдруг опустила голову на его грудь и заплакала горько и громко, никого не стесняясь. На ее рыдания

из кухни вышла Василиса Петровна, оттолкнула в дверях хмурую фигуру Павла и бросилась к Тане. Она легко оторвала ее от Алешиной груди, обняла за плечи и повела к дивану.

— Танечка, успокойся, милая, что с тобой?

Таня терла кулачками глаза и с облегченным вздохом, похожим на улыбку, опустилась на диван и прислонилась щекой к плечу Василисы Петровны. Алеша с трудом поворачивался на костылях и с серьезной, большой озабоченностью смотрел на женщин, не замечая Павла.

— Вы простите меня, это я, наверное, оттого, что две ночи в дороге не спала! Вы знаете, как трудно теперь ездить. А дома еще и Николай...

Таня виновато улыбнулась и не могла оторвать взгляда от лица старушки. Таня, действительно, сильно похудела, почернела и побледнела в одно и то же время, но тем сильнее блестели ее глаза, и губы ее казались сейчас полнее и ярче.

— Как же твое здоровье?— спросила Таня, подняв на Алешу глаза.

Алеша только крепче сжал губы и ничего не ответил, за него ответила мать:

— Плохо его здоровье, Танечка. Смотрите, голова у него гуляет. И рана никак не может зажить. А он еще такой непослушный, все бегаёт и бегаёт. Непоседа такой. Испортили мне сына, Танечка.

Мать была рада пожаловаться женщине и поплакать. Алеша посмотрел на мать с выразительным негодованием, но потом махнул рукой и подошел к Павлуше.

— Видел Сергея?— спросил Павел.

— Видел,— ответил Алеша серьезно.— Он теперь большевик.

Павел сверкнул зубами и поднял вдруг повеселевшее лицо:

— Да, молодец! Я тоже вступаю. У нас уже четыре большевика на заводе. Да на железной дороге три. Семь. Уже семь!

— Да,— сказал Алеша как будто про себя.— Николай работает?

— Да, поступил.

— Здорово его испортили.

— Разве его одного? И тебя вот.

— И меня. И все даром.

— И все даром,— подтвердил Павлуша тихо.

— Ты спокойно об этом говоришь?

— Я говорю так, как и ты.

— Ну, знаешь, ты не можешь так говорить. Ты не пережил этого ужаса и не пережил... ты не пережил... этой...

— Ты хочешь сказать, что я просидел в тылу?

— А что же,— конечно, просидел.

— Хорошо. Я просидел. А Сергей?

— Я про Сергея не говорю. Я с тобой говорю. Я имею право тебе сказать.

— Я слушаю, Алеша.

— Ты не знаешь, что такое идти в атаку под ураганным огнем и за тобой — батальон. В этом есть человеческое достоинство. Мой полк лег в одну ночь. Четыре тысячи человек. Ты понимаешь?

Они уже не говорили тихо, они забыли, что на диване их слушают женщины. И были очень удивлены, услышав слабый голос матери:

— Алеша, зачем ты все вспоминаешь свой полк. Не нужно об этом думать. Погиб твой полк, на войне всегда так бывает.

— Да, да, вот оказывается, что это никому не было нужно.

— А что ж, не бывает так, Алеша? Страдают люди, страдают, а, глядишь, никому это и не нужно. И какая же польза от страдания? Разве только на войне? А сколько кругом людей страдает, а подумаешь: для чего страдали? И я вот жизнь прожила несладко. Моего отца, твоего дедушку, бревном убило на пристани, всю жизнь бревна таскал, и жили впроголодь, страдали, детей не учили. И я вот неграмотная, темная,— только и видела, что кухню да нужду. А многие люди и хуже жили. А в деревне как живут: черный хлеб, только и всего, а больше ничего в жизни и не видят. Все люди страдают, а кто об этом помнит? Никто не помнит, забывают люди: у кого свое горе, а кому и так хорошо. Моего отца бревном убило, а Мендельсон богатым человеком сделался.

Мать говорила, сложив сухие сморщенные руки на коленях, покрытых изорванным, бедным фартуком. Ее лицо чуть-чуть склонилось набок, выцветшие серые глаза смотрели печально. Она умолкла и осталась в той же позе: бедственные картины трудовой жизни проходили перед ее душой в этот момент, не вмещаясь в словах.

Алеша быстро подошел к ней, наклонился, поцеловал руку:

— Правильно, мамочка. Правильно. Это я — так... Все думаю: если Россия не нужна, зачем я нужен.

— Россия нужна,— сказал медленно и сурово Павел.

Алеша повернул к нему лицо, не подымая головы.

— Нужна?

— Нужна. Вот увидишь, какую мы сделаем Россию! Настоящую сделаем. Такая будет Россия! Тогда никому не придется умирать даром и будет за что умирать. Это мы сделаем.

— Кто это вы?

— Мы — рабочий класс.

— Мы сделаем?

— Да.

— А кто нас поведет?

— Ты знаешь, что Ленин уже в Петрограде?

— Знаю.

— Мало тебе?

— Мало, Павлуша. Это один человек.

— А что тебе нужно?

— Я не знаю.

— А когда ты узнаешь?

— Я... наверное, скоро узнаю. Если бы мне... поехать, посмотреть. Здесь на Костроме как-то не видно.

Таня собралась уходить. Она подошла к Алеше, взяла его под руку, отвела в сторону:

— Ты скорее поправляйся. Милый мой! Скорее выздоравливай.

Иногда Алеша ночевал в госпитале, там у него была койка. Он каждый день ходил на перевязку, на разные процедуры. В госпитале почти не было

больных, поступление контуженых с фронта прекратилось. Только на другой койке по целым дням сидел артиллерийский капитан, худой и высокий, с носом, далеко выдвинутым вперед. Под носом у него висели тяжелые, плотные усы. Даже летние дни не тянули капитана на улицу, он сидел, набивал папиросы и думал. Когда приходил Алеша, он говорил:

— Сказали, что через десять дней выпишут, и то, если будет лучше. Разве в этом городе будет лучше?

— А куда вам хотелось бы? Куда вы хотите ехать?

— Куда я хочу ехать? У меня нет ни имени, ни жены, ни родственников. Поеду в какую-нибудь команду выздоравливающих. Место спокойное, никому не нужное.

— А воевать?

— Э, хитрый какой поручик! Воевать довольно. Служить адвокату какому-то паршивому?

— Не адвокату, а народу.

— Народу? Поручик, бог с вами, на что я народу сдался. Народ теперь сам с фронта бежит, только пятки сверкают.

— А Россия?

— Была, да вся вышла ваша Россия.

— А что же есть, по-вашему?

— Ничего нет. Сплошная команда выздоравливающих. Вот, может, переболеют, выберут царя, станут опять жить. А без царя какая Россия?

Алеше капитан не нравился. Поэтому, бывая в госпитале, Алеша старался проводить время на улице.

В один из жарких июньских дней он долго сидел в палисаднике, потом вышел на тротуар и остановился у входа в госпиталь, рассматривая прохожих. Прохожих было немного, и они не мешали Алеше думать. Думы были все такие же взбудораженные.

Прошла парочка — молодой человек в соломенной шляпе и тонкая девушка с бледным лицом. Девушка посмотрела на Алешу и не заметила его, как не заметила ни ворот, ни убегающей дорожки палисадника. Потом прошла женщина с ребенком на руках, а за нею показался взлохмаченный, без шапки, угрюмый человек. Он шел быстро, его ноги, обернутые в какое-то тряпье, шлепали по кирпичам тротуара с каким-то неприятным, шершавым шумом, но человек не обращал на это внимания. Он шел, опустив голову, а руки заложил за спину. Совершенно ясно было, что он не пьян, хотя, может быть, и выпил немного. Алеша заинтересовался человеком и внимательно следил за ним. За несколько шагов до Алеши человек поднял голову и прямо пошел на него. У человека — небритое лицо кирпичного цвета и мохнатые светлые брови. Подойдя к Алеше, он вдруг с силой топнул ногой и прохрипел:

— А! Стоишь, паскуда, красуешься?!

Не успел Алеша услышать эти слова, как человек быстро поднял руку и дернул за левый погон. Погон он оторвал только с одного конца, но Алеша не удержался на костылях и повалился вперед. Человек отступил, дал ему упасть, потом круто обогнул Алешу и зашагал дальше, по-прежнему заложив руки за спину.

Подбежавшие люди нашли Алешу в обмороке и унесли в госпиталь. У него была сильно ушиблена голова, и, когда он пришел в себя, к нему возвратились прежнее заикание на последних слогах и частые головные боли. Врачи постановили, что в течение месяца он должен лежать, меньше говорить и еще меньше волноваться.

Семен Максимович пришел к Алеше на другой день и долго молча сидел у постели, сухим холодным взглядом посматривая на капитана, сидящего на своей кровати и набивающего папиросы. Потом кашлянул и сказал спокойно:

— Тебе сказано не волноваться. А я тебя считаю мужчиной. Это хорошо, что с тебя погоны сорвали. К чертовой матери, так и нужно...

Алексей молча смотрел на отца с подушки, но капитан, не отрываясь от своей работы, сказал:

— Кто смеет говорить, что правильно?

— Я смею,— ответил Семен Максимович и, захватив рукой усы и бороду, разгладил их книзу.

— А кто вы такой будете?

— А я вот отец этого... молодого человека.

Капитан посмотрел на Семена Максимовича, надул губы и внимательно протолкнул палочку в гильзу. Семен Максимович продолжал:

— Воевать тебе все равно не придется. Так?

— Воевать, видимо, не придется.

— Хватит. А погоны тебе не нужны. Запомни, что я сказал.

— Запомню,— сказал Алеша тихо.

— Хорошо. Будь здоров.

— Будь здоров. Мать не пугай.

— Учи меня еще.

Семен Максимович зашагал к выходу. Капитан проводил его взглядом и кивнул.

— Кто он такой, ваш отец?

— Токарь.

— Токарь?

— Токарь.

— Ваш отец?

— Мой отец.

— А-а!

— А что?

— Пускай,— сказал капитан.— Я не возражаю. Команда выздоравливающих.

Алеша повернул к нему лицо и сказал серьезно:

— Капитан, вы поглупели, голубчик!

— Поглупел? Не возражаю. В порядке вещей. Говорят, и генералы теперь поглупели. А вы все-таки не говорите лишнего, потому что... потому что вам запрещено.

В тот же вечер пришла к Алеше Нина Петровна. Он так удивился ее приходу, что даже не сразу ее узнал, потом вскрикнул:

— Нина!

Нина быстро села на стул.

— Молчите. Господин офицер!

— Готов служить, сударыня,— капитан уже стоял на ногах и поправлял пояс.

— Пойдите, погуляйте полчаса.

— Слушаю и понимаю.

Нина прищурилась на носатого капитана:

— Как вы плохо воспитаны! Как можно так опуститься!

— Сударыня!

— Как вы смеее понимать? Что вы понимаете? Вы должны только слушать!

— Слушаю.

— И ничего не понимаете.

— Совершенно верно: ничего не понимаю.

— А теперь уходите.

— Слушаю.

Капитан вышел, ошарашенный разговором с красавицей. Алеша смотрел на Нину и поражался:

— Нина, вас узнать нельзя. Какая у вас энергия! Вы просто командир.

Но Нина смотрела на него прежним, мягким и нежным, счастливым взглядом:

— Милый, вы простите, что я пришла к вам незваная, но вы знаете, я, наверное, в вас влюблена. Молчите, молчите. Это ничего, что я влюблена, у меня есть к вам два очень важных дела. Очень важных. Собственно говоря, только одно важное. Ах, как долго я рассказываю, такая болтушка! Этот самый человек, который погон у вас оторвал, этот самый человек хочет вас видеть. Он наш сосед, я с ним говорила. Это Иван Васильевич Груздев, он кочегар.

Нина смотрела на него, смущаясь, но в ее глазах все светилась какая-то радость.

— Пусть приходит,— сказал Алеша.

— Господи, какая вы прелесть, Алеша! Спасибо вам, а то он очень страдает, Иван Васильевич. Теперь у меня другое дело: приехал подполковник Троицкий, мой бывший жених, но он и теперь воображает. Он дрался 18 июня, получил какую-то серебряную ветку — все врет. Он убежал, честное слово, он убежал. Я сегодня ему скажу, что от меня он никакой ветки не получит. Вы разрешите сказать ему, что я его не люблю, а...

— Послушайте, Нина, как я могу разрешать такие вещи?

— Слушайте до конца. Разрешите ему сказать, что я его не люблю, а я люблю вас.

Алеша даже сел от неожиданности:

— Нина!

— Что?

— Вы ошибаетесь.

— Это мое дело. Если вы ошибаетесь, я вам не мешаю, и я тоже могу ошибаться, как мне хочется. Довольно женственности.

— Нина...

— Значит, можно? Имейте в виду, что этот попович будет на вас очень злиться.

— Пожалуйста,— улыбнулся Алеша.

— Ну вот, спасибо, милый. А то пришлось бы врать. А мне почему-то не хочется. До свидания, Алешенька. Поцелуйте мне хоть руку.

— Нина Петровна!

Она глянула в его глаза спокойным, радостным взглядом, кивнула головой и ушла. Алеша в полном смятении опустился на подушку и только сейчас вспомнил, что она не выразила никакого сочувствия к нему, а выразила сочувствие к Ивану Груздеву.

27

Иван Васильевич Груздев пришел на другой день, приоткрыл дверь и спросил несмело:

— Можно?

Капитан оглянулся:

— Входи, чего там «можно». Теперь все можно.

Груздев подошел к кровати Алеши и остановился, держа в руках какой-то предмет, напоминающий картуз. Темно-красное его лицо сегодня было выбрито. На Алешу смотрели серьезные, грустные глаза, а над ними висели белые мохнатые брови.

— Он не мешает?— спросил Алеша, ощущая к этому человеку какое-то неожиданное уважение.

— А он офицер?

— Офицер.

— Все равно. Не мешает.

— Садитесь, товарищ Груздев.

Груздев придвинул к себе стул, не желая садиться очень близко от кровати, и объяснил:

— Я, понимаете, кочегар, так... того...

Алеша неожиданно для себя улыбнулся кочегару и сказал:

— Кочегар — это очень хорошо. Знаете что, вы не думайте, что я на вас обижаюсь. Я на вас не обижаюсь. Хотя, конечно... это все и... но... знаете... без боли и пулю нельзя вырезать.

— Ты не обращай внимания,— кочегар поднял серьезные печальные глаза и улыбнулся. От этого его глаза не перестали быть печальными, но улыбка и в них отразилась какой-то теплой надеждой.— Боль, она, конечно... бывает и на пользу.

— Видите ли,— сказал Алеша,— вы, наверное, хороший кочегар, правда?

— Кочегар, как полагается,— подтвердил серьезно Груздев.

— Вот. А я хотел быть хорошим офицером... на войне нужно быть хорошим офицером. У меня погоны поручика... были... заслужены. Понимаете?

Капитан бросил набивать папиросы, встал во весь рост, склонил над Алешиной постелью свой длинный нос:

— Тьфу! Да ну вас к дьяволу! Я и сам уйду. Это он погон сдернул?

— Он.

— Ты сдернул?

— Уйди лучше,— сказал хмуро Груздев, не глядя на капитана.

— Ухожу! Черт с вами!

Капитан захватил с собой разные коробки и вышел.

Груздев проводил его взглядом.

— Видишь, товарищ Теплов. Может, ты и заслужил эти эполеты. Правильно. И может, тебе обидно — это я понимаю. А и у меня на сердце накопилось зла много. И за свою жизнь, и за сына. Сын у меня, хороший был сын. Ну, не знаю точно, как оно вышло, а сказал офицеру, слово только сказал, ругательное, конечно, слово. И загнали на каторгу, он там и умер в прошлом году. Ну и у меня жизнь... паршивая жизнь. А тут задумался я, вижу ты стоишь, в панском во всем наряде, вот и не стерпела душа. Я тебя по костюму посчитал... Да. А потом я узнал, что ты сын Семена Максимовича. И так мне стало нехорошо: своего человека обидел.

— А ты откуда знаешь моего отца?— спросил Алеша, сознательно переходя на «ты».

— Да кто же его не знает? В девятьсот пятом году и я работал у Пономарева. А он тогда бумажку бросил ротмистру прямо в морду.

— Какую бумажку?

— А ты разве не знаешь?

— Ничего не знаю.

— Неужели батька тебе не рассказывал?

— Не знаю ничего, не слышал.

— Вот он такой человек: другой бы на всех углах протрубил, а у него все с гордостью.

— Расскажи ты мне, Иван Васильевич: что такое?

— Да как же, обязательно расскажу. Дай-ка мне сигарку.

— Не курю.

— Да вон у этого носатого на кровати сколько хочешь.

Алеша передал ему папиросу.

— Расскажу, как же: тебе нужно знать. Твой отец был тогда самый геройский человек, в большую забастовку в комитете был. А когда вторая забастовка пошла, у него как все равно вожжа заела. Против, да и только. Видно, чуял, что тут наша не возьмет. Да кто его знает, почему, а только прямо говорил: не надо бастовать. А тут случай подошел: за один день до забастовки свалил его брюшной тиф или что другое, не помню, а только свезли его в больницу. Так без него и бастовали. А когда он выписался, уже и расправа пошла. Кое-кого и взяли, а всех рабочих в один день уволили, так и объявили: все уволены, а кто хочет работать, пускай подаст прошение. Там, на Костроме, маленькая школа тогда стояла, потом ее поломали, в этой школе и заседала комиссия. Такой хвост растянулся, до самого базара. И Семен Максимович стоит и бумажку в руках держит. За первый день пропустили человек триста, и до него дошла очередь. А в комиссии ротмистр жандармский сидел, посмотрел в списки и говорит: «Вы, господин

Теплов, напрасно беспокоитесь. Вы и не уволены и не бастовали. Пожалуйста, отправляйтесь на свое место и работайте на здоровье, как вы честный рабочий». Ну, тут Семен Максимович и загремел: «Это что такое? Какое ты имеешь право меня оскорблять?» Да к нему, а тот от него назад. «Ты,— говорит батька-то твой,— сдохнешь, а не будешь знать, какая бывает рабочая честь. Принимай сейчас же!»— да и швырнул ему бумажку в морду. Ну, тут, конечно, загалдели, вывели его и сразу постановили: уволить. На другой день, смотрим, и он стоит в очереди и опять бумажку в руках держит. Говорит: «Теперь я с полным правом к собакам на поклон пришел». Вот какой человек.

— Что же, приняли батьку?

— Нет, в тот день не приняли. Сказали: «Не нужно нам таких, чересчур честных». Только он недолго ходил без работы, всего месяц. Сам Пономарев ездил просить, другого такого токаря где он достанет! Да, большая гордость у старика, если бы у каждого такая...

28

И в следующие дни приходили к Алеше друзья, усаживались у его постели и почему-то краснели в первые моменты, хотя у Алеши и не могло быть сомнений в том, что они его любят, что им тяжело смотреть на его «гуляющую» голову и слушать спотыкающуюся речь. Алеша встречал друзей с особенным коварным любопытством и улыбался, а они еще сильнее краснели после этого и, начиная разговор о его болезни, старательно избегали вспоминать о несчастном случае на улице.

Алеша очень обрадовался тому, что Таня пришла не одна, а с братом Николаем, но свою радость заметил только тогда, когда Таня уже сидела у его постели. И потом, до самого ее ухода, Алеша то и дело вспоминал об этой радости и успевал между словами и движениями мысли кое-что сообразить, наскоро, мельком, в самой черновой форме. Для него было очевидно, что здесь замешана Нина Петровна, хотя до прихода Тани он почти не думал о ней. А сейчас стало ясно, что, как только Таня уйдет, он будет думать о Нине, вспоминать ее нежную силу, так неожиданно обнаруженную. Приходило, конечно тоже в черновом виде, соображение, что во всем вопросе что-то неладно, что здесь пахнет изменой Тане, что измена эта — дело нехорошее и некрасивое. Алеша быстро просматривал все эти мысли и в таком же походном порядке удивлялся своему веселому спокойствию. Он спрашивал себя, почему, и не успевал ответить, а в то же время видел сияние Таниной красоты и радовался ему. Наконец, он понял, что заварилась какая-то сложная каша, но и «каше» он радовался с давно забытым мальчишеским оптимизмом, почему-то сейчас восстановленным в его жизни, несмотря на дрожащую голову и заикающуюся речь. Так же спокойно Алеша признал, что Таня без всяких сомнений красивее и блистательнее Нины, во-вторых, что она роднее и ближе и, в-третьих, что все это почему-то не важно.

По сравнению с прошлым годом у Тани выровнялись и пополнили плечи, заметнее сделалась грудь, в ее движениях, в повороте головы, в том, как свободно она положила ногу на ногу, ничего уже не оставалось от гимназистки. И лицо у Тани сейчас ярче, и улыбка самостоятельнее.

Взгляд у Тани внимательный и простой, умный и дружески-искренний. В ее лице как будто меньше стало игры и больше хорошей, открытой честности.

Таня спрашивала:

— Алеша, когда ты поправишься?

— Алеша, с твоей раной не стало хуже?

В этих словах было настоящее любовное беспокойство. Но больше всего оживилась Таня, когда вспомнила о своих курсах. Она быстро поправила завиток волос над ухом и заговорила, блестя глазами:

— Там теперь такой беспорядок. Я полукурсовку сдавала-сдавала, да и не знаю, чем кончилось. Ботаник мне на честное слово поверил, а зоологию просто не успели принять, так засчитали...

— Ты поедешь на зиму?— спросил Алеша.

— А как же!— воскликнула Таня.— Надо ехать. В этом году, наверное, все будет по-новому. Ах, как хорошо учиться, Алешенька! Я когда вхожу в аудиторию, до сих пор дрожу от радости. А ты поедешь в институт, Алеша?

— Честное слово, Таня, вот сейчас при тебе первый раз вспомнил об этом.

— А как же ты думаешь? А как же? Ведь тебя не пошлют на войну? Опять на войну?

— Да... я не знаю... Я просто не вспоминал об институте...

Таня вдруг хлопнула в ладоши:

— Ты представляешь себе: вот если вся власть Советам! Как было бы замечательно учиться. Говорят, всем стипендии будут. Всем, понимаешь, всем! Ты знаешь, уроки эти все-таки надоели. Очень это тяжело: уроки!

— Ты Павлу много должна?

— Сто пятнадцать рублей. А он не хочет считать.

— Оказался меценат?

— Да нет, он просто ничего не помнит.

— Вот какая ты странная, Таня,— вдруг сказал Николай.— Разве у Павла есть время считать твои деньги? У него есть дела поважнее...

— Зато он о Тане не забыл? Правда?

Таня покраснела, отвернулась к окну, но взяла себя в руки и прошептала:

— Я его очень люблю...

— Деньги — это чепуха,— улыбнулся Алеша.— О деньгах теперь не стоит и говорить. Мне сюда все какие-то глупые деньги приходят. Ты знаешь, это прямо здорово: война идет, революция, все на попу поставлено, а там люди сидят, считают, ведомости пишут, деньги присылают. Много еще чудачков на свете. Зачем тебе у Павла брать! Да у него и денег нету. Вот смотри, двести рублей. Ты их возьми, Таня, все равно это глупые деньги.

— Да что ты, Алеша...

— Возьми, не разговаривай. Они того не стоят, чтобы о них говорить. Да и будет так замечательно: и Павел тебе помог, и я.

Алеша смеялся в самую глубину ее глаз, а Таня даже и не смущалась.

— Ну ладно,— улыбнулась она.— Как это... интересно, когда есть дружба.

— И любовь.

— И любовь,— подтвердила Таня.

Николай сидел на кровати, внимательно слушал их разговор и думал о чем-то своем. Он пополнил и порозовел, но душа у него брела по свету в каком-то тихом одиночестве.

Они ушли. Алеша долго еще улыбался в потолок. «И любовь»,— сказала Таня. Только любит она Павла и даже не скрывает этого. А тогда в вагоне... Неужели у него был такой жалкий вид? Алеша задумался над тем, как легко в мире отравить человека: тот любви принял излишнюю дозу, тот жалости, того отравили газы, а другого... погоны.

29

Степан пришел вечером. Капитан лежал на кровати, курил и молчал. Степан закричал с порога:

— Есть тут живой человек?

— Живых нет,— ответил капитан,— есть выздоравливающие.

В сумерках Степан разобрал приветливую улыбку Алеши и загалдел еще громче:

— Если выздоравливающие,— значит, живые. Мертвый никогда не поправится.

— А ты чего орешь? Ты кто такой?— спросил капитан хмуро.

— Когда-то был такой-сякой, а потом производство вышло: растакой-рассякой. По миновании же времени, как рассмотрели меня поближе, дали чин повыше: герой не герой, а денщик боевой.

Степан проговорил эту тираду одним духом и замер против капитана в дурашливой позе, склонившись вперед и свесив мешковатые болтающиеся руки. Капитан молча смотрел на его занятно глупую рожу. Алеша громко рассмеялся и хлопнул рукой по сиденью стула:

— Степан, дорогой! Садись... рассказывай...

Степан забыл о капитане и уселся на стул, расставив на всю комнату выцветшие и заплатанные светло-хаковые «коленочки».

— Что же это... ты, Алеша, опять лежишь?

В Алешиных глазах быстро проскочило удивление, но потом у него на душе вдруг стало просто и радостно. От удовольствия он даже потянулся в постели, обратился к Степану улыбающимся румяным лицом:

— Вот спасибо! Ты меня так всегда называй.

Капитан оглянулся через плечо, посмотрел на Алешин затылок, энергично ткнул палочкой в гильзу, разорвал ее, бросил и поднялся с постели:

— Мне, может быть, уйти, господин поручик?

— Сиди,— сказал Степан и махнул весело рукой.— Куда там тебе уходить?

Капитан тупо присмотрелся к Степану и с быстрой, вспыхивающей улыбкой спросил:

— Значит, ты денщик?

— Денщик. А ты кто?

— А я капитан артиллерии.

— Один черт,— сказал Степан.— Ты — капитан артиллерии, а я — Степан пехоты. А честь одна: и ты провоевался, и я провоевался.

— Ишь ты!— отозвался капитан и машинально пошевелил палочкой в руках. Потом так же машинально он опустился на свою кровать, не отрываясь взглядом от Степана, и вдруг серьезно заговорил:

— Ну, хорошо, провоевались, это верно. А что ты дальше будешь делать, товарищ Степан пехоты?

— У меня делов много,— важно ответил Степан и фертном поставил руку на колено.

Капитан покорно подчинился этому важному действию и даже подскочил на кровати, придвигаясь ближе к Степану.

— Много? Какие же такие дела?

— Первое дело: Керенского выгнать.

— Это ты будешь?

— Что?

— Керенского выгонять?

— В общем — я.

— А дальше?

— А дальше: вся власть Советам!

— Вот как? Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов?

Так, что ли?

— Угадал! С одного раза угадал!

Степан пришел в восторг и захохотал громко. Засмеялся и капитан. Давно уже, улыбаясь, следил за разговором Алеша.

— Значит, моих депутатов там нет?— спросил капитан.

Степан как будто впервые обратил внимание на это занимательное обстоятельство. Он сочувственно посмотрел на капитана и даже головой покачал:

— Смотри ты! А выходит: твоих действительно нет. Как же ты теперь будешь?

Капитан не то иронически, не то печально поник головой и пробурчал негромко:

— Вот и вопрос: как я буду?

Он поднял припухшие, воспаленные глаза и сказал:

— Может, ты скажешь, как я буду.

Алеша перестал улыбаться, в его глазах появилось выражение прищуренного детского сочувствия. Степан отнесся к вопросу серьезно, внимательно, как доктор. Он отбросил в сторону тон напыщенной шутки и спросил просто:

— Ты того... богатый?

В глазах капитана блеснула надежда. Он с удовлетворенной готовностью ответил:

— Я... вот... весь здесь.

— Это легче. Это, как же... значит, совсем ничего нет?

— Ничего.

— А... того... делать что-нибудь умеешь?

— Работать?

— Ну, делать, работать, тебе не все равно?

— Не умею,— ответил капитан грустно.

Степан возмутился:

— Как это так говоришь: не умею. Грамотный ведь?

Капитан передернул плечами. Степан продолжал:

— Грамотный, писать умеешь. Папиросы вот набивать умеешь, сапоги чистить, подмести, скажем, посуду помыть, сторожить, в лавочку сбегать...

Степан загибал пальцы и серьезно перечислял все работы, к которым привык в последнюю свою денщицкую эпоху. Капитан слушал, слушал и рассмеялся.

— Чего ты?— спросил строго Степан.— Чего ты смеешься? Надо надежду иметь и добиваться. Всегда успех будет.

— Да ну тебя к черту!— сказал капитан.— Я — военный, понимаешь? Моя специальность — артиллерист. А ты мне — сапоги чистить!

— Постой, постой! — Степан протянул руку.— Артиллерист,— значит, тебе стрелять нужно. Без стрельбы, выходит, ты не можешь прожить. А в кого ты будешь стрелять? Мишень у тебя какая?

— Отстань,— сказал капитан и отвернулся к своим папиросам.

— Ну, как хочешь. А только ты не воображай, дорогой, как будто ты — капитан артиллерии. Ты и есть просто бесштаный человек — и все. Вот как и я. И погоны эти срежь, легче станет.

— Все-таки отстань! Я — офицер. Меня могут убить, скажут: офицерская сволочь. Пускай. У меня тоже есть гордость.

— И у козла гордость была: ему в бок ножом, а он тебе одно — умру, а останусь козлом. А вышла не та натура: остался не козел, а козлиная шкура.

— Что это такое... мелешь? Выучил где, что ли?

— Выучить не выучил, а прожил сорок лет — вымучил. Гордость у тебя, скажи пожалуйста. Никакой гордости у тебя нету.

— Как нету?

— Нету. Вся Россия переменяется. Понимаешь: вся власть Советам! Вся власть! Понимаешь?

Капитан отвернулся вполоборота, задумался, потом спросил, как будто только сейчас родилась в его мозгу какая-то блестящая идея:

— Вся власть? Но... постой. Ведь им... артиллеристы нужны будут?

— Кому это?

— Да Советам же этим! — ответил капитан с досадой.

Алеша громко расхохотался. Капитан удивленно обернулся к нему и вытаращил глаза. Алеша протянул к нему руки:

— Дорогой капитан! Очень нужно! Страшно нужно! Без артиллеристов — как без рук.

Степан вытирал лоб, растянул рот и отдувался:

— Насилу разъяснили человеку!

30

Надежда Леонидовна ласково смотрела на Алешу и удивлялась:

— Как вы хорошо поправились, товарищ Теплов! Прямо удивительно. И, видно, у вас на душе хорошо.

— Хорошо на душе, Надежда Леонидовна. Прекрасно на душе!

Алеша положил руку на грудь и вздохнул глубоко:

— Видите, дышать как легко стало. Все замечательно, Надежда Леонидовна. Мне только одного Богатырчука не хватает. Где он у черта запропастился?

— Кто это... Богатырчук?

— Это такой... человек, Богатырчук.

Алеша произнес это имя с особым выражением, как будто уже в его звуках заключался весь смысл этого человека. Надежда Леонидовна следила за шагающим по комнате Алешей, присматривалась к его возбужденно-подвижной мимике. Алеша сильно хромал, опираясь на новую желтую палку, но даже это обстоятельство приводило его в восторг, на поворотах он сильно размахивал больной ногой и выделывал всякие выкрутасы палкой.

— Вы все-таки поосторожнее с ногой, — сказала Надежда Леонидовна, — у вас там очень сложные дела были.

— Надежда Леонидовна, неужели я так и останусь Топал-пашой. Досадно будет. Здорово меня, знаете, дергает в правую сторону. На костылях было ровнее, а теперь качает.

Алеша с сожалением посмотрел на костыли, стоящие в углу.

— Нельзя на костылях, ноге нужно дать работу. Я вам так скажу: разное бывает. У вас организм молодой, расхódитесь. Сначала сильно будете хромать, потом меньше.

— А потом и совсем не буду?

— Может быть. Чуть-чуть все-таки будете прихрамывать. Но это ничего, даже оригинально.

Капитан грустно копошился на своей кровати, что-то перекладывал в стареньком офицерском чемодане, расположил на кровати белье, какие-то свертки, коробки. Задумался над молчаливо холодным наганом и швырнул его в чемодан. Потом расстелил на коленях темно-коричневый новый френч, положил на него локти, задумался и над ним, кашлянул. Достал из кармана перочинный ножик, хмуро присмотрелся к нему, дунул на него и осторожно открыл лезвие. Наклонившись низко над френчем, устремив глаза в одну точку, еле заметно подрагивая солдатской стриженной головой, он мелкими аккуратными движениями начал спарывать погон.

Алеша весело подмигнул на капитана, Надежда Леонидовна улыбнулась, но капитан ничего не заметил. Он так тихо, так неподвижно проделывал свою работу, что казалось, будто он просто замер в созерцании своего нового темно-коричневого френча.

Степан вторгся в комнату с сапожным грохотом и заорал:

— Извозчик в полной готовности!

Алеша поклонился:

— Спасибо, родненькая Надежда Леонидовна!

Степан гремел по комнате, заглядывая в шкафы, под кровати, изредка посматривал на замершую фигуру капитана:

— Костыли возьмем, Алексей?

— А для чего?

— А мало ли что бывает в жизни? Не тебе, так кому другому ногу поломают!

С легким, приятным стуком костыли поместились у него подмышкой.

— Во! Теперь шашка! Шашка, она всегда пригодится! Как же это можно: холодное оружие, да еще и геройское! Наган в кармане? Значит, все. Ну, капитан артиллерии! О! Да ты погончики срезываешь? До чего ты сознательный человек, милый мой!

Капитан поднял голову, наморщил лоб, глянул на Степана, невнимательным движением отодвинул в сторону френч. Погоны мягко сползли на пол, за ними весело прыгнул ножик. Капитан ничего этого не заметил, сидел на кровати и смотрел в одну точку. Алеша подошел к нему. Степан, увешанный костылями и шашкой, тоже нацелился на капитана:

— Что такое?

Капитан поежился, заложил руки между колен и еще больше наморщил лоб:

— Знаете что? Я поеду с вами?

— Куда ты поедешь?— спросил Степан, наклонившись к нему.

— С вами поеду. К вашим родителям. А?

Капитан покраснел, крепче сжал руки коленями, с растерянной и трусливой надеждой смотрел на Алешу. Алеша смутился, хотел что-то сказать, но Степан предупредил его. Описывая костылями круг по всей комнате, он зашел спереди:

— Куда ты поедешь? Там живет трудящийся народ, и притом бедный. А ты смотри какой — с гордостью, тебя кормить нужно или не нужно? Семен Максимович скажет: чего это у меня, казарма, что ли. Не только тебя, а и меня выгонит.

Капитан воззрился на Степана, шевельнул усом, прохрипел:

— Все равно возьмите. Что ж... я еще пригожусь. А тут... как же... Мне много не нужно. Какой-нибудь угол. Кровать у меня вот, офицерская, походная. А подушка вообще лишнее. Шинелью укурюсь.

— Деньги у тебя есть, что ли? Чем тебя кормить?

— Да брось, — сказал Алеша. — Едем, капитан, едем! Собирайтесь!

Капитан быстро вскочил, схватил френч и бросил в чемодан. После этого полез под кровать, достал ножик и опустил в карман. Хмуро кивнул Степану:

— Иди сюда.

Он повел Степана в угол. Степан уткнулся костылями в стену, расставил ноги. Алеша улыбнулся Надежде Леонидовне. Капитан наклонил голову в угол и забурчал тихо:

— Ты чего это болтаешь, как остолоп? Деньги, деньги! Что же ты думаешь, я на хлеба пойду к Теплому?

— Да ты гордый! Куда тебе там... на хлеба!

— У меня вот смотри, сколько денег. Жалованье и за ранение. Здесь никуда не тратил.

Степан с деловым видом посмотрел на деньги, кивнул костылями:

— Все в порядке. А насчет прочего не сомневайся. Народ трудящийся, душевный. И работу в случае чего найдем по письменной части. Я вот уже поступил в рабочую милицию. На заводе тоже. Понимаешь?

Капитан понял, кивнул носом над бумажником.

— Все в порядке, как полагается по уставу гарнизонной службы!— закричал Степан. — Едем!

Он направился к дверям, пока остальные прощались с Надеждой Леонидовной; у дверей втянул живот и, подражая лихому командиру, перекошил рот и заорал:

— Парад, смирно! Гаспада афицеры!!

Алеша весело размахнулся палкой и захромал к выходу. По дороге он ткнул в живот Степана, и Степан так же весело ойкнул. Капитан взял свой чемодан и прошел мимо Степана с таким выражением, с каким, бывает, ребенок покорно следует за старшими, не зная, куда его ведут, но до конца доверяя их испытанной мудрости.

31

Василиса Петровна с удивлением смотрела на носатого капитана. Капитан поставил чемодан на пол и подошел к Василисе Петровне. По непобедимой армейской привычке он щелкнул порыжевшими задниками сапог и подставил руку. Василиса Петровна торопливо вытерла свою руку о фартук, протянула ее капитану и сжала губы. Капитан переступил, еще раз щелкнул каблуками и приложился к сморщенной, худенькой ручке Василисы Петровны. Она нахмурилась, зашевелила пальцами, пытаясь освободить руку. Степан захохотал:

— Видишь, мамаша, какое обращение! Эх, темнота, ну, ничего, век живи, век учись!

Он через всю кухню протащил массивный неповоротливый сапог, подставил широкую длань. Василиса Петровна махнула на него рукой:

— Довольно тебе чудить! Кого это привезли? Как вас зовут?

— Во!— закричал Степан.— Какие мы с тобой, Алешка, олухи! Небось и не спросили, как звать. А мамаша первым делом. Заладили: капитан, капитан, как будто у него человеческого имени нету.

Алеша оттолкнул Степана:

— Мама, это...— он пропел:— «Онегин, мммой сосед».

В кухню на шум вышел Семен Максимович:

— Ты чего дурачишься, Алексей? Если пришел с человеком, нечего дурачиться!

— Отец, это капитан артиллерии Бойко, Михаил Антонович, а это его чемодан, а к чемодану, невооруженным глазом видно, привязана кровать.

Перед Семеном Максимовичем капитан тоже щелкнул каблуками, пожал ему руку, но на лице все время сохранял выражение строгой озабоченности. Вероятно, его смутил несколько удивленный взгляд Семена Максимовича, который тот невольно бросил на чемодан. Веселое настроение Алешки и Степана его радовало, но все же как-то так вышло, что сообщить хозяевам о цели своего прибытия должен был все-таки он сам. Семен Максимович пропустил капитана в дверь чистой комнаты. Капитан бросился было к своему чемодану, но остановился, махнул рукой и быстро проследовал за хозяином. Он уселся на кончик стула, но, заметив, что Семен Максимович стоит, поднялся:

— Товарищ Теплов, я понимаю, что вы удивлены, и вообще не совсем удобно с моей стороны, пользуясь случайными, так сказать, обстоятельствами...

Семен Максимович провел под усами пальцем и перебил капитана:

— Да вы короче. Чего там «вообще»? Вы совсем сюда? С чемоданом? Деваться некуда?

Капитан огорчился, повернулся немного вбок, его усы зашевелились растерянно. Так в сторону он и сказал глухо:

— Видите, как-то так вышло... Был офицер, дослужился только до капитана. И ранен был, и... долг свой выполнял честно, а вышло действительно деваться некуда. А тут ваш сын собрался домой, а я, прямо вам скажу, завидно стало, напросился. Если не стесню, разрешите, поживу пока...

— Воевать кончили?— спросил Семен Максимович, разглядывая капитана в упор.

— Кончили, товарищ Теплов. Я и погоны срезал сегодня.

— Ага.

— Срезал, товарищ Теплов.

— Так... вас, что же, отпустили или как?

— Я был сильно контужен, имею годичный отпуск. Но все равно, какая там война? Да и с вашими поговорил... вот... хочется... к народу ближе. Вы не думайте, я люблю солдат, любил, хорошие были отношения.

— Ну, что ж?— сказал Семен Максимович.— Поживите у нас пока, а там видно будет. Кровать можно здесь поставить. Алеша на диване спит.

Через час капитан сидел уже на своей кровати, наводил порядок в чемодане и даже что-то мурлыкал под нос, поглядывая в окно. Из чистой комнаты узенькая дверь вела в каморку, где летом спали старики. Из-за этой двери теперь раздавался гулкий голос Степана. Что-то ему возражала Василиса Петровна, но, видимо, безнадежно, потому что Степан распахнул дверь и продолжал уже в комнате:

— Вы, мамаша,— вроде, как командир роты. Должна быть дисциплина и законное расположение по диспозиции. Алексей!— закричал он в дверь.— Алексей! Подь сюда, голубок,— военный совет.

Алексей выглянул из кухни.

— А где Семен Максимович?— спросил Степан.

— На дворе с чем-то возится.

— Вот и хорошо. Без высшего начальства как-то удобнее. Вы, Василиса Петровна, не возражайте. Здесь все люди военные, вам не стоит выходить на линию огня, как вы слабая женщина.

Василиса Петровна стояла у дверей в каморку, потирала руки и улыбалась:

— Алеша, ты скажи ему что-нибудь, такую власть забрал, уже меня из кухни выгоняет. Ты послушай, что он говорит!

— Говорю дело, Василиса Петровна, дело. Вот пускай и господа офицеры разберут. А что касается кухни, будьте покойны, без аннексий и контрибуций. Территория кухни за вами, только раньше вы были вроде как за кухарку, при царской власти, а теперь за командира будете.

— Интересно,— сказал Алеша.— Ты умница, Степан.

— А как же, Алексей Семенович, даром, что ли, кровь проливали?

— Дальше!

— Дальше так. На базар ходить, картошку чистить, дрова рубить, носить, уборка, мойка, ремонт, растопка, трубу открыть, закрыть, подать, принять, вывернуть, перевернуть, зажарить, недожарить, пережарить,

посолить, воды налить, туда, сюда, где горе, где беда, а где беды нету, там нету и ответу, на копейку соли, на копейку дрожжей, вот тебе сколько затей. Кто? Спрашивается, товарищи, кто? Отвечайте, как батальонному командиру!

Капитан слушал, все больше и больше увлекаясь, а когда Степан спросил: «кто?» — он быстро глянул на Алешу и ответил вместе с ним солидно и громко, глядя на Степана и даже мотая головой, только не подражая Алеше в выражении веселой дурашливости:

— Мы, ваш сок бродь!

— Правильно отвечаете! — похвалил Степан. — А теперь нужно разъяснить, как будет по уставу.

Капитан поднял глаза, и Алеша впервые увидел в них заинтересованность жизнью. Капитан сказал:

— Видишь ли, товарищ Степан. Поручика нельзя поставить на кухню, потому что он еще больной и с палкой ходит.

Алеша жалобно обратился к матери:

— Ты замечаешь, как меня капитан Бойко обижает?

Тогда капитан широко открыл рот и захохотал. К общему удивлению, у него во рту оказалось так много зубов и они с таким свежим блеском глянули сквозь бахрому усов, что даже Степан удивился и сказал:

— Ох ты, капитан артиллерии, да ты еще герой!

32

Кухней Василисы Петровны завладел капитан. Степан с утра вместе с Семеном Максимовичем уходил на завод, а когда они возвращались, капитан ошеломлял их таким сияющим порядком, что Степан долго и молча вытирал сапоги, а потом оглядывался на Семена Максимовича и говорил:

— Обратали, понимаешь, рабочий класс — ни статья, ни сесть. А главное, хозяйка на его стороне.

В первый же день своей помощи капитан поразил Василису Петровну. Он ни разу не улыбнулся за этот день. Его нос и усы имели самый недовольный и угрюмый вид. Немного склонившись вперед, он шаркал по полу истоптанными сапогами и поблескивал отлакированной диагональю галифе, но в его руках непривычными для Василисы Петровны мужскими приемами быстро делалось всякое дело, и все становилось на место. Посмотрев на самовар, он пробурчал:

— Почистим.

Василиса Петровна ничего не ответила, потому что самовар действительно имел вид неказистый, а чистить его ей все было некогда. Капитан чистил самовар самым диким образом: он не сел на полу и не поставил самовар между колен, как это полагалось испокон веков, а на кухонном столе разостлал газету и на ней провел всю операцию.

Разговорились они с Василисой Петровной только на другой день, когда, закрыв печь заслонкой, хозяйка вымыла руки и уселась на табуретке отдохнуть, а капитан осторожными, размеренными движениями начал подметать пол.

— У вас что... никого нет? Родных нет?

Капитан ответил охотно, но хмуро, не отрываясь от работы:

- Никого, Василиса Петровна.
- И не было?
- Да раньше водились дяди всякие, племянники, а потом, черт его знает: они мне не нужны, и я им не нужен, растерялись.
- И жены не было?
- Не было.
- Как же это так? Почему?
- Да вышло так... Полюбил было... девушку, да... на имеритуру не собрался.
- Это что ж такое?
- Деньги нужно было... вот женюсь, а вот у меня деньги...
- Закон такой?
- Закон.
- Дурацкий какой закон.
- Кто его знает...
- Да что ж тут знать... Кому какое дело...
- Офицер не должен нуждаться... Богатым нужно быть...
- Да если не с чего?
- А не с чего, не лезь в офицеры.
- А-а!
- Да. Раз офицер, должен себя поддерживать, честь должен сохранять.
- Честь? Что же эта за такая глупая честь?

Капитан ничего не ответил.

Ему что-то понравилось в семье Тепловых, но он ничем не старался выражать свою симпатию. Почти целый день он проводил в кухне у Василисы Петровны, ходил с нею на базар, стоял в очереди за хлебом, все делал молчаливо, аккуратно, в сосредоточенных движениях, и только когда все было сделано, они усаживались на табуретках один против другого, и Василиса Петровна с осуждающими поджатыми губами выслушивала рассказы капитана о его дурацкой жизни.

Только после обеда, когда были дома все, в хате становилось шумно, но и в этом шуме капитан принимал самое молчаливое участие, сидел на своей кровати и что-нибудь делал: набивал папиросы, пришивал пуговицу, поправлял заплату или перекладывал вещи в чемодане.

Как и всегда, Степан выдворил из кухни Василису Петровну и принялся за мойку посуды. Но сегодня он то и дело появлялся в дверях чистой комнаты, ибо сегодня он не мог пропустить без ответа ни одного слова. Протирая вымытую тарелку, он заявил, расставив ноги в дверях:

— Корнилов, как же! Боевой генерал! Победоносный! Кого он только победил, никак не разберу. Если бы сказать немцев, — так и не немцев. Нашего брата победить хочет, да куда ему! В Питере ему всыпят в эти самые места.

Семен Максимович разложил на высоких угловатых коленях газетный лист и сердито шевелил бледными губами:

— Всыпят? Кто всыпет? Ты вон тарелку в руках мусолишь, поразлазились все, кто куда. А он, смотри, войной пошел. На кого пошел?

— На Керенского, — сказал Алеша, стоя посреди комнаты.

— А потом? — Семен Максимович строго посмотрел на Алешу.

Алеша оглянулся на капитана. Капитан внимательно продевал нитку в иголку и даже не прищурился на узкую игольную дырочку. Алеша шагнул палкой в сторону и шумно вздохнул:

— Он вот пишет: за Россию!

— А за кого же ему и идти. И Керенский за Россию! — громко сказал Степан. — У этого Керенского даже слюней не хватает — так за Россию старается. Россия ему нужна!

— А тебе не нужна? — спросил Алеша сурово-придирчиво.

Степан даже присел в дверях от веселого настроения:

— И мне нужна, а как же! Прибавь, пожалуйста, и меня туда. Будет, значит: Керенский, Корнилов и Степан Колдунов. Надо и мне на кого-то войной идти. А я, дурак, тут с тарелкой сижу.

Семен Максимович недовольно дернул газетой и напал на Степана:

— Зубоскалишь! Зубоскалишь, подлец! До чего глупый народ... Он нас голыми руками возьмет и на шею сядет. Понимаешь ты или не понимаешь, балда саратовская?

Развел Степан тарелкой и полотенцем и душевно обратился к Семену Максимовичу:

— Отец! Голыми руками нас не возьмешь. Он — дурак, Корнилов этот, хоть и генерал. Россия — вот она, руку протяни, а взять не возьмешь. Это его счастье будет, если он до Питера не дойдет. А если дойдет, там ему и охот. Я в Питере бывал, — знаю, какой там народ. Царь не взял, а то какой-то Корнилов.

— Вы вот разбрелись, а у него дикая дивизия какая-то...

— Да я эту дивизию видел. Видел ты их, Алексей? Как же, в нашем корпусе были.

— В нашем, — подтвердил Алеша.

— Ну, вот, в нашем же корпусе. Точь-в-точь в нашем. Мы тут стояли, а они тут. Рядышком и стояли. В нашем корпусе!

Семен Максимович сердито поднялся со стула:

— Да брось ты: в нашем, в нашем! Ну, и что?

— Да ничего. Обыкновенные люди. Надо полагать, с мозолями. И на плечах головы... если так выразиться... Обыкновенные головы.

— Ну?

— Как и у всех людей. Им нет расчета за Корнилова головы эти класть. Нет, Семен Максимович, с дикой дивизией Россию не остановишь. Это ж все ж таки трудящийся народ, как говорится, вся Россия, а то тебе дикая дивизия.

— А вы как думаете, товарищ капитан?

Капитан протасил нитку сквозь дырочку пуговицы, поставил локти на колени, хмуро посмотрел в угол и сказал серьезно:

— Дикая дивизия — ерунда, смешно. Артиллерия нужна. Тяжелая при этом. И... порядочно. Принимая во внимание, все-таки... Петроград, народу много, обороняться будут — раз, Балтийский флот — два.

Капитан смотрел холодным взглядом в угол и загибал пальцы. Степан опустил тарелку и даже рот открыл от внимания. Семен Максимович захватил бороду и усы и потянул все книзу. Алеша стукнул палкой и сказал напряженно:

— Ну! Дальше!

— Да что ж дальше, вот и все,— ответил капитан и посмотрел на загнутые два пальца.

— Так и у него, наверно, есть артиллерия,— произнес Семен Максимович.

— Наверно, есть,— подтвердил Алеша.

Капитан мотнул головой, бросил несколько удивленный взгляд на Алешу:

— Чудак вы, а еще поручик. Артиллерия — это значит: пушка. Стрелять нужно. А кто же будет стрелять? Дикая дивизия, что ли? Какие они там артиллеристы!

— А другие?

— Кто это? Артиллеристы?

— Ну да.

— Стрелять?

Капитан задержал свою нитку и заговорил быстро и глухо:

— Семен Максимович, вы, конечно, можете думать что угодно. И я к вам самым нахальным образом... Но только я могу сказать, хоть... скажем, и бывший офицер... а могу сказать: артиллеристы — по Петрограду? Крывать из гаубиц или, допустим, мортир? Даже и трехдюймовые? Все-таки... у них... у нас... совесть осталась какая-нибудь. Хоть немного, а осталось?

Он поднял глаза на Семена Максимовича, и в глазах его, покрасневших от обиды, был прямой строгий вопрос. С опущенной газетой, на высоких, прямых ногах стоял токарь Теплов против капитана артиллерии Бойко и хитровато двигал серьезным, седым усом. Степан загалдел в дверях:

— Совесть — она вроде денег. У кого была, у того и осталась. А у кого не было, у того и оставаться нечему. С голого, как с святого.

Семен Максимович косо глянул на Степана:

— Нет... Это капитан правильно сказал. Военное дело... все-таки специальность... Артиллерия, правильно... не будут стрелять... Ну... а из винтовок?

— Из винтовки, Семен Максимович, всякая сволочь стрелять может, а из пушки черта с два.

Алеша отвернулся к окну, посмотрел на отца через плечо, ничего не сказал, а когда отец и Степан вышли, он произнес негромко:

— И из пушек... некоторые могут стрелять.

— Кто?

— Офицеры.

— Артиллеристы?

— Да.

— Никогда! — ответил капитан решительно. — Никогда! По народу?

— А девятьсот пятый?

— Так кто? Кто? Помните? Гвардия! Видите?

Степан стоял у колодца, держал в руках ведро, полное воды, и говорил Семену Максимовичу:

— А я тебе что говорил? Он такой боевой генерал, только в плену сидеть. У немцев сидел, а теперь у своих сидит. Называется боевой генерал.

Алеша возразил:

— Ну, ты, Степан, неправильно говоришь. От немцев он геройски удрал.

— А от наших не удерет... герой такой.

Семен Максимович на земле сбивал деревянный ящик для угля и энергично кричал, размахиваясь тяжелым молотком.

— От таких, как теперь наши, тоже удрать может.

— А чем наши плохие? — спросил Степан.

— Разболтались очень, разговорились. Корнилов этот не такой, как ты думаешь. Да и другие есть, наверное.

— А мы, по-твоему, какие, Семен Максимович?

— А что же? Тут за жабры брать нужно, а мы болтаем.

Стукнула калитка. Алеша быстро пошел навстречу Павлу Варавве:

— Павлушка!

Павло сверкнул белками, белыми зубами. Его смуглое лицо сейчас горело здоровьем, оживлением и силой. Он пожал руку Алеше и обратился к Семену Максимовичу с серьезной, дружеской почтительностью:

— Товарищ Теплов, я за вами.

— Что у вас там загорелось?

— Да вот я вам расскажу.

Он взял старика под руку и потащил в садик. Семен Максимович шел за ним, деловито и озабоченно поглаживая бороду. Степан поднял ведро и потащил в хату. По дороге моргнул на садик:

— Секреты завелись у рабочего класса.

Он поставил ведро в сенях и выскочил снова во двор:

— Алеша, Алеша, а знаешь, чего они толкуют все, большевики-то наши?

— А ты знаешь?

— А как же? Я все знаю. Оружие готовят.

— Ну?

— Честное тебе слово. Красная гвардия будет. Война!

Проходя к калитке, Павел сказал Алеше:

— Алексей, слышал? Подполковник Троицкий здесь.

— Да он уехал давно.

— Опять приехал. У Корнилова был. И не скрывает, хвастает.

Степан растянул рот:

— Хвастал один, по базару, дескать, ходил, догнать не догнали, а бока ободрали.

По своему обыкновению, Павел высоко вскинул руки и захохотал на весь двор, а потом сказал Алеше:

— Говорят, он не даром сюда приехал. Мобилизация офицеров.

— Да брось, — отмахнулся Алеша.

— Увидишь. Он тебя найдет наверняка.

Степан открыл рот и глаза:

— Во! Это ж в каком будет смысле? Мобилизация!

Предсказание Павла подтвердилось скоро. Через несколько дней в кухню вошла чернобровая быстроглазая девушка и, держа в руках белый конверт, спросила:

— Не туда, что ли, попала?

— А тебе куда нужно? — спросил капитан.

— Тут нужно... Теплова. Поручник... поручик они. Из офицеров.

Капитан поднял одну бровь:

— Из офицеров? А для чего тебе?

— А подполковник Троицкий, батюшки нашего сынок, прислали. Только сказали, в личные ихние руки.

— А ты при чем?

— Хи... А как же... я там, у батюшки роблю.

— Прислуга?

— Не прислуга, а горничная вовсе.

— Ну, давай.

— А это вы и будете... поручник... пору... тчик Теплов?

— Это я и буду.

— Не, это не может такое быть... пору... тчик молодые должны быть...

— Алексей Семенович, — крикнул капитан в другую комнату, — идите-ка сюда.

Алеша вышел. Чернобровая обрадовалась:

— Это они и будут молодые... Поручник...

Алеша вскрыл конверт:

— Ха! Павло правду говорил. Почитайте, капитан.

— Вот видите, — пропела девушка, — а вы капитан вовсе. А не тот...

— А ты шустрая! — сказал Алеша.

— А отчевой-то вы так бедно живете? И капитан, и поручник, а бедно живете? Я сколько уже отнесла бумажек этих, так богато живут, а вы бедно отчевой-то...

— Как тебя зовут? Маруся? — спросил Алеша.

— Ой, боже ж мой, господи, Маруся! А откуда вы узнали?

— Так по глазам же видно.

Маруся дернулась к дверям, но оглянулась на Алешу сердито:

— У! По глазам! Ничего по глазам не видно!

Капитан серьезно вытянул губы:

— Ну, что ты, милая, как тебе не стыдно! Такая большая и такого пустяка не знаешь! Всегда видно.

— А почему по ваших глазах не видно, как вас звать?

— Так он же не Маруся.

— Ой! Какие вы! А... а угадали, смотри!

Очарованная этим обстоятельством, Маруся блаженно загляделась на Алешу. Он поставил ей стул:

— Марусыно, сердце! Садись, красавица.

— А для чего?

Но села, не спуская с Алеши пораженных событиями очей.

— Так богато, говоришь, живут?

— Это... кому письма носила? Ой, и богато! Как те, как буржуи!

— А к кому ты носила?

— И вчера носила и сегодня. Значит, так: поручник... тот... Бобровский, потом капитан Воронцов, потом еще капитан, только не настоящий капитан, а еще как-то...

— Штабс-капитан?

— Ага, штабс-капитан Волошенко, потом тоже поручник Остобородько.
— Остобородько? Да разве он приехал?
— Четыре дня! Я к ним теперь отнесла. Раньше там сам барин ходили, там барышня такая славенькая. Она была невеста нашему барину, а теперь не захотела. Так наш туда больше не ходит, а письмо послали...

— А еще кому?

— И еще было... этот самый, купца сынок, тот называется под... под... пору... тчик. Штепа. Так и называется Штепа. А чего вы так бедно живете?

— Все деньги, Маруся, пропили.

— Ой, как же можно... так пить. Только все это неправду говорите. До свидания.

Маруся метнула взглядом, косой и подолом и выскочила. Капитан смотрел на письмо и ухмылялся:

— Важно подписано: подполковник Троицкий. Вы его знаете?

— Знаю.

— Он что, кадровый?

— Нет, из запаса. Не знаю, как там было раньше, на войну он пошел штабс-капитаном.

— Попович?

— Попович.

— А вы заметили, в письме есть что-то такое... священное.

— В самом деле?

Г о с п о д и н у п о р у ч и к у Т е п л о в у

Тяжелое состояние, в котором находится наша родина, возлагает на нас, офицеров, святую обязанность все наши помышления и силы отдать на дело скорейшего возрождения и восстановления славного русского воинства и воинской чести у истинно преданных родине сынов ее. А посему, как старший в нашем городе офицер, прошу вас, господин поручик, пожаловать ко мне в шесть часов вечера 29 сего сентября для предначертаний общих наших действий.

П о д п о л к о в н и к Т р о и ц к и й.

— Да, русское славное воинство. Пойдем, капитан?

— А зачем нам, собственно говоря, этот подполковник или подпротоиерей?

— Надо пойти. Посмотрим, чем там пахнет.

Двадцать девятого числа Алеша с капитаном отправились к Троицкому. Степан, чрезвычайно заинтересованный этим путешествием, пока они дошли до ворот, успел пропеть: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Он пел отчаянно громко, и уже на улице они слышали оглушительное «аллилуйя».

Дом священника, каменный, не старый, очень импозантно выделялся среди обыкновенных рабочих хат. Двери открыла чернобровая Маруся и немедленно выразила свое особое удовольствие, прикрыв губы тыльной стороной руки. Над рукой коварно блестели ее глаза и улыбались Алеше.

— Здравствуй, Маруся.

— Ой, а вы не забыли, что я Маруся!

— Да хотя бы и забыл, так... глаза ж...

— Ойй! Такое все говорят и говорят!

— Много господ собралось?

— Полная комната. И все офицеры и капитаны. А вы чего без аполетов! Все в аполетах!

— Пропили эполеты.

— Боже ж ты мой, все попропивали, и аполеты пропили!

Маруся унеслась по светлому, летнему коридору, где-то далеко хлопнули двери. В передней встретил стройный, подтянутый Троицкий. Из-под светлой довоенного сукна тужурки у него выглядывала элегантная золотая портупея, на груди краснел Владимир с мечами. Но лицо Троицкого за три года приобрело какие-то дополнительные складки, расположившиеся на щеках в таком же изящном порядке.

— Пожалуйста, господа. Поручик Теплов? Мы знакомы. С кем имею честь?

— Это капитан артиллерии Бойко, — показал Алеша на капитана.

Пожав руку капитану, Троицкий поднял свою на уровень плеч и сказал с особой, несколько театральной любезностью:

— Были бы погоны, сразу увидел бы, что господин Бойко — капитан, и притом капитан артиллерии...

В это время в дверях появился Борис Остробородько.

Он выглядел настоящим душкой-военным, холеные усы у него отросли и вполне соответствовали общему его золотому сиянию.

— Алексей! Здравствуй!

Он занялся поцелуями. И только окончив их, отступил в недоумении:

— Но, слушай, почему ты в таком виде? Что это за вид? И у тебя ведь золотое оружие!

Алеша хитро потянулся к его уху:

— А что? Разве есть интересные дамы?

— Дамы? Боже сохрани! Совершенно секретно! Даже батюшка с матушкой куда-то удалены.

— Пожалуйте, пожалуйста, — сказал любезно хозяин.

В большой гостиной, устланной ковром и заставленной зеленой мебелью и фикусами, было уже человек десять. За роялем сидел прапорщик и наигрывал вальс. Алеша смутился, когда заметил подозревающе-любопытные взгляды, направленные на его опустевшие плечи. Глянул на капитана, но капитан со своим обычным хмурым видом, неся усы далеко впереди себя, направился в самый безлюдный угол и, только усевшись на узком полудиванчике, кашлянул более или менее сердито. Алеша поместился рядом с ним.

За круглым столом, покрытым зеленой бархатной скатертью, сидели главные гости: подполковник Еременко, капитан Воронцов и штабс-капитан Волошенко. Из них только один подполковник нагулял в жизни дородные плечи, жирную шею и румяные щеки. Воронцов и Волошенко были худощавы, бледны и узкогруды. У Волошенко погоны далеко нависали над краями плеч, — видно, еще прошлой зимой были придавлены пальто. Этих Алеша хоть немного знал, встречая их то в госпитале, то у воинского начальника, остальные все были незнакомы, и у них вид был какой-то потрепанный. В сравнении с ними подполковник Троицкий производил впечатление блестящей, напряженной и уверенной силы.

Пружинным, вздрагивающим, коротким шагом, явно щеголяя новыми лаковыми сапогами, он направился к своему месту за круглым столом. На его новые погоны, на орден, на блестящие пуговицы, на строгие усики и жесткие складки щек падал и потухающий свет дня, и свет высокой лампы, горевшей на столе. Поэтому подполковник весь сиял то теплыми, золотыми, то лунными блесками и мог действительно вызывать к себе некоторое военное почтение.

Он стал за столом и оглядел комнату. Высокие белые двери вели, вероятно, в столовую. Они были прикрыты, но между их половинками стояла черная полоска и в ней поблескивали любопытные глаза Маруси.

Троицкий с некоторым трудом заложил большой палец за борт тужурки, на его руке сверкнул какой-то перстень. Алеша улыбнулся перстню и вспомнил мнение Нины о том, что Троицкий — человек не военный.

— Господа офицеры! — начал Троицкий очень тихо, с тем четким волевым напряжением, которое доносит самое тихое слово в самые далекие углы. — Господа офицеры! Я не буду произносить никаких речей, тем более что ничто сейчас так не оскорбляет нашу жизнь, как речи. Мы с вами люди долга и люди военные. Все ясно и, прямо скажем, все трагично. Армии нет, правительства нет, России нет. Последняя попытка генерала Корнилова восстановить порядок потерпела неудачу. Сейчас нет ни одной части, на которую можно было бы положиться. В Петрограде в самые ближайшие дни должен наступить хаос. Из Петрограда спасения ждать нельзя. Там все отравлено большевиками. Спасение должно прийти из глубины страны. Единственная здоровая сила, единственные люди, которые еще не потеряли чести, которые могут еще попытаться спасти родину, — это офицеры. Если офицеры организуются, с ними бороться будет некому. На нашу сторону перейдут и другие люди, для которых дорога Россия. Спасение России должно прийти не из Петрограда, а из тех мест, которые наименее отравлены большевистской заразой. К таким местам относится и наш город. Совет в нашем городе до сих пор не играл большой роли, но, должен вам сказать, у нас здесь, на Костроме, влияние большевиков очень чувствуется, если не сказать больше. Я имею поручение приступить у нас к организации ударного полка добровольцев, главным ядром которого должны быть офицеры. Я пригласил тех, кого лично знаю. Надеюсь, что вместе с вами мы установим дальнейший список лиц, которые могли бы принести пользу начинающемуся великому делу. Прошу вас, господа, высказываться.

Троицкий все это проговорил в том же тоне сдержанной, взволнованной, но искренней силы, он ни разу не повысил голоса, а слова наиболее патетические: Россия, долг, честь, родина — произносил даже немного приглушенно, почти шепотом, от чего они звучали особенно убедительно.

Капитан тихо спросил у Алеши:

— Он что, семинарист?

— Юрист.

— Ага!

Троицкий опустил на кресло, чуть-чуть расслабленно, вполне допустимо для мужчины, опустил тяжелые веки и... взял себя в руки: оглядел всех холодно и даже немного высокомерно.

— Кому угодно слово, господа? Вы разрешите мне председательствовать, хотя я и просил господина подполковника...

Еременко скорчил гримасу отвращения и поднял вверх ладони.

Неожиданно даже для Алеши раздался угрюмый и глухой голос капитана:

— Разрешите, господин полковник... несколько... э... внести, так сказать, ясность... — капитан кивнул вперед и вниз носом и усами.

— Прошу вас, господин... кажется, капитан. Вы сегодня в цивильном виде... Да, капитан Бойко.

Держась рукой за Алешину палку, капитан сказал:

— Вот именно... ясность. Офицеры — это командиры. Непонятно немного, кем мы будем командовать? Солдаты... как же? Без солдат, что ли? А потом еще вопрос: я вот не политик, но все-таки мне интересно знать, как бы это выразиться... кого мы будем защищать?

— Россию, — крикнул резко подполковник Еремено.

Капитан задумался, склонившись над палкой:

— Угу... Россию. Так. А... э... так сказать, от кого?

— От России, — сказал Алеша громко.

Кто-то из молодых громко рассмеялся. Улыбнулся и штабс-капитан Волошенко за главным столом.

— Вы изволите острить, господин поручик. Я боюсь, что при помощи остроумия вам не удастся прикрыть недостаток чести!

Троицкий крикнул это вызывающим, скрипучим голосом, задрвав голову и постукивая кулаком по мягкой скатерти стола. Головы всех повернулись к Алеше, но во взглядах было больше любопытства, чем негодования. Черная щель двери в столовую неслышно расширилась, черные глаза Маруси глянули оттуда испуганно.

Голова Алеши вдруг заходила, он ухватился за плечо капитана, вскочил и неожиданно для себя раскатился дробной россыпью звуков:

— Господидидин пол... полковник! Честьтьть...

Но его речь была прервана общим смехом. Налитыми кровью глазами, вздрагивая головой, побледнев, Алеша оглядел собрание и шагнул вперед, выхватив палку из рук капитана. Смех мгновенно замолк, дверь столовой широко распахнулась, испуганное лицо Маруси выглянуло оттуда. Троицкий вытаращил глаза и закричал на Марусю:

— Вон отсюда!

Дверь захлопнулась, в комнате стало тихо. Алеша с палкой подошел к круглому столу. Троицкий откинулся на спинку кресла, может быть, потому, что Алеша не столько опирался на палку, сколько сжимал ее в руке. Алеша остановился против подполковника, но говорить не решался, чувствуя, вместе с гневом, что не может остановить заикание, голова его ходила все мельче и быстрее. Еременко протянул к нему руку:

— Успокойтесь, поручик!

Алеша стукнул палкой об пол. В этом движении, в выражении лица, в позе, в его высокой прямой фигуре было что-то, очень напоминающее отца.

— Конченнононо! Конченноно!

Он покраснел, не в силах будучи остановить заикание, но немедленно гневно оглянулся на собрание. Офицеры уже не смеялись. Они смотрели на Алешу ошеломленными глазами и, очевидно, ожидали скандала. Алеша отвернулся от них, презрительно дернув плечом, и закричал на Троицкого с еще большим гневом:

— Россия! Родинана! Довольно! Ваша честь... господа офицеры, проданана!

Троицкий вскочил за столом:

— Позор, поручик Теплов!

Другие тоже что-то закричали, задвигали стульями. Из общего шума выхватился высокий взволнованный тенор:

— Кому продана? Как вы смеете!

Алеша быстрым движением оглянулся на голос и встретил лицо прапорщика, сидящего за роялем:

— Корнилову! Керенскому! Всякой сволочи! Попам, помещикам!

— Ложь!— заорал прапорщик.

Алеша размахнулся палкой и с треском опустил ее на спинку стула, стоящего порожняком у рояля. Стул пошатнулся и медленно упал. Это событие несколько притушило шум. Алеша крепко сжал холодные губы и, склонив набок дрожащую голову, негромко, как будто спокойно, сказал прапорщику:

— Какая ложжж! Идем со мной... служить... народу... русскому народу! Не пойдете? Не пойдете? Вот видите? Идем, капитан!

— Вон отсюда!— закричал подполковник с тем самым выражением, с каким он только что кричал это и Марусе.

Алеша резко обернулся к Троицкому. Где-то в кухне затрещал звонок, Маруся шмыгнула мимо Алеши в переднюю.

Он в суматохе чувств заметил все-таки ее развевающуюся косу и с неожиданной улыбкой сказал Троицкому:

— Я вас понимаю! Вы — попович! А вот этотот... чудадак будет... какая там честь! Будет... продажная сабля!

Опять зашумели, но Алеша шагнул к выходу. Навстречу ему из передней вышли Пономарев и Карабакчи. Пономарев — тучный, рыжебородый, Карабакчи — мелкий, черный, носатый.

Пономарев с удивлением остановился, поднял от галстука рыжий веер бороды и сказал приятным, бархатным голосом:

— Простите, господа, задержались.

Троицкий приветливо поклонился. Алеша ловко повернулся на каблуке здоровой ноги, с галантным сарказмом торжественно протянул руку по направлению к гостям:

— Пожалуйста! Покупателили!

Пономарев отшатнулся к роялю, выпучив глаза. Алеша быстро прошел мимо него в переднюю, за Алешей, по-прежнему неся впереди безмятежную угрюмость усов, проследовал капитан. Позади раскатился неудержимый, звонкий хохот Бориса Остробородько. Уже в коридоре, рядом с испуганной Марусей, Борис догнал их и закричал на весь дом:

— Здорово! Честное слово, здорово! Может, ты и не прав... а только... я все равно... не хочу.

35

— К черту-ту!— сказал Алеша, выйдя на крыльцо поповского дома.— К черту! Ударный полк! Сволочи!

— Да не обращай внимания! Охота тебе!— сказал Борис.— А здорово ты это... Люблю такие вещи, понимаешь.

Капитан молча стоял на краю крыльца и неподвижно рассматривал даль бедной песчаной улицы. Потом он спросил:

— А кто... вот эти... черный и тот, с бородой?

— А заводчики здешние!— ответил Борис.— Пономарев и Карабакчи. Папиросы Карабакчи курите?

— Папиросы? Угу...— он поднял на Бориса ленивые свои глаза.— А им... им какое дело... вот до офицеров? Папиросы, ну, и пусть папиросы...

Алеша положил руку на плечо капитана:

— Вы святой человек, капитан. Идите домой, а я к Павлу...

Капитан послушно двинулся по улице. Алеша быстро, припадая на один бок, зашагал в другую сторону. Борис еще подумал на крыльце и бросился за ним:

— Алеша! Алеша!

Он догнал его и пошел рядом. Алеша оглядывался, переполненный одной какой-то мыслью,— ему некогда было слушать Бориса.

— Я тебе забыл сказать, Нина обижается, почему так долго не приходишь. Ты знаешь, она получила место заведующей клубом.

— Нина? Нина! Мне очень нужно ее видеть. Я сегодня приду.

— Приходи, друг,— весело сказал Борис.— А я пойду посмотрю, что там еще делается у Троицкого.

Он сделал ручкой и побежал назад. Алеша захромал быстрее. Он широко шагал палкой и каждый шаг больной ноги встречал озлобленной миной и говорил про себя:

— К черту!

Его встревожило возвращавшееся заикание, доказывающее, что он еще не вполне здоров, но тревожило в особенном смысле: не столько как опасение за здоровье, сколько как ненужная, досадная помеха чему-то очень важному.

Павла он встретил у калитки вместе с Таней. Она приветливо прищурилась на Алешу, но он, бросив на нее привычный ласковый взгляд, напал на Павла:

— Слушай, Павло! Какого черта волынка!

— Ну, как там офицеры?

— Оружжжие! Давай оружжжие! Понимаешь ты?

— Кому оружие? Чего ты?

— Есть оружие?

— Алешка, постой! Вот горячка! Ты что, уже выздоровел? А чего ты заикаешься?

— Бедный Алеша!— Таня подошла вплотную к нему и положила руку ему на плечо. Ее глаза выражали печальную ласку. Алеша улыбнулся.

— Не бедныный! Отставить бедный! Ты милая, Таня! Павлушка! Надо с оружием!

— Проклятый город,— сказал Павло со злостью и улыбнулся.— Проклятый, мелкий сволочной город! Здесь нет оружия! Идем!

— Куда?

— Идем в комитет. Дело, понимаешь, спешное. Как раз ты и будешь начальником Красной гвардии. Хорошо?

— Павлушка! Это... здорово! А ваша милиция?

— Да, наша милиция. С нашей милицией одна беда. Несколько берда-

нок, револьверы, всякая дрянь, бульдоги. Идем! Таня, так завтра увидимся. До свидания!

Таня кивнула Павлуше и сказала тихо:

— Алеша, на минутку.

Алеша с удивлением посмотрел на нее, потом на Павла. Павел подтвердил:

— Поговори, поговори. Я подожду.

— Таня, некогда, родная.

Таня вплотную подошла к нему и склонила в смущении голову почти на его грудь.

— Алеша, надо нам с тобой поговорить. Нехорошо так...

— Ты скоро уезжаешь?

— И уезжаю. И вообще надо. Как-то нехорошо получается. Почему это так?

— Да ведь ты Павла любишь! Таня, правда же?

Таня еще ниже опустила голову:

— Люблю.

— И всегда любила. Всегда. С первого дня.

— Ничего подобного, Алеша!

Алеша засмеялся и оглянулся на Павла. Павел открыто скалил зубы, как будто наверняка знал, о чем они говорили.

— Ну, хорошо, Алеша,— сказала Таня, сияя голубыми глазами,— а ты?

— Я? Я теперь солдат, то был офицер, а теперь солдат революции. Сейчас насчет оружия. Война будет, война!

— Алеша, милый, какой ты еще ребенок!

— Ребенок? Черта с два ребенок! До свидания. И ты, Таня, не то... не ври. Я с первого раза все видел, все видел.

Он дружески потрепал Таню по плечу. Павел громко рассмеялся.

— Идем, идем,— сказал Алеша.

Они быстро зашагали по улице.

— Мы давно хотели тебе поручить, да все думали, больной ты. У нас это дело плохо. Людей сколько хочешь, а оружия нет. Здесь же нет никакой части, сам знаешь. Сделали рабочую милицию, так тут — прямо препятствия, и все. Если и работать, и милиция, трудно — надо жалованье. Кинулись к Пономареву: какой черт, и говорить не хочет. Да теперь пойдет другое, вот идем.

Завод Пономарева занимал довольно обширную территорию, но на ней не стояло ни одного порядочного здания. Деревянные, холодные сараи, называемые цехами, окружены были невероятным хламом производственных отбросов и всякого мусора. Только в механическом цехе, где производились металлические детали, был кое-какой порядок, но и здесь кирпичные полы давно износились, в стенах были щели, под крышами летали целые тучи воробьев. Бесчисленные трансмиссии и шкивы со свистом и скрипом вертелись, хлопали и шуршали заплатанными ремнями, вихляли и стонали от старости. Работала только половина цеха, обслуживающая заказы на оборону.

Переступив через несколько высоких грязных порогов, Павел остановился в дверях дощатой комнаты заводского комитета. Сквозь густые облака

табачного дыма еле-еле можно было разобрать лица сидящих в комнате людей, но Алеша сразу увидел отца. Положив руку на стол, свесив узловатые, прямые, темные пальцы, Семен Максимович с суровой серьезностью слушал. Говорил Муха, старый заводской плотник, человек с острыми скулами и острой черной бородкой. Он стоял за столом, рубил воздух однообразным движением ладони:

— А я вам говорю: ждать нечего. Что вы мне толкуете: Ленин. У Ленина дело государственное. Ему нужно спихнуть какое там никакое, а все-таки правительство, а у нас здесь, так прямо и будем говорить, никакой власти нет. Мы должны Ленину отсюда помогать. Да и почему вы знаете? Пока мы здесь все наладим, Ленин у себя наладит, вот ему и легче будет. А по-вашему — сиди, ручки сложи, ожидай. Ленин дал вам лозунг: вся власть Советам. И забирай. Если можешь, забирай, а Ленину донеси: так и так, у нас готово, на месте, так сказать. А тут и забирать нечего. Вот оружия только не хватает. Достанем. Подумать надо.

— Я привел вот начальника Красной гвардии,— сказал Павлуша.

Муха прищурился уставшими глазами на Алешу и вдруг расцвел широкой улыбкой:

— Так это ж... Алешка! Семен Максимович, что же ты, понимаешь, прятал такое добро дома!

Все засмеялись, склонились к столу. Семен Максимович провел пальцем под усами, но остановил улыбку, холодно глянул на Алешу, захватил усы и бороду рукой:

— Всякому овощу свое время. Значит, поспел только сегодня.

36

Семен Максимович очень устал. Очевидно, и палка его устала, поэтому она не шагала рядом с ним, а тащилась сзади, совершенно обессиленная. Алеша слушал отца и все хотел перебить его, но отец не давал:

— Не болтай! Обрадовался. Не языком делай, а головой и руками.

— Батька!

— Слушай, что я говорю. Самое главное, чтобы все было сделано как следует, а не так, как привыкли... Это тебе не германский фронт какой-нибудь...

— Не германский фронт? Ого!

— Не понимаешь ты ничего. Германский фронт — это тебе раскусили и в рот положили: тут русский, тут немец — деритесь, как хотите. Кто кого побьет, тот, значит, сверху. Так или не так?

— Отец! — Алеша захохотал на всю улицу.

— Ишь ты, вот и видно, что не понимаешь, а еще военный. Ты смотри, здесь тебе совсем другое дело. Там ты был что? Пушечное мясо. А здесь, если без головы, так с тебя один вред, потому что тут враг кругом тебя ходит, да еще и «здравствуй» тебе говорит. Это раз. Теперь другое. Там ты немца побил или он тебя побил — разошлись, помирились, сиди и жди, пока новая война будет через сколько там лет. А тут война на смерть затевается. Понял?

— А ты, отец, знаешь что, — ты молодец!

— Вот я тебя стукну сейчас, будешь знать, какой я молодец. Ты понял?

— Понял.

— Ничего ты не понял. Тут нужно в гроб вогнать, навечно, потому что надоело.

— Кому надоело?

— Понял, называется. Мне надоело. И всем. До каких пор: то какие-то рабы, то крепостные, то Пономаревы разные, Иваны Грозные, Катерины. Всякие живоглоты человеку трудящемуся на горло наступают. Что, не надоело тебе?

— Отец, знаешь что, дай я тебя расцелую,— Алеша размахнулся рукой и полез с объятиями.

Семен Максимович остановился у забора и провел под усами пальцем:

— Ты сегодня доиграешься у меня. Иди вперед. Ишь ты, сдурел!

Несколько шагов он прошел молча и снова заговорил:

— Тебе, молокососу, такую честь — Красная гвардия. Чтоб разговоров не было у меня: то да это, как да почему. Через месяц — крайний срок, а то и раньше по возможности. Муха правильно говорил.

Как только пришли домой, Алеша сразу вызвал Степана во двор. Долго их не было. Мать тревожно поглядывала на дверь и, наконец, спросила мужа:

— Чего это они там шепчутся?

— Значит, дело есть. И пускай шепчутся. Люди они военные, им виднее.

Мать внимательно присмотрелась к Семену Максимовичу, ушла в кухню и там тихонько вздохнула. Капитан вылез из чистой комнаты, присел к столу, за которым ужинал Семен Максимович.

— Как там офицеры? — спросил Семен Максимович.

Капитан направил нос в сторону и негромко, без выражения, без улыбки рассказал о совещании у Троицкого.

— Какое ж ваше мнение?

— Алеша... это... молодец.

— Да что вы мне Алеша, Алеша! Мало ли что, мальчишка... там... Дело как будет?

— Дело? Дело, Семен Максимович... э... неважное дело.

— Неважное? Чего это... неважное? Народ, это важное дело?

Капитан кивнул над столом, подумал и еще раз кивнул:

— Народ... да... народ, конечно. Но... понимаете... если б... э...

— Да чего там экать? Говорите.

— Артиллерия!

Капитан глянул хозяину прямо в глаза.

— Артиллерия?

— Да. Если бы к народу да еще артиллерию, важное дело может получиться.

Семен Максимович редко смеялся громко, а сейчас рассмеялся на всю хату, даже звон по стеклам пошел.

— Знаете что, Михаил Антонович? — сказал старик, отдохнув. — Правильно сказано!

Часть 2

1

Выздоровел Алеша или проснулся, он и сам разобратить не мог, да и времени не было, чтобы задуматься. Целыми днями он носился по заводам, по Костроме, по городу, помогал себе палкой и на палку злился. Он вспоминал с удивлением, как раньше радовался оригинальному удобству костылей. А сейчас хотелось забыть о каких бы то ни было удобствах, хотелось просто, без удобств, летать по земле. В этом постоянном движении Алеша прислушивался к себе и не мог разобратить, что с ним происходит. С одной стороны, к нему возвратились былое мальчишеское оживление, шаловливый огневой задор и смеющаяся безоглядная проказливость, с другой стороны, как-то по-новому видели его глаза, видели далеко во все стороны, через крыши Костромы, через тишину и бедность знакомых улиц, через преграды горизонтов, через просторы великой России. И глаза у Алеши стали теперь ясными и светлыми, они как будто приобрели невиданную глубину отражения. И для него самого было удивительно, почему так ладно уживаются рядом его юношеское легкомыслие и серьезная точность больших исторических видений, откуда пришло это объединение мальчишки и философа. Очень хотелось знать, у всех ли такое происходит или только у него одного. Он внимательно присматривался к людям, к отцу, к Степану, к Бойко, к Павлу. Семен Максимович сильно помолодел за последние дни, чаще проводил пальцем под усами, скрывая улыбку, а то и просто открыто смеялся тем самым неожиданным прекрасным смехом, который Алеша впервые увидел у него, когда уезжал на фронт. Даже капитан, хоть и редко показывал зубы, а смотришь, что-нибудь и скажет с хитровой жизнерадостной заверткой. А на заводе, в комитете, на митингах, среди горячих речей и размашистых, сердитых кулаков широким, новым наводнением шло острое слово, сверкали шутки, разливалось зубоскальство и гремел гомерический хохот. И в то же время у всех людей сильными и зоркими сделались глаза, и все люди, как и Алеша, перемахивали взглядами через тысячеверстные пространства, живыми глазами видели и Петроград, и Ленина в Петрограде, и петроградские уже закаленные в новой борьбе рабочие ряды, и всю необозримую равнину России и Кавказские горы, и Сибирь. Видели ясно, насквозь и всю хитро сплетенную сущность врагов: смешную и слабую силу Керенского, угрюмо-ошалевшую энергию Корнилова, болтливую гнусь вожаков-политиканов.

Кипели новые дни в России. Ключом забила в них освободившаяся великая страсть.

Веками эта страсть то засыпала, то просыпалась, то бросалась в безнадежный, отчаянный бой, то тихо бурлила в подземном скрытом течении, то претворялась в могучие, разрушительные пожары, то подымала на плечи страшные исторические тяжести и с исполинским терпением несла их через века и дебри времен. Так пронесла Россия и татарское мрачное иго, и скопидомную вековую темень московских великих государей, и похабную помещичью власть, и великодержавный разврат Екатерины, и туповатуюгрюмую чреду последних императоров.

С той же великой страстью, с тем же жестоким и горячим упорством подымался великий народ против наглых и удачливых царственных бандитов и завоевателей, и они убегали от него, спрятав в воротник шинели опозоренное лицо и трусливо прижимаясь к борту носилок или к подушкам экипажа. За ними по пыльным или снежным дорогам волочились жалкие остатки блестящих корпусов и дивизий, и в последней агонии выскалывали зубы сытые лошади их лихой кавалерии.

И во всех этих делах, во все исторические светлые и кромешные дни, в часы терпения и в часы гнева страсть нашего народа имела одно содержание. Это было великое стремление к справедливости, к лучшей жизни, к новому счастью людей. Только в этой вере могли родиться неповторимые люди и события России: и неукротимый дух Петра Первого, и юношеский подвиг декабристов, и живая сила толстовских героев, и мудрость босяков Максима Горького, и светлый разум Пушкина. Но как часто в истории эта страсть и вера была мощной, но безнадежной волной, без оглядки и без расчета, но зато и без победы!

И сейчас она забурлила, освобожденная и радостная, как и раньше, и, как раньше, разрушительная. Но сейчас впервые в истории над нею поднялся новый человеческий разум, новый закон, закон той самой новой счастливой жизни, о которой веками мечтали люди.

Некоторым показалось, что в нашем городе было как будто иначе. Газеты приходили тревожные и взволнованные, они на каждой странице отражали мучительную бредовую лихорадку в стране, в их строчках дышали и гнев, и призыв, и беспокойство, и злоба, и трусость, и растерянность. Горожане читали газеты, и многим горожанам казалось, что революция проходит мимо города. Проносились мимо шумные маршевые батальоны, пассажирские поезда трещали от безбилетников, то в той, то в другой стороне неба дрожали зарева пожаров. И многие были уверены, что это не революция, а простой беспорядок, беспорядка же в городе было и так не мало.

По вечерам прибавилось людей на улицах, никогда еще по тротуарам не переливалась такая тесная толпа. Веселые молодые люди, румяные, смеющиеся девушки, все куда-то проходили и проходили и возвращались обратно, встречались взглядами, улыбались и шутили, собирались рядами, венками, гирляндами. О чем они говорили, над чем шутили, чему смея-

лись? Ведь на тех же улицах по трещинам молодой радостной толпы пробегали пьяные, размахивали руками, кому-то грозили, на кого-то обижались. И по тем же улицам, и на тех же тротуарах по утрам волновались худые, бледные женщины у дверей хлебных лавок и проклинали жизнь. И рядом стонали нищие, и ползали калеки, и бродили пыльные, скучные извозчики в поисках пассажиров. И все в городе как будто припорошилось пылью: и вывески, и витрины, и прилавки, и остатки товаров. Вокруг вокзалов и на других площадях ветер с утра до ночи гонял бесчисленные бумажки, а в парке кричали грачи оглушительными голосами.

На Костроме на глазах у всех умирали заводы. Несмотря на то что весь тыл города занят был пристанями, на заводы перестал поступать лес, и кругом говорили, что леса нет. Перестали поступать уголь и нефть, и на заводских дворах люди скучно перетаскивали с места на место всякое старье и матерились. В дни получек подолгу стояли у дверей контор, оглядывались, хмурились, ругались. Кто-нибудь говорил:

— Ну, пускай хороших денег нет. Понимаем — провоевались. А керенки? Чи тебе трудно? Отмерь мне пол-аршина керенок!

Заросший грустный бухгалтер растерянно разводил руками, улыбался. Но кто-нибудь другой подымет к нему лицо и кричит:

— И мне пол-аршина! Только в полосочку — штаны, видишь, никуда!

И только что проклиная толпа хохочет, подымаясь на цыпочки, и прибавляет новые, такие же нехитрые остроты.

4

Жена Пономарева, Анна Николаевна, дама сухая и нервная, говорила гостье, Зинаиде Владимировне Волощенко, жене штабс-капитана:

— Прокофий хотел закрыть завод — боится. Просто махнул рукой. Потерпим — наладится же когда-нибудь. Большевики! Откуда они взялись?

— Это всё мужчины, — вытягивая губы, сильным шепотом произнесла Зинаида Владимировна, — такой беспокойный народ!

— Зинаида Владимировна, побойтесь бога! При чем здесь мужчины? Это простонародье, большевики!

Что-то слабо стукнуло в передней, и Анна Николаевна в страхе оглянулась на дверь. В дверях стоял Алеша и улыбался. У Анны Николаевны задрожала рука на ручке кресла, тонкие губы сделались вялыми и раскрылись:

— Что такое? Зачем?

— Извините, — сказал Алеша и поклонился. — Нам нужно поговорить с гражданином Пономаревым.

— Господи, как вы вошли? — в волнении Анна Николаевна вскочила с кресла, и тогда за плечами Алеши она увидела широкую, довольную физиономию Степана Колдунова. Она вскрикнула тревожно, как кричат только в минуту близкой страшной опасности:

— Как вы вошли?

Она стремительно бросилась в переднюю, Алеша, улыбаясь, уступил ей дорогу. Степан оглянулся смущенно:

— Да... вошли... что ж... Как обыкновенно полагается, через дверь вошли...

Анна Николаевна подбежала к дверям, открыла их, закрыла, в смятении оглянулась. Ее тонкая фигура, болтающееся на ней легкое серое платье, ее взволнованные складки у переносья, очевидно, произвели на Степана несерьезное впечатление. Он развел дурашливо руками:

— Сторожевое охранение, видишь, сбежало. Или, может, застава.

— Что вам годно?

— Нам нужно видеть Пономарева.

— Может быть, господина Пономарева или хотя бы гражданина?

— Давай господина, нам все равно, мы и с господином можем, — Степан произнес это убедительным приятным говорком, так что и в самом деле слушатель мог убедиться, что Степан умеет поговорить с каким угодно Пономаревым. Анна Николаевна так и не разобрала, понимать ли слова Степана как извинение или как насмешку. Она тихо сказала: «Подожди-те» — и скрылась за высокой белой дверью. Алеша сказал Степану:

— С господином Пономаревым я буду говорить, а ты помолчи.

— Думаешь, напутаю?

— Не напутаешь, а ты... с господами не умеешь разговаривать.

— Я не умею? Да это ж моя главная специальность! Всю жизнь только и делал, что с ними разговаривал. Да слушай, Алешенька, дозвожь мне, а то говоришь — не умею. Дозволь, вот сейчас покажу... как это замечательно умею. Я это сейчас по старой моде поговорю. Ты стань сюда, вот сюда, представление покажу по старой ихней моде...

Он напряженно шептал, задвинул Алешу в темный угол, к зеркалу. У Алеши заблестели глаза:

— Вот... черт... ну хорошо, покажи.

Степан для чего-то взъерошил бороду и вдруг весь обмяк посреди передней, ноги расставил как-то по-особенному и живот распустил по поясу. Брови его поднялись и округлились, маленькие глазки остановились в туповатом, сладком покое.

Пономарев вошел суровый, с перепутанной бородой, готовый встретить любую неприятность, но и вооруженный неприветливой, терпеливой хмуростью, чтобы эту неприятность отразить. Неподвижная фигура просительного мужика поразила его. По привычке он даже приосанился было, но, вероятно, вспомнил, что теперь на свете все странно, все неожиданно и неверно. Нахмурил брови, спросил:

— Кто тут? По какому делу?

Степан быстрым движением ухватил с затылка свой выцветший пятнистый картуз и опустил его вниз великолепным, веками воспитанным движением: не впереди себя, не щеголяя веселым приветом, а как-то стороной, за ухом, выворачивая руку в неудобном сложном повороте. Потом быстро мотнул головой, и его отросшие лохмы взметнулись жалким, покорным венником:

— К вам, господин, покорная просьбишка.

Алеша даже голоса Степана не узнал, — сколько в нем было неги, глухих обертонов, срывающегося, нервного хрипа. Пономарев нечаянно расправил плечи, выпятил живот:

— Ну?

В дверях стояла Анна Николаевна и соображала с трудом о подлинности просительного мужика. Степан переступил на месте от волнения,

задергал в руках картуз, чуть-чуть склонил набок сдержанно умильную физиономию.

— Не обижайтесь, что побеспокоили, как, может, отдыхали пообедавши, а только без вашей помощи хоть пропадай. Только от вас все зависит, и больше никто этому делу пособить не в силах.

Пономарев не мог отвести глаз от убедительного лица Степана, на котором и глаза, и нос, и губы, и даже подвижные складки на лбу — все подтверждало просьбу, все изображало сложный, невероятно путаный пейзаж. В нем были и надежда, и деловое увлечение, и почтение, и страх. Пономарев поневоле залюбовался этим приятным пейзажем, роскошной прелести которого он раньше так непростительно не замечал.

— Ну говори, говори, чем могу помочь. Тебе что, денег, что ли?

Степан воодушевленно размахнулся картузом:

— Какое денег, дорогой? Не денег. Зачем мне деньги, коли я человек бедный? Общественное дело, гражданское. И вас, конечно, касается, как вы теперь свободный гражданин, и заводик у вас тоже бывает в опасности от всякого народа...

— Ну-ну?

— Кого ни спроси — все говорят: только один господин Пономарев в состоянии, больше никто.

Степан даже головой затрусил от убежденности. Пономарев застенчиво улыбнулся, глядя на свои ботинки.

— У вас, говорят, в большом количестве имеется, и вы бедному народу...

— Да чего? Чего тебе нужно?

— А... это... А винтовки!

Пономарев резко повернулся на месте, так резко, что проскочил взглядом почтительную фигуру Степана и увидел Алешу у зеркала. Его лицо налилось краской, он глянул на Степана с настороженным удивлением, но Степан смотрел ему в глаза и просительно скалил зубы.

— Вы вместе?

— А как же! — обрадовался Степан. — Бедному человеку, если в одиночку ходить, какая польза. Надо вместе: один выпросит, другой вымолит, третий так возьмет, хэ-хэ... Так и ходим кучей. А у вас, говорят, тут же в доме вашем лежат эти самые винтовки. Вам они все равно ни к чему, потому что у вас две руки, да и все. А у бедного народа сколько рук, и в каждую по винтовке нужно.

Степан так хорошо играл роль просителя, что Пономарев даже и теперь не разобрал. Он взялся за ручку двери и сказал негромко, с деланным разочарованием:

— Чудаки, кто вам сказал, что у меня есть винтовки?

Степан быстро зашел с фланга и заспешил взволнованно:

— Да вы, может, забыли, господин хороший, за делами всякими да хлопотами. Так вы не беспокойтесь, не утруждайте себя, мы и сами посмотрим, вам никаких хлопот чтобы не было.

— У меня нет винтовок, слышите? — закричал Пономарев, начиная понимать, что дело серьезное.

Он гневно глянул на Алешу:

— Господин Теплов? Я понимаю, что вам нужно!

Алеша шагнул вперед, приложил руку к козырьку.

— Так точно, Теплов. Вы удовлетворите просьбу этого... бедного человека?

Но он не выдержал и залился улыбкой, уставившись в рыжую бороду Пономарева, поэтому говорить уже не мог, а только выразительно показал на Степана. Степан добродушно разгладил усы и приготовился выслушать решение господина.

— Оружие? — резко спросил Пономарев.

— Да бросьте, — засмеялся Алеша и заходил по комнате. Снисходительно глянул на растерянную фигуру хозяина. — Ну, что вы ломаетесь? У вас в подвале пятьдесят винтовок и патроны. Забыли, что ли? Прибыли к вам еще в мае, для чего уж — не знаю.

— Да для бедного ж народа, — сказал Степан, как будто уговаривая Алешу, — для бедного народа. — Он вдруг надел картуз и засмеялся: — Ах, и потеха ж, прости господи! Ну, довольно с тобой по старой моде разговаривать. Давай ключи да покажи это самое место.

Пономарев глянул на Алешу, глянул на Степана. Анна Николаевна притаилась в дверях и бледнела от злобы. Алеша выпрямился, сжал губы, чуточку сдвинул каблуки:

— Приступим, господин Пономарев?

Серые глаза Пономарева улыбнулись с презрением:

— Кому я должен отдать оружие? Кем вы уполномочены?

Алеша быстро поднял клапан грудного кармана и протянул хозяину бумажку:

— Совет? — произнес гнусаво Пономарев, держа бумажку на отлете и глядя в нее вполоборота. — Совет для меня не начальство. Надо разрешение военных властей. Оружие на учете, — что вы, не понимаете? И еще написано: «Предлагает». Как это «предлагает»?

Степан ответил:

— Предлагает — это значит: отдай по совести, пока тебя за воротник не взяли; а возьмем за воротник, тебе некогда будет думать, где твое начальство.

Пономарев отодвинулся от Степана поближе к дверям, чуть-чуть побледнел, хотел расправить бороду, но забыл, опустил руку, склонил голову:

— Что ж... Хорошо... Подчиняюсь насилью.

— Правильно делаешь, голубок, — закричал Степан. — Умный человек, и характер у тебя спокойный. Если люди насильничают, что ты с ними сделаешь, известно — простой народ. Вот и я...

Но хозяин не дослушал его. Он еще раз с укором посмотрел на Алешу.

— Пойдемте.

Алеша вежливо пропустил мимо себя хозяйку. Она спешила к покинутой гостье.

Богатырчук не то приехал, не то с неба свалился. Вчера его еще не было, а сегодня он побывал на заводе, в совете, у Павла, у Алеши, у Тани, даже у подполковника Троицкого. Алеша целовал его, оглядывал со всех сторон, радовался и обижался. Еще не снявший вагонного «загара», Сергей

казался сегодня особенно массивным и неповоротливым, стулья под ним жалобно скрипели, может быть, оттого, что Сергей не очень считался с собственной неповоротливостью, а все шумел, шутил, вертелся во все стороны.

— Алешка, ты же веселый человек, как тебе не стыдно хромать. Едем на фронт. Едем!

— Это на какой? На юго-западный?

— Брось. Кто теперь считает по солнцу? Теперь считать нужно по-другому. У вас тут какая-то тишина, а в других местах кипит, ой, кипит!

— Да ты что сейчас делаешь? Кто ты такой?

— Я? Да я теперь большевик — и все. А так считаюсь: уполномоченный комитета фронта по вопросам о дезертирах.

Степан, раскрывший было рот и глаза на гостя, услышав последние слова, незаметно увял и отступил в беспорядке на кухню. Там он тихо сказал Василисе Петровне:

— Мамаша, когда нашему брату, рабочему человеку, покой будет?

— А что случилось?

— Приехал вот! Уполномоченный, говорит! Алешка-то его целует-мицует, да, смотри, на радостях и выдаст меня со всей моей военной амуницией.

Алеша, увидев отступление Степана, кивнул ему вслед:

— Испугался тебя.

— Да ну его, — Богатырчук махнул рукой. — Разве их теперь переловишь? Как тут у вас? Тихо?

— Да ничего. Красная гвардия у нас.

— Много?

— Полсотни. Народ боевой, да это на заводах. А в Совете скучно.

— Эсеры?

— А черт их разберет? Жулики больше сейчас в эсеры записались, кричат, да они и сами себя не слушают. Вот я тебе расскажу: офицеры здесь собрались, поговорили...

Алеша рассказал другу о совещании у Троицкого.

— А офицеры эти откуда?

— Раненые есть, отпускные. А почему Троицкий в городе, не знаю. Он у Корнилова был. Здесь скучно, Сергей. По улицам шляются, на митингах орут, а к чему — не разберу. Все на Петроград смотрят.

— Подожди.

— Вот я и не пойму: чего ждать? Что дальше-то будет?

— Погоди. Красная гвардия есть. Прибавляй. Пригодится.

В дверной щели ясно был виден красный нос Степана, но Сергей делал вид, что не видит его.

— На Петроград все смотрят, — сказал Сергей с гордостью, — а только ты не думай, что Петроград за вас все сделает.

Алеша захромал по комнате, занес руку на затылок:

— Понимаешь, Серега, никто и не думает, чтобы за нас делали, а все-таки трудно так... Ты прямо скажи, буржуев бить будем? Или как?

Сергей с любопытством следил за Алешей, иронически поглаживая круглую стриженую голову:

— Если не покорятся, будем бить.

— Как это?

— Да твои офицеры затевают какой-то ударный полк? Затевают? А если и в самом деле выкинут штуку?

Степан просунул голову в щель двери и сказал негромко:

— А для чего ждать, пока они соберутся?

— Слышишь? — улыбнулся Алеша.

Богатырчук быстро повернулся к дверям.

— А что делать, по-твоему? — спросил он.

— Как — что делать? — Степан вылез в комнату и сразу начал загибать пальцы: — Во-первых, оружие отобрать, как у нас говорят: Акулине — голос, Катерине — волос, а Фроська и так хороша, ни голоса, ни волоса — ни шиша. Это раз! Отобрать. Второе: посадить в кутузку — два! А потом... а потом... Да и не только их, — Степан смутился и захохотал, шагая по комнате и все держа счет на пальцах. — Да разные господа и помещики! В один день и благословить: иди к такой богородице в царство небесное и живи спокойно, а нам не морочь головы — теперь наша очередь. А то они, гады, все равно верх возьмут...

— Это ты заврался, — сказал Сергей строго. — Богатство — это другое дело. Богатство отберем по закону.

— А кто закон даст?

— А мы сами.

— Да когда ж ты его придумаешь, закон?

— Подожди.

— Да ну вас, — рассердился Степан. — Ждали, ждали, да и жданки поели. Это уж так хохлы говорят, а они разумный народ. Ленина куда спрятали, говори!

— Ленин свое дело сделает, не бойся.

— Куда вы его спрятали?

— Кто это... вы?

— Да... разные... там... Господа вообще.

— Не господа, а мы спрятали. Надо прятать, когда за ним с ножами ходят. А он и так дело свое делает.

— Разбери вас. Да для чего ж остерегаться? Скажи народу, он тебе сейчас... под самый корень.

— Да ты, чудак, сообрази. Тебе вот пришло в голову, пойдешь сейчас буржуев громить, а другому еще что придет. Организация есть. Партия. Партия большевиков, слышал?

— Вот смотри ты — слышал. Да у нас тут на Костроме все большевики.

— Это не большевики. Большевики дисциплину знают.

— Как ты сказал?

— Дисциплину, говорю.

— О!

— А что?

— Ого! Ну... будет у вас чести, как с лысого шерсти! Это... Да ну вас! — Степан засунул руки в карманы и побрел на кухню.

Богатырчук проводил его прищуренным взглядом.

— Батрак?

— Батрак, — ответил Алеша. — Да он замечательный человек.

— Чего лучше. Такого свободно можно считать за один станковый пулемет.

— И без водяного охлаждения.

— Это твой денщик?

— Это мой друг, — ответил Алеша.

6

Степан сидел на крыльце и курил махорку. Алеша вышел, присел на ступеньке.

— Правильно это он говорил или неправильно?

— Правильно.

— А почему правильно? Петрограда ждать, что ли? Со своими буржуями сами справимся.

— Буржуи у нас в одиночку. Организации у них нет, войска нет, юнкеров нет.

— Это выходит черт те что. Не по-моему выходит.

Степан сердито отвернулся к воротам.

— А чего тебе нужно?

Степан наморщил лоб:

— Чего мне нужно... Вот придет старик, ему пожалуюсь. Черт те что выходит... и может... того... юрунда может выйти.

— Юрунда, юрунда, — передразнил его Алеша. — С такими, как ты, и может выйти юрунда. Тебе это хочется, как при Степане Разине...

— Это про которого в песне поется: «Только ночь с ней провозжался, а наутро бабой стал»? Так он нет... он эту бабу отставил...

— Да не в бабе дело.

— Да и не в бабе, — обозлился Степан. — Кому баба может помешать, если по-настоящему. Если баба хорошая, она ни за что в помехе не будет. Главное, корень вырвать. А твой этот Сергей заладил одно: организация, организация. Вот придет старик, вот ты увидишь...

— Ну, и увижу, — добродушно согласился Алеша.

7

До прихода Семена Максимовича Степан бродил по двору, заглядывал в кухню и принимался что-либо делать. И молчал. Только вечером, закладывая дрова в дверцы узенькой топки, не глядя ни на кого, спросил:

— Капитан артиллерии, ты слыхал что-нибудь про Степана Разина?

Капитан мирно сидел на низенькой скамеечке в убранной кухне, высоко взгромоздив худые блестящие колени. Папироса почти целиком скрывалась в его усах. Василиса Петровна, сурово сжав губы, тонкими кружочками нарезывала лук и укладывала его вокруг приготовленной к ужину селедки.

— Слыхал, — ответил капитан.

— Он, чего это, разбойник был, что ли?

— Атаман. Только не разбойник, нет.

— А как же? Революционер, выходит?

— Революционер? Да нет, какой там он революционер. Тогда революционеров еще не было. Атаман просто.

— Он за бедных воевал, — тихо, серьезно сказала Василиса Петровна. — За бедных воевал... и был очень хороший человек.

— Так что ж ты? — Степан сердито обернулся, сидя на корточках. — А еще образованный человек. Значит, революционер.

— Он хороший был человек, — продолжала Василиса Петровна, — только...

— С девчонкой? Знаю...

— Да нет, — сказала Василиса Петровна, — у него... не знаю... выпивал он сильно. Если бы не выпивал, он всех победил бы... этих... тогда назывались бояре...

— Да знаю, бояре — буржуи, теперь говорят. Выпивать — это другое дело; бывает, человек запоем или еще как...

Помолчали. Степан взял в руки новое полено, но задержался с работой:

— Алешка, наверное, знает. А ты, капитан...

— Да что тут знать. И я знаю. Могу тоже рассказать.

— Ну!

— Как хочешь, — капитан недовольно передернул плечами.

— Рассказывай, рассказывай, не обижайся.

Степан вытянул ноги на полу. Василиса Петровна смела со стола, неодобрительно глянула на капитана, крепче сжала губы.

— Я, может, что и забыл, но только забыть много не мог, потому что в свое время интерес имел и читал много по холостому положению. Стенька Разин...

— Это выходит, и я — Стенька...

— Да вроде тебя, только, надо полагать, поумнее и покрасивее тебя и морда не такая жирная.

— Я не жирный, а вода такая.

— Ну, а у Разина такой воды не было. Богатырь был, красивый. Казак донской.

— А почему в песне про Волгу поется?

— Родом с Дону, а гулял на Волге. Только это давно было. Лет... лет... двести, а может, и больше. Пошел с казаками гулять, купцов грабить. И своих, и чужих, персидских. Гуляли хорошо, кафтаны надели бархатные, паруса и онучи завели шелковые.

— Во! — Степан округлил глаза и посмотрел на Василису Петровну с гордостью. Василиса Петровна чуть-чуть нахмурила брови.

— Конечно... и водки попили довольно, — продолжал капитан.

— Добра не жди от водки... А потом?

— А потом... разгулялся и на бояр пошел. И крестьяне к нему пошли, кто победнее...

— А куда ж им идти?

— Городов много, дворян, попов, воевод побил, потопил, повешал...

Степан подскочил с полу:

— Видишь, мамаша, водку пил, а дело понимал. А то много есть таких, разумных. Трезвый, трезвый, а как до дела — выходит — нестудяка.

— А ты дальше слушай, не забегай вперед, — строго остановила его Василиса Петровна.

— Да я и не забегаю, а к слову. Рассказывай дальше.

— Тут и конец. Военного образования у него не было. Организация хромала.

— Какие вы — вам сейчас же организацию!

— Разбрелись у него по всей земле воевод вешать, а под Самарой... царское войско его и разбило.

— Сам царь такой, что ли, был сильный?

— Нет... царь был тогда так себе... Алексей Михайлович, а у него боярин был, князь Варягинский.

— Генерал, что ли?

— Ну, пускай — генерал.

— Вроде Корнилова?

— Да нет... боярин, с бородой! Давно это было.

— Да один черт — с бородой или без бороды. И разбили, говоришь?

— Разбили. И пушки потерял.

— Эк... смотри ты, какая беда. Поймали?

— Поймать не поймали, а свои выдали.

— Батраки?

— Да не батраки... Казаки выдали. Были... которые побогаче...

— Ах ты, сволочи, прости господи. Ну, скажи, Василиса Петровна, отчего это такое? Как побогаче человек, так и паскуда. Вот смотри на него, на капитана: пока бедный — на человека похож, а дай ты ему деньги — каюк!

Капитан выслушал это невозмутимо, но Василиса Петровна подозрительно повела глазом на Степана:

— А ты?

— Чего я?

— А тебе дать деньги?

— Я? Да что ты, Василиса Петровна! Да ну их совсем!

— Знаю вас, мужиков, — негромко, но серьезно произнесла Василиса Петровна. — Как завелась у него вторая пара сапог, уже от него добра не жди. Видела!

— Мамаша, не обижай зазря! — взмолился Степан. — Смотри какой мужик. Это если у него лошадей сколько, да коров сколько, да плуги, да сеялки, да риги. А мне хоть десять пар сапог, а как был батрак, так и остался. Видишь, вон у Степана Разина бархатные кафтаны носили и онучи шелковые, а что с того. У нас так и говорят в Саратовской губернии: не того кулаком, у кого сапог с каблуком, а того дубиной, у кого двор со скотиной. Казнили, небось, Разина?

— Казнили.

— Повесили?

— Четвертовали.

— Это как же?

— Руки отрубили, ноги, а потом голову...

Степан швырнул полено, которое держал в руках.

— Видишь, мамаша, какие дела делаются? Четвертовали! Да одного

разве? Там и мужикам попало. Попало? — свирепо обратился он к капитану.

— Сильно попало.

— Казнили?

— Много казнили.

— А тебе, видишь, все равно. Ты себе спокойно сидишь... Тебя не берет зло? Не берет? Сразу и видно, что ты — капитан.

Степан размахивал руками, говорил зло, показывал зубы, даже лицо его уже не казалось таким добродушно-круглым, как раньше. Он топтался перед капитаном на босых ногах, и завязки штанов извивались у его пяток, как черненькие злые змейки. Капитан только задымил больше, прищурил глаза от едкого дыма.

— Молчишь?

— Давно это было... двести, а может, и больше...

— А тебе все равно наплевать, потому — твоих там не было.

Капитан оглянулся, бросая окурки в ведро. Стриженная его голова склонилась:

— Моя фамилия не дворянская. Мои деды, может, и у Разина были, а может, и в запорожцах — не знаю. Наверное, и их на колы сажали.

— Во, мамаша, — Степан с торжеством повернулся. — Видишь, как с нашим братом обращались. А теперь погляди. Как они Разина поймали — сейчас же четвертовать, а как Корнилов в руки попался — ничего, сиди спокойно, а в нашем городе по улицам ходят, а мы смотрим. Справедливо это? Нет, капитан, ты помолчи, а вот пускай Василиса Петровна, понимающий человек, скажет: справедливо?

Капитан отмахнулся рукой. Василиса Петровна опустилась на табуретку, смотрела на Степана с серьезным напряжением, как будто действительно решала важную задачу:

— Ты, Степан, не кричи. Справедливость у бога, а толку все равно не было. Что народу с твоей справедливости? Надо так сделать, чтобы людям лучше жилось. Вот тебе и вся справедливость.

Степан разочарованно полез пятерней в затылок:

— Эх, Василиса Петровна, старушка моя милая, нехорошо говоришь. Добрая твоя душа, а тут добром не пособишь.

Он опять возмутился и тут же пятерню, темно-красную с припухшими, твердыми подушечками на пальцах, протянул к хозяйке.

— Какая лучшая жизнь, коли они, понимаешь, по свету лазят?

— Кто?

— Да... бояре, чтоб им! Баяре, генералы, помещики, мало тебе? Их нужно... вот, как Степан Разин, хороший был человек, царство ему небесное, а что водку пил, так как же не пить в таком положении?

Капитан мотнул головой. Поднял на Степана маленькие глазки:

— Сказано: пехота!

— Без понимания?

— Без понимания. Что ж Разин? Пускай там и хороший человек. Шуму много и крику всякого, а какой толк? Вот я тебя спрашиваю: какой толк?

Степан сначала затруднился ответом и даже начал растягивать рот

в улыбке, прикрывающей смущение, но вдруг заострил глаза, вытянул губы:

— Так, чудак, артиллерия! А как же иначе? Скажем, ты из пушки стреляешь. Пристрелку делаешь или не делаешь? Раз не попал, два не попал, а третий раз — в точку. Или, допустим, с девкой: одну полюбил, другую полюбил, а на третьей женился. У Разина не вышло, а у нас выйдет, потому что видно: корней оставлять нельзя. А как же по-твоему?

— По-моему?

— Ну да, по-твоему, по-капитанскому?

— По-моему как?

— Ага.

Теперь капитану пришлось смутиться, но он и не собирался прятать смущение, а сидел и сумрачно думал, глядя в чистый пол между своими сапогами.

— Вот видишь — у тебя и прицела никакого нет.

— Брось, — капитан недовольно мотнул головой. — У грамотного человека всегда прицел есть. Законы хорошие нужны, вот и все.

— А они есть, хорошие законы, где-нибудь?

— Есть, а как же! Вот в Англии хорошие законы.

— В Англии? А какие там законы?

— Справедливые, хорошие законы.

— Бедных нету, значит?

— Каких это бедных? — капитан неожиданно залился краской.

— Ха! Смотри ты: не знает. Да вот таких, как ты: сидит на чужой кухне, сапог у тебя старый, дома нет, пристанища нет, а тоже: «Кровь проливал». Или таких, как я. Нету?

Капитан заходил коленями, затоптался на месте сапогами, повел плечом. Василиса Петровна улыбнулась, глядя на капитана, и это привело Степана в восторженное состояние. Он ухватил Василису Петровну за плечи:

— Хозяюшка! Наша берет! А то все, понимаешь, грамотные! Организация! Законы! Как в Англии! Не-ет! Вот постой! Мы им покажем законы!

8

Когда пришел Семен Максимович, Степан бросился к нему. Схватил его за рукав, увлек в чистую комнату. Там сидел за книгой Алеша. Степан пристал к старику:

— Семен Максимович, рассуди, отец. Вот и он сидит, а к нему тут большевик приходил. В Питере бывал. Такое говорит — никакого спасения!

— Кто это? — ставя палку в угол, спросил Семен Максимович.

— Богатырчук, — ответил Алеша.

— Сержка? Ну, так что? Он и у нас на заводе был. Дельный парень.

— Дельный-то, может, и дельный, а говорит черт те что.

— Ну?

— Такое, понимаешь, болтает. «Наша организация!» Я ему так и так: организовано, конечно, взять да и прибрать к чертовой матери

разных буржуев и поповичей. Мало у них добра награбленного? А он меня еще и стыдить начал. А зачем у нас Красная гвардия, спрашивается. Готовься, готовься, подожди да подожди. Ленина арестовать собрались! Понимаешь, опасность какая? Так лучше переловить их, сволочей, да и всё. А потом такое слово ляпнул, прямо нож в сердце: дисциплина. Видал, отец!

Семен Максимович, заложив руки за спину, высокий и прямой, сухим внимательным взглядом рассматривал пухлого взъерошенного Степана. Алеша на диване, подогнув под себя ногу, улыбаясь мальчишеской, вредной улыбкой, ожидал, что скажет отец Степану. Но Семен Максимович именно на Алешу посмотрел строго и сказал:

— А ты все зубы скалишь? Эта балда родного дядю скоро узнавать не будет, а ты радуешься.

— Да чего ж я — балда, — обиженно протянул Степан. — Это что ж, царское время, что ли! Приезжает, понимаешь, и галдит тебе в ухо: организация, дисциплина. Это, может, опять ему господа нашептали. Не успел народ разойтись, как следует, — на, сразу ему уздечку на шею. Старые дела, знаем!

Степан с каждым словом обижался все больше и все больше отворачивался. Закончил он свою речь, почти спиной повернувшись к Семену Максимовичу, руки держал в карманах.

Семен Максимович провел пальцем по усам, быстро, небрежно:

— Красная гвардия называется. Как был мужиком, так и издохнешь. Привыкли, опудалы чертовы. Всё в беспорядке, не можете иначе!

— Семен Максимович! Семен Максимович! Не говори такие слова, — Степан быстро обернулся, покраснел, мотал головой, укорял старика: — Увидишь, моя правда будет. Если их, сволочей, не вырезать, для чего волынку развели? Расею всю подняли!

— Ты! Студент! — резко обратился Семен Максимович к сыну. — Растолкуй ему, в чем дело. Видишь, ему разойтись не дают? Обижается... как... баба! Никакого дела не способны сделать. Расея!

— Отец! Неправильно говоришь! Не разойтись, а терпения нету! — горько взмолился Степан.

Семен Максимович в дверях взялся за притолоку, обернулся, крепко сжал бледные губы, холодно, спокойно глянул на Степана:

— Нищим был — терпел? Теперь учишь другому терпению.

— Какому? — простонал Степан, ошеломленный холодностью старика.

Семен Максимович неожиданно подарил Степана своей замечательной улыбкой.

— К примеру, окна бить — терпения не нужно. Да и ума не нужно. А хату новую строить — и голова нужна, и терпение. А вы привыкли: терпения у него нету! Окна побил, а потом сидит и дрожит от холода, как собака!

Вечером собрались все как будто нечаянно на берегу реки в том месте, откуда хорошо видны огни «Иллюзиона» и где стоит деревянная хибарка бакенщика, валяются опрокинутые лодки и деревянная конструкция,

похожая на сани, а на деле представляющая собой поплавок для сигнальных фонарей. По реке еще ходили пароходы, их огни нарядным торжественным шествием иногда проплывали за поредевшей зеленью острова.

Осенний вечер был теплый, ясный, прозрачно-чистый, похожий на воспоминание. В избушке бакенщика светилось окно. Казалось, что близко живут люди — и живут счастливо. Даже силуэты костромских крыш, черневшие на слабом зареве города, казались кровлями хорошего радостного человечества.

Алеша пришел с Сергеем попозже. Шли не спеша и находились в том мирном состоянии, когда все горячее, дружеское, о чем можно рассказывать неделями, оказывалось коротким и немногословным и уместилось в полчаса, и поэтому можно не спеша ставить ногу на песок и молча раздумывать над рассказанным.

У избушки бакенщика сидела молодежь. Павел Варавва один стоял темной тенью, да у самой воды отдельно торчала высокая неподвижная фигура капитана. Стояла-стояла, а потом побрела по берегу, да так и исчезла незаметно в прозрачно-сумрачном торжестве осени.

Увидев Сергея, Таня вскрикнула, выбежала из круга, бросилась к нему:

— Слушай, Сергей, как это с твоей стороны...

— Подло?

— Конечно, подло. Ждем, ищем — говорят, пошли на реку, и здесь нету. Ты зазнался. Признавайся, зазнался?

Таня говорила быстро, весело, даже в темноте был виден голубой блеск ее глаз, и Алеша с грустной памятью пожалел о чем-то, что было так мило и так слабо сопротивлялось времени. Говоря свои укорительные речи Сергею, Таня дружески-небрежным жестом протянула Алеше руку, не глядя на него. Рука оказалась нежной и теплой, и Алеша отпустил ее с тем же грустным сожалением.

— Я знаю, для чего я вам нужен, — говорил Сергей. — Вам нетерпез про Петроград послушать. Только дудки. Целый день рассказывал, рассказывал, теперь хочу наслаждаться жизнью.

На опрокинутых лодках, на санях-поплавке сидели юноши и девушки, беседовали тихонько, иногда смеялись, слушали других, потом снова затихали и так же тихо исчезали группами, а на их место приходили другие. Только Николай Котляров сидел все время в одиночестве и смотрел на реку.

Сергей стоял против Тани, высокий и могучий, говорил басом.

— А помнишь, Таня, когда начиналась война, ты сказала, помнишь, на кладбище сказала: если я вернусь целый и невредимый, ты меня поцелуешь? Помнишь? И вот смотри: давно вернулся целым, все ожидаю и ожидаю, а ты молчишь.

Павел Варавва сказал:

— И я слышал.

Таня оглянулась на Павла с той грацией, которая приходит только в счастливые дни любви.

— Сережа, во-первых, война не кончена. Во-вторых, тогда мой поцелуй был бы для тебя наградой, а теперь я не уверена...

— Ну...

— Согласись, что вопрос далеко не ясен... Но я тебя поцелую, если расскажешь про Петроград.

— Да мало я вам рассказывал? Я тоже человек гордый...

Сергей присел на поплавок рядом со скучающим Степаном Колдуновым. Алеша поднял голову, присмотрелся к слабо мерцающим звездам, что-то тихонько засвистел и замолк.

— Хорошо здесь, — сказал Сергей, — мирно. Собственно говоря, в такой вечер нужно запретить разговаривать. Да еще на таком берегу, на такой реке. Таня, сядь рядом со мной, исключительно для поэзии. Ты посмотри, даже Павел поэтически настроен — Павел, большевик, революционер, борец за правду. Поверить трудно — такой деятель, а теперь стоит и мечтает.

— Я не мечтаю, я думаю, — ответил Павел и кашлянул: с таким трудом слова выходили у него из уст.

— О чем же ты думаешь?

— Я не умею рассказывать.

— Давай, я за тебя расскажу.

— Сережа, расскажи, голубчик! — Таня взяла Сергея за руку. — А то он всегда молчит, и ничего про него не узнаешь.

— Могу. Он думает, во-первых, о том, что на Костроме ему тесно и он не может развернуть своих талантов. О том, что на заводе мало работы и за прошлый месяц он получил только сорок пять рублей. В-третьих, он думает о том, что ты должна уезжать в Петроград и тогда на Костроме станет еще теснее; в-четвертых, он не уверен, что ты любишь именно его, Павла Варавву, а не меня или Алешу. В-пятых, у него протерлись праздничные штаны. Протерлись потому, что они слишком долго были праздничными штанами.

— Ой-ой-ой, сколько же у него мыслей! — протянул Алеша. — А я думал, что он больше практический деятель. Он угадал, Павло?

— В общем, угадал. Только я думаю не об этом.

— Странно. Как же это?

— Я думаю о России.

Степан быстро повернулся на поплавке — проснулся будто.

Павел переступил с ноги на ногу и с этим движением оживился. Он присел перед Сергеем на корточки и заговорил горячим шепотом:

— Честное слово, о России. Ты, Сергей, все едешь, много видишь. Ты — прямо счастливый человек. Тебе можно и не думать. А здесь... ты себе представь. Смотри — живут... Сколько людей! И раньше жили?

— Да яснее говори, ничего не разберу, — Сергей наклонился к нему.

— Россия! Вот возьми так и скажи — Россия! Что это такое? Народ такой? Народ такой, да? А почему... почему у нас тут все жили и никогда не думали про это. Ну, там война, конечно, воевали, а вообще не думали, жили — и все. Что, неправда?

Сергей, опершись на колени, завертел головой:

— Конечно, неправда.

— Нет, правда! Я тебе даже так скажу: вот здесь у нас на Костроме, да и в городе процентов шестьдесят... нет, не шестьдесят процентов... восемьдесят таких, которые даже слова этого не выговаривали: Россия.

— Врешь, — задумчиво протянул Сергей, — говорить-то, может, и не

выговаривали, а знали все-таки. Чувства не было, чувства, а знали: это Россия, а там Петербург, а в Петербурге царь сидит.

— Да нет! — Павел поднялся сердитый. — Алешка, помогай! Этот медведь такие вещи сразу не поймет. Может, ты ему расскажешь?

— Вы оба ничего не понимаете, — ответил Алексей. — Россия была, и все это знали. И все чувствовали. А только от этого радости людям не было.

— Вот это правильно! — закричал Степан.

— А теперь? — Сергей, наверное, прищурился.

— А теперь я чувствую и Рязань, и Казань, и Саратов.

— И Саратов! — крикнул Степан и махнул в темноте кулаком.

— Видишь? Как он Саратову обрадовался! — Сергей начинал торжествовать победу.

Но Степан тоже торжествовал:

— А как же? Мой город — Саратов! Губерния!

Все расхохотались.

— Да чего вы! Плохая губерния, может?

— У тебя, Степан, саратовский патриотизм. Ты как думаешь насчет России? Только подальше от своего Саратова.

Видно было в темноте, как Степан наморщил лоб:

— Расея? А как же. С одного бока Расея, а с другого бока боярин. Толку мало! А ежели бояр передавить, да я за такую Расею кому угодно зубы поломаю.

— Кому?

— Да кому хочешь, хоть и тебе.

— А раньше не ломали зубы? При царях не ломали? Наполеону?

— Ломали, — с аппетитом произнес Степан. — А как же? Не лязь. Он, русский человек, не любит, когда лезут.

— Вот хорошо сказал, Степан, — обрадовался Алеша. — Таких гостей провожали с честью!

— А как же иначе, — подтвердил Степан, — гостя нужно провожать: хорошего, чтоб не упал, плохого, чтоб не украл.

— Да что у тебя было красть? Онучи? — Сергей хохотал.

— А что ж? Не смей до моих онуч без спросу.

— А у твоих господ дворцы, заводы, шелк, бархат.

— С моими господами я желаю вам счет свести. Может, мне нужно шелковые онучи сделать, вот как у Степана Разина было, а тут какой-то Наполеон лезет. Чего ему нужно?

— Держи хвост трубой, Степан! Не сдавайся!

— Да нет, Алеша, не бойся!

Степан размахнулся руками, присел и выдохнул из себя широкое слово:

— Эх, силушка, силушка! Да давай же я тебя, добрый молодец, положу на обе лопатки!

Он пошел на Павла, комично перегнувшись вперед, расставив руки. Павел захохотал и отскочил в сторону:

— Что ты меня положишь! Ты Сергея положи!

— Все равно кого. Пропадает сила понапрасну! Положу!

Сергей медленно поднялся на ноги, потряс плечами, попробовал собственные бицепсы. Таня прозвенела:

— Степан, удирай! Сережка в цирке борцом работал!

— Борись, Степа, не бойся, — Алеша сказал это, — из цирка его выгнали.
— По-французски? — спросил Богатырчук.
— Чего я там буду с тобой по-иностранному? — захрипел Степан, облапил Сергея, захватив и руки. Сергей засмеялся, выдернул одну руку, но другой выдернуть не мог. В следующий момент Степан перегнул его «через ножку» и повалил на землю.

Павел закричал:

— Неправильно! Что ты делаешь?

Но Сергей уже не мог сопротивляться от смеха, а застоявшаяся страсть Степана ничего не замечала. Он наступил коленом на Сергеев живот и полез на Сергея всей своей массой:

— Проси пощады!

— Да ну тебя к черту! Медведь!

— Нет, не медведь! Отвечай по порядку, как ротному командиру!

— Ну?

— Скоро у вас там в Петрограде толк будет?

— Скоро, — ответил Сергей со смехом.

— Когда?

— Военный секрет.

— А я тебе не военный? Кто я такой? Отвечай!

— Ты — темная, деревенская сила!

— Ах, так? — Степан затанцевал коленом на Сергеевом животе.

Но на этом и окончилось его торжество. Сергей незаметным сильным движением опрокинул Степана на землю и в следующий момент переметнулся в темном воздухе, по всем правилам придавив плечи противника к земле. Степан высоко задрал широкие, тяжелые и бесформенные сапоги, зрители смеялись. Тогда Сергей спросил у Степана:

— Отвечай по порядку, как уполномоченному по фронту.

— Отвечаю.

— Скоро ты поумнеешь?

— Скоро, — захрипел Степан.

— Когда?

— Военный секрет.

— Ах, так? — передразнил Сергей и тоже наступил коленом на живот.

Степан ойкнул и замотал ногами, но вырваться не мог.

— Отвечай: завтра поумнеешь?

— Утром или вечером?

— Да хоть вечером.

— Вечером можно.

Когда борцы, отряхнувшись, уселись на свои прежние места, Таня спросила:

— Кто же из вас сильнее?

— Он сильнее, да сила у него неорганизованная. Нахрапом берет, — Богатырчук подмигнул Степану.

10

И снова, как когда-то давно, Алеша и Таня отстали по дороге домой. Они подымались от реки по широкой истоптанной песчаной дорожке. Впереди на блеске огней «Иллюзиона» колебались темные силуэты друзей, доно-

сились оттуда отдельные слова Степана, наиболее энергичного из ораторов:

— Сделаем... еще как сделаем...

Алеша прислушивался к Степановым словам и улыбался и в то же время прислушивался к самому себе: почему-то так случилось, он давно не бывал в обществе девушек, сейчас очень хорошо было идти рядом с Таней, но ее близость волновала его в совершенно «святом» разрезе. Таня шла рядом с ним, поглядывала на звезды, вздрагивала и зябко подбирала руки к груди. Она была и сегодня хороша, и поэтому Алеша радовался, что она любит Павла, Павел заслуживает счастья. Выходило так, как будто это он, Алеша, устроил для друга такое торжество. Но это не главное. Главное в том, что Таня старый друг, старый друг и нежный, которому хочется все рассказать до конца, то, что любимой, может быть, и не скажешь. А, впрочем, кто знает, что можно рассказать любимой?

Алеша говорил:

— Вот ты можешь учиться, а я не могу. Я теперь все думаю о будущем. Если бы я знал, какое оно будет, я мог бы учиться, я поехал бы в Институт гражданских инженеров, читал бы книжки, писал бы письма, ходил бы в театр...

— У тебя такое... неприятное состояние? Неуверенность?

— Нет, почему неуверенность? И почему неприятное? Вот... Лет пять назад у всех было состояние... уверенности. Все знали, что будет завтра и что будет через месяц. Знали даже, на каких лошадях выедет Пономарев... Это было состояние уверенности. Но это состояние вовсе не было такое приятное, особенно для подавляющего большинства. А сейчас я не думаю о том, что будет дальше. Если бы я начал предсказывать, я, наверно, наврал бы. Но зато я знаю, что я буду бороться за что-то прекрасное, я знаю, чего я хочу и чего другие хотят... И я буду добиваться! Я много думаю о будущем.

— И я тоже... Только я знаю, какое будет будущее, а ты не знаешь.

— И ты не знаешь. И никто не знает. Какое там будущее... Тут и прошлого не знаешь как следует.

— Прошрое мы знаем, не ври.

— Нет, не знаем. Скажи, пожалуйста, любила ты меня или не любила, когда поцеловала в вагоне?

Таня спокойно подняла на него глаза:

— А как же? Разве можно было тебя не любить. Ты уезжал на фронт, первый офицер с нашей Костромы, — тебя все любили. Я тебя и сейчас очень люблю.

— Ты — прелесть, Таня. Ты — хороший друг. Но ведь я могу... поцеловать тебя, когда ты будешь... первым врачом с нашей Костромы?

— Можешь. А ты так и сделай... Только это в будущем, которого ты не знаешь. А я, видишь, знаю.

— Ничего ты не знаешь.

— Знаю. Мы, большевики, знаем, за что боремся. Мы боремся за социализм. Со-ци-а-лизм!

— Социализм — это будет прекрасное, справедливое, замечательное время. Без эксплуататоров. Я этого хочу и добиваться буду, и, даже если на десять человек я окажусь самым сильным, я и их поведу. А теперь есть много сильнее меня.

— Богатырчук?
— И Богатырчук.
— И Павел?
— И Павел.
— Алеша, неужели ты такая скромница?
— Нет... Какая же здесь скромность?
— Ты, значит, так и остался таким гордым? И из гордости ты обломал себе петушиный гребень?

Алеша громко рассмеялся:

— Зачем же так? Это... очень некрасиво. Но... Жаль все-таки, что ты меня разлюбила, ты — такая умница.

— Я тебя очень люблю.

— И я тебя «очень».

Счастливые, они остановились на середине широкой улицы и улыбались друг другу. Таня сказала:

— Спокойной ночи.

Впереди Богатырчук кричал:

— Довольно вам! Где вы там... Спать пора!

11

Нина Петровна Остробородько поднялась на крыльцо тепловской хаты и нерешительно постучала в дверь. Был воскресный день, в недалекой церкви звонили, на небе холодной серой пустыней расположилась осень, но было еще сухо и приятно шибал в нос незлобный запах древесного увядания. Нина Петровна раздумянулась — может быть, от первой осенней свежести, может быть, от первого визита к Тепловым. На ней ладный черный жакетик, у шеи он небрежно раскрыт и видна сияющая белизна шелковой косынки, над которой нежность юного теплого подбородка кажется еще милей.

Послушав, Нина сильнее постучала в дверь, ее губы проделали гримасу возмущения, но сразу и успокоились в еле заметной строгой улыбке, которая всегда шла к ее спокойным, немного ленивым глазам, к точному повороту головы, к румянцу и белизне лица.

Дверь открылась неслышно, и выглянуло удивленное лицо Степана.

— Чего ты дверь ломаешь? — начал он с разгона, но тут же и ошалел, дернул головой и, ничего не сказав, ринулся обратно. В кухне он в панике схватил руку Василисы Петровны, занесенную над кастрюлей, и зашептал:

— Мамаша! Что делается! Принцесса — не иначе. А может, барыня какая...

Василиса Петровна нахмурила брови:

— Да остепенись, Степан Иванович! Принцесса!

Капитан зашевелился в углу, надул усы, прислушался к разговору, наморщил лоб. Потом вытянулся, схватился за бок, но беду поправить было все равно невозможно: пояса близко не было. Так, с распущенной гимнастеркой, он и остался стоять в углу, краснея и отдуваясь; в дверях кухни появилась Нина Петровна, на капитана не поглядела, прошла прямо к Василисе Петровне.

— Я вас хорошо знаю: вы мать Алеши. Я много раз видела вас на улице. Здравствуйте.

Василиса Петровна смотрела на девушку внимательно, просто, серьезно, наклонила голову, протянула сухую, сморщенную руку.

— Здравствуйте. А кто вы будете?

— Я Нина Остробородько. Не слышали?

— Вы — доктора дочка?

— Доктора. Вы у него лечились? Да?

Василиса Петровна улыбнулась:

— Я еще никогда не лечилась...

— У вас такое здоровье?

Степан отозвался:

— Здоровье — это у богатого, а у бедного — жилы.

Нина весело, искоса глянула на Степана:

— А я и вас знаю, мне Алеша рассказывал: Степан Иванович? Говорит, вы — человек мыслящий.

— Какой? Какой человек?

— Мыслящий. Думаете много.

— Во! Наврал тебе Алешка! Это когда в бой идти, тогда действительно все думаешь и думаешь. А если обыкновенно, так тут нечего думать. А ты к нам по какому делу?

— А это уж... есть и постарше тебя. Василиса Петровна, прогоните их: вот его и господина офицера. Мне с вами нужно по секрету.

Господин офицер, забыв, что он без пояса, стукнул каблуками и поклонился, но сразу после этого схватился за то место, где полагалось бы быть поясу, и неловко, боком прошел опасное место мимо Нины — выскочил в сени. Степан было возразил:

— Да я — свой человек...

— Иди, иди! — Василиса Петровна подтолкнула его.

В сенях капитан оглянулся на Степана:

— Черт! В таком виде! Я думал, тут таких не бывает.

Степан при помощи пятерни разбирался в затылке:

— Вот тебе и задача! Это ж тебе барыня, а все-таки и поглядеть приятно: женщина, сразу видно, — я даже взопрел, говорит-то как: Степан Иванович — мыслящий человек! Чего это она пришла, послушать бы...

Капитан с досадой похлопал по карману — папирос не было. Степан был в нетерпении:

— Да что ж мы? Здесь и будем стоять? Капитан!

— А может, они недолго.

— Две бабы собрались? Недолго?

— И курить нечего.

— И курить нечего! И моя махорка там. Вот, брат, так и на войне: когда наступаешь, видно, куда тебе нужно. А когда отступаешь, ну... куда попало, туды и прешь. Нам с тобой надо бы в комнату бежать, а мы в сенцы. Как это называется? Это называется: паническое бегство.

Он приоткрыл дверь в кухню:

— Василиса Петровна! Разреши перевести войска на новые позиции.

Василиса Петровна что-то ответила, потом донесся молодой женский смех.

— Получили разрешение, идем, капитан.

Через кухню Степан прогремел как мог, капитан прошел на носках,

расставив руки, не глядя в стороны. За ними следили две пары серых женских глаз: одни — молодые, сильные, красивые, другие — бесцветные, изжитые, но и те и другие улыбались, и в тех и в других искрилась ласковая ирония.

— Помирились, — сказал Степан, закрыв за собою дверь. — Чего этой нужно, ну, что ты скажешь?

Капитан копошился в своем табачном богатстве. Из кухни глухо доносились голоса. Степан покружился по комнате и не утерпел. Дверь закрывалась неплотно, и он с доступной ему и его сапогам грацией придвинулся к щели и насторожил ухо. Капитан закурил папиросу, замахал спичкой и только тогда обратил внимание на притаившегося у дверей Степана. Потухшая спичка остановилась на самой середине пути, он возмущенно шепнул:

— Степан!

— А?

— Что ты делаешь, черт сопатый? Разве можно подслушивать?

Степан отмахнулся от него и открыл рот, чтобы лучше слышать. Капитан с решительной хмуростью подошел к нему, тронул за локоть:

— Это же безобразие! Они не хотят, чтобы мы слышали, — значит, секрет.

— Да отстань ты, — рассердился Степан. — Секреты! Вот я секреты и слушаю!

— Да как тебе не стыдно? Это подлость, понимаешь!

Капитан тихонько бубнил в усы. Степан злобно обернулся к нему и тоже зашептал, передразнивая капитана:

— Подлость! Что это тебе, буржуи какие или меньшевики, допустим? Свои люди говорят, чего там! Вот помешал мне. Иди себе! «Подлость»!

Он снова устроился у двери и через полминуты завертел головой от удовольствия. Капитан отошел к окну и изредка оглядывался на Степана с осуждением. Степан долго слушал, потом в последний раз крутнул головой, открыл дверь в кухню и ввалился туда с громкой речью:

— Да вы меня спросите, милые! Вы меня спросите. Что же вы без меня тут толкуете? Ай-ай-ай! Как же это можно — такие дела без мужика?

Вторжение Степана было встречено женщинами по-разному. Василиса Петровна глянула на Степана строго, махнула рукой:

— Господи, какой ты нахальный стал, Степан Иванович!

Но Нина Петровна спокойно подняла на Степана любопытные глаза:

— Да... Василиса Петровна! Он все равно подслушивает. Куда мы от него скроемся? Пускай уж тут сидит.

Она повернула к хозяйке добродушное, понимающее лицо, лукаво повела бровью. Василиса Петровна улыбнулась, довольная. Очевидно, Степан меньше всего мог помешать ей.

— Хорошо, говори, Степан Иванович.

Нина чуть-чуть приподняла нижнюю губу. Это у нее выходило дружески-кокетливо — движение милого, полнокровного, женского превосходства:

— Я тебя на «ты» называю, потому что и ты меня на «ты» называешь.

— А? На «ты»? Да называй, а как же. Тебе нужно... не знаю, как звать-го тебя: Нина, что ли?..

— Нина.

— Ну, пускай Нина. Тебе нужна, значит, хата и чтоб кормила тебя.

Здесь у нас на Костроме. А ты нам рабочий клуб устроишь. А папашу твоего, доктора, выходит, как будто по шапке.

— Не по шапке, Степан, просто — далеко ходить. Ходить далеко.

— Все равно по шапке, далеко там или близко. Ты вот не хочешь, чтобы он за тебя платил?

— Не хочу. Я взрослая и заработаю.

Степан движением головы поставил точку:

— И заработаешь. И раз на заработки пошла, — значит, тебе нужно подешевле, попроще. И мебели у тебя никакой нет.

— Мебель есть.

— А-а?

— Есть же у меня кровать, столик, ширмочка. Этого ты, значит, не подслушал.

— Это я пропустил, верно. Капитан этот помешал. Вцепился, понимаешь, говорит: подлость. Как будто тут меньшевики или другие какие соглашатели. А тут свои.

— А если бы соглашатели, ты не подслушивал бы?

— Чего?

— «Чего»! Оглох сразу! Отвечай, а не чегокай. Хитрый какой!

— Если бы это они? Эта шатия? Чтобы они, допустим, разговаривали, а я бы прозевал, что ли? Как же это можно? Там — другое дело!

Женщины рассмеялись громко: Василиса Петровна — себе в фартук, Нина — откидывая голову. Хозяйка сказала с укором:

— Другое дело! У тебя все дела одинаковы: где тебя ни посеи, везде уродишься.

— Это верно, мамаша. Вот и жито такое бывает. Это все от бедности, понимаешь. А только пускай она скажет, почему с этим делом к нам пришла?

— Я никого на Костроме не знаю. А Алексей — мой друг.

— Да ведь ты не к Алешке, а к нам.

— Не к вам, а к Василисе Петровне. Хотела познакомиться, а ты сам пристал, как смола.

— Смола не смола, а давай о деле говорить. Есть тут хорошая комната, с занавесками. И хозяйева подходящие, трудящиеся, не обидят тебя: старик да старуха. Тут рядом. Пойдем поговорим. Что касается кормов... видишь, кто тебя знает, может, ты и не привыкла. Ты, небось, в жизни каши не ела, а все котлеты да пряники. На тебя, если посмотреть, корма у тебя хорошие! Смотри, какая ты гладкая.

Нина громко рассмеялась. Василиса Петровна слушала Степана серьезно, было видно, что она придает Степановым словам некоторое значение.

— Голубчик Степан... подожди. Хозяйева-то меня не даром кормить будут? А я на котлеты заработаю.

— А без котлет ты не способна?

— Хочу гладкой остаться.

Степан с удивлением встретил такое заявление, даже улыбаться перестал, перевел взгляд на хозяйку:

— Во, мамаша, какой народ пошел упорный! Да сколько ты там зарабатываешь, в клубе в этом самом?

— Заработаю немного, но я все деньги буду тратить на котлеты.

— На котлеты?

Перед лицом этой новой решимости Степан снова обратился к Василисе Петровне.

— Василиса Петровна! А может, она и правильно говорит? Подожди, товарищ Нина, вот сделаем... это самое... Керенского выгоним, другая жизнь пойдет, а пока все-таки кашу тебе придется попробовать. На котлеты все равно не заработаешь. Да и какая там у тебя работенка? Книжки будешь выдавать?

— И книжки выдавать. И спектакли ставить. Сегодня будут сцену устраивать.

— В столовой?

— В столовой.

— А этот... Убийбатько?

— По шапке. Аппарат у него купили.

— Ты купила?

— Не я, а заводской комитет.

— Наш комитет?

— Завода... Пономарева... И железнодорожники помогли...

— Да когда же вы успели?

— Прозевал, Степан Иванович.

— Прозевал.

— А у нас уже и репетиции идут.

— Это что такое? Представление будет?

— «Ревизор» Гоголя.

— Ревизор? Видал такое представление. Там этот... приезжает. Я, говорит, ревизор, а потом оказывается, обыкновенный соглашатель. Так где же ты этих наберешь... актеров?

— Да уже репетиции идут. И Алеша играет.

Степан закричал:

— Алеша?!

Даже и Василиса Петровна тихонько вскрикнула:

— Алеша?

Возгласы удивления были так выразительны, что и капитан просунул голову в дверь. Степан сорвался с табуретки, протянул к капитану руку:

— Мы тут с тобой сидим, а они представление делают!

Капитан взялся за пояс и смело вступил на кухню:

— Представление?

— Мы и на вас рассчитываем, у нас некому играть Тяпкина-Ляпкина.

Степан все кричал в одном тоне:

— Алешка в актеры записался! Вот жизнь пошла, не поспеешь никак!

Василиса Петровна, наконец, опомнилась:

— Да когда же он успел?

— А вы разве не знали?

— Какой же человек! — Степан никак не мог прийти в себя. — Ничего не сказал. Видишь, капитан, как они тайно делают?

В сенях стукнули дверью.

— Алешка идет! — закричал Степан. — Вот я у него спрошу: почему тайная дипломатия?

Алеша вошел из сеней, хотел было палкой пырнуть Степана в живот, но увидел Нину, покраснел, засмеялся смущенно:

— Нина! Что такое? Как это с вашей стороны... Ах, какая вы! Мама, вы познакомились?

Степан озлобленно махнул рукой:

— Да что ты: мама, мама? Ты говори, почему такое? Почему секреты? Представление играешь, а мы? Как остолопы, ничего не знаем!

— Представление? Нина, вы рассказали? — Алеша, расстроенный, опустился на табурет, как был, в шинели.

— А разве нельзя было, Алеша?

— Да... понимаете, я забыл вас предупредить... Я, мамочка, сюрприз хотел для тебя сделать. И для батьки. «Ревизор»... Сюрприз, но теперь еще лучше сюрприз: как это замечательно, что вы пришли! Знаете, что? Вы у нас будете обедать...

— Некогда нам обедать, — сказал Степан, — нам нужно идти квартиру нанимать.

— Вы решили, Нина? Вы решили? — Алеша схватил ее руки, заглянул в глаза. — Неужели решили?

Нина обратилась к нему, подняла спокойные, ласковые, улыбающиеся глаза, прошептала только для него одного:

— Решила, Алеша.

Василиса Петровна следила за ней внимательно, с осторожной, немного сомневающейся симпатией, потом пожала плечами:

— Какие времена настали? Раньше люди богатства добивались, а теперь бедности добиваются. И еще смеется.

Нина поймала ее руки, сложила вместе, подняла вверх, опустила на старый фартук.

— Василиса Петровна! Не бедности добиваются, а счастья.

Василиса Петровна смотрела ей в глаза, не отняла рук:

— Значит, счастье у нас, на Костроме? Здесь его никогда не было.

— А теперь будет.

Даже Степан притих перед этими вопросами, быстро завозил ладонями по усам. Не утерпел:

— Верно. Вот какая ты разумная женщина, товарищ Нина. Просто даже не верится. Счастье, оно... какая смотря компания. А теперь компания большая будет. А бедность — чепуха. Бедность, понимаешь, когда у человека духа не хватает. Идем, Нина, нанимать квартиру.

— Успеете нанять, — сказала Василиса Петровна. — Сейчас придет отец, будем обедать. Обед сегодня варил... товарищ Михаил Антонович.

Василиса Петровна сдвинула весело брови. Капитан подошел к Нине, стукнул каблуками, поклонился:

— Просим с нами...

— Как у вас тут... Алеша, отчего у вас так хорошо?

— У нас?

Алеша оглянулся. Он привык к своей хате и не знал, что в ней особенно хорошо. Табуретки? Или старая клеенка на столе? Он вспомнил богатый уют дома Остробородько, дорогую простоту, невиданные на Костроме вещи: пианино, ковры, картины, статуэтки, безделушки. А в этой кухне и Нина казалась случайно попавшей драгоценностью среди таких обычных, припорченных трудом и жизнью людей: матери, Степана, капитана. Нина поймала его взгляд, покраснела:

— Алеша, голубчик, вы не думайте ничего плохого. Вы не думайте, я больше туда не вернусь никогда. У вас люди... Василиса Петровна, прогоните их, я поплачу немножко.

Она и в самом деле с неожиданным изнеможением склонилась на плечо Василисы Петровны. Степан вытаращил глаза, потоптался на месте и в панике бросился из кухни, по дороге ухватил за рукав капитана. Цепляя сапогами за двери, оба буквально вывалились в другую комнату. Там Степан наморщил лоб, развел руками и сказал тихо:

— Ах ты, жизнь! Отчего плачут люди?

В кухне Алеша притаился в углу и не знал, уходить ему или оставаться. Василиса Петровна положила руку на голову Нины, прижала ее к плечу. Нина подняла голову, быстро смахнула слезу:

— Трудно быть сильной, Василиса Петровна! Ах, как трудно! А тут еще всякие чувства... Влюбилась...

— Влюбилась? В богатого?

— Вот еще чего не хватало! В богатого! Я серьезно говорю, я так... хорошо влюбилась, но только нельзя же все сразу: и новую жизнь начинать, и влюбляться. А кроме того, я не привыкла.

— К чему не привыкли?

— Я не привыкла к хорошей жизни. Мне хочется быть влюбленной так... долго... Сейчас я такая счастливая, вы себе представить не можете. Хожу и все ищу зеркало, хочется на себя посмотреть, какая я счастливая. А то я все была... женственная женщина! Женщина для женихов. Все женихи, женихи, меня нужно замуж выдавать, обязательно нужно, а если не выдать, так я буду несчастная. Все смотрят, папа беспокоится, тетя хлопочет, а женихи все ходят и выбирают, подхожу или не подхожу. А я должна сидеть, чай разливать, вот так пальчиком нужно.

Она подняла руку и показала, как нужно действовать пальчиком, разливая чай: отставила мизинчик, тонкий, розовый, нежный, сама посмотрела на него сбоку и рассмеялась. Открыто, просто рассмеялась и Василиса Петровна:

— Ну, ну...

— Не хочу, Василиса Петровна, — вы такая хорошая, вы все понимаете, не хочу женихов, и не хочу замуж выходить, и пусть мне никто не объясняется в любви. Пусть и не заикается...

Она строго посмотрела на Алешу:

— Вы чего на меня смотрите? У вас много других дел: и Красная гвардия, и городничего должны играть. Он — шикарный городничий, вот увидите.

Василиса Петровна доверчиво положила руку на колено Нины:

— Значит, пусть они не воображают? Да?

— Алеша, видите, какая у вас мама. Вы ничего не понимаете, а она все поняла. А теперь я хочу познакомиться с вашим отцом. Если и он такой же замечательный, тогда я буду целый час реветь... целый час...

— Да зачем же так...

— От зависти, Василиса Петровна: вы подумайте, он — мужчина, он — боевой офицер, он в Красной гвардии, он был ранен, контужен, у него такая мать, да еще и такой отец.

Нина перечисляла все эти блага с нескрываемым негодованием. Василиса Петровна снова громко рассмеялась:

— А вы чай должны разливать.

— Как жаль, что вы не моя мать, все себе Алеша заграбастал. А у меня отец — доктор, богатый доктор, ужас! А матери я и не помню. Я буду к вам часто приходить, только, пожалуйста, не думайте, что для него, — я буду приходить, когда его не будет дома. Интересно: какой у вас отец, Алеша?

Василиса Петровна сидела на табуретке и улыбалась. Сейчас было хорошо у нее на душе. Рядом с ней сидит красавица, нежная, ласковая, теплая, немножко еще чужая и непривычная, но уже родная. Удивительно было слушать, как она просто и прямо, в лоб, говорит о своей жизни, но Василиса Петровна знала, что говорит она правду. И было приятно, что ее Алеша нравится этой женщине, было хорошо, что сын у Василисы Петровны такой счастливый, и было радостно, что этому сыну Нина завидовала. А кроме того, в печке за заслонкой ожидает обед, скоро придет Семен Максимович, а в другой комнате притаились новые друзья. Жизнь, так долго бежавшая по скучным и трудным плесам, вдруг на старости раскатилась широкой, свободной и интересной рекой.

Семен Максимович вошел из сеней строгий, даже похудевший как будто. Он был в замасленном рабочем пиджачке и в очень старых штанах, заплатанных и заштопанных. Повесив пальто на гвоздик, он остановился против Нины с некоторым замешательством, потирая руки, измазанные до самого черного цвета.

Высокий, прямой, суровый, он, вероятно, производил на нее впечатление слишком чуждого, совершенно непонятого явления. По обеим сторонам носа у него расположились такие же черные масляные пятна, и от него исходил запах концов, металла, давно заношенного рабочего платья. Его волосы, усы и борода растрепались и тоже были испачканы. Он ни в каком отношении не напоминал ни стройного румяного Алешу, ни мудрую улыбающуюся старость матери. А против Семена Максимовича стояла Нина Остробородько. Она сияла глубокой, до самых костей проникающей холемостью, свободой движений, простой обдуманностью наряда, радостью и покоем, пережитыми в жизни. Но именно она в сильном волнении сделала шаг к нему, что-то заблестело в ее глазах, она произнесла хрипло:

— Здравствуйте.

Она не решилась протянуть руку, не улыбнулась приветно, она склонилась перед ним в поклоне, а подняв голову, засмотрелась на старика, как бы не уверенная в ответе.

12

Собственно говоря, работать на заводе было можно. Рабочие пришли в обычное время с завтраком под мышкой. Как всегда, у проходной будки собралась маленькая толпа наиболее аккуратных, шутили и посмеивались. И сегодня табельщик был на месте и своевременно открыл табельные доски. Можно было повесить марки и расходиться по цехам, а в цехах никому было помешать работе.

Но никто марок не вешал и не спешил проходить в цеха. Рядом с проходной будкой, на старых жидких воротах, белел большой лист, на котором идеальным, крупным, старательным курсивом было написано, что завод закрывается из-за отсутствия материалов. Рабочим предлагалось получить расчет в течение ближайших трех дней. Под объявлением тем же курсивом было выведено: «владелец завода», а рядом стояла известная всем жирная подпись: «П. Пономарев».

К объявлению подходили по двое, по трое и не столько читали его, сколько рассматривали — содержание объявления было всем хорошо известно еще вчера вечером. Столяр Марусиченко, щупленький, с бородкой в виде двух сероватых клочков, щербатый и всегда оживленный, долго задира л голову на объявление и, наконец, сказал тонким, ехидным голосом:

— Да откуда он взялся такой: «владелец завода»? Товарищи, это не он. Марусиченко повернулся к толпе и широко открыл глаза:

— Это не он придумал.

На Марусиченко оглянулся высокий, черномазый, спокойный:

— Тебе не все равно, кто придумал?

— Не все равно, товарищи. Разница. Его, сукиного кота, найти нужно и допросить: кто он такой? Пономарев на заводе уже два месяца не показывался, а тут на тебе: владелец завода!

Старый Котляров сидел на ступеньках проходной будки, вытянул одну ногу, рылся в кармане, серьезными глазами задумался, вглядывался в площадь:

— Ты, Петр Иванович, брось кулаками размахивать. Будешь ты допрашивать Пономарева! Не в Пономареве дело.

— И я говорю: не в Пономареве. А я что говорю?

— Да ты ерунду говоришь, — Котляров протянул руку к объявлению, а с руки болтается кiset с махоркой, — читал ты или не читал? Нет материалу? А мы и без Пономарева знаем, что нет. Ты когда держал в руках рубанок?

— Да еще на прошлом месяце.

— Так чего кричишь: Пономарев? Не в Пономареве дело, а в материале.

— А Пономарев что?

— А Пономарев ничего. Просто себе Пономарев.

Марусиченко завертел головой, прицепился:

— Что это ты, Никита Петрович, за хозяев стал говорить!

Котляров насыпал на бумажку махорки, свернул, зажал крепкими пальцами шуршащий газетный обрывок, склонил голову:

— Хозяева тут — мы с тобой. Надо достать лесу и работать. Дело нужно делать, а Пономаревых сюда пускать нечего — отвязались, и пускай себе.

По площади бежал Павел Варавва, озабоченно поглядывал на ворота. Бежал, бежал, потом круто свернул, погнался за кем-то, закричал:

— Куда? Куда расходитесь? Митинг будет! Муха сказал: здесь, на площади!

Котляров затянулся махоркой, кашлянул:

— Вот это дело. Поговорить надо.

Павел говорил и кричал и все вскидывал правую руку. Наконец, добрался к воротам. Ехидный Марусиченко пошел к нему навстречу:

— Ну, большевики? Чего теперь будем делать? Вон Котляров, молодец!

Все говорит хорошо: Пономарев — что? Мы — хозяйева: купить лесу и работать!

Павел закинул голову, беззвучно захохотал:

— А что? Он правильно говорит! Никита Петрович, правильно!

Несколько человек придвинулись к Павлу. Тот же высокий, черный отвернулся к реке:

— Эх, затеяли кашу! Лес они будут покупать! Кто это такой покупатель — ты, Котляров?

— Да хоть и я, товарищ Борщ! — Котляров закинул короткую папиросу в рот, обжигал пальцы, сердился на папиросу.

Борщ все глядел на реку:

— Пономарев не купил, а ты купишь.

— А я куплю.

Борщ вдруг перестал быть спокойным. Плонул, взмахнул головой, сказал со злостью:

— Как ребята малые: «Я куплю!»

Он отошел в сторону, заложил руки в карманы. Грязный узелок с завтраком сиротливо торчал у него из-под мышки и, забытый хозяином, начинал уже вылезать наружу, готовый вот-вот упасть на землю. Борщ с досадой тормознул его, задвинул снова под мышку и снова злобно уставился на влажную широкую площадь.

Толпа у ворот увеличивалась. Многие уже устали и уселись под длинным забором, с трудом удерживаясь на нижней продольной планке. Другие стояли кружками и кучками, кто помоложе, прохаживались, разбрелись по всей площади. Говорили спокойно, шутили незлобно, матерились больше к слову — по всему было видно, работали головой, задумывались. От проходной будки завода Карабакчи прибежал вихрастый остроносый парень, запыхался, доволен был ответственным поручением; кричал еще издали:

— Товарищи! Товарищи!

К нему обернулись не спеша. Он налетел на толпу, забегал глазами по лицам, вдруг засмеялся:

— Да кто у вас тут старший?

— Тебе Пономарева нужно?

Все взыграли смехом, переглянулись весело. Парень отмахнулся с приподнятым оживлением:

— Да пошли вы к черту! «Пономарева»! Большевики ваши где?

— Лес пошли покупать, — сказал тот же голос, и снова все захохотали.

— Настоящих нет, где-то завалились. Маленький есть. Эй, Павло!

— Павло-о! Иди сюда, за старшего будешь!

Павел из какой-то далекой кучки вырвался бегом.

Остроносый парень подставил ладонь и ритмически застучал по ней пальцем, как будто играл в «сороку-ворону»:

— Сказали! У нас: заводской комитет! Во-первых, когда у вас митинг, придем, значит, поддержим. Только, во-первых, с флагами придем. Так и сказали: придем, будьте покойны. С флагами, понял?

— Да он ни за что не поймет. Он не понимает, как это с флагами.

Павел оглянулся. На него глядел Марусиченко и смеялся, переднего зуба у него не было.

— Спасибо! Это здорово! Приходите! А наши флаги где? Черт!

Он на ходу потрепал посланца по плечу и побежал к проходной будке. Парень направился к воротам фабрики Карабакчи, но по дороге вспомнил, снова полетел назад и закричал уже всем:

— Через полчаса, значит! — успокоился и не спеша побрел к воротам.

По дорожке, размахивая палкой, хромал Алеша. Ему закричали издали:

— Эй, главнокомандующий, а где твое войско?

Алеша под углом повернул, подошел, перебросил палку в левую руку, отдал честь.

— Отца не видели, товарищи?

— Семена Максимовича? Говорят, в город поехал.

— В город?

— Поехал! Как помещик какой! Поймал извозчика и на извозчике. Как барин!

— А ты, Алексей, смотри, — генерал, прямо генерал.

Шинель на Алеше застегнута до самого воротника, туго перетянута поясом, через плечи перешли ремни, новые, еще блестящие, на боку сурово и ловко притаилась кобура, и из нее выглядывает колечко нагана. Поднявшись на носки, Алеша крикнул на всю площадь:

— Кто в Красной гвардии — на завод! Быстро!

К нему подбежало несколько человек. Кто-то спросил:

— С винтовкой?

— Да вчера же я посылал: с винтовкой и с патронами.

— Ах ты, черт! Домой лететь!

— И лети!

Павел Варавва тоже ахнул:

— Кто сказал?

— Не твое дело: я тебе говорю — исполняй приказание!

Окружающие засмеялись. Марусиченко вылез поближе, хватил Павла по плечу:

— А ты поговорить хотел. Военная муштра, брат: исполняй приказание!

Павел умильно склонил голову:

— Да нет, Алеша, скажи!

— Отец приказал: постановление заводской организации.

— Здорово! — Павел в восторге побежал к своей хате.

Степан летел через площадь, сотрясая землю, развевая полами шинели, шапка держалась у него где-то возле шеи, мокрые патлы лезли в глаза, он одной рукой отбрасывал их в сторону, а в другой держал винтовку со штыком, подымал ее и что-то орал встречным.

— Колдунов! Колдунов, гляди! — Хохот пошел по всей площади. — Смотри, Колдунов в наступление пошел!

Кто-то встречный дурашливо бросился удирать от Степана и заорал благим матом, другой поддержал и шарахнулся вбок, воздевая руки.

— Где наши? — закричал Степан, подбегая.

— Наши все здесь. А ты на кого пошел? Жарь с колена прямо по окнам! — Марусиченко показал на блестящие окна пономаревского дома.

Степан опустил винтовку, ослабил:

— Я тоже по окнам с удовольствием бы, да Семен Максимович запретил окна бить. Говорит, вы привыкли, сиволапые...

— Семен, тот не позволит. Ты в хорошие руки попал...

— Товарищи, не видели моего начальника?

— Алешку? Да вон же... Догоняй!

Степан кинулся вдогонку, и снова полы его шинели разошлись по ветру, и снова поднялась винтовка. Он орал на всю площадь:

— Алешка-а!

Алеша обернулся, удивился, нахмурился. Степан был встречен привычной с фронта военной мимикой:

— Колдунов! Это что за вид? Почему все враспашку? Штык почему привинтил? Патроны где?

Степан остановился как вкопанный, по всем правилам приставил винтовку к ноге, другой рукой начал оправлять шинель.

— Патроны где, спрашиваю.

Степан поднял глаза на Алешку и увидел, что нет перед ним никакого простого, веселого друга, а стоит командир, вредный, требовательный и справедливый. Он переступил, заморгал. Возле них собрался уже кружок, но никто не шутил, не улыбался, все захвачены были глубоким содержанием события.

— На какого ты дьявола нужен с пустой винтовкой? Ты же вчера сам объявлял по всей Костроме: патроны! Для чего штык, для чего привинтил, ирод? В штыковую атаку пойдешь? Прыгаешь по площади, как козел, кричишь! Красная гвардия!

Алеша был гневен, и Степан залепетал, вытянувшись:

— Так что, господин...

И умолк. Понял, что все кончено. Отвернул лицо в сторону и увидел вспыхнувшие молчаливые улыбки.

У Алеши вздернулась верхняя губа:

— «Господин»... Что ты мелешь?

Степан вдруг рассердился, плюнул, мотнул головой:

— А чтоб тебя... — улыбнулся открыто. — Запутался, Алеша! Я в один момент! Забыл про патроны!

Он ринулся назад, и опять его полы запарусили по площади. Алеша хлопнул руками по бокам:

— Ну, что ты с ним сделаешь?

Вокруг засмеялись любовно, провожая глазами рейс Степана Колдунова. Алеша двинулся к проходной будке.

13

Нашлись мастера устроить трибуну из ничего. Котляров только глянул на забор и кивнул соседу:

— Ворота снимем.

Через двадцать минут трибуна была готова. Муха, низенький, скуластый, небритый, стоял внизу и сердился:

— Какой дьявол такое придумал? Котляров? Так он же упаковщик. Другого не нашлось?

Отец Мухи, — а отцу было уже восемьдесят лет, и у него давно колени

начали расходиться в стороны, — беззубый и сгорбленный, ответил сыну:

— Так он, Гриша, захватил тут всю власть. Не успели оглянуться, смотрим — трибуна. Он туда залезет, а обратно сигает. Один раз сиганул — чуть ногу не выломил.

Котляров сидел наверху, трибуна под ним ходуном ходила, он смеялся:

— Укрепим — хорошая трибуна. Ленин с грузовика говорил, слышали? Слышали — спрашиваю?

— Да слышали!

— Думаешь, ему легко было на грузовик?.. Туда посадили, а обратно на руки приняли. Так то ж Ленин?! А здесь кто будет говорить? Ты, Григорий Степанович? Прямо на мои плечи, как на лестницу, становись.

— Богомол приедет.

— Богомол? Богомол сиганет. Богомолу плеча не подставлю, — Котляров каблуком хватил по гвоздю, торчащему на трибуне, гвоздь свернулся в сторону.

На площади появились женщины. У всех ворот и калиток запестрели платки и юбки. Мальчишки стайками переносились с одного конца площади на другой. Отец Иосиф вышел из церковного дома, посмотрел на противоположную сторону и обошел площадь под домами. Марусиченко долго следил за ним, поворачиваясь на месте, а потом присел от удовольствия:

— Правильно, батя, правильно. Теперь ходи отряся лапку.

Из ворот фабрики Карабакчи показалось шествие. Впереди несли большой красный плакат, на нем написано: *Вся власть Советам!*

На широкой площади, кое-где покрытой помолодевшей осенней травой, это шествие сразу выделилось как нечто существенное. К нему медленно двинулись струи народа, мальчишки побежали стремглав. В тот же момент из ворот завода Пономарева выступило другое шествие: тоже по четыре в ряд шли красногвардейцы. Винтовки у них за плечами, пиджаки, пальто, шинели туго перетянуты ремнями, а на ремнях красуются новые патронные сумки. Алеша идет слева, молодой и подтянутый, и потихоньку напоминает:

— Держите ногу, народ смотрит!

Ногу держали. Даже на мягком песке шаг красногвардейцев отдавался четким ритмом. Впереди колонны Николай Котляров, напряженный и серьезный, нес знамя.

В колонне табачников несколько человек — тоже с винтовками. Озабоченный Муха быстрым шагом направился к месту встречи. Закричал издали:

— Алексей! Слушай, Алексей!

Алеша оглянулся, заторопился, подал команду:

— Отряд... стой!

Муха подбежал довольный, табачники тоже улыбались:

— У тебя, Муха, настоящее войско!

— А как же! Товарищи... Если с оружием — в одну компанию... Чего там... Одно слово: пролетариат.

Высокий товарищ, с приятным чистым лицом, обратился к своим:

— Я думаю, он разумно говорит. В одном месте вся сила будет. Как вы, товарищи, скажете? И командир у них боевой, все как следует...

Муха ладонью разрезал воздух:

— Сильнее будет! Пускай посмотрят... эти... эти... городские.

— Очень замечательно!— из колонны табачников первый с винтовкой вышел к Мухе.— А чего это железнодорожники... есть у них Красная гвардия?

— У них все не ладится,— Муха прищурился в направлении к вокзалу.— Народ такой — служба движения! Выходи, выходи, ребята!

В колонне табачников закричало несколько голосов. Женщин здесь было большинство. Они вышли из строя и засмотрелись на Красную гвардию. Около десятка вооруженных озабоченно ткнулись в шеренги отряда. Описывая дугу своей палкой, Алеша крикнул:

— Товарищ Колдунов! Принять пополнение, рассчитать, проверить оружие.

Уже подпоясанный, деловой, расторопный Степан приложил руку к козырьку:

— Слушаю, товарищ начальник!

Он старым полковым жестом загреб левой рукой:

— Становись, которое пополнение!

Алешу дернули за рукав. Рядом стояла и в смущении переступала с ноги на ногу чернобровая, зардевшаяся девушка. Ее голова аккуратно была повязана большим серым платком, на груди обильной роскошью расходилась бахрама.

— Здравствуйте,— сказала она тихо и опустила улыбающееся лицо.— Вы меня не признали, видно?

— Маруся!

Она со смехом рванулась в сторону. Но он поймал ее за плечи и обнял левой рукой с палкой, а правую предложил для рукопожатия. Вокруг громко рассмеялись девушки:

— Маруся кавалера нашла!

— У! Кавалера,— оскорбилась Маруся, но немедленно же улыбнулась, крепко пожала руку и даже встряхнула ее:

— А я вас сразу признала!— Ее глаза с сердитой огневой силой пробежали вокруг.— От идите, я вам что-то такое скажу.

— Куда идти?

— Идите отсюда. Отсюда. А то они смеются...

— Ты на них не смотри, рассказывай.

— Я ничего не хочу рассказывать, я только одно. Как я тогда плакала, когда б вы знали! И хотела все до вас пойти. А потом приехали батюшка с матушкой и меня выгнали. Говорят: иди себе к своим полетариям. А я сейчас поступила на карабакчевскую.

— А где ты живешь?

— А я тут живу, на Костроме.

— У отца?

— Мой отец еще в ту войну убитый, а я живу здесь у тетки. Товарищ Теплов, а отчевой-то в Красную гвардию только мужчин принимают? А если женщина, так почему ей нельзя?

— Видишь, почему: еще никто не просился из женщин. Да сколько же тебе лет?

— Семнадцать.

— Маленькая ты...

— Маленькая! Ой, господи ж боже мой, маленькая! А как стирать у батюшки, обед варить и на базар ходить, так вы не говорили: маленькая!

— Знаешь что, Маруся? Одной тебе будет... скучно, понимаешь? Если бы вдвоем. Подруга у тебя есть хорошая?

— А как же ж! Такая есть подруга!

Степан гупнул сапогом рядом:

— Алеша, едут! Смотри, на машине какие-то.

— Маруся, ты приходи ко мне с подругой. Поговорим.

Он подошел к отряду. Павел Варавва, становясь в строй, подмигивал: Алеша увидел длинную машину и, к своему удивлению, рядом с шофером — отца: Семен Максимович был на голову выше шофера, ветер растрепал его легкую бороду, от этого старик казался еще строже. Светлая, летняя промасленная фуражка надулась ветром и была похожа на боевой шлем.

Шестьдесят человек Красной гвардии без команды выстроились. Линия свежих патронных сумок придавала ей вид действительно внушительный. К правому флангу подбегал с винтовкой старый Котляров:

— Опоздал малость, с трибуной с этой. Что это за паны в машине? Да там же твой батюко, Алеша!

На заднем сиденье автомобиля Алеша узнал председателя городского Совета рабочих депутатов Богомола. По сторонам от него подпрыгивали на подушке, удивленно приковались взглядами к шеренгам Красной гвардии Пономарев и Петр Павлович Остробородько. Богомол — без шляпы, с великолепной гривой темных прямых волос, чисто выбритый, похожий на поэта, но с лицом серым и опухшим — поднялся в машине, тронул шофера за плечо. Автомобиль остановился со стоном. В старомодном макинтоше, застежки которого ярко сверкали медными львиными мордами, Богомол вышел из машины и направился к Алеше. Молча протянул руку, обернулся к Остробородько:

— Я что говорил? Это войско или не войско?

Петр Павлович поправил очки, кашлянул нежно, кивнул.

— Вы, так сказать, командующий? — спросил Богомол.

— Нет, я инструктор, командующего у нас нет.

Остробородько не поздоровался с Алешей, отвернулся.

— Я могу дать командующего, — Богомол глянул на город. — Хорошего, боевого.

Павел Варавва, неожиданно из шеренги ответил:

— Сами найдем.

— Найдете? — звонким тенором спросил Богомол. — Это вы, молодой человек, найдете?

Богомол гордо вздернул нос на Павла. За ним вздернул очки и Петр Павлович.

— Не молодой человек, а товарищ, — крикнул Павел Варавва. — А вот вы скажите, почему это вы с Пономаревым в одной компании?

Семен Максимович через голову Остробородько сказал:

— Это я привез господина Пономарева.

— Это другое дело.

Пономарев стоял сзади и покорно терпел.

Богомол еще раз скользнул взглядом по двум шеренгам Красной гвардии, как будто подсчитал ее силы; задержался на бледном веснушчатом лице Николая Котлярова, хорошо рассмотрел широкую фигуру старого Котлярова на правом фланге и отвернулся.

Алеша сжал губы, глянул на отца.

— Где Муха? — спросил Семен Максимович.

Алеша кивнул на ворота, — табачники были уже там. Семен Максимович распорядился:

— Давай туда.

Алеша подал команду:

— На ремень!

Может быть, только теперь Богомол хорошо понял, что за плечами у красногвардейцев винтовки. Он зябко сдвинул полы своего макинтоша и, глядя в землю, пошел к трибуне. Навстречу ему спешил Муха. Он как будто что-то жевал, скулы у него ходили. Подал руку Богомолу, другую протянул к Семену Максимовичу:

— Семен...

Богомол перебил его:

— Товарищ Муха, собственно говоря, что вы думаете предпринять? Что вы предлагаете?

— Народ сам предложит...

— Народ само собой, а ваша фракция?

— У нас нет фракции.

У Богомола тонко дрогнули выразительные актерские губы:

— У большевиков нет фракции?

— Да у нас в заводском комитете все большевики.

— Как это так? Меньшевики у вас есть?

— Да нет... — Муха подергал свою остренькую бородку. — У нас этого не водится. Беспартийные есть, так они, почитай, все равно большевики.

— О! Тогда я понимаю, в чем дело. Понимаю. Да, конечно... И Красная гвардия! Сигнала ждете?

— Ждем не сигнала, а... там будет видно. И кроме того... толку ждем.

— Толку? А если не дождетесь?

Муха неожиданно рассмеялся, весело, свободно, как юноша, легко перевернулся, чтобы ветер запахнул полы его пиджака.

— А если не дождемся — добьемся.

Богомол отстал и заговорил с Остробородько, близко наклонившись к его лицу, показывая куда-то на небеса. Пономарев тащился сзади, скучный и как будто спокойный. На его физиономии ничего не выражалось, кроме хорошо налаженного терпения. И борода его терпеливо ходила по ветру, и глаза с терпеливой выносливостью пробегали по встречным лицам, перехватывали человеческие острые взгляды и с терпеливой аккуратностью откладывали их в сторону как ненужные подробности набежавшего длительного ненастья. Так человек в пути, идущий через вьюгу, терпеливо месит ногами снег, отворачивается от ветра, регулярно настойчиво стряхивает снежный прах с платья, а верит и радуется только бледным огням впереди или хотя бы огням в воображении.

Митинг начался. И как только Муха открыл его и сказал первое слово, сразу стало понятно, что собрание сегодня серьезное, что все при-

дают ему большое значение, что никто не собирается шутить и другому шутить не позволит. Даже мальчишки, рассевшиеся на заборе, серьезно смотрели на трибуну и слушали.

Гости взобрались на трибуну по шаткой, узкой доске. У Петра Павловича Остробородько в этот момент было такое выражение, как будто он всходил на эшафот.

Муха объявил:

— Первое слово пусть скажет владелец завода, гражданин Пономарев.

Пономарев сказал коротко, просто, терпеливо. Голос у него был громкий, отчетливый, круглый, но он не давал ему полной силы, впрочем, это и не было нужно: он никого ни в чем не хотел убедить, ему было все равно, что о нем думают, он шел через вьюгу, и впереди для него еще не показались огни. Вопрос был ясен, и ясно было его, Пономарева, хозяйское благородство. В кассе осталось ровно столько денег, чтобы рассчитаться с рабочими, — продавать нечего. Стаканы для снарядов работают теперь в убыток, да для стаканов и металла нет. Пилоного леса во всем городе нет. И угля нет. И ничего нет. На заводе тысячи деталей металлических, а дерева нет, веялки и молотилки собирать не из чего.

— Сами видите: штурвалы, шестерни, штанги — все лежит, а собирать нельзя. Лесопильные заводы стоят: того нет, другого нет.

Голос издали крикнул:

— А чего им не хватает, лесопильным заводам?

Пономарев не ответил, даже не оглянулся на голос. Ответили с другого края площади:

— Совести у них не хватает! Лесопильные закрылись, и наш закрывается. Одна шайка!

Из шпалопропиточного завода на площадь в беспорядке высыпала толпа рабочих и двинулась к митингу. Через головы стоящих Пономарев следил за ними и мямлил:

— Все, что можно сделать, я сделал бы. Я не отказываюсь. А только я ничего не вижу...

Пономарев отодвинулся в тыл трибуны. Его последние слова просто остались несказанными.

На земле переглянулись, переступили, кое-кто с досадой переложил завтрак под другую руку.

Алеша стоял рядом со старым Котляровым. Котляров поддернул винтовку, улыбнулся Алеше, двинул одним плечом вперед.

— А вот я пойду им скажу. С винтовкой ничего?

— Еще лучше, только не убей никого.

Винтовка Котлярова поплыла над толпой. Колька Котляров проводил отца грустными голубыми глазами.

— Котляров будет говорить! — объявил Муха.

— Давай, давай!

— Говори, Котляров, ближе к делу!

Котляров вспорхнул на трибуну и занял, казалось, большую ее часть. Он расставил ноги в широких сапогах, заложил руки в карманы пухлого своего пиджака, локти развел по трибуне. Повернулся в одну сторону — ткнул локтем Муху, повернулся в другую — ткнул Богомола. Муха дружески огрызнулся. Богомол глянул на локоть с негодованием. Кроме локтей

во все стороны, тоже всем угрожая, ходил приклад его винтовки. А сверх того развернулись на трибуне и плечи старого Котлярова. Говорил он медленно, подбирая слова, веселым основательным басом.

— О наших делах говорить нужно коротко: завода мы закрывать не будем. Что касается нашего, как бы это сказать, хозяина Пономарева, про него разговор тоже короткий. Как это бабы говорят: с глаз долой, из сердца вон. Нам гражданин Пономарев без надобности: идите себе домой и отдыхайте после трудов — полная вам свобода. А заводом пускай управляет заводской комитет. Там есть люди получше Пономарева. Нечего тут на лесопильные заводы сворачивать. Плоты стоят на реке, скоро замерзнуть будут, угля там не нужно, опилками топят. Вот теперь и интересно, как это Совет рабочих депутатов позволил такое дело: остановиться лесопилкам. А другое дело: нам туда послать нужно, посмотреть, и пускай Муха сделает. Меня пошлите, и Теплова пошлите, и Криворотченко, и кого хотите — всякий сделает. А для нашего завода угля достать тоже можно, хоть и на железной дороге выпросить, нам много не нужно. Тут не в этом дело, а в другом. Пускай вот Богомол, председатель Совета, объяснит, почему он сюда приехал завод закрывать. Это его такое дело? Почему? Прямо скажу: потому, что ему до рабочего человека никакого дела нет. Наговорил ему Пономарев, а он и доволен: материалов нет. А почему? Ясно почему — эсер! И вашим, и нашим. Председатель рабочих депутатов! Рабочих! А когда твоя партия Ленина преследует, так это какая партия? Привез сюда этого доктора. Какое ему тут дело? Говорят, от городской управы. Зачем ты его с собой возишь? Что, мы его не знаем? Земский доктор, а кто видел его в больнице? А на чем он богатство нажил, на каких больных? А может, он тоже эсер? Угадал?

Богомол ничего не ответил. Стоял, улыбался, глядя в сторону.

— Видите, угадал. Чего они сюда ездят? Провокацию наводить. Городская управа! Какое ей дело до Костромы. Что у нас — электричество есть, или мостовые, или эти... тротуары? А может, театр есть? Сейчас клуб открывают, кто — может, городская управа? Муха открывает да наши дети. А он сюда приехал. Остробородько, бесстыдник. А его дочка молодая, видно, человек чести не потерял, бросила его, богатого отца, у нас живет на Костроме, у стариков Афанасьевых. А мы что ж? Он дочке родной не нужен, а нам нужен? Гнать их отсюда в шею, вот мое предложение.

Котляров в последний раз взмахнул кулаком и снял с плеча винтовку. Богомол быстро отскочил в сторону. Котляров перевесил винтовку на другое плечо и, перегнувшись, показал всем веселые крепкие еще зубы. Все расхохотались и захолопали. Котляров присел на краю трибуны: — Берись, на голову прыгну!

Перед ним мгновенно расступились, и он большим пухлым мешком слетел на землю и начал пробираться к отряду.

— Хорошо я сказанул? — обратился он к Алеше.

— Говорил ты, как надо, а винтовку зачем снимал?

— А чтоб видели. Пускай знают, с кем говорят.

На трибуне парламентски беспристрастный Муха, подергивая бородку, объявил:

— Теперь скажет гласный городской думы гражданин Остробородько.

— Не надо, — закричали, — черта нам время тратить!

— Перекинь его через забор!

Но закричали и другие:

— Да чего вы?! Пускай скажет!

— На что он тебе нужен?

— Да интересно.

— Пускай говорит!

— Вместо театра!

Муха поднял руку:

— Так что? Пусть говорит?

— Валяй!

Остробородько подошел к краю помоста, спокойно, умненько осмотрел толпу. Ему крикнули:

— Чего глазеешь? Говори!

— Ты кто будешь? Эсер?

— Да, я имею честь принадлежать к той партии, которая выставила дорогие для нас имена Каляева и Сазонова.

— Ты не хватайся за Каляева! Азеф у вас был?

Остробородько развязно, с досадой отмахнулся рукой:

— Наша партия говорит вам правду. Она не будет вас обманывать и назавтра обещать вам социализм. Без жертв нельзя спасти революцию. Наша партия не может сказать: давайте мир, хотя бы и позорный. Мы видим у вас замечательный отряд Красной гвардии. Это русские люди, вооруженные русские люди, которые не могут позволить Вильгельму растоптать нашу великую революцию. С такими людьми мы добьемся победы.

— Понравилось? — спросили громко.

— Что понравилось?

— А наши красногвардейцы?

— А как же, очень понравилось! — голос Остробородько зазвучал тем воодушевлением, которое всегда бывает у оратора, когда у него налажился контакт со слушателями. — С такими людьми...

— Да брось!.. — снова крикнули.

— Тебе что, воевать хочется?

— Не мне...

— Ага, не тебе! Гони его в шею!

— Товарищи!

— Убирайся отсюда! Долой! Гони его!

Муха поднял руку. Утихли.

— Пускай кончает или не надо?

Ему был ответом многоголосый крик, в котором уже нельзя было разобрать слов.

Муха комически развел перед оратором руками. Остробородько посмотрел вверх голов, тронул ушко очков, отошел к Пономареву.

— Давай Богомола!

Богомолу, видно, стало жарко. Он распахнул свой макинтош, и глазам всех представился хорошо сшитый светло-серый френч и на нем — приятным мягким блеском серебряная медаль на георгиевской ленте.

— За что у тебя награда? За что медаль получил?

— Керенский дал, что ли?

Богомол откинул волосы, придал голове гордый вид, на толпу смотрел из-под полуопущенных век, прикрывающих большие выпуклые глаза:

— Медаль я не украл — достаточно вам этого?

Сразу почувствовалось, что будет говорить сильный оратор. В голосе Богомола звучали глубокие грудные ноты, теплые и приятные, владел он голосом уверенно и умел придавать ему сложные намекающие оттенки, забирающие за живое. Он не спеша, толково, основательно нарисовал картину военных бедствий, разрухи, остановки жизни. Он называл цифры, приводил факты, еще мало известные, делал это с несомненной честной убедительностью. Многие придвинулись ближе.

— Эсеры — не такие плохие люди. Есть и хуже. Мы — не бандиты, не воры, мы стараемся быть честными людьми. С нами можно говорить. Я знаю, для вас было бы приятнее, если бы я обещал вам прибавить заработок, дал бы лес и уголь. Но я не могу вас обманывать, в своей жизни я немало сидел в тюрьмах за ваше право, за ваше счастье, и поэтому вам я обязан говорить правду, даже если она вам покажется горькой правдой. И я призываю вас: не думайте только о себе, подумайте и о России, освобожденной, великой России. Надо кончать войну. Это первое, священное...

— Правильно!

— Надо кончать войну победой!

— А для чего тебе победа?

На этот вопрос Богомол налетел с разгона, крепко ушибся, перевел дух, и это погубило его ораторский успех. Он неловко переспросил:

— Как?

Может быть, ему и ответил кто-нибудь, но за общим смехом не слышно было ответа. Если бы на этом смехе кончилась его речь, все прошло бы благополучно, но Богомол оскорбился и потерял власть над собой. Глубокие и грудные ноты, теплые и приятные, исчезли в его голосе. Он сделал шаг вперед и закричал на тон выше, в той истошной истерической манере, которая может только раздражать слушателя. Теперь слушали, поглядывая на него сбоку, рассматривая его медаль и макинтош, улыбаясь в усы. Он кричал:

— Да, мы не боимся говорить: война до победного конца! Да, мы не сложим оружия, мы не отдадим наших знамен, облитых народной кровью, мы не опозорим свободную Россию, как это хотят сделать большевики!

Его слушали молча, сумрачно до тех пор, пока веселый бас Котлярова не произнес сочно, с добродушной улыбкой:

— А не арестовать ли нам этого господина?

Только на мгновение этому возгласу ответило молчание. А потом оно разразилось сложнейшим взрывом, в котором было все: и слова, и крики, и смех, и гнев, и требование, и просто насмешка:

— Правильное предложение!

— Бери его сразу!

— Тащи его вниз!

— Пускай за решеткой подумает!

— Держи его крепче, а то он на фронт убежит!

— Арестова-ать!

Богомол стоял на помосте, опустив глаза и зажав в кулаках полы своего

макинтоша. Котляров поднялся на носках, посмотрел на трибуну, глянул на Алешу. Алеша понял. Улыбаясь, он одернул шинель, потрогал пояс:

— Пойдем! Остальные — на месте.

Пробираться сквозь толпу было не трудно. Алеша только один раз сказал:

— Сделайте здесь дорожку, товарищи!

Здесь первый раз в жизни Алеша ощутил прилив нового гражданского чувства. Кто-то крепко сжал его руку выше локтя, он посмотрел в глаза этому человеку, и человек — бледный, небритый, измазанный слесарь — поддержал его нравственно:

— Иди, иди, Алеша, — действуй!

У трибуны все расступились. Крики еще продолжались, а Богомол все стоял в своей окаменевшей позе. Алеша и Котляров взбежали на помост. Одно их появление вызвало бурю аплодисментов и крики. Муха боком придвинулся к Алеше и заговорил тихо:

— Ты чего прилез? Тебя кто послал?

Алеша удивленно открыл глаза:

— Все... требуют...

— Вот... черт... требуют! Я здесь стою, думаешь, не знаю, что мне делать. Покричат и перестанут.

— Не перестанут.

— Как это можно... взять и арестовать! А что мы с ним будем делать?.. Ты соображаешь?

Но в это время Котляров уже предложил Богомолу следовать вниз по узкой шаткой досочке. Внизу несколько рук приняли Богомола и не дали ему свалиться на землю. А с площади кричали Котлярову:

— И другого бери, чего смотришь!

— Доктора, доктора!

— Что ж ты городскую думу забываешь?

— Он тоже воевать хочет!

Алеша вопросительно посмотрел на Муху. Муха двигал черными взволнованными бровями:

— Наделали делов. Забирай, что ж?

Алеша шагнул к Остробородько. Тот сам двинулся к досочке, сохраняя на лице умеренно-мученическое благородное выражение. До краев площади снова разлилась волна аплодисментов. Алеша захромал к досочке. На него снизу глядел высокий, черномазый, спокойный Борщ и протягивал руки, как мать:

— Теплов! Тебе, хромому, трудно. Прыгай на меня!

Рядом все ласково посторонились. Проказливо, по-мальчишески улыбнулся Алеша и прыгнул. Несколько рук подхватили его на лету и осторожно поставили на землю. Чей-то голос произнес:

— Эх ты, хромой воин!

Алеша кому-то пожал руку и, счастливый, бросился догонять Котлярова, но вспомнил, что здесь близко торчит еще Остробородько.

— Вот он, вот, что ж ты его бросаешь без всякой защиты!

Остробородько даже обрадовался Алеше и сказал с некоторой иронией:

— Куда прикажете идти арестованному?

Митинг продолжался. После ареста Богомола и Остробородько настроение у всех стало веселее. Котляров и Степан повели арестованных в заводской комитет. Их проводили взглядами и обернулись к трибуне. Муха в своем слове не коснулся вопроса об арестованных. Он говорил исключительно о дальнейшей работе завода, разбирал этот вопрос дельно, не спеша, отделяя в нем самые мелкие пункты. И по каждому пункту выходило, что завод работать может, что на лесопильных заводах тоже еще не сдались, что уголь можно выпросить на железной дороге. Он сомневался только в одном: помогут ли служащие завода. Вспомнил о правой руке Пономарева — Соколовском, о котором ходила слава как о коммерческом гении. Соколовский тут же закричал в толпе, потребовал слова, без приглашения полез на трибуну. Муха засмеялся и уступил ему слово. Соколовский был в поддевке, острижен, по-старому, под горшок, и, кажется, его прическа была смазана маслом. У него широкое лицо и узенькие глазки, на верхней губе усики, свисающие тоненькими хвостиками. Он снял шапку и немедленно приложил ее к груди, заговорил ловким, быстрым, стрекочущим говорком, сбиваясь на отдельных словах, бросая их, чтобы скорее сказать другие слова, более нужные и удачные.

— Дорогие товарищи! Товарищ Муха высказывает такое заключение: дескать, ему моя фамилия упомая... с неприличием, можно сказать, произнес. Если мы служили, как вы сами зна... по нужде и по общему обыкновению, при царском само... при старом режиме и това... вот, госпо... гражданину Прокофию Андре... одним словом, Пономареву, то неужели вы ду... народу не послужим? И Мендельсона, и Ковригина, и Назаренко лесопилки, если приложить голову при тяжелом нашем поло... в государственном деле и с мастеровы... с ихними товарищами. Народу послужим... и не сомневайтесь ни капельки. Пускай товарищ Муха прямо не боится. Свои люди, тоже пролетарии, страдали при царском режиме. Будьте уве... надейтесь на меня...

— Ну, довольно, довольно, понимаем!

— Какой ты хороший!

— Ох, и шельма же!..

Соколовский спрыгнул с трибуны и еще долго в толпе подмигивал всем, давая понять, что с ним никто не пропадет.

Потом говорил Криворотченко, большевик и член завкома, один из самых молчаливых людей на заводе, угреватый и суровый. Он говорил с таким видом, как будто и говорить ему не хочется, но что-то нужно повторить, что всем давно известно, но еще как следует не сказано. Он нехотя бросал веские, нахмуренные слова, и они становились железными и несомненными истинами, когда доходили до слушателей:

— Некого спрашивать. Слышали, здесь болтали, как заводная шарманка. Война! Воевать нам теперь не с кем иначе, как с господами. И с господами воевать будем, если добром не уйдут. Наступают времена, это главное. Ничего, что Ленина преследуют. У Ленина тоже есть помощники. Наступают времена. Народ наш ярма больше на шею не наденет. Не наденет, гражданин Пономарев! Это все знают: и народ, и крестьяне, и солдаты — все в одну сторону пошли. И нечего вам с этим ярмом носиться.

Завод у нас не такой знаменитый, и Карабакчи, и шпалопропиточный, а вот видите, и наша Красная гвардия готова. Будем стоять крепко и своего не отдадим! Кто нас победит? Советы трудящихся по-своему дело повернут, а если в Советах эсеры, выкурим. Ты, Муха, тут шептал Алешке, зачем председателя берет. Ничего, пусть знает, у кого власть должна быть. Большевики, они все сделают с народом вместе.

— Верно говорит Криворотченко! — закричал в толпе высокий тенор. Щербатый Марусиченко подскочил возле трибуны, поднял высоко руку:

— Большевики, не зевайте только, не зевайте!

Закричали кругом, проводили Криворотченко бодрыми хлопками аплодисментов. Марусиченко еще подпрыгивал и кричал, когда на трибуну поднялся невысокий человек, взлохмаченный и нескладный. Белеющие мохнатые брови что-то знакомое напомнили Алеше. Он сделал несколько шагов вперед и узнал Груздева. Быстро пронеслись в памяти два Груздева: один — дикий, гневный, насильник и оскорбитель, другой — вежливый, нежный, задумавшийся и грустный. Как будто эти Груздевы не имели к Алеше никакого отношения. Они вспоминались как очень далекий сон, испугавший и взволновавший душу и поэтому незабываемый. Алеша смотрел на Груздева и старался представить себе все-таки, что такое Груздев. Его слов не было слышно. Устремив неподвижное лицо все в одну сторону, куда-то поверх голов, неподвижно поддерживая на напряженной высоте светлые брови, он говорил что-то, идущее от души, но не сопровождал своей речи ни мимикой, ни жестами. На площади становилось все тише и тише. Что он такое говорит, — может быть, это третий Груздев появился сегодня в народе?

Алеша начал осторожно продвигаться вперед и чувствовал, как тихонько продвигаются вперед, подталкивая его, красногвардейцы.

Груздев говорит:

— Разве у нас была жизнь? Разве у нас был какой свет? В темноте жили, в голоде, тугой жили жизнью, а умирали старики — и вспомнить было нечего. Легко это сказать: народ! И я — народ, и вы — народ, и все нами сделано. Кто города строил? Мы. Кто государство наше защищал? Кто кровь проливал, умирал? Мы все! А они нас презирали и считали нас дикими, некультурными, и темными, и глупыми. А они от нас сторонкой жили, своя у них жизнь. И платье у них чистое, и пахнет от них хорошо, и книги они читают, и гордятся перед нами, всем гордятся: и наукой своей, и вежливостью, и образованностью, и лицом красивым, и честью, а про нас говорят: простой народ! А чем я простой? Только тем простой, что загнали меня в угол! И вот мы теперь видим: пришли справедливые люди, большевики. Первый раз такие люди, которые не хотят нас обманывать, душевные люди, за народ стали. Они смело действуют, смело правду говорят, надо, чтобы и народ сам им помог полной своей силой. Какой я есть, темный или бесчестный, какая у меня есть сила и голова, — вам говорю: отдаю себя большевикам. Куда пошлют — сделаю, скажут умереть — умру, скажут жить нужно — жить буду. Если останется один народ, какая жизнь будет... светлая жизнь!

Груздев произнес эти слова, задумался, медленно повернулся и побрел к доске. Его проводили взглядами, никто не хлопнул в ладоши, как будто

боялись потревожить переполненные сердца. Алеша тихонько начал продвигаться к своему месту, и ему захотелось где-нибудь в одиночестве подумать над тем, о чем говорил Груздев.

15

В маленькой комнатке заводского комитета он застал арестованных и Степана с Котляровым. Вероятно, Степан о чем-то разглагольствовал, потому что Богомол сидел в углу на табуретке и негодующим взглядом следил за ним, да и Котляров как-то смущенно рассматривал приклад винтовки между ногами.

Увидев Алешу, Богомол поднялся, подошел к столу, сказал резко, постукивая сложенными пальцами по доске стола:

— Я хочу знать: кто меня арестовал. Вы, товарищ офицер?

Он нажал на слово «офицер» и пристальным, немигающим взглядом вонзился в Алешу. Степан мотнул на Богомола головой:

— Вот я ему толкую, а он бессознательный какой-то... Народ тебя арестовал.

— Я прошу ответить,— приставал Богомол, не обращая внимания на Степана.

— Я не офицер, но арестовал вас я: на основании общего народного требования.

— Какого народного, я хотел бы знать? Где постановление? Где постановление? Наконец, чье постановление? Толпы? Самосуд? Требую немедленного освобождения. Сейчас! Сию минуту! Наконец, где наша машина?

Степан хмыкнул и отвернулся. Алеша ответил:

— Машина? Я, право, не знаю.

— Вы не знаете? Вы, мальчишка, держите под стражей председателя Совета рабочих депутатов?

Степан возмутился:

— Да я ж тебе объяснял: не за то, что ты председатель, а зачем ты в эсеры записался? Вот теперь и расхлебывай! Я тебя не тянул в эсеры? Не тянул. А ты еще и про войну начал молоть, ребенок и тот не скажет...

Степан все это выговаривал нежно, убедительно, но Богомол его не слушал. Он подошел к стене, остановился перед каким-то плакатом, задумался гордо.

Вошли Муха и Семен Максимович.

Муха полез к ящику. Семен Максимович провел по усам пальцем, взял за рукав Степана, прогнал его со стула, положил руку на стол, свесил пальцы, кашлянул и замер в неподвижном строгом ожидании. Муха порылся в ящике стола, поднял глаза:

— Ваша машина здесь, товарищ Богомол. Можете уезжать. И вы, товарищ Остробородько.

— Машина меня не интересует. Вы скажите, какое вы имели право меня арестовывать?

Муха еще раз заглянул в ящик, пошарил в нем рукой, улыбнулся:

— Да какое там право? Арестовали — да и все!

— Нет, скажите, какое право? Вы думаете, это так пройдет?

Муха еще улыбнулся:

— Я думаю, что, — он уверенно кивнул головой, — пройдет!

— Значит, вы надеетесь на безнаказанность?

— Надеюсь, — сказал Муха и закрыл ящик.

— Пользуетесь всеобщим безвластием?

— Пользуемся...

Богомол засверкал взглядом, у Остробородько за очками заиграла тонкая, просвещенная ирония. Муха поднял ясные глаза на Богомола. Тот начал застегивать свой макинтош.

— Не доросли вы до демократии, товарищи. Вам нужна палка, Корнилов нужен!

Слово «Корнилов» Богомол провизжал громко, подбросив маленькую, белую руку к потолку.

Муха поднялся за столом, оперся руками:

— А вы себе заведите Корнилова.

— Кого?

— Да Корнилова. Сильная власть, палка, никто вас не арестует, вы будете проповедовать войну до победного конца, никто вам слова не скажет! Хорошо!

Богомол бросил на Муху гневный взгляд и толкнул дверь. Дверь открылась, но Богомол еще не все сказал:

— Из ваших этих... ленинских химер... все равно ничего не выйдет! Химеры!

Остробородько поднялся, тонко улыбнулся и протянул вперед поучительный палец:

— Химеры и преступление! И преступление!

— Напрасно их выпускаешь, товарищ Муха, — начал Степан, — в каталажку нужно таких или прикладом по голове! — Степан грозно двинулся вперед, но Богомол уже вышел, за ним направился и доктор.

Степан тоже шагнул за ними, но Алеша сказал строго:

— Степан!

— Да я, Алеша... понимаешь... два слова ему скажу...

— Обойдешься.

Степан страдал у двери, — мучили его, видимо, невысказанные слова. Муха двумя ладонями начал растирать лицо, растирал, растирал, даже кряхтел при этом:

— Так. Поехали, значит. Хай большой подымут. Не нужно было, Алеша, ни к чему. И на какой конец ты их арестовал? Где их держать? У нас государственной власти еще нет.

Семен Максимович острым взглядом пробежал по лицам:

— Ничего, Григорий! Хорошо вышло. Очень хорошо. Народ — никакого тебе погрома, никакого тебе беспорядка, вежливо, как полагается, посиди часика два. Вроде как в карцере, Хорошее наказание и справедливое.

Рабочий клуб, еще только организуемый в бывшей «столовой», сделался местом, куда Алешу тянуло посидеть в свободный вечер. В клубе все еще находилось в стадии становления: по всем комнатам шла работа, на полу шуршали стружки, и хозяином расхаживал по ним и распоряжался веселый Марусиченко, возглавляющий тройку столяров, выделенную заводским комитетом. Марусиченко с первого слова сдружился с Ниной и на правах дружбы вмешивался во все клубные дела, всюду совал нос и подавал советы. Он придумал особую систему быстро разбираемых кулис и в одну бессонную ночь смастерил хитрую и красивую модельку. А когда рамки для кулис были готовы, он сам натянул на них холст — и заявил даже, что и декорации будет писать собственноручно. В доказательство своих прав на эту работу он представил несколько подержанных открыток, на которых были изображены зеленые глади прудов и кровавые закаты. Но нашелся художник, перед которым должна была спасовать его буйная энергия. Он не обиделся и с таким же энергичным оживлением занялся грунтовкой и небесным фоном. Главным же художником выступал Николай Котляров, который еще в высшем начальном училище прославился копиями с Шишкина и Киселева.

В течение целого дня в клубе шла работа: делали сцену, переделывали кухню под библиотеку и читальню, строили диваны для зрительного зала и читальни, писали декорации и прилаживали занавес. Нина — в синем бязевом халатике — успевала за день побывать везде: слетать в город, распорядиться, дать многочисленные консультации, поговорить с Марусиченко, полюбоваться работой Николая, и у нее еще оставалось время для работы самой любимой — приводить в порядок сотни книг, которые она каким-то чудом находила в городе. Книги нужно было записать, пронумеровать, расставить на полках, но прежде всего их нужно было доставить из города. Транспортное средство было единственное: костромские мальчишки. Каждое воскресенье веселой гурьбой вместе с Ниной они отправлялись в город. Из города они возвращались всегда почему-то гуськом, и каждый из них на плечах и на груди нес одну или две связки книг. Таня Котлярова называла это шествие караваном в пустыне. Мальчишки ходили в караване не совсем бескорыстно: в их полное и бесплатное распоряжение обещана была отдельная скамья во время спектаклей и киносеансов.

Работа с книгами оказалась сложной еще и потому, что их нужно было выдавать читателям, не ожидая конца работы. Как только «караван в пустыне» первый раз проследовал по Костроме, читатели явились немедленно, а Нина не считала возможным отложить хотя бы на один день удовлетворение этой важной потребности. Даже у Василисы Петровны на ее кровати под подушкой лежала переплетенная «Нива» за 1899 год. Василиса Петровна по вечерам усаживалась в убранной кухне и осторожно перелистывала страницы книги, внимательно рассматривала иллюстрации к «Демону», «Пожар на море» и картинки, изображающие стариков в шляпах и голландских женщин в высоких чепцах. Капитан деликатно, как будто к слову, читал ей надписи под картинками. Однажды между делом он сказал:

— Василиса Петровна! Пустое дело! Давайте покажу вам, как это... как читать.

Василиса Петровна сделала вид, будто она очень заинтересована очередной иллюстрацией, отвернулась, ничего не ответила, но через несколько дней она уже с большим интересом рассматривала журнальный заголовок и шептала:

— Ни...в...а...ва... Нива.

Это проходило в секрете и от отца, и от Алеши, даже и Нина узнала о нем не скоро: когда обстоятельства потребовали отъезда капитана из Костромы.

По вечерам в клубе было особенно хорошо, в нем оставались только люди, преданные идее, и никому не позволялось болтаться без работы. Нина к этому времени крепко привязалась к Тане, в одиночку теперь трудно было встретить и ту и другую. Они предавались новому делу почти без отдыха, тем более что количество книг все увеличивалось и увеличивалось: «караван в пустыне» работал регулярно. У Николая Котлярова тоже задача была длинная, и он разрешал ее с привычной для него миной молчаливого одиночества. Павла Варавву допустили к составлению каталога, и это устраивало его во многих отношениях: во-первых, Павел был выдающийся читатель на Костроме и к книгам относился с нежностью, а во-вторых, рядом была Таня. Пробовали к книжному делу допустить и Алешу, но из такой затеи ничего не вышло. Алеша добросовестно работал до тех пор, пока в руки не попадалась интересная книга, — в этот момент его добросовестность рушилась. Кругом идет работа, а Алеша уже замер над книжкой, развернутой на руке. Еще через три минуты он уже куда-то побрел, не отрываясь глазами от страницы: оказывается, что целью его движения является диван, только вчера вышедший из рук Марусиченко. На диване Алеша располагается настолько уютно, что скоро и записная книжка, и карандаш появляются в его руках. Такое поведение Нина называла распущенностью. Алеша получил новое назначение: для него отвели большой участок стола, и скоро он с головой окунулся в полезное занятие. На кусках ватмана Алеша самым идеальным и самым художественным шрифтом разделявал надписи, необходимые в каждом порядочном клубе: «вход», «выход», «просят не курить», «касса»... А когда принесли только что сделанную доску для вывески, ему пришлось для художника Николая Котлярова сделать рисунок букв:

Рабочий клуб имени Карла Маркса

Теперь частенько в город заезжал Богатырчук. Он работал в губернском комитете партии большевиков, очень много путешествовал по губернии и по дороге всегда навещал старых друзей. Его приезд очень часто нарушал спокойное течение строительства клуба.

В вечер того дня, когда происходил митинг, все и без того были возбуждены, а тут еще и Сергей приехал. В этот раз он даже не пытался кому-либо помочь, а с первого момента засел с Алешей в углу дивана, заваленного кучей неразобранных книг, и они долго говорили, склонившись к коленям. Сначала им никто не мешал, потому что вид у них был серьез-

ный, прически в беспорядке. Потом Павел Варавва присел против них на стопке книг.

Девушки присматривались к ним снисходительно, но потом Таня сказала:

— Хорошо! Наговорились, товарищи мужчины! Можно и нам узнать о ваших тайнах?

Богатырчук охотно ответил ей:

— Наша тайна — жизнь. Выходит, это и твоя тайна, Танечка.

— Значит, это такая тайна, которая всем известна?

— Известна-то известна, а кто знает решение?

Богатырчук произнес это загадочно, откинув голову на спинку дивана, мечтательно направил взор в потолок. Таня без достаточного уважения отнеслась к этой позе:

— Посмотри, Нина, какое дикое соединение большевика с восточным мудрецом.

Нина посмотрела на Богатырчука, но ничего не сказала, отложила перо и приготовилась слушать.

Не меняя позы, Богатырчук продолжал:

— Был один такой вечер в четырнадцатом году, у преддверия этого самого дворца просвещения. Нас было пятеро, и каждый из нас тогда... какие мы все были чудачки! Честное слово, даже удивительно! Николай Котляров возгордился передо мной: он работает, а я не работаю. Алеша возгордился перед Павлом: у Алеши не было денег, а у Павла было два рубля. Я возгордился против всех: все рабы, а я — свободный человек. Таня гордилась своей девичьей властью и своей мудростью.

Павел спросил:

— А чем я гордился?

— А ты возгордился тем, что у тебя есть два рубля, честно заработанные два рубля.

— И ничего подобного... Ну, что ты врешь?

Богатырчук оттолкнулся от спинки дивана и приблизил к Павлу иронический взгляд:

— Вспомни: Алешу ты уговаривал воспользоваться твоими деньгами, а меня то приглашал, то нет, то сыпал мне на руку сорок копеек. Возгордился, как же! Какие мы тогда были чудачки!

— Почему ты вспомнил? — вполголоса спросил Николай, уже стоящий в дверях с кистью в руках. Рядом с ним, вооруженный рубанком, стоял Марусиченко; он приготовился принять участие в разговоре, но в то же время старался понять, интересная разрабатывается тема или не очень интересная.

Богатырчук снова откинул голову:

— Тайна жизни! Какая разница! Какие мы тогда были бедные, одинокие, обиженные, помнишь, Алексей?

Алеша засмеялся вспоминая:

— И гордые, Сергей! Страшно гордые!

Таня смотрела с высоты лестнички недоверчиво:

— А может... просто молодые... желторотые!

Павел повернулся на своей книжной стопке:

— Ничего подобного, Таня! Ты понимаешь, мы тогда... мы теперь

моложе! О! Богатырчук зацепил очень важный вопрос. Я хорошо помню, какая тогда была жизнь! Сил не было, даже злиться сил не было. Жили, жили себе, а в восемнадцать лет уже и... стареть начинали. А что нам было делать? А что у нас было впереди? Одно... костромское. И всё!

Теперь Марусиченко понял, что тема идет важная и что она ему по силам, а в таком случае он всегда высказывался:

— Павел, неправильно говоришь! Чего это: костромское! Кострома, брат, вот она Кострома! Заводы здесь были? Были. Работали? Работали. Молотилки делали? Делали. И в девятьсот пятом году бастовали? А еще и как! А только люди про все забыли. Человек сам себе цены не знал, каждый думал: нету мне никакой цены. Что я такое? Столяришка там паршивый, а тот — слесаришка. А на самом деле была цена. Была, понимаешь, большая цена! Я вот, например, столяр! Рабочий! Последний человек. А что большевики сказали: первый человек!

Николай Котляров слабо улыбнулся:

— Цена! Ты на фронте посмотрел бы, какая нам была цена. Мало того, что уничтожали тысячами, а даже вежливости не было, никто толком не объяснил, почему нужно мне умирать. Команда — и всё! Ты помнишь, Алеша: «Вперед!» А это только называлось так «вперед», а на самом деле: «Умирай!» А почему так, никому не интересно. А только большевики растолковали, куда нужно *вперед* идти.

Марусиченко взмахнул рубанком:

— И всё через них! Легко это подумать: в нашем уезде у князя Волконского тринадцать тысяч десятин, у Четверикова — одиннадцать, у этого... фальшивомонетчика Чуркина — десять тысяч. Сколько это стоит? Ого! А тут тебе Павел Варавва — а сколько ж он стоит? Выходит, пустяк.

Нина тронула пальцем уголок переплета:

— Какая же тут тайна? Господа и теперь есть.

Богатырчук ей ответил радостно:

— Ха! Есть! Принципиально их уже нет! Уже нет! Вы, конечно, знакомы с учением Маркса?

Нина чуть-чуть порозовела:

— «Капитала» я не читала — очень трудно, а я хотела... Но я знаю, я все хорошо знаю.

— Маркс давно доказал, что они приговорены. И все это знали. А они думали: чепуха, исторические законы как-нибудь приспособятся. И воображали, что они все-таки делают историю, что они — организаторы, необходимая сила жизни. Они перемалывали нас с полной уверенностью, что это надолго, что это хорошо. А сейчас им, как снег на голову: нет! Вы понимаете, как это сказано, нет?! Пока говорили книги, они могли отговариваться, а сейчас сказал народ...

— Большевики, — поправил Павел.

— А большевики — это и есть народ. И сказано не как-нибудь так, теоретически, а на практике. А если на практике говорят «нет», так это значит «пошли вон!». И кончено! Принципиально они уже готовы.

Николай сказал осторожно:

— Они будут защищаться.

Богатырчук вскочил с дивана, как всегда, оказался массивнее, чем ожидали:

— Нельзя! Мы их сейчас будем уничтожать, гнать! Я вижу! Я теперь знаю эту «тайну». Я, помните, в цирк поступил, думал, здесь я от них укроюсь. Чепуха, ничуть не укрылся! На войну пошел добровольцем, думал, я герой, наплевать мне на буржуев. Чепуха, от них нельзя было укрыться, на их стороне было всё: организация, уверенность, строй, народное терпение. А сейчас все на нашей стороне. Большевики нанесли страшный удар, они принципиально их уничтожили. Потому что раньше против них была теория, а теперь не только теория, а еще и воля. Воля! Страшная вещь: «Пошли вон!» Чем на это можно ответить?

На это никто ничего не ответил. Богатырчук оглядел всех. Марусиченко кивнул ему весело.

Нина, улыбаясь, спросила:

— Значит, тайна жизни... разрешается в чем?

— В борьбе,— крикнул Павел, чтобы перехватить ответ Сергея.

Сергей захохотал, взмахнул кулаком:

— Нет!

— Как нет?— удивился Павел.

— Тайна жизни в победе! Борьба без победы — чушь, жертвоприношение.

— Как? Что ты говоришь?

Павел даже испугался.

— Иначе быть не может. А у тебя как, Павел? Неужели ты идешь на борьбу и сомневаешься? Думаешь: победим или не победим? Любит, не любит? Пан или пропал? Это значит — ты играешь на поражение. Побеждает только тот, кто уверен в победе. А я уверен. Я и хотел бы сомневаться для порядка, что ли, но я не могу. Я не сомневаюсь.

— А если вас все-таки победят? Представьте себе! — Нина хитро присматривалась к Сергею.

Он обернулся к ней, посмотрел удивленно:

— Как же это может быть? Нина! Меня могут повалить, но я буду подыматься. Убьют, а я буду думать, что это ничего не значит, не один же я? Верно, Алеша?

Алеша размахнулся, сжал кулаки:

— Вот люблю, когда горячая натура! И мы победим, я знаю. У жизни есть цена, вот сегодня правильно говорили. А эту цену я сегодня первый раз по-настоящему почувствовал.

— Где?

— На митинге.

— Это как же? Расскажи.

— Еще не умею. Я потом скажу, хорошо?

Все внимательно присмотрелись к Алеше. Нина склонила голову на руку и задумалась. Марусиченко сказал:

— На митинге сегодня весело было! Это верно.

Репетиция «Ревизора» происходила в школе. Алеша пришел первым. Полы были только что вымыты и кое-где еще блестели влажными полосами. В широком зале-коридоре через большие окна пробивались яркие лучи фонарей бывшего «Иллюзиона» и отражались в портретах большими белыми пятнами. Щели в полуоткрытых классных дверях чернели заманчиво и тихонько. В одном классе на окне горела большая керосиновая лампа, которую в школе называли молнией. В этот класс, назначенный для репетиции, карлик-сторож проводил Алешу. Он, видимо, испытывал сильное желание поговорить и начал:

— Это, как поприходят, понасоривают, понасоривают. Говорил, это, говорил, никого теперь не пугаются...

Но прибежал мальчишка, шепнул: «дедушка», и сторож, потряхивая задом пиджака, ушел на кривых ногах, обутом в тяжелые, складчатые сапоги. Лампа на окне горела большим косым языком, раздражала. Алеша поднялся с парты, пошел бродить по школе.

В этой школе он был третий или четвертый раз, но в ней учились все его друзья, и поэтому от ее стен пахло чем-то родным и близким. Алеша вспомнил реальное училище, широкую мраморную лестницу, затейливые люстры и бра, строгий зал с императорами во весь рост и с аккуратными важными дорожками по блестящему паркету. Здесь залом был просто коридор, на стене темнела простая масляная панель, пол был неровный, местами потерял краску. В одном месте Алеша даже ступил в какой-то гнилой провал между досками.

А это класс. Но классы, кажется, во всей России одинаковы. Изрезанные парты, выступающая колонна печи, широкий белый подоконник. За окном редкие, тусклые огоньки Костромы, а дальше электрическое зарево города. И еще за окном осень: мокрый песок, облысевшие акации.

Алеша сел за передней партой, поставил локти на ее пюпитр, на ладонках примостил подбородок. Кажется, в такой позе хорошо было сидеть в третьем классе реального училища, поворачивать голову направо и налево, ухом регистрировать течение урока, а душой уноситься в просторы мальчишеского нехитрого, но завлекательного воображения.

Очень важно, что тогда было счастливое время. Говорят, что дети всегда счастливы. Это, может быть, потому, что дети умеют жить сегодняшним днем. В сущности, это великое философское умение. Или лишняя жертва отцов. Вот он в третьем классе, может быть, жил счастливой жизнью, а в это время его отец по одиннадцать часов в сутки вертел свой токарный станок. Для чего? Чтобы поздно вечером завалиться спать, а утром снова в шесть часов брести к своему токарному станку. И еще для того, чтобы Алеша в детстве мог жить сегодняшним днем.

А как будет, когда наступит социализм? Вчерашний митинг — это путь к социализму или нет? Алеша улыбнулся в темноте. Что общее можно вообразить между вчерашним митингом и социализмом? Улыбаясь в темноте, Алеша вспомнил трибуну из разрушенных ворот, Красную гвардию в разнообразном одеянии, в заплатанных штанах. И шапки у них разные, и нет ни одной новой. И бороды некультурные, растрепанные, косые. Знаменщик Колька Котляров идет строить социализм, еще не опомнившись

от ужасов войны. А этот Соколовский, коммерсант, пройдоха и подлиза, бьющий себя шапкой в грудь! И Груздев в лохматых сапогах, рассказывающий небу о своей черной жизни и светлой мечте! И наконец, шаловливый, занозистый крик, арест двух господ — один из них наряжен в смешной макинтош и топорщится, как дешевая игрушка.

Когда раньше Алеша думал о социализме, он представлял себе высокие светящиеся колонны, а между ними легко ходят люди, тонкие, светлые, с ясными, мудрыми глазами.

В свое время многие думали о таком социализме, и все хорошо знали, что он помещается так далеко, в таких далях воображения, что, вероятно, там, рядом с ним, помещаются и ковры-самолеты, и шапки-невидимки, и коньки-горбунки, собственно говоря, все это располагается не впереди, а где-то в прошлом, скорее всего просто в детстве.

И оказывается, есть и другой социализм — где-то здесь, очень близко. Это тот самый социализм, который хотят завоевать полуграмотные люди в бедной одежде и в поношенных шапках. Хотят, решили завоевать! Его милый, родной отец, токарь Теплов, высокий, худой и суровый человек, в своей жизни не видевший ничего, кроме труда и Костромы, никогда не мечтавший о светящихся колоннах и мудрых людях, разве он оглядывается на заплатанные штаны и измазанный свой пиджачок? Отец не оглядывается, не сомневается, даже слов лишних не тратит. Все гораздо проще: он просто решил, что должен быть социализм.

Алеша направил глаза в щель полуоткрытой двери. За дверью был полумрак зала, но перед Алешей проносилось будущее. Значит, так: Пономарева нет, нет князей Волконских, нет фальшивомонетчика Чуркина, нет Карабакчи, Троицкого. Нет никакого высокого «мира», нет их дворцов, роскоши, чванства, пахнущего духами, и рысаков, удивляющих народ. Это... это очень хорошо! Но нет и светящихся высоких колонн и ползающих между ними полубогов. Собственно говоря, это... тоже хорошо!

Между вчерашним митингом и этим будущим социализмом прорезался вдруг знак равенства: и здесь, и там живая человеческая простота, живой смех и обыкновенный, справедливый разум. Все гораздо проще и привлекательнее: какая-нибудь электрическая лампочка в комнате будущего Степана Колдунова, какие-нибудь лишних три-четыре часа отдыха у токаря Теплова, книжная полка у Марусиченко, сытный обед у старого Котлярова, университет у тех мальчишек, которые теперь ходят «караваном в пустыне», и у матери его, Василисы Петровны, новое платье, и, самое главное... это все на полном просторе, свободном от паразитов...

В общем, так немного хотят простые, трудящиеся люди, настоящие люди, связанные честностью и трудом. Так немного хотят.

И все-таки вчерашний митинг напоминает что-то такое, что уже было. Так же немного хотели люди и раньше и так же просто и горячо мечтали о справедливости. И как обидно горько представить: при Пугачеве... Император Петр III! Как это грустно и как это глупо! Какой это заброшенный был народ! Петр III! Имя! Тушинский вор разве лучше? Все это перемешано с обманом, вином и со страшной, желудочной темнотой! Фантастический, доверчивый бунт, слепое тыканье темного народа в непоколебимые твердыни истории. И так на протяжении многих веков, и так фатально обреченно, и быть иначе не могло.

И вот сейчас народ поднял честное свое трудовое лицо и требует справедливости. И Богатырчук нашел тайну жизни, и эта тайна в победе, даже если Богатырчук будет побежден. Богатырчук игнорирует многочисленные поражения народа в истории, он уверен, что сегодняшние дни — дни совершенно небывалые, дни единственного в человечестве переворота.

И так он знает потому, что есть Ленин.

Ленин!

Алеша не мог себе представить даже лица Ленина. Гений, который с такой уверенностью, с такой настойчивостью, с таким успехом несет свою мысль человечеству, который так свободно объединил вокруг себя лучших людей России, до Мухи включительно, который говорит людям о новом счастье, так обидно был недоступен для Алешиного воображения!

Алеша загляделся в туманный просвет классной двери, ничего в нем не увидел, но в душе у него распространялся невиданный еще порядок. Ленин стоял в душе без образа и очертаний, без лица и голоса — чистое имя, мысль, чистая идея нового человечества, невиданного, не совсем понятного. И стало ясно, что Ленин — это не просто человек, это еще не доступная воображению историческая эпоха, которая начинается завтра. В том, что она будет, Алеша не сомневался, он только хотел ее увидеть.

Алеша даже подался вперед, сидя за партой. Не поможет ли воображению метод сравнения? Он ясно, страшно отчетливо и красочно представлял себе Россию 1773 года: «двор», дворянские усадьбы, крепостной народ, послушное безликое войско — дворянский расцвет. И где-то на краю страны разлившееся крестьянско-башкирское восстание темных и бедных людей, с таким же темным казаком впереди — с Пугачевым. Кто он такой? Подвижник, авантюрист? Кто он такой? Может быть, он был человек с улыбкой, с юмором, с острым словом, может быть, он очень хороший и интересный человек, может быть, он похож на Степана Колдунова? И эта волна, очень вероятно волна прекрасных живых людей, шла против дворянской культуры, вооруженной книгами, пушками, знаниями, шелковым платьем, французским разговором. Было страшное противоречие между этими лагерями, противоречие в силе. А вот сегодня другие силы и другое противоречие. Какая культура на стороне Пономарева? И какое войско? И культуру, и силу Алеша чувствовал в самом себе, отражение великой культуры народной сознательной воли, организуемой Лениным.

Где-то зашумели двери и пронеслись голоса. Алеше жаль было расставаться с своими историческими видениями, и он скорее, скорее еще раз приоткрылся к ним и улыбнулся самому себе. В том, как звонко и уверенно звенели голоса людей, заключалось подтверждение его улыбки.

18

Голоса и неясные силуэты прошли дальше по коридору. Вот голоса глухо повторились в том классе, где горела лампа. Потом они затихли, и вдруг оттуда снова вырвался сноп звуков, — очевидно, открыли двери. Легкие, милые каблучки быстро застучали по коридору. Туманно-светлая щель двери расширилась, и в полосе окна за дверью встало счастье. Алеша притих и склонил голову. Нина несмело вошла в класс, ее голос с трудом повиновался ей:

— Алеша, это вы?

Алеша так порывисто бросился к ней, что парта загремела, сдвинулась с места. Алеша взял руку девушки, приложил к губам. Это была первая, настоящая, секретная ласка между ними. Он поцеловал нежную, теплую руку в том месте, где начинаются пальцы. Он близко глянул в глаза девушки. Тыльной стороной другой руки она откинула прядь волос и прошептала:

— Алеша... здравствуйте!

Он потянулся к ней, к ее плечам, к шее, к лицу, но той же рукой, мягкой и горячей ладонью, она прикоснулась к его лбу, и он замер.

— Ничего больше не нужно, Алешенька.

Нина прошептала и оглянулась на дверь, ее рука упала к нему на плечо и там осталась, когда он сильным движением привлек ее к себе. Нина как будто все смотрела на дверь, и он не нашел ее губ, поцеловал в верхнюю часть глаза, почувствовал крепко сложенные волоски ее брови.

Это было счастье, но не такое счастье, какое дается всем людям, а какое-то особенное, неожиданное и незнакомое. В нем много было удивления. Его рука удивилась ускользящему легкому шелку, удивилась собственной смелости. Его душа ощутила существо, у которого и тело, и глаза, и брови, и платье, и неожиданно возникший запах духов, и гордая сдержанность покорности были созданы жизнью для счастья и награды — неужели Алеше?

Его счастье было так великолепно, что в нем не успела проснуться страсть. Он опустил к ее ногам, обнял ее ноги и сказал ей, склонившей к нему таинственно прекрасную голову:

— Нина!

Она положила руки на его плечи:

— Милый... зачем такие рыцарские поклоны?

Алеша радостно прижался к ее колену. Почувствовал, как в смущении дрогнула ее нога, и вскочил. Она быстро отошла к двери и, взявшись за ручку, остановилась:

— Нас ожидают. А знаете что, Алеша? Мы подождем... целоваться, хорошо? Если бы вы знали, как сильно я вас люблю...

19

Лампа горела по-прежнему на окне. За партами сидели свободные лица-деи, а впереди, на том месте, где обыкновенно расхаживают учителя, шло действие. С книжкой в руках подавал текст и исполнял обязанности режиссера инспектор высшего начального училища Константин Николаевич. На его тужурке еще поблескивали старомодные петлицы, только орлы на них были без коронок. У Константина Николаевича лысина до половины головы. Другой учитель, маленький, подвижный, казавшийся очень умным, исполнял роль Хлестакова, а конторщик с завода, Лысенко, — Осипа.

Алеша сидел рядом с Ниной, и каждое слово пьесы казалось ему поновому могущественным и остроумным. Он громко смеялся. И Константин Николаевич оглядывался на него с такой торжествующей улыбкой, как будто это не Гоголь, а он, Константин Николаевич, написал «Ревизора». У окна за длинной партией между двумя учительницами сидела Таня и посматривала на Алешу лукавым взглядом. Капитан спрятался сзади и добросовестно зубрил роль Тяпкина-Ляпкина.

Хлестаков произнес свой монолог. У учителя был тоненький, смешной голосок. Хлестаков выходил у него удачно. Он с хорошей, глуповатой тоской произнес: «Никто не хочет идти». Оглянулся. Один из учителей крикнул:

— А действительно, никто не хочет идти? Где Варавва?

Вараввы не было. Это и раньше все заметили.

— Что же это такое? Так же нельзя репетировать,— сказал обиженно Константин Николаевич.— На прошлой репетиции не было и сейчас нет. Почему нет Вараввы, кто знает?

Все оглянулись на Таню.

— Чего вы на меня, товарищи? Варавву позвал Муха по какому-то важному делу.

— Но нельзя же так,— еще более обиженным голосом произнес режиссер.— Мало ли какие важные дела! Мы ставим «Ревизора» первый раз на Костроме, это самое важное дело. А он срывает. Срывает!

Константин Николаевич обеими руками показал на свободную площадку «сцены», на которой в таком же обиженном безделье торчал Хлестаков; всем сразу стало видно, что Варавва виноват.

Алеша сказал:

— Если Павел не пришел,— значит, у него действительно важное дело.

— Какое такое у него важное дело? Заседание какое-нибудь?

Константин Николаевич слово «заседание» произнес с презрением. Алеша возмутился:

— Да что вы, Константин Николаевич? Павел — большевик, не забывайте.

— Да господи, большевик!

Константин Николаевич отвернулся и сказал горячо, обращаясь к классной доске:

— Большевик должен быть здесь, если такое культурное дело: «Ревизор»! Вы подумайте: на Костроме «Ревизор»!

Все притихли перед его справедливым гневом.

Но выступил из темного угла Степан Колдунов, руки у него в карманах, на ногах добытые недавно валенки:

— Ты, товарищ, напрасно так говоришь! У тебя тут представление, а у него большевистский совет, может. А ты кричишь! Одной девке хоровод водить, а другой девке за водой ходить!

— Как у нас говорят, в Саратовской,— серьезно, негромко закончил капитан.

Все засмеялись и оглянулись на капитана, но он продолжал добросовестно зубрить роль Тяпкина-Ляпкина. Степан все-таки ответил ему:

— В Саратовской, бывает, дело говорят.

— Да какое дело! Какое дело,— режиссер все больше и больше гневался.— Ставить «Ревизора» — это именно за водой ходить, за духовной пищей для народа, понимаете? Вы понимаете, товарищ Колдунов?

В голосе инспектора звучали дрожащие нотки проповедника, но Степан обнаружил полную к ним нечуткость:

— Что ты мне: духовная пища, духовная пища, как будто я не понимаю. Если твою душу накормить нужно, так это и я могу сделать, а Павел — большевик, у него, может, революция.

Режиссер спросил зло:

— А кто будет играть?

— А кого он играет такого, сказать бы?

— Как кого играет? Слугу играет.

Степан даже губу вытянул, настолько ответ заинтересовал его:

— Слугу? Денщика, что ли?

Все обернулись к Степану со смехом, Таня вскрикнула:

— А и в самом деле!

Инспектор высокомерно отвернулся:

— Да не денщика! Какого денщика! Слугу в гостинице!

— В гостинице? Ах ты, черт! Этих я порядков не знаю. Да постой ты, чудак божий! А откуда тебе Павел знает?

— Что знает?

— Да какие там порядки, в гостинице?

— Да написано ж... Вот в книжке... все написано.

— Стой! Дай я гляну.

Режиссер, снисходительно улыбаясь, протянул ему книгу.

Степан ткнул пальцем и полез дальше по строчке:

— Слуга. Это зачем такое?

— Ты дальше. Это обозначено: слуга будет говорить.

— Ага! Обозначено. Ну-ну! Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Правильно. Точь-в-точь, как на самом деле. Хозяин такое может: спроси, дескать, что ему угодно. Угодно, это по-старому, что ли? Вежливо. А ну, дай еще! Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Тоже: приказал! Это они мастера!

— Да ты не галди, а становись на место.

— Стал.

Сопровождаемый общим вниманием, Степан был поставлен на соответствующее место, и режиссер сказал ему:

— Теперь спрашивай.

— У него?

— У него.

— А хозяин где?

— Да на что тебе хозяин?

Степан хитро осклабился:

— А как же? Посмотреть интересно.

— Не валяй дурака! — крикнул Алеша — Играй!

Степан весело осмотрелся, топнул валенком, хлопнул в ладоши:

— Играю. Ну, держись!

Хлестаков рассматривал Степана с высокомерной улыбкой опытного актера.

— Чего смотришь? Хозяин спрашивает, чего тебе нужно.

Эту игру встретили смехом, смеялся и Степан, зачарованный первым своим артистическим шагом.

Режиссер воздел руки:

— Да не так. Ты так, как в книжке: хозяин приказал спросить, что вам угодно!

Степан отмахнулся:

— А тебе хочется обязательно «угодно». Такие слова кончены. «Угодно, угодно!»

— Да ведь пьеса про старое время?

— Ох, ты! И забыл! Про старое! А я... все думаю, по-новому...

Степан добросовестно еще раз прочитал текст, дело у него пошло замечательно, но он никак не мог поверить своему таланту актера и все выражал восторг, приводя режиссера в раздражение. Степаном занялись все, собрались на «сцене», приводили его в деловой порядок.

В дверь класса заглянул Муха. Из-за его плеча смотрел Павел.

Степан закричал:

— Вот он, дезертир! А я тут вместо тебя холуя изображаю!

— Выходит?

— Трудно, понимаешь!

— Алешка, подь-ка на минутку.

Муха был серьезен и одет по-дорожному: теплый пиджак подпоясан ремнем, под рукой сверток.

— Алеша! Срочно выезжаю с ним... с Павлом.

— Куда?

— В губернию. Партийная губернская конференция. Телеграмма пришла.

В дверях стоял Степан и спрашивал:

— Большевики собираются?

— Ты уже здесь. Ну... какое тебе дело?

— До всего у меня дело. Это я холуя только представлять буду, я на самом деле рабочий класс. Если большевики собираются, так и говори.

Муха махнул на него рукой:

— Собираются, Алеша! Твоего батька не нашел, где-то запропастился. Так ты скажи ему: поехал в губернию. Там все узнаю, и все будет ясно. А вы тут с Красной гвардией сильнее...

Степан и совсем вылез в коридор и дверь прикрыл:

— Сильнее, сильнее, а патронов мало. Ты патронов привези.

— Беда мне с этими патронами.

— И пулемет привези!

— Пулемет бы хорошо,— подтвердил Алеша.

— Это посмотрим. На это мало надежды: кто там будет теперь пулеметы раздавать? Тоже эсеры сидят.

— Да гоните вы этих эсеров,— возмутился Степан.— Или играй, или деньги отдай! Честно с ними нужно.

Павел осторожно передвинул Степана на более спокойное место:

— Пулеметов не дадут. Это и говорить нечего. Скажут: сами доставайте. Чего тебе еще привезти, Алеша?

Алеша взял его за локоть, смутился, почему-то потащил в сторону:

— Павлуша! Друг! Найди, привези... портрет Ленина.

20

Репетиция закончилась в десять часов. В темных сенях Таня взяла Алешу под руку. Только на дворе Алеша увидел лукавый блеск ее голубых глаз.

— Алеша, у тебя такой счастливый вид.

— Счастливый? А что ж?

— Она... в нее я тоже влюблен. Она просто прелесть! И у нее хоро-

шая душа. Только, знаешь что? Ей нужно помочь. Ты ей помогай. И я помогу.

— А почему?

— А то она не выдержит. Думаешь, ей легко? Она ведь начинает жить... поздно начинает. И все догонять нужно. Вот ты послушай.

Таня приблизилась к его плечу и зашептала, подсакивая на носках:

— Ты послушай. Сегодня утром я пришла к ней. Мы вместе читали эту сцену, где Анна Андреевна и Марья Антоновна. А она стирает. Понимаешь, стирает. Она стирает и смеется. А я вижу, какие у нее руки красные. У нее нежные руки и сразу сделались красные. Ты возьми мои руки. Ты видишь, какие, хоть и немножко, а все-таки шершавые. А у нее какие! Ей больно, она не умеет стирать. Я знаю: ей хочется плакать, а она смеется. Долго ли вот она будет так... смеяться?

Они проходили по двору школы, обходя ее здание. В темноте еле-еле удерживались на двух досках, положенных рядом. Таня цеплялась за его руку, не хотела оступить в песок. Алеше стало грустно и тяжело, но он не мог еще разобрать почему. Впереди капитан подчеркнуто галантно вел по доскам Нину, а еще дальше Степан что-то громко объяснял путникам.

Вышли на площадь. От реки приходили влажные волны холода и бежали к мохнатым и тусклым костромским огонькам. Доски кончились, ноги ступили в мягкий холодный песок. Алеша со злобой и страданием посмотрел на Кострому и вспомнил прямые пальцы отца, всегда израненные черной металлической сыпью. Вспомнил руки матери, покрытые сухой, пергаментной, тонкой кожицей. И Танина рука была действительно чуть-чуть жестковатой. Он вспомнил нежную руку Нины и вздохнул.

— Как же помочь? — спросил он тихо.

Таня подняла глаза:

— Ничего, ничего, Алеша, она привыкнет. Надо только, чтобы она не мучилась, потому что ей трудно.

— Ах... Так помочь? — Алеша разочарованно замолчал. Подумал немного и спросил: — Да... конечно... Так можно помочь. А я подумал про другое. Зло берет, что у тебя такие руки, ты говоришь, шершавые. Наши девушки должны быть красивые, и руки у них должны быть нежные. Ты говоришь, нужно помочь, чтобы она не мучилась. А этого мало. Надо помочь, чтобы они не портили себя, свою красоту.

— Значит, чтобы они не работали? Чтобы, значит, белые были, как принцессы? Только девушки? Да?

Таня спрашивала весело, задорно, очевидно, в этом вопросе для Тани не было никакой трагедии. Она переспросила:

— Только девушки? А матери, а бабушки? У них какие должны быть руки? Ты хочешь, чтобы мы, женщины, не работали? Как это великолепно с твоей стороны, правда?

Алеша смутился и загрустил. Таня прислушалась к его настроению, потом рассмеялась:

— Какой ты еще мальчик! И ничего ты не понимаешь. Разве руки у нас такие от работы? От работы, говори?

— А как же?

— От бедности, дорогой, от бедности... Можно как угодно работать, а

если пища хорошая, и отдых, и глицерин всегда под рукой — они будут мягкие. Ты не бойся за нашу красоту. Успокойся, зачем так грустить? Какой ты еще мальчик, ты жизни совсем не знаешь!

Там, где у длинного прозрачного заборчика широкая улица поворачивала в город, Нина и капитан остановились.

Нина сказала:

— Мы идем в город.

— Так поздно в город?

— Мне нужно зайти домой, кое-что взять. Чемоданчик. А завтра будет некогда. Капитан, такой любезный, согласился меня проводить.

— Нина, почему капитан? Почему меня вы отстраняете?

— Не ревнуйте. Капитан меня проводит и поможет мне донести чемодан. А вам трудно, Алеша, так далеко: три версты. И вы не можете нести чемодан, потому что у вас нога... еще бедненькая.

Алеша церемонно поклонился:

— Я не смею нарушать ваш выбор, Нина Петровна. И я никогда не позволю себе стать на дороге товарища. Но я надеюсь, вы не будете в претензии, если я приглашу Таню проделать со мной этот марш: в город и обратно.

— Какие вы люди! Только... может быть, Таня, не хочешь? Как жаль... я могла бы угостить вас чаем, но после вчерашних событий это невозможно.

Таня закричала:

— Пойдем, пойдем! Мы не будем заходить в дом, а только подождем.

Алеша обратился к капитану:

— Михаил Антонович, скажите Степану, пусть дверей не запирает, мы вернемся попозже.

— Идем, идем, Алеша, — Таня ухватила Алешину палку и потащила его вперед.

Нина спросила вдогонку:

— Кто же должен ревновать, он или я?

— Оба! Оба должны! Идем, Алеша, идем!

Алеша забыл о своей ноге и побежал за девушкой.

В конце улицы чернели дебри потемкинского парка. Парк стоял теперь мрачный и молчаливый. Падали последние листья на мягкие шуршащие дорожки. Что-то умирало вокруг и гордо молчало о своей смерти, а люди, как будто уважая это умирание, обходили парк по широкой проезжей дороге. С дороги донеслись скрип колес и будничные голоса людей, которым судьба послала сегодня дорогу. Они шли с Костромы, а может быть, и откуда-нибудь подальше, из города никто не имел нужды тащиться куда-то темной осенней ночью. За парком далеко светились огни города, казалось, будто в городе сейчас весело и нарядно. Кострома отходила назад мокрым и тревожным провалом. И оттого, что они идут навстречу огням, Тане представлялось, что они идут на какой-то праздник.

— Мы не пойдем по дороге. Мы пойдем через парк. Здесь природа.

Наконец она утомилась, а может быть, и страшно стало среди молчаливых, мрачных стволов, под сеткой оголенных ветвей, над сыростью дорожки. Таня поймала Алешину руку и пошла рядом с ним, пугливо поглядывая в стороны.

— Таня, я все тебя забываю спросить. Уже октябрь. Почему ты не уехала в Петроград?

— Алеша, скажи мне ты: почему? Все откладываю и откладываю. Стыдно сейчас бросать нашу Кострому. Я и сама не знаю, почему стыдно. Учиться хочется, ты себе представить не можешь, как хочется. А уехать не могу. Дома сейчас трудно, да и у вас так же, а жить сейчас до чего интересно! Отец в Красной гвардии и Коля в Красной гвардии. Клуб у нас, Нина, вчера митинг. Даже на Костроме все сдвинулось с места. Я хожу и смотрю, и все смеюсь. Теперь я стала такая легкомысленная, я такая никогда не была. А уехать не могу.

— Ты перечислила разные прелести, а Павла забыла.

— Нет, Павла нельзя забывать. Скажи, что ты думаешь о Павле?

— Как, что я думаю? Павло — мой старый друг.

— Ну, не надо. Лучше я тебе скажу. У нас с тобой как-то так получается, как будто мы брат и сестра, и, знаешь, такие любимые, любимые! Я с Николаем так не могу говорить. Вот и про Павла. Алеша, когда еще гимназисткой была, я так мечтала о любви. И вовсе я не рисовала себе царевича или какого-нибудь барчука. Я не знала, какой он будет, но я думала, что он будет такой... огненный, такой... воодушевленный! А сейчас я люблю Павла, вот просто влюблена, и так... сильно влюблена... А не нужно, чтобы он был огненный. Он и кричит, и руками размахивает, а на самом деле он спокойный человек, и мне нравится, что он такой спокойный. Я понимаю это: он может и в бой пойти, и умереть, а все равно он такой и останется спокойный. И у нас с ним любовь, как будто мы давно с ним поженились, а на самом деле нам и поцеловаться некогда, да я и не люблю этого. Ты сейчас же скажешь, что мы просто рыбы. Правда?

— Я этого никогда не могу сказать. Павлушка — глубина.

— Это правильно: глубина. А у меня нет. Я какая-то такая — обыкновенная. Я и красивая, это я знаю, а все-таки обыкновенная. И до чего это мне нравится, ты себе представить не можешь.

— Что тебе нравится?

— Да вот же это, что я обыкновенная. Я тебе расскажу. Теперь все люди какие-то необыкновенные. Все — умные, все идут вперед. Идет революция, я это хорошо чувствую, вся наша семья там, даже мама, большая революция, таких еще никогда не было, потому что... большевики, понимаешь? А я хожу и радуюсь: это революция для меня. Для таких обыкновенных людей, как я. И мне не стыдно. Просто не стыдно. А потом может быть такой случай: все бегают, и кричат, и волнуются. Чего волнуются? А вот чего: нужен доктор, обыкновенный доктор, который может лечить. А я тут и выйду: пожалуйста, вот, я — обыкновенный доктор. Ты сейчас же скажешь, что это пустяк — обыкновенный доктор, конечно, это пустяк, если один, один доктор. А если много? Много обыкновенных докторов. Ну что ты скажешь, Алеша?

— Я слушаю и поражаюсь, когда ты успела сделаться такой... остроумной?

— Сейчас скажу, когда. Вы все думаете, что я, так себе, курсистка. А я посчитала, сколько у нас на Костроме народу пропало оттого, что не было обыкновенных докторов. В нашей земской больнице есть Остробородько, так он никогда не принимает, а принимает его помощник, он тоже доктор,

только он необыкновенный, он дикарь, он просто не может лечить людей. И он неряха, и лентяй, и еще пьяница. Я знаю, сколько у нас на Костроме умерло от туберкулеза, от воспаления легких, от инфлюэнцы, от рака, от болезней печени, от заражения крови, от скарлатины, дифтерита, оспы... А сколько детей? Господи, сколько детей! Скажи, пожалуйста, разве это плохо: обыкновенный доктор?

— Таня, значит... революция — это для тебя, чтобы ты могла лечить людей?

— Нет, не только для этого. Лечить, это само собой. Но я буду читать книги, путешествовать, ходить в театр, покупать сколько угодно глицерина, я буду жить. Мне не стыдно: я хочу почувствовать, как может обыкновенный человек жить с честью. Я хочу это почувствовать на себе. И увидеть, как другие живут. Ты сейчас же скажешь, что я не герой, что я все скучно думаю. Пожалуйста.

— Я так не думаю. Не может же человек ходить и искать: где бы мне проявить свой героизм. А я недавно читал, как работали «обыкновенные врачи» на холере.

— Ладно. Мы с тобой все понимаем. Ты тоже — обыкновенный человек, и за это я тебя люблю, как вот брата. И Павел — обыкновенный, и Муха, и Богатырчук. Только ты не подумай что-нибудь плохое. Обыкновенный, это, знаешь, почему? Потому, что людей миллионы, эти миллионы нужно все-таки уважать, а не думать, что я вот не такой, я лучше всех. Ой, какую мы с тобой философию развели! Это потому, что я очень обрадовалась, давно так весело не ходили в город. Все по делам, все по делам. Ай, Алеша, посмотри, как сзади страшно. И в этом мраке Нина и капитан. Надо им помочь, они же испугаются. А у нас — культура... Смотри.

За последними силуэтами широких стволов деловито горели редкие фонари. Начинался город. Таня посмотрела, посмотрела, прищурилась:

— А все-таки Кострома наша лучше. Кострома как-то выше. У нас проще: чистенький песок и никаких фасонов. И окошки светятся, правда? А это, смотри, культура! Грязь какая! А фонари освещают.

Поджидая отставших, они остановились в жиденьких воротах парка. Пустынная улица уходила далеко белесым блеском размазанной на булыжнике грязи. У самых домов, в тени, под акациями, стучали по дощатым тротуарам шаги редких прохожих. Представлялось, что там в темноте люди по самый пояс бредут в грязи, а стучат потому, что еще не потеряли надежды выкарабкаться.

Таня подняла к Алеше голубые глаза и сморщила носик. Алеша громко рассмеялся. В глубине парка послышался голос Нины:

— Нет, капитан, умом я сейчас ничего разбирать не буду. У меня ум бабский, что он там разберет?

— Интересно, — сказал Алеша громко.

— Не мешайте, не мешайте, — остановил его капитан, — дело важное. Таня вскрикнула:

— Нина! Как разговорился капитан!

Капитан взмолился непривычным к мольбе хриплым басом:

— Не мешайте, да не мешайте же! Пусть она скажет. Я знаю эту старую, как бы сказать, отговорку: умом не пойму, а вот чувством.

Нина ответила весело, звонко, властно:

— И не выдумывайте! Никаким там чувством! Я о чувствах тоже знаю. Только я чувству не верю. Чувство — оно одноглазое! Я больше верю вкусу.

— Как? Как вы сказали? Вкусу?

— Ну, да! Обыкновенному человеческому вкусу.

— Ба! Барышня! Что такое вкус? Эстетика? Эпикурейство?

— Эпикурейство — это гадость! Не смейте так говорить! Алеша, поддержите меня, я не умна спорить!

Опираясь на палку, Алеша стукнул по фуражке, отодвинул ее на затылок, начал пальцами растирать лоб.

— Пойдите, Нина. Это что-то такое важное, а только... хвостик есть непонятный.

Нина устало положила руку на его плечо:

— Я все понимаю... а сказать...

Капитан пристал:

— Вы это... сердцем понимаете?

— Нет.

— Умом?

— Нет. И не сердцем, и не умом. А знаете чем?

Капитан повернул к ней лицо, освещенные высоким фонарем блеснули его маленькие глазки. Нина прошептала:

— Не умею сказать... Не то слово!

Капитан показал на мостовую:

— Перейдите здесь со вкусом. Если у вас есть галоши, — пожалуй перебраться через эту улицу можно и эстетично. А если без галош, вымажетесь. Вот и всё.

Нина оттолкнулась от Алеши и с веселой угрозой подошла к капитану:

— Товарищ Бойко!

Он вздрогнул от такого обращения. Никто никогда не называл его товарищем Бойко.

— Товарищ Бойко! Как же вы не понимаете? Никакой нет грязи!

— Фу! Да вот же она перед вами! Смотрите, какая симпатичная!

— Нет, вы знаете, до чего я люблю, если сапоги вымазаны до самых колен. До самых этих... ушек. Это у мужчины.

— В грязь?

— Какая же это грязь? Грязь, если клопы, потом... другое. Если неряшливость... вообще нравственный беспорядок. Понимаете?

Капитан улыбнулся, махнул рукой, двинулся через улицу.

Таня крикнула на всю улицу:

— Сапоги у вас нечищенные, это действительно грязь. Денщика нет, правда?

Капитан не оглянулся. Нина подняла юбку, игриво попробовала красивой, маленькой ножкой первый булыжник, засмеялась счастливо.

— Вот смотрите, перейду и не замажусь.

Алеша смотрел очарованный. Каждое движение этой девушки было движением точным, ловким и красивым. Даже юбку она держала в двух руках так, что она не могла образовать ни одной безобразной складки. Она переступала с булыжника на булыжник и иногда смеялась. Ее ножки умно и зорко выбирали лучшие места и становились на них с хитрым выражением. Она перешла через улицу, обернулась назад:

— Видите?

Алеша не мог вместить в себе восхищения и не мог его выразить ни в какой форме. Но ему стало свободно и радостно жить на земле. Обеими руками он так же ловко и изящно, оставив пальчики, подобрал полы шинели, осторожно попробовал носком сапога первый булыжник и с размахом зашагал через улицу, нарочно попадая в самые гиблые места и разбрызгивая грязь во все стороны. Девушки смеялись на другом берегу, и Нина встретила его словами:

— С наибольшим вкусом все-таки перешел улицу Алеша!

21

У калитки Остробородько сидели довольно долго. Капитан помалкивал, курил и рассматривал землю. Алеша сидел на скамье, вытянув ноги на палке, и мечтал о прошлом. Он любил иногда пошалить с воображением и подразнить память. Сейчас, вспомнив Фауста, он задал себе вопрос: какое из мгновений его прошлого хорошо было бы повторить? Какое из них было лучше сегодняшнего дня? И он улыбался совершенно несомненному ответу: никакое! В своем прошлом он не находил образцов для подражания. Он выпрямился и удивленно посмотрел на капитана. Сказал вслух:

— Черт! Не может быть!

Капитан ничего не сказал. Алеша снова все пересмотрел и проверил. Сомнений быть не могло. Всякое там счастливое, сопливое детство, конечно, по боку? Военное училище? Фасон, глупость и фанфаронство. Фронт, патриотизм? Но за патриотизмом сейчас же начинали вырисовываться морды Николая второго, дивизионного командира, водянистого и ленивого «нестуляки», и как итог — страшная гибель его полка. Атаки? Задор, страх, напряжение и большой человеческий гонор? Алеша прислушался к себе. Где-то от этого гонора оставались корни, и Алеша их уважал, но теперь все это представлялось трудной гимнастикой, без смысла и без счастья.

А сегодняшний поцелуй? Это была очень нежная и такая безгрешная ласка. Нужно до боли любить эту замечательную девушку, такую сильную и красивую и такую... одинокую. Алеша оглянулся на калитку с тревогой. Там, за калиткой, представился ему тихий, потонувший в покое уют, богатое семейное гнездо. Какую нужно иметь силу, чтобы так весело и так одиноко уйти из него в мрачные провалы Костромы! Стирать, красные руки!

Хотелось, чтобы у него расширилась грудь и поместилось в ней, наконец, невмещающееся чувство. Пусть будет чувство. А счастья не нужно. Просто не нужно. К черту!

— Капитан! Слушайте, капитан!

Капитан сказал, глядя в землю, но сказал настойчиво:

— Алексей Семенович! Я не мешал вам думать, не мешайте и мне.

— Слу... Позвольте... Простите, пожалуйста. Я хотел задать вам только один важный вопрос. Один вопрос.

— Хорошо. Только один.

— Вот спасибо. Скажите, в вашей жизни был хоть один такой счастливый момент, хотя бы один, чтобы вы желали его повторить?

Не оборачивая к нему лица, капитан ответил, не раздумывая:

— Был. Один момент был... то есть, я полагал, оказалось — чепуха!

— Да не может быть! Расскажите, капитан.

— Условие было: один вопрос! И почему «не может быть»? И не мешайте. Я хочу подумать.

— Извините. Думайте.

Какой там у него момент? Поцеловала какая-нибудь полковая красавица. А в будущем это невозможно. Вот и весь момент. Но как странно. Неужели прошла его молодость и нечего вспомнить? Цена человека? Достоинство?

В доме за калиткой стукнула дверь, послышались голоса, скупые, беглые, как будто чужие, хотя Алеша различил и глубокий шепот Нины, и невыразительный, с гнусавым потрескиванием тенорок Петра Павловича. Голоса были сбиты грохотом щеколды у калитки. Неся перед собой широкую коробку, Таня перепрыгнула через порог. Наклонилась к Алеше с шепотом:

— Сюда идет! Говорит: я ему скажу.

Опершись на палку, Алеша поднялся со скамьи. Калитка оглушительно хлопнула, но сейчас же открылась, и нога в широкой штанине переступила на улицу. Алеша вдруг вспомнил другую ногу, такую же широкую и такую же страшную: ногу немецкого солдата, перешагнувшего в темноте через невысокий окопчик. Тогда это была контратака прусского полка. И сейчас, как тогда, рука Алеши дернулась к поясу. Но тогда широкая тяжелая нога пронеслась мимо него и исчезла в ночи, а он сам забыл о ней через тысячную долю секунды в горячке возникшей штыковой схватки. А теперь он растерянно опустил руку по шву галифе и смотрел, как на легком ветру шевелились неясной мазней волосы на голове Остробородько.

— Ничего, Нина, ничего. Я только ему два слова скажу.

Переступив через порог, он странно зашатался и вообще имел вид встрепанный и невменяемый. Эта встрепанность еще больше испугала Алешу: он привык видеть Петра Павловича упорядоченным и приглаженным. Петр Павлович, шатаясь, замаячил перед Алешей, поднял кулак, что-то в нем было от человека выпившего.

— Молодой человек,— начал он громко и хрипло.— Молодой человек, не думайте, что перед вами несчастный отец и несчастный гражданин. Не подумайте и не воображайте, что я вышел жаловаться. Она — моя дочь, и я ее понимаю. Она не хочет сидеть в моем доме, потому что ей нравится революция. Пусть! Мне тоже нравится. Это не ваше дело! Может быть, мне нравится, что вы меня арестовали. Это тоже не ваше дело. Я только хочу у вас спросить, а вы мне отвечайте сознательно, без малодушия. Вы принимаете на себя ответственность? Принимаете полную ответственность?

Петр Павлович произнес все это с физическим усилием, вытягивая шею и вращая встрепанной головой, как будто он проглатывал трудный и насильственный кусок. Он замолчал, еще раз поднял кулак и прицепился к Алешиному лицу таким же шатающимся и острым взглядом. Потом завизжал истошно, на всю улицу:

— Вы принимаете на себя ответственность за меня, за мою дочь, за Россию?

Алеша стоял перед ним вытянувшись и смотрел прямо в глаза. Нина прижалась к рамке калитки и растворилась в тишине вечера. Таня, полуспрятавшись за Алешей, опустила глаза. Один капитан сидел по-прежнему

му, склонившись к земле, и думал, вероятно, о прежнем, о своем, — может быть, о самом счастливом моменте своей жизни.

Алеша весь отдался странному сложному чувству, похожему на сон. И неудержимый, необъяснимый гнев, который поднялся в нем, тоже был похож на ярость во сне, когда человек странно колеблется между негодующим, страстным действием и настойчивым желанием понять свой гнев и остановить его. Петр Павлович, такой знакомый и обыкновенный, казался ему теперь отвратительным зверьком. Он может просто укусить, опасность не так велика, но прикосновение зверька невыносимо. Он смотрел на Алешу, смешно задравши голову, по-прежнему пошатываясь, и все вздымал свой слабый, интеллигентский кулачок. Голова Алеши вдруг начала мелко и быстро дрожать, губы страдальчески и нетерпеливо надавили одна на другую. Он сказал тихо:

— Послушайте...

И остановился. Большими глазами с трудом посмотрел на Нину, улыбнулся:

— Нинана!

— Калека! — закричал вдруг Петр Павлович. — Калека и психически больной! Нина! Он болен. Они там все сумасшедшие. Один от фронта, другие от темноты и слабосилия ума!

Он все это прогремел патетически, с жестами, рванул к калитке, распахнув пиджак, еще выше крикнул:

— Можете! Можете! Я вас лечить не намерен.

Расставив руки, он направился к калитке, но Алеша перехватил его рукой через грудь, а другой рукой за плечо повернул к себе. Петр Павлович открыл рот, его лицо было перед глазами Алеши на самой близкой дистанции. Алеша улыбнулся, не весело, не просто, а с уверенной силой мужской уничтожающей гримасы. Он даже чуть-чуть поклонился в сторону Нины:

— Нинана, пожалуйста, простите. Я в вашем присутствии два слова этому старичку. Я отвечаю за Россию и за Нину. Мою Нину. Слышите? А за вас я снимаю с себя ответственность, потому что вы сами за себя не отвечаете. Идите!

Он выпустил Петра Павловича, и тот, не оглядываясь, полетел домой. Он не заметил, как его дочь тяжело, вместе с калиткой, откатилась в сторону, давая ему дорогу. Слышно было, как он прошуршал по двору, как хлопнул дверь и дверь за ним ударила раз и еще раз и под конец слабо звякнула какой-то металлической частью. Вытягивая голову, Таня смотрела вслед ему, а потом бросила коробку на скамью и подбежала к Нине. Нина так и стояла, вытянув руку к щеколде, и не видно было в темноте, о чем думает ее лицо.

— Нинана... вы простите.

Нина аккуратно, не спеша, оглядываясь, переступила через порог, так же аккуратно закрыла калитку. В другой руке у нее оказался небольшой саквояж. Она поставила его на коробку и положила руку на Алешину грудь:

— Алешенька! Приведите вашу голову в порядок! Так, умница, родной мой! Теперь скажите: «Нина». Не «Нинана», а просто «Нина». Говорите.

— Ни...на!

— Какая вы прелесть! Разговор у калитки доктора — это не такое большое событие.

Капитан поднялся со скамьи и оказался непомерно высоким. Повернувшись к спутникам, ни на кого не глядя, он наглухо застегнул шинель, сделал шаг вперед, поклонился Нине:

— Нина Петровна! Можно отправляться в обратный путь?

22

До самой вокзальной улицы шли молча. Капитан честно исполнял свои обязанности, поставил коробку на плечо, в коробке что-то постукивало ритмично, и так же мерно ходили вправо и влево полы его шинели. Капитан с места взял несколько широкий шаг, за ним и все пошли быстро, но никто не запротестовал, а потом этот быстрый ход по кирпичам, вымытым осенью, даже понравился. Было занятно находить впереди выступающий удобный кирпич, моментально заметить рядом другой для соседа и вслед за этим всем вместе шагнуть. Марш получался все же неровный, шаткий, это-му очень способствовала неправильная нога Алеши.

За капитаном шли втроем, взявшись под руки. Сначала все думали о том, что в жизни слишком много горестей, что их нужно терпеливо переживать. Но на улицах было непривычно пустынно, мирно покоились отражения фонарей в лужах, ежились у ворот отсыревшие ночные сторожа. Сейчас улица жила своей собственной интимной жизнью, на ней было что рассматривать. И больше всего развлекали вот это дружное прыганье с кирпича на кирпич и невольный бег за капитанской коробкой. После одного из прыжков Таня вскрикнула весело, и сразу обнаружилось, что ничего особенного не случилось, что жизнь не так плоха, а у них еще много богатых человеческих дней. А потом впереди духовой оркестр заиграл «Варшавянку», — событие из тех, в которых быстро и не разберешься: откуда в самом деле в городе духовой оркестр?

Капитан снял коробку с плеча и обернулся к спутникам:

— Алексей Семенович, смотрите, вроде пехоты.

Конечно, это была пехота. Играл оркестр очень маленький, вероятно, выделенный из настоящего. Солдаты проходили по четыре в ряд, но шли в полном беспорядке, вразвалку, не держали ноги, шинели кое у кого растегнуты, у других подпоясаны ремнями. Винтовки болтаются в самых живописных положениях. Кое-где солдаты идут просто кучкой и разговаривают вполголоса. Так было в голове колонны, а к хвосту колонна и вовсе растаяла, солдаты шли по тротуарам, наполнив улицу беспорядочным шершавым шумом и толкотней. По тротуару же мимо Алеши, задумавшись, прошел пожилой офицер, а за ним еще один, молодой, в новенькой шинели и в новых погонах. Алеша удивленно посмотрел на капитана, Таня крикнула ему в ухо:

— Смотрите, смотрите, товарищи!

Посмотрели и увидели известный всему городу автомобиль и в нем самого Богомола. А рядом с ним полковник Троицкий. Нина сказала с удивленным полустоном, полусмехом:

— Господи! Мой попович! А он чего здесь?

Капитан, очевидно, забыл о своих вечерних думах и воспоминаниях. Он вытянул вперед голову и даже рот открыл, оживился необычно, зубы у него блеснули.

— Войско! Алексей Семенович! Войско!

Нельзя было разобрать, пришел ли он в восторг при виде войска, или его слова выражают насмешку.

— Войско. А вот и войсковое хозяйство.

Медленно, погромыхая по мостовой, тянулся обоз: кухни, сложный обиходный набор и патронные двуколки.

От всего этого на Алешу пахнуло полузабытой тревогой военного движения, но было очень неприятно, что в движении нет никакого военного порядка и четкого напряжения.

— Плохое войско, капитан! Интересно, для чего оно нужно Богомолу?

— Это солдаты Троицкого? — тихо спросила Нина, провожая отчужденным холодным взглядом проходящих мимо солдат, бородатых, измятых, в бестолковых смушковых шапках, на которых изредка увядали красные банты. От солдат исходил сильный острый дух: запах вагона, грязи, портянок.

Гуськом, уступая дорогу солдатам, стали продвигаться дальше к вокзалу. Капитан снова поднял коробку на плечи и сказал как будто про себя:

— Две роты.

— Эй, земляк! Демобилизовался? — крикнул, оборачиваясь на ходу, молодой остроносый унтер. — Домой подался?

Капитан не успел ответить, оглянулся, но другой, широкоплечий, с большими усами, засмеялся ему в лицо:

— У него демобилизация с бабами! Веселое дело!

Несколько человек вспыхнули смехом и внимательно присмотрелись к Нине, идущей за капитаном. Пожилой бородач в распахнутой шинели крикнул задорно:

— Держись, молодайка, расцалую нечаянно!

Другой такой же бородач добродушно отозвался:

— Брось ты, не пугай народ!

— Да я только расцалую! А? Товарищ, ты не обижайся, я в шутку. Тебе все останется. Хоть ты и хромой, а свое получишь!

Алеша ответил в тон:

— Доберись до своей и целуй, сколько хочешь!

— Доберусь! Эх-ма! Голубчики мои, не по дороге этот город, да к моей милой не по направлению!

Последние слова он произнес жалобно-дурашливо. Ему неожиданно ответил размашистый знакомый голос:

— Три года ждала, одного дня не дождалась, плакала, рыдала, с другим целовалась!

— Степан! Ты чего здесь?

— О! Да это ж родные мои!

Степан из потока прибился к деревянным воротам, потащил Алешу в сторону:

— Так и знал, что вас увижу. Я прослышал — войско идет, — да и на вокзал. И старик же сказал: посмотри, какая армия и по какому делу!

Встретил, как же, дорогие друзья приехали: вояки не вояки,— пехотники, до казенного хлеба охотники!

— Прощай, земляк, заходи! — кто-то хлопнул Степана по плечу.

— А как же!

Мимо проходили отставшие, заполняя улицу грохотом тяжелых сапог. Степан проводил их взглядом:

— Армия! Запасного батальона первая рота. Из губернии.

— Одна рота? Что ты!

— Одна. Теперь у них роты большие. На фронт не посылают. Богомол призвал.

— Их?

— Да их же.

— Для чего?

— На свою погибель. Выпросил. Народ свой, деревенский, трудящийся народ! А мы плакали: оружия нет! Вот тебе, сколько хочешь оружия.

23

Семен Максимович нашел Алешу на свободной части заводского двора уже под вечер. Здесь были сложены бревна и обрезки досок. Сегодня красногвардейцы должны были сдавать Алеше винтовку. В течение нескольких дней они занимались в школе «по теории», а сегодня первое отделение решило воспользоваться теплым солнечным днем и устроить занятия во дворе.

Старый Котляров на отдельном бревне расположил части винтовки и, держа в руках отнятый ствол, задумался над ним. Увидев Семена Максимовича, тяжело поднялся и пошел навстречу.

— Вот, Семен Максимович, укротил бы ты своего сына, честное слово! Сдавай ему винтовку! Я ему вчера и говорю: а если не сдам, что ты мне сделаешь? Допустим. Что ж ты меня из Красной гвардии выставишь? А он, знаешь, что отвечает? Не сдашь, говорит, винтовку, отцу пожалуй. Это тебе, значит. Ну что ты скажешь? Приходится сдавать. Выходит так, как будто я тебя испужался. Скажи, пожалуйста, почему это такое? Времена такие или еще какая причина?

Семен Максимович был выше Котлярова и прямее его. Легкая его борода гуляла под ветром.

— Мне уже кое-кто говорил: зачем сдавать? А только ему виднее — он человек военный. А я тоже порядок люблю. Если у тебя в руках инструмент, ты должен понимать, какая часть к чему.

Алеша стоял в сторонке, вытянувшись, как на смотре. Котляров взмахнул дулом, засмеялся:

— Да это я понимаю. Я и должен знать, и знаю. А только зачем сдавать? А если нужно, пускай спрашивает. На пятерку, меньше не отвечу. А только, пожалуйста, пускай в одиночку спрашивает, чтобы Колька не знал, если спутаюсь. А он все норовит при всех. Колька Таньке расскажет, а Таньке только дай! К чему, скажи ты мне, стариков паскудить?

Алеша шагнул вперед, отвечал Котлярову, но посматривал на отца: одобрит или не одобрит?

— Если я тебя в одиночку спрошу, другие скажут: потрафил старому Котлярову. Никто и не поверит, что ты винтовку сдал.

Широкий, тяжелый Котляров поворачивал дуло в руках, поглядывал на небо:

— Беда какая! Скажут! Могут сказать, потрафил, знают, что у нас с тобою отношения. Вот, Семен Максимович, как оно все цепляется. Пошел в Красную гвардию революцию оборонять, а тут выходит экзамен, да еще гляди, чтобы кому что не показалось. А надо. Верно, что надо. Тогда я еще помудрую, посижу. Степана позову, пускай он проверку сделает.

Он побрел к своему бревну. У других бревен тоже занимались красногвардейцы — по одному, по двое, по трое.

— Слушай, Алеша, я вижу, тебе одному трудно.

— Степан помогает. Колька Котляров знает винтовку, а по части построения и команды — слаб.

— Так... А капитан ни разу не был?

— Нет.

— Не хочет?

— Он — артиллерист.

— Артиллерист! Что же, он винтовки не знает?

Алеша промолчал.

— Завтра Муха приезжает. Важное что-нибудь привезет. А вот этот вопрос мне не нравится. Карабакчевские ходят?

— Двенадцать человек.

— Мало. Кто у них старший?

— Асейкин.

— Конторщик?

— Да.

— А шпалопропиточные?

— Один записался у меня — Груздев. Но... винтовки для него нет.

— Винтовки будут, надо полагать. А почему один? Там двести человек работает? Почему один?

— Отец... как же я... Я не знаю.

Семен Максимович мотнул бородой, жестко посмотрел на Алешу. По привычке Алеша сдвинул каблуки и убрал живот.

— Не знаю! Что это за разговор! Имей в виду, Алексей, я тебя учить не буду. Ты учился довольно.

Молчание.

— В реальном учился. В военном учился. На фронте. Жизнь тоже...

— Но отец... здесь же не реальное, и не военное, и не фронт.

— Я тебя спрашиваю? Ты мне будешь рассказывать, где реальное, а где завод? Ты почему до сих пор не вошел в партию?

Семен Максимович повернулся к Алеше, руки заложил за спину, наклонил голову. Видно было, что он этой позы не оставит, пока не получит ответа. Алеша смотрел на переносье отца, чувствовал, что смотрит глупыми глазами, был рад, что отец этих глупых глаз не видит.

— Отец!

Семен Максимович его перебил:

— Дома тебе некогда сказать, и народ кругом. Ты — человек умный,

ученый, и я — не дурак. Был ты больной, другое дело. Теперь ты здоров. Я тебе ни о чем напоминать не буду. Понял?

— Понял, отец.

— Почему Варавва в партии, а ты нет?

Семен Максимович так и не глянул на Алешу, повернулся к нему боком, и Алеша увидел, как на спине сложенные руки шевелят длинными темными пальцами. Алеше вдруг до слез стало жаль отца и захотелось поцеловать эти пальцы. Алеша понял, что отец от него требует. Он быстро шагнул в сторону, вытянулся перед лицом Семена Максимовича, сказал громко, прямо, открыто:

— Слушай, отец...

Семен Максимович медленно поднял лицо. Его светло-голубые холодные глаза с покойным вниманием, не спеша нашли Алешины взволнованные зрачки, прямой уверенной наводкой остановились на них, с терпеливой стариковской силой ожидали.

— Отец! Я, понимаешь, заленился: душой заленился. И... задумался все... лишнее... Я тебе страшно благодарен, что ты мне сказал.

Семен Максимович кивнул головой, снова повернулся боком, произнес сухо:

— Хорошо. Иди по своим делам.

Алеша не смел ослушаться. Его рука хотела вздернуться к козырьку фуражки, он остановил ее на полдороге, быстро повернулся и направился к группам красногвардейцев. По дороге его подмывало оглянуться на отца, но он удержался. А когда подсел к группе Николая Котлярова и посмотрел на то место, где оставил Семена Максимовича, там уже никого не было.

24

За ужином Семен Максимович сказал:

— Вот что, мать. Я не мешался в твои дела, а теперь ты мне скажи, откуда... ты это сало взяла?

Василиса Петровна строго поджала губы, быстро глянула на Алешу, сложила руки на коленях, ответила серьезно:

— Там, где и все люди берут: на базаре.

— Своих кабанов у нас не было, это верно. А только это сало — для рабочего человека — дорогой продукт. За какие деньги ты его купила?

— Это Михаил Антонович ходил в город, принес сало — полфунта.

Капитан не поднял глаз от тарелки, чувствовал, видно, что разговор заведен не для благодарности. Глаза Степана быстро пробежали по лицам, тоже глянули на Алешу.

— Наши заработки теперь... никакие заработки. Не только на сало, а и на хлеб не должно хватать. Это мои... а эти красногвардейцы еще меньше получают. Дело ясное — жить мы должны бедно.

Капитанов нос покраснел и опустился еще ниже. Семен Максимович в упор смотрел на капитана:

— Сколько у вас денег еще осталось, Михаил Антонович?

Семен Максимович вдруг улыбнулся. Но капитана не обрадовала эта улыбка. Он вскочил со стула, одернул гимнастерку, снова сел, захрипел:

— Семен Максимович! Не все на деньги, знаете, меряется. Разве можно ваше отношение оценить деньгами?

Семен Максимович взмахнул вилкой:

— Бросьте. Получается так: наши отношения, ваши деньги. Так?

Капитан вскочил:

— Василиса Петровна! Будьте защитницей! Какие же мои деньги? Я сколько раз хотел, понимаете, все равно, строгий учет, раскладка точная, ни копейки моей лишней не приняли. Ну... сегодня я действительно кусочек сала встретил... купил, так, знаете, для десерта. Для десерта исключительно, Семен Максимович.

— Скажите, сколько у вас денег?

— Деньги? Да это глупые деньги. Когда выписался еще, набралось... капитанское жалованье, за ранение, отпуск, подъемные, то, другое, а теперь осталось немножко... ну... несколько сотен рублей.

Капитан замер в ожидании какого угодно приговора над этой суммой.

Семен Максимович осторожно положил вилку на стол, посмотрел на нее и коротким движением руки отодвинул ее дальше.

— Михаил Антонович, ничего не поделаешь, у нас теперь будет плохо. Пища будет совсем... бедная. А у вас деньги, вы можете лучше кормиться. Где-нибудь найдете, вот Степан Иванович вам поможет.

Капитан затих на своем месте, забыв о еде, забыв даже о том, что на него смотрят. Он сидел вполупорот на стуле, смотрел вбок, в одну точку. Потом осторожно, неслышно отодвинул стул, поклонился, как всегда, Василисе Петровне и на носках ушел в чистую комнату. Степан округлил глаза и сказал Семену Максимовичу:

— Отец родной, за что же ты его обидел?

Алеша проделал несколько движений в мускулах лица, грустно прищурился. Семен Максимович посмотрел на Алешу, на Степана, на Василису Петровну, опустившую глаза:

— Не нужно ему у нас приучаться. Все равно не по дороге. А чем я его обидел? С деньгами он найдет себе ласку.

Степан ответил уверенно:

— Не найдет. Ты, Семен Максимович, думаешь, он — офицер, что ли? вот, ей-ей, тебе говорю: он — как дите, куда он там пойдет? Плакать здесь будет, а не пойдет. Человек жизни никогда не видел, а теперь его приучили...

— К чему?

— Да к жизни ж...

— Нам, Степан Иванович, некогда такими детьми заниматься. А потом и ты скажешь: я — не Степан Колдунов, а ребенок.

Но в этот момент открылась дверь из чистой комнаты и появился капитан. Он молча выложил на стол завернутый в газету пакет. Посмотрел на всех, посмотрел даже на стул, но не сел.

— Семен Максимович, я понимаю. Люди вы не такие, как я, у вас все прямо и честно. Работаете, живете. А я человек брошенный. Мысли всякие, думаю, думаю, поверьте мне, голова от мыслей болит. К Василисе Петровне привык, а других... боюсь, Семен Максимович, боюсь, а может быть, стесняюсь. Вот это плохо, а не деньги. Деньги же... куда-нибудь можно... куда-нибудь деть...

Он замолчал. Семен Максимович сидел, отвернувшись, свесив, по своему обыкновению, пальцы. Степан быстро глянул на него и принял на себя роль председателя:

— Ты говори толком, капитан, какая твоя резолюция! А то — деньги, деньги, ничего и не разберешь. Тебе деньги мешают, что ли? Ты их мне по-дари.

— Возьми!

— Да и возьму,— начал было Степан, но где-то под столом Алеша что-то с ним проделал, потому что Степан даже подскочил немного и снова овладел добродетельной председательской миной:

— Ты лучше скажи, как ты будешь дальше?

— Я хотел бы работать. Хотя... нравственное право я имею и на отдых — годичный отпуск. Только нельзя: вы работаете, а я тут отдыхающий. Работу я найду, мне уже и обещали, Семен Максимович.

Василиса Петровна до сих пор сидела тихо, сложив руки на коленях, опустив глаза, только слабые движения сомкнутых губ выдавали одобрение или осуждение, которое она чувствовала по отношению к тому или другому оратору. Но сейчас она подняла глаза на мужа и заговорила негромко, медленно, чуть-чуть наклоняясь вперед в такт своим словам:

— Нет, Семен Максимович, нельзя так делать, нехорошо. Человек он одинокий, трудолюбивый, аккуратный. Он целый день работает. Я только и отдыхать стала, когда он пришел к нам. Он меня отдыхать укладывает после обеда. А когда я после обеда отдыхала? Он хороший человек и не жадный. А что у него деньги, так чем же он виноват? Он будет есть то, что и мы едим. Сала, конечно, не нужно покупать, зачем покупать сало?

Василиса Петровна замолчала, задумалась над своей речью и все продолжала покачиваться в такт своим мыслям. Алеша решительно поднялся, взял со стола пачку денег:

— Идем сюда, капитан! Степан, пожалуйста!

С холодной, хотя и иронической вежливостью он пропустил мимо себя измятого событиями, торопливого капитана и расплывшуюся в улыбке фигуру Степана. Вошел за ними в чистую комнату и плотно прикрыл дверь. Семен Максимович проводил их искрящимся взглядом и кивнул вдогонку:

— Опекуны! Опекуны-то!

Василиса Петровна бросила на мужа быстрый благодарный взгляд и начала убирать со стола.

25

Маруся вошла в кухню, улыбнулась, шепнула подруге:

— Закрывай дверь-то, Варюша, не выстуживай хату.

Потом обратилась к Василисе Петровне, кивнула головой, аккуратно повязанной светло-коричневым платком:

— Здравствуйте, тетенька!

Василиса Петровна поклонилась им:

— Здравствуйте. Варюша одна, а другую как звать?

Черные глаза стрельнули на капитана, месившего тесто на столе:

— Сейчас же насмеяться будут. А сами хлеб месют, как будто женщина. Марусей меня звать.

Капитан повернул к ней голову:

— Ничего нет смешного. Маруся — хорошее имя.

Капитан бросил тесто, расставил руки, измазанные мукой; Маруся поспешила сама рассказать:

— Ваш сынок Алеша говорит: по глазам видно, что Маруся. Разве видно, тетенька?

— Верно. Посмотрите, Василиса Петровна, правда же видно по глазам. Василиса Петровна улыбнулась, прямые ее бровки сдвинулись играючи:

— Дай-ка гляну.

Она внимательно рассмотрела черные брови и лукавую пропасть черных зрачков:

— Красивые у тебя глаза, и видно: Маруся!

Варюша широко открыла рот, засмеялась громко. Маруся склонила вбок голову перед Василисой Петровной:

— Ой, и они за ними! Веселые все какие здесь живут... люди! А где Алеша?

Из чистой комнаты выглянул раньше Степан, поднял брови к самым волосам и губы сложил в трубочку, будто свистеть собрался, пропел удивленно:

— Алеша, погляди, какие к нам девчата красивые пришли?

— Сам ты какой красивый: рыжая борода, и чегой-то тебе ее повыщипали.

— Да я ее сейчас срежу, милые девушки! Еще чего не нравится, могу тоже срезать, ухо например!

Но девушки увидели Алешу, бросили Степана. Маруся заговорила громко:

— Товарищ Теплов, к тебе пришли, принимай в Красную гвардию.

Степан шлепнулся на табуретку и открыл рот, у Василисы Петровны даже глаз зачесался; капитан, как погрузил руки в тесто, так и остался. Девушки заметили общее удивление, Маруся что-то хотела сказать, но не успела: крик поднялся в хате. Степан вскочил с табуретки и закричал громче всех, капитан что-то прохрипел протестующее, и Василиса Петровна произнесла какие-то слова. Только крик Степана оказался сверху:

— Ха! В Красную гвардию! Да что вы, девчата, белены объелись?

Алеша вытащил из кармана наган:

— Держи, Маруся, револьвер!

Глаза Маруси вспыхнули пожаром. Она жадной рукой ухватила рукоятку револьвера, дуло его само направилось в Степана. Степан вдруг сделался деловым, метнулся даже в сторону:

— Да что ты делаешь, Алексей! Да разве можно бабе...

Капитан тоже:

— Алексей Семенович, какие шутки с оружием!

Одна Василиса Петровна смотрела на всю эту историю с интересом, смеялась открыто и молодо:

— Молодцы, девчата! Поступайте в Красную гвардию!

Алеша обнял мать за плечи:

— Вот кто понимает дело — это мама! У девушек душа горячая, рабочая, а винтовка и у них стрелять будет.

Степан вытаращил глаза:

— Да отними ты у нее наган, Алексей! Смотри, она в мамашу направила!

Маруся ответила звонким, как будто даже новым голосом, в котором уже не было ни девичьего смущения, ни девичьей легкой шутки.

— Ты, солдат, не егози тама, в кого стрелять нужно! Чегой-то думаешь, ты один тут все понимаешь. Скажи, какой ты такой, военный. Я и без тебя знаю, в кого стрелять. Привыкли на бабу с крыши смотреть, эксплуататоры!

Степан смущенно затоптался перед Марусей:

— Девушка милая, я с тобой кругом в согласии. Отдай только наган, честью тебя прошу.

— Отдать, что ли, ему?

— Так,— сказал Алеша.— Ты хорошо говоришь, Маруся, дело говоришь. А только револьвер не заряжен.

Варя снова захохотала громко. Маруся прищурилась на Степана:

— А еще военный! Испужался, как малый ребенок.

Алеша взял из рук Маруси револьвер, обернулся к Степану:

— Товарищ Колдунов!

— Слушаю, товарищ начальник.

Маруся снова по-девичьи пискнула:

— Вот, тетенька, как с ними разговаривать нужно. Тогда он сразу смирный!

— Сроку три дня. Маруся и...

— Варя.

— И Варя... рабочие на заводе Карабакчи. Рабочие, понимаешь?

Степан серьезно мотнул головой.

— Даю тебе три дня. Самые главные приемы с винтовкой, стрельба. Патрона по три выпустишь...

— Товарищ Теплов, разрешите доложить. Винтовок нет, а если шесть патронов, тоже достать нужно.

— Достанешь. Понимаешь?

— Так точно, понимаю.

— Покажи, главное, насчет строя, перебежки, сторожевого охранения. Три дня. Ты отвечаешь.

— Слушаю, товарищ Теплов!

— Вот, товарищи, ваш учитель. Полная дисциплина должна быть.

Варя спросила недоверчиво:

— Это... слушаться его, что ли?

— Его слушаться.

— Да он какой, смотри: против женщины идет.

— Никуда он не идет. Помиритесь. Да шапки нужно достать, платки не годятся.

Василиса Петровна молча, внимательно наблюдала эту церемонию, а когда она закончилась, приняла с другой табуретки кастрюлю и пригласила:

— Садитесь, товарищи, садитесь, девушки милые. Не только им, мужчинам, выходит, с оружием ходить... Молодые вы мои, хорошие. А по-старому жить — все равно лучше смерть.

Маруся слушала внимательно, разумно, потом сказала:

— Мы эту жизнь тоже попробовали. Вы не думайте, что мы такие молодые. Я с семи годков и чужие беды, и свои — все на одних плечах носила. А товарищ Колдунов думает: только он знает.

Товарищ Колдунов виновато завертел башкой:

— Я это... понимаете... не успеешь за всем.

26

Прямо с поезда Муха и Павел пришли к Семену Максимовичу. Был уже вечер. Василиса Петровна одна сидела за столом и у самой лампы дрожащей иголкой старалась вытащить занозу из пальца. Семен Максимович за печкой копошился у кровати, в чистой комнате гудели голоса. Отворилась дверь из сеней, Муха заглянул:

— Добрый вечер. Спит Семен?

Семен Максимович ответил:

— А? Вернулись? Заходи, заходи.

— Здравствуй, мамаша! Ай-ай-ай! Что ты там достаешь?

— Занозила вот.

— Ах ты, беда! А вытащить некому?

Василиса Петровна улыбнулась:

— Некому. И у меня глаза старые, и у старика. Я вот тыкала, тыкала, весь палец исколола, а не вытащила.

— Ах ты, беда какая!

Муха швырнул фуражку на гвоздь.

— Давай-ка твой инструмент!

Василиса Петровна послушно протянула Мухе иголку. Из сеней вошел Павел, Семен Максимович взял его за локоть:

— К Алексею зайдешь? Они еще не спят, все спорят.

Павел направился к дверям. Держа в одной руке больной палец Василисы Петровны, другой рукой с иголкой Муха остановил Павла:

— Стой, Павел. Ты там не очень болтай при этом... при офицере, капитан он, что ли? И для чего ты с ним возишься, Семен Максимович, вот теперь и поговорить нельзя. Подожди, вот мамаше операцию сделаю, я тебе все растолкую по порядку.

Павел Варавва ничего не ответил, прошел в комнату.

Семен Максимович придвинул к столу табуретку, пальцами потер висок.

— Капитан этот — неплохой человек, только чудак. В Красную гвардию хочет, только... давай ему пушку. В пехоту, говорит, ни за что.

Вытянув губы, наострив глаза, Муха возился с занозой:

— Пушку ему? Я и сам не прочь бы, да пушек и в губернии нету. Там здорово прикрутили нашего брата. Прямо во все глаза смотрят.

— Что там еще в губернии?

— Да у нас... так... ничего. Дела!

— Хорошие дела?

— Одним словом, прямо говорить — берем власть!

— Ой! — вскрикнула Василиса Петровна.

— Прости, мамаша, это я, понимаешь, забыл про твой палец, думал —

штыком действую. Семен Максимович, великие дела наступают: смотри на Петроград и будь готов. А то, может, и Москва начнет. Как удобнее. Ох, и палку ты, загнала, Василиса Петровна, стой, стой, держись! На! С этим делом мы победоносно кончили.

— Спасибо.

Усаживаясь на табуретке, Муха толкнул локтем Семена Максимовича:

— Так как, Семен, думаешь?

— Рассказывай, рассказывай, чего ты зубоскалишь, как будто мой Алеша или этот самый Колдунов?

— Ну, добре, расскажу. А чаю дашь?

— Дай ему, мать, горячего, а то он с дороги.

— Да я борщ поставлю.

— Тащи, Василиса Петровна! Тащи борщ. С говядиной, что ли?

Василиса Петровна подняла руку к щеке, улыбнулась виновато:

— Не знали, что приедете, без говядины борщ.

Муха смеялся беззвучно, только звук «х» выходил у него длинный и веселый.

— Не ждали гостей? Ну, я и без говядины на этот раз.

— Да довольно вам, развели тут со своим борщом! Рассказывай, чего болтаешь!

Семен Максимович прикрикнул на Муху строго, Муха послушно привел себя в порядок, придвинулся к столу.

— Одним словом, Семен, последние дни идут. Но я за нас не боюсь.

У нас, понимаешь, голыми руками возьмем.

— Какой ты, Муха, егозливый человек! У нас! Что у нас, я и без тебя знаю. Там что, в губернии?

— Ты знаешь без меня, как у нас, а солдат прислали. Прибыли солдаты?

— Про солдат тебе мой Колдунов расскажет.

— Ох, и молодец ты, Семен! У тебя прямо штаб: и командующий, и разведка, и артиллерия, только пушек, у бедного, нету. Давай Колдунова сюда!

— Говори, что в губернии.

— В губернии ничего. Обо всем побалакали. Все ясно. Ничего темного нет. В резолюции так и сказано: обращать внимание на остроту и серьезность переживаемого момента. И еще одно важное дело. Да я тебе лучше прочитаю.

Муха из внутреннего кармана достал целую кучу бумажек, поклонявил пальцы, начал перелистывать. Из облезшего футляра вытащил очки и сделался похожим на сельского писаря.

— Есть. Слушай: «Сдерживая массы от преждевременных и изолированных выступлений, мы должны теперь же готовиться к тому, чтобы дать решительный отпор нападающей контрреволюции».

— Стой, стой! Прочитай-ка еще раз.

Муха прочитал еще раз и глянул на Семена Максимовича поверх очков. Семен Максимович оглянулся на дверь в чистую комнату:

— Чудное что-то: дать решительный отпор. Выходит, в случае чего дать отпор. А если не будет случая?

Муха приступил к сложному делу запрягивания своих бумажек, очков, футляра.

— Это так пишется, понимаешь. Там, в губернии, тоже положение на иголках. Написать прямо нельзя, все равно узнают как-нибудь, вот и пишется «отпор контрреволюции», а каждый должен понимать: не жди, пока тебя совсем за глотку схватят. Все едино, они налазят, и довольно нахально. И дело понятное, какой отпор: взять да и... коленкой, это и будет самый лучший отпор. А насчет преждевременных выступлений — это для таких, как твой разведчик. Колдунов этот самый. Да давай же его сюда!

Василиса Петровна поставила на стол тарелку борща и черный хлеб.

— Вот спасибо, хозяйшка, а то домой далеко еще брести, да и борщ у нас не такой. Говорят, никто на Костроме такого борща не варит, как ты.

— Спасибо на добром слове, только это не я варила, а Михаил Антонович.

— Михаил Антонович? Это... капитан самый? Что за капитан такой? Да ведь ты научила его?

— Научила.

— Выходит — подмастерье твой. Здравствуйте, товарищи. А мне борща дали, видите?

Капитан озабоченно глянул на Павла, потом на хозяйку. Хозяйка важно кивнула головой на печь, и капитан немедленно загремел заслонкой. Муха задержал кусок хлеба перед усами и засмеялся:

— Ну и коммуна у тебя, Семен Максимович! Настоящая коммуна!

Павел покраснел, схватил капитана за локоть.

— Честное слово! Честное слово, зачем же! Моя ведь хата рядом. Да что это вы, Василиса Петровна!

От большого черного горшка, который он держал на тряпке обеими руками, капитан оглянулся на Павла.

— Не будешь есть? Вот этого борща не будешь есть? А ты хоть раз в жизни ел такой борщ?

Павел перепуганно блеснул глазами, что-то прошептал застенчиво и с размаху под тяжелой рукой Степана уселся на стул. Семен Максимович потянул бороду книзу и с деловым видом поднялся. У шкафика с закрашенными стеклами он посмотрел на свет две рюмки и поставил их на стол, молча протянул Алексею графин с желтоватой жидкостью.

— Семен, по какому случаю такой пир?

— А вот по случаю твоих новостей. Выпейте, случай подходящий. Ничего, ничего, Павел, выпей, потом будешь вспоминать.

Муха с удивленным видом засмотрелся на борщ:

— Да с чем вы его варите, Василиса Петровна? Какой тут секрет?

Василиса Петровна по-домашнему улыбнулась капитану. Капитан серьезно, вежливо наклонился к Мухе и внимательно посмотрел на поверхность борща в его тарелке:

— Дорогой товарищ! Этот борщ я изучил здесь... в этом доме и, когда изучил, тогда понял, что такое жизнь. Я это говорю серьезно.

Семен Максимович медленно обратил лицо к капитану, все остальные притихли: никто не ожидал от капитана таких прочувствованных слов,

хотя они и были сказаны очень тихо и, пожалуй, даже без всякой экспрессии.

Капитан не изменил позы. Он по-прежнему смотрел на тарелку борща как будто читал на ней:

— В этом борще, собственно говоря, ничего нет, ну, капуста, то, собственно говоря, это обыкновенный постный борщ.

— Как сегодня пятница, постный день, — Степан внушительно смотрел на Муху.

— Да, — продолжал капитан, — тут дело не в пятнице. Но этот борщ во всех отношениях постный. Я знаю, как он делается. Он делается очень талантливо, замечательно талантливо. В нем мудрости много, души, заботы, а материалу в нем очень мало. Впрочем, вы все равно ничего не поймете. А я понимаю. Я долго жил там, где никто не думает о борще, потому что и другой пищи много. А так смотрели: живут там какие-то люди, рабочие люди, они чем-нибудь кормятся, потому что не умирают, ну, и пускай живут. А я этот борщ сам раз... десять сварил, и теперь я знаю... вот, как люди живут.

Не меняя своего наклона, оставаясь таким же вежливо-хмурым человеком, капитан чуть-чуть повернулся к Василисе Петровне:

— Я пользуюсь случаем, когда гости, поблагодарить... Василису Петровну, в ее лице всю семью, всех... горячее спасибо! Я здесь приемный человек, проходящий. И можно на меня смотреть: ну, что там, капитан какой-то, приبلудный... Не так. Далеко не так. Я... вот... ученик у вас.

Он вдруг улыбнулся ясной, дружеской, человеческой улыбкой:

— Сварить борщ из ничего и чтобы был вкусный... в этом, понимаете, больше достоинства и, как бы это сказать... чести, чем... вы же понимаете. Только... я вас отвлек. Пожалуйста, кушайте. Я вот тоже научился: как это приятно, когда люди едят. Ты его варил, думал, переживал, а люди кушают.

Капитан поклонился, отступил к стене, замер в обыкновенном своем хмурым молчании. Со стороны на него странно было смотреть: человек сказал такую речь и стоит как ни в чем не бывало, глядит куда-то мимо и как будто даже ни о чем не думает. Степан начал было:

— Ох, ты история...

Но глянул на Семена Максимовича и прикусил язык. Семен Максимович, расправившись со Степаном, медленно поставил руку ребром на стол:

— Это вы хорошо сказали, Михаил Антонович. И разобрали всё до точки. Только и вы не приبلудный человек, а что ученик — это неплохо. И я запрещаю и тебе, Алексей, и тебе, Степан Иванович, — старик пальцем показал на того и на другого, — запрещаю называть его капитаном. Не капитан, а Михаил Антонович. Поняли?

Алеша улыбнулся отцу, больше любясь им, чем капитаном. Степан все-таки прогалдел громко:

— Если у тебя чего не поймешь, Семен Максимович, то, пожалуй, и по загривку получишь. Я все понял.

Муха протянул тарелку:

— А я человек простой, говорить не умею. Михаил Антонович, если там остался этот... постный борщ, плесни, голубчик.

Всем стало весело, а капитан пошел к печке колдовать над своим

борщом. Муха проводил его взглядом и кивнул на него хозяину с таким выражением: смотри, дескать, тоже человек! Потом почесал за ухом, обратился к Степану:

— Расскажи, браток, как там солдаты эти?

— Солдаты? А ничего. Солдаты как солдаты. Мужички.

— Так... мужички...

— Мужички обыкновенные.

— Так... А говорят, их к нам... усмирять прислали.

— Видишь, товарищ Муха: думала попадья: «Сначала поп, а потом я», а оказалось навыворот: сначала в зад, а потом за шиворот.

— А-а! — протянул Муха и захохотал, перекидываясь на табуретке, чтобы посмотреть на хозяина. — А попадья, значит, думала, почет ей будет? А мужички не согласны!

— Народ больше интересуется насчет земли, а насчет усмирения мало интересуется. А также и революция для этого народа нужнее выходит, чем полковники разные да господа. И вообще, как обыкновенно, солдаты. Про учредительное собрание соображают.

— А-а?

— И меня спрашивали. А я в этом деле... туда, сюда, ни угу, ни мугу, ни в оглобли, ни в дугу. Для чего это... и польза какая будет, еще не разобрал.

— Про это и на конференции спорили. Но самый народ разумный который и большевики природные, те прямо говорят: вся власть Советам!

Семен Максимович крикнул, посмотрел на Муху, потом на других, сказал сурово:

— Поумнел народ! Здорово поумнел!

27

Первая рота запасного батальона разместилась в казармах Прянского полка на краю города.

Степан и Павел Варавва вошли в широкие ворота. Дневальный проводил их скучающим взглядом, а потом вдогонку спросил:

— Эй, земляки, кого ищите?

Степан оглянулся на ходу:

— Ничего не потеряли, ничего не ищем.

Дневальный ухмыльнулся в поднятый воротник и обратился снова к улице. Двор был квадратный, далекий, безлюдный. Только от кухонных дверей отходили одинокие смятые фигуры и особой побезжой направлялись к другим дверям, неся на отлете манерки с кашей.

— Во! — сказал Степан. — По казармам кашу таскают. Что значит, свобода пошла! Идем и мы туда. Раз кашу понесли, — значит, там и люди есть.

По истоптанной, мокрой и темной лестнице поднялись они на второй этаж. Входные двери в казарму беспрестанно хлопали. В шинелях, накинутых на плечи, и без шинелей, заросшие бородами и просто небритые люди входили и выходили. Движение было большое, но какое-то скучное и бесцельное. Глаза у людей никуда не устремлялись, люди спускались по лестнице молчаливые и задумчивые и такие же возвращались, хлопали дверью, чтобы раствориться в полутемной казарме. Задевая ноги, свисающие

с нар, обходя случайные группы, Степан и Павел пробирались по узкому проходу между стеной и нарами.

— Где тут второй взвод?

— Второй и есть, — ответил веселый глазастый унтер с усиками, тонкими, как у валета, но с глазами быстрыми, черными, склонными к насмешке. — А теперь спроси, где младший унтер-офицер семьдесят четвертого, господина нашего Иисуса Христа, запасного батальона первой роты Акимов. А я тебе скажу: честь имею явиться!

Степан уже пожимал руку веселого унтера. Тот сидел в боковом проходе у окна на широкой деревянной лавке, покрытой серым одеялом, и пил чай из синей эмалированной кружки.

— А это кто с тобой?

— А это наш заводской, товарищ Павел Варавва, — Степан оглянулся, — большевик.

Акимов громко рассмеялся:

— Да чего ты оглядываешься? Большевикам к нам не опасно заходить, слава богу.

Степан ответил:

— А кто вас разберет, вы люди приезжие.

— Усмирять вас приехали! — Акимов крикнул это на всю казарму и залился смехом.

Степан уселся на краю нижнего помоста нар, сказал кому-то наверху, свесившему босые ноги:

— Дорогой товарищ, убери ноги, а то откушу!

Сверху свесилась голова, худая, облезлая, тонкая, внимательно посмотрела на Степана. Ноги исчезли, но голова осталась на весу и задала скучный, хоть и привязчивый, вопрос:

— А чего это? Кто такой пришел, который ноги откусывает?

Ему никто не ответил, но с другой стороны нар тоже показалась голова, зашевелились и на нижнем этаже. Высокая полная фигура установила свежий, ладно уложенный по умеренному животу ремень на уровне глаз Павла Вараввы, а сверху на него смотрели с особенным злобным любопытством красивые глаза, под пушистыми усами шевелились полные и тоже красивые губы:

— Речи пришли говорить? Из Совета?

— Эй, кто там из Совета? — крикнул издали кто-то невидимый, потом гулко стукнули босыми ногами об пол, и из-за красавца вытянулось корявое, курносое, красное лицо, развело рот куда-то вкось, но ничего не сказало, а так и осталось с выражением активного воинственного внимания. Акимов добродушно протянул:

— Да это большевики!

Дородный красавец важно хэкнул, все у него вдруг перестало быть злым, а осталось только энергичным. Он тяжело надавил на плечо Павла Вараввы и опустился рядом с ним на лавку. Курносый вдруг появился на переднем плане, оказалось, что измятая бязевая нижняя рубаха у него болтается до самых колен.

Красавец произнес с аппетитной медлительностью:

— Большевики, если нужно что сказать, тоже могут. Ну, говори, ты вроде арапа, смотри какой!

Варавва блеснул белками, осмотрел казарму:

— Пришли не с речами, а познакомиться.

Тогда человек в нижней рубашке привел свой рот в деловое движение:

— Ты лучше скажи, какой закон написали там, — он кивнул головой в угол казармы, — господа написали?

— Какой закон?

— Да закон же написали, говорят, полный закон. Про землю. Землю, говорят, народ пускай у помещиков покупает. Если кому нужна земля, пускай себе покупает у помещиков. А? Написали такой закон? Говори, что же ты молчишь! Коли ты есть большевик, так почему молчишь? Почему такой закон: покупай себе землю сколько хочешь? Народу земля в полную власть, только денежки заплати!

Младший унтер-офицер Акимов смущенно-негодующе рассматривал распушенную рубашку оратора:

— Ты, Еремеев, не галди, чего ты к человеку пристал? Он, что ли, написал?

Павел не мог оторваться от лица Еремеева — столько в нем было давно организованного подозрения, раздражительности, злопыхательства. Еремеев смотрел на Павла, и его глаза уверенно, насмешливо разбирали всю его, Павла Вараввы, сущность и не находили в ней ничего, заслуживающего одобрения. Павел нахмурил брови и ответил Еремееву таким же серьезным и напряженным взглядом:

— Нет такого закона!

— Спрятали, значит, — воинственно подхватил Еремеев, — спрятали, потихоньку действуют. А такой закон есть!

— Ты что, земляк, землицы прикупить хочешь? — Степан спросил с таким внимательным оживлением, словно он сам немедленно намеревался предложить участок.

Еремеев метнулся было к нему, но не способен оказался оторваться от Вараввы:

— Так, говоришь, нету такого закона?

— Нету.

— Защищаешь, значит? Этих... этих...

— Нету, тебе говорю, а скоро будет.

— Покупать у помещиков?

— Да. Тебе землю дадут, а потом помещику платить будешь.

— Я буду платить? — Еремеев вдруг повеселел, вывернул из-под рубашки пустых два кармана, развел их в стороны. Переступая босыми ногами, перевернулся раза два. Степан и Акимов смеялись громко, красавец улыбался, с верхнего этажа смотрели молча. Тот самый, у которого Степан чуть не откусил ноги, заметил деловито:

— Смотри, у него сдачи еще не найдется, у помещика!

Еремеев довернулся до конца, убрал свои карманы, снова поднял на Павла сердитое лицо:

— Получит у меня помещик. Получит полную цену! Дай вот домой приеду, так и расплачусь.

Невидимый голос сказал сверху:

— Я тоже слышал, что закон такой есть. Будто землю по выкупу забирать будут.

— У кого забирать?

— Да у помещика.

— А она у него?

— А у кого же?

— Наши еще летом у него забрали. И без всякого выкупа. Он, может, и взял бы выкуп, да некогда было, пятки смазывал салом в это самое время.

Сказано было с хорошим юмором, победоносный хохот пронесся по казарме, кто-то покатился на нарах, затрепал досками. Только красавец отзывался на все разговоры беззвучно-добродушно, все обнимал и похлопывал Павла Варавву. И Еремеев развеселился и уже совсем мирно обратился к Павлу:

— А все-таки скажи, человек хороший, кто это такие законы делает?

Павел надул полные смуглые щеки, приблизил к Еремееву глаза:

— А ты в учредительное собрание за кого голосовать собрался? За эсеров?

— А как же! За эсеров. Они ж, понимаешь...

— Вот они и закон такой приготовили.

Белокурый красавец крепче прижал горячую руку к талии Павла и засмеялся погромче, подтвердил:

— Они!

Еремеев вытаращил глаза удивленно до крайности:

— Ну? Насада, и ты так говоришь?

— Да это же всем известно! И вчера кто-то рассказывал: ихний проект!

Степан считал вопрос исчерпанным. Он крикнул солидно и самым доброжелательным голосом сказал Еремееву:

— Пиши письмо, голубок. Пиши скорей письмо: так и так, спасибо вам, дорогие отцы и благодетели...

Насада отвалился к стене:

— Да чего там писать? Чего писать? Себе самому скажи, дураку, спасибо. А их тут много, вот таких умных: «Наша партия, крестьянская!»

Еремеев следил за лицом Насады по-детски внимательно, строго, прищуренным и немного завистливым взглядом. На нарах притихли. Рассмотрев выражение Насады как следует, Еремеев с тем же прищуренным лицом обратился к нарам:

— Агитация! Это они — агитацию! Думают: непонимающий народ, что ни дай, слопают!

— Большевики! — неопределенно подтвердили сверху.

— Большевики, — совершенно определенно подтвердил Еремеев. — Насада, ему что? Ему на крестьянство наплевать. Ему чуть что — «Поеду на Каспийское море, буду рыбку ловить». А про нас думает: этому сиволупому что ни дай...

В лице Еремеева все больше и больше прибавлялось ехидности и хитрого-прехитрого понимания. Насада продолжал улыбаться, откинувшись к стене, но Павел отнесся к речи Еремеева сердито. Он вскочил с лавки, сверкнул глазами, крикнул обиженным голосом:

— Да ты и сейчас чепуху говоришь! Чепуху!

— Ох! Ох! Чепуху? А вот и не чепуху! Вы-то... посмеяться над мужиком, ох, как вам легче становится!

— И посмеюсь!

— Они посмеются! Разумный народ, городской! — раздавался все тот же таинственный голос в темноте казармы.

— Да кто ж, по-твоему, такие законы делает?

— По-моему? Не по-моему, а вообще. А кого мы выберем, те еще где? Кого я выберу, те еще, может, чай дома пьют.

Павел презрительно отвернулся:

— Он может спокойно чай пить, потому: обманул тебя.

— А ты не обманул, не успел?

Таинственный голос снова загудел в неопределенной вышине:

— Вы все говорите: вот голосуй за меня, а тебе — землю. А все вы одинаковые: дадите земли три аршина, да и то подороже!

— Тебе большевики говорят: за Советы иди! За Советы трудящихся!

— Ох, за Советы! А что мы, не знаем! Сюда нас чего привезли? Усмирять, ха! А кто позвал? Председатель Совета!

— Эсер, — сказал Степан.

— Чего? — Еремеев даже обернулся.

— Эсер, говорю, который чай пьет! Тот самый. У нас выступал на митинге, как это хохлы говорят: у Серка глаз позычил. Прямо тебе в лицо: не сложим, говорит, оружия, облитого народной кровью.

Тот же таинственный голос под потолком разлил безобразно-оглушительную очередь сочного, дурманящего мата. Все оглянулись, но в той стороне было уже тихо. Губы Еремеева сделались вялыми, а глаза присматривались к Степану недоверчиво. Степан не смутился:

— Ты чего на меня, как барыня на гвоздь? Скажешь, выдумываю? Агитирую? Мы его арестовали тогда, сам его под конвоем водил.

Акимов даже подпрыгнул на лавке:

— Да что ты говоришь? Арестовали?

— А как же!

— «Арестовали». Да ведь он нас на вокзале встречал.

Степан полез за махоркой:

— Выпустили.

— А! а! — заегозил Еремеев. — Выпустили! Герои тоже, выпустили! Большевики!

— Да как же не выпустить, когда у него дело кругом? Надо же ему закон писать, землю тебе продавать. Не выпустить — так ты еще обижаться будешь, скажешь, зачем мою крестьянскую партию... Да ты не горюй. Может, здесь кого усмиришь, так тебе и даром дадут... землю. Скажут: вот хороший человек Еремеев, тоже... наш... эсер.

Еремеев подскочил к Степану, даже кулаком замахнулся:

— Ты на меня не моргай! Чего ты, хвастаться пришел сюда? Думаешь, ты человек, а мы... вот... усмирители? Тебе есть дело, как Россия пойдет, а мне нету дела? Я тебе всю землю отдам, с потрохами, а своего брата, если трудящийся который... усмирять... У меня, думаешь, чести нет?

— Во! Голубок! — Степан встал, протянул руки. — Прости, дорогой, видишь, и у меня характер... ну его... горячий...

С высоты сказали:

— Нами еще эсеры не командуют.

Насада подтвердил самым искренним тоном:

— У нас офицеры — слава тебе господи.

И как будто в подтверждение этих слов из-за спин стоящих раздался голос, такой красивый, чистый и властный, что с самого первого его звука стало ясно: говорит офицер:

— Что здесь у вас происходит, митинг, что ли?

Все обернулись, раздвинулись. Насада и Акимов медленно поднялись. В конце образовавшегося человеческого коридора слабо блеснули в темноте погоны. Офицер сделал еще шаг вперед. Степан узнал Троицкого и просиял.

— Это что же? Гости, что ли? — Троицкий заложил палец за пуговицу шинели. — Большевики?

Он оглянулся на Акимова. Акимов ответил по-старому:

— Так точно, большевики, господин полковник.

— Что это ты, товарищ, все посмеиваешься?

Степан подскочил, вытянулся, руки направил по швам, сказал с тем самым деревянным напряжением, которое требовалось по уставу:

— Так точно, посмеиваюсь, господин полковник.

Кажется, один Насада почувствовал в словах Степана настоящую правду. Он шевельнул усами, опустил глаза, с интересом стал ожидать, что будет дальше. Остальные — даже и Павел — растерянно глядели на оторопелую фигуру Степана. Троицкий, чуть-чуть изогнувшись в талии, присмотрелся к Степану. Степан глядел на него с завидной каменной почти-тельностью, и как раз ничего в этот момент у Степана не посмеивалось. Троицкий все-таки спросил:

— Посмеиваешься? Солдат, что ли?

— Так точно, господин полковник.

— Ага! Так вот... может быть, скажешь, отчего тебе так весело? Может быть, оттого, что удачно дезертировал с фронта?

— Никак нет, господин полковник, по другому обстоятельству.

— Это по какому же такому другому?

— Вас хорошо знаю, господин полковник, обрадовался очень!

Троицкий скосил на Степана серьезные глаза:

— Ты что-то ошибаешься, дружище. Я с тобой в одной части не был.

— Так точно, господин полковник! А только, как вы здешнего попобатюшки сынок и у Корнилова воевали генерала, а потом сюда приехали, — хорошо вас знаю.

Несмотря на то что Степан все это произнес тем же бессмысленным солдатским криком, в казарме произошло мгновенное движение: задние надвинулись на передних, на нарах загрели коленами, сверху свесилось несколько новых лиц. Степан еще больше вытянулся и задрал голову. Троицкий закричал, словно его ножом пырнули в самое болезненное место:

— Ты лжешь, мерзавец! Акимов! Взять под стражу!

Он было размахнулся властным командирским пальцем, чтобы ткнуть Степана, но что-то странное произошло в казарме, он попал не на Степана, а на Павла. Павел показал ему свои ослепительные негритянские зубы, крикнул весело:

— Да никто не врет! Это весь город знает!

И вслед за этим тот же высотный таинственный голос произнес, как будто играючи:

— Корниловец? Хватай его, шкуру!

Еремеев подпрыгнул, перекошил рот:

— Товарищи!

Рука Акимова занеслась сбоку. Троицкий инстинктивно отшатнулся от нее и сразу завертелся в водовороте человеческих тел, сгрудившихся в узком проходе. Короткие, тесные движения людей перемешались с поднимающимся криком и шумом борьбы. Чей-то кулак взметнулся над толпой и неудобно опустился на светло-коричневую фуражку полковника. Удар получился слабый, однако фуражка обмякла и бесформенным колпаком надела на глаза Троицкого. Локти заходили в сумраке, но неожиданным сильным движением Троицкий вырвался в продольный проход и закричал:

— Назад, подлецы!

Крик его только на один миг ошеломил толпу, в следующий момент он выхватил из кармана браунинг и дрожащей рукой направил на людей. Передние отшатнулись. Троицкий бросился к дверям. С верхнего этажа нар ему наперерез слетел солдат, но поскользнулся на влажном полу и упал под ноги толпы. Троицкий хлопнул тяжелой дверью и выскочил на лестницу. Маленький и юркий Акимов словно через головы всех перепрыгнул к дверям. Двери открылись и снова хлопнули, а потом уже разверзлись настежь и, вздрагивая и визжа, начали выпускать напряженный внутренним давлением клубок людей. С лестницы послышались два коротких сухих выстрела. Еремеев закричал в дверях:

— Стой, ребята! Сукин сын, внизу палит! Бери винтовки!

По казарме загрели сапогами. В сумерках заметались тени. Павел, наконец, выбрался на лестницу, там было темно, сыро и бестолково. Внизу у открытых широко дверей стоял в толпе Степан и говорил кому-то:

— Выпустили гада! Эх вы, эсеры!

28

Степан и Алеша вместе подали заявление о приеме их в партию большевиков. Муха обрадовался им, улыбался, довольный, хлопал по плечам, говорил:

— Собирается народ, собирается.

Было такое впечатление и у Алеши, что народ собирается, что он, Алеша, идет по большому полю в самой гуще народа и со всех сторон, со всех краев России идут новые силы. Алеша все больше хотелось и хотелось думать об этом и находить новые подробности в событиях и в человеческих глазах. Дни проходили невероятно горячие, переполненные содержанием до краев, звучные и изобретательные дни, с утра захватывающие душу. Алеша не находил времени задуматься, а может быть, задумывался каждую минуту, даже в этом разобраться было трудно. Иногда он надеялся: вот он будет идти из дому на завод и обязательно о чем-то важном подумает и решит. Потом оказывалось, что по дороге на завод пришлось думать о чем-либо другом, специально подоспевшем на сегодня. Надежды переносились на вечер, на совершенное уединение души в постели, под одеялом. Но приходил вечер, приходила ночь, и вместе с ними приходили целые толпы свежих дневных впечатлений, событий, споров, решений, неясностей. Укладываясь спать в чистой комнате, разговаривали и спорили до тех пор, пока Семен Максимович не стучал в стену. После этого сигнала спори-

ли шепотом — Алеша на диване, капитан на своей кровати, Степан на полу. Засыпали незаметно и неожиданно, прекращая спор на полуслове, оставляя без возражений самые неправильные мысли противника.

Спор обыкновенно начинал Степан — высказывал какую-либо основательную сентенцию. Алеша встречал ее сомнением или насмешкой. Степан приходил в раж и предпринимал глубочайшие философские раскопки, такие значительные, что и капитан не выдерживал и вставлял свое слово, имевшее обыкновенно задушевно-хмурый характер. После этого у Степана начинала развиваться энергия педагогического типа, ибо он не мог обойтись без того, чтобы не направить капитана на более правильный путь.

Алеша и удивлялся Степановой силе, и беспокоился о ней. Степан пер вперед в восхитительном русском стиле, — это Алеша признавал. На его глазах Степан вырос из скромного балагура-денщика в настоящую политическую фигуру, но Алеша сомневался: не слишком ли много у Степана стихийности, вот той самой пугачевской страсти, которая способна перевернуть мир, а потом «замориться» и махнуть на все рукой? В чем здесь дело? Может быть, в нервах, а может, вот в той самой чести, к которой Степан относится, собственно говоря, индифферентно. Для таких, как Степан, необходима победа, только победа может двинуть его дальше. Богатырчук прав, когда тайну жизни видит именно в победе.

В представлении Алеши и победа крепко связывалась с вопросом о цене человека. В этом вопросе Алешу уже не интересовали никакие особенные тонкости. Человек должен быть здоровым во всех отношениях, в том числе и в нравственном, в том числе и в своем достоинстве, — вот и все.

Это достоинство Алеша уже давно научился видеть у таких людей, как отец, Муха, Котляров, Богатырчук. Достоинство это не является ли результатом культуры? В самом деле? Деревенских людей издавна прославили: вот у них настоящее, замечательное здоровье, настоящие нервы. Им противоплавали нервы культурного человека, которые будто бы настолько истрепаны, что могут держаться только в оранжерейной обстановке. Когда-то и Алеше часто казалось, что нервная устойчивость деревенского человека очень велика и завидна. На фронте картина была сложная.

Алеша часто вспоминал день одной атаки. Если атака объявлена заранее и даже назначен час выступления, нервная тревога у офицеров доходила до чертиков. Так было и под Коротыницей. Алеша в течение целого дня переходил с места на место, и его душа никак не могла оторваться от атаки, назначенной на два часа ночи. На этом участке фронта попытки упорного прорыва предпринимались уже не первый раз и всегда заканчивались гибелью целых батальонов. И сегодняшняя операция казалась такой же обреченной и страшной. Она стояла впереди, через несколько часов, как совершенно неотвратимая казнь, и каждый человек, встречающийся с ним в окопе или в блиндаже, поражал Алешу нелогичной, напрасной игрой жизни, движением мускулов, лживым блеском в глазах. Все эти люди были уже мертвы, и то, что казалось у них проявлением жизни, было, собственно говоря, только агонией перед холодным, безобразным концом. Конец наступит молниеносно быстро, как только промелькнет этот жалкий остаток дня. Алеша почти физически ощущал себя порцией пушечного мяса, с такой безразличной холодностью заказанной простым приказом по

дивизии: подать в два часа ночи. Бродя между людьми, сталкиваясь с ними и не замечая их, он повторял все одну и ту же фразу:

— Что я могу сделать? Что я могу поделывать?

Эту тоску и оупение духа он видел и у других офицеров. Когда до сигнала к атаке осталось два часа, это смертное томление стало уже невыносимым, и тогда кто-то предложил в блиндаже, предложил побледневший, холодный и чужой:

— Господа, а не сыграть ли нам в преферанс?

Многие даже головы не повернули к инициатору, но четверка согласилась, и на шатком, из шершавых досок примостке, кажется впервые за всю кампанию изменив обычной на фронте азартной игре, занялись преферансом. Играли сурово, спокойно, с расчетом, говорили после сочного раздумья:

— Я воздержусь.

— Рискну на одну взятку.

— Пас.

И Алеша играл и удивлялся только одному: как технически совершенно устроен человек. В душе у него невыносимой судорожной изжогой стояла тоска, а какая-то часть его личности по очень тонкой линии раздела все-таки отделилась и играла в преферанс, рассматривала в руках десять карт, соображала, что под играющего нужно ходить с маленькой, что ход с бубен может отыграть у противника короля. Со стороны могло показаться, что преферанс — это почти героизм, великое усилие души, а на самом деле это был распад личности, предсмертное тихое ее гниение. Прибежал перепуганный и фактически умирающий вестовой и прохрипел:

— Ваше сокродие, сигнал!.. Через пять минут...

Штабс-капитан не спеша смешал карты и взял огрызок карандаша:

— Кончить не успеем. Разделим пульку... Сколько у вас на меня, прапорщик? Сто двадцать четыре? Так... Значит, с вами у меня плюс семьдесят.

И другие просчитали свои висты, быстрыми прыжками карандаша поставили цифры, взяли их в кружочки. Потом лихорадочными движениями достали кошельки и бросили на стол мелочь. Засовывая кошельки в карманы, побежали к выходу — умирать. Перемахнули через три ступеньки входа, словно они и в самом деле еще жили, словно они еще о чем-нибудь думали и что-то ощущали.

Так умирали эти высокоорганизованные культурой и книгой человеческие существа, и с такой же заячьей, жалкой спазмой ходил умирать и Алеша. А Степаны Колдуновы, мужики в погонах, «михрюты», как называли их армейские пошляки, умирали иначе. Алеша помнит. Когда он выбежал из блиндажа, только что уплатив свой проигрыш — два рубля семнадцать копеек, его полурота сидела, прижавшись к стенке окопа, и... ужинала. Люди скучно, но сильно жевали ржаной хлеб, держали в одной руке бесформенный его кусок, а в другой винтовку — все знали, что первый световой сигнал уже дан. Алеша был так поражен этим зрелищем, что на секунду даже забыл о своей предсмертной тоске.

— Черт! Сейчас атака, а вы жрете!

Кто-то ему ответил не спеша, с трудом поворачивая язык:

— А чего хлебу-то пропадать даром?

Потом он вспомнил эту сцену и думал о непобедимых и неуязвимых мужицких нервах, о стойкости духа, о спасительном народном здоровье. Думал до тех пор, пока не возмужал в боях и не увидел другую сторону явления: вот те самые крепкие мужицкие нервы, воспитанные землей и природой, — они тоже иногда сдавали. И Степан Колдунов тоже не раз, вероятно, удирали с поля, позабыв о том, что у него есть какое-то там достоинство.

А может быть, достоинство и должно заключаться в том, чтобы искать для себя достойное поле сражения? Не смешно ли было ему, Алеше, сочинять для себя достоинство, смысл которого был так наивен: защищать бесцельность и пустоту своего героизма?

О чем там распелся Степан, лежа на полу?

— У господ душа завсегда жидкая. Он тебе задается, задается, а на самом деле у него ничего такого нет. Он гонорится, пока поел хорошо, да выпил, да закурил, да с бабой побаловался. А дай ты ему, скажем, батрацкую долю, так он тебе через три дня либо плакать будет, либо с ума свернет — ни за что не выдержит. У нас в Саратовской был такой панок, такой себе был мордатый, занозистый и ходил это все с прискоком, фасон держал. А как промотал там тяткино да мамкино, такой щененок из него образовался, паскудный такой, слюнявый, и ладу себе так и не дал. Плакал, плакал, холуйничал, как последняя тварь, лизал там разные места, а потом взял да и повесился в нужнике. И места себе, понимаешь, лучшего не нашел. Повесился и в записке написал: «Жизнь мне была, как мачеха». Видишь? Ему жизнь мамашей должна быть. И такие они все, господа. Пока есть кого сосать, он и сосет, а как некого, он тебе и скапустился. А в середине в нем ничего такого, крепости никакой.

Капитан отозвался с своей кровати:

— И у них... у господ, разные бывают. Бывают и крепкие.

— Мало. Оно, конечно, на кого нападешь. Бывают и злые. И сердце разное, как у нас говорят: у старухи сердце и у девки сердце, у старухи со слезой, а у девки с перцем.

Алеша пристал к разговору:

— Мало чего объяснил: с перцем, с перцем!

— А как же? Вот, к примеру, Пономарев. Без перца, пустой человек. Ты смотри, на митинге: мя-мя-мя! Какой это человек! Если ты буржуй, так уж ты будь, собака, буржуем. А не хочешь, иди к народу полностью. Вот этот... полковник ихний Троицкий — вот это да! Аж глаза у него горят на нашего брата, чуть что — за револьвер. Убежал, смотри, искали-искали, как сквозь землю провалился. А потом и вылезет где-нибудь, где не ожидаешь.

— Этот, по-твоему, с перцем?

— Этот, конечно, этот такой.

— А говорил: у господ душа жидкая.

— Так я это вообще говорил: жидкая. А только не у всех. А с перцем которые — у господ мало. А то больше, сволочи, из-за угла: там купил, там надул, там схитрил, там, понимаешь, высидел, в другом месте водочки выпили, сговорились. Сволочной народ, бесчестный, потому все и заграбастали. А если бы все такие были, как Троицкий, давно бы их всех поубивали. Оно, когда против тебя зверь идет, виднее как-то.

— Погоди, Степан, погоди! Ты говоришь: сволочный народ, бесчестный. А Троицкий?

— Ого! А как же! Вот посмотрел бы ты: за браунинг, хлоп, хлоп! Этот про свою честь думает, сдохнет, а не уступит. Если я его поймаю, обязательно убью. А то все равно кусаться будет.

— В чем же, по-твоему, честь: в злости, что ли?

— А как же? Если человек злой,— значит, цену себе знает.

— Чушь,— сказал капитан.— Что ж, по-твоему, у меня чести нет, что ли?

— Почему у тебя нет? Да у тебя — кто тебя знает. А и злости у тебя — аж на стенку лезешь.

— Слушай, Степан, ну, что ты мелешь? На кого у меня злость?

— У тебя? А на буржуев, на кого ж? Они ж тебя больше всех обидели.

Слышно было, как затрещала кровать у капитана. Потом он спросил:

— Хорошо. А Василиса Петровна?

— Мамаша? Эх, вы: ученый народ, а ничего не понимаете.

Семен Максимович постучал в стену. Все затихли, а потом Степан зашептал:

— Это она к нам такая добрая, потому что — свои люди. А так она — настоящий человек, злой и сердитый.

29

Этот ночной разговор почему-то встревожил Алешу. Никак не могли исчезнуть из памяти дикие рассуждения Степана. Алеша злился на них и минутами сожалел, что не успел накопить в жизни то необходимое чванство, которое может отделять образованного человека от необразованного, которое позволяет сказать самому себе: «Что там понимает темный мужик, стоит ли прислушиваться к его словам».

Алеша начинал на живых людях проверять «теоремы Колдунова», и получалось как-то неожиданно странно. Конечно, есть хорошее, убежденное, постоянное негодование у матери, конечно, злой и суровый живет отец, злые и сам Степан, и Муха, и Котляров, и Николай, и даже Таня. Нина? Ох, если раскусить Нину по-настоящему, сколько там спрятано настоящего, может быть, даже остервенелого гнева против так называемой жизни.

По «теореме Колдунова» «жизненная злость» — это когда человек себе цену знает. Алеша свободно улыбался, вспоминая эти слова: не подлежало сомнению, насколько это глупо. А может быть, Степан называет злостью всякую активную требовательность, энергию, но в таком случае почему и капитан относится к злым?

Вот задал человек задачу! Наболтал, наболтал, через пять минут и сам забыл, что наболтал, а Алеша должен ходить и раздумывать о том, что это значит. И не просто раздумывать, а с обидой. Революция много сказала нового, и многое стало ясно. Но ведь и раньше Алеша мог бы подумать над тем, что было написано в книгах, что бросалось в глаза. И сейчас обидно было: почему цена человека определялась у него без достаточно-го количества злости?

В первый год фронта была у Алеши простая гордость — совершенно ясная убежденность в том, что он должен быть храбрым и не бояться смерти. А рядом с этой гордостью была и злость: он мучительно страстно хотел победы, он физическими слезами встречал поражения, он заболел, когда наши полки покатались назад, когда в дивизии оставалось по три патрона на стрелка. Он огневой и искренней ненавистью ненавидел немцев, потом своих генералов, петербургских сановников, Николая второго. Он тогда сурово презирал всех окопавшихся, земгусаров, всю тыловую сволочь. Наверное, у него тогда иначе блестели глаза, и голова стояла гордо на плечах — он чувствовал себя настоящей личностью.

Он тогда злился на людей за то, что они не были в общей опасности, что они свою маленькую жизнь поставили выше общих движений. И теперь он склонен был презирать этих людей, но в то же время родилась у него и новая злость на себя, на свою былую гордость. Было совершенно ясно: он тогда жил и чувствовал, как мальчишка, которого так легко и просто можно было одурачить громким словом. Было досадно и обидно, что очень простые вещи были тогда для него чем-то закрыты. Немцы, тот самый немец, в которого он стрелял из нагана, не был ли таким же одураченным молодым человеком? Враги, те самые враги, которых так горячо хотел победить Алеша, не в одинаковой ли мере с ним больше всего нуждались в просветлении? И в этом большевистском призыве к единению трудящихся всего мира насколько же больше достоинства, чем в былом фанфаронстве!

Да, злость тоже может быть спасительной силой, в особенности если на себя злишься и себя проверяешь. Алеша теперь ясно увидел новые станы врагов и новые начала достоинства.

Целый день у Алеши был занят. В Красной гвардии прибавилось людей, железнодорожники дали двадцать человек и часть из них даже с оружием, но оружия все же не хватало, а самое главное, не было патронов. Никакого пулемета не мог привезти Павел из губернии. Костромские большевики чувствовали себя вообще одиноко. В самом городе почти не было большевиков, рабочие на пристанях организованы были плохо, там боролись только одиночки. В городском Совете после истории с Богомолем лучше было не показываться. Кострома, собственно говоря, оказалась предоставленной своим силам.

Правда, первая рота запасного батальона не оправдала надежд Богомола. Куда делся Троицкий, так никто и не мог сказать. Он тогда выбежал на улицу. Дневальный в воротах пропустил его с сонным удивлением. А на улице он исчез. Группа солдат во главе с Насадой побывала в поповском доме на Костроме, но застала там только растерянность и вздохи матушки. Перестали появляться в роте и другие офицеры, отсиживались по квартирам, о них никто даже и не вспоминал. Вся эта история сильно взволновала город. На другой день штабс-капитан Волошенко появился на улице в штатском пальто и в зимней шапке, которую надевать было еще и рановато. Встречным знакомым Волошенко говорил:

— Придется подождать, пока офицеры понадобятся России.

Волошенко решил ждать в штатском костюме, наверное, так решили и другие, в городе исчезли золотые погоны.

В первой роте побывал сам Богомол, при нем были произведены выборы

командира роты и выбран был старший унтер-офицер Насада. Тогда же были выбраны и представители от роты в Совет, но от этого ничего не изменилось, так как Совет давно не собирался и ни у кого охоты не было его собирать.

Что-то в городе происходило еще. Ходили слухи, что уездный комиссар Сенюткин потребовал присылки казаков, на железной дороге собирались закрытые митинги служащих. В реальном училище старшие классы строились во дворах и маршировали. Сначала этому событию не придали особого значения, но однажды утром в руках у реалистов увидели винтовки. На Кострому это известие добежало в тот же день.

Алеша вошел в заводской комитет по дороге домой, и Муха встретил его змеиным, насмешливым взглядом:

— Вот тебе винтовок не хватает. И в Совете плакали: нет винтовок. А для реалистов, видишь, нашлось.

— Для каких реалистов?

— Для таких.

— Нашлось?

— Да, где-то нашлось. Уже с винтовками работают.

Из-за спины Алеша Степан зашипел:

— Ах ты, подлюки! Кто им дал?

— Наверняка скажу: комиссар дал, Сенюткин этот паршивый.

— Отнять! — крикнул Степан.

Алеша утвердительно дернул головой. Он даже побледнел от возмущения. Сколько он исходил лестниц, сколько прошел дверей, перед сколькими столами настоялся, везде перед ним разводили руками и строили печальные рожи, везде уверяли его, что все меры приняты, всем написано, со всеми ругались, испортили отношения. Никаких винтовок, потому что, как известно, и в армии винтовок не хватает.

— Это что же... мошенники, значит?

— Того мало, что мошенники, — сказал Муха. — Для чего, думаешь, им винтовки дали?

Степан в этом вопросе не видел ничего сложного:

— Да игратья, для чего! Для чего мальчишкам ружья? Да что же это делается, товарищ Муха! Да сейчас же пойдем и заберем.

Муха замотал головой:

— Игратья? Тут, друзья, игра серьезная затевается.

Алеша загорелся удивлением, весело приглядывался к Мухе, даже на стул сел:

— А по-вашему — что? Сражаться будут?

— Будут.

— Эти? Карандаши?

— Ну, знаешь, карандаши с винтовками? Да еще с патронами!

Упоминание о патронах сразило Алешу. Патронная нужда у него была отчаянная и оскорбительная. Алеша всегда испытывал неизмеримый, леденящий стыд, когда вспоминал, что у него всего по два патрона на человека. Первая рота прибыла тоже с одной обоймой, обещали дослать из губернии, но теперь и первая рота попала в немилость. Слова Мухи о патронах сняли с очереди вопрос о том, будут сражаться «карандаши» или не будут. Весь вопрос имел только одно значение: в городе появилось

место, где есть патроны. Это было настолько волнующее открытие, что Алеша и Степан одновременно обернулись друг к другу и в одно время сказали:

— Идем!

Они уже бросились к дверям, но Муха остановил их грозно:

— Куда? Куда вы идете? Чего такое придумали?

Алеша оглянулся на Степана с удивлением, и оба они, как козлы, уставились на Муху.

Муха пригрозил:

— Я вам пойду! Вы что, забыли? «Сдерживая массу от преждевременных и изолированных выступлений».

Степан моментально наладил руку для того, чтобы считать по пальцам, но дело было такое срочное, что его пальцы только вздрагивали, а считал он без их существенной помощи:

— Во-первых, товарищ Муха, нас не масса, а двое. А во-вторых, ничего не будет... этого... преждевременного, а как раз в точку, в-третьих еще там у тебя какое-то слово: лизорованный или лизоронный, так это я также тебе скажу: пустяк.

Муха крепко положил ладонь на стол:

— Не смей! Сегодня вечером потолкуем, посоветуемся.

Открылась дверь, с трудом просунулась в нее в мохнатом рыжем пиджаке фигура старого Котлярова. Он поставил винтовку в угол, глянул на всех по очереди:

— Про реалистов знаешь?

— Знаю.

— Ну?

— Что «ну»?

— Да что ну! У них винчестеры и патроны!

Степан приложил пальцы к щеке, воскликнул:

— Мать...

Но глянул на Муху и закончил так же выразительно:

— ...моя, пресвятая богородица! Винчестеры!

Муха опустил глаза:

— Вечером обсудим.

30

На другой день было воскресенье. Ночью моросил дождик, песок сделался мокрым и плотным, от реки тянуло зыбкой, несимпатичной прохладой, потемнели крыши на хатах. Семен Максимович вытащил из сундука старое ватное пальто, совсем еще хорошее, только на самом важном месте, буквально на животе, была нашита на нем квадратная рыжеватая заплатка, гораздо более светлая, чем пальто. И шапку надел Семен Максимович зимнюю, старого мелкого барашка, сильно промасленную в подкладке, но, безусловно, еще целую. А палка у него в руках осталась прежняя — суковатая, с крючком.

Нарядившись, сказал Семен Максимович Алеше:

— Собирайся, пойдем погуляем.

Никогда не замечалось у Семена Максимовича такой привычки —

гулять. Даже в воскресные дни находил для себя Семен Максимович работу, если не возле колодца, то в сарае. Там у него и верстачок стоял, и лежали в полном порядке у тисков молотки, напильники, зубила. Частных заказов Семен Максимович никогда не брал и гордился этим:

— Я не мастеровой, я рабочий.

И все-таки на воскресные дни всегда находилась у Семена Максимовича работа — для себя, для соседей, для знакомых, не умеющих обращаться с металлом, для разных там столяров, маляров, конторских: то замок починить, то совок, то заслонку сделать, то самоварную трубу поправить, то кран.

А сегодня Семен Максимович решил воспользоваться воскресным днем и очень обрадовал этим решением Алешу, который уже не помнил, когда это было, чтобы они с отцом «гуляли» в городе.

Алеша быстро надел шинель, измятую фуражку, на которой до конца уже выцвел темный кружок на месте офицерской кокарды. Тоже взял палку, и они вышли на улицу. Алеша хромал теперь еле заметно и даже красиво, чуть склоняясь в сторону, как будто нарочно, чтобы моложе и живее казалась талия. Направились к городу. По Костроме, у заборов, долго шли молча. Алеша все поглядывал на отца пристальными большими глазами, и было ему страшно интересно, для чего это отец затеял такой специальный поход. Но Семен Максимович шагал серьезно, деловито, аккуратно ставил палку рядом с собой и молчал, даже по сторонам не посматривал. Алеша потерял надежду понять, в чем дело, тоже о чем-то задумался. И вдруг он радостно оживился, быстро глянул на отца:

— Отец, объясни мне одну вещь. Злость — это хорошо или это нехорошо?

Семен Максимович не удивился вопросу, тронул бороду рукой и ответил сухо:

— Вопрос довольно глупый: справедливая злость хорошо, несправедливая — нехорошо.

— Хорошо... справедливость. Значит, если что-нибудь неправильно, так и нужно злиться?

— Неправильность — это хитрая штука. Бедный иногда делает неправильно — ему бывает «не до того», он только и знает, как бы с бедностью своей управиться. А богатый всегда неправильно, ему иначе нельзя. Так все и делают неправильно.

— Как это... все? Ты, отец, преувеличиваешь.

— Ты, Алексей, учись разбираться в жизни. Нечего мне увеличивать. Раз есть богатые и бедные, тогда все поступают неправильно.

— А ты?

— А что же ты думаешь? И я.

— Например?

— Да какие тебе примеры? Примеров на твоих глазах сколько хочешь.

— Нет, ты скажи.

Шагая размеренно, точно, Семен Максимович чуть-чуть улыбнулся:

— Да вот латка у меня на животе. Это разве правильно? А видишь, мать взяла и пришила, какой кусок нашелся, такой и пошел в дело. Разве это правильно — такую латку пришивать?

Семен Максимович глянул на сына. Алеша понял, что он ждет ответа.

— Это... конечно... неправильно.

— А вот мать у нас всю жизнь на кухне простояла, это разве правильно? Она была красивая, знаешь, умница женщина. Учиться хотела. Какая же тут правильность?

Он снова глянул на Алешу, но Алеша ничего не мог ответить, мысль о матери сильно его взволновала.

— А хату я себе строил. Не плохую хату. А чужую нужду не замечал. Себя спасаешь, себе лепишь, а на другого не смотришь. Это неправильно.

— Вот это, отец, здорово! Неправильная жизнь — нужно, чтобы человек злился...

— Люди, может, тысячу лет на это злятся. Только на кого смотря, и какой толк. Вот за латку на мать нельзя злиться. Она и то, бедная, когда эту латку пришивала, смотреть на нее было невозможно.

— На других, значит!

— Эх, другого не всегда найдешь! Привыкли — так и живут, а виноватого некогда искать было. Да и каждый старается утешиться чем-нибудь. Один хату построит, другой погоны нацепит — доволен. А злятся больше на своих, на близких: зачем с ним из одной миски лопают, за его ложку цепляют.

— Виноватого можно найти.

— Ха! Молодой ты еще, Алексей! Злой человек никогда виноватого не найдет. Гнева народ довольно потратил, да без толку. Один гнев не поможет. Если один гнев, так это не наше дело.

— Это чье — не наше?

— Не наше? Не рабочее, не пролетарское, как говорят.

— А какое — наше дело?

— Наше дело — разум. Гневайся, сколько хочешь, а главное — голова. Человеческий разум, если по-настоящему, он никакого гнева не знает впустую. А если гневаться по-разумному, то все равно выходит: разум на первом плане.

— Хорошо. А если терпения нету?

— А если терпения нету, ложись в больницу.

— Вот как?

— Вот так.

— Значит, люди должны всегда терпеть?

— Слушай хотя с терпением, не егози. Разум должен быть, понимаешь? Как это терпения нету? У кого нету терпения? У тебя? А нужно смотреть на весь народ. Да разве один наш народ. Скажем, наш человек рабочий и французский там или немецкий. На чем ты их можешь вместе сбить? Думаешь, на том, что у тебя терпения нету? На разуме можешь. Думаешь, Ленин для чего? Твои нервы лечить, что ли? Бомбы бросали в царей, а Ленин бросал? Говори, бросал?

— Не бросал.

— А другие бросали. Ленин умел терпеть, и он знает, когда что должно быть. Он сколько лет терпел, и народ с ним тоже.

— А злость?

— Вот заладил! Да если у тебя в голове порядок, злись себе сколько хочешь. Человек, если он без ума, — никакой ему цены нет.

— А кому цена?

— Народу цена, и всякому человеку цена, который с народом.

Семен Максимович кашлянул осторожно, внимательно пригляделся к пространствам парка, через который они проходили:

— Бывало. Народу тоже учиться приходится, и народ умнеет в свое время. Скажем, и теперь: без Ленина ничего не увидели бы. А пришли большевики, и Россия вся поумнела. Конечно, есть такие раззявы, что и большевики их не научат.

— А раньше?

— И раньше народ свое дело делал. Бывало лучше, бывало хуже, а все ж таки Россию сделали. Паны мешали да цари плохие, а все-таки и раньше было видно, кто с народом, а кто против народа, для себя только да для своей гордости.

— А разве гордость — это плохо?

— Отчего? Если у тебя в голове что-нибудь есть стоящее, гордись себе.

Алеша даже остановился. Семен Максимович улыбнулся:

— Чего испугался? Можно гордиться, если у тебя пятерка в кармане, только посчитай раньше, а может, там не хватает полтинника.

Семен Максимович вдруг просиял настоящей открытой улыбкой:

— Эх, молодой ты еще какой! Вот я тебе скажу: никогда не ищи гордости, она сама придет. А кто ищет, тот дурак, значит. Простой дурак, пустяковый.

Алеша радостно ухватил батька за плечи, затормошил:

— До чего ты хитрый, отец! А вот мне рассказывали: за исповедь отцу Иосифу ты рубль платил. Из гордости, говорят.

— Какая там гордость? Это не из гордости... Это так... насмешка просто.

— Хорошая насмешка: взял да и отдал целый рубль лохматому!

— Этот лохматый думает: вот я священник, народ поучаю, живу богато, а вы там темный народ, глупый. А тут и я его поучил: никого ты не поучаешь, просто мошенник, а кроме того, я тебе еще и милостыню подам, протягиваешь руку — на, я человек трудящийся. Он это хорошо понимает, поп. Это просто в насмешку. Гордости тут нет никакой. Если ты с народом идешь, тогда можно гордиться, и честь тогда у человека. А это просто насмешка!

Они уже выходили из парка. Впереди протянулась улица. Семен Максимович сказал:

— Туда нам нечего идти. Домой пойдем.

— Как домой? А ты в город собрался?

— Никуда я не собирался. Покупать там нечего, да и денег нет.

— А зачем же ты меня позвал?

— А я же сказал тебе... погулять. Поговорить нужно было.

— Ты что-нибудь хочешь сказать?

— Какой ты все-таки бестолковый, Алешка! Мы с тобой уже сколько наговорили!

— А ты... ты хотел... что-нибудь?

— Я тебе все сказал, все, что нужно, о чем ты спрашивал.

Семен Максимович снова рассмеялся, прищурился:

— А еще большевик! Смотри, растерялся как! Ну, идем домой.

До дому оставалось еще несколько хат, когда Семен Максимович остановился:

— Зайдем сюда.

Алеша не сразу поверил своим глазам. Они стояли перед хатой, в которой жила Нина. Семен Максимович не глядел на Алешу, а с самым обыкновенным, деловым видом толкнул калитку.

Дощатая, серая, некрашенная дверь над тремя ступеньками крылечка стремительно открылась. Нина быстро выбежала из хаты, простучала каблучками по ступенькам, радостная взяла руку Семена Максимовича:

— Семен Максимович! Неужели вы ко мне? Как вы хорошо придумали!

Она даже мгновенного взгляда не бросила на Алешу, все хлопотала вокруг Семена Максимовича, потом за руку потащила его к крыльцу. Семен Максимович ничем ей не отвечал, был сдержан, серьезен. Она втащила старика на крылечко и только тогда крикнула Алеше:

— Алешенька, идите, идите, чего вы загрустили?

Одной рукой она еще держалась за старика, а другую протянула к Алеше. Он пожал ее пальчики.

Нина жила в обыкновенной хате, на Костроме они все одинаковы: окна маленькие, на окнах в горшках цветы с шершавыми круглыми листьями, полы давно потеряли краску, а стены бугристые, неровные.

Но все-таки это была комната Нины. Значительную часть комнаты занимала никелированная кровать, покрытая чем-то воздушным, нежным, непонятым в своей сущности. Было два кресла, широких, мягких, гостеприимных. Туалетный столик блестел дорогим зеркалом, обрамленным затейливым полупрозрачным, полунебесным орнаментом, а перед зеркалом стояли остроумные, просвечивающие честностью и чистотой флакончики, коробки, баночки, безделушки. Это был тот особенный притягательный, блаженно-непонятный мир, в котором женственности, может быть, больше, чем у женщин.

Зато маленький столик, накрытый голубым листом бумаги, имел вид очень деловой: стопки книг, бумага, стаканчик с карандашами и костяной ножик, ручка которого изображала лапу орла, держащую агатовый шарик.

Семен Максимович оглядел всю эту девичью роскошь, поставил палку в угол. Не снимая пальто, сел у стола.

— Почему пальто не снимаете, Семен Максимович?

— Да, пожалуй, что и сниму. Только я в рабочем... это... костюме.

Алеша повел глазами на Нину, оба они хорошо знали, что этот рабочий костюм есть в то же время и самый парадный. Еще в прошлом году этот костюм надевался только по праздникам.

— Расскажите, Нина, как вы живете. Может быть, что-нибудь нужно...

Нина уселась против Семена Максимовича. Алеша утонул в кресле и оттуда мог любоваться и лицом Нины, и профилем отца.

— Расскажу, Семен Максимович, всю правду расскажу.

— Рассказывайте.

— Живу я так. Утром в городе. Вы знаете, очень много есть книг. Куда ни приду, никто мне не отказывает, все дают.

— Это кто же такие дают?

— К большим господам я не хожу. А разная интеллигенция: служащие, инженеры, учителя, врачи. Они стесняются мне отказывать. А часть я и купила — полные собрания. Муха дал немного денег. Потому что полные собрания никто не подарит.

— Какие это полные собрания?

— Купила я Льва Толстого, Гончарова, Белинского, Мельникова-Печерского, Гоголя. А больше никого, потому что денег мало.

— О книгах ваших я знаю, говорят у нас много. И читают уже, берут книги, тоже знаю. И работы у вас много: и записать нужно, и выдать. А вечером репетиции. Это я все знаю. А вот, как вы живете?

Нина посмотрела на кровать:

— Вот здесь живу. Только мало. Все некогда.

— Хозяйка вам готовит?

— Хозяйка.

— Так... А с отцом как?

Нина опустила голову, потом быстро глянула в глаза Семена Максимо-вича и снова опустила голову:

— С отцом? С отцом плохо, Семен Максимович.

— Рассчитались?

— Рассчитались.

Семен Максимович выпрямился на стуле, кашлянул:

— Не любите, что ли, отца?

— Как — не люблю? Люблю. Любила.

— А что же случилось?

— Не у меня случилось, а вообще. И у меня тоже... с этим... Троицким. А потом революция. Как-то все стало ясно. Я полюбила революцию, Семен Максимович.

— А отцу не нравится?

— Отцу с другой стороны понравилось. Не с той стороны. Он в эсеры записался. Собираются там у него... разные... говорят, вино пьют. А когда выпьют, еще больше говорят, даже плачут, знаете, Семен Максимович, до того отвратительно плачут! А я их насквозь вижу, Семен Максимович: они кокетничают, а на самом деле отец хочет купить дачу и какое-то там образцовое хозяйство устроить. Привели одного... помещика покупать у него имение. И по этому случаю тоже пили и говорили речи, и плакали, вы знаете? Образцовое хозяйство, говорят, для нашего народа очень нужно, для крестьян — агрономическая пропаганда!

— У вас брат офицер?

— Поручик, как же. Отец очень любит Бориса. Он сейчас где-то устроился... передвижение поездов, что ли. Приезжает на день, на два, но ко мне уже не заходит. Стесняется или отец не пускает.

— Значит, выходит, с отцом вы враги?

Нина покраснела, отвернулась к окну:

— Семен Максимович, я боюсь об этом думать. Я стараюсь, очень стараюсь, чтобы у меня не было ненависти к нему. Это нехорошо, правда? Я, наверное, эгоистка. Все думаю о себе. И не хочу думать, а оно все

думается. Иногда так кажется: зачем бросила отца, отцу можно кое-что и простить. А потом другое кажется. Отец или другой, а на первом месте должно быть уважение к себе. Даром себя нельзя уважать, правда? Нужно за что-нибудь уважать, правда?

Семен Максимович обернулся к сыну:

— Смотри, Алексей, как она правильно сказала, а ты еще путаешь. Вот это самое главное: за что себя уважать. У нас тут есть на Костроме человек один, так он себя больше всего за то уважает, что у него ставни голубой краской выкрашены. А бывают такие, которые калошами гордятся. Пока у него калош не было, человек скромный был, а как купил калоши, уже и шапку не снимает — гордится.

Нина удивленно следила за Семеном Максимовичем: вероятно, поражала его необыкновенная улыбка. Вдруг она положила руку на его блестящее колено:

— Семен Максимович, знаете что? А ведь мы с Алешей друг друга любим.

Алеша поднял руки к глазам; Нина, наклонившись вперед, смотрела на гостя, только щеки у нее разругались и глаза заблестели живее; Семен Максимович для порядка ухватил бороду, кивнул:

— Это я знаю.

— Знаете? — Нина еще ближе склонилась к нему. — И скажете что-нибудь, Семен Максимович?

— Не что-нибудь тебе скажу, а дело.

Нина закрыла глаза:

— Спасибо, Семен Максимович. За «ты» — спасибо.

— Не стоит. Ты его любишь, и он тебя любит, а только нужно немного подождать. Скоро будет другая жизнь и другие законы. Тогда вы по новому закону и поженитесь.

— Он меня только один раз поцеловал, и то насильно.

— Целоваться... ничего плохого нет, а только с поцелуев начнется, да так и забывается про другое. Такие идут дни, считайте, как раньше великий пост назывался. А любить... это хорошо, любите. Я так и буду считать, что вы его невеста. Благословлять, конечно не буду, а желаю вам счастья. Только знаешь, какого счастья? Такого, как ты говорила, с уважением.

Он двумя руками, темными прямыми пальцами взял Нину за щеки, улыбнулся в глаза:

— Ты хорошая девушка — душевная, и хорошо, что ты его полюбила. Он тоже славный парень, только у него все знаешь... жадность такая, ему все подавай, чтобы было ясно. А иногда нужно нахрапом брать, вот как у тебя вышло. Ну, идем обедать к нам.

Алеша поднялся с кресла, серьезный, вытянулся, опустил глаза. Семен Максимович иронически кивнул на него. Нина откинула прядь волос, упавшую на лоб, вздохнула счастливая:

— У вас заплата нехорошая, Семен Максимович: не в тон. Вот смотрите, какой у меня есть подходящий кусочек.

Она быстро присела у кровати и вытащила из-под нее желтую коробку, а из коробки сверток обрезков. Развязав сверток, она раскинула на ладони квадратный, темный кусочек материи. Семен Максимович строго посмотрел

на него, ничего не сказал, но Нина подбежала к его пальто, закрыла своим обрезком заплату:

— Как раз, смотрите, Семен Максимович. Я сейчас пришью, я очень быстро.

Она уже метнулась к какой-то коробке на туалетном столике, но Семен Максимович остановил ее:

— За латку эту спасибо. Латка подходящая. А только ты ее захвати с собой. Пускай дома мать пришьет, а то она на тебя обижаться будет: скажет, я сделала латку, а они там взяли и спорили. Она тоже к себе уважение имеет, мать-то...

— Я поклонюсь ей и попрошу разрешения.

Нина действительно чуть-чуть поклонилась Семену Максимовичу. Он поднес палец к усам, стрельнул глазами на Алешу. Очень уж хорошо и сказала, и поклонилась невеста его сына.

32

Генеральная репетиция «Ревизора» должна была начаться в восемь часов. За сценой, в библиотеке на диванах разложены были костюмы, днем привезенные из города. Нина, Таня и одна из учительниц, вооружившись иголками, что-то зашивали в костюмах и возмущались, в каком плохом состоянии они содержатся в городском театре. Алеша слушал девичий говор и удивлялся: как замечательно устроено в мире, как это прекрасно, что может жить, улыбаться, смотреть и говорить такая настоящая, глубокая прелесть, как Нина. И он радовался тому, что девятым валом пошла жизнь и принесла на Кострому эту девушку, принесла как будто из другого мира, но такую добрую, близкую, такую понятную. Он прислушивался к голосам Тани и других девушек. И у них все радостно, и у них есть много общего с Ниной. Это — достояние всех людей, и никакому Остробородько, никакому его богатству он не обязан благодарностью.

Алеша начал примерять к своим сапогам легкие, клеенчатые краги для костюма городничего. Он невольно улыбнулся их бутафорскому великолепию, их растрескавшемуся блеску. Ничего, со сцены все это покажется настоящим.

— Алеша, вы примеряли ваш мундир?

Нина с мундиром в руках подошла к нему. Алеша поднял к ней глаза и спросил серьезно:

— Нина, скажите, мы отняли вас? Или свое взяли? Возвратили свое?

Нина лукаво оглянулась, наклонилась к нему:

— Ничего вы не отняли, ничего не возвратили. Не воображайте, пожалуйста! Я сама возвратилась. Пришла домой. Бывают такие случаи, когда человек приходит к себе домой? Бывают? А дома всегда лучше.

Дверь не открылась, а взорвалась. Степан влетел в комнату и заорал:

— Алешка! Алешка, скорее! Батько и Муха приказали срочно!

— Что случилось?

Степан смотрел вылезавшими из орбит глазами, все лицо его изображало высшую степень оторопелого возбуждения, такого возбуждения, с которым человек справиться не может. Девушки рассмеялись:

— Что с вами, Степан Иванович? Примерьте ваш кафтан.

— Холуя? — закричал Степан, и это слово как будто выхватило клапан из его души. Он задрал вверх кулаки, растянул рот и высоко подпрыгнул. Хлопнул об пол валенками, еще раз подпрыгнул, перевернулся в воздухе и заорал Алеше в лицо:

— Ленин... большевики... Керенского выгнали!!

Проделав еще какое-то сложное антраша, он, словно по воздуху, вылетел в дверь. Алеша только на секунду остановил дыхание и — бросился за ним. Учительница закричала вдогонку:

— Краги! Алексей Семенович! Куда же вы в крагах?!

33

У Тепловых негде было повернуться, ни в кухне, ни в чистой комнате. Здесь был весь заводской комитет. У Мухи вздрагивала в руке бумажка, он все заглядывал в нее, и другие заглядывали со всех сторон. Эту бумажку Муха сразу протянул Алеше, как только тот вбежал: есть еще один человек, которому он может сообщить радостное известие. Алеша с захлебывающейся жадностью набросился на текст телеграммы и пытался охватить его одним взглядом, но слова мелькали в глазах и пугали воображение отрывочным и тревожным содержанием: «разоружить», «войсками». Он встряхнул головой и начал читать медленно, вслух:

«Вчера временное правительство Керенского в Петрограде низложено петроградскими рабочими и солдатами заняты государственные учреждения вокзалы Зимний дворец тчк Предлагаем немедленно осуществить организовать ревком обладающий всей властью реквизировать для вооружения Красной гвардии частное оружие подчинить себе милицию если она не надежна разоружить установить тесную связь с войсками организовать охрану телеграфа телефона вокзала тчк Выезжает первым поездом уполномоченный губкома Богатырчук

Губернский Комитет большевиков».

Пока Алеша читал, все стояли неподвижно вокруг него, слушая телеграмму, вероятно, в десятый раз; далеко в дверях виден был нос капитана.

Алеша еще раз пробежал телеграмму, потер лоб, начал искать глазами отца. Он нашел его на диване. Старик сидел вытянувшись, аккуратно сложил руки на коленях и чуть-чуть улыбался. Такую улыбку он обыкновенно прикрывал своим пальцем, редко кому ее удавалось видеть. Улыбались и его глаза, по-детски щурились; немного вздрагивали ресницы. Проследив за его взглядом, Алеша увидел старого Котлярова. Он сидел с другой стороны комнаты, против отца, и смотрел на него такими же веселыми глазами, усы у него сами ходили и играли пушистыми кончиками.

Алеша перевел дух и спросил у Мухи:

— А как это... как телеграмма получена?

— А ты посмотри на адрес. Богатырчук не дурак. Он телеграмму дает Совету, а нашему заводскому комитету копию. Э! Богатырчук не дурак!

Семен Максимович обернулся к ним и сказал, сохраняя на лице все ту же обрадованную хитроватость:

— Ну, кум, давай за дело приниматься.

34

Богатырчук приехал ночью. Алеша встретил его на вокзале. Богатырчук забыл пожать ему руку, потому что спешил получить ответ на вопрос чрезвычайно острый, хотя и выраженный в одном слове:

— Знаете?

— Да телеграмму ж получили.

— Получили? Ну, что?

Алеша рассказал ему о принятых мерах. Телеграф, телефон, вокзал, почта, банк заняты патрулями первой роты и Красной гвардии. На милицию можно положиться — свои люди. В городе никаких врагов быть не может. Сейчас собираемся захватить оружие в реальном училище, там винчестеры откуда-то и патроны есть.

Карманы Сергея были переполнены газетами. Он даже в парке, в его крошечной темноте, вытаскивал из кармана газету и пытался показывать какую-нибудь статью. Перед самым переворотом он был один день в Петрограде, но впечатления этой поездки у него не способны были выразиться в связном рассказе, он только хвалился:

— Ух, я тебе и расскажу! Вот постой, я тебе расскажу!

В заводском комитете было темно от табачного дыма. Два взвода Красной гвардии готовы были выступить в город.

На Костроме стояла тихая осенняя ночь. Это было время, когда в природе закончился длинный и тяжелый период болезни, и сейчас она, усталая, ожидала, когда небо набросает на нее белое одеяло, чтобы она могла спокойно заснуть до весеннего здоровья.

В прохладном воздухе ощущались какие-то соседние морозы, может быть, морозы сейчас стояли в Петрограде, где Ленин и большевики так чудесно начали новую историю.

В три часа взводы Красной гвардии выступили в город. Впереди шли Муха, Семен Максимович, Криворотченко, еще несколько человек из комитета. Все они тоже были с винтовками, только Семен Максимович не изменил себе. Он шагал такой же размеренной и аккуратной походкой, и так же, по-деловому спокойно, переставлял свою суковатую палку, так же не оглядывался по сторонам. Алеша и Богатырчук шли сбоку, ряды отряда то отставали, то обгоняли их — то пухлый и широкий старый Котляров основательно ставил в песок тяжелые ноги, то Павел Варавва, туго перетянутый поясом, сверкал в темноте глазами, то Степан щеголял армейской выправкой. В последних рядах шли без оружия. Маруся пользовалась каждым случаем, чтобы пожаловаться:

— Товарищ Теплов, что же это такое, прости господи. Все люди как люди, а мы с пустыми руками.

— Маруся, да потерпи ты: идем же за оружием. Ты же знаешь?

— Ой, скорее бы уже прийти! Как долго идем!

При входе в парк догнали Алешу задыхающиеся шаги — человек

бежал долго. Алеша оглянулся: силуэт был знакомый, взлохмаченный, над плечом торчало широкое дуло двустволки.

— Алексей, достал! Охотник знакомый, Ухов, все не давал, не давал. И сегодня еще покуражился, а потом говорит: на, для такого дела не жалко!

— Иван Васильевич, вот молодец! А патроны у тебя?

— Десять штук волчьей дробью. Волчья поможет, как ты думаешь? Особенно если в голову.

Алеша сжал руку Сергея:

— Сразу и вопрос. По международным правилам, пожалуй, волчья дробь не допускается. А в этом случае, думаю, можно.

Богатырчук ответил:

— Волчья как раз в точку.

— Иван Васильевич, ты уж пока — с волчьей, а скоро мы тебе — винчестер.

Они прошли вперед, где Николай Котляров нес знамя, точно соблюдая уставное положение для полкового знаменщика. Знамя было небольшое, не пышное, не бархатное, и на нем была написана только одна строчка:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Груздев шагал рядом со знаменем.

— Кто это? — спросил Богатырчук. — Подкрепление-то.

— А это мой крестный батько.

— Крестил тебя?

— Крестил. На улице возле госпиталя.

Богатырчук расхохотался на весь парк:

— Это был интересный случай. Воображаю твою физиономию тогда!

— Физиономия была расстроенная, вероятно. Сергей, расскажи все-таки про Питер.

Полушепотом, взявши Алешу под руку, Богатырчук рассказал ему о том, чего и сам хорошо не знал. В Петрограде он видел много, но еще больше слышал, и не все дошло к нему в точном виде. У Богатырчука перемешались вместе: впечатления, разговоры, прочитанные статьи, статьи непрочитанные. Но у него был хороший и ясный ум, и он умел уловить запах предательства, трусости, хитрой и увертливой дипломатии, умел разобрать далекое эхо ленинского гнева.

— Вокруг Ленина стоят замечательные люди, таких людей никогда еще не было в России. Ты понимаешь, Алексей, какая это сила? А только там есть и... человечки; ой, какие человечки! Ты не думай, что Ленин вот скомандовал — взяли и пошли. Ему страшно трудно, потому что кругом него, пожалуйста, врагов и просто... этих... человечков, сколько хочешь!

— Ты видел Ленина?

— Не видел, понимаешь, нельзя. Но я человек двадцать расспросил и всё хорошо представляю, как будто видел. Все в одно рассказывают.

— Какой же он?

— Невысокого роста, скуластый, светлый, бородка такая. Лицо, мимика очень замечательные, энергичные. Чуть-чуть картавит. Чем берет? Говорят, всем. Ничем не берет, говорят, сам идешь.

Богатырчук задумался:

— Я не могу, конечно, как следует его представить. Ленин видит весь

мир, самую его середку знает, подноготную. Ты понимаешь, какая это сила?

В темноте было видно, как тяжелый, добродушно-массивный Сергей застенчиво улыбался: ему было стыдно, что он так невыразительно говорит о Ленине. Он замолчал, потом продолжал, улыбаясь:

— Ты знаешь, я все стараюсь и стараюсь, а пороху у меня не хватает, чтоб понять Ленина. Там люди совсем особенные. Легко сказать: вот мы с тобой идем, идут рабочие люди, видишь, с винтовками. А сколько городов в России, сколько сел, деревень! И везде сейчас идут, вот так идут... да! А они нас видят, они видят, знают. Разве легко так много видеть?

— Кто это они?

— Ленин. Ленин и его товарищи. Думаешь, они сейчас твоего батька не видят? Видят. И знают, о чем он думает. И тебя видят. И всех врагов видят. Ты понимаешь? Насквозь, всё нутро! А мы с тобой, бывает, и под носом ничего не разбираем. Ты сказал вечером: тут драться не с кем. А они уже знают, с кем нам придется драться.

Алеша поднял глаза к прохладному небу, и оно показалось глубоким и прозрачным, а за его простором, на конце тысячеверстного пространства, он увидел лицо Ленина, скуластое, живое, только глаза у него почему-то черные, всевидящие, улыбающиеся и мудрые. Вдруг с удивлением Алеша почувствовал, как физически горячо стало у него в груди, как в глазах налились тонкие теплые слезы. Он захотел оглянуться, чтобы увидеть Нину, но встретил в темноте горячие и обиженные глаза Маруси, — не могла Маруся простить, что в такую ночь она идет вперед без оружия.

Шли уже по улице. Город начинал просыпаться. У ворот кое-где копошились дворники, у домов пробегали женщины с кошелками, останавливались, удивленно смотрели на отряд Красной гвардии, поправляли платки и бежали дальше.

Ломовик, гремя колесами, тяжело продвигался навстречу, и от него несло обыденщиной. На углу двух улиц ходил милиционер с винтовкой — юноша в каком-то форменном пальто.

Алеша поспешил вперед, пошел рядом с Мухой и отцом:

— Как с милицией?

Муха блеснул зубами:

— Какая там у нас милиция? Пускай стоит.

Семен Максимович даже не посмотрел на милиционера.

35

На главной улице — широкий двор реального училища, огороженный фасонной решеткой с каменными столбами.

Новенькие изящные винчестеры перешли на плечи красногвардейцев через полчаса. В зданиях реального училища жили люди. Они не привыкли вставать так рано, они вылезли из дальних квартир и комнат, еще покрытые приятным сонным пухом. Очень возможно, что отряд Красной гвардии во дворе показался им продолжением сна или неожиданным его неприятным изломом. Но действительность так властно нарушила сон, что никто не сопротивлялся и никто не спорил. Люди официального чиновничьего

склада — директора, инспектора, заведующие материальной частью, у которых из-за воротников форменных тужурок торчали сегодня простодушные запонки, и еще люди с военной выправкой без споров отдали ключи, показали лестницы и входы, подвалы, пирамидки и ящики.

У Маруси и у Вари появились за плечами винчестеры, в отряде не осталось безоружных, а у Ивана Васильевича Груздева винчестер мирно подружился с толстенной добродушной двустволкой.

В реальном училище как будто ничего особенного не произошло. Отряд ушел дальше, куда ему нужно, хозяева снова залезли в свои квартирники и комнаты, — конечно, без надежды заснуть, но с полной возможностью поговорить и осудить насильнические действия рабочих. Школьный двор остался таким же просторным и пустым. В некоторых коридорах училища у дверей стали люди в пиджаках и пальто, подпоясанные ремнями, в старых шапках и картузах, в руках у них были винтовки.

36

В помещении Совета на перекрестке двух улиц было людно, шумно и бестолково. Несмотря на холодный день, все окна в здании были открыты настежь, по комнатам бродили люди, заложивши руки в карманы пальто, курили без памяти и все выглядывали в окна. Богомол перебегал из комнаты в комнату с таким видом, как будто он лихорадочно ищет нужного человека и никак найти не может, а все остальные люди не только ему не нужны, но даже раздражают. Наконец, он напал на молодого человека, сидящего рядом с его кабинетом:

— Я ничего не понимаю. Где же пленум?

Молодой человек, нахально забывая о своей молодости, посмотрел на Богомола прищуренными глазами:

— Какой там пленум, товарищ Богомол?

— А что за люди ходят?

— Какие там люди? — сказал молодой человек.

— Люди... разные люди... Ходят здесь... везде ходят...

— И будут ходить. А что вы сделаете?

Сказав эти слова, молодой человек даже наклонился вперед, так он заинтересовался вопросом, что Богомол может предпринять против хождения людей. Богомол зябко пожал плечами и ничего не ответил. Молодой человек с торжеством оторвался от председателя, стукнул ящиком стола, двинул презрительно плечами:

— Как вам угодно, а я уйду.

Он с мужественной решительностью подошел к вешалке и начал гневно надевать пальто:

— Пусть попробуют, большевики! Большевики!

Молодой человек показал на город.

Богомол тупо наблюдал за гневными движениями молодого человека и, когда тот ринулся в дверь, слабо застонал:

— Как же так? Товарищ Соколов? И вы уходите?

— А вы хотите умереть на посту?

— Да что вы? Почему умереть?

— Я — в переносном смысле. Все равно: в России наступает анархия!

Он вдруг прислушался и подбежал к окну:

— Пожалуйста! С музыкой!

В окно, как тонкий запах, проникали далекие звуки марша. Соколов с умным сарказмом посмотрел на Богомола:

— Это они идут приветствовать... Совет! Советскую власть!

Он сардонически рассмеялся в лицо Богомолу и выбежал.

Как подстреленный заяц, Богомол закричал ему вдогонку пискливым голосом:

— Послушайте!

Дверь за Соколовым ударила громко, отскочила, открылась в коридор. В комнату влезли глухие звуки шагов, говор, запах махорки. Богомол страдальчески наморщил лоб, но двери не закрыл. Опустив голову, он прошел в большой кабинет рядом и сел на диван. Когда военный марш наплывом покотился в окно, Богомол поднял глаза к потолку. Очень возможно, что в этот момент он был похож на христианского мученика, на которого из железной клетки выпустили рыкающего льва. А может быть, и не был похож. Но к окну он не подошел и, что происходило на улице, не видел.

В коридоре новые шаги застучали весело, шумно, торопливо.

Муха в дверях сказал бодро:

— Эге! Вот и председатель! Что же ты тут один сидишь?

Богомол с суровой усталостью поднялся с дивана, подошел к столу, поднял глаза. Перед ним стояли люди, которых он считал дикими, малоразвитыми, слепыми и темными. Они могли быть хорошими объектами для управления или для революционной заботы. А сейчас они ворвались в его комнату, стояли в дверях веселой группой. В окно вливался неприятный, неразборчивый, говорливый шум человеческой толпы.

Он грустно улыбнулся Мухе:

— Что же, ваша сила, товарищи большевики!

— А ты думаешь, сила — это плохое дело? Это очень хорошее дело. Открываем пленум?

— Пленум не собрался.

— Как это не собрался? Сейчас начнем.

Богомол обвел глазами вокруг и понял, что пленум имеется. Он вдруг узнал в тех самых людях, которые до сих пор бродили по комнатам, членов пленума, во всяком случае, некоторые лица показались ему знакомыми. Его кабинет и комната секретаря были заполнены людьми, у иных за плечами торчали винтовки. Все эти люди, впрочем, мало интересовались Богомоллом. Они входили в комнату, и сразу же возникали кружки и группы с отдельными центрами. Люди шутили, убеждали друг друга, смеялись, подходили к окнам и переговаривались с улицей. Вокруг Семена Максимо-вича собрались старики с обкуренными, хитрыми усами, с ироническими складками у носа. Семен Максимович что-то сказал быстрое, короткое, провел пальцем по усам, его окружение захохотало. Старый Котляров покрыл хохот сочным басом:

— А они думали: шмаровозы!

Богомолу страшно захотелось узнать, что такое сказал Семен Максимо-

вич, но не пришлось узнать. В комнату вошел высокий, могучий человек, в разные стороны повернул молодое сильное лицо и спросил:

— Где же этот самый Богомол? Ага! Ну, что же, поздравляю: вся власть Советам! Вся власть в ваших руках, товарищ председатель Совета!

Богомол устало улыбнулся не столько губами, сколько мешками под глазами на сером лице, проямлил:

— Да. Вы из губернии?

— Из губернии.

Богомол не удержался, скривил рот:

— Большевики-то... энергию какую...

— Я — уполномоченный губернского Совета.

Богомол сказал с отвращением:

— Уже... успели?

Богатырчук вlepился в его лицо веселым доверчивым взглядом и отвечал радостно:

— Успели!

37

Пленум собирался. Даже эсеры и меньшевики вылезли из щелей, в которые они попрятались в первый момент. Они улыбались несколько ехидно и опускали глаза, давая понять единомышленникам, что им стыдно наблюдать происходящее безобразие. И Петр Павлович Остробородько по привычке появился в «кулуарах», тыкался любопытной богодкой в ту или иную группу, осудительно прищуривал глаза и с очень немногими разговаривал, энергично, с жестами и с быстрой-быстрой оглядкой. Богатырчук, продвигаясь по коридору, услышал такие даже слова Петра Павловича:

— Нет. Вечером мы собираем городскую управу, обсудим момент...

Хоть и могуча шея у Богатырчука и не способна к юрким поворотам, а Сергей все-таки скрутил ее настоящим жгутом и увидел Петра Павловича, да так и пошел дальше с оскаленными зубами.

— Чего ты? — спросил его кто-то встречный.

— Чудака одного увидел. Люблю чудаков.

Сергей вышел на улицу, с высокого крыльца посмотрел, что делается. Ему захотелось громко засмеяться и сказать:

— Эх! Милая провинция!

В этом городе все происходило по-своему. Главная улица, расширяющаяся в этом месте, наполнена была народом, в народе уже образовалось широкое круговое течение. Плакаты и знамена прислонили к стенам домов, а оживленные ряды людей не спеша двигались друг за другом. Движение это захватывало и тротуары, линии акаций не усложняли его, а только рассекали. Движение уходило далеко вправо и влево, заливало поперечную улицу, путалось в сквере. Похоже было на то, что все люди сейчас не только знакомы, но и дружны. Солдаты первой роты и красногвардейцы потерялись в массе, только изредка можно было видеть дула винтовок. Основную массу составляли обыкновенные мирные люди, ничем не вооруженные, улыбающиеся домашней простой улыбкой, зубоскалящие, веселые. Богатырчуку показалось, что сейчас на улице происходит

соединение чего-то страшно знакомого и чего-то совершенно необычного, незнакомого. Сергей еще раз окинул улицу взглядом: что именно здесь необычно? Знаком был и весь город, и давно был хорошо изучен этот центральный перекресток, где большой мануфактурный магазин Хоречко, самый модный галантерейный Полера и где старое здание дворянского собрания, по мнению местного журналиста, похожее на коленопреклоненного богатыря. Здесь знакомы каждая плита тротуара и крона каждой акации. И люди на улице как будто все знакомы, трудно не узнать их с первого взгляда: это — рабочие с лесопилки, эти, измазанные, — с лесной пристани, это — девушки с табачной фабрики. На тротуарах — целые гирлянды приказчиков, железнодорожников. Кострома перетасована с городскими девушками и приятелями. Как всегда, она — шумная, говорливая и худаа. Богатырчук просиял: не только она, на улице вообще не видно ни одного толстяка. Может, в этом и заключается необычное?

Сергей растянул рот: действительно, ни одного толстяка! И вдруг он увидел родное: взявшись за руки, маршировало несколько рядов. Они пели особенно приятно и значительно: негромко, но очень стройно, стараясь петь хорошо, от удовольствия покачивали головами в такт шагам и песне и поглядывали друг на друга с улыбкой:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой...

Богатырчук спрыгнул с крыльца и закричал:

— Милые мои костромичи! Какие же вы красивые!

А и в самом деле, все они были хороши: и смуглый Павел с винчестером за плечами, и Митька Афанасьев, и Оноприй, и Восковой, и Гаврилов, и в новеньких ремнях большеглазый Алеша, и Таня Котлярова, и другие девушки, и Маруся, и молоденькая учительница, и Степан Колдунов, и еще многие — то однокашники Сергея, то просто друзья. Нина Остробородько в своей прекрасной жакетке, в голубом шарфе на голове, шла опустив глаза и не пела, — очевидно, слушать для нее было важнее и приятнее. Все они, услышав возглас Сергея, скосили на него смеющиеся лица, но с нарочитым задором продолжали марш и еще стройнее несли песню:

Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой!

Богатырчук засмеялся и побежал рядом с ними. Они вдруг бросили марш, прекратили песню, окружили его. Алеша сказал:

— Пой с нами, крошка!

Павел Варавва что-то галдел ему в глаза, но и другие галдели и смеялись. Алеша обхватил его руками, попробовал поднять, беспомощно запрыгал в изнеможении. Это всем понравилось, завозились все вокруг Сергея, пыхтели, покрикивали, делали вид, что поднять Богатырчука невозможно. Все это представление очень понравилось девушкам, они смеялись до беспомысленности. Сергей, наконец, «разозлился», сам поднял в воздух Алешу, все остальные в той же издевательской беспомощности бросились в стороны. Богатырчук поставил Алешу на мостовую, ласково одернул его шинель и спросил недоуменно:

— Да, Алеша! Я смотрел-смотрел! Нет, понимаешь, ни одного толстяка!

— Нет толстяков? А в самом деле?

Алеша оглянулся по улице:

— А и в самом деле! Степан! Где это толстяки подевались?

— Толстяки? А им здесь пива не варили — они дома сидят.

— А знаете? — Павел расширил глаза. — И реалистов нет! И вообще... чистой публики!

Чистой публики было действительно мало, разве девушки-учительницы да несколько франтоватых приказчиков нарушали это общее впечатление.

Степан торжествовал:

— Во! Один народ! Товарищ Нина, ты обрати серьезное внимание! Один тебе народ, без всякой порчи!

Нина подошла к Степану, тронула пальцем его шинельную грудь:

— Степан Иванович! А я... тоже народ?

— Ты? Да ты самый первый народ! Ты, Нина, брось при это даже и думать! Как же это так можно — равнять себя с разной сволочью, которая сейчас под кровати залезла, а начнем вытаскивать, так она еще и плакать будет?

Нина о чем-то вспомнила, улыбнулась Степану благодарно и вздохнула.

38

Потом начался пленум, начался прямо на балконе, как никогда еще не начинался. Никто не стал считать голосов и поднятых рук, и у всех была одна душевная радость. И на балконе, и внизу на многотысячной улице, и в словах большевиков, и в приглушенных вздохах солдат первой роты, и в девичьих внимательных глазах, и в изломанных морщинах стариков, и в улыбке Алеша была одна мысль о всем народе, о проснувшейся России, и перед каждым воображением здесь, в этом городе, стоял далекий и родной Петроград, и в нем — победоносная воля и творящий разум Ленина. А в конце митинга ворвался на балкон Муха, толкнул оратора, сунул бумажку в руку Богатырчуку, и перед всем народом Богатырчук рассмеялся, как дитя, и не мог уже остановить радости в голосе, когда читал громко декреты о земле и о мире. Штыки над шапками солдат заволновались тоже, и самые плечи расправились, и запахнулись шинели. Степан рядом с Алешей подбросил плечом винтовку, рот открыл, двинулся вперед на соседа, сказал хрипло:

— Закон, Алексей! Слышишь, новый закон?

Наверное, он плохо расслышал: столкнулся с соседом башкой, заговорил, бросился назад, ухватил Алешу за рукав:

— Мир объявили! Слышишь, Алеша, мир с немцами!

— Да слышу. Чего ты танцуешь?

— Да разве так слушают? Стоишь, как статуя!

Алеша командирским взглядом смерил Степана:

— А как нужно стоять? Первый наш закон! Стоять смирно нужно, а ты егозишь, как на ярмарке!

— Не выходит смирно, Алешка! — Степан облапил его одной рукой, на них кругом зашикали, потом оглянулись, потом засмеялись, всем была

известна крепкая дружба этих двух людей, и всем было приятно видеть их дружеское торжество.

После митинга Алешу и Насаду пригласили на заседание только что организованного ревкома. Советская власть в городе сделала первые шаги.

На улицах долго еще былолюдно и шумно. Даже и дыхание первых соседних морозов как будто смутилось: к вечеру стало тепло и душисто, ласковый воздух остановился под звездным небом.

На улице у парка еще не зажигались фонари, по дороге домой люди сумерничали — разговаривали тихо, а громко только смеялись и перекрикивались между группами. На Кострому возвращались уставшими от событий, предвкушая, как дома будут рассказывать о Петрограде, о мире и о земле. Казалось людям, что за парком еще живут по-старому и еще не хорошо знают, как нужно жить с сегодняшнего дня.

И как раз с Костромы, навстречу возвращавшимся потокам людей, из мрачного молчания парка начала просачиваться тревога. Сначала трудно было разобрать, откуда она идет.

Кто-то впереди что-то услышал, кто-то встречный кому-то шепнул.

В отдельных группах родились слова:

— Да не может быть!

— Давно стоят?

— А почему в городе не знают?

После митинга Красная гвардия разделилась на части, и у каждой было свое дело.

Небольшие группы остались в городе для охраны отдельных пунктов.

Алеша стоял на высоком ампирном крыльце отделения Государственного банка и смотрел на проходящую внизу публику. Он только что помирил свой красногвардейский патруль с нарядом милиции. Милиционеры очень обижались, что не доверяют им одним охрану банка, кричали:

— А мы кто, по-вашему? Мы меньшевики, по-вашему?

Начальником караула оставался старый Котляров, и его медвежья добрая хватка помогла успокоить милиционеров.

— Чего вы ерепенитесь? — сказал Котляров. — В такую ночь нужно всегда в компании! Как на пасху! Весь народ вместе. Часовые пускай себе стоят, а мы поговорим, чайку поьем, вы нам расскажете, мы вам расскажем.

Не везде в караулах, расставленных в городе, были такие ладные начальники. Алеша решил еще раз обойти и проверить, все ли там благополучно. В два часа ночи его должен был сменить Павел Варавва. Полчаса тому назад он отправился на Кострому вместе с Ниной и Таней.

Алеша стоял на высоком крыльце и, по привычке опытного дежурного по караулам, стягивал пояс на одну дырочку. Вспоминал с некоторым волнением, как после митинга из здания Совета вышел Петр Павлович Остробородько и, словно из засады, подошел к побледневшей Нине. Он пожевал перед ней дрожащими губами и, наконец, сказал раздельно:

— Че-пу-ха! Демагогия! Бед-лам!

Нина не ответила ему. Петр Павлович покосился на Алешу, повернулся, забыл, что перед ним только что была его дочь, и побрел сквозь толпу. Нина проводила его взглядом, взяла Алешу под руку, молча прижалась к его плечу.

— Ничего, Нина. Почудит старик и перестанет.

Алеша сейчас вспоминал, как по-детски Нина потерлась подбородком о воротник жакета и прошептала:

— Нет, он не перестанет.

Алеша думал о том, перестанут топорщиться такие чудачки, как Остробородько, или не перестанут. Думал и смотрел на тротуар вниз. И на тротуаре узнал знакомый блеск выразительных глаз Павла Вараввы. Не могло быть сомнений: что-то случилось.

— Алеша, ты здесь?

— Что такое?

— Нехорошо. Смазчик Ворона приехал с товарным. На колотилровке стоит Прянский полк.

Алеша схватил Павла за борт пальто:

— Что? Прянский полк?

— Да. Говорит Ворона, второй день стоит.

— Да врешь! Прянский полк на Румынском фронте.

— Алеша! Я же сам не был на Колотилровке! Ворона рассказывает. Я его пять минут за воротник держал. Говорит, хорошо разобрал: Прянский полк стоит. С офицерами, две пушки!

— Почему стоит?

— Боится в город идти. Большевиков боится.

— Большевиков боится? Черт! Да что... целый полк?

— Ворона в этом не разбирается, где там полк, а где дивизия. Говорит, один большой эшелон. И паровоз держат.

— Где же этот Ворона? Почему ты его не привел?

— Ведут. Твой Степан его тащит. Выпросился у меня жене сказать. А я вперед побежал.

Алеша быстро, чуть пошатываясь влево, сбежал с крыльца. Вспомнил, что палка осталась в караулке банка, но было уже некогда:

— Скорее! Хорошо, если они еще в ревкоме.

39

В ревкоме еще заседали, когда пришли Алеша и Павел. Муха поднял глаза на вошедших:

— Что у вас случилось?

Варавва заволновался, замотал правой рукой:

— Какая-то история, черт его знает! Прянский полк на Колотилровке. С полком офицеры.

— Прянский полк? С фронта? Чего?

— Сейчас Ворона придет, смазчик. Он был на Колотилровке.

Муха посмотрел на Богомола:

— Ты знаешь что-нибудь? Почему Прянский полк?

Посмотрели и другие. Насада мрачно глянул красивыми глазами, поднялся за столом:

— По глазам вижу, знает.

Богатырчук хлопнул ладонью:

— Да что за история? Вызывали, что ли, полк с фронта? Или как? Для чего здесь полк?

Черноусый Савчук, машинист с лесопильного завода, сказал негромко:

— Да может, сплетни?

— Знает! Богомол знает! Говори, чего же ты молчишь?

Богомол серел еще больше под общими взглядами, напрягал скулы и потел, пот заливал его глаза:

— Ничего определенного не знаю, товарищи.

— А неопределенное?

— Ходили слухи, письма кто-то получил, говорили, что Прянский полк снялся с резервной позиции. Просто не верили.

Стало тихо. В тишине поднялся за столом Семен Максимович, внимательно осмотрел лицо Богомола, сказал строго:

— Нечего слова тратить, Богомола арестовать, удалить. Где Ворона?

Оглянулись на дверь, и в дверях увидели Ворону и Степана. Ворона, маленький, нечесаный, в длинном сюртуке смазчика, тяжело дышал, со страхом приковался взглядом к сердитому лицу Семена Максимовича.

Богатырчук загремел стулом, передернул слева направо свой пояс на синей рубашке:

— Иди, Богомол. Алеша, поддержи его в караулке.

Богомол вытирал платком потное лицо. Его волосы тяжелыми неряшливыми прядками торчали над ушами. Алеша выжидательно остановился у дверей. Богомол вышел из-за стола, остановился, задумался, платок забыл спрятать. Потом как будто опомнился, протянул руку с платком к Богатырчуку:

— Да что вы, товарищи?

Алеша открыл перед ним дверь, Ворона отскочил в сторону. Степан вытер рукавом усы, но ничего не сказал. Шатаясь, Богомол вышел в коридор, за ним вышел и Алеша.

Прошли на лестнице первый поворот. Им навстречу подымался скучный слабенький старичок, широко ставил ноги на ступени, покашливал:

— Кому теперь здесь?

— А что?

— С телеграфа.

Телеграмма была адресована председателю Совета.

— Давай.

Алеша расписался в книге. Старичок сказал:

— Вот спасибо. Трудно по лестницам ходить-то.

Богомол терпеливо ждал на повороте лестницы. Старичок, так же широко расставляя ноги, отправился вниз. Алеша еще раз глянул на адрес. Там было написано: «Из Колотиловки».

Он крикнул строго Богомолу:

— Назад!

Богомол испуганно полез кверху.

— Да скорее!— крикнул Алеша и с досадой оглянулся: арестант все орудовал своим платком. Алеша подбежал к дверям, открыл, Богомол дернулся вперед, как под кнутом.

— Чего это?— Богатырчук смотрел на Алешу. Алеша протянул ему телеграмму.

Богатырчук вскрикнул:

— Из Колотиловки?!

Все вскочили, кроме Семена Максимовича, затихли, вытянув шеи. Кто-то шепнул:

— А Богомол?

Семен Максимович ответил негромко:

— Пусть послушает.

«Председателю Совета Рабочих Депутатов Прянский полк вступает город завтра двенадцать часов тчк Немедленно сообщите готовность казарм довольствия тчк Красной гвардии сдать оружие коменданту станции тчк Исполнение телеграфъте немедленно срочно выезжайте Колотиловку

Полковник Бессонов».

Богатырчук опустил руку с телеграммой и оглядел присутствующих. Семен Максимович по-прежнему сидел у стола. Все почему-то смотрели на него.

— Ничего,— сказал Семен Максимович и потянул бороду книзу, еще раз потянул, поднял другую руку, расправил бороду и волосы пригладил,— ничего, это чепуха.

Степан закричал:

— Верно говоришь, отец!

Муха всполошился:

— Как — верно? Семен Максимович! Полк ведь! Куда мы годимся? И явная контрреволюция. Сколько офицеров, говоришь?

Ворона ответил:

— Девять офицеров, это я хорошо посчитал.

— Видишь?

Семен Максимович через плечо посмотрел на Муху:

— Григорий! Стыдно говорить: девять! Ну так что? Смотри: один, два, три...

Он пересчитал девять пальцев, показал их Мухе и одним из них тут же провел по усам.

И всем вдруг стало весело. Степан еще громче закричал:

— Вот спасибо, папаша!

Семен Максимович строго посмотрел на Степана и перевел тот же строгий взгляд на Богомола:

— А по депеше видно, сговорились с полковником!

Богомол передернул губами и повернулся к Семену Максимовичу боком.

— Убери его! Алексей, заснул?

Алеша посмотрел на отца с укором, для него было дорого каждое слово, сказанное в этой комнате. Но укор не произвел никакого впечатления, и Алеша со злостью решил наверстать на быстроте выполнения. Он довольно грубо толкнул Богомола в плечо и с радостью увидел, что приобретенная благодаря этому толчку скорость Богомола совершенно удовлетворительна: ему пришлось даже догонять Богомола в коридоре.

Кажется, Алеша ничего не потерял. Когда он возвратился, Муха настаивал на своем:

— Сергей, как это можно? Требуют сдачи оружия! Как же можно пустить их в город? Надо встретить.

Насада отставил цыгарку подальше от глаз, и все-таки дым попадал в глаза, он часто моргал и недовольно кривил губы:

— Если там полк, да еще пушки, да еще пулеметы, безусловно, десяток, нам не с чем встретить в поле. Семен Максимович верно говорит.

Муха горячился:

— Как это — верно? А я предлагаю: идти на Колотиловку, разобрать пути, драться! Сражаться!

Семен Максимович сейчас был в самом хорошем настроении:

— Сражаться! Какой ты Суворов! Тебе обязательно — сражение!

— А что делать?

— Да всякий разумный человек скажет, что делать.

— Так я говорю, а вы никакого внимания.

— Я сказал: разумный человек!

И Муха засмеялся вместе со всеми. Положил руку на плечо старика:

— Семен! Что же ты меня в такое положение ставишь? А они меня за разумного считают. Ну, хорошо, ты старше, говори, что делать!

— Я тут у вас советчик какой. Пускай вон Сергей говорит, он и в губернии бывал, и в Петрограде, а я плохой еще исторический деятель.

Сергей поставил одну ногу на стул, наморщил молодой лоб, который еще неохотно морщился:

— Семен Максимович верно сказал. Мы не знаем, сколько там солдат, чего они хотят. Переговоры с ними трудно наладить, а с офицерами разговаривать нечего. И сражение — нехорошо, да и сражаться в городе будет неудобно: обозлим солдат, да и только. Надо послать разведку. Степан Колдунов для этого, правильно, самый подходящий человек, он и посмотрит, и с солдатами побалакает. А нам здесь в городе сидеть тоже нельзя, Семен Максимович правильно говорит: стянем и роту, и Красную гвардию в парк, пускай они выгружаются, посмотрим, что за народ приехал. Ворона, не слышал, у них есть полковой комитет?

— Говорили, есть, да только я не видел.

Насада недовольно махнул рукой:

— Комитет тут без дела. Если даже имеется, все равно в руках у офицеров.

— Вот видите? Так будет хорошо: Кострома выйдет вроде как база. Посмотрим. Если наша сила — пойдём на них из Костромы. Если там действительно полк, да еще с пушками, да если у них дисциплина и все такое, что ж... придется ждать помощи...

Савчук слушал, слушал и, наконец, взмолился:

— Да что они там, офицеры эти, болваны какие или что? В нашем городе они сверху будут, а вся Россия как? Они что, без понимания?

Степан ответил, как специалист по подобным вопросам:

— Ты их, товарищ, не знаешь! Они и привыкли всю Россию в руках держать. А сейчас соображают: не только в нашем городе, а и везде так; может, они не один полк направили с фронта. Воображают, понимаешь? А воображать нечего, конченное дело.

— Читают же они газеты? Грамотные!

— У нас говорят: грамотный — был два раза на базаре да раз на пожаре. Такие и они грамотные, они тебе и в газете ничего не понимают.

Муха сдался:

— Пожалуй... осмотрительнее будет, а только им что-нибудь ответить нужно. Такое!

Богатырчук сразу взялся за карандаш:

— Вот так:

«Колотилровка Пряньскому полку вашему вступлению в город не препятствуем Совет».

— И хорошо,— Семен Максимович поднялся,— Степан, отправляйся без проволоочки. А Насада и Алеша свое дело делайте. Милицию оставьте в городе, а Красную гвардию и роту тащите к нам.

И Алеша и Насада вытянулись, приложили руки к козырькам.

Богатырчук улыбнулся Алеше:

— У тебя найдется лишняя винтовка?

— Найдется для друга.

40

Было десять часов вечера, когда последняя группа первой роты прошла через парк и направилась к зданию школы. Насада и Муха успели поговорить с каждой группой. Все солдаты перейти на Кострому соглашались с заметным подъемом и даже с интересом, но в то же время все утверждали, что тревога напрасна, что Пряньский полк ни за что не будет сражаться.

Как-то так вышло, что возле Мухи постоянным помощником пристроился Еремеев. На нем широкая и длинная шинель, левый ее рукав болтается у самого колена, а правый собран в сложных складках, потому что в правой руке Еремеев держит винтовку. Фуражка на Еремееве замасленная и худая. Сам Еремеев был сегодня очень оживлен, везде поспевал и на все отзывался косоватым курносым лицом. Он всегда оказывался позади Мухи и всегда удачно находил момент, чтобы сказать и свое слово.

— Товарищи! Раз они просят, мы должны идти, сказать бы, на защиту рабочего класса. И мы с удовольствием. А только это выходит как бы в гости, потому что самый Пряньский полк, он не пойдет воевать, ни в котором виде не пойдет. Против Советской власти он не пойдет воевать, известно, как солдаты. Сегодня он солдат, а завтра ему землю получать по новому закону, и воевать ему некогда. Землю ему из рук товарища Ленина получать, и за офицеров ему воевать невозможно...

Солдаты выслушивали его речь с добросовестным вниманием, но по их лицам было видно, что больше всего их радует его ораторская прыть, а самые мысли Еремеева для них не представляют ничего существенно нового. Потом они вскидывали винтовки на ремень и окружали Муху. По дороге к парку разговаривали о своих солдатских или крестьянских делах и только изредка кто-нибудь бросал едкое слово:

— Золотопогонные, видать, обратали пряньцев-то этих...

— Ничего не обратали. У людей свои мысли.

— Хе! Смехота! Пряньцы! Одинаковый народ! Что и мы!

У школьного здания было интересно. На дворе подымала искрящийся дым походная кухня. На крыльце и на стволах дубов, лежащих у забора, сидели уже девицы. Первым рыком вздохнула гармошка. В классах кое-кто располагался на ночлег, другие еще сидели на разостланных шинелях и беседовали. Акимов ходил по классам и объявлял:

— Товарищи! Никуда не расходиться — может быть тревога. До утра на линии дежурит первый взвод.

Ему кричали вдогонку:

— Пускай там с линии прянца одного приведут — посмотреть бы.

— На линию! Черт их, заводится что: линия! Сказать бы с буржуями, а то прянцы!

На Костроме происходило невиданное движение. Многие спешили в школу познакомиться с солдатами первой роты, красногвардейцы собирались в заводском комитете. Здесь же сидел и Богомол, а у крыльца стоял его автомобиль, теперь принадлежащий ревкому.

41

На опушке парка, обращенной к городу, уже стояли вооруженные люди: слева — первый взвод роты, справа — первый взвод Красной гвардии. На площади, уходящей к самому вокзалу, и на улице, освещенной фонарями, выставлено было сторожевое охранение. Алеша и Насада прошли по всему строю, покурили у парковых ворот. Потом Насада сказал:

— По солдатскому порядку, пойду кашу есть. И посмотрю. А ты здесь побудешь?

— Добре.

Насада исчез между деревьями.

Справа слышался разговор и блестели огоньки папирос. Алеша сел на дубовый пенек, выросший из одного корня с могучим стволом, может быть, и в самом деле помнившим Потемкина. Посмотрел вверх: листьев почти не осталось, переплет ветвей пересыпан был звездами. Тишина.

Вперед убегала линия фонарей улицы, слева сквозь деревья привокзального сквера тоже блестели огни. Там посвистывали паровозы, в городе иногда рождались трамвайные звоны, далекая дробь кованых колес. Город жил, как всегда, и в то же время и над ним нависла особая, тревожная тишина. На улице, насколько может охватить взгляд, не видно было ни одной тени человеческой, никто не направлялся на Кострому, а с Костромы четверть часа назад воровским манером тихо вынырнула из парка и затахтела по мостовой бричка, запряженная парой, — это отправился в город Пономарев с женой. Алеша проводил бричку ревнивым и беспокойным взглядом: было досадно, почему ее прозвали. Сегодня Пономарев вызывал у Алеши враждебное и горячее нетерпение.

Над городом горели звезды, над крышами стояли веники деревьев, внизу над тротуарами курчавились еще акации, крыши города терялись во мгле — не то черные, не то серые. Под крышами сидели люди. Это были обыкновенные люди, занятые своими делами и своей жизнью. Сегодня они приветствовали новые дни России, только несколько часов назад они румяной улыбкой встречали рабочую власть, а с балкона смотрели на них и непривычно, и благодарно, и сурово хмурились и Муха, и Семен Максимович, и Богатырчук, и другие люди с обветренными лицами и с темными руками, привыкшими к работе.

Население этого города уже научилось радоваться свободе, но ему и в голову не приходит, что оно может защищать свободу. Оно сидит под крышами и ожидает, что будет дальше. Есть там люди, которые предаются грусти и растерянности, другие предаются испугу, а много есть и таких, кто просто не умеет прийти и сказать: «Дайте и мне винтовку». Кто

не держал в руках винтовки, тот не всегда способен взять ее в руки. Кто никогда не защищал себя, тот не может сказать: «Я не позволю». И кто привык по зернышку собирать радость, тому трудно рискнуть жизнью в борьбе за большое счастье.

Чувство горячей и светлой гордости волной захватило душу. Алеша поднялся с пенька, тронул рукой кобуру револьвера, отстегнул в ней застегжку. Он сделал несколько шагов вдоль опушки парка, под ногами у него сухой бурьян молча пригибался к земле. Стволы деревьев туманными полосами отражали огни города. За деревьями в темной ночи сейчас жила и бодрствовала Кострома. Алеша представил ее всю: все хаты, крыши, крыльца, дорожки. И в каждой хате знакомые лица, и в каждой хате прожитая жизнь, изношенные мускулы, привыкшие к несправедливости простые люди. Как замечательно, без речей и позы, даже без мысли о героизме эти люди подняли на свои плечи дело нового человечества. Сейчас они сидят в своих кухнях при керосиновых лампах, говорят нехитрые слова и улыбаются, в руках у них винтовки и винчестеры, они готовы встретить тревогу. Может быть, через полчаса на улицах Костромы засверкают огни выстрелов, залают пулеметы, может быть, здесь произойдет одна из тех трагедий, которых так много было в истории.

На запад уходил город, а за городом — тонкая нить железнодорожного пути, и в конце ее — какая-то серая Колотиловка, на Колотиловке — враги. Все это казалось безобидным и выдуманым. Такой же безобидной для глаза казалась западная даль на немецком фронте. Но Алеша не хотел уменьшать для себя представление об опасности. Судя по тону телеграммы Бессонова, дело на Колотиловке могло быть организовано и всерьез. Десяток офицеров во главе полка, если эти офицеры толковые люди, — это большая сила и большая власть. Если солдаты у них в руках, если в руках у них еще и револьверы, если вокруг офицеров два десятка дельных унтеров, полк кое-что может сделать, пока солдаты откроют глаза. Может быть, этот полк не так и одинок. Кто его знает, что там происходит сейчас на фронте? Может быть, на каждый город двинулся сейчас такой полк, составленный из таких же темных, послушных людей. Румынский фронт, говорили, сохранил дисциплину. А вести найдется кому.

Алеша ясно вообразил трагическую обиду господ: офицеров, политиков, буржуев. Да это и не только обида. Это катастрофа, гибель, они думают, что это гибель культуры, их культуры, вековой, приятной, счастливой, оборудованной стихами, комфортом, гордостью. С какими горящими глазами, с какой злобой, с каким «честным» возмущением они должны подняться на защиту. С каким высокомерным, уязвленным и брезгливым негодованием они должны оскорбиться этой попыткой потных и грязных «мастеровых» и мужиков вычеркнуть их из жизни.

И вот они уже двинулись на защиту. Веками они научились это делать руками тех же мужиков. Метод, так сказать, не новый, раньше он приводил к успеху.

Против них сейчас стал Алеша, стал на краю черного парка и поставил свою жизнь. Он это сделал потому, что так сделал весь народ, иначе сделать он не мог, — это было так же естественно, как естественна сама жизнь. И поэтому у него не было ни страха, ни отчаяния, не хотелось ему в беспамятстве повторять: «Что я могу поделаться». В этот момент

он ни за что не взял бы в руки карты для преферанса, и не было надобности сейчас ни в какой чести, чтобы притушить страх. Было проще и прекраснее: великий русский народ, многоязычные миллионы трудовых людей, связавших свою судьбу с Россией, на беспредельных пространствах Европы и Азии встали против господ, назначили Алеше вот этот важный участок, вот этот парк, эту Кострому.

Алеша оглянулся вправо, влево. И вправо и влево расходились просторы России. Стена горизонтов как будто раздвинулась, Алеша ясно представил себе Ленина: Ленин стоял на краю огромного, туманного города и видел всю Россию, потому что он велик. В туманном городе раскатывался гул человеческих миллионов, перемешанный с набатом, и каждое слово Ленина было все-таки слышно ясно и отдельно. И Алеша слышал это слово, и стало досадно, что вдруг кто-то помешал ему. Родившийся в ночи, раздвинулся, разлился над горизонтом, раскатился за рекой уничтожающий, тяжелый и круглый грохот. Алеша вдруг понял, что это артиллерийский выстрел. Пораженный, он бросился вперед и сейчас же узнал в себе то привычное состояние, которое бывает перед разрывом. Разрыв зазвенел над городом, и вдруг оказалось, что в городе есть высокие, ярко-белые здания. Алеша побежал к своим. Ему навстречу зашумели встревоженные голоса, а за его спиной взорвалось новое эхо. Но Алеша уже не оглянулся. Он сдержанно-громко приказал:

— Все по местам! Прекратить курение! Полный порядок, товарищи! Самое главное: никакой воли нервам!

Кто-то ответил счастливым тенором:

— Понимаем, товарищ Теплов.

Алеша быстро пошел к солдатам первой роты. Из кружка собравшихся у ворот отделился Еремеев и побежал к нему навстречу:

— Товарищ Теплов, стреляют!

Еще грохот за городом. Еремеев остановился и задрал голову. Разрыв ударил в конце улицы. Еремеев перевел остановившееся лицо на Алешу.

— Стреляют, говоришь? А я и не слышал...

У ворот засмеялись. Еремеев не понял сначала, потом обрадовался, перекосил рот еще больше:

— Да какое же они имеют право! А? Против народа — с пушкой, значит?

— Занимайте места, приготовьте винтовки. Товарищ Еремеев, порядок!

— Да я понимаю, дорогой мой!

Еремеев побежал бегом к своему месту. Алеша обернулся к городу, ждал. Больше выстрелов не было. В городе замолкли трамваи, перестали свистеть паровозы.

Алеша глубоко вздохнул. Было на душе ясно и ослепительно чисто. Он на своем месте, вопросов никаких нет.

Капитан прибежал первым и удачно налетел на Алешу. Он вынырнул из парка небывало стремительный и подвижный, даже нос его и усы уже не перевешивались вперед. Капитан схватил Алешу за борт шинели и захрипел:

— Видите, у них артиллерия, видите?

Он осмотрел линию опушки парка:

— Ах ты, черт! Прекрасная позиция, но... нельзя же... ни одной пушки!
А у них две. Одна старая, а другая, видно, только с завода.

— Да вы откуда знаете?

— Так слышно же! Неужели они по Костроме будут бить? Не может быть!

— А помните, Михаил Антонович, вы говорили: артиллеристы стрелять не будут. Стреляют все-таки?

— Какие там артиллеристы! Гадина какая-нибудь стреляет!

В парке уже шуршали шаги. Насада подошел, перетянутый ремнями. Блестя глазами в темноте, из-за его спины вынырнула Маруся и толкнула Алешу в руку:

— Товарищ Теплов, ваша мамаша сказали, вам передать чтой-то.

— Что передать? Слово какое?

— Да не слово, а вот, саблю сказали передать.

Алеша, наконец, разобрал, что в руках у Маруси его шашка. Алеша взял ее в руки, ощутил холодный металл эфеса и ласковый, тоже прохладный шелк темляка. В этом ощущении было что-то такое, как будто он вспомнил детство:

— Спасибо, Маруся!.. Как там она?

— Мамаша вам приказала кланяться. Они ничего... А потом меня так... за щеку взяли и говорят: ничего, не бойся, все равно господам конец.

Насада повернул Марусю за плечо:

— Красногвардеец, катись, красавица, на свое место.

Маруся убежала влево, туда, где уже слышен был голос Павла Вараввы. Алеша пристегнул шашку и улыбнулся, подумал: «Мать посвятила меня в рыцари». Насада присматривался к городу:

— Тебя мать саблей благословила? Это хорошо. А только, думаю, рубить тебе никого не придется. Сюда они не пойдут ночью.

Алеша задумался:

— Важно знать, как они в город вступят. Из пушки это они для впечатления палили. А вот, как вступят?.. Михаил Антонович, как далеко стояли орудия? Километра два?

— Да, не больше двух.

— Значит, стреляли от семафора, немного дальше. Если они выйдут из вагонов у семафора и пойдут на город в боевом порядке, обязательно сюда доберутся, придется пострелять. Если же на вокзал по рельсам вкатятся, тогда ничего страшного, просто отправятся в казармы. Тогда до утра можно спать спокойно.

— Почему так думаешь?

— Не знаю почему. Впрочем, знаю. Как тебе сказать: если они влезут на станцию, — значит, в военном отношении они ничего не стоят или нас не считают за противника. Станция ведь в центре города. Мы здесь могли бы их голыми руками взять, особенно если бы пулеметы...

— Да, может, они знают, что у нас пулеметов нет.

— Ничего они не знают. Подождем Степана, он что-нибудь расскажет.

Вместе с Мухой из парка вышел Семен Максимович со своей палкой.

Он молча стал рядом с Алешей, посмотрел на город. Муха сказал тихо:

— Притаились горожане-то!

Семен Максимович спросил:

— Алеша, Степан не вернулся?

— Нет.

— Его там еще сцапают...

— Нет, Степан — старый разведчик.

Капитан шагнул вперед, протянул руку:

— Тихо! Слышите? Входит состав на станцию.

— Входит, — подтвердил Муха.

Алеша пошел к отряду.

Красногвардейцы стояли между деревьями опушки и все смотрели на огни вокзала. Старый Котляров прислонился к стволу, повернул голову к Алеше:

— Там девчата перевязочный пункт приготовили.

— Знаю.

— А я отправил Марусиченко носилки делать. С ним еще два парня.

Они это дело наладят. Как думаешь, пойдут на нас?

— Нет, сейчас не пойдут.

— Если сейчас не пойдут, так и совсем не пойдут.

— Почему?

— Солнце взойдет, народ увидит, в чем дело, солдаты эти...

— Хорошо, если бы так...

— Вот увидишь!

Алеша пошел дальше. Груздев вышел из-за дерева и столкнулся с Алешей.

— Милый мой, хороший юноша, — Груздев взял его за плечи. — Как это хорошо, что я тебя увидел. Я-то все скучал, сына вспоминал. А я как сына вспомню, так и тебя сразу.

— Спасибо, Иван Васильевич!

— Жалко, сын не дожил до такого дня. Лучше бы ему сегодня умереть. Ну, ничего, я, может, сегодня кого-нибудь... уложу. Уложу, как ты думаешь?

— Сегодня едва ли. Завтра, может, и придется пострелять...

— Жаль...

Подошел Павел, какой-то весь ладный, довольный, добродушно серьезный, хотел обнять Алешу, зацепился за шашку:

— Ты с саблей?

— Да это... Слушай, Павел, надо сделать срочно: двух человек послать на вокзал.

— Без оружия?

— Никакого оружия. Посмотреть умненько и сейчас же назад. До сторожевого охранения я проведу.

— Головченко и Митрошка.

— Митрошка хорош, а Головченко тяжел.

— Тогда Рынду.

— Верно. Давай их сюда.

Рында и Митрошка Ладейкин через минуту уже стояли перед Алешей.

— На станцию, что ли?

Оба они были слесаренками на заводе, оба маленькие, юркие, оба зубоскалы. Отличались друг от друга только тем, что Митрошка кругл и доверчив, а Рында заострен во всех направлениях.

— Отдайте ваши винтовки и идем.

— И патроны?

— Обязательно.

— Забирай, Павло.

Вышли из парка и зашуршали сапогами по сухим зарослям заброшенной площади. Потом вышли на косую разъезженную дорогу, идущую к вокзалу. Сбоку от дороги тройка сторожевого охранения сидела на брошенном бревне и напряженно прислушивалась к тому, что делается на вокзале. Услышав шаги, вскочили.

— Не нервничайте. Свои.

— Слышишь, Алексей, шумят?

— Да. Ну, ребята! Осторожненько, под забором... И скорее назад. Я здесь подожду.

Митрошка и Рында свернули с дороги и побежали к железнодорожному забору слева. В беге они показались совсем малыми ребятами и скоро исчезли не то в зарослях бурьяна, не то просто в темноте. Алеша присел на бревно и прислушался. На вокзале что-то происходило: доносились голоса, неясный топот ног, стук колес. Звуки приходили сюда испорченными и приглушенными. В недалеком дворе таякала истерическим дискантом собачонка.

Просидели молча минут пятнадцать и... вздрогнули: Митрошка и Рында выскочили как будто из-под бревна. Рында зашептал, оглядываясь на вокзал:

— Пошли по улице... солдаты.

— Много?

— Ой, и много!.. Я так думаю... больше тысячи!

— Не... — Митрошка завертел головой, — не! Тысячи не будет.

— Строем?

— Вроде как строим... С ружьями.

— А пушки?

— Пушек не видели.

— Народ есть на улицах?

— Ни одной собаки. Просто — как мертвый город. А только на станции, видно, встречали.

— Кто?

— Господа какие-то, человек пять. И лошади, — фаэтон. И еще коляски были... или как это...

— Офицеров видели?

— Как же... Офицеры. Кто пошел, а кто поехал. Погоны — это далеко видно.

— Не заметили? Не боялись входить в город?

— Да кого же им бояться. Пусто...

— Ну, добре... Идем к своим.

Семен Максимович сидел на том самом пне, на котором раньше сидел Алеша. Вокруг него стояли Муха, Богатырчук, несколько городских большевиков. Семен Максимович положил руки на крючок палки — видно было, что устал. Но Алешу встретил весело:

— Ну, вояки, как там дела? Вам воевать, а нам с вами не спать приходится на старости лет.

Алеша рассказал о поиске разведчиков. Его слушали, не перебивая. Когда он кончил, Богатырчук решительно размахнулся:

— Черт бы их побрал, комедию какую-то ломают! Какое же это войско: даже разведки в город не выслали.

Муха поежился, он был в легком пальто:

— Та-ак! Значит, приехали! Тысяча человек! Много! Эх, если бы знать, как в других городах!

Савчук задумчиво накручивал ус, ответил Мухе:

— Во всех городах одинаково, везде есть враги, только выступают по-разному. А нам повезло. Целый полк. Как ты думаешь, Семен Максимович?

— Постой, не торопись.

— Да как по-твоему?

— По-моему, ерунда все это. Господа разум потеряли. Ничего у них не выйдет.

Семен Максимович вдруг поднялся, наклонился вперед.

— У кого глаза молодые? Свистит кто-то...

Богатырчук сзади сказал спокойно:

— Саратовский философ шествует.

Степан Колдунов, действительно, шествовал. При свете звезд было видно, как, распахнувши шинель, вразвалку он шел по зарослям бурьяна, палкой сбивал головки молочая и насвистывал знаменитую песенку о коленочках.

Алеша зашипел на него:

— Да что же ты, голова, рассвистелся, как соловей?

Степан приподнял картуз, отвечал полным голосом:

— Ночь, Алешенька, хороша дюже, в хорошую ночь только и посвистать: на земли мир и в человецех благоволение.

Он пожимал всем руки и даже в темноте сиял прекрасным настроением. Чуть-чуть пахло от него спиртом.

— Ты пьян? — сказал Богатырчук.

— Не пьян, что ты, Сергей! Кружкой пива угостили солдатики, это верно.

— А у них и пиво имеется?

— Народ обстоятельный, бочку пива с собой везли. А раз бочка пива — надо ее выпить, не бросать же? Да и по сколько там пришлось, а все-таки спать хорошо будут, пиво... оно помогает.

Муха спросил саркастически:

— Так, говоришь, на земле мир?

— Мир, а как же! С немцами мир!

Семен Максимович недовольно повернул голову:

— Довольно болтать, как сорока. Рассказывай.

— Ох, прости, Семен Максимович, не заметил тебя, а то и сразу не болтал бы. А рассказывать буду сейчас, недаром посылали.

Степан сел прямо на землю против Семена Максимовича, подтянул рукава шинели к плечам, полез по карманам за махоркой и начал рассказ:

— Добрался я туда на паровозе. У них, у железнодорожников, этот паровоз называется резервом, не пойму только чего, просто себе паровоз. Бежал он на Спасовку, ну, я и прицепился: и машинист знакомый, к тому же. В Колотиловку эту приехал, смотрю: действительно, эшелон,— один эшелон, а больше по всей станции ни одного вагона, да и людей нету, не то что людей, а и собаки ни одной не видел, кроме начальника станции да стрелочника. Для чего такие станции строят, никак не разберешь.

Богатырчук нетерпеливо перебил:

— Вот... станция тебе нужна! Ты дело рассказывай!

— Да я дело и говорю, а дело все на этой станции. Солдатики по вагонам сидят скучные, слышу я, и песен не поют, помалкивают. Я прямо в один вагон и полез. Куда, говорят, лезешь, это не твой вагон. А я им отвечаю: все вагоны теперь мои, куда хочу, туда и лезу, могу с полным правом выбирать себе вагон, который мне по душе. А они меня спрашивают, любопытно так спрашивают: а почему тебе этот самый вагон нравится? А я им отвечаю: в других вагонах навоняли здорово, а в этом воздух хороший. Ну, они, конечно, развеселились, хотя воздух у них и нельзя сказать, чтобы очень хороший был.

— Да перестань ты, ну тебя к черту! — сказал Богатырчук.

— Да к слову, Сергей, приходится!

— Говори дело!

— Дело и говорю. Они-то развеселились, а все-таки спрашивают, кто такой и чего мне нужно. А я отвечаю, как и на самом деле есть: солдат я, обыкновенный герой, как и вы, дорогие товарищи, а еду я к молодой жене, к отцу, к матери. Немцы меня не до конца покалечили, так, может, еще и пригожусь. А чего мне нужно, так то же самое, что и всякому хорошему человеку: еду землю получать от помещика по новому большевистскому закону. Тут они на меня и накинулись: какой закон, да почему закон! Вижу я это, народ они темный, никакой у них сознательности нет. Давай с ними разговаривать. Они что-то такое слышали про Петроград, только так, кончики самые, а дела настоящего не понимают. Ну... обрадовались. Как про землю услышали, здорово обрадовались, а как про мир с немцами, так и совсем у них отлегло: видно, у них душа все-таки скучала: легко сказать, с фронта целым полком ушли. А тем временем и я у них распытал, что за народ, куда едут и какого им черта нужно.

Дело маленькое. Расшибли их еще восемнадцатого июня, они тогда тоже были в послушании. Расшибли: кто в плен попал, кто убит-ранен, а больше просто разбежались с поля. Осталось их человек семьсот да офицеров с полдюжины. Отправили их куда-то там в тыл, пополняться, что ли. Пополняться не очень пополнялись, а больше скучали да домой собирались. А стояли на какой-то станции, людей не видели, доброго не

слышали. А потом им и сказали: поезжайте в такой-то город, формироваться будете. Я вам так скажу, по моему мнению: народ у них остался так себе, постарше, да кадровиков больше, которые с первого года сохранились. И полк этот, видно, у командиров хорошим считался, крепким, по ихнему, генералы его и припрятали на всякий случай, пригодится, мол. И с офицерами у них мирно было, и все. Дали им состав, поехали они, а тут и обнаружилось, вроде как взбунтовались: никуда не хотим ехать, везите нас в наш город. А народ все больше здешний, кадровый, как я сказал. А кто не здешний, те по дороге соскочили, кому куда нужно. Сейчас их человек четыреста. А еще что: офицеры тоже здешние, значит, и думают, все равно ехать, так ехать, ближе к дому. Так и поехали. Начальство железнодорожное, ему что, только с плеч спихнуть. А подъехали к Колотиловке, им и сказали: большевики власть взяли в городе, покажут вам, как это — самовольно. Там-де и Красная гвардия. Я только потом разобрал, откуда такое: пристроилась к ним по дороге тройка офицеров, а главный самый — господин полковник Троицкий.

— Вот в чем дело! — протянул Богатырчук. — Старый знакомый!

Насада вскрикнул:

— Нашелся, значит!

— Вот же: нашелся. И другие, конечно, офицеры. У них, конечно, не столько пороху, сколько страху. А Бессонов, командир ихний, говорят, настоящий царский, только все старался солдатам понравиться. Большевиков боятся, про это и говорить нечего.

— А что же у них полковой комитет делает?

— Какой там полковой комитет? Три шкуры из унтеров, видно — хуторяне здешние, да прапор какой-то, эсер, говорят, а может, и другая какая сволочь. А офицеры там мало чего понимают. Видят, солдаты послушные, погон не срывают, на караул становятся, — ну, думают: за нас. А кроме того, и так размышляют: большевики власть захватили, так это на два дня, и солдатам так объясняют. И в Петрограде уже, говорят, нет большевиков, а генерал Краснов будто. И газету показывали, сами напечатали, что ли, уже не знаю, сам этой газеты не видел.

— Зачем стреляли? — спросил Алеша.

— Со страху стреляли, на всякий случай, эти самые шкуры да возле них которые. А потом кто-то к ним из города припер на дрезине, сказал: большевики ушли из города. Так вот они и решили: давай еще и пальнем, крепче будет. Это они, когда уже к городу подходили. Паровоз, а перед паровозом две платформы и пушки. Смехота!

Семен Максимович крякнул:

— Так. А в городе как, встречали?

— Кто-то их повел в казармы. Да ни к чему. Вот увидите, к утру никого не останется. Все домой пойдут.

— А может, не все?

— Да может, какой дурак и останется, а то пойдут. По деревням своим.

— Да что ж, офицеры не знают про это? — Богатырчук недоверчиво оглянулся.

— А что ж ты думаешь? И не знают. Они думают: вот полк у них, и пулеметов десяток, и пушки. Чем не полк? Россию будут оборонять против

народа. А я нарочно задержался: пушки те на платформах бросили. Я нарочно — посмотреть. Оставили караул, только сейчас наверняка и караул этот разошелся, кто куда.

44

Это происходило около полуночи, а в два часа ночи Алеша уже был в плену и сидел один в пустой и ободранной комнате бывшей гарнизонной гауптвахты. Гауптвахта стояла рядом с собором, на небольшой круглой площади, обсаженной акациями в несколько рядов. Алеша видел в окно эти акации и белеющую стену старинного здания, называемого в городе штабом. Возле штаба горели фонари. Через каждые две минуты этот вид медленно перекрывался фигурой часового, проходящего мимо окна. На голове у часового была сложная шапка с опущенными крыльями. И эта шапка, и поднятый воротник, и распушенная сзади, без хлястика, шинель, и винтовка без штыка, повешенная на плече ложем кверху, все это даже в наразборчивом силуэте на фоне фонарей штаба производило впечатление беспорядка и тоски.

Тоска была и в душе Алеши — тоска обиды и оскорбления. Как непростительно, глупо, смешно, он оказался просто мальчишкой, хвастливым желторотым мальчишкой! Ему люди доверили святое дело, а у него в ответ на это нашелся только дурацкий легкомысленный задор. Дело оставлено там, в парке, и он выброшен из дела, как ненужный винтик. Если его даже убьют, то без всякой пользы для людей, без всякого смысла.

С ощущением, похожим на тошноту, Алеша представил себе, что сейчас думают и чувствуют Богатырчук, Муха, Котляров, Насада, Акимов, Павел и около сотни мужественных и простых людей, которых он так мудро обучал военному делу. При воспоминании об отце у него останавливалось сердце.

Как это произошло? Алеша все не мог опомниться от неизмеримой глупости происшедшего.

После возвращения Степана прошло не более получаса, когда на освещенной улице, ведущей к парку, показались отдельные фигуры. Это были солдаты, некоторые с винтовками, другие без винтовок, но все обязательно с сундуками, или с мешками, или с чемоданами. Они направлялись к большой дороге, ведущей через парк на Кострому и дальше. Там, на старом, широком шляху, хорошо были всем известны большие села: Масловка, Федоровка, Березняки, Олсуфьево, Вятское, Сухарево, а от них пошли дороги и дорожки к деревням и хуторам, к другим селам, и везде ожидали путешественников жены, матери, дети, и везде ожидала их революция, новые поля, отвоеванные у помещиков, новые дни, отвоеванные у истории.

У Насады с Богатырчуком сразу возник спор: можно ли пропускать этих людей на Кострому? Насада выступал как стратег и уверял, что недопустимо в тыл себе пропускать вооруженных людей. Богатырчук лениво говоривался и улыбался презрительно:

- Очень им нужен твой тыл. Они спят и видят, как бы тебя окружить.
- А зачем они винтовки с собой тащат?

На это отвечал Еремеев:

— В хозяйстве винтовка всегда пригодится.

Семен Максимович сидел на пне и все смотрел на город. Он сказал Насаде:

— Не спорь, командир, пускай проходят: свои люди.

— Да ведь беспорядок, товарищ Теплов!

— Порядок потом наведем. Когда обед варят, всегда бывает беспорядок, а сядут обедать — ничего.

Солдаты подходили, весьма удивляясь военной обстановке в парке, дружески закуривали, охотно сообщали свой дальнейший маршрут и, только уходя, говорили:

— Напрасно беспокоитесь. Что мы, корниловцы, что ли? Мы тоже за товарища Ленина.

— А чего из пушек палили?

— Да это... дурачьё... Дураков везде есть довольно.

— Врешь, голубь, офицеры вам на голову сели.

— Да, браток! На что нам офицеры? Всех вам оставляем, пользуйтесь, люди добрые... До свиданья.

Они уходили в глубь парка, а на их место выдвигались на свет новые фигуры. Степану это нравилось.

— Гляди, Насада: говоришь, беспорядок. А штыки у всех спрятаны, ни один не торчит. Из этого народа толк будет.

Эти военные путешественники уничтожили ощущение военной тревоги и опасности. В парке закурили и заговорили громче. Кто-то пробрался на вокзал, оттуда вернулся запыхавшийся, увлеченный:

— Ни души! И пушки! Так и стоят на платформах.

Услышав это, капитан заволновался, зашнырял по парку, подбежал к Алеше:

— Возьмем пушки, чего же волынить!

— Завтра возьмем, на что они вам сегодня.

Семен Максимович тоже возразил:

— Разделяться нельзя. А по городу все равно стрелять не будете, Михаил Антонович?

— По городу?

— Ну, да! Помните, вы говорили: нельзя по городу стрелять.

Капитан так и не понял иронии. Он видел только существо вопроса и поэтому ответил просто:

— Если вы, Семен Максимович, скажете, я буду и по городу стрелять.

— По какому городу?

— Куда скажете, туда и буду стрелять.

— Спасибо, Михаил Антонович, а только подождем. Пушки все равно наши будут.

Тут же возле пенька устроили совещание. Без споров решили в три часа ночи наступать на город, захватить казармы, разоружить пняцев, которые еще остались, арестовать офицеров. Проходящие солдаты не скрывали, что полк разместился в казармах на Петровской улице. Штаб расположился в городской управе, туда и народ разный собрался: собираются угощать ужином господ офицеров.

Настроение у всех повысилось, все были уверены, что дело предстоит нетрудное. Один Алеша не вполне разделял такой оптимизм:

— Нельзя верить этим... проходящим. Он снялся потихоньку и побрел домой, а что у него за спиной, ему и дела нет. Сколько здесь прошло? Пятнадцать-двадцать человек. Пускай по другим дорогам — пять-шесть десятков. А остальные в городе. Не думаю, чтобы офицеры так легко спать пошли. Особенно Троицкий. Что-нибудь приготовлено.

— Да что приготовлено? — спрашивал Насада.

— Наверное, у них есть надежные взводы. И пулеметы кое-где поставлены. Без разведки идти нельзя.

Задумались, потом заспорили. Наконец, согласились: чтобы никого не встревожить, послать разведку без оружия — просто себе люди идут: мало ли кому нужно в городе быть? А по главной улице лучше всего — с девчатами. Маруся и Варя пришли в восторг. Понравилось это и Алеше. Он решительно заявил:

— Замечательно. Девчата — еще молодые воины, всего не увидят, а пойду с ними и я.

Богатырчук возразил:

— Алеша, тебе не стоит, нарвешься на Троицкого.

— Не нарвусь. Троицкий сейчас ужинает и речи говорит.

А другим даже и понравилось.

— Он, конечно, разведку сделает. А по вокзальной Степан пускай.

Алеша быстро сбросил с себя ремни, шашку, шинель, стащил с Павла его старенький пиджачок, у кого-то с головы шапку, стал похож на мастерового. Револьвер сунул в карман пиджака.

Богатырчук на это переодевание смотрел с сомнением:

— Сапоги у тебя того... модные. И хромаешь все-таки. Троицкий тебя сразу узнает.

Семен Максимович, пока Алеша собирался в поход, ничего не сказал, но, когда Алеша с девчатами тронулись уже в путь, старик остановил его негромко:

— Алексей!

— Что, отец?

— Не на прогулку идешь, а на дело. В случае не вернешься, кто старшим будет?

— Как это «не вернусь»?

— Вот тут уже и я беспорядка не люблю.

— По Красной гвардии старшим остается Павел, а по всему нашему фронту — Богатырчук, как и был.

— Хорошо, иди.

Алеша весело кивнул, обнял девчат за плечи. Двинулись по улице. Им крикнули вдогонку:

— Он с девками и хромает меньше!

До первого перекрестка они дошли спокойно и не встретили ни одного человека. Варя шла тревожно, все вытягивала голову вперед и все старалась показывать пальцем. Маруся была в радужном настроении, ее приводили в восторг и лицо Вари, и ее палец, и протесты Алешы против этого пальца. Алеша не возражал: так получалось даже естественнее. За первым перекрестком, где начинался собственно город, они встретили двух солдат без винтовок. Солдаты прошли молча, а когда прошли, один из них спросил:

— Земляки, дорогу на Масловку не завалили еще?

Алеша ответил:

— Иди смело, дорога хорошая.

Маруся даже взвизгнула от удовольствия. Взвизгнула еще веселее, когда перед ними с угла на угол быстро прошла парочка.

— Ходят люди, ходят! И нам можно!

Не встретили никого до самого Совета. Оставалось три квартала до соборной площади. Нужно было посмотреть, что происходит у здания управы, до которого оставалось несколько домов.

Перешли на противоположный тротуар. В здании управы светились два окна. Если здесь и был ужин, то, вероятно, уже кончился. У входа стоял часовой с винтовкой. На ступени под деревянным ажурным козырьком выходили по двое, по трое какие-то господа и направлялись в разные стороны, офицеров между ними не было. В этом месте вообще было кое-какое оживление, по тому и другому тротуару бродили даже несколько парочек: очевидно, люди, воспрянувшие духом с приходом Прянского полка. Рядом с домом городской управы открыты были ворота, за ними — темный глубокий двор, и во дворе — голоса.

Алеша прошептал:

— Кажется, в том дворе пулеметы. Погуляем еще на той стороне.

Маруся ответила жарко:

— Погуляем! — и крепче прижалась к его руке.

Здесь уже неловко было обнимать девушек, заметнее стал Алешин крен. Он старался опираться на их руки, но это только ухудшало положение: они были гораздо ниже его ростом. Выходящие с некоторыми промежутками господа заняты были разговором, часовой скучно дремал, заложив руки в карманы и балансируя винтовкой под мышкой. Несколько подальше разведчики перебрались на другую сторону и не спеша прошли мимо ворот.

— Пулемет! — шепнула Маруся.

— И солдаты, — шепнула Варя и хотела показать пальцем. Алеша поймал палец и спрятал в карман своего пиджака. Варя дернула рукой и тихо засмеялась. Алеша поднял глаза, чтобы посмотреть на нее, и увидел перед собой погоны полковника и лицо Троицкого, удивленно и радостно остолбеневшего перед ним. Алеша оттолкнул девушек в стороны и сунул руку в карман. Он дернул руку вверх, но револьвер рукояткой провалился в какую-то дырку в кармане. Алеша дернул сильнее и выхватил наган в тот самый момент, когда Троицкий выстрелил. В одно и то же мгновение Алеша ощутил ожог на кончике уха и услышал крик Маруси. Она бросилась к полковнику и схватила его за воротник, чуть-чуть Алеша не выстрелил ей в спину. Он опустил револьвер и быстро оглянулся. Из двора и от подъезда к нему бежали солдаты. Алеша поднял наган, но было уже поздно. Кто-то сильно сжал сзади его локти, другой рванул револьвер, потом вывернул, отнял. Алеша успел заметить, как Маруся мимо его колен отлетела на мостовую, успел крикнуть ей: «Уходи!» — после этого он видел перед собой только лицо Троицкого.

— Я промахнулся? — спросил Троицкий, рассматривая Алешу в упор холодными, зеленоватыми глазами.

Алеша снова почувствовал, как горит у него кончик уха, ответил Троицкому с еле заметной улыбкой:

— Да, вы неважно стреляете, господин полковник.

Краем глаза Алеша все-таки посмотрел на мостовую. Как будто Маруси там уже не было. Вокруг них стояло несколько солдат.

Троицкий спросил:

— Почему вы в таком маскараде?.. Впрочем, пожалуйста, поговорим подробнее здесь.

Он рукой показал на подъезд городской управы. Из двери выскочил щеголеватый прапорщик и удивленно посторонился. Троицкий сказал ему, закладывая револьвер в кобуру:

— Господин прапорщик! Этого большевика нужно куда-нибудь запереть.

Прапорщик широко открыл глаза и беспомощно оглянулся:

— Да... я... сейчас узнаю.

— Узнайте. Мы еще поговорим.

Они вошли в полутемный вестибюль, прошли по широкому коридору. Троицкий предупредительно открыл дверь.

В большом кабинете, сильно заставленном мягкой мебелью, на широком диване сидело три человека в золотых погонах. Троицкий объявил, вытянувшись и двумя пальцами показывая на Алешу:

— Поручик Теплов: большевик!

Тонкий, узкий в плечах полковник, но с головой круглой и с мясистым нездорово-бледным лицом, бритый, поднялся с дивана, пересел в кресло за столом, завертел в руках костяной ножик и только тогда поднял на Алешу уставшие круглые глаза.

— Поручик Теплов? Это... о котором говорили?

Троицкий захлопнул серебряный портсигар и ответил:

— Да. Сын токаря Теплова.

— Местный?

— Да.

— Ага! Оружие?

— Револьвер отняли. Здесь... у ворот... Намеревался выстрелить в меня.

— А-а! Вот как!

Около минуты полковник молчал, играл ножиком и посматривал на Алешу с каким-то неясным, но значительным интересом. Потом кивнул на кресло.

— Садитесь.

Голос у него был слабый, сорванный.

Алеша опустился в кресло. С удивлением почувствовал, что совершенно спокоен и заикаться не будет. Потом с обидой вспомнил: наган нужно было держать в руке за бортом пиджака. Забеспокоился о Марусе: удрала или захватили солдаты? Варя, наверное, убежала. Полковник все постукивал костяным ножиком по столу. Ручка ножика изображала голову совы.

— Где сейчас ваши красногвардейцы? Далеко удрали?— полковник слабо хмыкнул.

— Не знаю,— ответил Алеша.

Троицкий задымил, развалился в другом кресле:

— Он играл там какую-то роль. Инструктором были?

Вместо того чтобы ответить, Алеша посмотрел на диван. Офицеры, полулежа, шептались.

— Вы не отвечаете? — полковник еще раз хмыкнул. — Я советую вам не воображать, что вы скрываете от нас вашу военную тайну. Этой тайне мы не придаем особенного значения.

Полковник уселся в кресле удобнее, боком, положил ногу на ногу, ножиком играла теперь только одна рука.

— Полсотни вооруженных мастеровых мы не считаем военной силой, завтра мы арестуем их жен, а мужья сами явятся. А рота запасного батальона — вы же человек военный — сброд! Интересно, куда они сбежали?

Алеша улыбнулся полковнику.

— Вы хотите что-то сказать? Пожалуйста.

— Да, господин полковник, я хочу спросить.

— Пожалуйста.

— На что вы рассчитываете? Власть перешла к Советам.

— К большевикам?

— Да, к большевикам. Что же? В одном городе будет власть Прянского полка?

— То, что вы говорите, — бредни. Ленин, вероятно, сейчас уже арестован... Несколько хороших полков достаточно, чтобы с этим справиться. Разумеется, необходимо, чтобы этими полками руководили не изменники, подобные вам, а честные офицеры, способные отдать жизнь за Россию.

Алеша улыбнулся, наклонился к столу, положил ладонь на сукно:

— Года три назад был у меня разговор на такую же тему с полковником Троицким. Отдавать жизнь за Россию нужно тоже... умеючи. Господа офицеры доказали, что они этого... не умеют... Хотят жизнь отдать за Россию, а отдают за всяких мошенников. Ничего из этого не выйдет, так же как не вышло с немцами.

Полковник встал, бросил ножик, ножик мягко стукнул, подпрыгнул на сукне.

— Вы... довольно развязны, молодой человек. Неуместно развязны. Для вас этот вопрос уже не имеет практического значения. Завтра, правильнее сегодня, мы вас расстреляем за измену и за покушение на офицера.

Он пристально глянул на Алешу. Алеша крепко сжал резные ручки кресла, забеспокоился, не слишком ли он побледнел. Его легкие наполнились терпким, колючим холодом. Все-таки он заставил себя взглянуть полковнику в глаза. Полковник чуть-чуть наклонился к нему.

— Мне вас очень жаль. Вы еще молоды, и у вас хорошее лицо. А я, хоть и полковник, но, ничего не поделаешь, тоже интеллигент, обладаю всеми недостатками русского интеллигента. Но... таких, как вы, нужно расстреливать. Это должно произвести хорошее впечатление на других. Так что... не обижайтесь.

Полковник развел руками, вытянул пухлые губы и вышел из-за стола.

— Военно-полевой суд соберется в восемь часов. А сейчас отправьте его куда-нибудь. Конечно... если вы пожелаете раскаяться совершенно

чистосердечно и честно и поможете нам в дальнейшем как гражданин и офицер, принимая во внимание вашу молодость и..., так сказать, влияние: сын рабочего... поверьте, это мы уважаем... как вы думаете?

Даже офицеры на диване повернули головы. Алеша встал с кресла, мельком глянул на диван...

— Вы слышали, что я сказал?

— Слышал. Чистосердечно, вы говорите? Чистосердечно — я все-таки удивляюсь вашей аванюре и, простите меня, вашей... слепоте.

— Чудак!.. Вы сегодня умрете! Сегодня! Вам уже не к лицу удивляться!

Алеша на несколько секунд задумался, отвернувшись в сторону. Полковник ожидал его ответа.

— Умру? Я — еще очень молодой большевик. Но... я умру... хорошо. А вы... вы все умираете... Пожалуйста!

Алеша улыбнулся ясно и открыто, как умел улыбаться его отец. Полковник пожал плечами.

— Как угодно. Так вы его подержите где-нибудь.

Он чуть-чуть наклонил голову и пошел к дверям. Алеша только теперь увидел, что сапоги у полковника были очень простые, деревенские, их голенища были гораздо шире худых полковничьих ног. Сапоги эти скрылись за тяжелой, высокой дверью.

45

Алеша все смотрел на площадь, и часовой все ходил перед окном. Подоконник был широкий, Алеша положил на подоконник руки. Ухо начало распухать и очень болело.

О том, что его сегодня расстреляют, Алеша не думал. В восемь часов предстоял еще полевой суд. Все эти соображения проходили на фоне обидного ощущения неудачи и глупого промаха. Если его не расстреляют, то положительно невозможно будет показаться своим на глаза. Алеша вспомнил, как он обнял девушек, отправляясь в разведку, — геройство весьма легкомысленное.

Он все надеялся, что Варя ушла. Марусю могли и захватить, но ведь никто не знает, что она в Красной гвардии.

Девчата расскажут о пулеметной заставе. Интересно, что принесла разведка с другой улицы, там был Степан, может быть, он действовал более разумно, чем Алеша. Все-таки у офицеров были кое-какие силы, а пулеметы — дело серьезное. Наступать прямо по улице нельзя. Следует пройти боковыми улицами и переулками. Можно выйти к пулеметам с тыла. А еще лучше — через двор: двор городской управы — проходной. Богатырчук об этом знает.

Силуэт часового проходил мимо окна и вдруг заслонился новой тенью, гораздо более стройной и тонкой, — кажется, офицер. Что-то застучало у самого здания гауптвахты — открыли дверь, через полминуты загремел засов у входа в камеру. Дверь открылась, рука с керосиновой лампочкой без стекла выдвинулась первая.

— Хорошо, — сказал кому-то Троицкий и закрыл дверь.

Алеша обернулся к нему, не снимая рук с подоконника. Троицкий

поставил коптящую лампочку на деревянную койку, расстегнул шинель и сел на табуретке против Алеши в углу.

— Пришел поговорить с вами. Не удивляетесь? Пожалуйста.

— Не курю.

— Я назначен председателем суда над вами. Но суд — дело быстрое и, в сущности, формальное. А я хочу выяснить ваши мотивы: очень возможно, что смогу добиться менее сурового приговора, хотя должен сказать, что надежды на это минимальные. Не скрою от вас: для меня тоже важно кое-что... уточнить... для себя, так сказать. Я прекрасно понимаю, что, переходя к большевикам, вы не преследуете материальных выгод, так же точно, как и я не преследую, оставаясь верным... присяге и России. Одним словом, мы можем говорить как культурные люди, по каким-то причинам оказавшиеся в противоположных... э... станах. Конечно, ваше положение, близкое к смертному приговору, трагично, я понимаю, но и мое положение не так уж блестяще — здесь можно говорить откровенно. Вы, например, у полковника выразились в том смысле, что мы... умираем. Видите?

Троицкий говорил медленно, негромко, очень просто и серьезно, согнувшись на табурете, глядя на коптилку-лампочку. В паузах он медленно стряхивал мизинцем пепел с папиросы и складывал губы трубочкой, выпуская дым. Папироса у него была худая, — когда он затягивался, она худела еще больше.

По-прежнему глядя в окно, Алеша ответил так же серьезно:

— Вы ошибаетесь: мой переход к большевикам объясняется материальными соображениями, так же как и ваша верность... буржуазии.

— О, да! Я знаю, вы любите этим щеголять: мы-де материалисты. Я не в том смысле сказал. В сущности, вы настоящие идеалисты, поскольку вы боретесь за какое-то там человеческое счастье, счастье будущих поколений, и готовы для этого жертвовать вашей, так сказать, сегодняшней жизнью. В сущности, это самый настоящий идеализм.

— Все равно вы ошибаетесь, — сказал Алеша и положил подбородок на руки. Часовой, привлеченный огоньком лампочки, стоял прямо против окна и глядел в комнату, но нельзя было разобрать выражение его лица. — Я не борюсь только за счастье будущих поколений, я борюсь за свое счастье.

— За ваше личное?

— Да, за мое личное.

— Но вот вы сейчас арестованы, и вам угрожает смерть.

— Я и не сказал вам, что завоевал счастье. Я только еще борюсь за него. А в борьбе возможны неудачи и случайности. Из-за этого нельзя же отказываться от борьбы?

— Бесчестно — отказываться?

— Да... нет... Просто... нельзя, нет смысла, понимаете?

Полковник круто повернулся к Алеше:

— Не понимаю. Объясните, пожалуйста.

На лицо полковника упал свет фонарей штаба, свет плохой, запятанный тенями деревьев. Лицо Троицкого казалось мертвенным и измятым, только один глаз поблескивал. Алеша мечтательно откинул голову на подставленную к затылку руку и улыбнулся:

— Вы сказали: два культурных человека. Но у нас с вами нет ничего общего. Настоящая культура вам неизвестна. У вас — культура неоправданной жизни, культура внешнего благополучия. Я тоже к ней прикоснулся и даже был отравлен чуть-чуть. Вы не понимаете или не хотите понять, что так жить, как жили... ну хотя бы рабочие на Костроме, нельзя, обидно. Возьмем отца или мать — моих: это нельзя простить. И я не могу жить, если рядом будет Пономарев, или Карабакчи, или ваш отец, или вы. Ваше существование, ваш достаток, ваша гордость, ваши притязания руководить жизнью оскорбительны. Будет моим личным счастьем, если вокруг себя, среди народа я не буду встречать эксплуататоров.

— Позвольте. Вы выражаетесь точно, и я не обижаюсь. Но ведь люди так жили миллионы лет, без этих ваших... идей и без вашего Ленина.

— Миллионы лет люди жили и не зная грамоты, огня, сытости. Попробуйте жить теперь без этого. Я думаю, что люди ни за что не откажутся и от электричества, и от медицины. Человек растет, господин полковник. Еще сто лет назад люди терпели оспу, вчера они терпели эксплуататоров, а завтра не будут. Мы с вами люди культурные, но стоим на разных ступенях культуры.

Опираясь руками на колени, полковник склонил голову. Алеша увидел на его темени круглую маленькую плешинку. Потом полковник вытасил платок и начал вытирать им лицо, вероятно, ему хотелось спать.

— Вы оперируете непосильными категориями: миллионы лет, ступени культуры. В своих поступках и в своих действиях люди никогда не руководились такими схемами. Человеческий поступок — это очень сложное явление, но он всегда должен быть живым движением, а не математической формулой. В этом месте вы мало убедительны. Кроме того, вы забыли одну важную вещь: человеческую нравственность. Без нравственности не будет никакой культуры и никаких ступеней. Будет одичание. Одичание в погоне за счастьем — это очень трагично, господин поручик. Вы, например, оказались мало чувствительным к такому явлению, как единство корпорации.

— Офицерской?

— Офицерской, если хотите. Я бы сказал шире: национальной, русской. И поэтому вы будете раздавлены. Россия — все-таки Россия, это реальность, а не схема. В момент разброда Ленин мог захватить Зимний дворец, допуская. Но русские люди остаются русскими, а они вовсе не безразличны к чувству чести. А у кого чувство национальной чести стоит на первом плане, за теми и пойдет народ. Вот видите, нас десять офицеров, десять людей, которые не так легко расправляются с честью, и за нами народ уже идет. Один полк, один полк, ощущающий честь, сильнее и благороднее какой угодно толпы, рвущейся к так называемому счастью. Это потому, что честь выше счастья. Я уж не знаю, как это располагается на ступенях культуры, но это очень высоко, а для некоторых даже и недоступно высоко. Вы были на фронте, вы не один раз несли вперед вашу жизнь, вы награждены золотым оружием. Спрашивается: почему я, обыкновенный армейский офицер, все-таки выше вас? А я выше, в этом нет сомнений.

Алеша по-прежнему смотрел на площадь. Его правое контуженое

ухо внимательно слушало однообразный, негромкий голос полковника. К сознанию слова приходили правильными рядами и немедленно разбегались по каким-то приготовленным помещениям. Слова казались обычными, старыми, было довольно скучно их слушать, проникновенность полковника вызывала только одно желание: быть с ним вежливым. В Алешиной душе оставалось еще много свободных просторов, вспоминалась жизнь людей, ее истины и ценности: Нина, отец, Богатырчук, темный осенний парк, за парком — Кострома, начинающая далекие пути по всей России, пути к городам, селам, деревням, где жили такие же люди, требующие справедливости и поднявшиеся за нее. И высоко над миром, над туманами большого далекого города стоял Ленин. Ленин видит всю Россию, видит каждого человека, знает его мысли и стремления, знает, может быть, что в запущенной комнате городской гауптвахты сидит Алеша и... нет, не страдает.

Часовой снова заходил перед окном, но он ничего не заслони́л в душе Алеши, как ничему не мешал и голос Троицкого. Алеша слушал его и для развлечения даже прищурился на окно. Сильнее начало болеть ухо.

— Знаете что, господин полковник. Спорить нам пришлось бы долго, а у нас времени не так много. Лучше я прочитаю вам одну маленькую выписку, очень короткую, три строчки.

— Из Маркса, конечно?

— Нет, Маркс для вас неприемлем.

Алеша вытащил из кармана записную книжку и перелистывал ее.

— Недавно я пересматривал в нашей клубной библиотеке только что полученные книги, пожертвованные книги. Не читал, а перелистывал. И вот: «Россия» — «полное географическое описание нашего отечества, настольная книга для русских людей». Обратите внимание — для русских. Том шестнадцатый, Западная Сибирь. Страница 265. Такая себе книга добросовестная, наивная и весьма патриотическая.

— Знаю.

— Знаете? Хорошо.

Алеша подошел к лампе.

— От марксизма это очень далеко. Ну, слушайте, три строчки: «В самом характере самоеда больше твердости и настойчивости, но зато меньше и нравственной брезгливости, — самоед не стесняется при случае эксплуатировать своего же брата, самоеда».

Алеша закрыл книжечку, спрятал ее в карман, снова сел на свою табуретку. Полковник молчал. Алеша опять положил подбородок на руки и заговорил, присматриваясь к акациям у штаба:

— Как счастливо проговорился автор, просто замечательно. Дело коснулось людей некультурных, правда? И сразу стало очевидно: чтобы эксплуатировать своего брата, нужно все-таки не стесняться. Не стесняться, — значит, отказаться от чести. Здесь так хорошо сказано — «нравственная брезгливость». Представьте себе, господин полковник: этот самый дикарь, у которого нет нравственной брезгливости и который не стесняется эксплуатировать своего брата, вдруг заговорит о чести. Ведь, правда, смешно? Дорогой полковник! Так же смешно выходит и у вас.

Полковник поднял лицо:

— Сравнение натянутое: я никого не эксплуатирую.

— Врете. Вы вскормлены, воспитаны, просвещены на эксплуатации. Я ни разу не позавтракал, когда учился в реальном училище. Спросите, сколько из заработка моего отца перешло в вашу семью? Пусть пять рублей в год. Значит, пятьдесят завтраков — моих. У вашего отца, как видите, тоже не нашлось нравственной брезгливости, и, как видите, он тоже не стеснялся. И вы сегодня не стесняетесь: собираетесь меня убить и пришли доказывать, что у меня нет чести. А ведь вы, именно вы, отнимали у меня такой пустяк, как ученический завтрак.

Полковник встал, начал застегивать шинель.

— Да! Нам говорить не о чем. Я вам — о чести, а вы мне — о завтраках. О России говорить и совсем уж не стоит.

— Россия! Как вы не понимаете? Россия уже сотни лет хочет вас уничтожить, а сейчас уничтожит. Она уже сказала вам: «Пошли вон!» — Алеша тоже поднялся у окна.

Троицкий застегнул шинель и почему-то опять опустился на табуретку. Алеша продолжал:

— А о чести, поверьте, я больше вашего знаю. Я был в боях, был ранен, контужен. Я знаю, что такое честь, господин Троицкий. Честь — это как здоровье, ее нельзя придумать и притянуть к себе на канате, как это вы делаете. Кто с народом, кто любит людей, кто борется за народное счастье, у того всегда будет и честь. Решение вопроса чрезвычайно простое.

Полковник захохотал:

— Согласен с такой формулой. Так народ-то с кем? Куда вы забежали с вашей Красной гвардией, товарищ большевик? Разве не народ выбросил вас из города? И выбросит из России!

Но Алеша уже не слушал. Полковник еще что-то говорил, а Алеша засмотрелся на чудесную картину. Происходила смена часового. Подошли пять человек с винтовками, шли они попарно, а разводящий — слева, как полагается. Часовой странно затоптался на месте, как будто начал танцевать. Алеша вдруг понял, почему он танцует. Пришедший караул был не в шинелях, а в пиджаках, подпоясанных ремнями, только разводящий был в шинели, а когда он немного повернул лицо, Алеша узнал Степана Колдунова. Караул подошел к часовому и остановился. Степан что-то говорил, часовой стоял неподвижно и слушал. Алеша повернул лицо к Троицкому, перебил его:

— Если вы хотите полюбоваться единством русского народа, идите сюда...

Полковник подскочил к окну и замер, видно — он не сразу понял, что происходит. Часовой сделал шаг влево, и на его место стал красногвардеец с винтовкой в правой руке. Троицкий бросился к дверям, но было уже поздно. Что-то зашумело у входа в гауптвахту. Троицкий отскочил к старому месту и вынул револьвер. Дверь широко распахнулась, Степан закричал:

— Алеша, ты?

Алеша схватил руку Троицкого, револьвер выстрелил в потолок. Троицкий с силой оттолкнул Алешу к окну, но в руках Степана два раза оглушительно загремело, два огненных пальца ударили в грудь

полковника. Его рука с наганом тяжело взметнулась вверх, он свалился у ног Алеши.

В дверь вломилось несколько человек. Степан шумно вздохнул:

— Ох-х!

Потом он закричал, как кричал всегда:

— Все в порядке! Алешенька, милый ты мой! Красавец ты мой, Алешка! Да мы ж думали...

Он облапил Алешу, сжимал его, хрипел:

— Ох, и молодец же ты!

— Да ты скажи, как там?

— Все кончено! Все в порядке! Расскажу, постой! Дай-ка я гляну, что с этим...

Он взял лампочку в руки, наклонился. Несколько человек наклонилось рядом с ним:

— Готов... господин полковник! А жаль... с оружием в руках помер! Не стоит он того.

46

Так впервые за несколько сотен лет наш город принял участие в исторических событиях. События только начались. Через две недели отряд Красной гвардии был вызван в губернию, там началось формирование большей части.

Провожали Красную гвардию отцы, матери, жены и дочери. И Семен Максимович устроил у себя в хате маленькие проводы. И на проводях сказал сыну:

— Ну, Алексей, значит, все как нужно. Я думаю, учить тебя нечего.

Василиса Петровна, только когда сын уходил уже на станцию, положила руки на его плечи:

— Ну, счастливо тебе, Алешенька. Не один идешь, с народом. А ты не беспокойся: мы поплачем, да и утрем слезы — обратно ждать будем.

К отходу поезда большое волнение прошло по Костроме. Девушки много пережили в этот день, а все-таки на станции и шутили и вспоминали постановку «Ревизора» неделю назад. У Степана не закрывался рот от болтовни и разных мудрых высказываний. И теперь главным объектом его педагогической заботы был капитан. А капитану было некогда: вместе с отрядом отправлялись в губернию две трехдюймовки.

Поезд тронулся. На перроне кричали и размахивали руками и шапками, и улыбалась Нина. Нина — это счастье, счастье оставалось на Костроме, но и поезд уходил в те стороны, где разгоралась борьба тоже за счастье.

Комментарии

Марш 30 года

(с. 7—102)

Впервые опубликовано в Государственном издательстве художественной литературы в 1932 г. Это издание взято за основу при подготовке данного тома.

А. С. Макаренко «Марш 30 года» начал писать осенью 1930 г., отложив работу над «Педагогической поэмой». Рукопись книги была закончена в конце года и направлена в ГИХЛ. Из письма Я. З. Черняка к А. С. Макаренко (1931) становится ясным, что, ознакомившись с рукописью, издательство попросило у автора предварительного согласия на некоторые редакционные поправки и изменения. Рукопись предлагалось сократить путем исключения полемиического материала, который, по мнению редакции, претендует на слишком широкие обобщения социального воспитания (ЦГАЛИ СССР, ф. 3208, оп. 2, ед. хр. 21, с. 1—8). Такая работа была, очевидно, проведена.

Можно предположить, что в первоначальном варианте рукописи «Марш 30 года»* А. С. Макаренко уделил большое внимание обобщению своего опыта, выступил с критикой отрицательных явлений в теории и практике коммунистического воспитания.

Подробности издания «Марша 30 года» таковы: в ГИХЛ из Харькова в конце 1930 г. поступила рукопись неизвестного тогда автора. Тема и форма произведения были для того времени необычными. И хотя книга была признана интересной, она переходила от одного редактора к другому, каждый вносил в нее свои исправления. Когда почти через год (в начале 1932 г.) рукопись получил редактор Ю. Б. Лукин, то, по его свидетельству, он начал свою работу с восстановления авторского текста и запросил у А. С. Макаренко копию рукописи. Копии у автора не оказалось, а приехать в Москву он в это время не имел возможности: налаживался выпуск продукции на коммунаром заводе электроинструмента. В конце лета 1932 г. он приехал на несколько дней в Москву для работы над версткой «Марша 30 года». В сентябре 1932 г. книга была подписана к печати.

Изданию этого произведения А. С. Макаренко способствовал А. М. Горький. 14 ноября 1931 г. он писал из Сорренто А. Б. Халатову: «История с «Записками» Макаренко о Харьковской колонии беспризорных темна и загадочна. Почему книга, одобренная редакцией, не появляется вот уже более года? Почему на запросы автора ГИХЛ не отвечает?..» (Архив А. М. Горького. Т. X. Кн. 1.— М., 1964, с. 254).

В письме от 17 декабря 1932 г. А. М. Горький поздравил А. С. Макаренко с изданием «Марша 30 года». Получив теплый и волнующий отзыв А. М. Горького о книге, А. С. Макаренко в ответном письме назвал высокую оценку А. М. Горького самым важным событием в своей жизни, вселившим уверенность в него продолжать работу над «Педагогической поэмой».

Книга была замечена литературной критикой. Так, в целом положительно оценивая «Марш 30 года», рецензия Л. Гессена указывала на «ряд неясных мест и весьма спорных положений»**. Говорилось, что должного внимания не уделено школе, образовательной работе,

* Первоначальный вариант рукописи не сохранился.

** См., например: Гессен Л. Рецензия на «Марш 30 года» А. Макаренко.— Художественная литература, 1933, № 4.

связи труда с обучением. Критические замечания вызывала также практика самоуправления, значение которой якобы преувеличивалось.

«Марш 30 года» содержит документальный материал о коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, повествуя об истории ее возникновения и развития с конца 1927 по конец 1930 г. В очерке* на первом плане оказывается изображение реальных событий. В этом заключается значимость данной книги как исторического документа, запечатлевшего факты начального этапа жизни и деятельности трудового коллектива коммунаров-дзержинцев.

Особую ценность в педагогическом отношении имеет то, что это произведение достаточно полно раскрывает существенные черты макаренковской системы воспитания, показывает реализацию важнейших педагогических принципов в конкретных формах и средствах воспитания, сложившихся в результате многолетнего творческого поиска педагога-новатора. Соратник А. С. Макаренко, талантливый педагог коммуны им. Ф. Э. Дзержинского В. Н. Терский писал: «Марш 30 года» не является показом каких-либо окончательных достижений Макаренко и его коллектива. Это — система в действии, это именно движение, его зарисовка**.

Название произведения символично, так как в нем коммуна показана в марше — в постоянном движении вперед. В названии книги отражена атмосфера общественного подъема в нашей стране в годы первой пятилетки, реконструкции народного хозяйства и индустриализации. Прочная связь жизни и деятельности трудового воспитательного коллектива с практикой социалистического строительства, созданием нового социально-экономического уклада лежит в основе педагогической организации коммуны дзержинцев и является в книге ведущей идеей повествования. «Марш 30 года» динамично и образно дает представление о многогранной и напряженной жизни, творческой деятельности коллектива дзержинцев, единого по своему содержанию и духу с историческими свершениями советского народа в начале 30-х гг.

Проблема коллектива у А. С. Макаренко тесно связана с его учением о трудовом воспитании. Он воспитывал не только словами, а делом, трудом, дисциплиной, традициями. Труд, участие воспитанников в выполнении общественно полезных дел — вот что лежит в основе жизни коллектива коммуны.

Внимание автора сосредоточено на проблемах, которые являются весьма актуальными для деятельности учебно-воспитательных учреждений и сегодняшнего дня. Это развитие социалистического способа хозяйствования и управления в трудовом воспитательном коллективе, органическая связь активного и широкого самоуправления в коллективе с педагогическим руководством, отношения товарищества и сотрудничества взрослых и детей в коллективе, развитие клубной работы и организация культурного отдыха, физкультурно-оздоровительной работы и др.

¹ *Клифт* (жарг.) — пиджак, ватная куртка.

² Придавая большое значение в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского клубной работе, А. С. Макаренко выделил для нее специальные помещения, в том числе так называемый тихий клуб, где можно было заниматься только в полной тишине, не мешая разговорами своим товарищам, и громкий клуб, где можно было проводить беседы и диспуты, репетиции оркестра, декламировать вслух.

³ *Шепинг* — деревообрабатывающий станок.

⁴ Шпшельниками называли коммунаров, изготавливающих «шишки», необходимые в литейном производстве.

⁵ А. С. Макаренко усложнял и совершенствовал систему воспитания, исключал отжившие и включал новые элементы, в иных случаях только как временную меру. К их числу относится созданная в 1929—1930 гг. специальная коллегия дежурных заместителей начальника коммуны, сокращенно ДЗ. Коллегия состояла из 9, а затем из 15 членов, старших коммунаров — комсомольского актива, которые ежедневно несли дежурство по коммуне. Каждому приходилось, таким образом, дежурить три, а позже — два раза в месяц. Это была особая форма делового использования старших коммунаров. Таким активом А. С. Макаренко очень дорожил и считал необходимым применить его силы на самой ответственной работе. (Со времени введения ДЗ педагоги в коммуне не дежурили.) Почетное звание заместителя начальника коммуны ДЗ имел только в день своего дежурства. Как только он сдавал дежурство и снимал повязку, он становился рядовым коммунаром и никакими дополнительными правами не пользовался. Коллегия ДЗ очень подняла авторитет дежурного и сыграла положительную роль в становлении коллектива. В 1931 г. соотношение сил в коллективе изменилось: многие

* Подробнее о жанре этого произведения см. с. 504.

** Терский В. Н. Учебник воспитания. — В кн.: Макаренко А. С. Марш 30 года. М., 1967, с. 225.

старые активисты уже были выпущены из коммуны, коллектив в целом достаточно сложился. Обязанности дежурных по коммуне — ДК — несли в это время все командиры отрядов по очереди, но они не имели звания и прав дежурных заместителей.

Следует заметить, что прочно сплоченный актив в коммуне А. С. Макаренко рассматривал как ближайшую опору педагогов. Он на практике показал, как организационные формы должны насыщаться конкретным содержанием работы и как они должны изменяться вместе с возникновением новых задач, поставленных перед коллективом. Четкое распределение функций, тщательно продуманная система управления, строгое подчинение и сознание ответственности в сочетании с творческой инициативой и энергией, стимулируемой и направляемой руководителем, — все это и определяло организационную структуру коллектива.

⁶ *Вызов на середину* на совете командиров или общем собрании коммунаров был одной из форм воздействия коллектива на личность. А. С. Макаренко, характеризуя этот вызов, говорил в одной из лекций: «Почему боялись общего собрания? Нужно выйти на середину комнаты, встать и отвечать на все стороны... Это не позор, а ответственность перед коллективом».

⁷ *Изокружок*, которым руководил В. Н. Терский, объединял два кружка: кружок рисования для младших коммунаров и кружок изобретателей, где учились мастерить, приобщались к техническому творчеству, выполняли разнообразные практические задания коллектива.

⁸ *Коллектор* — учреждение для предварительного пребывания беспризорных и других категорий детей перед их распределением по детским учреждениям различного типа.

⁹ *Остроносую* — восстановлено по прижизненному изданию А. С. Макаренко.

¹⁰ *ДЧСК* — дежурный член санитарной комиссии коммуны.

¹¹ *Шпионскими* — восстановлено по прижизненному изданию А. С. Макаренко.

¹² *Шарошка* — особый резец для обработки металла. Такое наименование стенной газеты коммунаров отражало ее боевой характер. А. С. Макаренко использовал полемику между газетами «Дзержинец» и «Шарошка», чтобы активизировать деятельность и повысить значение стенной печати в коммуне.

¹³ *Буза* — восстановлено по прижизненному изданию А. С. Макаренко.

¹⁴ *Рассердился* — восстановлено по прижизненному изданию А. С. Макаренко.

¹⁵ По «Конституции страны ФЭД» (своеобразному своду основных правил жизни коммуны) секретарь совета командиров (ССК) обладал большими полномочиями. Он избирался на общем собрании на 6 месяцев, освобождался от работы на производстве и получал зарплату, равную его среднему заработку на производстве в момент его выборов. ССК имел право единолично накладывать взыскания и давать отпуска коммунарам и воспитанникам, посещать уроки, имел право приказания. Он обязан проводить в жизнь все решения совета командиров, наблюдать за работой дежурных командиров.

Следует заметить, что проблему самоуправления коллектива А. С. Макаренко рассматривал не как изолированное средство, а как необходимую составную часть всей совокупности средств педагогически целесообразной организации детской жизни и деятельности.

¹⁶ Со дня открытия коммуны им. Ф. Э. Дзержинского была заведена книга отзывов ее посетителей. В ней оставили свои записи многочисленные делегации, среди которых было большое число иностранных. Коммуну посещали государственные и общественные деятели, выдающиеся представители культуры. Книга отзывов хранится в ЦГАЛИ СССР.

¹⁷ Дорога, длиной более километра, соединяющая коммуну с Белгородским шоссе, была построена осенью 1930 г. в значительной степени силами коммунаров.

¹⁸ *ВЭК* — Всеукраинский электромеханический комбинат в Харькове.

¹⁹ Кабинет в практике А. С. Макаренко играл роль «педагогического центра», объединяющего администрацию и органы самоуправления в руководстве коллективом. Это было важным средством объединения воспитанников и взрослых в единый коллектив.

²⁰ *Гаму* — восстановлено по прижизненному изданию А. С. Макаренко.

²¹ *Гбди* (на укр. яз.) — достаточно, хватит.

²² *Невероятном* — восстановлено по прижизненному изданию А. С. Макаренко.

²³ Ежедневные рапорты командиров отрядов и дежурных (со сдачей их в письменной форме) — одна из традиций колонии горьковцев и коммуны дзержинцев. В сочетании с общим собранием, обсуждением итогов дня и объявлением приказа на будущий день сдача рапортов была важным организующим фактором, позволяющим привлекать к повседневному руководству коллективом всех воспитанников. Это одно из средств демократизации коллективной жизни, формирования общественного мнения, объяснения на конкретных фактах сущности поступков, коллективных действий. Иногда сдача рапортов происходила в кабинете А. С. Макаренко, без общего собрания.

²⁴ Салют и ответ «есть» после получения распоряжения, включая и наказание, означали согласие воспитанника с ним. Спорный вопрос должен был решаться общим собранием.

²⁵ Дежурные заместители (ДЗ) имели право наложить взыскание за незначительный проступок. Это было их особой привилегией, так как и до организации этой «коллегии», и после того как окончилась ее полномочия (см. примеч. 5), право налагать наказание принадлежало лично А. С. Макаренко, общему собранию и совету командиров в присутствии А. С. Макаренко или замещающего его лица (совет собирался только при участии педагога).

²⁶ А. С. Макаренко обычно «амнистировал» воспитанников, оставленных «без кино». К этой мере он прибегал и при других формах наказания, учитывая особенности того или иного вида морально-психологического воздействия.

Однако воспитанников, оставленных «без кино», А. С. Макаренко прощал чаще, и это не случайно. Кино в коммуне — два раза в неделю — было важной частью воспитательно-образовательной работы, поэтому тематика картин подбиралась особенно тщательно. Вновь показанные кинофильмы обсуждались, как правило, сразу после сеанса. Иногда А. С. Макаренко сам давал краткий анализ просмотренной картины, подчеркивая, над чем надо подумать, чему поучиться у героев. Любимыми кинофильмами коммунаров были «Чапаев» и «Броненосец «Потемкин». Кино служило продуманной школой политического и культурного роста коммунаров.

²⁷ *Небрежно и как-то неумело одетый* — восстановлено по прижизненному изданию А. С. Макаренко.

²⁸ «Перпетуум-мобиле» (от лат. *perpetuum mobile* — вечно движущийся) — вечный двигатель.

Считается, что разные доказательства неосуществимости вечного двигателя часто служили исходным пунктом для важных научных выводов и открытий. В. Н. Терский, используя притягательную для подростков идею вечного двигателя, побуждал их к разнообразному техническому творчеству.

²⁹ Лженаучная теория, утверждавшая, что сказки вредны для детей, была в 20—30-е гг. широко распространена.

А. С. Макаренко указывал на воспитательную роль народных сказок. Он считал педагогически неприемлемыми так называемые страшные сказки.

³⁰ «Полной беспорядочности и хаотичности его работы, небрежности в ее формах и в особенности полного...» — восстановлено по прижизненному изданию А. С. Макаренко.

³¹ Горлёт сочетал в себе лучшие качества различных спортивных игр, в особенности тенниса, волейбола и футбола. Сложные правила этой игры способствовали развитию коллективизма, быстроты реакции, находчивости.

³² Большое значение в нравственном воспитании коммунаров А. С. Макаренко придавал эстетике форменной одежды, которая объединяла воспитанников, способствовала повышению ответственности каждого перед коллективом.

Коммунары имели несколько костюмов: школьный, производственный (комбинезоны-спецовки), спортивный (летний и зимний), домашний и парадный. Домашняя одежда была разнообразной. У девочек зимней парадной формой одежды были синяя блузка с белым воротничком, плиссированная крупной складкой черная юбка с лакированным ремешком, синий берет. Летняя парадная форма была сшита из белой ткани, различной для одежды мальчиков и девочек. Покрой платьев девочек такой же, как и зимней формы; у мальчиков блузы заправлены в брюки. На левом рукаве парадной формы — бархатные ромбики с вышитой под золото монограммой ФД. Летний парадный головной убор — расшитые под золото тюбетейки. В особые дни в приказе по коммуне указывалась для всех обязательная форма одежды.

³³ А. С. Макаренко считал важнейшим методом воспитания «организацию завтрашней радости» и систематически ставил перед коммунарами близкую, среднюю и дальнюю перспективы. Подробнее об этом см. его работу «Методика организации воспитательного процесса» (глава «Перспектива»).

³⁴ *Комиссией* — восстановлено по прижизненному изданию А. С. Макаренко.

ФД-1

(с. 103—214)

Впервые полностью опубликовано в 4-й книге Избранных педагогических сочинений А. С. Макаренко (М., 1949). Отрывки из очерка «ФД-1» печатались в журнале «Советская педагогика» в 1944 г., в № 5—6. Авторская машинопись этого произведения А. С. Макаренко, с подписью-автографом, правкой автора и Г. С. Макаренко, без даты, хранится в ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 16.

В пояснительной записке Г. С. Макаренко к авторской машинописи говорится: «Текст

повести «ФД-1» Антон Семенович написал в Москве, в гостинице «Маяк» в марте—апреле 1932 г. во время своего отпуска... Текст этот он написал в трех экземплярах, начисто, без черновиков, на машинке. Часть рукописи он уничтожил, некоторые страницы употребил для черновиков... Составлена настоящая рукопись из собранных мной при жизни Антона Семеновича первых, вторых и третьих уцелевших материалов».

Авторская рукопись составлена из двух машинописных вариантов текста: первый вариант — от страницы 1 до страницы 125, с которым приложенное к рукописи оглавление не совпадает; второй вариант текста — от страницы 152 до страницы 363 — последней, с которым оглавление совпадает. При объединении двух вариантов текста страницы второго варианта не были заново пронумерованы. Поэтому разрыва между последней страницей первого варианта и первой страницей второго варианта, т. е. между 125 и 152 страницами, на самом деле не существует. Об этом свидетельствует непрерывающаяся сюжетная линия. На странице 125 общее собрание коммунаров отмечает выполнение плана в арматурном цехе на 80%, а на странице 152 коммунары гневно обрушиваются на металлистов за невыполнение плана на 14%. Следовательно, страница 152 рукописи на самом деле является страницей 126, страница 153 — 127-й, страница 154 — 128-й и т. д.

Таким образом, авторская рукопись очерка «ФД-1» должна состоять не из 363, а из 337 страниц. В ней отсутствует 26 страниц. Это объясняется тем, что А. С. Макаренко, работая над повестью «Флаги на башнях», пользовался в качестве первичного материала рукописью «ФД-1». Из 27 глав рукописи в 19 недостает того или иного количества страниц. Вообще отсутствуют главы: 10. И трагедии и комедии; 14. Положение на фронте; 26. Поворот оверштаг. Заголовки этих глав, а также тех глав, которые сохранились частично, восстановлены и приводятся в данном издании по оглавлению, приложенному к авторской машинописи. В данном издании пропуски отмечаются отточием. На обороте ряда страниц рукописи сохранился текст, ранее написанный автором, впоследствии им измененный. В рукописи встречаются небольшие поправки, чаще рукой автора, реже посторонней рукой, исправившей описки. О них сообщается в примечаниях.

На авторском титульном листе рукописи «ФД-1» характеризуется как третья часть «Педагогической поэмы». Во время работы над ее второй частью в начале 1934 г. А. С. Макаренко отказался от замысла написать историю коммуны им. Ф. Э. Дзержинского в третьей части «Педагогической поэмы». Рукопись «ФД-1» была сдана им в ГИХЛ в 1932 г. (до 5 октября), как свидетельствует об этом письмо А. С. Макаренко А. М. Горькому. Хотя в письме есть указание, что рукопись издательством принята, она не была опубликована при жизни автора.

В авторском материале нет указания на жанр «ФД-1». В упомянутом выше письме А. С. Макаренко к А. М. Горькому это произведение называется большим очерком. Как и «Маршу 30 года», ему свойственна документальность. В обоих произведениях фамилии коммунаров и других действующих лиц, как правило, не изменяются, нет смещений в датировке событий, чего нельзя сказать о повести «Флаги на башнях» или «Педагогической поэме». Поэтому «Марш 30 года» и «ФД-1» следует считать не повестями, как это практиковалось в предыдущих изданиях сочинений А. С. Макаренко, а книгами, каждая из которых представляет собой цикл документальных очерков. Именно так они характеризуются в настоящее время литературоведами.

По содержанию, хронологически «ФД-1» — это продолжение «Марша 30 года»: возвращение коммунаров-дзержинцев в Харьков из крымского похода. Книга рассказывает о том, что «выпало на долю коллектива в славном боевом тридцать первом году», итогом которого стал пуск в январе 1932 г. первого в СССР завода электроинструмента коммуны им. Ф. Э. Дзержинского.

В «ФД-1» развивается тема, положенная в основу «Марша 30 года»: активное участие трудового воспитательного коллектива в социалистическом строительстве, формирование нового образа жизни и нового человека в нашей стране. А. С. Макаренко показывает, как в условиях советского строя получает практическое воплощение ведущая идея марксистско-ленинской педагогики — формирование разносторонне развитой личности в процессе революционного преобразования мира на коммунистических началах.

Читатель найдет здесь многие принципиальные положения А. С. Макаренко о связи педагогики с политикой, о воспитательной роли образования и производительного труда, о воспитании советского патриотизма. Большое место отвел автор вопросам дисциплины. Следуя марксистско-ленинскому учению, А. С. Макаренко считает, что дисциплина есть результат воспитания, она не может быть лишь внешним явлением, формой подавления личности. Дисциплина — это понятие нравственное. Дисциплина не может вытекать из сознания, но она должна определяться сознанием, являясь результатом воспитательного процесса, а не отдельных специальных мер.

Наименованием книги стала марка первой в Советском Союзе переносной электросверлилки, производить которую стал завод электроинструмента коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. Буквы ФД означают инициалы Феликса Дзержинского, а цифра 1 — номер модели. Название книги символично. Этим заглавием А. С. Макаренко подчеркивает, что основная и важнейшая продукция коммуны дзержинцев — люди новой, «советской марки», способные коллективно бороться и строить, любить жизнь, находить счастье в созидании и творчестве.

В конце 1932 г. А. С. Макаренко, обобщая факты, отображенные в «Марше 30 года» и «ФД-1», писал, что коммунары воспитываются самой жизнью, работой, стремлениями коллектива, которые определяются «нашей революцией, нашими пятилетками, нашей борьбой за экономическую независимость, нашим стремлением к знаниям, нашим... коммунарским бытом, нашей дисциплиной, каждой минутой нашего напряженного, полного усилия, смеха, бодрости, мысли дня» (см.: Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. II.—М., 1950, с. 404—405).

Безусловный педагогический интерес представляет подробное описание кавказского похода коммунаров в 1931 г. Ежегодные летние походы-путешествия коммунаров по родной стране составляют важный элемент макаренковской системы воспитания. Содержание, направленность, формы организации таких походов всем коллективом вполне применимы для современной практики туристско-экскурсионной работы. Коммунарские походы активно содействовали патриотическому воспитанию, формировали у воспитанников чувство морально-политического единства народов СССР, развивали общественную активность коммунаров, расширяли их кругозор, представления о современном производстве, социалистической экономике. В походах проверялась зрелость коллектива, укреплялась его дисциплина, организованность, товарищество. Эти задачи решались в едином комплексе с организацией отдыха и физкультурно-оздоровительной работой воспитанников. О содержании летнего похода в 1933 г. см.: Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VII. — М., 1958, с. 482—483.

¹ Очерк «ФД-1» начинается с возвращения коммунаров из крымского похода, описанного в книге «Марш 30 года».

² Слова и ноты марша «Дзержинец» см. в сб.: Второе рождение / Сост.: И. Бочалис, С. Шаховской, Л. Гольдорабр.— Харьков, 1932.

³ Во время походов первичным коллективом в коммуне был взвод. В обычных условиях жизнедеятельности колонии и коммуны первичным коллективом был постоянно действующий отряд, который не подменялся различными первичными объединениями в учебной, кружковой, спортивной и другой работе. В трудовом воспитательном коллективе колонии и коммуны основой организации первичного коллектива был производственный принцип, реализующий ведущую роль трудовой деятельности в формировании личности.

⁴ Название главы «К теории мутаций» восстановлено по авторской машинописи. Данная теория возникла в результате открытия мутаций — наследственных изменений признаков и свойств организмов.

⁵ На оборотной стороне листов в рукописи А. С. Макаренко есть текст, где после слов «переросток спутывает весь педагогический пасьянс» следует: «В борьбе с беспризорными нужно приходить на помощь и младшим и старшим, все они одинаково нуждаются в нашей работе, всех нужно учить грамоте, всем нужно дать советское воспитание. Мы и усаживали их в первые, вторые, третьи и четвертые группы. Здесь мы их учили двум родным языкам, украинскому и русскому, арифметике, политграмоте. Кое-как обходили Сциллы и Харибды комплексной скуки, кое-как старались сделать вид, что наша учеба связана с производством и общественно полезным трудом, но втихомолку нажимали на грамотность и умение считать...»

⁶ На оборотной стороне листов в рукописи А. С. Макаренко есть текст, где после слов «всей нашей работы и всей нашей жизни» следует: «И так же точно, как никто не может остановить рост усов у юноши восемнадцати лет, так никакая сила не могла остановить наше развитие в рабфак осенью тридцатого года — никакая сила в Советском Союзе, ибо у нас в Союзе таких сил даже по каталогу не имеется.

Решающим обстоятельством в этом деле явилось то, что мы были совершенно независимы в финансовом отношении. Коммуна не жила на смете, мы ниоткуда не получали денежной помощи и ни от кого ее не ожидали.

Первым творческим актом нашей свободы был рабфак, делом важности ни с чем не сравнимой, дававшим нам неизмеримые запасы энергии, открывающие совершенно непредвиденные горизонты».

⁷ Слово *мутаций* восстановлено по рукописи А. С. Макаренко.

⁸ ЦКПД — Центральная комиссия помощи детям.

⁹ На оборотной стороне листов в рукописи А. С. Макаренко есть текст, где после слов «Написан ли фон?» следуют два абзаца:

«Я начинаю рассматривать нашу советскую жизнь и ищу фон. Пробовал учиться у вели-

ких мастеров — ничего не выходит. У них все это было легко. Небеса, темные и прохладные дубравы, тихие и сонные мещанские будни. Можно накрепко укрепить мольберт на одном месте и писать, писать... Можно даже лечь, отдохнуть, проснуться и продолжать писать все тот же фон.

Попробуйте теперь подойти к окну с таким философским спокойствием. Ну, никаких небес, а есть зарево иллюминаций, курьерские скорости вихрей и облака, перемешанные с дымом заводов. Даже и слова такого нет. Наш человек если представит себе такую дубраву, то обязательно со столбиком какого-нибудь отдела пятилетки — либо лесное хозяйство, либо осушение, либо дорога. Поэтому по вопросу о фоне, на котором рисовалась коммунарская жизнь, мне приходилось говорить чрезвычайно осторожно, ибо наша жизнь совсем иная, и нельзя...»

¹⁰ Персонаж произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» — авантюрист Остап Бендер охарактеризован авторами как «великий комбинатор».

¹¹ Этот абзац восстановлен по рукописи А. С. Макаренко.

¹² Предложение «Калькуляция Соломона Борисовича не вызывала у нас доверия, но нам понравилась глубокая уверенность в возможности нашего производственного оздоровления» восстановлено по машинописной рукописи А. С. Макаренко.

¹³ Восстановлено по рукописи А. С. Макаренко.

¹⁴ В коммуне им. Ф. Э. Дзержинского старшие дзержинцы шефствовали над младшими и ласково называли их корешками.

¹⁵ Диоген из Синопа (403—323 до н. э.) — знаменитый греческий философ.

¹⁶ Два последних предложения восстановлены по рукописи А. С. Макаренко.

¹⁷ После этого предложения в рукописи следует текст, зачеркнутый автором: «Старая эстетика запрещала в художественном произведении цифры. Вот странно, почему? Цифры — это замечательно художественная вещь. В какой-нибудь такой двузначной или пятизначной штуке заключается больше поэзии, чем в целой дивизии пастушков и пастушек, чем во всем семействе Лариных. Разве это не поэтично, слушайте...»

¹⁸ В сражении под селом Ваграм (на Дунае) 6 июля 1809 г. Наполеон разгромил австрийскую армию и взял с Австрии многомиллионную контрибуцию.

¹⁹ Это предложение восстановлено по рукописи А. С. Макаренко.

²⁰ Фамилия Болотов внесена в текст рукой А. С. Макаренко вместо другой фамилии, ранее стоявшей в рукописи. Есть сведения, что воспитанник Болотов с отличием окончил институт, стал инженером-подводником, погиб в годы Великой Отечественной войны.

²¹ Рядом на полях рукой А. С. Макаренко запись: «Ермоленко—Воленко».

²² Здесь в рукописи А. С. Макаренко отсутствуют шесть страниц, включающие конец гл. 7. и начало гл. 8 (страницы 54—59).

²³ Аналогичное описание литейной дано в повести «Флаги на башнях», ч. II, гл. 5 «Литейная лихорадка».

²⁴ Материал этой главы о технических неполадках в токарном цехе использован в повести «Флаги на башнях», ч. II, гл. 21 «Механические слезы».

²⁵ «...председатель Правления» — это правка Г. С. Макаренко. В рукописи А. С. Макаренко было: «до приезда в коммуну Всеволода Аполлоновича Балицкого». Далее упоминания о нем заменяются словами «председатель Правления», «председатель».

²⁶ По материалам этой главы о краже рассказано в повести «Флаги на башнях», ч. II, гл. 30 «Кража».

²⁷ Здесь рукопись обрывается, и далее отсутствуют 26 страниц, включающие конец гл. 9, всю гл. 10 и начало гл. 11 (страницы 78—103).

²⁸ Эта шутка описана также в повести «Флаги на башнях», ч. III, гл. 4 «Первое мая».

²⁹ Здесь в рукописи отсутствует 5 страниц, где было дано юмористическое обозрение в стихах «Постройка стадиона», написанное и поставленное А. С. Макаренко в конце 1931 г. (страницы 107—111). Этот текст входит в «Литературные обозрения для эстрадных представлений», который хранится в ЦГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 37.

В прологе «Постройка стадиона» шел монолог Соломона Борисовича Когана, заведующего коммунарсским производством, роль которого, как говорится в указанном архивном источнике, играл коммунарс А. Агеев. Перефразируя монолог Бориса Годунова из одноименной трагедии А. С. Пушкина, С. Б. Коган говорил:

Напрасно мне кудесники сулят
дни долгие, дни власти безмятежной.
Ни власть, ни жизнь меня не веселят.
Предчувствую небесный гром и горе.

Мне счастья нет. Я думал коммунаров
в цехах и производстве успокоить,
зарплатою любовь их всех снискать,
но отложил пустое попеченье...

Далее шли драматические сцены производственных неудач коммуны, приезд С. Б. Когана, танец приехавших с ним кустарей, торжественный марш коммунаров, пантомима постройки «стадиона», посещение строительства членами Правления коммуны.

³⁰ Приведенными здесь стихотворными строками заканчивалось обозрение «Постройка стадиона». Некоторые эпизоды из обозрения вошли также в повесть «Флаги на башнях», ч. II, гл. 29 «Борис Годунов», где дано художественное описание данного эпизода жизни коммуны.

³¹ Кроме литературного обозрения «Постройка стадиона» с использованием текста «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и музыки из опер «Евгений Онегин», «Риголетто», «Кармен» в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского ставилась «Коммунарская феерия в одном акте с музыкой, танцами и повышением производительности труда», где А. С. Макаренко и коммунары изображали производственную тематику строительства заводов (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 37). Действующими лицами этой феерии были коммунары и инженеры, помогавшие строить заводы, а также Электросверлилка и Лейка (имелись в виду главные виды продукции коммунарских заводов электроинструмента и пленочных фотоаппаратов типа «немецкой лейки»). Между Электросверлилкой и Лейкой шло как бы соперничество — соревнование, выявлялось, кто из них лучше.

Электросверлилка:

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда вертлява, простодушна,
Сверлилка наша так мила.
Ее сердечко бьется, шутка?

Лейка:

Ее сестра звалась Лейкой.
Ее взрастил немецкий дом,
Она явилась к нам злодейкой,
Довольно вредным существом.

Юмористические и сатирические обозрения создавались и ставились в коммуне дзержинцев и на международные темы, освещая злободневные политические вопросы («Дзержинцы в Европе», «Паровоз», «Red Army» и др.).

Художественная самодеятельность занимала важное место в развитии коллектива и колонистов-горьковцев, и коммунаров-дзержинцев.

³² Это слово восстановлено по рукописи А. С. Макаренко.

³³ В рукописи *Букшпан*. Исправлено здесь и далее на *Крейцер* рукой А. С. Макаренко. Беседа Крейцера с коммунарами по поводу строительства завода дана подробно в повести «Флаги на башнях», ч. II, гл. 20 «Крейцер».

³⁴ О производственной программе рассказано в несколько измененном виде в повести «Флаги на башнях», ч. II, гл. 28 «Плакат-план».

³⁵ Имеется в виду, что назначенная Правлением коммуны ревизионная комиссия составила акт о неудовлетворительном состоянии производственных построек коммуны. Ревизионная комиссия особо отметила, что они не соответствуют требованиям противопожарной охраны.

³⁶ Две страницы авторского машинописного текста не сохранились (страницы 121—122).

³⁷ Весь последующий материал этой главы вошел в повесть «Флаги на башнях», ч. II, гл. 22 «Слово».

³⁸ Последующие 4 страницы авторской рукописи отсутствуют (страницы 153—156).

³⁹ Весь эпизод с Воленко и его уход из коммуны им. Ф. Э. Дзержинского даны в повести «Флаги на башнях», ч. II, гл. 11, 12, 13.

⁴⁰ Здесь машинописный текст обрывается. Последующие 24 страницы, включающие конец гл. 13, всю гл. 14 и начало гл. 15, не сохранились (страницы 163—185).

⁴¹ В рукописи: «Степана Акимовича Марголина». Рукой А. С. Макаренко исправлено на: «Семена Мойсеевича».

⁴² Походный строй коммунаров-дзержинцев, как и колонистов-горьковцев, обычно замыкал один из малышей с флажком в руках. Алексюк был таким флаженером в коммуне.

⁴³ Курупр — Курортное управление.

⁴⁴ ОПТЭ — Общество пролетарского туризма и экскурсий.

⁴⁵ Имеются в виду путеводители С. С. Анисимова.

⁴⁶ В рукописи: «Броневой». Рукой Г. С. Макаренко исправлено на: «Крейцер».

⁴⁷ Последующие 3 страницы авторской машинописи отсутствуют (страницы 245—247).

⁴⁸ Фабрициус, Ян Фрицевич (1877—1929) — коммунист, активный участник гражданской войны.

⁴⁹ Машинописный текст обрывается, 3 страницы не сохранились (страницы 253—255).

⁵⁰ Имеется в виду известное выражение К. Маркса: «Религия — опиум народа».

⁵¹ Весь эпизод с церковью, начиная от этих строк и кончая словами «...ну, я и ушел, что мне...», впоследствии с некоторыми незначительными изменениями был использован А. С. Макаренко в «Педагогической поэме», ч. III, гл. 11 «Первый сноп».

⁵² Дальше 2 страницы авторского машинописного текста отсутствуют (страницы 263, 264).

⁵³ Две страницы авторской машинописи не сохранились (страницы 274, 275).

⁵⁴ Далее отсутствуют 12 страниц авторского машинописного текста, включающие конец гл. 22 и начало гл. 23 (страницы 278—289).

⁵⁵ Последующие 20 страниц авторского машинописного текста, включающие конец гл. 23 и начало гл. 24, не сохранились (страницы 291—310).

⁵⁶ Название главы в рукописи А. С. Макаренко отсутствует и восстановлено по оглавлению, предшествующему всему произведению.

⁵⁷ Термином «оверштаг» обозначается поворот, при котором парусное судно переходит линию ветра носом к нему, т. е. поворот против ветра. Вся глава в авторской рукописи отсутствует.

⁵⁸ Здесь названы имена владельцев иностранных фирм, выпускавших электро-сверлилки.

Мажор

(с. 215—286)

Впервые пьеса «Мажор» была опубликована в Государственном издательстве художественной литературы в 1935 г. под псевдонимом А. С. Макаренко — Андрей Гальченко. Это издание используется при подготовке данного тома с учетом сверки с авторским машинописным текстом (с правкой и подписью А. С. Макаренко), которая хранится в ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 51.

«Мажор» — первый драматический опыт А. С. Макаренко. Первый вариант пьесы был написан им в конце 1932 или в начале 1933 г. Рукопись была утеряна во время летнего похода коммуны в 1933 г. Осенью 1933 г. А. С. Макаренко вторично написал это произведение и представил его на объявленный Совнаркомом Союза ССР Всесоюзный конкурс пьес советских писателей. В постановлении жюри конкурса А. С. Макаренко был отмечен среди первых трех новых имен в нашей драматургии.

В конце 1933 г. возник план постановки этой пьесы в шефствующем над коммуной им. Ф. Э. Дзержинского Харьковском театре русской драмы. Однако А. С. Макаренко отказался от этого предложения и весной 1934 г. передал пьесу А. М. Горькому. Алексей Максимович указал на некоторые недостатки пьесы и посоветовал автору после их исправления предложить «Мажор» Московскому Художественному театру.

Весной—летом 1934 г. А. С. Макаренко представил пьесу в Московский Художественный театр, но получил там отказ. Не имели успеха его обращения в это время и в другие театры. Желание автора увидеть «Мажор» на сцене так и не осуществилось; в 1934 г. писатель передал пьесу в ГИХЛ, где она и вышла отдельным изданием.

Сопоставление прижизненного издания с авторской рукописью указывает на некоторые сокращения текста при публикации, а также на небольшие дополнения. Данные сопоставления отражены в примечаниях.

Основываясь, по-видимому, на заключении жюри, издательство снабдило книгу следующей аннотацией: «Одобренная на Всесоюзном конкурсе пьеса Гальченко «Мажор» знакомит зрителя с жизнью харьковской трудкоммуны им. Ф. Э. Дзержинского. В пьесе показано, как вчерашние беспризорники становятся подлинными новыми людьми нашего

времени и влияют на скептически настроенных инженеров коммуны, заражая их своим энтузиазмом.

Пьеса для постановки сложная, с большим количеством массовых сцен, доступная лишь профессиональным театрам.

Действующих лиц — 31:
из них мужчин — 25
 женщин — 6
и эпизодические*.

По своему содержанию «Мажор» продолжает рассказ об истории развития коммуны им. Ф. Э. Дзержинского, начатый «Маршем 30 года» и «ФД-1». Действие пьесы относится к периоду постройки и освоения коммунарского завода электроинструмента, оно начинается с момента возвращения коммунаров из кавказского похода летом 1931 г. Но этому произведению уже не свойственна документальность, здесь используются приемы художественного обобщения, типизации.

Пьеса обращает внимание на один важный и новый аспект воспитательного процесса: единство воспитания и перевоспитания взрослых и детей под влиянием советской действительности, объективных условий строящегося социализма, жизнедеятельности трудового коллектива. А. С. Макаренко подчеркивал в своих трудах важность роста и развития самих педагогов вместе с коллективом, указывал на роль детского коллектива в этом процессе. Коллектив детей в макаренковской педагогической системе не изолированное явление, он вместе со взрослыми и под их руководством активно участвует в перестройке жизни на социалистических и коммунистических началах.

Освещение «великого процесса перевоспитания» людей ходом социалистического строительства, всей атмосферой, тоном нашей жизни и новыми отношениями, событиями повседневной жизни, когда «перевоспитываются не только дети», А. С. Макаренко затем продолжил в пьесе «Ньютоновы кольца»*.

В «Мажоре» центральное место занимает проблема зарождения и укрепления новой, коммунистической морали в борьбе с устаревшими нравственными представлениями и нормами, в конфликте старого с новым. На первый план выдвигается проблема новой культуры, которая зарождается в условиях социалистического производства. В подготовительном материале к пьесе он отмечал: «картины старой культуры», «общий тон и характеры коммунаров и их культуры», «первые соприкосновения двух культур», «первые столкновения сил — не враждебные, но явно чужие», «начало расслоения», «бой», «полная вражда некоторых, победительные удары нового коллектива», «генеральный бой и победа» (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 38).

Ключевое значение в пьесе имеет образ инженера Воргунова, знающего и требовательного специалиста, скептически настроенного человека, впадающего в критиканство. Коммуна дзержинцев, их дела и поступки, уроки классовой борьбы возбуждают у него веру в новую жизнь, готовность убежденно служить новому обществу. Он занимает новую жизненную позицию, прочно связанную с идеями социализма. Его первоначальное отрицание роли энтузиазма, преклонение перед чисто «деловым» подходом сменяется признанием важности коммунистической убежденности, новой идеологии.

Тему оптимизма, энтузиазма А. С. Макаренко впоследствии положил в основу повести «Флаги на башнях». К спору Шведова и Воргунова об энтузиазме и точности А. С. Макаренко неоднократно возвращался впоследствии. В публичной лекции «Коммунистическое воспитание и поведение», прочитанной в 1939 г. в Москве, он доказывал, что в нашей стране *точность* становится моральной категорией.

Полушутливая полемика между Крейцером, Трояном и Вальченко о недостаточности убеждения и необходимости принуждения, а то и «хирургического вмешательства» тоже не раз поднималась А. С. Макаренко в педагогических работах.

Название пьесы раскрывает основное ее содержание — новое в образе и стиле жизни советских людей. Название «Мажор» А. С. Макаренко нашел не сразу. Составленный писателем список возможных названий включал 120 вариантов.

Музыкальный термин «мажор» А. С. Макаренко использовал при рассмотрении вопроса о стиле нового воспитания. Он говорил, что важным признаком стиля советского воспитания является, по его мнению, мажор.

Мажорный, уверенно-спокойный, приветливый, деловой тон свидетельствует о нормаль-

* См.: Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VII. — М., 1958.

ном развитии и нравственном здоровье коллектива. Мажор, в понимании А. С. Макаренко, — это постоянная уверенность в завтрашнем дне, это осознание своей защищенности*.

Введение понятия стиля воспитания является важным вкладом А. С. Макаренко в педагогику. Это понятие, характеризуя процесс воспитания в единстве его содержания и методов, в органической его направленности на формирование сознания, эмоционально-волевой сферы и практических жизненных навыков человека имеет большое значение в современной разработке комплексного подхода к воспитанию.

¹ А. С. Макаренко считал, что соблюдение традиции не держаться за перила способствует подтянутости коммунаров, воспитанию уважения к традициям коллектива.

² А. С. Макаренко писал в книге «Методика организации воспитательного процесса»: «Ношение причесок очень желательно, но с необходимым условием, чтобы они содержались всегда в полном порядке и чистоте и имели вполне культурный и соответствующий возрасту вид. Аккуратные, красивые прически улучшают общий внешний стиль коллектива». Эстетику жизни и быта коллектива А. С. Макаренко считал действенным средством в системе воспитания.

³ Здесь дано точное описание главного входа в коммуну им. Ф. Э. Дзержинского.

⁴ В колонии горьковцев и коммуне дзержинцев практиковались временные сводные сторожевые отряды, которые составлялись из старших воспитанников, пользующихся особым доверием. Дежурство не отменяло работу взрослых сторожей, охраны, а было средством воспитания ответственности, выносливости, смелости. Это была своего рода «ответственная игра», в которой проявлялся метод параллельного действия. Расположение поста в вестибюле было таким, что часовому быстро могли прийти на помощь. Его винтовка не заряжалась.

⁵ Здесь в авторской рукописи Воргунув называл некоторые болезни роста, например такие, как «в Тулу за пустяком ездить», и др.

⁶ Говорится о реальном факте — усовершенствовании, которое было осуществлено в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского по предложению коммунара Ткачука и дало значительную экономию. В коммуне поощрялась рационализация, творческое отношение к труду.

⁷ Этот «довод» Григорьева не имел под собой никаких оснований. В коммуне им. Ф. Э. Дзержинского каждое нарушение встречало отпор со стороны коллектива. Было принято открыто критиковать товарища, не обижаясь, выслушивать критику. А. С. Макаренко считал, что если этих качеств нет, если среди воспитанников круговая порука и они скрывают проступок от педагога во имя ложной этики («не выдавать товарища»), то нет и подлинно советского воспитания.

⁸ Здесь дается точное описание «педагогического центра» коммуны дзержинцев, совмещающего кабинет руководителя учреждения с комнатой совета командиров коммуны. В «педагогическом центре» могло находиться место дежурного командира и других ответственных лиц коммунарского самоуправления.

⁹ Освоение производства на заводе в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского потребовало больших усилий и напряжений. Рогожные флажки на станках были кратковременной мерой воздействия на тех, кто систематически не выполнял плана. Эта мера вскоре была отменена.

Честь

(с. 285—499)

Повесть «Честь» публикуется по верстке текста, предназначенного для отдельного издания в Государственном издательстве художественной литературы. Верстка хранится в ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 21—27.

Повесть впервые печаталась по частям в журнале «Октябрь» (1937, № 11—12; 1938, № 5—6). По указанной верстке произведение опубликовано в издании: Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VI. — М., 1958.

Дата, когда писатель приступил к работе над «Честью», не выяснена. Время окончания работы отмечено в дневнике автора 20 февраля 1938 г.: «Закончил «Честь», сдал в «Октябрь» и в отдельное издание». Отдельным изданием в Государственном издательстве художественной литературы это произведение не вышло, хотя предварительная работа автора и редактора Ю. Б. Лукина над повестью проводилась. Об этом свидетельствует наличие верстки и запись в дневнике А. С. Макаренко 9 июля 1938 г.: «Честь» окончательно отредактировали

* О мажорном стиле воспитания см. т. 1 данного издания, работу «Методика организации воспитательного процесса» (гл. XV).

с Лукиным. В общем она выходит в отдельном издании». Верстка «Чести» представляет собой, таким образом, последний авторский вариант повести, наиболее тщательно отредактированный.

Кроме верстки этого произведения в ЦГАЛИ СССР имеются неполные тексты «Чести»: рукопись и машинопись. Рукопись содержит 26 глав первой части повести и неполную вторую часть, с 11-й по 45-ю (последнюю) главу. В машинописи сохранились только 9 первых глав и начало 10-й главы первой части повести. Машинопись отличается от рукописи, поскольку, перепечатывая текст на машинке, А. С. Макаренко, как обычно, вносил в него правку.

Сопоставление верстки «Чести» и ее журнального варианта говорит о том, что после публикации «Чести» в журнале «Октябрь» А. С. Макаренко не прекратил своей работы над этим произведением. Он снова сократил текст, заменил отдельные выражения более образными и т. д. Третью главу второй части повести автор разделил на две главы (3-ю и 4-ю). Тридцать пятая глава второй части также разделена на две главы.

Повесть «Честь» можно рассматривать как отражение социально-педагогического направления творчества А. С. Макаренко. Герои повести — люди из народа: рабочие, крестьяне, солдаты. Рисуя жизнь небольшого уездного городка, автор показывает, как изменяются их представления и чувства под влиянием революционного движения, как вырастает сознание человеческого достоинства, чувство национальной гордости.

«Кто с народом, кто любит людей, кто борется за народное счастье, у того всегда будет и честь» — такова основная идея повести. Сила русского человека, патриота, увидевшего смысл своей жизни в борьбе за счастье народа, показана писателем как «отражение великой культуры народной, сознательной воли, организуемой Лениным». Основу замысла повести составляет проблема осознания рабочим классом своей исторической миссии.

Публикация повести «Честь» в журнале «Октябрь» вызвала в печати выступления литературных критиков, которые упрекали А. С. Макаренко в том, что он неправильно изобразил отношение рабочих уездного города к первой мировой войне*. Антон Семенович был не согласен с такой неаргументированной оценкой своего произведения и вступил в полемику с литературными критиками**.

Овладение А. С. Макаренко новой методологией в педагогике на основе марксистско-ленинского учения тесно связано с осмыслением им происходящих при Советской власти глубоких социально-экономических и культурных преобразований, широких общественно-педагогических явлений, кардинальных изменений в моральном облике советских людей, молодого поколения, в их образе жизни. Рассмотрение процессов воспитания и его закономерностей прежде всего в социальном аспекте, с классово-исторических позиций — характерная черта научно-педагогической деятельности А. С. Макаренко.

Категория чести в педагогической системе А. С. Макаренко занимает очень важное место, указывая на идейно-нравственные основы воспитания нового человека, активного и сознательного строителя коммунизма. В этом заключается значение повести «Честь» для современной теории и практики коммунистического воспитания.

* См., например: *Малахов К.* Война и революция в кривом зеркале. — Литературный критик, 1938, № 5; *Зелинский К.* Рецензия на «Честь» А. Макаренко. — Литературное обозрение, 1938, № 7.

** *Макаренко А. С.* Против шаблона. — Соч.: В 7-ми т. Т. VI. М., 1958, с. 415—420; *Макаренко А. С.* О книге «Честь». — Там же, с. 421—439.

Содержание

От составителей	5
Марш 30 года.	
Очерк	7
ФД-1.	
Очерк	103
Мажор.	
Пьеса в четырех актах	215
Честь.	
Повесть	285
Комментарии	500

Антон Семенович Макаренко

Педагогические сочинения. В 8-ми т. Т. 2

Составители:

**Анатолий Аркадьевич Фролов,
Маргарита Дмитриевна Виноградова**

Зав. редакцией Ю. В. Василькова
Редактор Т. С. Головачева
Художник В. Е. Валериус
Художественный редактор Е. В. Гаврилин
Технические редакторы Т. Г. Иванова, Т. Е. Морозова
Корректор Р. П. Семченкова

ИБ № 837

Сдано в набор 10.11.82. Подписано в печать 13.07.83. А07860. Формат 70×90¹/₁₆. Печать офсет. Гарнитура школьн. Бумага кн.-журн. Усл. печ. л. 37,44+0,58 вкл. Уч.-изд. л. 41,18. Усл. кр.-отт. 38,31. Тираж 50 000 экз. Заказ 1695. Цена 2 руб.

Издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СССР и Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, 107847, Лефортовский пер., 8

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5.